А.В. Амфитеатров

А.В. Амфитеатров

4

А.В. АМФИТЕАТРОВ

А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**

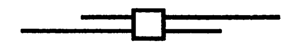
СУМЕРКИ БОЖКОВ

Москва
НПК «Интелвак»
2002

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах

Том четвертый



РОМАН

Москва
НПК «Интелвак»
2002

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

«Федеральная программа книгоиздания России»

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-029-4 (т. 4)

СУМЕРКИ БОЖКОВ

Дорогому другу моему
МАРЬЕ МЕЧИСЛАВОВНЕ
ЛУБКОВСКОЙ
посвящаю это сказание
о родном ей мире красивых звуков,
о радостях и обманах творчества,
о пестрых переливах мелькающих страстей.

А. Амфитеатров

Cavi di Lavagna
1908. I. 31(18)

От автора

Под общим родовым заглавием «Сумерки божков» задумал было я в 1904 году написать двенадцать романов, изображающих ликвидацию русского XIX века в веке XX, — переломы в искусстве, в семье, в торговле, в политике и т д Рассказать, как задребезжала треснувшими струнами «Лира Аполлона» (с таким подзаголовком и печаталась ранее первая часть «Сумерков божков», нынешняя «Серебряная фея»), как потускнел и развязался пояс одряхлевшей Афродиты, как Гермес уронил свой кадуцей, а Гименей — факел, как орел Зевса улетел невесть куда, напуганный громами японских пушек, как на Олимпе, оскуделом от фабричных забастовок и опустошенном аграрными беспорядками, иссякли нектар и амброзия Бурное пятилетие 1904 — 1908 гг не благоприятствовало широкому плану моему, и вряд ли мне суждено осуществить его полностью: уже не так я молод, чтобы мечтать о сочинении двенадцати больших романов, тем более — вдали от родины, в вихре эмиграции... Поэтому я перенес название целого на часть, и теперь «Сумерки божков» сделались заглавием романа о надорванной связи искусства с общественностью первого в предполагавшейся серии — и, вероятно, последнего. Впрочем, быть может, мне еще удастся возвратиться к действующим лицам моего романа, чтобы досказать судьбу их в безднах, висеть над которыми «Сумерки божков» их оставляют . «Сумерки божков», как всегда и все, что я пишу, — не вымысел, не фотография Не ищите в них газетного «факта», но каждое обстоятельство романа где-нибудь и когда-нибудь в пределе эпохи нашей действительно было Не спрашивайте портретов, не найдете ни одного, но каждое лицо романа — сборное сочетание нескольких действительно живших или живущих россиян, которых я знал и наблюдал. Указать это считаю необходимым потому, что по выходе первой части «Сумерков божков» ко мне очень многие обращаются с вопросами, устными и письменными: кто — Берлога? Елена Сергеевна? Светлицкая? и т.д. Называют имена, указывают

сходства. Особенно интересуются Берлогою. В нем непременно хотят видеть — кто Шаляпина, кто Максима Горького, переодетого в оперные певцы, кто другую какую-либо знаменитость из артистического или литературного мира. Ни Шаляпин, ни Горький, ни кто другой, определенный, — и все они понемножку, тою или другою стороною натуры, сколько насмотрелся я их за мою пеструю, в людском круговороте прокипевшую жизнь Вот — пример, как иногда «пишется история». Характеристику генерал-губернатора, которую вы найдете во 2-м томе, послал я отдельным фельетоном одной провинциальной газете. Отвечают: нельзя, это — фотография с нынешнего «нашего», местного!.. А я его и не видывал никогда и даже о нем не слыхивал!.. В столичной газете та же характеристика смогла появиться беспрепятственно. Когда мне, по авторским целям моим, нужно настоящее, историческое лицо, я его называю, не обинуясь, и настоящим, историческим именем (см. моих «Восьмидесятников» и предисловие к ним во 2-м издании). Где у меня нет настоящих исторических имен, там тщетно будет искать под ними и настоящих исторических людей.

Александр Амфитеатров
1908. Cavi di Lavagna. X. 28

Post scriptum ко второму изданию

Любезное внимание читателей к роману моему вызывает к жизни это второе издание «Сумерков божков» ровно через год по выходе в свет первого. Существенных перемен в нем я не делал, но исправил кое-какие анахронизмы и внес много частичных дополнений. Спрашивают меня часто письмами: дорисую ли я до конца фигуры Андрея Берлоги, Силы Хлебенного и Сергея Аристонова. Да. Если буду жив и свободен, я договорю свое слово о «Сумерках божков» особым новым романом и, — надеюсь, — очень скоро.

А. В. А. —
1909.
Cavi di Lavagna.
VIII. 10.

I

ГОРОДСКОЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

Дирекция Елены Сергеевны Савицкой
Сезон 190* года (XIII-й)
Спектакль 25-й Во вторник, 27 октября
представлена будет в 157-й раз опера
в 5 действиях:

ФАУСТ
музыка *Ш. Гуно,* текст *Ж. Барбье,* перевод *Калашникова*

ИСПОЛНЯТ РОЛИ:

Маргариты .... О.В. Матвеева
Зибеля.................... О.В. Субботина
Марты.................... Ю.П. Тургенева
Фауста.................... К.Ф. Самирагов
Валентина............. Н.Ф. Тунисов
Мефистофеля........ Р.Ф. Фюрст
Вагнера.................. И.И. Камчадалов

Очередной режиссер — М.Е. Мешканов
Хормейстер — *К.К. Бергер*
Очередной капельм — *С.С. Музоль*
Декорации — Г.И. Поджио
Костюмы собственной мастерской театра по рисункам художника
К.В. Ратомского и Э.В. Дюнуа
Парики — мастерской Д.Н. Андреева
Аксессуары — собственной мастерской театра по рисункам
Э.В. Дюнуа
Начало ровно* в 8 1/2 *час. вечера

Дирекция имеет честь предупредить публику, что места в зрительном зале должны быть занимаемы всегда до начала действия, так как по второму звонку двери зала закрываются, и ни вход в зал, ни выход из него не допускаются до следующего антракта

Дамы в шляпах в партер, амфитеатр и балконы не допускаются

АНОНС

Готовится к постановке и в непродолжительном времени
представлена будет
в первый раз новая опера
в 4 действиях «Крестьянская война»,
Музыка Э.К. Нордмана, слова ***.
Роль Маргариты Трентской исполнит Е.С. Савицкая,
роль Фра Дольчино — А.В. Берлога.
Капельмейстер — М.Р. Рахе
Главный режиссер: З.В. Кереметев
Главный капельмейстер: М.Р. Рахе
Директриса: Е.С. Савицкая

Печатать разрешается. N-ский обер-полицеймейстер
полковник Брыкаев

Часть первая

СЕРЕБРЯНАЯ ФЕЯ

I

Унылый молодой человек, одиноко изучавший эту афишу в фойе N – ского оперного театра, был очень мал ростом, не только вопреки, но даже как бы и назло своим высоким каблукам, высоким воротничкам и умышленно просторному покрою удлиненного редингота. Природа презирала все усилия искусства увеличить это укороченное ею тщедушное тело, и, чем усерднее старались портные доказать, что всетаки они шьют на взрослого человека, тем больше становился похож злополучный клиент их на мальчика лет двенадцати, вырядившегося в родительское платье. Впечатление дополняли застенчивость и робкое волнение, оглуплявшие лицо юноши до такой плачевности, что — на улице и в толпе — не спасал его от встречных и мимо мелькающих насмешливых улыбок даже великолепный рубинштейновский лоб под странными белыми косицами, повисший, как туча, темным золотом густых бровей на близорукие глаза, полные наивного добродушия и голубого блеска. Юноше назначено было прийти в театр на репетицию к одиннадцати часам утра, но он явился уже в десять и добрых полчаса сидит в полутемном фойе, не решаясь ни поднять шторы на котором-нибудь из

полуторасаженных окон, ни повернуть электрическую кнопку, ни просто хоть перейти куда-либо, где посветлее. Наконец кто-то из администрации, проходя, случайно приметил его, сжалился и распорядился. Пришел страшно зевающий капельдинер, скользнул по юноше безразличным и совсем не почтительным взглядом, дернул шнурки у окна, тяжелая материя разъехалась, как грозовые облака, и в зал полился веселый осенний свет, и в серо-голубых столбах его бойким вихрем заплясали радужные пылинки.

Капельдинер ушел. Юноша опять был один в огромной белой комнате с красными бархатными диванчиками в нишах окон, с Орфеем среди укрощенных музыкою зверей на плафоне, с дорогими, мастерской, художественной кисти портретами в простенках. Молодой человек знал все эти лица и любил их, как богов. То были артисты-основатели и сосьетеры огромного оперного предприятия «Дирекция Е.С. Савицкой», первого в России по серьезности материальной и художественной постановки дела, знаменитого на всю Европу своими новаторскими идеями, пытающегося возродить для людей XX века тот театр-храм, театр-школу, о которых теперь повсеместно на земном шаре сохранились лишь красивые античные мифы. Гордо и холодно смотрела со стены на юношу сама Елена Сергеевна Савицкая — золотоволосая красавица, с глазами ундины, как синий хрусталь, с фигурою сильфиды, стройная, воздушная — вся будто летит над землею. Портрет писан давно, но она и сейчас, к сорока годам, почти не изменилась, будто так и застыв своим строгим классическим профилем и изящною талией помпейской плясуньи. Соперницы не раз пускали слух, что неулыбающееся лицо Елены Сергеевны эмальировано какою-то парижскою искусницею в маску вечной молодости, и стоила эта операция неувядаемой певице бешеных денег, зато уж конечно — теперь она так, без единой морщинки и сто лет проживет, и в гроб сойдет. Люди, более близкие и расположенные к Елене

Сергеевне, говорят, что легенда об эмальировке — злостная чепуха, а просто Савицкая — чудо самообладания и гигиенической тренировки. Известно, что эта артистка спокойною упорядоченностью образа жизни способна пристыдить любую монахиню; она аккуратна во всех своих желаниях, действиях, потребностях и отправлениях, как живые часы. Известно, что за двадцать сезонов своей карьеры она ни разу не отменила спектакля по болезни, и ее серебряный лирический soprano никогда не хрипит, хотя она ежедневно начинает свое утро ледяною ванною, от которой у горничных ее пальцы стынут. Никто не знает секретов ее массажа, гимнастических и спортивных упражнений, но даже на сцене видно, что за рапиру она берется, как мастер фехтовального искусства, и, когда сидит в седле, то не конь ее везет, а она на коне щегольски едет. Как сценическое явление Елена Сергеевна очаровательна. Еще при первых дебютах критик Ларош назвал Савицкую — «серебряная фея». Кличка так и осталась за нею, как припечатанная, вот уже двадцатый год. В ней в самом деле есть что-то от тумана германских лесов и шотландских озер, что-то сказочное, напоминающее видение при лунном свете. Елена Сергеевна замужем за Морицем Раймондовичем Рахе, знаменитым капельмейстером, главным опорным столпом оперного дела жены. Но брак их бездетен вот уже одиннадцать лет, а многие полагают, что он и фиктивный. Между мужем и женою неизменно держатся превосходные, полные взаимоуважения дружеские отношения брата и сестры, но супружеских отношений якобы нет и не бывало. Но и любовников Елене Сергеевне даже вечно шипящая закулисная сплетня не решается навязывать. Прежде, давно, кое-что амурное было, да она и не скрывает, что было. Сперва — падение по юной глупости: кто-то из профессоров консерватории. Потом — случайный роман в труппе первого ангажемента, с красивою влюбленностью и «его», и ее в начале сезона на августовских репетициях, с самым прозаическим

разочарованием к Святкам и с очень мирным разрывом к последнему спектаклю Масляницы. Затем — роковая связь Негиной и Великатова — связь по расчету и для карьеры. Портрет ее героя (хотя он и не артист) — тут же, в фойе, и на очень почетном месте, — украшает зал умною, красною, сверхъестественно жирною купеческою «рожею», вроде рыла знаменитой свиньи в ермолке. От этого человека Елена Сергеевна получила те десятки тысяч, на которые впоследствии основалось ее дело. Разъехавшись года через три, отставные любовники сохранили навсегда очень хорошую дружбу. Когда Силу Кузьмича Хлебенного кто-нибудь из приятелей поддразнивает, напоминая старину:

— А признайся, Сила Кузьмич, ведь здоровенько-таки выпустошила тебе карман-от мадам Савицкая?

Сила Кузьмич очень спокойно вытирает лысину красным шелковым платком и еще спокойнее возражает:

— Что следовало, то и отдал-с... не более своих денег... А разговоры ваши, между прочим, довольно даже глупые-с. Оставьте-с. Прекратите-с. Ни к чему-с.

Если Сила Кузьмич Хлебенный — материальный отец оперного дела Савицкой, то нравственным вдохновителем ее, человеком, из-за кого она начала свою антрепризу, был тот, пред чьим портретом в фойе больше всего толпится публика по вечерам, а теперь маленький, тщедушный юноша, со лбом гения под белыми косицами чухонца, приковался к нему восторженными, влюбленными глазами... Ух какой же он молодчина и богатырище, этот Андрей Берлога — всероссийский идол женщин и молодежи, полубог искусства, пред которым бессильна критика и немеет предубеждение! Всей России знакомо это дикое, с немножко безумными, усталыми от частых экстазов глазами, не то цыганское, не то хохлацкое, измятое лицо, одинаково способное короткою игрою мускулов превратиться и в маску

дьявола, и в лик архангела Михаила. Хорошо схватил его широким мазком своим художник Ратомский! Слышно в красках, как трепещет львиная натура под призывом бурных вдохновений, которые на сцене так часто поднимают дыбом черные вихры на этой косматой голове, и тогда холод ужаса и восторга заставляет дрожать самых равнодушных из публики. Уверяют, будто у Берлоги — лучший голос на лирических сценах обоих земных полушарий, и, конечно, ни одна опера еще не имела актера-художника, равного ему. Он перевернул вверх дном все традиции и школы оперного пения и даже заставил публику позабыть, какой, собственно, у него голос и какое его амплуа. Никто не знает и не помнит «баритона» Андрея Викторовича Берлогу, все знают только Берлогу, Андрея Берлогу, Андрюшу Берлогу, великого художника музыки и сцены, который вот уже тринадцать лет как взял свое искусство под уздцы, будто норовистую лошадь, и упрямо тащит ее своею богатырскою ручищею на какие-то новые пути, к каким-то новым, неслыханным целям.

Легенда гласит, будто, когда тринадцать лет назад Елена Сергеевна Савицкая заявила Силе Кузьмичу Хлебенному, что любит Андрея Берлогу и кроме него принадлежать не желает никому, и, следовательно, связи ее с Силою Кузьмичом — конец, то Сила Кузьмич будто бы поиграл перстами, вытер лысину шелковым платком и заявил:

— Кому другому не отдал бы-с. Не уступил бы-с. Жаль-с... Ну а Андрею Викторовичу...

И беспомощным жестом изобразил, что против бедствий стихийных средства человеческие бессильны.

Как бы то ни было, он расстался с Савицкою не только без ссоры, но даже поддержал ее своими капиталами в первые тяжелые годы антрепризы, которую она начала с следующего сезона, влюбленная тогда в идеи Берлоги едва ли не больше, чем в него самого, полная жаждою пропаганды

его задач, вкусов и взглядов на искусство. Они много сделали тогда втроем — она, Берлога и Мориц Раймондович Рахе! Для лирической сцены — в новом репертуаре, в новых приемах и требованиях исполнения — как будто открылся новый мир. Выползали откуда-то из темных углов забытые, отвергнутые оперы-Сандрильоны и вдруг начинали сиять таким мудрым светом, греть сердца таким милым и умным теплом, что суровой, классической критике, видя, как публика сразу отхлынула к новой красоте от прежних красивостей, оставалось только недоумевать в своем сбитом с толку правоверии: что же изменилось — времена и вкусы или самые законы прекрасного? И утешала себя самолюбивая, правоверная критика, что только времена и вкусы. И ждала, когда «мода» пройдет. Но «мода» не проходила.

Когда Силу Кузьмича Хлебенного спрашивают о Берлоге, он склоняет голову и говорит:

— Талант-с. Вдохновенный-с человек-с...

Но когда его спрашивают о Морице Раймондовиче Рахе, он склоняет голову еще ниже и прибавляет:

— Порядочнейший человек-с...

Любопытно, что столь лестную аттестацию он начал выдавать Рахе после совсем, казалось бы, неприятного для себя афронта. Когда рухнула непродолжительная и очень несчастная связь Елены Сергеевны с Берлогою, то, чем бы возвратиться, как все ожидали, в золотые объятия купца Хлебенного, — певица вдруг, как-то ни с того ни с сего, вышла замуж за своего капельмейстера, — правда, очень знаменитого, уважаемого, по-настоящему талантливого, но скучнейшего в мире немца, целиком сплетенного из аккуратности в жизни и из ритма в музыке. Уже не легенда, но история гласит, что незадолго до своей внезапной свадьбы господин Рахе посетил Силу Кузьмича Хлебенного в его роскошном дворце и имел с ним чрезвычайно долгий разговор с глазу на глаз.

И когда беседа кончилась, то миллионер, прославленный своею даже в некотором роде демонстративною гордынею: «для министра с места не тронусь!» — почтительнейше проводил господина Рахе до самого подъезда и собственноручно подал ему пальто. Хлебенный уже никогда больше не показывался ни в доме Елены Сергеевны Савицкой-Рахе, ни в ее уборной, ни в ее директорской ложе. И еще рассказывают, будто на другой день после посещения Рахе Сила Кузьмич лично, чего никогда не делал, ездил к местному банкиру-немцу получить крупную сумму денег по какому-то таинственному чеку, о котором он своим доверенным приказчикам ни слова не сказал. И вот тут-то будто бы он впервые и выразил о Рахе свое мнение, с склонением головы:

— Порядочнейший человек-с!

И ту же самую аттестацию, с тем же уважением в глазах и голосе и тоже без объяснения причин, повторяет о Рахе тот самый банкир-немец, у которого Сила Кузьмич получил таинственные деньги по загадочному чеку.

В настоящее время отношения между Еленою Сергеевною и Силою Кузьмичом ограничиваются тем, что в торжественные спектакли, а также в свои именины и день рождения, на Новый год и т.п., красавица-директриса аккуратно получает очень изящные и дорогие подарки от публики. Хотя эти сокровища подносятся по подписке, но злые языки уверяют, будто подписной лист укладывается, обыкновенно, в такую схему:

Иванов	1 рубль
Петров	1 »
Карпов	1 »
Сидоров	1 »
Антонов................................	1 »
Сергеев	1 »
Хлебенный............................	994 рубля
Итого	1000 рублей

Разрыв Савицкой с Берлогою или Берлоги с Савицкой в свое время едва не разрушил оперного дела в первом его молодом расцвете. Трудно сказать, действительно ли он и она любили друг друга так сильно и остро, как обнаружилось при разлуке. Скорее, все-таки нет, потому что оба слишком любили свое искусство, а боги искусства ревнивы и не позволяют настоящим своим любовникам любить человека вровень с ними, богами. Как бы то ни было, в довольно скором времени — Елена Сергеевна вернулась в свою оперу через год, а Берлога немного позже, — они встретились в одном и том же деле очень спокойно, дружески, и о прошлом не было помина. Елена Сергеевна вышла замуж. Берлога привез с собою из Италии любовницу, совсем молоденькую и прехорошенькую неаполитанку. И много их у него потом переменилось! И теперь есть — уже восьмой год — Настя Кругликова, русокудрый ангел, красавица-компримария труппы... Что было, то прошло. Было, умерло и уже не воскресало.

Год своего отчуждения от театра Савицкая прожила в Париже, покинув все оперное дело на верные руки мужа. Совершенно воловьим трудом, железною энергией и авторитетом своей холодной рассудочности Мориц Раймондович спас антрепризу, лишившуюся сразу и хозяйки-примадонны, и первого любимого артиста — души и сердца оперы. Именно в этот «пустой» год в театре, обездоленном выдающимися силами, и создался из артистов средних голосовых данных и талантов тот несравненный, единственный в Европе «ансамбль», которым теперь гордится опера Савицкой и который — как постоянный, прочный тон — придает всем ее созданиям ту особую типическую окраску, что вызывает в прочем театральном мире и так много насмешек, и так много зависти. Возвратясь из Парижа, Елена Сергеевна нашла своего мужа, оставленного ею еще довольно ярко-рыжим, теперь — почти седым, но дело было спасено и стояло

на художественном уровне — выше прежнего. Сама Елена Сергеевна очень изменилась. Именно с того-то времени и появилась в прозрачном лице ее мраморная неподвижность, про которую враги клевещут, будто Савицкая нарочно выдрессировала себя по возможности никогда не улыбаться, потому что какой-то врач уверил ее, будто смех развивает на лице женщины складки и морщины. Никто не ожидал, чтобы она сохранила верность своему рыжему Морицу, — и все обманулись. Месяцы за месяцами, года за годами, а она живет без новых страстей и увлечений, ясная, красивая, холодная, бесстрастная, как лунный свет, на лучах которого качаются ее сестры — серебряные феи. Даже в голосе ее появилась какая-то особая кристаллическая звонкость: по ядовитому замечанию контральто Светлицкой, высокие ноты Елены Сергеевны стали столь же совершенными, чистыми и полными, как у пресловутых папских певцов Сикстинской капеллы. Сплетницы в объяснение перемены в наружности и в характере Савицкой уверяют, будто в Париже она после тяжелой женской болезни принуждена была подвергнуться операции, превратившей ее в бесполое существо. Теперь она живет, вся замкнувшись в искусстве и в своем деле. Что касается первого, то в пении она достигла чуть не птичьего мастерства, и портреты ее помещаются в альбомах европейских «соловьев», рядом с Патти, Зембрих, Ван-Зандт и Арнольдсон. А по части деловитости — лучшая характеристика, что поставщики театра с гораздо большим удовольствием идут на условия и объяснения и с продувною лисою, главным управляющим антрепризы Риммером, и с крикуном-ругателем, главным режиссером Кереметевым, и с аккуратнейшим, педантически-придирчивым Морицем Раймондовичем Рахе, и с кем угодно, — только не с «самою»:

— Уж очень они — практик-с!

В труппе ее боятся, но кое-кто и любит. Ближайшим ее другом после мужа остался все-таки Андрей Берлога. Они на «ты». Эти две души не находят больше друг в друге ни-

чего друг для друга, но все — для искусства, и они объединились в искусстве.

Из всех портретов молодой человек с гениальным лбом под белыми чухонскими косицами всматривался в лицо Елены Сергеевны с особенным вниманием и даже как бы пытливостью.

* * *

— Хо-хо-хо-хо! Ну скажите пожалуйста! — воскликнул сзади в дверях из коридора профессионально-веселый и бравый мужской голос, каким, кажется, на всем белом свете говорят только режиссеры больших и сыто благоденствующих трупп, — и при том не первые режиссеры: тех уже важность душит, а вторые — еще на ноге доброго товарищества, запанибрата. — Ну скажите пожалуйста! Я его ищу по всему театру, потому что Поджио пристает с ножом к горлу: подай ему автора — смотреть декорации второго акта, а юный maestro — хо-хо-хо-хо! — изволит созерцать нашу прелестнейшую директрису. Здравствуйте, сокол ясный. Как ваше драгоценное? Gut? * Ну и мы, слава-те перепелу, — хо-хо-хо-хо! — таскаем еще старые кости, — хо-хо-хо-хо! — не потеряли ни единой... Хо-хо-хо-хо!.. А Елене Сергеевне я не премину доложить, что застал вас в мечтательной позе пред ее изображением. Это ей польстит и вам принесет пользу. Хо-хо-хо-хо! Что ж, батенька? Хо-хо-хо-хо! За вкус свой вам краснеть не приходится: хороша! Тринадцать лет говорю ей, что хороша. И, по-моему, даже как будто со дня на день лучше и лучше становится. Хо-хо-хо-хо! Но влюбляться, батенька Эдгар Константинович, не советую: лед! ядовитейший лед! Знаете, как в «Демоне»:

Да! Как они, она прекрасна,
Но и бесстрастна, как они...

* Хорошо? (*нем.*)

А что? Правда, я хорошо Андрюше подражаю? Хо-хо-хо-хо! Талант, батенька! Если меня когда-нибудь выгонят из труппы, сейчас же найду себе ангажемент в любом кафешантане: представлять Берлогу в «Демоне» и прочих излюбленных публикою ролях... Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо!

Весь этот неудержимый поток слов, хохота, пения, кряканья, чмоканья, шмыганья носом, тюленьего фырканья и моржовой одышки вылился из уст пузатого человека, круглого, как ванька-встанька, с коротенькими ножками-колбасками, с коротенькими ручками-сосисками, с золотым pince-nez на удивленно вздернутом, зияющем ноздрями носу — не то чтобы слишком обличительно багровом, однако и не бледном. От общей красноты безбрового лица ласково выпученные голубые глаза человечка казались белыми и престранно мигали поверх pince-nez, точно человечек все время делал кому-то знаки отойти в сторонку и выслушать важный секрет. Сияющая лысина растягивала это комическое лицо ввысь, а гладко выбритые щеки вширь. Глядя на Мартына Еремеича Мешканова, Лафатер без единого слова угадал бы в нем обжору, не дурака выпить, безразличного чувственника-женолюбца и доброго сплетника. Галль, ощупав его череп, прибавил бы, что Мешканов — человек поверхностно умный, поверхностно хитрый, поверхностно музыкальный, поверхностно чувствительный, — легкий и легко живущий человек.

— А я, — продолжал он трещать, — я, милостивый государь мой, имею к вам личное дело. И даже не одно-с, — хо-хо-хо-хо! — но целую коллекцию дел, — с вопросными пунктами, требующими немедленных ответов. Во-первых, вот-с...

Толстяк добыл из жилетного кармана измятую визитную карточку, небрежно исчерченную карандашом.

— Сие обрел я сейчас в режиссерской на собственном своем столе. Извольте слушать: вас касается... «Любезный друг, Мартын Еремеевич...»

Он остановился, прищурился и щелкнул языком:

— Без «еров» и «ятей» пишет собака! Модник! Сразу видать, что талант и передовой публицист... Хо-хо-хо-хо!.. Не правда ли, это очень хорошо, что без «еров» и «ятей»? Ведь вот и небольшая, кажись, штучка — этакая малюсенькая карточка, но даже в сем тесном пределе человек, который умный, имеет образование и ощущает в груди либеральный вопль, уже может и умеет проявить гражданский протест... Читаю-с!

Любезный друг, Мартын Еремеевич! Не в службу, а в дружбу, добудь, брат, у г. Нордмана его фотографический портрет, а также краткие биографические данные и весь этот материал доставь в редакцию «Почтальона» — буде возможно сегодня же, чтобы успели поставить в воскресное приложение... Хотел я посетить вашего юного композитора сам для добропорядочного интервью, но он, оказывается, живет где-то у черта на куличках, так что, признаться, лень ехать, а когда застать его в театре — не знаю, скажи по телефону.

Твой...

— Не подписано, а напечатано: Самуил Львович Аухфиш, секретарь редакции «N – ского почтальона» и сотрудник столичных газет... Компрене?..* Сам Аухфиш... Это не баран начихал!

— Я понял, господин Мешканов, — сказал молодой человек. — Я, конечно, знаете, очень благодарен... Только — как же это?.. Мой портрет в газетах, моя биография, интервью... Я, знаете, совершенно смущен... Я никак не ожидал и... и не знаю даже, как все это делается... Рассказать всю свою жизнь так, чтобы она стала понятною постороннему человеку, я, право, знаете, даже не в состоянии... Притом это так сложно, трудно, длинно... Я уверен, что нам целого дня будет недовольно, чтобы объясниться, а я, знаете, не располагаю настолько своим временем...

* Понимаешь? (*фр.*)

— Ну целый-то день вашу исповедь слушать — это и у меня, и у милейшего нашего Шмуйлы Аухфиша тоже времени не найдется, — перебил хохочущий Мешканов. — Нет, вы вот что... Я вас обработаю в пять минут... Когда изволили родиться?..

— В 18-м, 7-го декабря.

— На другой день Миколы; стало быть, опоздали сутками к празднику... хо-хо-хо-хо!.. Родители и место действия?

— Отца звали Константин Нордман. Он был швед, служил техником на рафинадном заводе — знаете, графов Храбринских в Киевской губернии... Там я и родился. Мать Ольга Андреевна — русская...

— Имел честь вчера познакомиться. Почтеннейшая особа... И, надо думать, красавица была: до сих лет эффект сохранила, — не заметив — мимо не пройдешь. Родитель здравствует?

— Я никогда не видал отца. Он, знаете, был немножко чудак... знаете, личным не интересовался, только думал о Боге и о свободе человеческой. Прочитал, знаете, однажды в газетах, что в Южной Америке война — чилийцы за демократию свою дерутся... Задумался, бросил службу у графов и уехал, знаете, добровольцем... Там и пропал...

— Тэк, тэк, тэк... позвольте, позвольте: сие надо записать — Аухфишу для поэзии... хо-хо-хо-хо!.. Анекдот для ихнего брата — великое дело... Так что вы изволили расти, в некотором роде, сиротою?

— Даже и не в некотором роде, — улыбнулся молодой человек, — а во всех родах... Мама моя ведь была совсем молодая тогда... скоро, знаете, опять замуж вышла, тоже за Нордмана, одного дальнего родственника нашего... чрезвычайно богатый человек, знаете... Ну у них, знаете, своих детей очень много появилось... Так что я... я у няньки своей возрастал... там, знаете, на заводской слободке... Ее звали Горпина, а по фамилии Пимоненко... Только об этом, что я у няни

долго один оставался, если можно, Мартын Еремеич, лучше бы, знаете, не писать: маме, знаете, будет неприятно!..

Голос Нордмана, и без того глуховатый, упал, стал больной и робкий, а глаза выцвели и потускнели. Режиссер покосился на него из-за записной книжки. «Мамашенька-то, как видно, — сахар!» — подумал он и ничего не сказал.

— Образование-с?

— Да-а-а... какое же?.. — краснея, с запинками, возразил композитор. — Я правильного образования не получил... Когда был маленький, ходил в заводское училище... там есть, знаете, техническое, двухклассное... чтобы подготовлять мастеров на графские заводы... А потом — мне уже лет тринадцать было — отчим умер, мама вытребовала меня от няни Горпины... ну и, знаете, в ужас пришла, какой я неуч, и — что говорю, как хохол... Взяла мне репетитора готовить в гимназию... Я, знаете, экзамен сдал, а учиться не стал...

— Хо-хо-хо-хо! Убоялся бездны премудрости! Так-таки и не стали?

— Так, знаете, и не стал.

— Да ведь драли, поди?

— Нет, — с веселым конфузом сознался молодой человек, — хотели драть, но, знаете, не успели: я тогда за границу убежал...

— За гра-ни-цу?!

— Да, знаете, — в Галицию, где Карпаты... местечко Закопане... еще озеро там знаменитое...

— Это вы тринадцати-то лет?

— Нет, мне уж близко четырнадцати было... Да ведь я, знаете, пешком, — словно извинился композитор.

— Уж полагаю, что не в карете... хо-хо-хо-хо!.. осмелюсь, однако, осведомиться, достоуважаемый сэр: за каким, собственно, выражаясь вежливо, чертом угораздило вас попасть на это самое Закопане?

Нордман радостно просиял и сделался совсем похож на ребенка.

— Знаете, это ужасно глупо, хотя... ужасно было хорошо!.. Я, знаете, тогда прочитал один роман... «Борьба за правду»... Эмиля Францоза сочинение, знаете...

— Не читал!

— Это, знаете, о том, как один мужик, гуцул, — Тарасом звали, — не мог найти справедливости ни у пана, ни у начальства, ни у суда, ни, знаете, у самого императора в Вене... ну и, знаете, сделался разбойником в Карпатах, чтобы водворить в своей земле справедливость... Наивно, конечно, знаете, но ужасно, ужасно хорошо... Я именно к нему и ушел, к Тарасу...

— Разбойничать? — захохотал режиссер.

— Да, знаете, все... как он там прикажет... мне он, знаете, ужасно как нравился, и я его ужасно уважал.

— Ну а язык? ведь вы же мальчишка были! Как же вы ушли без языка?

— Нет, отчего же без языка? Я же в Малороссии вырос: одна и та же мова, и народ один... Да, я и по-польски говорю с детства... и на еврейском жаргоне с грехом пополам объясниться могу... В киевских местечках, знаете, это — как-то само собою приходит: смешанная жизнь, знаете... Нельзя без этого...

— И долго — хо-хо-хо-хо! — вы разбойничали у вашего Тараса?

— Нет, знаете, ведь — когда я пришел и стал расспрашивать — оказалось, что его пятьдесят лет тому назад повесили... Я очень жалел... Если бы знал, так не пошел бы, знаете...

— Полагаю! Хо-хо-хо-хо!

— Песни у них там чудесные, — задумчиво сказал Нордман, — я там поразительной красоты мелодию слышал... Или тоже, знаете, когда другие пастухи — которые из стари-

ков — на жилейках играют... удивительно!.. Я ведь целое лето стадо пас...

— Хо-хо-хо-хо! Час от часа не легче! Нет, отец родной, вы простите меня, старика, вы — антик! Я вас интервьюировать не гожусь. Пусть сам Аухфиш... Хо-хо-хо-хо! Вы для него клад! прямо клад! Фельетон на тысячу строк! Полтораста целковых построчного гонорара!

— Другого занятия не было, — ну и пас... Это, знаете, очень тяжело, но и прекрасно... Я, знаете, понимаю, почему поэзия родилась у пастушеских народов... И вот тоже, — почему народ пастухов, знаете, колдунами считает... Ничто, знаете, не развивает так созерцательных привычек и чутья к природе, как пастушеская жизнь... И слушать выучивает.. Вы слушали когда-нибудь, то есть — что я! конечно, слушали, кто не слушал? — но любите ли слушать и умеете ли слушать тишину? Ах, — кто умеет слушать, она, знаете, ужасно какая полифоническая!..

— Ну Бог с нею, Эдгар Константинович, с тишиною: это мы с вами в другой раз на свободе пофилософствуем о тишине... Как вы музыкою стали заниматься?

— А это, знаете, ксендз Ксаверий и шинкарь... еврей-шинкарь — Хаим Абрумович... Он подметил, что я самоучкою на скрипке играю — ну и сочиняю... Потому что, знаете, — оправдался Нордман, — как же бы я не сочинял? Если бы я не сочинял, мне бы нечего было играть: ведь я чужого ничего не знал, да и нотам только потом уже в Лейпциге выучился... Я должен был сочинять, чтобы играть!.. Знаете, — воодушевился он, — отличные они были люди, шинкарь Хаим и ксендз Ксаверий... Они оба были старые, как лес, и имели много несчастья в жизни... И их обоих согнуло дугою к земле... И они были враги... Но они оба, знаете, любили музыку и любили меня... Они приходили ко мне в горы и сидели на камнях, покуда я играл... Бывало, знаете, сыграю я им, — ксендз Ксаверий спрашивает: «Хлопец, что ты играл?..» А я — как отвечу? Ведь не нотное что-нибудь, свое

играл, что в голову приходило: почем же я знаю, что играл?.. Ну, знаете, отвечаю, что шум лесной играл... или там про утреннюю звезду... про горный ручей, как над ним качаются в вешнем ветре цветы, и в небе плывет белое облако... Они переглянутся, покачают головами: ну играй, играй!.. Еще им очень нравилось, знаете, песня о потерянной овце... Абрумович всегда плакал, когда слушал... Знаете, у меня в «Крестьянской войне» во втором акте хор «апостольских братьев»? Ну вот она самая, знаете.

— Да, батенька, от этого вашего хора действительно мороз по коже подирает... Волчье что-то...

— Да ведь, знаете, как же иначе? Где потерянная овца, там и волки...

— Это они, что ли, в Лейпциг-то вас отправили? ксендз и шинкарь этот?

— Да... Слушали, слушали, переглядывались, переглядывались, а потом в один прекрасный день, осенью ксендз зовет меня к себе и говорит: «Вот тебе хорошее платье, одевайся, мы сейчас едем в Лейпциг, — будешь там учиться музыке...» Я говорю: «А деньги?..» — «Не бойся, пан Абрумович обеспечил тебя на весь курс... будешь его стипендиатом». Я вам говорю: чудесные, знаете, были люди!.. Умерли теперь оба... Жаль: не дождались, чтобы я поставил свою первую оперу... И мне, знаете, тем грустнее, что я потом огорчал их очень...

— Кутили, что ли, в Лейпциге-то?

— Нет, я не могу пить: у меня болит голова...

— А по женской части? — подмигнул Мешканов.

Композитор отвечал очень серьезно.

— Я всегда должен быть влюблен, — знаете, это — как гигиена души: без этого я не могу хорошо писать и думать. Но долго любить я, знаете, не могу: скучно. И к разврату тоже не склонен: погано. Нет, я просто учился очень скверно в Лейпциге, вот что было с моей стороны совсем не-

благодарно и нехорошо... А с другой стороны, знаете, что же делать? Мне сочинять очень хотелось, а классицизм этот, знаете... сушь ведь ужасная... гимнастика... формы... Откровенно говоря, я в консерваторию-то редко заглядывал... больше со студентами по кнейпам о политике разговаривал... читал тоже ужасно много... Шопенгауэра... Толстого... Ницше... Вот и «Крестьянскую войну» свою тогда вычитал... У Каутского. Знаете, есть такой социолог Каутский?..

— Нет, не знаю, — спокойно возразил Мешканов, — и, по званию своему, не обязан знать. Хо-хо-хо-хо! Это уж будет черт знает что, ежели от оперных режиссеров знакомства с социологами начнут требовать... И без того с нашим Кереметевым, да с Андрюшею Берлогой у нас, обыкновенных смертных, мозги в яичницу обращаются. Намедни, как «Юдифь» возобновляли, — хо-хо-хо-хо! — такого Лэйарда и Бругша заставили развести, что просто не голова у меня теперь, но ассиро-вавилонское отделение восточного факультета. Хо-хо-хо-хо! Я вот, сударь вы мой, Эдгар Константинович, никогда ни в Риме, ни в Помпее не бывал, а между тем по римским древностям — хоть сейчас лекции читать готов, — хо-хо-хо-хо! — потому что сценировал с Кереметевым «Нерона»... Ставили «Лакме» — не угодно ли вам изучить индийскую флору и фауну? Хо-хо-хо-хо! Из этнографии — в археологию, сегодня тебе экзамен по естественной истории, завтра — по обычному праву... Ну а если еще из-за вашей оперы придется обучаться политической экономии, — хо-хо-хо-хо! — это прямо — гроб! ложись и помирай! Ну и времена! Хо-хо-хо-хо! Ну и композитор ныне пошел! Написал, говорит, оперу по Каутскому. А нет ли у вас увертюры «О богатстве народов» по Адаму Смиту? Тоже вот хорошо положить на музыку примечания Чернышевского к Джону Стюарту Миллю... Хо-хо-хо-хо!

— Да нет же, — смеясь и конфузясь, защищался композитор. — Вы перевернули мои слова. При чем политическая экономия? Я, знаете, читал книгу Каутского «Из истории общественных движений» и в ней нашел этот сюжет — о Маргарите Трентской и Фра Дольчино... больше ничего! Если вам что и придется теперь изучить, то не более, знаете, как итальянское искусство XIII — XIV века...

— Это для нас уже азбука! Прерафаэлизм!

— И природу Пьемонтских Альп.

— Эх, жаль, опера ваша идет слишком скоро, а то испросил бы я командировочку в Турин для изучения обстановки на месте! У нас это быстро: денег не жалеют... Хо-хо-хохо!.. Там есть такой Restaurant de Paris *: пальчики оближешь!.. Но — шутки в сторону. Благо вы сами заговорили о сюжете вашей «Крестьянской войны», — приступим к делу номер второй. Садитесь-ка, батенька, в уголок да послушайте предисловие к вашей опере, которое Кереметев намерен напечатать в программах... Вы ведь знаете это наше обыкновение: предлагать публике руководящие статьи к спектаклю? Кереметев мастак по этой части и очень гордится своим мастерством, хо-хо-хо-хо!.. Но старик самолюбив, как черт, и — ошибок боится, а замечаний не выносит. Один я умею кое-как его облаживать. Так вот и послушайте, кормилец вы мой. Если наш энциклопедист великий — хо-хо-хо-хо! — что-нибудь напутал или наврал, так уж вы лучше меня предупредите, а я его наведу... А то — напрямик-то с ним вам нельзя: задарма поссоритесь... А Кереметев — не на сегодня только вам пригодится... и напредки человек, хо-хо-хо-хо! — нужный. Ох, нужный молодому композитору человек главный режиссер!.. Нужный!.. Хо-хо-хо-хо!

— Но, Мартын Еремеич, — робко напомнил Нордман, — вы же говорили, что меня ждет Поджио?

* Парижский ресторан (*фр.*)

Мешканов отмахнулся рукою.

— Он свои полотнища три часа развешивать будет... Пусть один посмакует! Он vis-a-vis * со своею мазнею во сто лет не соскучится... Успеем к Поджио! Вы кереметевского творчества послушайте...

Фра Дольчино и дольчинисты
Вступление
к новой опере Э.К. Нордмана «Крестьянская война»
Очерк главного режиссера N - ской городской оперы «Дирекция Е.С. Савицкой». Захара Венедиктовича Кереметева

Действие оперы Э.К. Нордмана переносит нас к концу XIII и к первым годам XIV века, в эпоху, когда рост пролетариата и мистическое настроение народа в Италии и Провансе вызывали к жизни коммуны нищенствующих монашеских орденов и как дальнейшее их развитие и необходимую идейную поправку к ним — еретические учения, отрицавшие собственность. Среди сект, возникших именно на таких началах, примечательна коммуна так называемых «патаренов» или «апостольских братьев». Слово «патарен» — производное от pates, старое полотно, лохмотья, обозначает — «тряпичник», и уже с XI века термин «патария» употребляется в итальянских летописях для характеристики брожений в низшем сословии...

— Хо-хо-хо-хо... Тут Захар козыря пустил — филологией блеснул: понимаете?

...В XII веке патаренами называли в Италии валденсов и других еретиков. В XIII веке название это перешло на апостольских братьев. Основателем секты явился около 1260 года некто Герардо Сегарелли из деревни Альзано, близ Пармы...

— Позвольте, однако, — я что-то не помню такого в опере!.. Кто у нас его поет?

— Да его нету у меня... Это был, знаете, учитель Дольчино...

---

* Лицом к лицу (*фр.*).

— Ага! Учитель!

...Последователи Сегарелли, подобно первым христианам, называли друг друга братьями и сестрами; они жили в строгой бедности и не должны были иметь ни собственных домов, ни запасов на другой день, ни чего-либо, служащего для удобства или наслаждения. Когда у них пробуждался голод, они просили первого встречного о пище и ели все, что бы им ни дали Богатые люди, вступая в секту, должны были отказаться от своего имения и предоставить его в общее пользование братства...

— Вот бы Силе Кузьмичу Хлебенному предложить... Хо-хо-хо!

...Брак им воспрещался. Братья, идущие в мир для проповеди покаяния, имели право водить с собою сестру, по примеру апостолов; но спутница должна была служить им помощницею, а не женою. Они называли таких спутниц своими сестрами во Христе и упорно отрицали обвинение, будто находятся с этими женщинами в брачном или нечистом сожительстве, хотя, презирая соблазны страсти, даже спали вместе, на одной постели...

— Хо-хо-хо-хо... Ну наша Машка Юлович такого экзамена не выдержала бы!..

...Сегарелли в 1294 году был арестован, и в 1300 году его сожгли. Место его занял Дольчино...

— Primo baritono assoluto... * сиречь — подымай выше! — сам Андрей Викторович Берлога!

...Дольчино из Брато, близ Верчелли, сын священника Джулио Торпиелли...

— «Священника» мы зачеркнем, а поставим «патера»... хо-хо-хо-хо!.. Не правда ли? А то у нас цензура — крюк: к сло-

* Абсолютно низкий баритон... (*um.*).

вам так и цепляется... Все равно, что поп, что батька, но нужен «патер», священник не годится!

...Отец готовил Дольчино к духовному званию, и в ранней юности мы видим Дольчино послушником в францисканском монастыре в Тренто. Здесь он примкнул к крайней аскетической группе францисканцев, к «фратичеллам», чрез них ознакомился с учением апостольских братьев и в 1291 году примкнул к этой секте, отдав ей весь юный пыл своей пламенной души. Он отказался от пострижения и вышел из монастыря. Именно в это время он познакомился с Маргаритою Трентскою...

— Очаровательная директриса, пред портретом коей вы, maestro, изволили сейчас мечтать...

...С Маргаритою Трентскою, тоже монахинею в монастыре св. Екатерины. Все летописцы единогласно восхваляют мощную красоту Маргариты и Дольчино, красоту, у обоих соединенную с высоким умом, бескорыстным энтузиазмом, смелостью и решительностью. Чтобы сблизиться с Маргаритою, Дольчино поступил работником в ее монастырь, склонил ее к своим взглядам и наконец убедил бежать с ним...

— Действие первое!

...С тех пор они до самой смерти вместе боролись за общее дело. Противники утверждали, что они были связаны браком, хотя и незаконным, но сам Дольчино говорит, что они всегда оставались лишь братом и сестрою...

— Для Андрюши такая выдержка характера маловероятна, ибо бабник — черт, но для почтеннейшей Елены Сергеевны — идеал!

...Дольчино вывел апостольских братьев из статического состояния мирной проповеди и перевел в динамическое: провозглашая необходимость вновь ввести повсюду быт и образ жизни первых апостольских общин, он вступил в союз с обнищалыми, доведенными до отчаяния, безземельными крестьянами Пьемонта и в 1303 году поднял знамя вооруженного восстания против церкви, государства и общества. Он овладел крепостью Гаттинара близ Верчелли и оказался главою пятитысячной армии фанатиков.

Женщины, под предводительством Маргариты, также взялись за оружие и сражались, как львицы...

— Финал второго действия... «Бог свободы! освяти наши мечи!» Ах, Эдгар Константинович! Не люблю говорить комплиментов в глаза, а уж больно здорово у вас вышло... «Вильгельм Телль», «Гугеноты» — все это, в сравнении с вашим финалом, просто писку подобно! Страсть!

...Епископ Райнери Верчелльский...

— Бас, — ибо главный злодей... Ромуальд Фюрст!.. И отчего это, право, все оперные злодеи басами бывают? Знаете: он, Ромка, ведь самый кроткий и почтенный человек на свете, но столько мерзавцев изображал на своем веку, что у него теперь даже и глаза навсегда скосились по-злодейски, на обе стороны. Хо-хо-хо-хо!

...И епископ Наваррский...

— Злодей характером пожиже, а потому только тенор — Карапет Самирагов...

...В союзе с дворянством и городами выслали против дольчинистов могущественную армию, но Фра Дольчино разбил ее наголову. Напрасно побежденные склоняли его на мир, подкупая лично его местом кондотьера, т.е. предводителя наемных войск города Верчелли. Дольчино с презрением отверг предложенную сделку. Тогда папа Климент V организовал против мятежников крестовый поход. Участь патаренов была решена. Однако блестящий военный талант Фра Дольчино и фанатизм его товарищей затянули войну на пять лет. Последовательно сжимая дольчинистов железным кольцом, крестоносцы наконец загнали их в глубь Альп, на Монте-Рубелло, где злополучным патаренам суждено было перенести ужасы беспощадной осады, о которой великий Данте, с заметным сочувствием к дольчинистам, упоминает в своей «Божественной комедии», заставляя пророка Магомета произнести в XXVIII-й песне «Ада» речь такого содержания:

Or di' a Fra Dolcino dunque, che si armi,
Tu, che forse vedrai il sole in breve,
S' egli non vuol qui tosto seguitarmi,
Si di vivanda, che stretta di neve
Non rechi la vittoria al Noarese,
Che attrimenti acquistar non saria lieve *.

Так вот, — о ты, который, быть может, скоро увидит свет солнечный, посоветуй от меня Фра Дольчино, чтобы он, если не хочет быстро за мною последовать сюда же, то хорошо запасся бы оружием и провиантом, дабы зимние лишения не предали в руки Наварца победу, которую стяжать иначе будет нелегко.

Мешканов щелкнул языком и подмигнул глазом:

— Опять козырь! Литературности подпустил Захар... Знай наших! Хо-хо-хо-хо!

...Апостольские братья были так истощены, что походили скорее на полусгнившие трупы, чем на живых людей. И, однако, крестоносцы осмелились штурмовать осажденных лишь после того, как некоторые перебежчики сообщили, что дольчинисты от слабости почти не способны уже владеть оружием. 26 марта 1307 года укрепления Монте-Рубелло были взяты штурмом. Это была бойня, а не бой. Осажденные отказались просить пощады, и началась чудовищная резня людей, большинство из которых не могло даже стоять на ногах. Из 1900 человек, продержавшихся до конца, почти все были убиты, немногие бежали и лишь несколько человек было взято в плен. В числе пленных были Дольчино и Маргарита. Епископ велел щадить их, находя, что быстрая смерть на поле битвы для них — слишком слабая кара.

— Чем и кончается действие третье...

---

* Скажи, Дольчино, если вслед за Адом
Увидишь солнце: пусть снабдится он,
Когда не жаждет быть со мною рядом,
Припасами, чтоб снеговой заслон
Не подоспел наварцам на подмогу;
Тогда нескоро будет побежден (*ит.*). *Пер. М. Лозинского.*

...Но напрасно епископ старался заставить пленных еретиков угрозами и пытками отказаться от их учений. Дольчино и Маргарита стойко вынесли все ужасы застенка, назначенные им свирепым судьею. Верующая женщина не испустила ни одного крика боли, ни слова жалобы или злобы не вырвалось из уст могучего пророка. Им перебили кости, вывихнули суставы, их кололи спицами, рвали мясо клещами, — они терпели, стиснув зубы, молчали и не отреклись. 2 июня 1307 года Дольчино был сожжен на костре в Верчелли. Маргариту осудили присутствовать при казни любимого человека. Еще раз. и снова напрасно, обоим предложили отречься, а потом, чтобы увеличить мучения несчастного Дольчино, наемники схватили Маргариту и, поставив ее на возвышение против костра, на котором умирал ее друг, вождь и пророк, пытали ее и издевались над нею. В опере Э.К. Нордмана обе казни героев, Дольчино и Маргариты, совершаются одновременно. В действительности Маргариту сожгли позже, в Биелле. Как ни запуган был народ кровавою расправою с патаренами, все же бестрепетный героизм гибнущих вождей апостольского движения снова взволновал массу, крестьяне восстали, и надо было дать им целое сражение, чтобы получить возможность публично казнить Маргариту. Когда она стояла на эшафоте, один нахал из знатного рода осмелился дать несчастной пощечину... Толпа разорвала негодяя в куски...

— А вы знаете, что Тунисов ни за что не соглашается петь этого самого нахала? Хо-хо-хо-хо! Помилуйте, говорит, что это за роль? Вся публика тебя ненавидит... Еще в самом деле в куски разорвут! Это, говорит, со стороны Берлоги — одна зависть и интрига... Хо-хо-хо-хо!

...Память о крестьянской войне, поднятой апостольскими братьями, долго жила в народных песнях не только Пьемонта, но и всей Италии. Еще в 1363 году церковный собор в Латуре должен был издать особый закон против последователей Дольчино, размножившихся на юге Франции. А в 1372 году папе Григорию XI пришлось воспретить грозною буллою почитание праха фратичеллов и дольчинистов: народ — особенно в Сицилии — поклонялся им, как мощам. Так сбылись вещие слова, которыми — в могучем дуэте на смертном костре — Дольчино и Маргарита заключают прекрасную оперу Э.К Нордмана:

Не бойся погибнуть! Смерть — начало жизни!
Огонь очищает! Умрем, чтобы победить...
Из нашего пепла Феникс воскреснет
И к небу пламенным облаком взлетит!

Последние два стиха Мешканов громко пропел полным голосом и, складывая прочитанную рукопись вчетверо, посмотрел в глаза композитору значительно и даже строго:

— Ах как дает эти слова Андрюшка! Ах как он их дает!.. То есть — просто, кажется, за все тринадцать лет я еще не слыхал от него ничего лучше, чем он этого вашего Дольчино изображает теперь на репетициях... По душе ему пришлось!.. Воображаю, что будет на спектакле! Вот — покажет! вот — доложит!.. Эх, счастливцы вы, господа молодые композиторы, что работаете, когда на свете есть вот этакий Андрей Берлога!

Нордман не отвечал. Глаза его смотрели в одну точку, лицо было экстатическое. Сквозь голову его бурею мчался полифонический вихрь голосов, хоров, оркестра:

Не бойся погибнуть! Смерть — начало жизни!
Огонь очищает! Умрем, чтобы победить...
Из нашего пепла Феникс воскреснет
И к небу пламенным облаком взлетит!

II

В то время как Нордман и Мешканов изучали рукопись о «Крестьянской войне», в режиссерском кабинете кипел горячий спор. Андрей Берлога — огромный, вихрастый, нервный, в синеве по бритым щекам — ходил по комнате, как лев встревоженный, ставя то на стол, то на стул, то на этажерку, то на полку книжную, то на бюро новые и новые столбики папирос, которые он забывал курить, и они бесполез-

но сгорали или угасали у него в руке. Мориц Раймондович Рахе — чистый, опрятный, маленький, с симпатично некрасивым, пожилым лицом в кустах исседа-рыжей бороденки и редких волос, тоже музыкально лобатый, как Нордман, с глазами неопределенного цвета и выражения, завешанными непроницаемым спокойствием внешнего холода — скрытым «не тронь меня», — сидит, поджав ноги, на кожаном диванчике, будто мерзнет. Ежится, курит толстую и очень ароматную сигару и, — всякий раз, что Берлога поднимает голос, — Рахе посматривает на закрытые двери кабинета с очень заметным неудовольствием.

Берлога. Как тебе угодно, Мориц, но мое последнее и решительное суждение, что Елене Сергеевне не следует браться за эту партию.

Рахе. Лубезный Андрей, прежде на все одолжай мне говорить тихо. Вы, певцы, immer * запомняете, что имеете поставленные голоса. Ти громляешь, как валторна. Мы не одни и не в лесу. Я весьма возможно даже, что Елена уже на театр. Одолжай мне говорить тихо. Я не желаю иметь eine grosse ** домашняя неприятность.

Берлога. Черт возьми! Друзья мы или нет? Товарищи мы или нет? Мы трое — ты, я, Елена Сергеевна — работаем тринадцатый год, как дружная тройка, съезженная в одной упряжке. Мы вместе боролись против старых рутин, предубеждений, насмешек, равнодушия толпы. Вместе переживали трудные минуты и скользили над пропастями краха. Вместе победили, пришли к успеху и создали этот театр. Слава нашей оперы гремит по свету, как единственной, которая сумела поднять лирическую сцену на высоту общественного дела. Неужели после таких двенадцати лет я должен прятать от вас свои искренние мыс-

* Всегда (*нем.*).
** Большую (*нем.*).

ли и не могу сказать любимым, старым товарищам открыто и прямо в глаза: не делайте, братцы, того-то и того-то, — оно у вас не выходит?!

Р а х е. Не можешь, Андрей. То есть — можешь, но не надо.

Б е р л о г а. Странно и... не ожидал!

Р а х е. Двенадцать лет большой срок, mein lieber* Андрюша. За двенадцать лет... М-м-м-м... Ти мне будешь делать большое удовольствие, если перестанешь совать окурок на твоя папироса в мой портфейль...

Б е р л о г а. О черт!.. Извини, пожалуйста... Вечно оскандалюсь!

Р а х е. За двенадцать лет дети вырастают, а родители стареют. Наше дело выросло, а мы постарели. И... и никто не любит, чтобы другой человек говорил ему, что он уже есть старый. Тем более женщина, артистка. И — какой артистка!

Б е р л о г а. Ты, Мориц, приписываешь мне странные мысли. Как будто я хочу унизить Елену!.. Я уважаю и люблю ее не меньше, чем ты сам, поверь мне. И то что ты говоришь о старости, для меня звучит дико, — какою-то скверною новостью... Конечно, может быть... воды утекло много!.. Вон и у меня тоже действительно по вискам серебряные нитки пошли...

Р а х е. Никогда не следует класть зажженная спичка в свой карман. От этого твой пиджак получает дырку.

Б е р л о г а. Действительно, получает.... даже уже получил... Жаль: пиджак новый... Материя английская, дорогая, хорошая...

Р а х е. Я удивляюсь, как ти еще ни разу не устроил себе пожар?

Б е р л о г а. Я, брат, и сам удивляюсь... Должно быть, у нашего брата, разинь, есть свой бог, который нас бережет. Но — к черту!.. Ты говоришь: старость!.. Старость!..

---

* Мой дорогой (*нем.*).

Брр... как звучит скверно!.. Старость!.. Но я не замечаю! Представь себе, я не замечаю!

Р а х е. О, ти имеешь один свой великий талент на сцена, но никакой для жизнь. Ти никогда ничего не замечаешь вокруг себя, потому что ти есть отвлеченний. Ти думаешь толко на твой собственный звук, ти мечтаешь только на твой тип для твоя роль, ти не видишь и не слышишь, как живем рядом с тобою мы, другие люди, deine Kameraden *. Это очень счастливо für die Art ** и очень несчастно на твой жизнь, на твоя дом... und für uns andere auch! ***

Б е р л о г а. Нотация, Мориц?

Р а х е. Андрей! Будем... Oh, Teufel! *1 когда я волнуюсь, я должен терять всякая память на русский язык. Будем... н-ню, как это по-русску? — conséquent? *2

Б е р л о г а. Последовательны.

Р а х е. Du hast Recht *3. Последоваем, Андрей. Ти находишь себя правым сказать Елене Сергеевне, что она не годна петь оперу Нордмана. Gut *4. Я нахожу себя правым сказать тебе, что это не товарищеский.

Б е р л о г а. Мориц! Я не узнаю тебя!

Р а х е. Не товарищеский!

Б е р л о г а. Хорошо, Мориц. Хорошо. Будем conséquent. Хорошо. Так вот — ежели так — я, артист Андрей Берлога, заявляю тебе, как своему директору и капельмейстеру, что на будущей неделе я намерен петь Лоэнгрина... Согласны вы, caro maestro? *5

---

* Твои друзья (*нем.*).

** Для искусства (*нем.*).

*** И для нас остальных тоже! (*нем.*)

*1 О, черт! (нем.)

*2 Последовательны? (*фр.*)

*3 Ты прав (*нем.*).

*4 Хорошо (*нем.*).

*5 Дорогой маэстро (*ит.*).

Р а х е. Oh! Nach Jhrem Willen! * Только — ohne ** музик. Лоэнгрин есть один тенор, а ти есть один баритон.

Б е р л о г а. А я, maestro, все-таки вот возьму да и спою?

Р а х е. Oh! Nach Jhrem Willen! Только — ohne музик. Потому что я буду клал моя палочка, надевал моя цилиндр и уходил mit ganzem Orchester *** играть полька для шелопаев на бульвар.

Б е р л о г а. Нахожу тебя совершенно правым и — восхищаюсь вашим гражданским мужеством, mein Herr! Остается удивляться, что ты рассуждаешь иначе, когда твоя жена берет на себя партию в опере Нордмана!

Р а х е. Oh! Meine Frau! Lass mich in Ruh' mit meiner Frau! *[1] Это меня уколяет. В искусство нет madame Paxe, meine ehrliche Frau *[2]. Есть Елена Сергеевна Савицкая, первый lyrisches сопран в России, — может быть, im ganzen Europa *[3], может быть, на весь земной шар.

Б е р л о г а. Так лирическое же сопрано, Мориц! Лирическое! А разве для этой Маргариты Трентской лирическое нужно? Смешно!

Р а х е. Она имеет свое право. Оставляй судить публикум. Не твое дело. Она имеет свое право.

Б е р л о г а. Такое же, как я на Лоэнгрина!

Р а х е. Nein, nein *[4]. Ти не имеешь свое право петь тенор, когда ти есть баритон, а Елена Сергеевна имеет свое право петь сопран, ибо она есть сопран. Оставляй судить публикум!

Б е р л о г а. Это уж пошла немецкая юриспруденция!

---

* О! Как пожелаете! (*нем.*)

** Без (*нем.*).

*** Со всем оркестром (*нем.*).

*[1] О! Моя жена! Оставьте меня в покое с моей женой! (*нем.*)

*[2] Моей честной жены (*нем*).

*[3] Во всей Европе (*нем.*).

*[4] Нет, нет (*нем.*).

Р а х е. Оглядаясь назад, я могу сказать тебе на одно ухо, что также нахожу Елена Сергеевна слабою. Aber was darf ich? *. Во-первых, она сама выбрала себе свою партию.

Б е р л о г а. Мало ли что человек может сам себе выбрать! Личная прихоть должна молчать, когда говорят интересы искусства.

Р а х е. Во-вторых, она имеет на партию законное право, ибо сопран есть сопран.

Б е р л о г а. А немец есть немец!

Р а х е. В-третьих, сам компонист доволен.

Б е р л о г а. Нашел доказательство! Мальчишка ставит свою первую оперу и так счастлив, что для него у нас в театре уж и теней не осталось, — сплошной свет: все прекрасно и восхитительно. Он смотрит на нас, как на полубогов, снизу вверх и даже не подозревает еще, что истинный-то бог живых вдохновений именно в нем сидит, его грудью дышит. Ты посмотри на него в театре: он весь восторг и благоговение, — полное отсутствие критики. Только конфузится, улыбается всем направо и налево от полноты чувств и радостно созерцает. Машенька Юлович не остережется, всем своим голосищем в соседний тон ляпнет, — он лишь изумленно брови свои золотые поднимет: что это богиня-то как будто хватила из другой оперы? А замечание сделать — ни-ни! С богами, мол, имею дело, — боги лучше знают, что и как надо. Нет, ты на Нордмана не ссылайся. Хороши были бы мы, если бы предоставили Нордману судьбу его оперы? Вдохновенный мальчик создал нам богатейший материал, — и довольно с него: дальше — наше дело!

Р а х е. Для меня в искусство нет мальчик. Нет годы, нет мальчик. Есть опер, есть компонист. Кто может написать из

* Но что я могу? (*нем.*)

своя голова большая опер, тот уже не есть мальчик. Herr Нордман написал eine wunder-schöne Oper *, — я имею трактовать его как компонист.

Б е р л о г а. У! Сухарь! Человек в футляре! Форма застуженная!

Р а х е. Можешь auch ** прибавить deine *** любимая «колбаса»: я на тебя не обижайный... Und das vierte, und letzte... *1

Б е р л о г а. Ах, еще есть и letzte?

Р а х е. Если бы Елена Сергеевна даже отказалась и возвратила партию, мы не имеем певица ее заменять. На кого ти можешь предложить Маргарита Трентская? На Матвеева? На твоя Настя? Lächerlich! *2

Б е р л о г а. Вот еще великое несчастье нашего дела, Мориц. Двенадцать лет ему минуло, а работаем-то по-прежнему все мы, да мы — одни, те самые, которые положили начало... Леля, ты, я, Кереметев, Мешканов, Поджио, Маша Юлович, Саня Светлицкая, Ромка Фюрст. Я сейчас, как поднимался по лестнице, афишу «Фауста» видел. Ведь это же ужас! Как только еще публика к нам ходит? Пустыня! Бездарности с трубными голосами, крохотные комнатные дарованьица без голосов. Нам нет смены, мы в рамках, у нас нет выбора.

Р а х е. Артистические, как по-русску? — Gestirne? *3 — не рождаются каждый день.

Б е р л о г а. Нет, Мориц. К нам приходили талантливые силы. Я могу напомнить тебе много имен. Но — приходили, не получали работы, уставали быть школьника-

---

* Превосходную, дивную оперу (*нем.*).

** Также (*нем.*).

*** Твоя (*нем.*).

*1 И четвертые, и последние... (*нем.*)

*2 Смешно! (*нем.*)

*3 Светило? (*нем.*)

ми, скучали и уходили... Мы не умели, мы не хотели их удержать.

Р а х е. Lieber * Андрюша, что же мы можем делать с публикум? Он не хочет другой баритон, как ты, другой сопран, как Елена Сергеевна. Большие деревья убивают своей тенью молодой... м-м-м... Gebüsch... ** кустаркин! Я люблю искусство и желаю ему идти immer *** вперед, но мы не можем снимать с себя свои штаны, чтобы обращать unser Opernhaus в ein Conservatorium...*1 Und du auch ...*2 Ти тоже есть весьма виноватий.

Б е р л о г а. Я?! Ново!

Р а х е. Ти — наше солнце, ти — наш любовь, ти — наше... сукр... сукр... Teufel!..*3 наше сокровищнице. Ти вистроил весь наш репертуар. Ти — душа дела. Теперь припоминай себе немножко, пожалуйста, was fur eine *4 морда ти показал мне всякий раз, когда я давал тебе другая примадонна, а не Елена Сергеевна?

Б е р л о г а. Да, — если она на сцене понимает меня как никто? Если она своею холодною, умною, внимательною мыслью ловит на лету каждую мою мысль, каждую мою интонацию, каждое намерение жеста и голоса? Елена Сергеевна, когда мы вместе на сцене, — мое второе «я». Мы с нею в дуэте, как парные лошади в дышле: на унос! Она меня дополняет и вдохновляет. Она досказывает недоговоренное мною, я — ею...

Р а х е. So! Prachtvoll! Ausgezeichnet! *5 И за всем тем ти делаешь мне свой каприз und eine schreckliche сцена, для чего она поет с тобою на опера Нордман!

---

* Дорогой (*нем.*).

** Кустарник... (*нем.*)

*** Всегда (*нем.*).

*1 Наш оперный театр в консерваторию... (*нем.*)

*2 И ты тоже... (*нем.*)

*3 Дьявол!.. (*нем.*)

*4 Что за (*нем.*).

*5 Так! Великолепно! Отлично! (*нем.*)

Берлога. Согласись, Мориц, что это — в первый раз за двенадцать лет!

Рахе. Но не в последний, Андрей. О! Стоит только начать... Не в последний!

* * *

— Можно?

Мешканов постучал и приотворил дверь.

— Bitte, bitte... Ohne Komplimente! *

Мешканов вошел.

— Да, знаем мы вас: ohne Komplimente... Войди без спроса в недобрый час, — так шугнете, хо-хо-хо-хо, — не знай, как и выскочить! Я к вам, достоуважаемый шеф и maestro, от друга нашего Александры Викентьевны Светлицкой с напоминанием, что вы имеете десять минут опоздания...

— Teufel!

Рахе спустил ноги с диванчика, положил сигару и, достав привычною рукою с полки клавираусцуг, принялся листать его, медленно следя нотные полосы сквозь золотое pince-nez.

— Что она репетирует, милейший Светлячок? — спросил, присаживаясь на подоконник, в табачном дыму, Берлога.

— Нет, это не она... — отозвался Рахе. — Она ученицу свою привела... Беседкина, Соседкина, Наседкина... eine unmogliche ** фамилия для сцена... Я делал ей одна проба с фортепиано, и мне казалось, что diese *** Наседкина имеет способность... Sehr grosse Stimme!..*1 Н-ню, я назначал ей две арии и один дуэт из «Мефисто» на сцене mit Orchester *2. Если сойдет хорошо, можно будет

---

* Пожалуйста, пожалуйста... Без церемоний! (*нем.*)

** Невозможная (*нем.*).

*** Эта (*нем.*).

*1 Очень сильный голос!.. (*нем.*)

*2 С оркестром (*нем.*).

взять ее на вторые роли. Unsere * Саня за нее очень хлопочет...

Берлога и Мешканов переглянулись с тою двусмысленною, нечистою улыбкою, которая у людей этой оперной труппы появлялась всегда, когда заходила речь об ученицах или учениках Светлицкой, пожилой певицы, известной по сплетням о разнообразии ее тайных пороков едва ли не больше, чем даже своим прелестным, мягким контральто.

— Эта госпожа Колпицына, — насмешливо сказал Берлога, — у нее как? Из платящих или из хорошеньких?

— Должно быть, из платящих, — загрохотал Мешканов, — потому что физиомордия не из значительных: так, всероссийская лупётка общеустановленного образца. Я, впрочем, ее все мельком видел, во мраке кулис или на сцене без рампы... Фигура, кажется, есть, и телеса в изобилии...

— Не для меня!

Берлога скорчил гримасу. Мешканов продолжал.

— И все конфузится и ахает... Говорит больше шепотом и, что ни скажет, потом ахнет: «Ах, что я? Ах как я? Ах какой вы? Ах, разве можно? Ах, я не так? Ах, я этак?..» Из купеческих дочерей; идет на сцену по случаю родительской несостоятельности. Образование получила в благородном пансионе с музыкою. Оттуда, надо полагать, и почерпнула эту свою столь великую невинность, что даже в собственный пол не верит...

Рахе, улыбаясь, обернулся к Берлоге от дверей, с клавираусцугом под мышкою:

— Ти, новатор, реформатор, искатель новых чудес! Не хочешь ли пойти со мною — послушай, посмотри, какие они бывают, эти приходящие к нам новенькие... Schreklich... ** Eine угнетенная невинность, и вульгарна, как горничная!

---

* Наша (нем.).

** Ужасно... (*нем*)

— Маша Юлович была когда-то и в самом деле горничною!

— И какой школа! Oh, mein Gott*, какой дурацкий школа! Этой Саня Светлицкой надо законом воспретить учить пению! Никакой понятия о классический метод.

Берлога рассмеялся.

— Мориц! Пощади: ты знаешь, что я сам учился петь что-то вроде трех месяцев с половиною, да и те считаю потерянными для карьеры.

— О, ти! ти!.. — даже как будто вспылил слегка Рахе. — Что ти всегда толкаешь мне в глаза со своим ти? Ти поступал очень скверно, не приобретя классический метод, aber ein solcher**. Берлога имеет свое извинение не знать классический метод... Aber — ein Берлога!.. А которая не есть Берлога, получает обязанность изучать классический метод. Без классический метод — keine Musik!*** Нуль! Мыльный пузырник! Артист не есть артист, и артистка не есть артистка!

Он торжественно поднял указательный палец.

— Елена Сергеевна имеет классический метод!

— Кто же в этом сомневается? — проворчал Берлога, сразу став не в духе, как человек, которого неловким напоминанием возвратили к неприятным мыслям.

Рахе, смотря на него остро и проницательно, кивнул головою и повторил:

— So!*1 Она классический метод имеет!

* * *

Старая опытная театральная лисица, Мешканов сразу понял, что между столпами дирекции произошло объяснение не из веселых, догадался и о причинах, вызвавших объясне-

---

* О, мой Бог (*нем.*).

** Но такой (*нем.*).

*** Никакой музыки! (*нем.*)

*1 Так! (*нем.*)

ние. С дипломатически скромным лицом — «моя хата с краю, ничего не знаю» — открыл он бюро и уселся разбирать какие-то ведомости и записки.

— Репертуарчик изволили получить? — не глядя, спросил он Берлогу.

Тот продолжал громоздиться на подоконнике, как монумент, хмурый, мрачный и все более обставляясь недокуренными папиросами.

— Заняты на этой неделе три раза. Во вторник — «Борис Годунов», в четверг — «Вражья сила», а в воскресенье имеете изображать Демона Лермонтова, который был человек чувствительный, хо-хо-хо-хо!..

— И при этом каждый день репетиции оперы Нордмана?

— Tu l'as voulu, Georges Dandin! *

— Недурно! Дирекции на меня жаловаться не приходится: даром хлеба не ем. Как у нас сборы?

— Битком. Если теперь еще будет иметь успех «Крестьянская война»...

— Конечно, будет! — почти вскрикнул Берлога и, швырнув папироску на пол, порывисто встал, руки в карманы. — Надо быть ослами, идиотами, чтобы не понять этой музыки. Нордман — гений, Мешканов!

— Да ведь что же-с — гений? — возразил режиссер, зарываясь в бумаги. — Что же-с гений? Гений в искусстве есть говядина без соуса... вещь прекраснейшая, но трудно приемлемая, а в большом количестве даже и нестерпимая-с. Зависит — как приготовить и подать... Очень может быть, что господин Нордман действительно гений: я, знаете, как раньше никогда не видал живого гения, то степеней сравнения не имею и судить не могу. Ну а все же я больше на вас уповаю, Андрей Викторович, на ваше участие... Поджио тоже с большою любовью работает... А при всем том, ежели чи-

* Ты этого хотел, Жорж Данден! (*фр.*) В знач.. виноват сам — пенять не на кого.

стую правду говорить... хо-хо-хо-хо!.. вы меня не предадите, милый человек?

— Валяйте, — отозвался, глядя на землю, угрюмый Берлога.

Мешканов подмигнул и жалобным, гнусливым голосом протянул:

— Примадонночку-то для Маргариты Трентской нам надо бы посильнее!

Берлога резко повернулся к нему спиною.

— А я что говорю?!

Мешканов тараторил:

— Не вытягивает наша Лелечка. Нет! Добросовестность образцовая, искусства, ума и старания много, но... Изабелла ослабела! Кишка тонка! Сразу слышно: хорошо поешь, барыня, но не за свое дело взялась... Помилуйте! Финал-то второго акта? А?

Берлогу даже передернуло.

— Э! Не раздражайте меня, Мешканов.

— «Бог свободы, освяти наши мечи!» — пропел режиссер, чуть не с волчьим каким-то аппетитом фанатика-меломана, смакуя широкую мелодию. — Ух, чего у него там в хорах и в оркестре понапихано! Trombi! Tutti! * Сто сорок fortissimo **, сбор всех частей в одно вавилонское столпотворение! Трясется земля, колеблются стены и — и «обрушься на меня ты, вековое зданье!» Хо-хо-хо-хо!.. Тут примадонна должна всех вас верхами прихлопнуть и весь театр на воздуси поднять. Львица должна слышаться, львица-с! А у Лелечки оно выходит больше на манер огорченного котенка!

— Не расписывайте, Мешканов. Знаю не хуже вас, что идем на авоську. Но — если нет другой примадонны? На нет и суда нет.

— Конечно-с. За неимением гербовой, хо-хо-хо-хо, пишем на простой. А только очень жалко. Опера хороша.

---

* Трубы! Все! (*ит.*)

** Очень громко (*ит.*)

Берлога возразил значительно и грустно:

— Не в том только суть, Мешканов, что опера хороша. Мало ли хорошей музыки пишут на свете? Важно, что это наша опера, Мешканов. Наша опера, — вот этого нашего дела, вот этого нашего театра. Я в ней слышу наш плод, она наше законное достояние, она наше гениальное дитя. Вот в чем сила. Мы именно такой оперы двенадцать лет ждали.

— И другой, подобной, еще столько же прождем, — подхватил Мешканов. — То-то и жаль, что мы не во всеоружии... Конечно, в конце концов, Елены Сергеевны воля — хозяйская: директриса!..

Он ухмыльнулся с досадою неудовлетворенного знатока.

— То же и в финальном дуэте вашем, когда вас вдвоем на казнь-то ведут...

— Что еще в дуэте? — встрепенулся Берлога.

— Слышно: нельзя вам разойтись вовсю, не пущает Лелечка, расхолаживает.

— Слышно? — переспросил испуганный артист, машинально повторяя вполголоса знакомую фразу:

Из нашего пепла Феникс воскреснет
И пламенным облаком к небу взлетит...

На любимые бархатные звуки Мешканов даже зажмурился, как кот, которого пощекотали за ушами.

— К сожалению, очень слышно-с... Одному-то Фениксу публика очень верит, что он взлетит к небу пламенным облаком, ну а другой... хо-хо-хо! — того-с: застревает, наподобие баллон-каптива... Я ваш темперамент знаю. Такие дуэты для вас преопасные. Вскочит вам пламя в голову, рванете нутромто, — ау! что тогда от Лелечки останется? А с опаскою, с оглядкою, на узде — оно не весьма-с!.. Хо-хо-хо-хо... холодновато... бледненько выходит...

— Сам знаю, — мрачно огрызнулся баритон. — Не злите меня, Мешканов.

Режиссер выпучил свои шарообразные голубые глаза, выпятил трубою толстые губы.

— Не вуле? Ком ву вуле! *

— В среду у нас «Роберт-Дьявол», — невинно-деловым тоном сообщил он, помолчав.

Берлога сердито дернул плечом.

— В двадцатом веке кормят публику огорчениями чувствительного черта от родительской нежности! Кому это надо?

— Ничего, побалуемся. Сбор хороший. Елена Сергеевна чудесно изображает арию с птичкою, — от птички не отличишь! — а Кереметев недаром же читал целое лето книги по магии и тому подобное: надо ему просветить публику, каков бывает настоящий ад, черти, дьяволы, суккубы, инкубы, лемуры, ламии и прочая средневековая нечисть...

— Тьфу!.. В Изабелле кто же, — моя Настасья отличаться намерена?

— Они-с.

— Воображаю!

Мешканов посмотрел на него пристально и насмешливо и запел, вертя плечами и перебирая полы пиджака, как кафешантанная певичка на эстраде:

Ох, мущины — тру-ля-ля!
Все вы хороши!
Эгоисты, фаты,
Нету в вас души!..

— Увазыть дэвиц из города Пэрэмышля, дюша мой, умэишь? — спросил он, коверкая язык армянским акцентом.

— Уметь-то умею, — усмехнулся Берлога.

Мешканов кивнул, моргнул, вздохнул, ударил ладонью по столу:

— Ну и тэрпи!

* Не хотите? Как вам угодно! (*фр.*)

III

Елена Сергеевна Савицкая в театре своем никогда никому не сказала грубого слова. Тем не менее, когда она появляется в своих владениях, все — от важного, седобородого Захара Кереметева до последнего плотника на колосниках — подтягиваются, как на смотру. При всей красоте Савицкой, хороших манерах, вежливости и много раз доказанной сердечности было в ней что-то, от чего в ее присутствии у людей зависимых пробуждался в сердце пренеприятный червячок, точно вот сейчас обратит она к тебе свои светлые очи и пригласит своим гармоническим голосом: «Пожалуйте экзаменоваться». Оперная молодежь откровенно боялась ее, как воплощения ответственности, и не скрывала этого почтительного страха. «Старики», — вроде того же Кереметева или Мешканова, — прятали неловкость под разнообразными масками той условной фамильярности, что в закулисных товарищеских отношениях есть альфа и омега, фундамент и крыша, — спасительный цемент, без которого русскому театральному общежитию и дня пробыть бы нельзя. Когда Елена Сергеевна вошла в режиссерскую, знакомый червячок немедленно укусил и Берлогу, и Мешканова. Берлога вдруг вспомнил о своих окурках и принялся хмуро собирать их всюду, где наставил, а Мешканов возопил:

— А вот и повелительница душ и телес наших!

И полетел к «ручке». А так как ручка была в перчатке, а перчатку надо было снять, на что Елена Сергеевна не слишком торопилась, то Мешканов продолжал приплясывать, кланяться и кривляться:

— Обольстительной, восхитительной, превосходительной и властительной хозяюшке верный холоп Мартынко челом бьет!.. Ну вот мы, наконец, и с ручкою!

Елена Сергеевна, свежая и розовая под синею шляпою, спокойно смотрела на него своими неулыбающимися глазами и говорила:

— А, побивши челом, шли бы вы, верный Мартынко, на сцену: там Нордман скитается в кулисах, как грешная душа в чистилище, и сам скучает, и всем мешает. Он уверяет, что вы пригласили его к одиннадцати часам смотреть декорации, а потом улетели куда-то и о нем позабыли, тогда как сейчас без четверти двенадцать...

Сконфуженный Мешканов схватился за голову.

— Impossibile!.. Pieta, signora!!! * — запел он из «Страделлы». — Спешу, бегу, лечу, скачу... Но, — одну минутку: вы-то сами, distintissima **, уже видели эту декорацию? Ущелье в Альпах Пьемонта — шедевр нашего старца Поджио?

— В мастерской видела. На сцене буду смотреть, когда световые эффекты установятся. Сейчас он их только пробует и выбирает.

— Ух! — тараторил Мешканов. — И закатил же перспективу! Прямо надо сказать: старик превзошел себя. Лесище! Дубище! Корнища! Дупла! Колоды! Вверху на заднем занавесе ледяные вершины горят тихим, таинственным огнем своего хрусталя: совсем как ваши прекрасные глазки, достоуважаемая..

— Благодарю вас. Однако Нордман...

Но Мешканова уже захлестнуло.

— Луна — как черт одноглазый! Рогатая, кровью налитая, и зеленый трупный свет, как на кладбище... Светляки!.. Гнилушки! И рыцари, феодалы-то, феодалы свирепые, мерзавцы-то своей жизни, против которых восстали этот самый Дольчино с Маргаритою... Понимаете?.. Рыцари едут с горной тропы молча, на боевых конях. В кольчугах! В шлемах! Кони железные, люди железные. Топ, топ, топ... Топ, топ, топ... Это мы поставим! Это, я вам доложу, мы с Захаром Кереметевым поставим! Превзойдем самих себя! Умри, Денис, и больше не пиши!

---

* Невозможно!.. Милосердия, синьора!!! (*ит.*)

** Дражайшая (*ит.*).

Елена Сергеевна возразила безразличным голосом, который не понравился угрюмо слушавшему Берлоге:

— Какой счастливец Нордман! Все в его опере собираются превзойти себя: Поджио, Кереметев, Мешканов... Об Андрюше нечего и говорить!

— Да, голубушка вы моя! — возопил Мешканов, — Елена Сергеевна вы моя! Как же не поставить? Ведь вы поймите, кто едет! Смерть едет! Сытая смерть идет походом — топтать и пожирать голодных людей! Каждый всадник должен такой вид иметь, чтобы публика в нем видела вампира общественного: ведь каждый, — один, — по крайней мере, из целого города соки пяткою своею железною выдавливает!.. Возненавидеть их, идолов аккаронских, мы публику заставим! Уже маршем их одним этим ужаснейшим мы ее в бешенство приведем!

— Вы, Мешканчик, сегодня поэт! — заметила Савицкая.

Берлога издали сухо возразил ей:

— От Нордмана. Поэзия — недуг заразительный.

Мешканов не слушал.

— Проехали... Облака клубами, клубами, клубами... Луна ныряет, ныряет, ныряет... Крикнула сова, стонут лягушки, кто-то аукнул, кто-то просвистал... И вот — зашевелились седые мхи... раскрываются, как могилы, пещеры в горах, ямы, норы, землянки... Из-под корней, из расщелин в скалах ползут, как змеи, они... мстители, апостольские братья, восставшие мужики! Ограбленные, голодные! Изнасилованные женщины! Безумные, юродивые дети!.. Лунный свет дробится на косах, на заступах... Ломы, кирки, топоры... Проклятие, проклятие!.. Апостольские братья воют свой волчий гимн. Андрюша гремит, рвет и мечет.... Проклятие папе! Проклятие князьям! Проклятие попам! Проклятие сытым!.. И тут-то вот — женский хор, сестры — как разъяренные тигрицы, и — милости просим на сцену вас, сударыня вы моя! Тут уж ваша работа, красавица вы моя! Тут уже все — вы, вы, вы, Лелечка, вы, ангельская Елена Сергеевна, свет моя!.. «Бог

свободы! Освяти наши мечи!..» Верхнее «до»!.. Матинька вы моя! Ведь это что же? Истерика! Слезы! Крушение небесного купола и обломки вниз черепками!.. Да ведь ежели вы нас не выдадите...

Он опомнился, заметив что Елена Сергеевна смотрит на него в упор странными и неласковыми глазами и с быстрым спокойствием театрального дипломата погасил энтузиазм свой шуткою:

— А впрочем, все сие вышесказанное еще предстоит привести в исполнение. Господин же Нордман, меня ожидающий, наверное, повесился от скуки на колосниках... Хо-хо-хо!.. Почему, лечу вынимать его из петли!.. A rivederla, distintissima! *

* * *

Е л е н а С е р г е е в н а. Андрюша, ты недоволен мною?

Б е р л о г а. Недоволен, Елена.

Е л е н а С е р г е е в н а. За оперу Нордмана?

Б е р л о г а. За оперу Нордмана.

Е л е н а С е р г е е в н а. Мой милый друг, ты знаешь: никто не в силах дать больше того, что он сам имеет.

La plus belle fille du monde
Ne peut donner que ce qu'elle a ** .

Во всяком случае, обещаю тебе: употреблю все усилия, чтобы не ударить лицом в грязь, и сделаю все, на что я в состоянии.

Б е р л о г а. Этого, Елена, не надо и обещать. Я знаю тебя. Ты не только не захочешь, — ты не умеешь, ты уже не можешь быть недобросовестною.

---

* До свидания, дражайшая! (*ит.*)

** Самая красивая девушка в мире
Дает только то, что она имеет (*фр.*).

Елена Сергеевна. Но — тогда?!

Берлога. Я боюсь, что твоя добросовестность здесь обанкрутится. Я боюсь что того, на что ты в состоянии, мало для оперы Нордмана, Леля!

Елена Сергеевна. А! Это уж слишком, Андрей!

Берлога. Как тебе угодно. И — знаешь ли? Зачем начинать разговор? Ты хочешь петь Маргариту Трентскую, ты знаешь, как я об этом думаю, но поешь... Что же спорить? Мы друг друга не убедим... И, наконец, Мориц прав: если ты не будешь петь, опера Нордмана не может идти вовсе, заменить тебя некем.

Елена Сергеевна. Не очень-то лестен для меня этот компромисс твой, друг Андрей Викторович!

Берлога. Недоставало, чтобы я лгать и льстить начал.

Елена Сергеевна. Андрей! Я согласна: твой Нордман — огромный талант. Его опера — вещь исключительная, может быть, даже гениальная. Но бросать в глаза артистке, которая создавала образы Моцарта, Вагнера, Чайковского... да! ты знаешь, ты не посмеешь отрицать, что я создавала! Сколько раз ты сам — со слезами на глазах — становился на колени пред моими созданиями?..

Берлога. Кто же спорит, Елена? Кто же спорит?

Елена Сергеевна. И после того бросать мне в глаза упрек, будто я не могу петь музыки господина Нордмана?! Это... я не знаю, как назвать! Это — каприз! Идолопоклонство пополам с самодурством! Это — безумие!

Берлога. Может быть, Елена. Но, если так, то ведь и все мое служение искусству — безумие. Я двадцать раз уже рассказывал тебе, почему я не пошел во врачи, учителя, адвокаты, ремесленники, но вот — сделался певцом...

Елена Сергеевна. Ну да, отлично помню: тебя толкнул в оперу «Слепой музыкант».

Берлога. Да! «Слепой музыкант»! Великая поэма любви искусства к страдающему человечеству! Она объяс-

нила мне, зачем нисходят в души наши таинственные дары художественного творчества, зачем вспыхивают святые огни талантов и как надо хранить и разжигать каждую драгоценную искру их на пользу и счастие ближнего. Она научила меня, что в человеке — нет ничего своего, и, чем лучше то, что в нем есть, тем меньше оно — его, тем больше принадлежит оно всем и должно служить всем. Человек должен отдать людям лучшее, что в нем есть! Этим строится и живет общество. Ты знаешь: я малый, способный довольно разносторонне. Рисовать, лепить, сочинить стихотворение — я все умею не хуже многих. В университете писал «блестящие» рефераты и вообще «подавал надежды». Я мог выбрать житейскую карьеру, какую хотел, — все пути мне были широко открыты. А я — артист, певец. Только певец. И горд, и счастлив тем, что я певец. И не хочу быть никем иным, как певцом. Понимаешь ли ты меня?

Елена Сергеевна. Понимаю очень хорошо. Потому что и я горда и счастлива. Я сама такая.

Берлога. Да, ты — такая. Ты думаешь об искусстве иначе, чем я, но ты — женщина призвания. Мы умеем понимать друг друга.

Елена Сергеевна. Пора научиться: мы неразлучны двенадцать лет. И сколько вместе пережито!

Берлога. Между нами было все человеческое. Мы были соперниками, подозрительными, недоверчивыми врагами...

Елена Сергеевна. Это прошло.

Берлога. Мы были любовниками...

Елена Сергеевна. Это прошло.

Берлога. Но не пройдет, не должно пройти то, что соединяет нас теперь: мы — сотрудники, мы — единомышленники, мы — творцы огромного общего дела...

Елена Сергеевна. Мы — друзья, Андрей, — слышишь? мы — друзья: вот чему не дай Бог пройти.

Б е р л о г а. Елена! Наше искусство — условное, испорченное, отравленное. В нем мало чистоты. Оно захватано грязными лапами. Миллионы людей десятками лет приучились видеть в нашем искусстве красивую забаву их праздности. Миллионы людей ищут в опере баюкающих звуков, сладких эмоций, интересного кейфа для правильного и успешного пищеварения. И эти миллионы людей находят тысячи других людей, называющих себя композиторами, музыкантами, певцами, покорно готовых по востребованию забавлять торжествующих свиней искусно сложенными звуками в желаемом размере и за соответственное вознаграждение.

Е л е н а С е р г е е в н а. Мы чисты от этого упрека, Андрей. Мы не ухаживали за публикою, не гнались за корыстью, не льстили толпе. Толпа пошла за нами, а не мы за толпой. Мы служили искусству, строгие и взыскательные к себе, как верующие жрецы. Нам не в чем укорять себя пред судом искусства.

Б е р л о г а. Ах, ты все об искусстве!

Е л е н а С е р г е е в н а. О чем же еще, Андрей?

Б е р л о г а. О людях, Елена! О людях — и только о людях! Проклят будь художник, который в самодовольном мастерстве забудет, что вокруг него страдают и ждут его помощи люди!

Е л е н а С е р г е е в н а. Мы делали, что могли.

Б е р л о г а. Да, мы делали, что могли, и, может быть, даже кое-что сделали.

Е л е н а С е р г е е в н а. Мы создали театр, который не имеет себе равных. Мы переломили публику, о которой ты говорил. Мы заставили уважать, как школу и храм, место, куда до нас приходили праздно глазеть, ловить ленивым слухом приятные мотивы, веселиться чужим искусным смехом и слегка щекотать свои нервы чужими искусными слезами. Мы переродили свое искусство, нам подражают, как учителям, во всей России, в Европе... Если ты называешь это «кое-

что», только «кое-что», — ты болен гордостью! Чего еще, чего ты хочешь, Андрей?

Берлога. Когда, выгнанный из университета за политику, студент Андрей Берлога поступил на оперную сцену, горько и злобно издевались над ним бывшие товарищи, с которыми он мечтал искоренять зло мира, перестраивать правовой порядок, переоценивать ценности морали и общества... Толковал, мол, толковал ты, Берлога, о самоотречения, жертвах, о работе на общество, о здании будущего, был ты и социалист, и революционер, а сам — когда пришлось тебе туго — воспользовался глоткою своею семипушечною и ушел в артисты: сел бесполезным дармоедом на общественную шею! И — сколько раз, Елена, в начале своей карьеры обмирал я стыдом и страхом за себя в сомнениях, не правы ли они, не дармоед ли я и бездельник, не прихлебатель ли при толпе, которому платят деньги за широкое горло и мастерство более или менее искусно передразнивать других людей и чужие страсти? И — единственно в чем помогала мне найти свое оправдание взволнованная совесть, это — именно вера, что, сделавшись певцом, я исполнил долг призвания — отдал обществу лучшее, что во мне есть: мой голос и сценический талант. И теперь, значит, надо думать об одном: чтобы голосом и сценическим талантом работать на прогресс и развитие человечества, как литератор работает печатною мыслью, как оратор — словом, живописец — карандашом и кистью, скульптор — резцом... И фанатическая надежда, что — да! я могу это! — поднимала меня из отчаяния, и порою мне казалось, что в меня вселяется кто-то мудрый и могучий, высший меня, как Монблан выше Воробьевых гор, и что это он-то, неведомый, и гремит из меня теми нотами, которые создали мою славу.

Елена Сергеевна. Ты всегда работал вдохновением. В этом и твоя страшная сила, и твоя слабость.

Берлога. Вдохновение! Что такое вдохновение? Когда я люблю идею и весь проникаюсь взрывом страсти к ней,

вот мое вдохновение! Мне надо знать, что тем, что я пою, я делаю дело и заставляю сердца гореть хорошим огнем, — вот мое вдохновение. Я перестаю чувствовать себя трутнем, когда одною интонацией Демона заставляю слушателей вместе со мною проклинать мир, в котором нет свободы и знанья. Когда одним молчаливым появлением верхом на коне среди павшего на колени народа я говорю о свирепом Иване больше, чем иная «монография по источникам». Когда я плюю в сытые морды зажравшихся буржуев злыми песнями и свистками Мефистофеля. Когда я — честный Вильгельм Телль и взываю к святой матери-земле: «Внимай клятвам освободителей народа!..» О, Елена! — тогда священный ужас... ужас восторга владеет мною... Он шевелит мои волосы и морозом бежит по спине... И я чувствую, как вместе с моим тревожным сердцем бьются сотни сердец — там вверху, на скамьях галереи, откуда смотрят на меня такие широкие, такие внимательные, такие лихорадочно-страстные молодые глаза... И у них — этих верхних — слезы на ресницах и пламя в сердце, и каждый вместе со мною и с Теллем клянется матери-земле, рад броситься в бурное озеро, чтобы спасти жертву от палача, и каждый в мыслях своих точит стрелу на Геслера.

Елена Сергеевна. Опера Нордмана даст тебе широкое поле.

Берлога. Да... Опера Нордмана... Опера Нордмана!.. Ах, Елена! Что это за громадина — его «Крестьянская война!» Что за мудрец, какой лев мысли и страсти сидит в этом гениальном мальчике! И — как мы к нему не готовы! как печально не готовы!

Елена Сергеевна. Не смягчай, Андрей. Резкая откровенность — неприятна, сожаление и вежливая пощада оскорбляют. Ты хочешь сказать, что не готова я. Себя-то ты считаешь готовым.

Берлога. Не знаю, Елена, готов ли я. Но знаю, что после пятнадцати лет успеха и славы я выйду в «Крестьянской войне» снова, как на дебют, как на экзамен.

Елена Сергеевна. Не понимаю!

Берлога. Ты напомнила сейчас великие имена... Моцарта, Вагнера, Глинку, Чайковского... Я не знаю, попадет ли когда-нибудь имя нашего беловолосого Нордмана в такую почетную компанию... Он налетел бурею; быть может, бурею и пролетит мимо... Но сейчас — ты можешь смеяться надо мною, Елена! — мой вдохновенный мальчик лучше и дороже мне всех их, этих гигантов-покойников.

Елена Сергеевна. Когда Андрюша увлекается — у него душа меры не знает.

Берлога. Господи! Да не сравниваю я, как вечные величины... оставим аршин и весы в покое!

Елена Сергеевна. Твоему Моцарту, при всем его таланте, следовало бы еще поучиться гармонии: Мориц чуть не на всех листах партитуры правил самые грубые, ученические ошибки.

Берлога. Очень может быть.

Елена Сергеевна. Моцарт, не знающий орфографии!

Берлога. Да ведь и Мусоргский в ней ковылял, как хромоногий...

Елена Сергеевна. Дурно и в Мусоргском.

Берлога. Из Нордмана может выйти божество, Нордман может разрешиться в ничтожество, но это — его будущее. В настоящем он приходит испытать нас какими-то новыми, буйными словами, которые заставляют смущаться и трепетать. Я не могу хладнокровно слушать ни одного такта его музыки. Она страшна и прекрасна, как жизнь. Этот юноша впитал в себя грозу, которою полна атмосфера века. В его оркестре я чувствую надвигающиеся тучи. Его аккорды переплетаются, как черные молнии. Он весь — соколиный полет и крик буревестника. Он — человек вопля, человек-гимн! Когда я впервые увидал Нордмана, мне хотелось спросить его: отчего же вы не с орлиными крыльями?

Елена Сергеевна. Хорош был бы! С его-то воробьиною фигуркою!

Берлога. Прошлое было прекрасно, но оно уже создано, и его огромный недостаток, что оно — прошлое. Оно — не наше. Оно — дело людей, отстоящих от нас за годы, за десятки лет, за столетия назад. Мы в прошлом искусстве только реставраторы, штукатуры, археологи, собиратели музейных коллекций. Нельзя вечно жить в музее! Нельзя жениться на Венере Медицейской! Нельзя остановить мудрость и красоту слова на Гёте и Пушкине! Нельзя положить цель оперы в том, чтобы ставить Моцарта, Мейербера, Вагнера, Глинку, Даргомыжского... Это было жизнью, но уже прошло. Жизнь и красота не останавливаются. Надо жить и вести жизнь вперед. А мой Эдгарка Нордман — живой, весь живой! В самых ошибках и нескладицах своих он брызжет пламенем жизни! брызжет будущим! Я никогда ни одного композитора не чувствовал так, как его. То, что ты называешь моим вдохновением, я ловлю в нашем старом репертуаре моментами. Надо рыться в звуках отжившего творчества, как в классической библиотеке, чтобы найти в них свое «я». Опера Нордмана вдохновляет меня с первой ноты до последней. Я чувствую нежность к каждому звуку ее и ласково улыбаюсь даже ее медвежьим угловатостям, детским промахам, детским прыжкам с крыши и трагикомическим падениям в лужу.

Елена Сергеевна. Ты всегда любил все новое.

Берлога. Это правда. И вот в чем мы с тобою никогда не сходились. Ты начинаешь любить новое, когда оно, в сущности, уже старо, потому что уже успело обойти мир и обсужено миром. А истинная твоя привязанность в искусстве — лирика старых классических форм. Тебя многие считают холодною певицею. Я знаю, что это тебя огорчает, и ты права огорчаться, потому что ты не холод-

ная певица. Я не глухой к голосу темперамента и слышу в тебе истинное вдохновение, когда ты льешь свои чистые звуки в какой-нибудь Донне Анне, Людмиле или Норме. Вот на днях для тебя «Роберта-Дьявола» возобновляют. Это возмутительно глупо, с моей точки зрения, но я уверен: ты будешь вдохновенная Алиса, и слушать тебя будет наслаждение. Ты не холодная, а холодны надгробные статуи, которые ты горячо любишь и пытаешься согреть своим пламенем и оживить. Ты влюблена в красивых мертвецов.

Елена Сергеевна. Что делать, милый друг? Не всем же любить ароматы детской и качать люльки с гениями будущего!

Берлога. На меня все это прекрасное старое, которое называется классическим, производит впечатление неувядаемой Нинон де Ланкло. Она, говорят, была хороша собою чуть не до ста лет и влюбляла в себя своих внуков и правнуков. И столько ее любили на ее веку, что совсем залюбили. И когда у Нинона является новый любовник, то память непременно подсказывает ей ужасно растяжимые степени сравнения: ах, мол, Берлога хорош, но в 1832 году Тамбурини был лучше. А счастливый любовник, победив Нинону, на расставании все-таки думает: да, конечно, до сих пор красавица, но — и пожила же в свое удовольствие, старушка! И оба расстаются с прилично-восторженными улыбками на губах и с льдиною в сердце. Нет, я люблю служить творчеству девственному! Опера Нордмана — может быть, урод и босоножка, но она девственница... и я ее рыцарь!

Елена Сергеевна. Тем больше шансов на ее успех.

Берлога. Если успеха не будет, нас стоит заточить навеки в турецкий барабан и непрерывно играть на нем «Трубадура»! Это значило бы, что мы двенадцать лет даром топтались на одном месте в самообмане движения вперед, на

деле оказались такими же рутинерами, как все, чье дряхлое искусство мы разрушили.

Елена Сергеевна. Благодарю тебя, Андрей, теперь уже оказываюсь и рутинерка я?

Берлога. Ты?!

Елена Сергеевна. Прямой вывод. Кому не по плечу музыка Нордмана, для тебя — рутинеры. И рядом ты битый час доказываешь мне, что я, Елена Савицкая, недостойна петь в опере твоего нового бога.

Берлога. Я говорю не о достойности, я говорю о физических силах. И притом сознайся откровенно, что партия ничего не говорит тебе, что ты ее не чувствуешь?.. Ага! Молчишь! Вот видишь: я знаю тебя... видишь!

Елена Сергеевна. Я могла бы солгать тебе, притвориться, обойти тебя объяснением в любви к твоему Нордману. Потому что — это дело, решенное бесповоротно. Что бы ты ни говорил, я хочу петь Маргариту Трентскую и буду петь ее... слышишь? буду!..

Берлога. Слышу-с. И кто же препятствует? Знаю давно.

Елена Сергеевна. Но у меня есть гордость артистки и женщины. Не хочу я унижаться и лгать. Можешь думать о моих вкусах, как тебе угодно, но — да! ты прав: я не чувствую музыки Нордмана, она мне чужая, и ничего она мне не говорит... и многим... многим даже меня оскорбляет!

Берлога. А на тебе — половина оперы!

Елена Сергеевна. Не беспокойся, не испорчу. Школа, в которую ты не веришь, и добросовестность, которую ты презираешь, чего-нибудь да стоят. Твой Моцарт первый находит, что я пою Маргариту отлично.

Берлога. О да! Я уверен, что и рецензенты тоже найдут. Знаешь, эти милые их газетные приговоры: головные ноты идеальны, трель безупречна, нюансировка не ос-

тавляет желать лучшего, в финале второго акта наша несравненная дива, по обыкновению, восхитила публику изящным pianissimo * своего серебряного «до»...

Елена Сергеевна. Ты груб, Андрей. Я не заслужила такого тона.

Спор оборвался, как обрезанный ножом. Берлога, усиленно пыхая папиросою, скрыл в облаке дыма свое сконфуженное, красное лицо. Елена Сергеевна спокойно позвонила и ровным голосом приказала вошедшему сторожу позвать к ней управляющего театром. Когда человек вышел, Берлога стал пред Савицкою с потупленною головою, глазами вниз и сложенными руками, как виноватый ребенок.

— Я — скотина, — сказал он голосом глубокого убеждения, заставившим глаза Савицкой улыбнуться. — Я — ужасная скотина. И я давно знаю, что я — скотина, но иногда забываю и тогда выхожу — осел! Прости меня, Елена-голубушка! Больше, ей-Богу, не буду; не сердись!

— Эх, Андрей! Умеешь ты, жестокое дитя, топтать людей! Ходишь по головам, по сердцам и сам не замечаешь...

— Не сердись!

— А, полно, пожалуйста! Ну кто, когда и за что на тебя сердится? Это твоя привилегия: оскорблять так наивно, что на тебя и обижаться нельзя...

IV

Разговор с Берлогою лег на душу Елены Сергеевны тяжелым, неподвижным камнем. Оставшись одна, директриса хотела заняться текущими делами театра — и не смогла. С головою, опущенною на руки, сидела она за столом в глубокой и угрюмой задумчивости, будто дремала. Дверь режиссерской несколько раз приотворялась,

* Очень тихо (*ит.*).

просовывались любопытные головы, заглядывали ищущие глаза, но, заметив «самое», моментально скрывались.

— Аванцу! *

Слово это, сквозь буйный, ржущий смех выкрикнутое густым и сильным, полным вибрации, женским голосом, заставило Елену Сергеевну очнуться от горьких мыслей. Пред нею колыхалась, расплывшись чуть не на половину режиссерской, как светло-сизая туча, громадная, толстая, веселая, с сверкающими зубами и трясущимися щеками, Мария Павловна Юлович — первое mezzo-soprano труппы. Она шлепала толстою ладонью по столу, хохотала и повторяла:

— Аванцу!

Елена Сергеевна смотрела на нее, как спросонья.

— Маша... что?

— Здравствуй!

Юлович сильно встряхнула руку Савицкой. Она — единственная из женщин театра — была с директрисою на «ты».

— Аванцу, говорю, давай!.. Так-то!.. Что? Небось испугалась? Дрожишь, хозяйская твоя душа?

Елена Сергеевна осмотрела ее с головы до ног, как гувернантка неряшливого ребенка.

— Скажи, пожалуйста, Марья, когда ты будешь приезжать в театр, прилично одетая?

— А что?

Юлович вспыхнула заревом в лице и встрепеталась всем своим зыбучим телом.

— То, что поди к зеркалу, посмотри, на что ты похожа. Ты причесывалась сегодня?

— М-м-м-м... — жалобно промычала певица.

— Неужели ты не понимаешь, что в сорок лет и при твоем сложении женщина без корсета сама себя видеть не должна, не то что показываться в люди?

---

* Аванс, задаток! (*фр. avance*)

— Очень нужно! Хомут-то!

— Нужно, потому что ты ужасна, — понимаешь ты? И... что это? что это?

Елена Сергеевна нервно дергала и вертела перед собою сконфуженную приятельницу.

— Нет пуговицы, нитка висит, этот крючок сейчас оборвется... Да что у тебя горничной, что ли, нет?.. Подними руку!

— Ну уж и руку!.. Будет! довольно! виновата! Каюсь и казнюсь! Не пили!

— Подыми руку!.. Так я и знала, что в рукаве разорвано!.. Невозможно, Марья Павловна! Неисправимый ты, безобразный человек! Честное слово, показать тебя сейчас публике, — никто и не поверит, что ты Юлович... Жирная! грязная! развесилась! расквасилась! Брр!..

Юлович вдруг — точно граната лопнула — залилась ржущим хохотом.

— Да ведь это было! — сказала она, садясь на угол стола, нога за ногу, как мужчина.

— Что?

— Да — что не верят... Как же! Намедни — звонок. Наташки дома нет, в лавочку услана. Отпираю сама. Гимназист какой-то. «Позвольте узнать, дома госпожа Юлович? Могу я их видеть?..» Смотрю я на него: молоденький такой, чистенький, хорошенький, краснеет, голосок дрожит, — сразу видать, что поклонник — либо стихи принес, либо за карточкою пришел. Стало быть, горит восторгом знакомства и мало-мало не богинею меня воображает. А я — во всем своем неглиже. Ну и того... стало мне ужас как совестно в себе признаться, что это я самая — этакая халда — Юлович и есть. Говорю: «Племянница дома, только сейчас принять вас не может, зайдите часа через два, тогда наверное застанете...»

— Зашел? — невольно улыбнулась ей — как всегда, одними глазами — Савицкая.

— Еще бы! Ну к тому сроку я, конечно, была уже во всем своем великолепии: и подтянута, и подкрашена, и подведена... двадцать годов с костей долой!

— Да ведь все-таки догадался, конечно?

— Нет... Я за тетку страшенным басом с ним говорила, а за себя с того и начала, что — ах, как жаль, что моя тетенька вас давеча не приняла! Я уже была совсем встамши и как есть готовая... Так бедненький и получил уверенность, что я — сама по себе, а тетенька сама по себе... Стихи вручил, карточку получил и ушел в телячьем восторге... Теперь каждый спектакль его в театре вижу: орет меня с галерки, как волк недорезаный, и на подъезде в карету подсаживает.

Елена Сергеевна качала головой и говорила:

— Ах, Марья, Марья!

Она, сама не зная за что, любила эту беспутную и неряшливую бабу-распустеху, стихийною силою таланта поднятую из горничных в первоклассные артистки, с ее беспомощною кротостью, ленью, кутежами, бурною безалаберностью, половою податливостью, с отсутствием мысли и никогда не изменяющим присутствием духа. И Маша Юлович, — до сорока лет дожившая в «Машах», — знала, что при всем несходстве их характера и образа жизни Елена Сергеевна любит ее. Из всех артисток она одна никогда не смущалась идти к холодной и властной директрисе со всеми своими искренностями — просьбами, обидами, тайнами и капризами.

— Уж не обижайся, Лелечка, за мой туалет, — говорила она. — Снизойди и не гляди! Ведь от спеха все, — ей-Богу, от спеха! Продрала сегодня глаза: на часах половина первого... Славно!.. Значит, соображаю, ежели я не попаду в театр к часу, — ау! лови тогда Лельку по городу, где знаешь!.. Ну что первое под руку попало, то на себя и ухватила, да ненароком в рубище и облеклась... А то разве я себя не понимаю? В кокетках никогда не была, а все-таки — женщина.

Радость мне, что ли, чудищем таким себя показывать? Одно слово: Домна-Замараха...

— До часу в постели! — возмутилась Елена Сергеевна. — Оттого ты, Марья, и расплываешься как опара! Сравни меня с собою: я только что не в дочери тебе гожусь, а ведь мы однолетки!

— Лелечка! — уныло отозвалась Юлович. — Да как же раньше-то? Хорошо тебе, как ты ложишься спать в час ночи, а у меня вчера черти засиделись до седьмого часа!

— Опять играли?!

Юлович забегала глазами по комнате.

— Нет... так... немножко...

— Ах, Марья, Марья!

— Да нет, — ну ей-Богу же: совсем мало... как есть ничего!

— Я поняла бы еще, если бы ты сама любила игру. А то ведь не играешь, в руки карт не берешь... Что за охота превращать свою квартиру в игорный дом, в притон какой-то? Только того не достает, чтобы полиция вмешалась, право! Неужели тебе лестно, что в клубах — после разгонного штрафа — мужчины говорят: поедем доигрывать к Маше Юлович?!

Певица горестно отозвалась:

— Ах, Леля, да ведь жалко...

— Кого тебе жаль?

— Их, мужчинок бедненьких!

— За что же это?!

— Да так... вообще... Приедут, — ну как я их не впущу? Если не ко мне, куда еще им деться?

— В шестом-то часу утра?! Да что у них своих домов, что ли, нет?

— Да что же? Ведь свой дом... это — как кто вмещает!..

Елена Сергеевна пожала плечами и переменила разговор.

— Тебе в самом деле аванс нужен или дурачишься?

Юлович задумалась с шутовским лицом.

— Как тебе сказать? В кармане у меня, конечно, по обыкновению, ни грошика... Если откажешь, с голода не умру, но... ходят, знаешь, купчишки, подают счетишки, требуют должишки... Если будет вашей милости на три сотни, то скажу вам превеликое мерси...

— Хорошо. Я напишу ордер в кассу.

Юлович даже подпрыгнула на столе и изобразила широким лицом своим крайний ужас.

— В кассу?! Не пойду! Это и аванса брать не стоит. Не желаю!

— Почему? — изумилась Савицкая. — Обычный же наш порядок.

— Да помилуй, Лелечка! — безнадежно жаловалась Юлович, — войди ты в мое положение: в последний раз ты мне выписала двести...

Савицкая поправила:

— Двести пятьдесят.

— Вот видишь! Еще и пятьдесят! — даже обрадовалась Юлович. — А домой я, — покорно вам благодарю! — довезла единственную двадцатипятирублевую бумажку!

— Разобрали? — усмехнулась Савицкая своею странною улыбкою, без участия губ.

— Просто с руками рвут!

Юлович спрыгнула со стола сильным движением, за которое ей столько аплодируют в «Кармен», и распахнула дверь в коридор. Две-три таинственные мужские фигуры, внезапно озаренные светом из режиссерской, поспешили скрыться во тьму.

— Ты, Леля, выгляни за дверь, — нет, ты выгляни!.. Видишь, воронье-то слетелось... Носы-то голодные чувствуют, что я к тебе за деньгами пошла, во всех закоулках меня караулят... Как же?! Шиш с маслом!.. Сама в дырявых чулках хожу!..

— Недурно для примадонны, получающей полторы тысячи рублей в месяц.

Юлович с веселым удивлением уставила на директрису ласковые коровьи глаза, молодящие ее потертое и обрюзглое лицо своим властным, чувственным блеском.

— Сколько, ты говоришь, я получаю?

— Полторы тысячи. Должна знать. Контракт у тебя на руках.

— Ну вот извольте радоваться! Полторы тысячи!.. Контрактом меня не попрекай: что контракт? Не по контракту люди живут... В контракте мне — чего хочешь натычь: по писанному-то я не очень прытка!.. Полторы тысячи!.. Ну бывало ли, ну бывало ли хоть раз в моей жизни, чтобы я такие деньги сразу в руках держала?

Елена Сергеевна, не отвечая, взялась за трубку телефона.

— Касса? Здравствуйте, Георгий Спиридонович. Будьте любезны, пришлите мне наверх триста рублей...

— Не говори, для кого, не говори, для кого!.. — испуганно зашептала ей на ухо Юлович.

Савицкая согласно прикрыла глаза ресницами.

— Отнесите пока на мой счет... Потом скажу, куда списать... Идете сами? Хорошо!

Юлович беспечно качалась на столе огромным, тяжелым, трепещущим телом.

— Н-да-с... полуторатысячная примадонна в дырявых чулках! Нет, ты скажи мне, Леля: что бы я с моим характером стала делать, кабы в драме служила? Гранд кокет * какою-нибудь или героинею на туалетный ропертуар?

— На пятнадцатый год карьеры можно бы произносить «репертуар», — заметила Савицкая.

Юлович показала ей язык.

— А у тебя уже уши слиняли? Эх ты! мать игуменья! Всякое лыко в строку! Простите великодушно: в институте не обучалась, — с тем и возьмите, какова есть...

---

* Большой (изысканной) кокеткой (*фр.*).

— В чем я на тебя удивляюсь, Марья: как ты за границу каждый год ездишь с «ропертуарами» своими?

— В Скале ди Милано пела! Знай наших! — с гордостью отозвалась Юлович. — По-итальянскому — и еще аплодировали как! Прием был первый сорт, и пресса самая великолепная... Уж и деньжищ же что мне стоило... ух!.. По-итальянскому я на слух от маэстры заучила и, кроме того, подмаэстренка нанимала, горемычку одного из соотечественников, застрявших без надежды на возвращение. Он мне слова русскими буквами писал, а я по складам зазубривала. А что спрашиваешь насчет прочих иностранных языков, то ведь когда же я за границу одна и сама по себе езжу? Мужчинки возят...

— Либо ты мужчин, — брезгливо возразила Савицкая.

Юлович спокойно согласилась.

— Либо я мужчин... Что же мне делать, если я этот сорт публики обожаю? Собою никогда не торговала, на содержании не была, но амур мне подай: без этого не могу... жизнь не в жизнь! И наплевать на всю вселенную!

— Пора бы уняться, Маша. Не молоденькая. Еще год-другой, и станешь совсем смешна.

— Ну, стало быть, через два года о том и попробуем разговаривать, а теперь напрасно и слова терять... Да, Лелечка!.. Это, конечно, твоя правда: теперь мое время — уже ушедшее... А кабы снова молодость, я бы, знаешь, не в оперу, а в драму пошла бы! Ух! люблю!.. Ну — что мы, оперные? Как ты нас ни понимай, а все — только глотку дерем да горло нотами полощем... Ну еще Андрюша-дружок иной раз сверкнет — развернется, да что-то такое покажет... совсем особенное... как будто и на дело настоящее похоже... А то...

Савицкая остановила ее сухим, недовольным голосом:

— Тебя вчера за «Кармен» сколько раз вызвали?

— Не считала... много что-то! А что?

— Неблагодарная ты, Марья... вот что!

Юлович струсила.

— Да я, Лелечка, ничего...

Но Елена Сергеевна даже слегка разгорячилась:

— Дал тебе Бог талант, дал голос удивительный, дал натуру артистическую, а ты смеешь строить гримасы!..

Юлович оправдывалась.

— Да что же, Лелечка? Кармен... ну, конечно, хаять себя мне не за что... Говорят люди, будто Кармен эту самую я разделываю на совесть... Но собственно-то говоря... Э! да мы вдвоем, никто нас не слышит, и между собою признаться не стыд... Собственно-то говоря, — ну что тут удивительного, если девка девку хорошо изображает? Какова я в натуре своей самое себя чувствую, такова и по сцене хожу... только и всего!

— А! Марья!

В голосе Савицкой прозвучала горькая досада.

— Да, право — ну; что — так! Что я в самой себе имею, только это и могу передать. А — как настоящие хорошие актрисы, с воспитанием, со школою — вот как хоть бы тебя взять, — того я не могу. Сыграть что-нибудь, совсем мне не подходящее и несвойственное, — это сверх сил моих. Тебя в какую шкурку ни одень, ты всюду к месту приходишься, а я не могу. У меня — либо я из роли дров и лучины наломаю, инда щепки летят, либо я дура дурою на сцене стою и только ноты кричу, какая куда попадет по расписанию.

Савицкая молчала с странным выражением, которое в артистке, менее избалованной и знаменитой, легко было бы принять за зависть. Юлович продолжала мечтательно:

— Если бы я в драме служила, то все бы учительш играла!

— Каких учительш?

— Есть такие пьесы... Хорошие пьесы... Чтобы, понимаешь, школа нетопленая, а она больная и учит... Кашляет и учит... Учит и кашляет... И кажный...

— Каждый!

— И каждый мужчина пристает к ней с своею поганою любовью, потому что они все подлецы, а она благородная, но никто в ейную добродетель не верит: потому как — которая красивая девушка — и вдруг, взамен того, чтобы наполнять мир очарованием, — здравствуйте! в деревенской школе с ребятами за букварем сидит! Всякому подозрительно, что ее поведение — один предлог видимости, а на самом деле она это не иначе, как для женихов... А то еще — знаешь, кого бы я игранула? Ну просто сплю и вижу! Маргариту Готье! Брюхом хочется игрануть Маргариту Готье!

— Это ты-то — Маргарита Готье?!

Юлович печально оглядела себя:

— Ну известно, не при теперешних моих мясах... Мне, главное, то в Маргарите пленительно, что умирает от любви и в чахотке... Ах, Леля, хорошо это, должно быть, помереть в чахотке от любви!

— Идеал для тебя, друг мой, вряд ли достижимый... Это вы, Георгий Спиридонович? Входите, входите: здесь свои...

Управляющий дирекции, Риммер, — длинный и тощий русский немец, похожий на складной аршин, без всякой растительности на безобразном, в красных пятнах, скуластом лице, с холодными, умными зеленоватыми глазками не то каторжника, не то пастора, в которых чувствовался большой и пестрый опыт в прошлом и самая разносторонняя и беззастенчивая решительность на будущее, — вошел, кланяясь с свободною и фамильярною почтительностью служащего-друга, необходимого, любимого и очень хорошо знающего себе цену.

— Требовали триста? — сказал он, скрипя голосом, как колесом татарской арбы. — Я принес...

Савицкая кивнула Юлович на бумажки, зажатые у Риммера в кассовой книге.

— Марья Павловна, получи.

Риммер исказил лицо в гримасу шутовского испуга.

— Для нее? Опять? Знал бы — не принес.

— Ну-ну... — бормотала сконфуженная Юлович, принимая сторублевки, — все вы на меня... А уж ты, Риммер, пуще всех! И что я тебе сделала? Немецкая фуфыря!

Риммер смотрел в книгу и насмешливо скрипел:

— Теперь дирекция имеет за вами 3423 рубля 88 копеек. Хорошо?

— Копейки-то откуда взялись? — удивилась Савицкая.

— Извозчикам ее платим. Вчера нищего в кассу привела. Вы, Марья Павловна, имеете эти восемь копеек на вашем счету: я не забыл, не беспокойтесь.

— Ежели в кармане мелочи не случилось?

— У вас каждый день мелочи не случается. И крупных тоже не случается. Ничего не случается!.. Благотворительница, побей гром мою душу!.. Возьмите перышко, распишитесь...

Юлович покраснела и всею фигурою своею выразила детское, беспомощное отчаяние.

— Уф! Вот уж чего ненавижу!..

— Ничего не поделаешь: порядок.

— Давай!

Риммер смотрел через ее плечо, как она, грузно наклонившись над книгою, красная и пыхтящая, водит пером по бумаге.

— Ну конечно! Опять — «Маря», и мягкий знак гулять ушел... Ах, душечка!.. И как только вы поклонникам карточки надписываете?

— У меня, брат, на этот счет горничная Наташка приспособлена. Она двухклассное училище кончила. Действует в лучшем виде.

— Лестно, поди, поклонникам-то? Ждут автографов от кумира, божества, а расписывается горничная!

— А почем они знают?

Риммер захлопнул книгу.

— Больше, Елена Сергеевна, не прикажете ничего?

— Ничего, Георгий Спиридонович.

Он вышел, скроив на прощанье страшную рожу к Юлович:

— Маря!

Она дразнилась языком:

— Фуфыря, фуфыря, фуфыря.

Савицкая с поднятыми на потолок, считающими глазами вздохнула:

— Ты, Маша, к концу сезона опять сядешь без гроша.

Юлович подняла плечи к ушам.

— Судьба!

— Не судьба, а разгильдяйство. Пора себя в руки взять. Останешься нищая на старости лет.

Юлович опустила плечи и произнесла равнодушно:

— Наплевать!

Савицкая смотрела на нее с изумлением.

— Что ты делаешь?!

— Деньги прячу.

— В чулок?!

— В чулок.

— Бог знает что! Зачем это?

— Прочнее: не отнимут... Я, главное, кого опасаюсь: Ванька Фернандов взаймы на отыгрыш просит. Вчера просвистался в клубе, приехал ко мне обстоятельства поправить, а вместо того сел в «железную дорогу», да и еще, уже на мелок, сотню оставил.

— Это — получая двести рублей жалованья?!

— Да что же делать, если не повезло человеку? Теперь пристает, чтобы я его выручила... Ну и, знаешь его... Это я тебе, Леля, скажу, такой липкий парень, другого в свете нет. Одно тебе мое слово о нем: клейстер! Мертвою хваткою берет...

— Да по какому праву? Кто он тебе? Брат? Сват? Муж? Любовник?

— Ни-ни-ни-ни! — вознегодовала Юлович, — это ни-ни-ни-ни. Добродетелью своею хвастаться тебе не стану, потому что жизнь моя тебе достаточно известная. Но при всем том я женщина со своими правилами. Чтобы у себя в труппе с товарищем амуры разводить — это — ни-ни-ни-ни! Отродясь не бывало и не будет. Вот к студентам, каюсь, слаба я, грешница: падка баба на голубой воротник. А чтобы который из персонала, — Боже меня сохрани!.. Уж на что на первых порах, как ты дело зачинала, была я в Андрюшку Берлогу врезавшись, однако и тут характер свой выдержала и на сухой любви отошла... Только Груньку с ним во «Вражьей силе» петь, ух, до сих пор люблю!

— Лучшая твоя роль!

— Оттого я хороша, что старые бесы в крови прыгают. Мы, бывало, с ним, — знаешь мою любимую сцену, где Груня Петра за подлости его пред девками отчитывает, — мы, бывало, до того допоемся, что оба белые станем. Занавес спустили, публика вызывает, а мы еще друг на друга смотреть по-человечески не можем, обоих лютою злобою трясет.

Она блаженно улыбнулась, потом затуманилась, загрустила, развздыхалась.

— Да, певали, певали... певали, сударыня ты моя!

— И откуда вы берете темпераменты эти буйные? — вырвалось у Савицкой, мрачной, как ночь.

Юлович удивилась.

— О? А ты разве не можешь?

Елена Сергеевна с тяжелою грустью потрясла головою.

— Никогда.

— Ишь?!

— И всякий раз, что ты или Андрей даете мне понять, как охватывает это вас слияние с ролью, творческий восторг ваш безумный, — мне до боли сердечной завидно вам...

Глаза ее потемнели разочарованием, отвращением.

— Скучно, Маша, всегда владеть собою!

Юлович, не зная, как ей отвечать, только губами покрутила.

— Уж ты у нас такая особенная... всегда была!.. В чем ни взять, — одно слово: голова!

— Голова! голова! — с досадою возразила Савицкая. — То-то и скучно, Маша, что все — голова, всю жизнь — голова... Да и стареет уж эта голова, Машенька! Насмарку ей, голубушка моя, скоро!

— Ну, мать моя, это ерундистика! — с твердым убеждением прервала Юлович. — Теперь и я тебе скажу: поди к зеркалу, посмотрись. Ты, с твоею фигурою, с выдержкою да школою, в семьдесят лет соловьем заливаться будешь, когда мы с Андрюшкою непутевым давным-давно сгнием за стариковским пикетом в актерском общежитии...

Затрещал звонок телефона. Риммер снизу извещал Елену Сергеевну, что приехал чиновник от обер-полицеймейстера по делу о каком-то благотворительном спектакле, обещанном какому-то приюту какого-то общества под председательством какой-то княгини, и ждет ее в конторе. А Маша Юлович, едва очутилась в коридоре, как уже попала в цепкие когти того самого Ваньки Фернандова, которого артистические способности к внутренним займам так ее ужасали. Он вырос пред нею, как бес из земли, — маленький, кудрявенький, розовенький, в голубом галстухе, с скромно-искательными глазками и вопросительною улыбкою на губках алым бантиком — тельце и личико вербного купидона!

— Здравствуйте, давно не видались! — возопила Юлович, ударяя себя по бедрам. — Так и есть! Легок на помине! Сокол с места, ворона на место! Является сокровище!

Фернандов, встав на цыпочки, заглянул мимо ее мощных плеч в опустелую режиссерскую и, убедившись, что там действительно никого нет, произнес гордо — сладким, белым, открытым звуком старого и потертого второго тенора:

— Я не к вам. Я к Елене Сергеевне.

— То-то ты и ждал, покуда ее отсюда ветром вынесло!.. Но — дудки, брат! ау, друг любезный! Поживы сегодня не будет!

Она поднесла к самому носу Фернандова пустое портмоне.

— Зришь?

Фернандов, шагнув вперед, заставил ее попятиться и снова войти в режиссерскую. Заглянул в портмоне, поднял круглые бровки, пошевелил тараканьими усиками, закурил папиросу и изрек:

— Ничего не доказывает.

Юлович, с коварною улыбкою, вытряхнула пред ним сумочку и носовой платок.

— Зришь?

Фернандов критически осматривал ее огромную фигуру.

— В лиф тоже прячут некоторые...

Юлович возразила совершенно деловым тоном:

— Была дура — прятала. Теперь умная. Только от вас, охальников театральных, там убережешь! И без денег будешь, да еще срама наберешься! У вашего брата лапы ученые: где что плохо лежит, все промыслят...

— Беречь-то, следовательно, есть что? — живо поймал ее на слове Фернандов, продолжая водить по ней с головы до ног испытующими глазами, — и вдруг возопил голосом Архимеда в «эврике», — с указательным перстом, устремленным долу на весьма затрепанный подол певицы:

— В чулке! Марья Павловна! В чулке! Ну ей-Богу же в чулке! Жив быть не хочу, если не в чулке!

Озадаченная Юлович только руками развела.

— Не собачий ли нюх?! Ах, Фернашка! Ну скажите пожалуйста!

— Марья Павловна! В чулке! — визжал, приседая и подпрыгивая, восторженный Фернандов. — Помилуйте! Это

даже по логике... В сумочке нет, за лифом нет, — где же, как не в чулке? Закон исключения третьего!

— Ну в чулке — так и в чулке... — огрызнулась певица. Не разуваться же мне для тебя!

Фернандов, заступая ей дорогу, патетически положил руку на сердце.

— А почему бы, Марья Павловна, и не разуться для товарища?

Юлович даже плюнула.

— Ты, Фернашка, кажется, вчера не только деньги, но и последнюю совесть в клубе оставил!

— Да ведь это, Марья Павловна, одни слова! Ничего больше, как пустые слова, а доброе сердце ваше приказывает вам совсем другое.

Она посмотрела ему в глаза и прыснула неудержимым смехом, со слезами на глазах, с красными, надутыми, дрожащими щеками.

— Э-э-эх! Ну что мне с тобою, горемычным, делать! По крайней мере хоть отвернись, подлец, гляди в другую сторону... Уж видно, — достать!

— Доставайте, Марья Павловна, не конфузьтесь! Я буду слеп, как Глостер!

Но Фернандову сегодня не везло, и, очевидно, под несчастною звездою начал он свое кредитное предприятие. В режиссерскую синим облаком вплыл клуб сигарного дыма, а за дымом оказался, в рыжих кудряшках своих, сам Мориц Раймондович Рахе. С высоты порога он — одна рука за спину, другая с сигарою на груди — взирал на Фернандова с уничтожающим спокойствием, как Наполеон на фендрика, подлежащего расстрелянию, или Вельзевул, собирающийся методически позавтракать душою окаянного грешника.

— Господин Фернандов, — послышался его тихий, острый голос. — Ви вчера изволил быть на дворянская клуб?

Фернандов выцвел, как утренний месяц, — угас лицом, фигурою, голосом.

— Я, Мориц Раймондович?.. Я... я был!

Рахе устремил на него свою сигару.

— И ви играль?

— Кхе!.. — поперхнулся Фернандов.

— И ви проиграль!

Злополучный тенор ежился, мялся, топтался и тоскливо искал глазами двери, окна или трапа, куда бы Бог помог провалиться. А капельмейстер добивал его без жалости:

— Ви играль, проиграль и не платиль. Пфуй! Это свинский!

— Ну ежели не заплатил, так это, значит, не проиграл, а выиграл! — вставила смеющаяся Юлович.

Фернадов приосанился.

— Обстоятельства моей частной жизни, казалось бы, маэстро, вас касаться не могут!

Рахе пришпилил ему язык стальным взглядом.

— О господин Фернандов, я вас не касательный. Я только платил вчера за вас на ваш партнер. А больше я вам не касательный.

— Везет же Фернашке! — восхитилась Юлович.

— А... а... а по счету в буфете? — робко заикнулся Фернандов, с несколько прояснившимся челом.

Рахе кивнул носом.

— Семь рублей восемьдесят копеек. Jawohl *.

У Фернандова — как гора с плеч. Он выпрямился и принял вид независимый и гордый.

— Я, конечно, очень благодарен вам, Мориц Раймондович, но все это... гм-гм... все это поведение ваше, извините меня, несколько щекотливо...

— Was will der Kerl?! ** — воскликнул удивленный Рахе, нисходя с порога, как статуя с пьедестала.

* Да, конечно (*нем.*).

** Что нужно парню?! (*нем.*)

— Я не понимаю, по какому праву... — петушился Фернандов. — Я, кажется, не малолетний и под опекою у вас не состою.

— Он же еще и шебаршит! — крикнула Юлович, хлопая себя ручищами по бедрам.

А Рахе подошел к Фернандову в упор и хладнокровно отчитывал, непрерывно коптя его в сигарном дыму:

— На такой прав, лубезнейший мой господин Фернандов, что в клубе, где я есть почетный член, артист от наша опера не должен быть ел и не платил, пил и не платил, проиграл и не платил... Pfui! Schande!.. * Если я буду видел вас noch einmal ** на мой клуб, я буду ставить на совет вопрос об исключении вас из наша труппа...

Фернандов уныло молчал, и в понурых глазах его читалось: «Придется, стало быть, другого клуба искать!»

А Рахе наседал.

— Играть вы умеете, а партию учить не умеете? Что ви вчера пел в секстет на третья акт? Miserable Klimperei! *** Ви с другая опера пел, ви своя музик пел... Ви «наклал»!

— Мориц Раймондович, да ведь публика не заметила...

Рахе с жреческою важностью обратил сигару к себе огнем.

— Публикум не заметил? Я заметил! Публикум не заметил? Очень жаль, что не заметил. Это доказывает, что публикум есть осел, и что мы еще мало работали, чтобы он понимал искусство и не был осел.

— Я, Мориц Раймондович, подучу!

Рахе поморщился, как педагог на безнадежно скверного ученика.

— Tausendmal gehört! *1 Нет, надо просить моя жена, чтобы она вам штраф писала, — тогда вы будете подучил в самой вещи!..

---

* Фу! Позор!.. (*нем.*)

** Еще раз (*нем.*).

*** Ужасное бренчание! (*нем.*)

*1 Слышано тысячу раз! (*нем.*)

Юлович опять гранатою лопнула — заржала буйным, грохочущим смехом.

— На кому? — благосклонно обратился к ней капельмейстер.

Она махала руками и задыхалась.

— Нет, уж ты, батюшка Мориц Раймондович, Фернашку не штрафуй. С него взять нечего, а я — чем виновата? Его оштрафуешь, а ведь платить-то придется мне.

Рахе разгладил морщины на лбу и удостоил улыбнуться. Фернандов в неунывающем легкомыслии своем в ту же минуту ободрился и взыграл духом.

— Вы вот все на меня сердитесь, maestro, — развязно подхватил он, — а я, ей-Богу, из кожи вон лезу, стараюсь... Намедни в «Жидовке» за серенаду мне как аплодировали!

Рахе проворчал:

— Два ваша клубная приятель и один бежалый из сумасшедшая больница.

— Нет-с, не приятели! — торжествовал Фернандов, — а меня даже повторить заставили бы, если бы оркестр аккомпанировал мне не так громко.

Рахе глянул на него сквозь сигарное облако.

— Wie? *

— Помилуйте! Публике ничего не слышно...

Рахе буро покраснел и положил сигару.

— Я для ваши прекрасные глаза, господин Фернандов, — заговорил он металлическими нотами, свидетельствовавшими о большом раздражении: ничем нельзя было рассердить старого капельмейстера с таким успехом, как сделав ему замечание по оркестру, — лучше его лично обругай, но оркестра не тронь! — Я для ваши прекрасные глаза, господин Фернандов, мой Orchester удавливать mit eine ** подушка не согласный. Ви любите петь? Prachtvoll! *** Мой Orchester

* Как? (*нем.*)

** С одной (*нем.*).

*** Прекрасно! (*нем.*)

любит играть. Певец хочет попеть, оркестр хочет поиграть, Verstehen Sie? Punctum *.

— Да, это — конечно... разве я что-нибудь против?.. — моментально увял и сдался Фернандов.

Но maestro уже расходился...

— Мой Orchester мешает einem господин Фернандов иметь свой большой успех! Господин Фернандов из-за мой оркестр не слышно! Warum doch die Маша, — он ткнул перстом в сторону Юлович, — warum diese ** Маша слышно? Warum Андрей Берлога слышно? Почему моя жена слышно? Почему Саня Светлицкая слышно?

— Помилуйте, maestro, какое же сравнение? Я маленький артист на вторых ролях, а вы берете самых что ни есть, тузов...

— Dummheiten! *** Глупство! — презрительно возразил Рахе, обретая спокойствие, ибо снова взялся за сигару. — Вам не угодно стоять на одна доска с первый артист? Очень хорошо. Ви были сегодня на проба, когда пела эта новая Корзинкина или Курочкина... о проклятая фамилия! ее никто никогда не помнит!.. ну, на одно слово, ученица от Саня Светлицкая?.. Она еще не артистка даже, но ее слышно... О-о-о-о! И как еще слышно!.. А ви — не слышно! И... рассуждайт!..

V

* * *

Любезный друг Захар Венедиктович, с сожалением должен известить тебя, что моя Настасья, хлопоча для нас вчера насчет собственноручного пирога с грибами, ухитрилась простудиться у горячей плиты и сегодня

---

* Понимаете? Баста (*нем.*).

** Почему же... почему эта (*нем.*).

*** Глупость! (*нем.*)

хрипит, как отсыревший фагот, а следовательно, Изабеллу в «Роберте» изображать не может. Если неудобно заменить Настю Матвеевою, то я предлагаю совсем упразднить «Роберта» на сегодня, а взамен поставить какую-нибудь оперу из нашего с Еленою Сергеевною репертуара. Жму твою лапку.

Андрей Берлога

* * *

Дорогой друг Андрей Викторович! Болезнь милой моей кумы Настасьи Николаевны повергает меня в глубокое отчаяние по дружбе и человечеству, но — что касается театральных чувств, не беспокойся: дело улажено. Матвеева слишком важная персона, чтобы я, маленький человек, осмелился обратиться к ней с просьбою о замене, но мы только что приняли в труппу ученицу Сани Светлицкой — фамилию, извини, забыл, не то Кострюлькина, не то Перепелкина, ну да увидишь сегодня на афише. Очень красивый голос и прилично поет. Изабеллу, по счастью, знает. Ну и пусть отдувается за куму! А куме всяких благ и скорого выздоровления. Если позволит время, непременно забегу сегодня проведать. А пирог с грибами весь съеден? Если есть кусочек холодного, сохраните для меня: страсть люблю холодный пирог с грибами!

Сердечно твой Захар Кереметев

* * *

Тому назад восемь лет с Андреем Викторовичем Берлогою приключилось такое романическое происшествие. Концертировал он в глухом губернском городе. После концерта приезжает к себе в гостиницу, — швейцар таинственно докладывает:

— Вас у номери барышня ожидают.

Визиты подобные в жизни артиста, пользующегося большим успехом, дело заурядное, и, хотя никакой знакомой барышни Берлога к себе на ночь не ждал, докладу он не удн-

вился. Но ему спать очень хотелось, и утром надо было рано вставать к поезду. Поэтому он озлился.

— А с какой же это стати, позвольте спросить, вы ее впустили ко мне ожидать «у номери»?

— А потому как они нам оченно хорошо известны. Будут Кругликова, Настасья Николаевна. У городского головы в племянницах живут. Вот-с и вещи ихние.

Швейцар указал на потертый, весьма жалкого вида саквояжик и на два узла — один серый в платке или одеяле байковом, другой — белый, не то в занавеске с террасы, не то в суровой простыне.

— Гм... Значит, она здесь же у вас и стоит?

— Никак нет-с, обычно они при своих дяденьке-тетеньке квартируют, в их собственном доме. А как они сообщают, что едут с вами в город Петербург...

— Что-о-о?!

Берлога полетел вверх по лестнице аршинными шагами. В номере — навстречу ему поднялось с дивана юное существо красоты писаной, в густейших и длиннейших русых косах, очень заплаканное, очень сонное и одетое мало чем лучше горничной. Берлога не успел и рта разинуть, как существо всхлипнуло и, сморкаясь, заявило:

— Если вы меня не увезете, то я нашатырным спиртом отравлюсь!

И залилось из бирюзовых глаз бриллиантовыми слезами.

Разговор затем вышел короткий. Существо оказалось купеческою дочерью из уездного города, с папенькою банкротом — уже на кладбище — и с полоумною маменькою, после папенькина несчастья ударившеюся блуждать по богомольям. Воспитывать девочку взяли к себе в дом благодетели — губернские тетенька с дяденькой. Покуда шли ребячьи годы, держали Настеньку вровень со своими дочерьми, а как начали дети подрастать — случилось обыкновенное: воспитанница оказалась в семье лишнею и слишком

дорогою игрушкою. Из гимназии Настю взяли, а в ремесло определить не позволило чванство: какова ни есть, все-таки племянница городского головы! Так и свели девушку околачиваться по дому: в роднях не в роднях, в ровнях не в ровнях, прислугою не прислугою, подругою не подругою. Это двусмысленное положение, и без того нерадостное, ухудшилось, когда Настенька, вырастая, расцвела своею замечательною великорусскою красотою. Дяденька стал приставать, тетенька — пилить, двоюродные сестры — завидовать и издеваться. В последнее время отношения испортились невыносимо, и вот сегодня Настенька сказала тетеньке:

— Подавитесь вы своим хлебом! Ноги моей у вас в доме больше не будет!

А тетенька отвечала:

— Скатертью дорога! На все четыре стороны! Не вздумай только назад прийти: собак с цепи спущу!

И Настенька сбежала.

— Но почему ко мне? Почему именно ко мне? — возопил смущенный Берлога.

Красавица потупила дивные свои небесно-голубые очи и объяснила:

— А я слышала, как вы пели: «Я тот, кого никто не любит», — и решила в себе: ну вот я буду его любить, а он пускай меня в Петербург увезет... Потому что о вас все удивительно как прекрасно говорят, и я знаю, что вы, хорошее жалование получая, состоите при своем свободном капитале, так что для вас это стеснения не составит.

— Так-с... — сказал ошеломленный и сбитый с толка артист. — Но документы ваши?!

— А документы мои всегда при мне и в полной исправности.

Берлога ходил по номеру, обставлялся окурками и бормотал:

— Черт знает что! Вот кавардак! Черт знает что!

На гостью старался не глядеть, но зеркала во всех стенах показывали ему ее — кажется, еще красивее, чем она есть, — оттого, что испуганная и заплаканная...

Дня три спустя в купе первого класса в курьерском поезде, грохочущем под Бологим, Настенька, наскоро и нарядно одетая московским «Мюром и Мерилизом», с солидным и счастливым видом молодой дамы в медовом месяце, говорила Берлоге:

— Как вам, Андрей Викторович, угодно, а я всегда скажу, что это непорядок — давать рубль на чай кондуктору. Что он вам доброго сделал? Только что бутылку зельтерской воды принес. Так ей вся цена пятиалтынный даже по прейскуранту первого класса, а вы — рубль на чай! Это, как вам угодно, Андрей Викторович, а уж вы вперед позвольте мне распоряжаться, а то вы народ портите... Уж я сделаю, что и вам будет без всяких беспокойств, и все останутся вами чрезвычайно как довольны... и деньги ваши целее сохранятся... Шутка ли! — рубль серебра.

А влюбленный Берлога ловил ее руками, и тянул к себе, и соглашался на все.

— Да уж, ладно, ладно... Счетчица!.. Хорошо!.. Распоряжайся, как хочешь... Твой — и все твое!.. Ты... хорошенькая!..

И вот с тех пор прошло восемь лет. Настасья Николаевна Кругликова осталась неразлучна с Берлогою к изумлению всех, кто Берлогу знал, начиная с самого Берлоги. И, как восемь лет назад, удивляла и восхищала каждого нового знакомого красивым личиком и почти девственною свежестью неувядающего вербного херувима.

— Такая хорошенькая, что, глядя, плакать хочется!

Года два спустя после «увода» Берлога вывел свою «Настасью» на сцену. Голосок у нее был маленький, приятненький, опрятненький, — Мешканов называл: перочинный. Петь

ее выучила Савицкая достаточно аккуратно и грамотно. А главное, Берлога вбил себе в упрямую голову:

— Чтобы при такой красоте, да не было таланта!

— А как талантом я ему не угодила, — жаловалась впоследствии Настасья Николаевна тягучим и певучим своим калужским говором, — он на меня и смотреть перестал. «Уходи, — кричит, — со сцены! Это позор! Нельзя такой, как ты быть в опере. Мне стыдно за тебя! В дереве больше чувства и смысла, чем в тебе! К черту! Не могу тебя видеть в театре! Разлюблю и брошу, если не уйдешь...»

Но — даже под такою страшною, казалось бы, угрозою — Настасья Николаевна тут вдруг уперлась и из оперы не ушла.

— Да что ты упрямишься? — уговаривала ее Маша Юлович, зная, какой опасный семейный раздор вносится в связь Берлоги и Кругликовой этим спором. — Стоит ли ссориться и рисковать? На кой тебе дьявол сцена? Ведь таланта у тебя действительно — ни малейшего! Откуда ты вдруг такую страсть к искусству получила?

Ангелоподобная Кругликова складывала алые губки бантиком и журчала умильным и рассудительным голоском:

— Я, Машенька, к искусству твоему, как ты говоришь, никакой страсти не получила и довольно даже его не уважаю, если хочешь знать правду, по чистой совести. Не великое это счастье — три раза в неделю лик красками мазать и горло драть. Для солидного человека довольно даже постыдно.

— Тогда — зачем же у вас с Андрюшею дело стало? Не понимаю! Добро бы ты еще успех имела! А то ведь — так, только потому не шикают и в газетах не ругают, что хороша собою очень, да и все знают, что ты с Берлогою живешь и им на сцену поставлена, — из-за него тебя жалеют, его не хотят обидеть чрез тебя.

Настенька возражала спокойно, невозмутимо и почти радостно:

— И в успехе твоем, Машенька, я ничуть не нуждаюсь. Что тут лестного, что люди в ладошки хлопают? Никогда не понимала! Успеха мне не надо, но в моем расчете, Машенька, обмануть меня нельзя, потому что я свой расчет всегда очень хорошо понимаю. Какова я ни есть, Елена Сергеевна положила мне сто пятьдесят в месяц. Вы там себе загребайте свои тысячи, а полтораста рублей на полу не подымешь. С какой же это стати я их из бюджета своего вон выну? Довольно было бы с моей стороны глупо, — сама посуди...

— Да ведь срам, Настасья! Не певица ты, не актриса... срам!

— Что ж, что срам? Ежели и срам, то за полтораста в месяц можно потерпеть: не слиняю...

И настояла на своем: осталась в труппе при помощи Елены Сергеевны, которая отнеслась к упрямству Кругликовой с каким-то капризным, насмешливым любопытством, точно ей доставляло удовольствие дразнить Берлогу, — вот, мол, каким сокровищем наградил ты наше дело!

Берлога неистовствовал:

— Я вместо полутораста триста готов заплатить, только — чтобы не ходила она по сцене куклою поющею! Пойми, Леля: у меня к ней ненависть является, когда она нотки свои выводит, ручками разводит, глазками хлопает и бедрами такт считает... Манекен! Автомат! Фигура из «Сказок Гофмана»!

Савицкая трунила:

— Твои триста Настасье Николаевне не так выгодны, как мои сто пятьдесят.

— Это почему?

— Да потому, что все, что ты получаешь, и без того в ее полном распоряжении, а это — лишек, ее личный заработок. Она его целиком в банк кладет.

— О Господи!

— И нечего стенать: очень благоразумно.

— Тебе нравится?

— А!.. Я люблю, чтобы женщина устраивала себе обеспеченный уголок, независимый от мужчины!

— Ты феминизм проповедуешь? Давно ли?

— Всегда такою была!

— Объект-то, душа моя, уже очень неподходящий.

Елена Сергеевна улыбалась глазами и говорила:

— Тебе лучше знать.

В конце концов Берлога смирился и отстоял себе, по безмолвному соглашению не столько с директрисою, сколько с Морицем Раймондовичем Рахе, лишь одно право: чтобы «Настасью» никогда не назначали в оперы с его участием. В спектакли, когда она пела, он тоже никогда не заглядывал в театр. А если слышал на репетициях, то морщился, охал, становился не в духе...

— Да за что ты так против кумы? — изумлялся на эту болезненную идиосинкразию Захар Кереметев. — Совсем уже не так дурно: в ритме тверда, интонации чистенькие... Бывают хуже!

— Ох, уж лучше бы она и фальшивила, и врозь с оркестром шла!..

— Чудак!

— Пойми ты: убивает меня ее чириканье... Когда она поет, мне кажется, что в ней воплощается вся пошлость, которая есть в оперном искусстве... и всех нас отравляет!

— Дон Кихот!

— Я-то, конечно, Дон Кихот, а вот она — поет, как Санчо Панса, если бы вырядить его в юбку и выучить делать трели... Да нет, впрочем! Санчо Панса не противен, а она, когда поет, противна... Она... знаешь, что она?

— Ну?

— Она — тот дрозд-филистер, который довел до бешенства Гейне, потому что, сколько он ни пел, все у него выходило одно и то же: «Тра-ла-ле-ли-ра! Какая прекрасная температура!»

Практичность и денежная жадность Настасьи Николаевны вошли в пословицу за кулисами. Все ее поддразнивали

на этот счет — кто как умел, она ни на кого не обижалась и никем не убеждалась.

— Будь я антрепренером, — трунил над нею умный, безобразный, пятнастый, холодный Риммер, — то в артистки вас, Настасья Николаевна, не взял бы ни за какие коврижки, потому что певицею вас жаловал пиковый король...

— И совсем не пиковый король, а Андрей Викторович!

— Ну так он тогда должно быть пикового короля репетировал: распорядился вами в состоянии запальчивости и без всякого разумения... А вот жениться на вас практическому человеку, да свою антрепризу взять, да вас в кассу посадить — это одно наслаждение!

Настя отвечала медлительно:

— А вы женитесь. Что же? Я ничего, я за вас очень пошла бы. Вы человек степенный и при своем приличном капитале. Вы очень можете составить счастье девушки, и совсем напрасно зубы скалить: ничего тут смешного нет, — Божие благословение.

— Очень вами благодарен. А что немец-то я — это вам ничего?

— Я немцев очень уважаю, особенно которые русские.

— За что такая привилегия?

Кругликова улыбалась, краснела и говорила:

— За ихнюю аккуратность. И галстуки у вас всегда новые.

— Женился бы, Настасья Николаевна! — трагически вздыхал Риммер. — С восторгом женился бы, невеста вы моя распроневестная, да... признаться вам откровенно, и без того уже два раза женат, так в третий-то и страшновато: пожалуй, те две мои прежние мерзавки обидятся — в Сибирь меня упекут...

В последние годы Настасья Николаевна слушала разговоры о замужестве все с большим и большим удовольствием.

— Что же? — признавалась она интимному другу своему, Маше Юлович. — Я звезд с неба не хватаю, но пониманием Господь Бог меня не обидел. Очень хорошо знаю, что не на век меня Андрей Викторович брал, и скоро всему этому нашему с ним делу конец. Надо удивляться, что еще так долго протянули. Детей, слава Богу, не было, — капиталом он, я надеюсь, не обидит меня, наградит, сколько сможет, — разойдемся по-тиху, по-благородну, он направо, я налево, чтобы со всею приятностью — канители разрывной не затевать и скандалами друг друга не беспокоить...

— Да неужто не жаль?

— А что жалеть? Я свою порцию в жизни получила. Пора и честь знать.

— Ох, притворяешься, Настасья! Ролю напускаешь! Это хорошо, это я в тебе хвалю, что носа не вешаешь. Только верится плохо. Небось злостью и ревностью душа изболела, — молчишь, а сама внутри вся кипишь-клокочешь, разорвать дружка в клочья хочешь?

— Вот уж этого, Машенька, я в жизнь не понимала, — с искренностью говорила Кругликова, — в жизнь свою подобие такой неприятности на себя не брала, чтобы ревновать... Помилуй! Да ежели бы такая глупость, чтобы ревность — какова бы тогда была моя жизнь? — ты сама посуди! Нам с Андрей Викторовичем, как сойтись, еще и двух месяцев не исполнилось, а он уже — успел пострел: шашни свои распространил, как петух кохинхинский... И в публике-то, и за кулисами-то... Дульциней этих всяких — конца-краю нет... Что ты? Как его ревновать возможно?! Много ли есть из вашей сестры, которые с ним якшаются, таких, чтобы у него никогда в любовницах не были? Это никакого сердца не хватит — подобного воробья ревновать. Сохрани Бог! Я в его амуры и шуры-муры никогда не мешалась: чрезвычайно как себя берегла... Что он ни твори, с кем ни свяжись — ни-ни-ни! не мое дело! Как слепая хожу.

— Любила же ты его когда-нибудь?!

— Что же — любила? Слово это, Машенька, чрезвычайно какое мудреное. Как к нему относиться. Этак его взять — ужасно как важное, а этак — будто и совсем пустое. Что же — любила? Это разумеется, что он мне очень нравился, — особливо покуда в усах ходил. Босых лиц, как у нас в актерстве принято, я не обожаю: на коленку похожи. Да и теперь нравится больше других мужчин, я к нему всегда отношусь со всею моею приятностью. На меня ему жаловаться не за что: всегда была смирная, послушная, сцен-историй не заводила, любовников не имела. Я не ревнива, но и меня ему ревновать не приходилось, это я могу по чести сказать. При такой моей замечательной красоте, я, однако, мужчин от себя чрезвычайно как далеко всегда держала. Потому что для чего же они мне, Машенька, коль скоро у меня есть свой собственный и лучше всех других? Этого баловства, чтобы мужчинам на шею вешаться, я себе никак не позволяла...

Маша Юлович тяжко вздохнула, поникая массивною головою своею в угрызениях нечистой совести. Рассудительный херувим продолжал журчать:

— Но представь же ты себе, Маша: он, Андрей Викторович мой, и это самое, то есть верность мою ему несмутимую, даже и ее теперь уже не к чести моей приписывает, но как бы в недостаток ставит. «Ты, — говорит, — рыба! Ты, — говорит, — мороженое молоко, как, — говорит, — в Сибири на базарах белыми кругами продают! У тебя, — говорит, — сердце застуженное! Ты ни влюбиться, ни влюбить, ни пострадать, ни заставить страдать — не в состоянии! Ты без темперамента!..» — «Ах, батюшка! — говорю. — Да на что мне твой темперамент? Что с ним в дому, что ли, легче станет жить, или капиталу нам от него прибавится?»

— Ты бы его проучила с кем-нибудь, показала бы ему темперамент! — хохоча, советовала Юлович.

Кругликова задумчиво возражала:

— То-то и есть, что я, в самом деле, чрезвычайно как себя соблюдающая, и никаких мне этих пустяков и глупостей не надо. И к тому же, если бы какое ручательство, что без последствий. Я, Машенька, при всем моем девичьем заблуждении, женщина с своими правилами, и это у меня самое твердое убеждение, что детей наша сестра может иметь только в законном браке и — соответственно глядя по капиталу, чтобы нищих не плодить. Андрей Викторович в это мое убеждение со всею деликатностью вник и соблюдает свою вежливость: восемь лет прожили бездетно. А вообще-то мужчинишки на этот счет — народ сквернейший и наглецы без всякого рассуждения...

— То есть — удивляться на тебя надо, Настасья! — восхитилась Юлович. — Как это у тебя все, что при тебе и вокруг тебя, обдумано, сосчитано, предусмотрено... словно ты не человек, а машина какая-нибудь! А еще люди тебя дурою зовут! Нет, дураки-то — это они, которые тебя в дурах ставят, а ты у нас, я вижу, преумная!

Херувим лукаво улыбался.

— Привести в ревность Андрея Викторовича для меня не составило бы большого труда, потому что он к тому склонный... Покуда он во мне не убедился, он меня не только к мужчинам — и к женщинам ревновал... Потому я и петь училась у Елены Сергеевны, а не у Светлицкой: не пустил... «Она, — говорит, — безобразница, ты у нее не пению, а развратным пошлостям всяким выучишься...»

Юлович одобрительно кивнула головою и коротко заметила:

— И умник, что не пустил. Прав...

— Прав-то прав, — спокойно возразила Кругликова, — однако вместе с тем я так себя понимаю, что против пошлостей я себя хладнокровным характером своим всегда бы

оборонить сумела, но, если бы я у Светлицкой училась, то, может быть, не такая бы из меня теперь певица вышла. На Елену Сергеевну мне жаловаться грех: занималась со мною усерднейше, — только ведь она не для меня это делала, а для Андрея Викторовича. Какова я ни есть без темперамента, но очень хорошо чувствовала, что она через силу свою занимается со мною, и бездарностью меня считает, и презирает меня за бездарность, и втайне рада очень, что я бездарная, и что — есть за что ей меня презирать.

— Завираешься, Настасья! Много на себя берешь!

— Нет, не завираюсь. Она, бывало, если у меня что-нибудь в уроке моем не выходит и очень глупым ей кажется, так раз двадцать меня заставит повторить и все норовит, чтобы другие слышали и дурою меня находили... И ничего не скажет, никакого замечания, только глазищами своими стеклянными улыбается, и слышу я, всем нутром своим чую, как она в душе надо мною издевается и почитает меня ниже ползущего насекомого...

— Станет Елена Сергеевна так много утруждать себя тобою!

— Ладно! Я что знаю, то знаю... Ненавистница она — вот что!..

— Не за что ей ненавидеть тебя, — врешь ты!

Херувим сощурил лукавейшие глазки.

— А за Андрея Викторовича?

— Вспомнила! Когда это между ними было! Да и что ты — первая разве при нем после того, как у них кончилось? Было и до тебя, были и после тебя... и всех Леля знала, и никому от нее не было никаких неприятностей...

— Неприятностей и я от нее никогда не имела и не буду иметь. Она о себе слишком высоко понимает, чтобы делать неприятности. А ненавидела она всех, кто с Андреем Викторовичем... это ты поверь!.. И меня, и всех!..

— Бреды твои, Настасья, глупые, бабьи бреды! Она, я думаю, уж и позабыла давно...

Кругликова вдруг рассмеялась.

— Ужасно я ее на уроках дразнить умела!

— Здравствуйте?!

— Если, бывало, надоест мне это, что она уж очень меня сравнительно с собою в мыслях унижает, я сейчас же начинаю у нее прощения просить...

— За что?!

— А за то, что я такая глупая... «Не сердитесь, — говорю,— на меня, Елена Сергеевна, дорогая! Я и сама не рада, что неспособна вам угодить! Видит Бог, как я вам стараюсь: вчера даже ночью Андрюшу разбудила и заставила его со мною пройти, как вы показываете, — да вот голова-то у меня с дырьями: сегодня опять все позабыла...»

Юлович повернулась на стуле и крякнула:

— Ну?

— Ну и сейчас смех этот ее подлый у нее из глаз и пропадет...

— Ловко!

— То-то, думаю: ешь! Ты себя в богинях числишь, а меня в тараканах, а вот Андрей-то Викторович у меня в горсти, а тебя к деду послал... Хи-хи-хи!

— Характерец!

— Да — что же? Я не завистная и злости напрасной ни к кому питать не хочу, но понятно: ежели ты меня зубами сгрызть хочешь, так я тебе в рот сердитый таким каленым ядром подсунусь, чтобы и зуб пополам... Темперамента у меня, может быть, и нет, но соображения, кто чего не любит и кого чем можно донять, — этого, сделайте ваше одолжение, предостаточно. Одерну кого хочешь, и даже сверх возможности.

Она пригорюнилась и возвратилась к прерванному разговору.

— Любила... Что же — любила? Молоденькая была, глупенькая... возраст свой не соображала... Входя в степенные года, все это пустословие насчет любви надлежит бросить, чтобы искать в жизни положительных руководств. Умная женщина, которая в моем цветущем возрасте, должна мечтать не о шалостях, но об устроении своих дней.

— А ты почитаешь себя неустроенною?

— А то как же? Которая женщина незамужняя, я ее обязательно понимаю как неустроенную. Будь Андрей Викторович холостой или вдовец, я бы непременно ладила за него замуж. И так полагаю, что, хотя любви в нем ко мне большой нету, однако по благородству своему он бы мне в том не отказал. Но как скоро его законная шлюха и мереть не мрет, и развода не дает, а только в безвестной отлучке с босяками путается да адреса доставляет, куда ей деньги на водку посылать, то мне всенепременно надобно высматривать себе хорошего мужа. Совсем я того не желаю, чтобы моя красота увядала в безбрачии. Это, конечно, очень значительное мое благополучие, что Андрей Викторович не наградил меня потомством, но вообще я ужас какая семейная и хочу иметь своих законных детей... И чего же мне ожидать, скажи пожалуйста? Конечно, я имею в прошлом свой изъян поведения, но при моей красоте и свежем возрасте и как я ко всему тому женщина не без средств, то всякому мужчине, который умный и с рассуждением, меня очень лестно взять за себя. Еще и холить будет, и в глаза смотреть, и на задних лапках ходить. А если молодость уйдет, да румянец слиняет, да морщинки щеки выпестрят, тогда станет, Машенька, поздно. Пожилым бабам замуж идти — это пошлости. Который если подлец и польстится на капитал, то потом в отместку так тебя скрутит в бараний рог, — соками по капле изойдешь у него в кулаке-то, вот что! Я замуж пой-

ду скоро, но с большою осторожностью. Не торопясь, подумавши. Мне солидный муж нужен. Театральщина-то шалая ваша вот как надоела.

— И Андрюшка?

— Шалее вас всех! Знаешь, Маша, вот тоже о нем... который год я о нем думаю: здоровый он человек или одержимый?

— Кутафья ты перемышльская, — вот тебе мой ответ!

— Да что — кутафья? Правда! Я, Маша, такого образа в мыслях, что всякий человек должен соответствовать своему званию. А который не соответствует, есть неосновательный. Кричат об Андрее Викторовиче: знаменитость! великий артист! А что великого? Ежели бы я деньги не копила, он бы не хуже тебя в дырьях и рвани ходил...

Юлович и злилась, и смеялась.

— Кутафья, Настенька, кутафья!

Настенька тянула:

— У артистов, которые себя понимающие, — какое знакомство? Купцы, инженеры, богатые господа... Артист с ними — и шутку пошутить, артист с ними — и в карты поиграть... Глядишь, к бенефису-то — и взыскан: эва, какие горы в оркестре наворочены — и золото, и серебро, и брильянты, и выигрышные билеты, и часы, и портсигары...

Юлович усмехнулась с презрительною гримасою убежденной и беспардонной богемы.

— Душанову даже автомобиль поднесли. Только это было на смех.

— А что на смех? — живо подхватила и возразила Настя. — Хоть и на смех, все — в дом, а не из дома. Смейся, пожалуй, с большого ума: автомобиль-то худо-худо две тысячи стоит. Две тысячи! Шутка! Да я за две тысячи не знаю, что можно сделать...

— Пройдись голая по бульвару! — захохотала Юлович. — Охотников заплатить — найду хоть сейчас... Еще накинут!

Ангелоподобная красавица даже не улыбнулась,

— Нет, этого нельзя: дешево. Нет расчета, потому что портит репутацию и прекращает карьеру к жизни. Репутация, Маша, тоже капитал. Без нее нельзя.

— Нельзя-то нельзя, — согласилась Юлович, — только я, бедняга, всегда на этот счет соображать опаздывала...

Настя журчала:

— Но — что две тысячи — большая сумма, в этом ты мне поверь. Много за нее купить можно... особливо, если у нашей сестры и по тайности... хороший капитал!..

Юлович покрутила головою.

— Ну, знаешь! ты при посторонних так не откровенничай.

— А что?

— Да ведь пожалуй, кто и предложит... Как ты тогда?

— А у нас с Андреем Викторовичем, — продолжала Настя, пропуская мимо ушей замечание приятельницы, — у нас взамен обстоятельного знакомства — косоворотка, да голубой воротник, да барышни в барашковых шапочках. Крика много, лаврового листу — на два полка щей наварит, а существенного и нет ничего. Намедни книги поднесли, Шекспира сочинения. По-моему, насмешка одна! Ну зачем оперному певцу книги? Разве которые оперные — читают? Это уж преставления света ждать надо, ежели мы, оперные, в книгу носы уткнем!

— Врешь: Андрюшка читает!

Настя недовольно усмехнулась.

— Так я же и говорю: шалый!.. И без книг шалый, а с книгами совсем зайца в голову заполучит и с ума сойдет... Компанию подобрал! Мальчишки и девчонки! Поди нигилисты все! За ними полиция смотрит! Накурят, надымят,

папиросных окурков по коврам нашвыряют, наголосят — аж потом три дня крик из квартиры метлою выметать надо... И слова такие произносят... ужас!.. Конечно, я женщина — мне что? С меня не спросят! — но вчуже страшно слушать. Сама знаешь, какое время: в каждом дому свой шпион есть, а им — хоть бы что: как с гуся вода. Орут, поют... Ничего не боятся, отчаянные! Я только сижу да трясусь: помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, защити от мужа кровей и ареда... Покуда Бога ругают, оно еще куда ни шло, потому что это, я знаю, теперь ничего: у меня кум в казенной палате служит, сказывал, что за Бога в Сибирь больше нельзя. А ведь они, охальники, до самого что ни есть высшего правительства дерзают. Говорю тебе: в семи потах сижу и всеми поджилками трясусь!

— Скажите!

— Чаю пьют: ну веришь, Маша? В неделю фунт выходит!

— Ай-ай-ай!

— Вот — как Бог свят. В понедельник фунт почала, а в субботу — этакая щепотка.

— Не разорись, мать. Небось по два сорок чай-то берешь?

Настя уставилась на нее с гримасою хозяйственного ужаса и деловито отмахнулась, как от сумасшедшей:

— Скажешь тоже! Напасешься ты на них по два сорок! Это — по миру надо пойти. Климушинским пою, в рубль шестьдесят...

— Да! При тридцати тысячах дохода оно — все легче!

Настя ответила смеющейся Юлович взглядом большого неудовольствия.

— А что мне в его тридцати тысячах дохода? Я тебе, Маша, истинно говорю: мне эти театральные фиверки ваши — не по нутру. Получит завтра Андрей Викторович дифтерит, — вот тебе и тридцать тысяч дохода!

— Тьфу, Настасья! Выдумает же! Типун тебе на язык!

— Я, Машенька, люблю доход малый, но верный.

Юлович хитро подмигнула ей.

— Ох, Настасья, есть у тебя капитал, есть!

Та подумала и кивнула головою.

— Конечно, свое обеспечение я приобрела... что ни случись, не останусь кончать жизнь с пустыми руками... Ну и туалеты имею... бижу всякие... На тряпки я не азартна, не люблю портних баловать, а вот брильянты, меха... белья имею много отличнейшего... Но — чего же мне и стоило! Одни бенефисы его... С ног собьешься, что крови испортишь всякий раз, покуда устроишь и сбудешь с рук событие это великое... Ведь сам-то пальцем о палец не ударит, чтобы сбор раздуть... успех там... газеты... подарки... Все я! Ему все его великолепие, как кушанье, готовое подай, а что неприятного по кухне — это все мое! А в благодарность только воркотню слышу... То не так, это не этак... Да с этим не говори, да тому не одолжайся... Да я его компрометирую, да я его в неловкое положение ставлю... Кабы не я, так у него бенефисы без единого подарка проходили бы, только с травою да ревом дурацким — вот тебе слово! Я — все! Я и намекну, я и подговорю, я и пококетничаю, я и подскажу, что купить... А он лается!

Настя даже смахнула с небесно-голубых очей своих что-то вроде тощей слезинки. Потом заговорила мечтательно:

— Ежели я такое свое намерение оправдаю, чтобы с Андреем Викторовичем разойтись, то имею я планы заняться — на Красный крест подряды казенные брать, с передачею... смекаешь?

Юлович фыркнула.

— Где мне! Я, девушка, арифметикою слаба. Но, уж если ты хвалишь, должен быть хабар хоть куда — жохо-

вый! А, по-моему, девка, вот тебе совет: будет еще лучше! Оборачивай ты свой капитал промеж нас негласными ссудами?.. С меня первой — что деньжищ должна снять: ведь я, грешница, всегда без гроша сижу и в кредите нуждаюсь.

Кругликова вздохнула и возразила с голубиною кротостью:

— Тебе, Машенька, я никак своих денег не поверю.

— О?! — удивилась Юлович. — За что?

— Потому, — опять вздохнув и самым наставительным тоном объяснила красавица, — что с тебя, Машенька, я не могу взять настоящего процента.

— Не оправдаю? — полюбопытствовала заинтересованная Юлович.

Настя потупилась, подумала и отвечала, с прозрачною ясностью прелестного своего взгляда:

— Нет, не то что не оправдаешь, а мне будет жаль тебя: все-таки были подруги... очень уж труден тебе покажется мой процент!..

— Так ты не грабь! по-божески бери! снизойди! — хохоча и сотрясаясь всем своим жирным телом, воскликнула искренне развеселенная Юлович.

Настя почти в испуге подняла на нее недоумелые глаза.

— Что ты? Как можно! За что же мне терять свое? Согласись!

Обе примолкли.

— Сколько лет уже я знаю тебя, Настасья, — жестко и серьезно начала Юлович, — а всякий раз, что вижу тебя с Андрюшкою, — загадка это для меня: как вас черт веревкою связал? Ну его еще я понимаю: красотою своею неземною ты его полонила... Но ты-то, ты-то — как умудрилась за ним, цыганом, пойти? Неужто не разобрала, что вы — не пара? Он — огонь, а ты — вода!

Кругликова красиво повела плечами.

— Девическое ослепление молодости!

— Ага! — обрадовалась Юлович, — все-таки, значит, влюблена-то была? Ну слава Богу! А я уж боялась, что ты — так сразу от колыбели и принялась деньги считать...

Но Настя, верная себе, и тут ее разочаровала.

— Нет, я не то что влюблена была, — созналась она в пленительном раздумье русской Мадонны, — но, как будучи очень молода и живши в провинции, то еще не знала для себя настоящих карьер...

— Тьфу! Дура!

— Ну вот и рассердилась... Я же с тобою, как с подругою, — по всей откровенности, а ты бранишься... За что?!

VI

— Мориц! Мешканов! Елена Сергеевна! Что же вы, господа, со мною делаете? Ведь это... это... я не знаю что! Отчего вы все до сих пор молчали про эту, как ее?.. Петелькину? Такое явление в труппе, и никто мне ни слова...

— Н-ню, — возбужденно отозвался трагическому Берлоге, устало опускаясь на диван, во фраке и еще с дирижерскою палочкою в руке, Мориц Рахе, — н-ню, откуда же бы я знавал? На репетиции diese * Лампочкина показывала один хороший голос und nichts mehr... ** Теперь я сам совершенно пораженный... После «Grâce» *** ей аплодировал Orchester... О! это чрезвычайно редкий, чтобы Orchester аплодировал на дебютант... Это звучит, как надежда на карьера... ба! Она меня один раз обманывала: я не ожидал. Странно, очень странно!.. И — понимай меня немнож-

---

* Эта (*нем.*).

** И ничего больше... (*нем.*)

*** «Благодарения» (*фр.*). Из оперы Мейербера «Роберт-Дьявол».

ко: sehr originell... * Я стою на свой прежний место: никакой школа! полный нуль, как классический метод! Sie singt ganz primitiv, wie der Vogel singt. Aber... ** что-то есть... Я тоже аплодировал... ja! mit meinem Orcbester... ***

— Ты аплодировал Наседкиной? — изумилась Елена Сергеевна — еще в голубом спензере Алисы, нормандской крестьянки, горящая искусственным румянцем грима и естественным — от нервного подъема только что спетой, большой партии и принятого громкого успеха.

Рахе склонил голову.

— Jawohl! Она меня брала за ложку...

— Это серьезно... это очень серьезно!.. — с задумчивым любопытством возразила Савицкая. — Я думала, что ты уже позабыл, как нравится пение в опере... да еще в «Роберте»: ты его терпеть не можешь...

Рахе сделал усталую гримасу и повторил:

— Она меня брала за ложку!

— Это серьезно! — повторила и Савицкая.

— Ах, батюшка! — выкрикнула, качаясь на мягкой кушетке, Маша Юлович, — на этот раз набеленная, нарумяненная, нарядная и почти молодая, под огромною черною шляпою в перьях, за которую девять мужчин из десяти приняли бы ее за кокотку. — Ах, батюшки! Все повлюбились? Да где она? Что за чудо такое? Я из-за кулис слушала... Правда на сцене-то голоса глухо звучат... Слышно, что есть голос у девки; но — с чего вы все уж так очень взбеленились?.. Не слыхали мы, что ли, хороших голосов?

— Таких — нет, — оборвал Берлога. — Это — голос! Из голосов голос! Это — вот какой голос, господа: лучший

---

* Очень оригинально... (*нем.*)

** Она поет совсем просто, как поет птица. Но... (*нем.*)

*** Да! С удовольствием... (*нем.*)

из женских голосов, какой когда-либо появлялся в нашей труппе.

Рахе кисло улыбнулся.

— О-о-о! Через слишком!

А Юлович перестала качаться и сделала Берлоге нос толстою, с запухлыми перстнями и кольцами рукою.

— Не ври, Андрюшка! Лучший голос в труппе — у меня!

— Андрюша в экстазе, — заметила Елена Сергеевна, с своею сухою улыбкою одними глазами. — Теперь мы наслушаемся гипербол и декламаций!

Мешканов тоже трепал Берлогу по плечу, грохотал и уговаривал:

— Через борт хватили, Андрей Викторович, — хо-хо-хо-хо! — ей-Богу, это уж через борт!

Берлога с досадою бросил окурок и принялся чиркать спичкою, чтобы зажечь новую папиросу.

— Я говорю, что чувствую, — отрывисто говорил он. — В этом голосе я слышу свое, родное мне, любимое, кровное. Если бы я был женщиною, мне кажется, мой голос должен был бы звучать, как у этой... Петушковой!..

Общий взрыв хохота встретил его слова, а Елена Сергеевна иронически протянула:

— Как это хорошо для нас, что ты покуда еще мужчина!.. Торжествуйте, Саня, — обратилась она к входящей Светлицкой, — ваша ученица покорила всех мужчин, и вот — самый ярый ее поклонник...

— Андрей Викторович? Вы? Вам нравится? В самом деле? Верить ли мне счастью?

Светлицкая поймала руку Берлоги в свои мягкие, толстые, горячие ладони и повисла на нем, благодарно и пытливо впиваясь в лицо его черными, всегда настороже, бархатными, темными и все еще пылкими глазами.

Этой знаменитости считали уже под пятьдесят лет, а враги ее уверяли, что можно годов пяток и накинуть, так как до

блестящей карьеры своей под именем Светлицкой Александра Викентьевна долго безуспешно мыкалась по мелким провинциальным сценам под разными, забытыми ныне псевдонимами, меняя их после каждого неудачного дебюта, и даже служила в хоре. И вот будто бы, когда она опустилась на это плачевное артистическое дно, случилось так, что в Одессу, где она была в труппе, приехала на гастроли знаменитая в свое время Н – а, «американский соловей», получавшая чуть не по 5000 франков за выход. Старожилы помнят почти безумный успех ее в вагнеровских операх и странное первое впечатление, которое Н – а производила на сцене. Она была прекрасно-безобразна и гениально-страшна со своею длинною, тощею, плоскою фигурою без грудей и с сухими бедрами, узкими, как у мужчины, со своими круглыми, как озера, полные тусклого света, голубыми глазами, в которых морфий и алкоголь развивали бессмысленные восторги, со своими ярко накрашенными губами на зеленом, костлявом лице покойницы, которую позабыли похоронить, с облаками золотых волос, взбитых вокруг головы так, будто у нее из висков пыхало и венчало ее чело царственное пламя. Рассказов и сплетен о Н – е с разными ее житейскими странностями ходило множество. Несомненною правдою было, что хотя морфинизм с алкоголизмом не уживаются, но дикое существо это както ухитрялось быть одновременно и пьяницею, и морфинисткою. В Одессу она приехала одна, с камеристкою-мулаткою, — не было при ней ни мужа, ни любовника, ни секретаря, и уверяли, что она вообще безмужница и даже чуть ли не девственница в свои уже добрые сорок лет. Дома она ходила в мужском костюме, так и визиты принимала, очень много курила, по целым дням тянула сода-виски, но пьяною ее никто не видал. Говорили, что это удовольствие она сохраняет себе на ночь — после спектаклей, когда напивается уже всерьез, бушует, бьет зеркала, ломает мебель, и — кро-

ме доверенной камеристки-мулатки, никто к ней не подходи: пьяная она страдает манией преследования и в каждом человеке видит врага, вора, убийцу, осквернителя и, если мулатка не уследит и не свяжет ее полотенцем, способна пустить в ход и нож, и револьвер. Справедливы ли, нет ли были эти легенды, но привычка кричать по ночам негритянские песни у Н – ы действительно была. Хозяин гостиницы позволил себе сделать ей замечание, что она беспокоит других жильцов.

— All right! * Так выгоните их! Я заплачу, — хладнокровно предложила певица.

В конце концов она одна заняла целый этаж, который и окутал своею тайною все ее одинокие безобразия. Счета ей подавались прямо безумные, и она платила без торга и спора.

И вот — давали «Тангейзера». Н – а пела Венеру — чуть ли не лучшую свою партию, которую она всегда передавала с диким вдохновением, заставлявшим пламенеть женщин и холодеть мужчин. И, — когда Вольфрам фон Эшенбах не пустил Тангейзера возвратиться в объятия Венеры, и Н – а, в вопле безумной, сладострастной скорби опрокинулась на ложе своем, и захлопнулся от потрясенной публики счастливый Венерин грот, — красивая хористка, изображавшая одну из нимф богини, в восторге схватила худую, холодную руку великой артистки и, упав на колени, покрыла ее поцелуями.

— Что с вами?! — изумилась Н – а.

Хористка лепетала скверным французским языком:

— Вы — гений... Я обожаю вас... Вы лучше всех на свете!

— Aoh, my dear child **, тебе так нравится, как я пою?

* Прекрасно! (*англ.*)

** А, мое дорогое дитя (*англ.*).

— Мне нравится в вас все, — что вы делаете и какая вы!

Н – а при всей привычке к успеху была польщена. Она уставилась на хористку всею морскою глубиною своих бирюзовых сумасшедших глаз. У хористки были удивленно приподнятые круглые брови на круглом, пухлом личике и мистический блеск в томных цыганских глазах, — и, когда рот ее складывался в улыбку, молодые, свежие губы странно повторяли ту же линию, извивом которой змеились старые, увядшие, крашеные, сожженные вином губы примадонны... Н – а заметила это сходство.

— Ты смеешься, как я... — сказала она. — У тебя должен быть талант.

— У меня есть талант, — твердо сказала хористка, со смелым взглядом прямо ей в глаза.

— Aoh?! А голос?

— Контральто...

— Ты недурна собою, у тебя, ты говоришь, голос и талант, — почему же ты только хористка?

— Не везет!

Н–а вдруг протянула ей свои длинные, скелетные руки, и голубая улыбка глаз ее сделалась очаровательна.

— Брось эти тряпки, — сказала она, презрительно теребя на хористке розовый греческий хитон. — Хочешь ехать со мною в Милан? Ты мне тоже нравишься. Я сделаю из тебя артистку!

Таким образом исчезла из Одессы оперная хористка Александра Борх, с тем чтобы лет десять и даже с лишком спустя возвратиться в Россию знаменитою Александрою Викентьевною Светлицкою, которая «сделала» уже и «Скала», и «Ковент-Гарден», и Grand Opera и ехала теперь без ангажемента и контракта, но в расчете и с полным правом занять доходное, видное и почетное, пожизненное место в Петербургской Императорской опере. Дело Савицкой, которое, на-

чинаясь, стягивало к себе все свободные, сильные дарования, перехватило Светлицкую на дороге, завлекло и удержало. К Елене Сергеевне эта женщина сначала прильнула было с энтузиазмом такого же страстного поклонения, как и тот порыв, что бросил ее когда-то к ногам покойной Н – ы и надолго приковал к ней цепями мучительной и позорной дружбы. В последние годы свои окончательно спившаяся и сумасшедшая, дива была ужасна и поработила себе ученицу свою с ревнивым неистовством, в котором лучшие чувства дружбы мешались с сквернейшими страстями извращенного разврата. Но гордый, недоверчивый, холодный, как лед одинокой вершины, характер Елены Сергеевны не ответил этой артистической влюбленности, — быть может, именно потому, что пред Светлицкою бежала дурная слава, и красавица-директриса разглядела или заподозрила под эстетическими восторгами своей новой примадонны большую грязь. Как бы то ни было, хорошие и искренние отношения между ними продолжались очень недолго, — года через полтора остались только любезные, да и то в глаза. Расставаться этим женщинам — обеим — было нерасчетливо, невыгодно, ни к чему; но, крепко связанные общим делом, они втайне не любили, а может быть, даже и ненавидели одна другую настолько же, насколько ласково улыбались при встречах и умело обменивались милыми словами. Перевес нелюбви был на стороне Светлицкой. Между нею и Савицкою осталось что-то, о чем обе молчали и знали лишь про себя, но чего Александра Викентьевна и не хотела, и не умела простить, и, вспоминая, с годами все больше и упорнее окрепала в тихой, себе на уме, мстительной вражде. Она была неглупа, довольно остра на язык, умела хорошо выдерживать маску внешнего добродушия и с самым невинным видом вонзать неприятельнице шпильки, входившие глубоко в сердце. Самые злые сплетни о себе Савицкая всегда и безошибочно

приписывала изобретательному языку Светлицкой. Савицкая, скрытная, презрительная, застывшая в своем ледяном величии бесполой феи, никогда не удостаивала отвечать на эти выходки, хотя бы малою, прямою местью, но иногда умела как-то, без слов и резких поступков, подчеркнуть свое мнение о Светлицкой с такою выразительностью, что в костре старой ненависти сразу вырастало новое топливо. В последние годы Светлицкая значительно притихла. Годы брали свое. Ее несравненный когда-то контральто начал падать, не то чтобы сипя или слабея в звуке, но переходя в ту неприятную, пустую громкость, которая в певице говорит выразительнее всего о старости и слишком долгом опыте пения. Она очень хорошо понимала, что в ее карьере это — начало конца, и потрухивала строгой директрисы, ежедневно ожидая, не воспользовалась бы та придиркою — отделаться от нее, выжить ее из труппы или хоть убавить ее крупный оклад. Два года назад театр торжественно отпраздновал двадцатипятилетие артистической деятельности Светлицкой, и по предварительному, конечно, соглашению с нею дирекция поднесла ей как подарок пожизненный контракт. Это было очень трогательно, об этом много писалось в газетах. Светлицкая на сцене плакала, красиво и кругло прижимая платок к глазам, артисты целовали ее руки, артистки целовали ее в лицо, хор пел славу, оркестр гремел туш за тушем, струнный квартет стучал смычками, а публика неистовствовала в зале, освещенном a giorno *. Но — на завтра юбилея Светлицкой вдруг стало нечего делать в репертуаре, а в ролях ее все чаще и чаще начали появляться дебютантки, — правда, все неудачные и потому нѐ колебавшие положения артистки. Но уже одно обилие их и охота, с какою дирекция давала альтовые дебюты, указывали старой певице, что,

---

* Ажурно (*ит.*).

джентльменски обеспечив ее богатой пенсией, опера считает конченными свои обязательства к ней, ищет возможности отделаться от нее как от артистической силы, и если что спасает ее, так это, что покуда слаба молодежь, приходящая на смену. Контральтовый репертуар невелик и сам по себе, а Светлицкая чувствовала, как враждебная рука молчаливой директрисы еще сокращает его со дня на день у́же и у́же. Из репертуара мало-помалу исчезли все оперы, где контральто занимает первое место, и только любовь Андрея Берлоги петь «Руслана» и Иуду в «Маккавеях» сохранили Светлицкой ее знаменитых Ратмира и Лию. В промежутках ей приходилось изображать Спиридоновну в «Вражьей силе», Солоху в «Черевичках», Свояченицу в «Майской ночи» — характерные партии, которые все контральто ненавидят за их служебность и за необходимость появляться на сцене в некрасивом гриме комической старухи. Делалось это так ловко и тонко, что протестовать и спорить было не с чем.

— Голубушка, ангел неба, солнце мое, любезный мой Светлячок! — вопиял пред нею — краснолицый, лысый, длинно и седобородый, в черной ермолке против ревматизма головы, с жандармскими, непроницаемыми глазами сквозь черепаховое pince-nez, величественно венчающее чрезвычайно греческий нос, — главный режиссер Захар Венедиктович Кереметев. — Ты обижаешь меня своими подозрениями, ангел неба! Совершенно несправедливые фантазии и даже, смею сказать, недостойные тебя претензии, сокровище мое! Я понимаю, что ты хочешь, чтобы мы ставили «Пророка», потому что, быть может, во всей Европе нет такой Фидесы, как ты! И, само собою разумеется, горлинка моя, что также и в Америке, и в Австралии! Но, ангел неба, разве может быть «Пророк» без Пророка?! А где же у нас тенор? где у нас Пророк? Я тебя спрашиваю, солнце: где у нас Пророк?! Карапет Самира-

гов — Пророк? Ванька Фернандов — Пророк? Пойми, что мы связаны необходимостью строить наш репертуар на баритон, потому что другого Андрюши Берлоги — нет во вселенной, а тенора — тю-тю! Роди мне тенора, ангел неба, — и я тебе завтра же ставлю «Пророка»... «Парсифаля»... черта, дьявола... Роди!

— Смолоду этим ремеслом не занималась, — мрачно отшучивалась Светлицкая, — на старости лет дебютировать поздно... Еще вместо тенора антихрист выйдет!

— Ну так пусть другая родит, а ты — выучи!..

— Да вот — если бы! То-то и беда, что не родятся...

— И я говорю: то-то и беда наша. Старое старится, а молодое не растет.

Последним артистическим оскорблением глубоко запало в сердце Светлицкой твердое распоряжение директрисы — не выпускать ее в ролях, требующих мужского костюма. Распоряжение было отдано секретно, самой Светлицкой никогда не объявлялось, и опять старой певице не на что было жаловаться: любимые юноши контральтового репертуара ускользали от нее один за другим, но с любезнейшим соблюдением всех конвенансов. Да и правда была, что мужской костюм давно уже стал не по Александре Викентьевне, растолстевшей к пожилым годам, как подобает всякому контральто, до такой повсеместной круглоты, что как она ни повернись, ее платье — все — казалось туго надетым на пирамиду чугунных бомб.

— Хо-хо-хо-хо! Помилуйте! — исподтишка издевался и хихикал Мешканов, — как же нашему милейшему Светлячку не обижаться? У нее только что усы по-настоящему расти стали, — хо-хо-хо-хо! — а ей тут-то и отказ от мужских ролей... хо-хо-хо-хо!

Собственно говоря, Светлицкая своим большим артистическим умом и опытом сама хорошо понимала, что,

отстраняя ее от Зибелей, Андреино, Урбано и Лелей, Савицкая избавляет ее от опасности сделаться смешною для публики. Уже лет пять назад был случай, что — выходит она в своем излюбленном Ратмире, в котором у нее нет соперниц, и сам Стасов писал о ней, что в госпоже Светлицкой, последней, еще живут традиции Глинки, — выходит она, начинает:

И жар и зной
Сменила ночи тень...

Картинно располагается на убранном цветами ложе. А какой-то пьяный нахал — из райка:

— Слон ложится отдыхать!

На нахала зашикали, нахала вывели, публика устроила обиженной певице шумную овацию, и сама она в совершенстве сумела сделать bonne mine au mauvais jeu *. Но в партере, за кулисами, в уборных пошли смешки, распивочные листки мелкой прессы разгласили эти смешки с вариантами и прибавлениями. Светлицкая все видела, все слышала, все понимала и сгорала бешенством в своем глубоком, темном сердце, и носила ласковую, скептическую улыбку, которая привлекла к ней симпатию Н – ы и положила начало ее карьере, на красиво накрашенных губах странного, чувственного рта своего, в самом деле, отемненного уже усиками, хотя она их и тщательно уничтожала. В другой раз случилось еще хуже. Для масляничного «утренника» Светлицкая пела пажа Урбана в «Гугенотах» и — когда передала Раулю письмо от Маргариты Наваррской — в одной из лож бенуара возвысился мягкий, наивный, детский голосок:

— Мама, зачем пришел этот толстый почтальон?

* Хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

Театр, что называется, грохнул. Постаралась — и удалось ей! — рассмеяться и сама Светлицкая на сцене. Но баритон Тунисов, певший Невера и стоявший тогда рядом с нею, уверял потом, что никогда не забудет взгляда, который Светлицкая послала в сторону дерзкой ложи:

— Тут только я понял, какой омут у нее в душе! А в следующий момент уже улыбалась...

А Светлицкая после спектакля очень старательно разузнала, кто занимал ложу, нашла адрес, добыла чрез прислугу имя ребенка и отправила ему огромнейшую коробку конфет: «Маленькому критику Фофочке от толстого почтальона...» Сконфуженная мать, очень богатая купчиха из самой что ни есть высшей коммерческой аристократии, приехала благодарить, извиняться, объясняться. Рассталась — очарованная, первым другом. В настоящее время у Светлицкой учатся петь две ее дочери — бледные, тощие, выродившиеся барышни, с мечтательными глазами в непроходящей синеве. Они окружены портретами своей профессорши, носят миниатюры Светлицкой в медальонах, только и говорят, что о Светлицкой, об ее доброте, обаянии, голосе, школе, очень часто ссорятся между собою, ревнуя, с которою из двух сестер Светлицкая ласковее, а когда она с ними строга, плачут нервно и глупо. Мать дочерних восторгов давно уже не разделяет и втихомолку часто твердит:

— Связал же нас черт с этою ведьмою! Вечно из-за нее весь дом вверх дном! Приворотным зельем, что ли, она их спаивает?

Но прервать уроков, которые так экзальтируют Мумочку и Мимочку, не смеет, ибо, во-первых, Мумочка и Мимочка командуют матерью как хотят, а во-вторых, всему городу известно, что Мумочка сгорает завистью к Мимочке, потому что Мимочка уже травилась однажды нашатырным спиртом, а Мумочка еще нет и — нетерпеливо ищет слу-

чая попробовать. Что касается критика Фофочки, он по-прежнему находит, что «тетя — толстый почтальон», и решительно без всяких видимых причин, просто по инстинкту терпеть ее не может.

Итак, Светлицкая сама знает, что мужские роли для нее уже закрыты природою. Если распоряжение Савицкой взбесило ее, то — главным образом за то: как сама не догадалась отказаться? допустила себя до того, что чужая, властная и неприязненная рука взяла да и переставила тебя с места на место просто, молчаливо, оскорбительно, как пешку в шахматной игре, как стул на проходе? И — еще одно. Подозрительной и наедине с собою всегда мрачной Светлицкой чудился в поведении Елены Сергеевны какой-то задний, обидный смысл издавна подготовленного оскорбления. Часто в бессонные ночи лежа на пышных подушках, угрюмо смотрела она в черную тьму черными глазами и вспоминала ту брезгливую холодность, которой Снегурочка-Савицкая не трудилась даже и скрывать, когда Светлицкой случалось петь с нею Леля. Руку подаст — точно тряпку бросит; смотрит по роли в лицо, но таким взглядом, пустым и безразличным, будто она одна на сцене и пред нею нет никого; в любовных диалогах судорожною дрожью сводит ей плечи тайное отвращение...

— Погоди же ты ужо, Несмеяна-Царевна! Погоди!..

И под кровом темных, злобных ночей гневным жаром ходило и напрягалось тучное, мощное, точно из железа сколоченное тело, и прочным мщением разгоралась дикая, порочная душа.

Петь Светлицкой Елена Сергеевна не давала, но из труппы ее не отпускала. Вражда враждою, но Светлицкая, хоть и на закате, все еще лучшее контральто в России; подарить ее голос и искусство какому-нибудь конкурирующему театру — себе дороже. Попробовала было Светлиц-

кая почву — заговорила о переходе на казенную сцену. Встретила изумленные глаза.

— Бог с вами, Александра Викентьевна! Чем вы недовольны? За что?

— Мне у вас делать нечего!

— Сезон на сезон не приходится. Сегодня — нечего делать, завтра — будет что.

— Но я от скуки умираю! Я практику сцены теряю! У меня голос застаивается!

— Боже мой, какие странные вещи вы говорите! Будто вы — дебютантка, нуждающаяся в практике! Подумаешь, не напелись мы с вами на своем веку!

— Напелись ли, не напелись ли, милая Елена Сергеевна, но ведь петь-то и вы еще хотите, — не правда ли?

— Хочу, — спокойно согласилась Савицкая.

— Так почему же и мне не хотеть?

Директриса на прямой вызов Светлицкой вооружилась всем своим ясным холодом.

— Кто же вас убеждает, чтобы вы не хотели петь? И надо хотеть, и будете петь, когда потребуется...

— А сейчас не требуется? Покорно благодарю!

— Тут нечем обижаться. Вы видите, как слагается репертуар.

— Да что репертуар, дорогая Елена Сергеевна! Репертуар — дело дирекции, а дирекция — вы!.. Нет, как вам угодно, а я возьму ангажемент... Меня Церетели в Харьков зовет, Лубковская в Одессу...

— Я не имею ничего против того, чтобы мои артисты гастролировали, когда свободны, но — брать ангажемент?! У нас с вами — пожизненный контракт.

— Ну полно вам, ангел мой Елена Сергеевна! Что же вы с меня — неустойку, что ли, требовать станете?

Директриса бесстрастно смотрела вдаль, мимо ее раздосадованного, возбужденного, насильственно улыбаю-

щегося лица, шевелила бумагами на столе и мерно говорила:

— Неустойки с вас я требовать не буду, но — выгодно ли вам уходить от меня, это размыслить — ваше дело.

Светлицкая понимала очень ясно, что скрывалось под этими словами: «Любезная моя, не пугай: ты сама хорошо знаешь, что тебя для сцены хватит еще года на два, много на три, да и то, если будешь петь редко, в парадные спектакли. Как постоянная рабочая сила, ты ни одному антрепренеру уже не выгодна, а с гастролями при ограниченном репертуаре очень скоро приешься и потеряешь цену. Контральто сборов не делают. Они — красота и сила ансамбля. За два, за три года ты, быть может, заработаешь тысяч сорок рублей, которые и проживешь. А дальше — у тебя ни гроша, и придется тебе ко мне стучаться: возьми меня к себе на пропитание. А я уже не возьму. И выходит, что за удовольствие нескольких новых успехов продашь ты глупее глупого превосходнейшую богадельню с пенсией на дожитие. Сиди-ка ты смирно на старушечьем положении, делай, что велят, и помни, что не мы в тебе, а ты в нас нуждаешься».

И, оценивая все эти логические и, к сожалению своему, неотразимые доводы, Светлицкая даже глаза закрывала, чтобы не выдать омрачавшей их злобы.

— Бог с вами, Леля! — говорила она плаксиво и сентиментально. — Обижаете вы меня!

— Бог с вами, Саня! — с неуловимым оттенком насмешки возражала директриса. — За что мне вас обижать?

— Уж не знаю, за что, а только поступаете со мною не по-дружески.

— Милая Саня! Дружба дружбою, служба — службою.

— Я задохнусь от безделья, и моя смерть падет на вашу голову.

— Сохрани Бог, чтобы случилось такое несчастье! Нам потерять вас?! Ни за что!

— Дéла, милая Леля! Дайте мне дéла! Ну хоть маленького, хоть капелюсенького дела! Не привыкла я жить без дела, не могу!

— Но, милая Саня, у вас же так хорошо идет ваша педагогическая работа?! Вы имеете столько учениц, и все они так вас любят...

Эти слова опять коробили Светлицкую, как злой намек, потому что о школе ее ходили по городу странные и не совсем не справедливые сплетни. Она удерживала готовый сорваться с языка резкий ответ, вздыхала, закрывала глаза.

— Да, конечно... Но — ах, Леля! Профессорствовать — это для певицы с известностью значит сознавать себя старухою... А в старухи мне еще ужасно как не хочется!

Сердце хочет наслаждений,
Сердце просится любить? —

насмешливо напевала ей Елена Сергеевна из «Русалки». — Ну вот и спойте в следующий четверг Княгиню... покажите всем молодым, что такое — настоящий-то темперамент.

— Ах какая вы злая!.. А, в самом деле, в четверг — «Русалка», и я занята в Княгине? Правда?

— Как то, что солнце светит.

И Светлицкая уходила, и довольная, и униженная подачкою, свысока брошенною ее самолюбию. Дома — радость стихала, унижение вырастало, мрачные мысли брали верх...

И опять тяжело ворочалось в темной бессонной ночи по кровати тучное, жаркое, железное тело, и искусанные, гневные губы шептали:

— Погоди, Несмеяна-Царевна! Погоди!

При всех странностях, какие молва приписывала преподаванию Светлицкой, учила она недурно. Хотя Рахе, фанатик классицизма, и уверял, будто Светлицкой надо законом воспретить, чтобы не учила пению, тем не менее даже в труппе Савицкой было уже несколько юных компримарий, вышедших из ее школы. Она была завалена уроками. Но бывают профессора пения, счастливые и несчастные на ученические голоса. При всем своем успехе преподавательницы Светлицкая еще ни разу не имела в руках своих ученицы с голосом, который обещал бы большую оперную карьеру.

— Милый друг Саня, — говорил ей Берлога, — чтобы стать новою Ниссен-Саломан, вам недостает только своей собственной Лавровской.

— Да! — вздыхала Светлицкая, — немногого недостает! Подите-ка, дружок, найдите ее — свою собственную Лавровскую!.. Лавровские, как ягоды, под кустиками не родятся, нет хороших голосов, милый Андрей Викторович, хоть шаром покати, — нет! Приходят все какие-то чирикалки...

— Зато, поди, все хорошенькие? — лукаво подмигивал он, заглядывая ей в глаза.

Она улыбалась.

— Есть и хорошенькие!

— Эх, черт! И чего я, дурак, зеваю — школы не открою?

— Ну что вам у нас, бедненьких, хлеб отбивать!

— Хоть бы вы меня инспектором, что ли, каким-нибудь к себе пригласили!

— Козла капусту стеречь?

— Вы-то пуще их стережете!

И оба хохотали. Светлицкая не прощала ни одной шпильки Елене Сергеевне Савицкой, но на грубые дву-

смысленности Берлоги не обижалась. На него никто не обижался.

Такую уж странную он нажил себе привилегию!

VII

— Вам нравится? Вы за нас? Вы за меня? Верить ли счастью? — восторженно твердила Светлицкая, повиснув на руке Берлоги.

Он высвободился от нее довольно бесцеремонно.

— Этот звук увлекает меня, волнует, поднимает. Пока я слушал вашу Светочкину, мне все время хотелось ответить ей, слить с ее голосом свой голос...

Берлога оглянулся на директоров, нахмурился и сложил руки на груди — трагическим Наполеоном.

— И вы намерены держать такое сокровище на вторых ролях?!

Светлицкая подняла к нему свои круглые лапки, как молящийся ребенок.

— Ах, Андрей Викторович! Поддержите! Заступитесь!

— Мориц? — настаивал с вопросом Берлога. — Мориц? Леля? Елена Сергеевна?

Рахе весь окутался дымом, так что лишь огонек его сигары светил сквозь синее облако, таинственным и унылым, красным глазом циклопа.

— Н-ню... — послышался его нерешительный, полный размышлением голос. — Н-ню... Ей аплодировал Orchester... Vielleicht...* Если моя жена ничего не говорит против, я тоже согласный: давайте на ваша Картошкина настоящий дебют с большая, ответственная роль...

Елена Сергеевна чуть повела плечами.

---

* Оркестр... Возможно... (*нем.*)

— Сделайте одолжение. Почему мне быть против? У нас почти нет примадонн soprano, нам такая певица, если она оправдает ваши надежды, очень нужна...

— Ты, мать моя, сама у нас примадонна soprano! — напомнила с качалки Маша Юлович.

Савицкая обратила к ней строгие глаза.

— Так что же?

Та сконфузилась и ответила дурашливою гримасою.

Савицкая повела плечами в прежнем жесте скрытого неудовольствия.

— Надеюсь, никто никогда не скажет, чтобы я, Елена Савицкая, закрывала дорогу начинающим артисткам?

Светлицкая так к ней и бросилась, так и подкатилась, как бархатный шар.

— Леля! Да кому же может в голову прийти?! Вы, Леля, ангел, — я всегда говорила, говорю и буду говорить, что ангел! Ангелом от рождения были, — ангелом всю жизнь проживете!

Но Маша Юлович, омраченная и с пророчески как-то выпученными коровьими глазами, которые старались быть сердитыми, тяжело треснула ладонью по ободу качалки.

— А я бы дебюта не дала!!!

— Здравствуйте! Вывезла! — с удивлением воззрился на нее Берлога.

А Светлицкая молитвенно сложила руки и почти простонала, с выражением страдания на круглом и янтарном сквозь белила лице.

— Маша! За что?

Юлович мотала головою, как вошедшая в азарт норовистая лошадь.

— Так вот, — не дала бы, да и не дала... Кабы была директрисою... Не дала бы! не дала!

— Ты, Марья, — с сердитою насмешкою перебил нахмуренный Берлога, — должно быть, спала там, — на

своей качалке? Со сна бредишь? Бог знает что говоришь!..

— Ах, батюшка, да не всем же дан дар сразу влюбляться, как тебя угораздило!

Берлога посмотрел на нее строго и холодно.

— Сказал бы я тебе, Марья Павловна, на эти твои слова одно свое словечко...

— Ну? — задорно откликнулась та, приподнимаясь с качалки на локтях всем туловищем вперед, точно готовая принять неприятельский штурм крепость.

— Не люблю браниться при Елене! — откровенно рассмеялся вдруг Берлога, — она меня расхолаживает, как цензура, и я теряю свой ругательный лексикон...

Светлицкая, — обнимая Юлович за плечи, отчего та, вертя всем телом, усиленно освобождалась, — ныла и чуть не плакала с другой стороны.

— Маша! Ну можно ли? Зачем? Ты всегда такая добрая ко всем, и вдруг... Я не понимаю! Что тебе? Зачем?

— Да вот хоть бы затем, чтобы тебе досадить... У!!!

Она погрозила Светлицкой массивным своим кулаком и откинулась на спинку качалки. Светлицкая сделала вид, что принимает шутку, и ответила тем же, изящно округлив украшенную перстнями руку и с самою очаровательною улыбкою на крашеных губах. Но Юлович совсем не шутила, и теперь, хотя мир к ней понемногу возвращался, вытянутое на качалке огромное тело ее колыхалось бурно и гневно.

— Ты, Санька, думаешь, что если я у вас слыву дурою, бабою-простынею, то тебя, умницу, уж и не проникаю? — метнула она последнюю стрелу парфянского отступления. — Врешь! Я тебя вижу насквозь и все твои планы-прожекты хоть сейчас пересчитаю по пальцам в полной видимости... да!

Это Светлицкая оставила без ответа, пропустив, как брошенное на ветер, мимо ушей.

— Полно вам спорить, пожалуйста! — нетерпеливо остановил Берлога. — И о чем? Дело решено. Елена Сергеевна согласна, Мориц благословил, Захар Венедиктович тоже, я и подавно... одна Марья Павловна — сама не зная с чего, закусила вдруг удила... Но это на нее бзик нашел. А бзик нашел, бзик и пройдет. Ваша ученица получит дебют, моя милая Саня, и хороший дебют! Вот вам в том моя рука! И дебют дадим, и успех будет, и ангажемент заключим.

— Хо-хо-хо-хо! — отозвался из-за стола своего Мешканов, — положим, насчет Захара Венедиктовича вы, Андрей Викторович, маленько — хо-хо-хо-хо! — увлекаетесь... Захар Венедиктович ничего не говорил... хо-хо-хо-хо... он даже и не присутствовал, когда вопрос сей подвергнут был обсуждению...

— В самом деле? Куда же его черт унес? — воскликнул изумленный Берлога, тщетно ища глазами по углам режиссерской, только что бывшего здесь седобородого, длинного, апостольского Кереметова, с его жандармскими глазами под черною шапочкою Фауста.

Мешканов хихикал. Рахе возразил с ленивою досадою:

— Н-ню! Который год ты знаешь наш Захар и до сих пор не можешь быть привычайный? Он видал, что ты себя горячишь, Маша и Саня взошли в своя вечная пикировка... н-ню, он не любит шум, спор и — чтобы бывать со своим голос между вами посредник...

— Сия благоразумная лисичка, — хихикнул Мешканов, — в дурную погоду завсегда в свою норку прячется! Не охоч наш Захар Венедиктович брать на себя ответственность и высказывать свое решительное слово в делах, могущих иметь исход двоякий...

— Отвратительная манера! — со злостью воскликнул Берлога. — Возмутительно мне это в нем! Я Захара люблю, уважаю, первый с ним друг, но трусость эта его нравствен-

ная, греческое вилянье хвостом ни в сих, ни в тех... брр!.. Ненавижу!.. Тушинец! Переметная сума!

Он уселся на ручку той же качалки, где колыхалась Юлович, и приятельски обнял певицу.

— Машенька! Сложи гнев на милость: пора! Не так уж я виноват пред тобою. Да не зайдет день твой в гневе твоем!

— Пошел к черту!

— Не верю: уже не сердишься, — и глаза смеются, и губы врозь плывут... Прошло твое сердце, прошло.

Марья Павловна крепко ударила его в спину кулаком.

— Эх ты! — захохотала она. — Конечно, прошло. Кто на тебя, непутевого, долго сердце удержит? Счастливчик! Баловень! Не стоишь ты того, а прошло.

— Однако, господа, — продолжал Берлога, качаясь вместе с нею, — это очень осложняет дело, что Кереметев удрал, яко тать в нощи... Мы не можем постановить решения без главного режиссера...

— То есть можем, — возразил Рахе, но это предлог на большая претензия.

Елена Сергеевна согласно кивнула головою. Но Мешканов выступил вперед с почтительно склоненною головою и с рукою, растопыренною по-масонски на красном жилете.

— Мориц Раймондович! уважаемый! Елена Сергеевна! досточтимая! Вы в глубочайшем заблуждении! Помилуйте! Какая претензия? Что вы? Хо-хо-хо-хо! Если Захар Венедиктович скрылся, то именно затем, чтобы вы решили сей щекотливый вопрос без него, а он потом примет его готовым, как ядрышко из раскушенного и облупленного ореха. Хо-хо-хо-хо! Излюбленная система нашего Улисса... Хо-хо-хо-хо! Предположим — если вы дадите дебют девице Тяпочкиной, — не все ли ему равно? Он промолчит. Промолчит вообще для всех и пред всеми. Если не дадите, он — вам промолчит, но Александре Викенть-

евне будет с жалостью изъясняться: «Ах, мол, этакая, мол, досада, что меня тогда на заседании не было! Я бы настоял, я бы вас поддержал... Ну можно ли, ну можно ли было упустить из репертуара такое вокальное сокровище?! Что делают?! Что у нас только делают?! Ах, ах, ах!»

Он представлял наивно-лицемерные манеры старого театрального романтика удачно: хлопал увлажненными глазами, воздымал ладони к потолку и по очереди поправлял то пенсне на переносье, то воображаемую черную шапочку. Артисты смеялись. Мешканов, пришпоренный, продолжал:

— Теперь допустим, г-жа Тютькина будет на дебюте иметь успех. Захар Венедиктович сейчас же в трубы затрубит, что это — его рук дело, он ее нашел, пригласил, под опеку взял, обучил сцене и публике преподнес, как аппетитное кушанье некоторое... хо-хо-хо-хо!.. Если же, чего не дай Бог, m-lle Ботинкина провалится, тот же Захар Венедиктович завтра же перестанет кланяться не только с нею, но и с Александрою Викентьевною, и всем направо и налево станет рассказывать самым умирающим своим голосом: «Вот прозевал один раз, ушел из заседания, — ну и скандал! Что делают?! Что делают?! Ну разве можно было выпускать на образцовую сцену подобное чудище? Ах, ах, ах!»

— Ну довольно вам за глаза паясничать! — вдруг оборвал Мешканова Берлога, — сами хороши!.. Небось в глаза Захару этак изобразить его не посмеете?..

Режиссер захихикал.

— В глаза не посмею... Да и зачем же в глаза? Это невежливо... Хо-хо-хо-хо! Абсолютно не посмею!

Берлога обвел товарищей испытующим взглядом и тряхнул своею косматою гривою.

— Я желаю петь с нею... с этою вашею Пеночкиною!

Светлицкая не утерпела — всплеснула руками и грузно шевельнулась на скрипнувшем стуле: огромная и злая

радость впервые удовлетворенного самолюбия, внезапное победоносное торжество старой досады так и хлынули, так и охватили, наполнили и будто расширили ее взыгравшее сердце. Было чрезвычайною редкостью в репертуаре, чтобы Берлога пел с кем-либо из примадонн, кроме Елены Сергеевны. Когда приходилось так, он раздражался, комкал партию, играл скучно и небрежно и доводил своих случайных партнерш капризами и откровенным к ним презрением только что не до слез. Такому же случаю, чтобы он потребовал, — сам заявил и потребовал — участия другой певицы, не было примера за все тринадцать лет дела. Его неожиданный энтузиазм поразил всех, и все смотрели на него странно, почти дико, — к большому его неудовольствию: точно он совершил какую-то неловкость, бестактность, чуть не преступление! Лица Елены Сергеевны не было видно. Она сидела в тени, за зеленым колпаком стоячей электрической лампы, низко опустив голову на грудь. Один Рахе остался спокоен и холоден, как человек, подготовленный и давно ожидавший.

— Ти желаешь с нею петь? — произнес он, на мгновение отрываясь от сигары. — Gut. Aber * — что же ти намерен с нею петь?

— А почем я знаю? — отрывисто говорил Берлога, кружа по режиссерской в обход письменного стола, над которым склонился строгий профиль Савицкой. — Почем я знаю? Что она умеет, то я и буду с нею петь... Мало ли?.. Ну, — «Демон» там... «Онегин»... «Юдифь»... «Князь Игорь»... «Маккавеи»... что еще?

Елена Сергеевна резко подняла голову. Берлога, словно нарочно, называл оперы, где до сих пор неразлучно и неразрывно создавался успех их обоих. Но Мешканов, не заме-

* Хорошо. Но (*нем.*).

тивший ее движения, не дал ей сказать готовые сорваться с губ слова.

— То есть, проще сказать, — на карту весь ваш избранный и любимый репертуар? — воскликнул он и загрохотал: — Хо-хо-хо-хо! Андрей Викторович! Многоуважаемый! Досточтимый! Спешите! Несносно спешите! Зверски опережаете события и, верьте опыту, ежеминутно хватаете через борт!.. Я не отрицаю: орган у госпожи Чайниковой благодатный... от некоторых нот бегут по спине благодарные этакие мурашки, и — tous mes compliments à vous *, Александра Викентьевна! — девица обучена надлежаще и экспрессии весьма не лишена... весьма-с... Но — как примадонна?! С вами?! Разве возможно?! Ответственность, сударь мой, — ответственность огромнейшая! Хо-хо-хо-хо! Жестокую на себя ответственность пред публикою и пред театром изволите брать, — хо-хо-хо-хо! Вы поговорите с нею, с г-жою Уточкиною этою: ведь при всем своем голосе, она же — тумба!..

— Ах! — негодуя, вскрикнула Светлицкая.

Но Мешканов, — вошедший в дилетантский раж, который по временам так был ему свойствен и, когда находил, совершенно вышибал его из колеи театральной политики, — только замахал на нее руками.

— Да-с! Да-с! Да-с! Тумба! Дура петая!.. По-нашему пошехонка, а древний грек сказал бы, что она происходит родом из города Абдер!..

— Мартын Еремеич? — опять взвизгнула обиженная Светлицкая, а Юлович хохотала.

Ободренный успехом, Мешканов продолжал живописать.

— И притом-с, — хо-хо-хо-хо! — рожа не рожа, а на то похоже. Конечно, телосложение имеет... ну и всякое там молочное хозяйство в достаточном изобилии... хо-хо-хо-хо!.. Но ведь, собственно-то говоря-с, подобных лупёток

* Примите мои поздравления (*фр.*).

a la russe * в каждой прачечной по тринадцати на дюжину дают-с... хо-хо-хо-хо!..

— Да что мы держим, Мешканов? — осадил его Берлога. — Раскричался о красоте, как гусь на дурную погоду!.. Что мы держим? Оперный театр или публичный дом? Нам не красавицы нужны, а примадонны!

Мешканов умолк, ворча про себя:

— Ну тоже, знаете, нельзя же, чтобы рожею наводила уныние на фронт... Parole d'honneur! ** Хо-хо-хо-хо!

Берлога стоял на своем.

— Я Пташкиной лично не знаю и знать ее, собственно говоря, не хочу. Я не знаю, как она говорит. Очень может быть, что и глупо. Но поет она умно и со вдохновением.

— Ей аплодировал Orchester, — послышалась неожиданная ворчливая поддержка из облака, за которым скрывался Рахе.

— Да-с! — подхватил Берлога, — ей аплодировал оркестр, и, согласитесь, уж это — необыкновенно... Между своими скромничать нечего... Мы все — артисты с именем и стоим кое-чего... Однако много ли таких вечеров можем мы — каждый — вспомнить в своей карьере, чтобы наше искусство растрогало и заставило аплодировать оркестр? Оркестр — суровая, взыскательная музыкальная коллегия. Обыкновенно он, в своем замкнутом звуковом педантизме, так глубоко презирает нас, певцов, что даже и не слушает, — у него одно в спектакле свято: капельмейстер и его палочка. Они издеваются над слабою нашею музыкальностью. Наши вольности в ритме, наши зыбкие тональности, которые мы извиняем себе, потому что их не слышит публика, — для них уже смертные грехи против искусства. Ты, Маша, неоцененный клад для оперы, ты —

* На русский манер (*фр.*).
** Честное слово! (*фр.*)

замечательная, иногда великая прямо артистка. Ты — истинный, золотой человек для публики. Но посмотри: весь зал трещит рукоплесканиями тебе, а оркестр холоден как лед... много, много, что снисходительно улыбаются...

— А — что я с ними, змеями немецкими, поделаю? — добродушно откликнулась Юлович. — Я люблю, чтобы у меня от пения душа горела, а они там, в берлоге своей, только знай долги наши считают: где я за такт заскочила, да — где со вступлением опоздала, да где вместо «до-диеза» попала в «щабемоль»... Сухари каторжные! Вот все равно что этот твой, Леля, ирод!

Она указала пальцем на Рахе. Тот оделся дымным облаком и провещал:

— Искусство любит мера и точность, а вы, Маша, лишены мера и точность. Я всегда говорил вам, что вы себе имеете один ваш большой голый талант, который изливаете через ваше весьма широкое горло. О, если бы вы имели когда-нибудь одна хорошая школа и приобрели себе классический метод!

— И ничего бы тогда из меня не вышло! — хладнокровно возразила Юлович.

— Warum? *

— Darum **, батюшка, что я русская растелепа... вот зачем! Что немке здорово, русской бабе смерть... Понял?

— Елена Сергеевна не есть немка...

Юлович скорчила гримасу отчаяния и махнула рукою.

— Хуже!

Берлога ораторствовал.

— Да-с! Пеночкина поет умно и с вдохновением. И на сцене она стояла красиво и с достоинством, даром что в первый раз... новичок, дебютантка! И совсем не было заметно, что

* Почему? (*нем.*)
** Потому (*нем.*).

она некрасива. Мясов немножко слишком природа ей отпустила, действительно. Да ведь где же они — эти примадонны, стройные, как пальмы? Елена Сергеевна — феномен, исключение, игра природы! А то ведь это просто закон физиологической насмешки какой-то. Чуть оперная певица перевалила за двадцать пять лет... вашей-то ученице, Саня, поди, уже есть они? Она очень молоденькою не выглядит...

Светлицкая ответила двусмысленною ужимкою, выразившей без слов: «По секрету и между своими не буду лгать: около того...»

— Ну вот! Как певице за двадцать пять лет, сейчас ее в тук гонит. И чем поэтичнее и чувствительнее роли она изображает, тем больше и коварнее одолевают ее жиры. Все знаменитые Валентины — от шести пудов веса и с походцем! Из десяти Маргарит дай Бог чтобы половину десятичные весы выдержали!

Маша Юлович фыркнула.

— Чему?

— Я о себе...

— Ну?

— Вспомнила, как я гастролировала в Харькове... Раёк там — ужасные охальники... Пела я Амнерис в «Аиде»... Ну, знаешь, всю эту мою большую сцену... «Палачи вы! Проклинаю я вас! Милосердье небес за меня отомстит! Проклинаю я вас!..» Руки голые к небесам... потрясаю... чрезвычайно как хорошо! в ударе!.. А из райка вдруг нахал какой-то, комик непрошеный, выискался — спрашивает подлец соседа громко, на весь театр: «Зачем же эта дама вверх ногами стала?..» Понимаешь, будто он мои руки за ноги принял...»

— Ты что же?

— А ничего. Плюнула в ту сторону и тоже на весь театр сказала ему «свинью».

— Не свистали?

— Нет, — за что? В провинции публика храбрость любит.

— Итак, милостивые государыни и милостивые государи, — уже слегка комически продолжал Берлога, чувствуя, что анекдот Маши Юлович понизил враждебную ему температуру, — падает последний пункт возражений против нашей дебютантки. Если в труппе нашей имеются певицы, у которых, по собственному их свидетельству, публика принимает руки за ноги, что не мешает нам считать этих певиц первою нашею гордостью и драгоценностью, — то какое же основание имеем мы не допускать на свою сцену певицу только за то, что Господь Бог немножко расширил, как выражается Мартын Еремеич, ее молочное хозяйство?

— Хо-хо-хо-хо! — откликнулся Мешканов. — Да я не против... Если вы, досточтимый, так крепко стоите за нее, разве я возражу хоть словом? Я не против! Совсем не против, а напротив: да будет ей триумф! да будет ей триумф!

— С вашей стороны, старый грешник, было бы тем неблагодарнее и гнуснее быть против, что ведь я-то знаю ваши бурбонские вкусы: вам именно такие женщины нравятся...

— Хо-хо-хо-хо! Говорите за себя, говорите за себя...

— Нет, я-то вполне бескорыстен, ибо мое целомудрие и возвышенность чувств общеизвестны. Для меня женщины, в которых так много материи, подверженной закону земного тяготения, не существуют. Я люблю в женщине порыв вверх, воздушные линии и краски, воплощенный кусок голубого неба, облако, подбитое эфиром... Да-с! Офелию, Миньону, Лауру у клавесина...

— Хо-хо-хо-хо! Чему блистательным доказательством является Настасья Николаевна!

Берлога посмотрел на режиссера притворно страшными глазами, потом улыбнулся самодовольно и сказал:

— Поддел!.. Скотина!

— Господа мужчины, — возвысила голос Елена Сергеевна, — не сделаете ли мне удовольствие отложить все эти... мясные разговоры до случая, когда останетесь одни? А то, знаете ли, странно как-то: милейший Андрей Викторович только что убеждал нас, что мы держим оперный театр, а не иное какое-нибудь заведение, но теперь сам заговорил так, что я уже начинаю терять соображение, где я, собственно говоря, нахожусь?

Берлога повесил голову:

— Слушаю-с! Виноват-с! Покаяния двери отверзи мне! Больше не буду-с!

— Не люблю, когда о женщинах говорят, как о сортах говядины в мясной лавке или о лошадях в скаковой конюшне... У нас вопрос идет о певице, об артистке, а не о том, сколько тянет на весах ее тело!

— Но об артистке я уже все сказал, милая Леля! Ты слышала: я под огромным впечатлением! Это избитое, старое «Grâce» в «Роберте», которое я вообще ненавижу, теперь стоит у меня в ушах! я слышу его! всю ночь буду слышать! Нет, кончено! Это мой голос, господа! мой голос! Я накладываю на него свою руку и забираю его от вас! Вы, Саня, как там хотите, а отдайте мне ее, вашу Индейкину...

— Да, возьмите, возьмите! — радостно возопила Светлицкая, вешаясь на него обеими руками. — Ради Бога, возьмите! Об одном мечтаю! Возьмите ее всю себе! Всю, Андрей Викторович! Без остатка!

— Ну нет! Всю — это спасибо, это чересчур много для меня... и — вы слышите: старый сатир Мешканов опять уже грохочет...

— Хо-хо-хо-хо!

— А вот петь с нею я желаю... и очень! Какую большую партию в операх моего репертуара знает она — ваша Перепелкина?

Светлицкая приосанилась и отвечала с лукавым взглядом:

— Она знает все.

— Что?!

А Мешканов даже присвистнул с выпученными глазами:

— Однако!

— Она знает все! — гордо стояла на своем Светлицкая. — И может петь все — хоть сейчас!

— Храбрая девица! — вполголоса и раздумчиво заметила Елена Сергеевна.

— А мне это нравится! — весело крикнула Юлович. — Я с ней мирюсь! Девка-то, стало быть, не из робких... Ничего! Валяй! Смелость города берет, а бес горами качает!

Рахе был заинтересован и, отставив к уху руку с сигарою, измерял Светлицкую любопытным взглядом и тянул бесконечное:

— S-o-o-o-o-o-o... *

— Все знает! Все может! — торжествовала Светлицкая. — И Тамару, и Татьяну, и Ярославну, и Елизавету... всех! У нее необыкновенная память на музыку. И, если понадобится выучить что-нибудь новое наспех, вы дайте ей партию с вечера, а к утру она уже будет знать...

— Здорово! — восхитился Мешканов.

Светлицкая потупилась самодовольно:

— Моя школа!

Берлога серьезно обратился к Рахе:

— Мориц! Я очень прошу тебя назначить госпоже...

— Наседкиной! — поспешила теперь вставить ликующая свою победу Светлицкая. — Вы никто не хотите запомнить ее фамилию. То она у вас Перепелкина, то Курочкина, то Петушкова. А она — очень просто — Наседкина. И ничего нет трудного, право... Наседкина — только и всего.

---

* Так... (*нем.*)

— Очень прошу тебя назначить госпоже Наседкиной Тамару в ближайший мой «Демон»...

У Рахе дрогнула сигара между пальцев. Он в смущении покосился на жену.

— Aber... *

А Маша Юлович хлопнула обеими ручищами по коленам и возопила:

— Здравствуйте! Любимую-то Лелину партию?!

Елена Сергеевна встала ленивым, усталым, медленным движением.

— Ах да сказала я уже: сделайте одолжение! Все, что вам угодно! Сколько раз повторять?

Муж смотрел на нее с робким вопросом.

— Может быть... Ленхен...

— Вы смешны, господа! — раздраженно говорила она между тем, — все сконфузились, точно украли у меня что-нибудь или убить меня покушаетесь... Что особенного? Подумаешь: не напелась я этой Тамары. За двенадцать-то лет! Сделайте милость, Саня, — я рада: пусть поет mademoiselle...

— Наседкина!

— Ну да, Наседкина... Пусть поет!.. Мешканов, назначьте ее в репертуар.

— Ангел! — вскрикнула Светлицкая. — Я говорю вам, господа, я говорю: Леля — ангел!

— А я бы не дала! — по-прежнему буркнула с качалки Юлович.

— Я только одно замечание позволю себе сделать, — нервно продолжала Елена Сергеевна, — не бойтесь, не бойтесь, Саня: не вам... Какие могут быть вам от меня замечания? Я вашей ученицы даже и не слыхала еще толком, как следует... А другу моему Андрею Викторовичу!

Берлога устремил на нее наивные глаза.

---

* Но... (*нем.*)

— Мне? А что я?

— Да уж очень вы стремительно и громко сегодня здесь распоряжаетесь!.. Только и слышно по всему театру: я! я! я!.. Не мешало бы помнить, что я все-таки еще немножко хозяйка в своем деле!

Берлога вспыхнул.

— Елена Сергеевна!

Она не захотела его слушать.

— А относительно дебюта... Мориц, ты слышал? Диктатор повелел, — наше дело повиноваться. И затем разойдемся, господа! Первый час ночи. Надо же мне когда-нибудь переодеться из этой сбруи и снять грим. Adieu, messieurs-dames! *

— Елена Сергеевна!!!

Берлога бросился было за нею, но Светлицкая ухватила его за руку.

— Андрей Викторович, вы уж будьте добренький до конца: поддержите нас в случае чего дурного!..

— Ну еще бы, Светлячок, ну еще бы! — твердил он, в нетерпении от нее отвязаться, между тем как голубой спенсер Савицкой медленно исчезал в коридоре.

— По старому товариществу? а?

— Пожалуйста, пожалуйста... все, что могу... конечно...

— Ведь едят у нас новеньких-то и молоденьких... живьем заглатывают...

— Перестань уж! Отпусти ты, плакальщица, его душу на покаяние! — вступилась наконец покинувшая свою качалку Маша Юлович. — Ученицы твоей я не знаю, но тебя... заглотаешь тебя, бедненькую! как же! Скорее ерша с хвоста и ежа против шерсти. Это даже не щучий, — акулий рот надо иметь, душечка!

Рахе в стороне угрюмо говорил Мешканову:

---

* Прощайте, господа! (*фр.*)

— Назначайте на завтра урок из Тамара для госпожа Наседкина. Ви будете показал ей mise en scène *. Поглядаем... н-ню... sehr interressant... ** поглядаем...

Мешканов почтительнейше расшаркался и раскланялся пред Светлицкою.

— Александра Викентьевна, ме комплиман — анкор и миль фуа! *** Вы к нам таких почаще приводите...

— Спасибо, родной! Рада бы, батюшка! Душою бы рада! Да где взять? Одна — за сколько лет — выискалась...

Она сантиментально пригорюнилась.

— Да и потом... Ведь если часто хороших-то приводить к вам начну, — пожалуй, и самое меня пускать к себе не станете...

— У!!! Ты!!! Яд!!! — рявкнула на нее Юлович и — вспылившая, красная, кипящая — бурею вылетела из режиссерской.

VIII

— Милый дружок Лизочек, дело ваше, слава Богу, складывается, как — уж и нельзя лучше. Я, конечно, всегда очень на вас надеялась, но этого вашего успеха, чтобы вам так сразу повезло и, главное, чтобы от вас, даже в Изабелле какой-то глупой, сразу ошалел Берлога... сам Берлога! — ничего подобного я и ждать не смела. Ведь он вчера против Лельки открытым бунтом пошел! Понимаете, Лизочек? Двенадцать лет она им по театру, как хотела, так и вертела, будто пешкою шахматною. Во всем он смотрел из ее рук, — на помочах ходил, как двухлетний ребенок. А вчера за вас вдруг

* Мизансцены (*фр.*).

** Очень интересно... (*нем.*)

*** Мои поздравления — еще и тысяча раз! (*фр.*)

ощетинился на нее, кабан кабаном, — я просто диву далась, едва смела верить своим глазам! Любимую партию заставил вам отдать! Клещами из горла вытащил! Я его таким никогда и не видала! Так и рявкает: хочу! требую! не позволю! Тамару! Шутка ли это — начинающей певице спеть с ним Тамару в нашем театре! Он вам карьеру открывает, он благодетельствует вам на всю жизнь! Ну и слушайте, Лизочек: если уж вышло вам счастье, то вы не зевайте, не упускайте случая из рук своих ни на минутку. Наше оперное дело такое, что в нем — ежели удалось вам ухватиться за ноготь, то надо торопиться — как бы забрать всю лапу по самое плечо. А прозевал — и ау! Сиди у моря и жди погоды! Обжегся на молоке, — дуй на воду! Видите ли, Лизок: я пред вами сейчас — все наши карты на стол. Что же? Мне пред вами таиться нечего. Лет пять-шесть тому назад, когда я еще не думала расставаться с карьерою, то есть не думала, что Лельке так легко и ловко удастся выбить меня из карьеры, я, вероятно, не стала бы откровенничать с вами, политику повела бы и сделала бы из вас бессознательное орудие разных моих планов театральных. Так что вы этою моею нынешнею искренностью не обижайтесь, Лизочек, и не улыбайтесь на меня сомнительно: верьте! Я знаю и не спорю, что вы особа весьма не глупая и очень себе на уме, но все-таки театра вы еще не отведали. А знаете, у нашей жирной дуры Маши Юлович есть пословица, что городской теленок умнее деревенского быка. У театра свой ум, особенный. Очень часто он осеняет благодатью своею мозги чуть не идиота и оставляет в дураках талантливого мудреца. Но сейчас я вам прямо и как честная женщина говорю: я с вами вся — вот как на ладони. Для успеха вашего я, что называется, распнусь. О, не перебивайте и не спешите благодарить: не за что! Конечно, я питаю к вам и симпатию нежнейшую, милый мой Лизочек, и дружба у нас, и привычку я имею к вам, — ну и, наконец, просто ради одного уже голоса вашего и таланта стоит работать для вас и поддержать вас. Артистка же

я — с головы до ног артистка! Люблю и понимаю свое искусство. Но у нас за кулисами не донкихотствуют, и я не исключение из правила. На этакую поддержку — сдуру — ни с того ни с сего, по случайной симпатии и во имя святого искусства, у нас разве один Андрюшка Берлога способен. Я говорю начистоту: утвердить ваш успех, втянуть вас в репертуар, поставить на первые, боевые партии для меня столько же важно, как для вас, — вы моя козырная карта. Моя песенка спета. Я начинаю думать, что Лелька права, записывая меня в старухи. Или, может быть, она настолько уже победила и подавила меня, что убедила меня самое, внушила мне самой холодными, хрустальными своими глазищами — кончать бабий век и быть старухою. Мне уже самой часто кажется, что звук моего голоса стал не тот, что сквозь искусственную технику в нем дребезжит тусклая, скучная, дряблая, бездушная старость, которая много умеет и знает, но ничего не в состоянии осуществить, у которой много методов, но нет ни материала, ни охоты обрабатывать материал. Я злюсь на Лельку, что она лишила меня мужских ролей, но, когда стою перед зеркалом, я понимаю, что сделалась для них невозможна в этих проклятых бомбах своих и мне давно пора забыть о бархатном колете, лосинах и трико. Мне изменяет дыхание. Самое маленькое увлечение, каждый выход из обычной житейской нормы потрясает мою нервную систему настолько, что на другой день я, как певица, человек мертвый: сиплю, задыхаюсь, фальшивлю, не управляю интонациями. Я чувствую, что сценический мой темперамент умирает. Мне уже — все равно петь самые любимые прежде мои партии и вообще скучно петь, играть, делать звуки и жесты, которые я делала всю жизнь. У меня нет ни желания, ни изобретательности внести в свои законченные создания что-нибудь новое, вспрыснуть их живою водою. Я застыла, и мне лень, я не хочу разогреваться. Я повторяю копию за копией с моих прежних шедевров, но уже не могу создать новые оригиналы, и мне страшно тратить в себе

ту энергию, которую надо израсходовать, чтобы создать оригинал. Понимаете, Лизок? Покуда молод, жизнь и творчество идут так дружно, что сливаются для глаз в оптическом обмане, и вы думаете, что они — одно. Но приходит возраст, когда вы замечаете, что они — не только врозь, а даже и не в союзе между собою, что, наоборот, они — злейшие враги, взаимно уничтожающие друг друга. Сцена ест жизнь. А я хочу жить, Лизок. Я люблю жизнь, как жизнь: la joie de vivre! * наслаждение жизнью! И поэтому Лелька может торжествовать: я уйду со сцены. Но того, что она меня выжила и состарила прежде времени, я никогда не прощу ей. Я не из кротких овец, склонных к прощению врагов своих, и ни мести, ни злости пороками не считаю. Оскорбления и обиды помню хорошо и умею за них расплачиваться. Я — злобная, памятливая, мстительная. И вы, Лизок, — я это вам говорю опять-таки совершенно открыто, — вы — мое мщение Лельке. И, смею надеяться, мщение удачное. По крайней мере, начало превзошло все ожидания. Я рассчитывала самое меньшее на два года борьбы за вас, чтобы завоевать вам то, что вчера, по вашему безумному счастью и, конечно, главное, по капризу Берлоги, вам досталось в один вечер. Вырвать у Лельки Тамару! Берлога, который отказывается петь Демона с Савицкою для дебютантки Наседкиной!

Светлицкая перевела дух, значительно и хитро взглянула на свою молчаливую, внимательную спутницу и засмеялась тихо, мрачно и злобно.

— Слушайте меня, Елизавета! И слушайте, — и слушайтесь! Я не научу вас худому. То есть — худому не худому, доброго-то, правду сказать, будет немного, но — ничему не в пользу и не в выгоду вашу. Знаете: добро и зло всюду понятия относительные, а уж в театральном круговороте... фюю-ю!.. Кто хочет в добродетели и в гражданском благонра-

---

* Радость бытия! (*фр.*)

вии упражняться, та пускай идет в сельские учительницы или фельдшерицы какие-нибудь, а не в актрисы! Не верьте в порядочные театральные карьеры. Они, может быть, и бывают иногда, но так мучительны, что лучше бы им не быть вовсе. Пред вами — стена. Ее надо пробить лбом, и, следовательно, лоб нужен медный. Помните раз навсегда: покуда вы делаете карьеру, на свете нет ничего выше и дороже карьеры, и для карьеры надо жертвовать всем: телом, душою, совестью, честью, сердцем, стыдом, привязанностями — всем. Только здоровье надо беречь, потому что без здоровья нет карьеры. А то — всем. Теперь вы в полосе счастья — вам дали ухватиться за ноготь, забирайте же, покуда полоса крепко держит вас, забирайте всю руку! Слушайте: я все двенадцать лет старалась поссорить Берлогу с Лелькой, и ничего не выходило — настолько крепко он всегда держался за ее юбку, настолько ученически сгибался под ее влиянием. А вчера они поссорились — и серьезно, остро. Понимаете ли вы, понимаете ли, чем это пахнет и как это можно использовать? Слушайте: ведь это миф, сказка, одна видимость, что опера наша — опера Елены Сергеевны Савицкой. Я недавно смотрела у драматических одну пьесу, и мне понравилось, как актер сказал, что дело принадлежит тому, кто его создает работою. Кто больше всех работает, тот и хозяин. Наш центр опорный — Андрей Берлога. Я, милый мой Лизок, старый театральный воробей, и меня нельзя провести на мякине. Можно расписывать какие угодно хорошие фразы и красивые слова о задачах музыкальной драмы, о художественности ансамбля, о взаимодействии соединенных искусств, и я сама очень красноречиво это умею — для посторонних. Но вам в четырех стенах скажу начистоту: все — враки! театр — всегда зрелище, музыка — всегда слуховое наслаждение, опера — всегда опера и публика — всегда публика! Опера строится на любимых и модных певцах, — нужен кумир, идол, магнит публики! Вот поссорится завтра Андрюшка Берлога

с почтенною директрисою нашею и уйдет петь в цирковой балаган через площадь. И повалит публика в балаган слушать, как Андрюшка изображает «Демона» на сцене в пятачок, с декорациями напрокат, под пиликанье пятнадцати евреев, собранных с бора да с сосенки, по корчмам черты оседлости. А театр наш великолепный, со всеми его ансамблями и взаимодействиями, начнет пустовать, и не помогут ни Лелькины трели кастратские, ни Морицев оркестр со всеми его сверхэффектами и тончайшими нюансами, от которых Вагнер плакал слезами умиления. Я, Лизок, помню год, когда они любовь свою нарушили и разъехались было — Лелька и Андрюшка. Жутко тогда дела наши слагались! Вот когда я ощупью, осязательно познала, кто настоящий-то столп и хозяин у нас! А мы все — хороши ли, дурны ли, талантливы ли, бездарны ли, с голосами или без голосов, — только помощники, подпевалы, прицепки, аксессуары. Уйдем мы все от Елены Савицкой, но Андрей Берлога останется, — опера будет существовать. Уйди Андрей Берлога, — опере конец. К великому Лелькину счастью, Берлога этой силы своей не сознает. Он глуп, говоря между нами. Он гений, но глуп. Это, может быть, так и надо, чтобы гений был глуп. Таланту нужно, необходимо быть умным, потому что талант есть борьба, а гений носит в себе такую несомненную победу, что большой ум ему лишний, довольно с него и инстинкта, — гений пикантнее, если немножко с глупцою. Я десятки раз пробовала объяснить Андрюшке его значение и силу в опере Савицкой, но — что с ним поделаешь? Он так глуп, что не понимает. Я навожу его на бунт, чтобы взять диктатуру, но у него, дурака, нет честолюбия. Он не понимает, зачем ему бунтовать, если его в божках держат, пряниками кормят и в ножки ему кланяются? Притом у него мозги, взболтанные отвлеченностями не по разуму: идеи, идеи, идеи... тоже и ансамбли, и взаимодействия! И свое, и чужое. Потому что его идеям безалаберным Лелька льстит, а своими ансамблями да взаимодействиями пред ним шарла-

танит: гипнотизирует его, держит в узде. И узда, Лизок, прекрепкая. Ведь и вчера — я видела, взбрыкнулся он, да сейчас же и струсил. Не удержи я его за фалды, уже готов был бежать — прощенья просить...

Она резко засмеялась и продолжала.

— Сейчас, Лиза, все ваши козыри — в Берлоге, и в одном Берлоге. Лелька вас уже боится и ненавидит. Мелких гадостей против вас я от нее не ожидаю, потому что — ах! за кого вы нас принимаете? Мы слишком величественны для мелочей! Клаки там всякие, журнальная и закулисная интрига — это моветон, грызня в розницу, недостойная Елены Сергеевны. Она, если враждует с кем, то любит проглотить неприятеля сразу и целиком. Шпильки, булавки, иголки она предоставляет нам, грешным. Ну и спасибо ей на том! Я, Лизок, прожила в театре долгую жизнь, и вот вам мой завет на конце карьеры: не брезгайте шпильками, булавками, иголками... учитесь ими владеть, колоть и фехтовать! Сколько я знаю и понимаю вашу натуру, много учить вас этому мастерству не надобно, — оно у вас в крови! А сцена вас подразовьет и усовершенствует. Без этой самозащиты — нельзя! Богини мраморные, вроде Елены Сергеевны, уверяют, будто все это — мещанство. Но вы не мраморная богиня и не можете быть ею. Вы просто купеческая дочь Елизавета Вадимовна Наседкина, и мещанства стыдиться вам нечего, оно у вас наследственное. А я вам вот что скажу: в какое ледяное презрение там ни сдавайся, какими высокопарными бронями ни облекайся, а шпильками, булавками, иголками самую что ни есть мраморную богиню можно довести до такого белого каления, что она взбесится, как кухарка, обсчитанная на рынке, и натворит пошлостей, глупостей, скандалов, и победа будет ваша, а срам — ее!.. Я знаю, я испытала, мне удавалось... да еще и как!

Итак, душка, мелочами Лелька доезжать вас не станет. Но она употребит все усилия, чтобы спрятать вас под спуд

и не давать вам хода. А если Берлога перестанет вам покровительствовать, она мгновенно воспользуется случаем и выбросит вас из театра. О! Я не боюсь за вас: с вашим голосом певица не пропадет. Случись такая беда, вы найдете широкую дорогу в провинцию: мой прямой интерес, чтобы не дать вам заглохнуть. Наконец, если понадобится, я займу денег, я заложу брильянты и билеты, но устрою вам возможность карьеры за границею, — и профессоров, и агентов, и импресарио! Споете и в «Скала», и в «Ковент-Гарден», и в Grand Opéra. Нет, нет, — вы не целуйте моих рук: не за что! Я сделаю это не по доброте душевной, а по своему расчету, и не для вас, а для себя. И откровенно скажу: предпочла бы не делать, — чтобы можно было обойтись без этого! Заграница не уйдет от вас, а мне вы в тысячу раз важнее и нужнее здесь, — в этом Лелькином святилище, куда мы с вами сейчас поедем, — именно здесь, здесь, здесь!.. И это не потому, что вы будете хорошая реклама моей школе, что в случае вашего большого успеха ко мне хлынут ученицы, и вместо десяти рублей за урок я буду в состоянии брать двадцать пять. И это очень хорошо, приятно и выгодно, и я вам заранее чрезвычайно благодарна, Лизок, потому что я не сомневаюсь, что мой расчет оправдается и сбудется, как по-писаному. Но ведь в этом отношении — материальном — мы квиты. Мы знаем друг друга пять лет. Вы пришли ко мне, не имея средств платить за уроки. Я и сама не понимаю теперь, почему я, обыкновенно такая капризная в выборе учениц, взяла вас тогда: это было по инстинкту, по вдохновению какому-то! Красотой вы, извините меня, не отличались; о голосе вашем нельзя было составить никакого понятия, потому что он был у вас какой-то нутряной и сидел где-то в желудке, под ложечкою; музыки вы не знали; образования, хороших манер, грации не имели. Вы меня простите, что я так напоминаю. Но я пользуюсь случаем договориться до конца, чтобы между нами не могло быть никаких недоразумений и осталась

одна голая правда. Так что не обижайтесь, Лиза, а лучше дайте мне вашу руку. Меня все считают фальшивою, и я действительно со всеми фальшива. Так что если у меня есть потребность стать с вами в отношения голой правды, обнажить пред вами свои мысли и сердце, то это — лучшее доказательство, как я вами дорожу и как я вас люблю. Вот теперь — очень рада: поцелуемся! Потому что это — без всякого с моей стороны расчета и от полной души!

Итак, учились вы у меня даром. Согласитесь, насколько вы были хорошею ученицею, настолько я была добросовестною преподавательницею. Когда я заметила в вас недюжинное дарование, я посвятила вам все свое свободное время и всю свою опытность. Вы стали моею любимою надеждою. Если бы мне предстоял такой горький выбор, я предпочла бы лишиться всей моей школы и всего от нее дохода, чем потерять одну вас. Про меня в городе сплетничают, что я половая психопатка, что я влюбляюсь в своих учениц и развращаю их всякими там пороками. Милая Лиза, с глаза на глаз мне не страшно и не стыдно признаться вам, что дым этот — не без огня. Что вы хотите? Я — человек страстный и странный. Я влюблена во всякую красоту, — в живую красоту, — какую встречаю в жизни, и, покуда влюблена, физически страдаю от влечения к ней. Для меня красота не имеет пола. Я могу одинаково поклоняться, с равными восторгами и экстазами, прекрасному мужчине и прекрасной женщине, зверю и статуе. Я ездила в Сиракузы, чтобы поцеловать ногу у безголовой Венеры археологического музея, и по целым часам стояла, замирая и млея, в палермитанском музее пред знаменитым Ariete, в котором Гюи де Мопассан прозрел воплощение всей чувственной прелести нашей земли. Да, я чувственница, я сладострастница — и не стыжусь дорог, на которые тянет меня чувственный восторг, какие бы они ни были. Это сильнее меня! Я не могу с этим бороться, да и не хочу бороться! Зачем? Разве можно вы-

черкивать радости из жизни? Их так немного. Зачем? Но вы знаете меня пять лет, вы моя любимая ученица, вы видали меня почти ежедневно, занимались со мною целыми часами, и вы — мое оправдание. Вы — свидетельница, что я умею работать серьезно и с любовью к искусству, без всяких задних мыслей. Вам нельзя на меня жаловаться, будто я учила вас чему-либо дурному и эксплуатировала вас какими-нибудь личными прихотями или капризами. А только — я доказала вам, что умею быть энтузиасткою не хуже Берлоги, который вчера сошел с ума, услыхав ваше «Grâce». Ваше пение — моя сердечная слабость, я влюблена в ваш голос, как в сиракузскую Венеру, как в палермитанского Ariete! Нет! Больше! Больше! И теперь торжество вашего голоса — это мое торжество. И затем — пусть о нас люди сплетничают, что им угодно: я не святая, но мы с вами знаем, что для нас с вами — это неправда и клевета!

Светлицкая разгорячилась, раскраснелась, сверкала взорами, дышала тяжело и поминутно смахивала с черных, выпуклых, нечистых и лживых своих глаз росу капельных, выдавленных слезинок.

— Обратимся опять к воспоминаниям, — начала она с кривою улыбкою. — Когда мы лучше познакомились, оказалось, что вам не только учиться, но и жить не на что. Вы были в ссоре с вашими родными. Я никогда не забуду этого ужаса, как вы заболели горлом и я, встревоженная вашею запискою, поехала вас навестить. Нашла — черт знает в каких меблированных комнатах, на постели с серою двухнедельною простынею, с куском вареной колбасы на столе — вместо обеда, с неоплаченным счетом за полтора месяца и с хозяйкою-сводней, которая уговаривала вас погасить счет, сделав визит к приезжему помещику из Херсона... Я вытащила вас из этой дыры, поставила в приличные условия жизни, открыла вам кредит и — опять-таки — полагаю, у вас нет причин плакаться на свирепую требовательность вашей кредиторши. До тех пор, пока

вы совершенно не укрепитесь в карьере, все, что у меня есть денег и кредита, — к вашим услугам. Я помогала вам в прошлом и рада помогать вам в настоящем, а вы расплатитесь со мною и поможете мне будущим. Мы квиты — e basta cosi *.

Видите ли, Лизок, — продолжала она после короткой, вдумчивой паузы. — Сцену я решила бросить. Но, чтобы решимость эта делала меня счастливою, — вы сами понимаете, — я могу с грехом пополам уверять других, но не себя самое. Я честолюбива, Лизок, и честолюбие мое не удовлетворяется профессорством. Сидеть за роялем, аккомпанируя экзерсисы визгливым, пискливым, гнусавым барышням, — это, за неимением лучшего, куда ни шло — годится на прокорм бренного тела, но как цель жизни — не для меня! Пропади все они пропадом! Вы не можете вообразить, какая лень и отвращение выправлять все их бездарные детонировки, форсировки, фальши, вбивать им — раз, два, три, четыре — ритм и такт, объяснять темпы и, как попугаям или скворцам каким-нибудь, втолковывать по сто раз одну и ту же, самую простую интонацию. Сейчас у меня на втором курсе семь альтов. Вот уже второй месяц все они учат «Не скажу никому» Даргомыжского и — до сих пор — хоть бы одна сумела выразить, как следует:

Та весна далеко,
Те увяли цветы...

Ни малейшей экспрессии! Ни чувства, ни смысла, ни инстинкта, ни разума! Дьячки! Машинки! Брр!.. О, Лиза, Лиза! да сохранят вас небеса как можно дольше от этого проклятья, от этой каторги — обучать пению aspiranti dell'arte ** — стремящихся в оперу, благородных и состоятельных, но безголосых и бездарных девиц.

---

* Хватит об этом (*ит.*).
** Здесь в знач.: стремящихся в искусство (*ит.*).

Между мною и Лелькой Савицкой много старых счетов, Лиза. Кое-что театральное — вы знаете. О другом — не театральном — вам знать не к чему, и я не люблю говорить. Рассчитаться нам очень и очень пора. Однако ради одной vendetta catalana * я не затевала бы тех планов, которые роятся в моей голове, как жуки майские, и для которых вы, Лиза, нужны мне, как хлеб, как солнце. Поймите меня! Если есть и имеет самый торжествующий успех оперный театр Савицкой, почему не быть с таким же успехом оперному театру Светлицкой, Наседкиной и К°? У меня есть деньги, у меня есть воля и театральный опыт, я могу и буду направлять дело железною рукою. Я двенадцать лет работаю в антрепренерской науке у Лели Савицкой и докажу ей, этой Лельке, что я хорошая ученица, да еще и пошла много вперед госпожи учительницы. Я предоставляю вам, Лиза, все лавры, себе возьму все тернии, а доходы — пополам. Вы скажете, что страшна конкуренция, что дело Савицкой так упрочено в нашем городе, будто вросло в него, его любят, оно стало своеобразным городским символом, историческою достопримечательностью наряду со всякими там развалинами и музеями. О да! Я вполне с вами согласна: два параллельных, одинаково сильных дела немыслимы рядом! На почве конкуренции борьба с Лелькою для меня не только трудна — она невозможна. За нею давность, за нею авторитет, за нею отлично заведенная и механически работающая, аккуратнейшая, щегольская, можно сказать, театральная машина. Притом я могу истратить в дело сто... ну, если хорошенько напрягу свой кредит, даже до двухсот тысяч, но за мною не стоят миллионы Хлебенного. Ей довольно глазом мигнуть, и у ног ее — такая страшная денежная сила, что мы будем раздавлены — будто лавиною какою-нибудь. Но я и не думаю о конкуренции. Я не мечтаю о другом, новом театре. Я этого,

---

* Каталонской мести (вендетты; *ит.*)

ее театра, хочу. Да! да! не глядите на меня такими изумленными глазами: я не брежу, я знаю, что говорю, и говорю то, что надо. Я хочу именно ее театра, — вот куда мы с вами теперь, сейчас пойдем на урок «Демона». Мы должны овладеть и, я обещаю вам, мы овладеем этою пресловутою «Оперою Е.С. Савицкой, Е.В. Наседкиной и К°». Лелька выжила меня из своего святилища, а я отниму у нее святилище и отдам вам. Вы будете в нем божеством, а себе я оставлю роль главной жрицы. И это совсем не безумные мечты, милая моя, как вы, кажется, сомневаетесь. Это совсем не так трудно, как кажется. Я вам скажу даже: после вчерашнего вечера я начинаю думать, что это очень легко. О, я недаром провела бессонную ночь!.. Я обдумала!.. Это очень просто! это очень легко!

Она замолчала, нервно жуя крашеными губами и пытливо впиваясь подозрительными глазами в спокойное, будто каменное, лицо безмолвной ученицы. Потом заговорила, по-прежнему с твердым убеждением и с стремительным нравственным натиском на внимающую ученицу, но медленно и с остановками, будто пробуя зыбкую почву.

— Конечно, милый Лизок, в этой борьбе мы заранее должны принять девиз: цель оправдывает средства, — и разборчивость в средствах нам надо позабыть и оставить надолго. Вы, Лизанька, слыхали, конечно, что есть такой зверь — барсук? Он отличается замечательною чистоплотностью и отлично строит свои норы и логовища. А лисица строить норы и логовища ленива либо не умеет. Но когда барсук уходит на добычу, лиса забирается в его нору и разводит там такую грязь и вонь, что барсук-чистюлька, возвратясь, уж не решается войти в свой старый дом и покидает его во владение продувной лисы, а сам уходит — куда глаза глядят — строить новый. Пусть моя притча звучит не слишком лестно и сравнение не очень-то красиво, — нам с вами надо принять на себя политику лисицы, а Лелька будет нашим барсуком.

Мы имеем огромный шанс: за нас — Андрюшка Берлога. Ну-с, и надо, чтобы он остался за нас, — мы дуры будем набитые, петые дуры, если позволим остыть в нем этому капризу. Я, конечно, понимаю и разделяю весь его восторг к вашему голосу, но мне сдается, что во вчерашнем его бунте действовало кое-что и поглубже артистического энтузиазма, и это кое-что мы с вами воздержимся себе приписывать. Оно — между ними, между Лелькою и Берлогою. Вы только дали повод вспыхнуть Андрюшкину бунту, а бунт-то сидел в нем уже давно. Я не знаю, какая черная кошка между ними бегает и за что, но есть черная кошка, и надо ее поймать за хвост. Необходимо овладеть Андрюшкою, Лиза, отнять его у Лельки, забрать в руки и не выпускать. Я повторяю вам: опера Е.С. Савицкой — миф, есть Андрей Берлога, которым под приличным оперным соусом торгует с публикою Елена Сергеевна Савицкая. Кто владеет Андреем Берлогою, тот владеет и оперою Савицкой. Знаете ли, чего я сейчас больше всего боюсь? Что Лелька окажется слишком умна и проницательна и переменит политику: сменит гнев на милость и — вместо неприятностей — начнет вам покровительствовать. Это будет ужасно скверно. Чтобы победить, мы должны иметь — на что жаловаться, мы должны быть обижены, гонимы, угнетены. Это — во что бы то ни стало! Если у нас не будет настоящих неприятностей, придется прибегнуть к провокации и вызвать искусственные. Берлога влюблен в ваш голос и, еще не зная вас, объявил, что стоит за вашу карьеру, как за свою собственную. Я знаю его характер: у него совсем нет характера. Но — когда он закусит удила... о-о-о! Ну, и необходимо, чтобы закусил. Необходимо, чтобы в нас, бедненьких, он почувствовал оскорбленным себя... Он в искусстве фанатик, а театральщину презирает и ненавидит, хотя сам — цельнейшая театральщина, какой полнее не бывает. Так вот и надо, чтобы он и мы вдруг оказались вместе — как святое искусство, несправедливо преследуемое интригами и завистью театраль-

щины, а Лелька — одна, на другой стороне, как воплощение этой самой торжествующей, ревнивой, подлой театральщины. И он забеснуется, как бык — на красный платок! Я говорю вам, что он умен только в творчестве, а в жизни глуп как пробка. Гениален и глуп. И близорук, как крот, и вспыльчив, как хорек.

Он влюблен в ваш голос и будет влюблен в ваш талант. Но этого мало, Лиза! Это непрочно и условно. Нет голоса и таланта, застрахованных от соперничества. Сегодня Берлога отвернулся от голоса и таланта Лельки ради вас, завтра Лелька найдет какой-нибудь голос и талант, ради которого он отвернется от вас. Ну, положим, голоса и таланты не родятся на грядах, как репа, и — отвернется не завтра. Так — послезавтра! Через год! Через два года! Не надо обольщаться и обманывать себя: вы — сокровище, вы — прелесть, но не единственное сокровище и прелесть в России. Найти и выдрессировать опасную соперницу вам Лелька сумеет. Хорошие soprano до сих пор завядали у нас в труппе, потому что Лелька не хотела держать около себя сколько-нибудь сильных, достойных сравнения дублерш. Но когда она увидит, что вы ее побеждаете и ей самой с вами не справиться, — будьте уверены, что она разгонит всех этих жалких Матвеевых и Кругликовых, которыми теперь окружает себя в своей опере, как вокальными приживалками, и выставит вам в противовес серьезную силу, с которою придется трудно считаться. Ведь она вся — ходячая школа пения, и — когда захочет — профессор превосходный; я этого ее достоинства не скрываю от себя, хотя и не люблю, чтобы при мне ее хвалили. Уж если она могла выдрессировать для сцены такое дубье, как Андрюшкина Настасья, то из мало-мальски хорошего материала она вот какую конфетку вылепит... Нет, нет, милая Лиза! Влюбленность от имени искусства, влюбленность в голос и талант — слишком слабые узы. Нам нужна цепь покрепче, более ответственная и не такая платоническая. Словом — маски долой! При-

дется вам, ангел мой Лиза, пустить в ход все ваши женские авансы... Понимаете?

Светлицкая насмешливо и нагло прищурила глаза, ударила ученицу по колену и желчно захохотала.

— Ах, пожалуйста, не покрывайтесь пурпуром, не пожимайте вашими великолепными плечами и не бросайте на меня взоров оскорбленной невинности! Сохраним эту игру для публики, а мы — вдвоем и наедине! Вы не девчонка и не Backfisch *, слава Богу! Предоставим свидетельствовать о вашем девическом звании вашему паспорту, а сами давайте говорить, как умные люди. И не надо злиться и дуться. Почему для вас оскорбительна шутка, которая не оскорбляет меня самое, хотя и мне она приходится — как раз по мерке, будто на Сеньку шапка?! Угодно, — я вам тоже покажу когда-нибудь свой паспорт? Значусь в этом удивительном документе дочерью губернского секретаря и девицею! Саня Светлицкая — девица! Excusez du peu! ** Нечего, нечего дуться: я не над вами — над самою собою смеюсь! Я постарше вас и... и — ничего нет в моих словах обидного! Basta cosi! ***

Да, Лизанька, душа моя, да, да, да. Придется вам повергнуть Андрея Берлогу к стопам своим и сделаться его любовницей. Хотя вы и очень краснеете и волнуетесь, но я смею думать, что au fond *1 эта перспектива вам уже не так-то неприятна. Да и что же? Берлога — молодец-мужчина, интереснейший и известнейший человек в городе, любимец всей России, баловень женщин... принести жертву вам придется не великую! И, конечно, лучше Берлога, чем кто-либо другой из театральщины. А ведь это же — в конце концов — предел, которого не обойдешь. Так что — вопрос тут только о том,

---

* Девочка-подросток (*нем.*).

** Как вам это нравится! (*фр.*)

*** Хватит! (*ит.*)

*1 В сущности (*фр.*).

чтобы соединить полезное с приятным: чтобы театральный любовник не сел к вам на шею, а сам бы вас повез вперед в карьере, как добрая возовая лошадь. Ну и, конечно, лучшего першерона, чем Андрей Викторович Берлога, вам не приобресть. Удалось бы только захватить!

Я думаю, что вам удастся. Льстить я вам не стану: красотою вы не блещете и совсем не в его вкусе. Но красотою всякою он сыт по горло. Его Настасья на любой выставке женской красоты достойна первой премии, — однако это верно: он холоден к ней, как лед, и они только ждут пристойного предлога, чтобы разъехаться. Так что — понимаете? — и это вам на руку: поле свободно, — ловите момент! А потом — Бог вас знает: вы двойная какая-то! Пока вы не поете, вы — одна, запели — другая! Из обыкновенной и — простите меня — довольно вульгарной купеческой дочери: уж что труда положила я, чтобы хоть приглушить в вас сколько-нибудь эту крупичатую вульгарность вашу! — из сырой булки, из сытой телки этакой — вы даже сами не знаете, в какую интересную и увлекательную женщину вы вдруг перерождаетесь!.. Одним контрастом двойственности вашей человек избалованный, как Берлога, искатель новизны и любитель чувственного разнообразия, черт знает до чего заинтересоваться и увлечься может! И... уж не знаю, что именно, но есть в вас какое-то «поди сюда», которое нравится мужчинам и тянет их, — есть оно, есть! Мало ли хорошеньких девочек в моей школе? А между тем мои ученики все, гуртом ухаживали за вами... и чуть ли не только за одною вами! Вы думаете, я слепая была? не замечала? Все видела, душенька, очень видела, — и это пришпоривало меня заниматься с вами и видеть в вас надежду: так притягивать к себе мужчин — огромный шанс успеха! Такой мужской магнит стоит труда отшлифовать! И что ученицы вас все ненавидели, это — тоже драгоценный залог, признак, которого лучше не надо! Только следует владеть собою: быть умною, очень умною — мудрою, как змий, и незлобивою, как го-

лубь... Здесь — то же самое. Вчера Мешканов издевался над вашею полнотою, но разве я не видала, какие у него, старого сатира, при этом были глаза? Кстати о Мешканове. Вы им не пренебрегайте — это важный и сильный союзник. Я смею считать его на нашей стороне, потому что на нашей стороне Берлога, а Мешканов — эхо и тень Берлоги. Сейчас вам предстоит урок с ним. Глупая формальность! Чему он, пустой болтун, может вас выучить? А вы все-таки слушайтесь. Спорьте, ссорьтесь даже, но в конце концов — будьте побеждены его режиссерским гением и слушайтесь. Если что глупо покажет, мы все равно для спектакля переделаем по-своему, — и он же первый будет уверен, что именно так показал. Все они, режиссеры великие, на одну колодку. Успех — ихний, провал — наш. Ну-с, ухаживать он за вами будет непременно — и довольно нагло, предупреждаю. Городит мерзости на словах, дает волю рукам. Это у него — уже такое положение, вроде обычного права или закона какого-нибудь. Чрез это все новенькие должны пройти, — ничего не поделаешь... Так что вы, пожалуйста, не вздумайте разыгрывать ingenue и недотрогу — только обидите старика и наживете себе тихого, но лютого врага! А он — опасный. Кереметев наш, по старости и лени своей, весь в его руках, да и на Берлогу он имеет влияние. И притом, знаете, все это ловеласничество его — лишь до известных пределов, которые положить — от вашего такта зависит, и, в конце концов, оно ни к чему вас не обязывает... Он — нахал и циник, когда tête-à-tête, но никогда еще ни одну женщину не скомпрометировал: за пределами урока — молчок! могила!.. А умеет быть признательным к добрым и — наоборот — подложить злейшую свинью суровой... Чрез Мешканова третьестепенные хористки выходили в люди и первоклассные дебютантки проваливались! Так что, Лиза: совет и совет мой вам — незлобивость голубя и мудрость змия!

Я наблюдаю вас за кулисами: вы ведете себя очень ловко. Вас как-то сразу все замечают. На вас смотрят с ожи-

данием и любопытством. Над вами посмеиваются, потому что у вас еще нет театральной внешности, от вас еще за версту отдает буржуазкою, повторяют ваши неловкости, передразнивают ваши пансионские ахи, ваши наивности, но — вами интересуются, вы — предмет внимания, вы оригинальны. Это очень искусно и умно — оригинальность за кулисами! До поры до времени она заменит вам все: красоту, изящество, грацию, остроумие, шик. Это — приманка из приманок. Я очень хорошо знаю, что вы совсем не глупая девушка, и, если жизнь обидела вас образованием, то природной смекалки и практической хитрости у вас достанет на троих. Но в режиссерской вас — извините — считают дурою. И это очень хорошо, очень счастливо, что вам так удалось притвориться, будто вы дура: репутация глупости — умной женщине отличный щит. Из-за него вам всех видно насквозь, а вас — никому. Не стыдитесь же, Лиза, быть закулисною дурою: вы это отлично выдумали, — доказывает в вас большой инстинкт самосохранения и талант к театральщине. Раскрывайтесь в свою настоящую величину только перед теми, в ком вы уверены как в искренних и верных сторонниках ваших. А для прочих — не конфузьтесь — будьте дурою, пока умники не останутся в дураках! А тогда и мы поумнеем...

Ага! Вот уже — вижу в окно — и карета за нами — у подъезда... Так вот душечка, теперь, наспех, еще вам последний совет, примите к сведению. Берлога необходим, Мешканов полезен. С ними особые счеты — по специальному прейскуранту. Но куры вам строить будут не они одни, а все и каждый из наших мужчин за кулисами. Так — вот: принимайте вы все это ферлакурство глупое как законный порядок вещей, не модничайте. Не обижайте и не отталкивайте никого. Не серьезничайте ни с кем. Шутите со всеми, флиртируйте одинаково с Петром и Иваном и обещайте решительно всем решительно все, не исполняя решительно ни для кого решительно ничего... Потому

что, — видите ли, миленькая: уж в таком странном мирке мы с вами живем! В других местах нехорошо — обещать и не исполнять. Ну а у нас не исполнить — это еще ничего, на это мало кто остается в претензии; а вот если не обещаешь, то люди очень сердятся и мстят... Потому что, — правду сказать, мы, театральный народ, не столько пустоделы, сколько пустомыслы и пустословы. Поэтому, когда у нас пустые мысли и слова не переходят в пустые дела, нам все равно, и часто мы даже очень рады. Ну а когда встречаем такую обличительную житейскую строгость, что уж даже и попустомыслить и попустословить нам нельзя, — эта несправедливость выше наших сил, и тут мы жестоко обижаемся...

IX

— Позволите присутствовать?

Мешканов выпучил глаза, надул щеки, затряс головою.

— Ненавижу-с.

— Ах, невежа!

— Александра Викентьевна! Достоуважаемая! За что же браниться? Хо-хо-хо-хо! Слава Богу, не первый год знаем друг друга. И на вопросы тщетные могут ли быть ответы деликатные?

Светлицкая шутливо ударила его веером по склоненной лысине.

— Знаю! Знаю!.. старый Дон Жуан!.. Ну что с вами делать, с разбойником? Давно всем известно, что самодур и деспот... Жалею, грущу, но удаляюсь... Лизок! Вы, я надеюсь, потом, после урока, ко мне заедете?

Девица Наседкина расправила пухлое, будто заспанное, аляповатое лицо свое в покорную улыбку и — тем густым, даже будто хриповатым слегка, полным тембра, звуком, которым говорят только очень могучие и высокие в пении жен-

ские голоса, произнесла — с самым безукоризненным царевококшайским акцентом:

— Абсолюман! *

— Хо-хо-хо-хо! — загрохотал и засуетился Мешканов, как скоро Светлицкая выплыла из режиссерской, — садитесь-ка, садитесь, очаровательница... вот стул... честь и место... садитесь, гостья будете... Сцена для наших с вами упражнений сейчас будет готова, — раненько изволили приехать: там еще балетные феи ногами дрыгают, и осталось им срока жизни двадцать минут... Садитесь, пожалуйста, — вы меня не знаете, я вас не знаю, а служить нам приходится вместе, — так вот воспользуемся временем, — хо-хо-хо-хо! — давайте друг другу рекомендоваться: познакомимся и поговорим... Сжуем скуку пополам? а? Хо-хо-хо-хо!

Тараторя, прыгая мячом вокруг письменного стола, перебирая бумаги, толкая стулья, Мешканов со стороны зорко вглядывался в молодую особу, покинутую на его попечение, и снова недоумевал про себя: «Черт ее знает, где этот Андрей, Викторов сын, нашел в ней талант!.. Как ни поверни — тумба, подушка, перина, опара, кулебяка замоскворецкая... На стул порядочно сесть не умела! Ну кто, кроме елецкой купеческой дочери, этаким египетским идолом ноги поставит и руки на коленки уложит? Монумент от каменотеса!»

— Вы сколько часиков в сутки почивать изволите, ангел мой? — вдруг спросил он в упор, с обычною громкою, хохочущею бесцеремонностью.

Девица Наседкина даже не пошевелила своими бледно-золотистыми, чуть намеченными бровями и не подняла ресниц.

— Как придется, — отвечала она, подумав, точно у нее урок спрашивали. — С вечера я ложусь рано, а поутру часов себе не назначаю. Как высплюсь, так и встаю.

---

* Безусловно! Непременно! (*фр.*)

— Хо-хо-хо-хо! Это, стало быть, в постель — с первыми курами, из постели — после всех петухов?.. Часиков девять, а то и десять бочка свои утруждать перинкою изволите! Хо-хо-хо! То-то у вас глазки-то, этакие... революционные! Хо-хо-хо!

— То есть почему же это — «революционные»?

Девица Наседкина коротенькою гримасою губ постаралась выразить удивление, но ресницы все-таки остались опущенными, брови неподвижными, и в сытом, вялом, белом лице ее не дрогнула ни одна черта.

«Какой дьявол — талант? — продолжал наблюдать Мешканов. — Молодая, а уже расплылась! хороша будет мимика! У нее все мускулы жиром окованы, как кандалами... И малокровная, должно быть: толста, как отпоенная к празднику телка, а в лице — ни кровинки. Анемия и хлороз! Врет, врет, все врет Андрей Берлога. Один его праздный каприз!»

А вслух он тараторил:

— Потому что они — глазки — у вас этакими суровыми отшельниками под лобик ушли и вона какими баррикадами позапухли... Хо-хо-хо-хо!.. Вы всегда на белый свет этак — только прищурясь — сквозь щелочки смотрите?

Наседкина как будто удостоила усмехнуться одними губами, без малейшего участия мускулов лица.

— Нет, иногда умею и иначе.

— Ой ли? Не верю! А ну-ка — взгляните... посмотрю!

— Когда надо будет, взгляну... тогда и смотрите!

— Ого?!

Мешканов шутовскими гримасами заставлял Наседкину улыбаться, а сам чутко прислушивался к тонам ее голоса, как будто утешенный: «Ну хоть и кулебяцкое кокетство, а все-таки обрелось... Хвала тебе, перепелу!.. Линия рта недурна: скрытую и упрямую натуру обличает... Зубы — не жемчуг, редковаты, но белые и острыми клинышками: обозначает счастье, характер и алчность».

И он заговорил с дебютанткой уже без прежнего презрительного балагана — мягче, с улыбающеюся, подмигивающею, фамильярною, но и полусерьезною деловитостью:

— Так вот-с, очаровательная девица, урок, репетиция, дебют, «Демон», Андрей Берлога — все это, хо-хо-хо-хо, прекрасно, но прежде всего вам необходимо переменить фамилию...

Он остановился в недоумении, потому что, — только что белое, как воск, — лицо Наседкиной сделалось пунцовым, «революционные» глаза за «баррикадами» наполнились в щелках своих смеющимся блеском, и щеки надулись, как яблоки.

— Пуркуа *, мадмуазель?!

— Извините меня, Мартын Еремеич, — сокрушенно говорила Наседкина, отдыхая от своего беззвучного хохота, — уж я такая смешливая... Когда меня сконфузят, погибаю... смерть моя!.. не могу!

— Сконфузят?!. Позвольте, однако, что же я вам сказал конфузного?

Девица Наседкина возразила с прежним лукавством кокетливой кулебяки:

— Вы сами должны понимать...

И опять вся просияла алыми цветами. Мешканов, сбитый с толку, тупо смотрел на ее дрожащий смехом бюст и хлопал глазами. Наседкина говорила:

— Мы с вами так мало знакомы, и вы совсем не знаете моих склонностей в жизни, а между тем берете на себя подобные интимные советы...

— Позвольте! позвольте! Причем? какая интимность? Вы меня поняли? Я говорю: фамилию надо переменить. Переменить фамилию советую, — только и всего!

— Да поняла уж, поняла... Ах, Мартын Еремеич!

---

* Зачем, для чего (*фр.*).

Наседкина укоризненно качала головою и продолжала хохотать. Мешканову надоело недоумевать, он начал слегка раздражаться.

— Я не знаю, что вас удивило?.. Ничего нет смешного... Как все, так и вы... Самое обыкновенное дело...

— Ах, кто же спорит, что необыкновенное? — живо подхватила Наседкина, — это, конечно, что самое обыкновенное... Но я, — ха-ха-ха! — извините, Мартын Еремеич... но я совсем не собираюсь и не хочу замуж... ха-ха-ха-ха!

Мешканов уставился на нее дико.

— Кой черт просит вас идти замуж?!. — медленно и грубо произнес он, полный артистического презрения и почти отчаяния в душе.

«Нет, какой там талант?! Дура! Настоящая, патентованная, махровая, девяносто шестой пробы, дура! Сели же вы в лужу, Андрей Викторович! Этакой дурищи — пропади она прахом! — мы у себя в театре еще и не видывали!..»

— Но?!

И — с этим коротким полусловом — Наседкина, наконец, открыла вещие зеницы и доказала Мешканову, что она не лгала и действительно умеет взглянуть, когда надо. Глаза у нее, сверх ожидания, оказались совсем уже не такие маленькие, как печально обещали «баррикады», и по-своему красивые: типические иссера-голубые глаза северной русской женщины, полные смышленых искорок «себе на уме» и сдержанно улыбающейся, упрямой силы.

«Гм?! Нет, может быть, и не очень дура!..» — тотчас же сдался режиссер.

— Но?! — задорно повторила Наседкина, повернувшись к Мешканову через гнутую спинку стула неуловимым, но столь выразительным движением великорусского лениво-чувственного кокетства, что неутомимый ценитель-дилетант, вечно сидящий в поэтической душе Мартына Еремеича, громко закричал хозяину своему: brava!..

А хозяин почесал лысину, переносье, поправил pince-nez и сейчас же примерил жест дебютантки к текущему репертуару: «Ежели она этак в «Чародейке» — публика заржет!.. Опять — поворот медали! Выходит, что Андрей, по обыкновению, прав, а мы простофили: с девицею надо держать ухо востро...»

— Этакое же у вас, сударыня вы моя, матримониальное настроение ума! — загрохотал он, поспешно надевая обычную свою грубую маску закулисного весельчака. — Хо-хо-хо-хо! Соскучились, видно, в девицах-то век вековать? О женихах мечтаете? Хо-хо-хо-хо! Нет-с, не на таковского напали! Совета, чтобы замуж выходить, вы от меня никогда не дождетесь. Злейший враг этой глупости, чтобы артистка выходила замуж. Я, знаете, на этот счет — фанатик, ревнивец. По-моему, одно из двух: либо рождать типы, либо рожать детей. Хо-хо-хо-хо!

— Я с вами совершенно одних взглядов, — одобрила Наседкина, опять уводя глаза за «баррикады».

Мешканов отметил: «Вот у тебя какая манера слушать, — уши насторожила, а глаза спрятала! Тэк-с. Запомним. Точь-в-точь наш хитроумный Улисс, Захар Венедиктович Кереметев, когда собирается кому-нибудь свинью подложить... Самая жандармская ухватка! Эге, душенька! Да ты и за светом села: я-то пред тобой сияю, весь в свету, как апельсин под солнцем Сицилии, а ты — темная... Ловко!.. Точно следователь по особо важным делам... Шельма! И — умеешь дуру из себя ломать... опасная шельма!»

А Наседкина — методически и учительно — словно по печатной книжке — вычитывала:

— Я считаю святые обязанности жены и матери слишком серьезными, чтобы подчинять их условиям сцены, и слишком люблю искусство, чтобы пожертвовать сценою для семьи.

— Сто семьдесят седьмой номер, — неожиданно заметил Мешканов.

— То есть?!

— А видите ли: у меня имеется книжка такая, — дневник не дневник, мемуары не мемуары — так, нотатки, куда я записываю на память разные эпизоды бытия моего... знаете, фактики, анекдотики... всякие закулисные слова... Хо-хо-хо-хо! Как же-с! Десятый год как это пристрастие взял и в некотором роде в Пимены-летописцы определился... Так вот-с, фразочку эту вашу — насчет семьи и искусства — я от вас от сто семьдесят седьмой слышу. До вас уже сто семьдесят шесть дебютанток мне ее говорили... как штампованную-с!

На пухлом лице г-жи Наседкиной не изобразилось ничего. Мешканов продолжал:

— Я вам советовал псевдоним себе выбрать, а не замуж. Помилуйте: Наседкина? Что такое Наседкина? Вы успех имели, публике понравились, Андрей Викторович о вас по городу во все трубы трубит, у вас все шансы выйти на стезю примадонны, и вдруг — Наседкина?! Как можно? Хо-хо-хо-хо! Тамара — г-жа Наседкина! Где гармония? Сплошной диссонанс! Застреваете на неразрешенном септаккорде, сокровище мое... Хо-хо-хо-хо! Мучительно зудит в ухе и раздражает слушателя. Разве Демон, дух эфира, может увлечься девицею Тамарою Наседкиною? Жаме де ма ви! * Еще для Марты Шверлейн или для гувернантки в «Пиковой даме» Наседкина — куда ни шло, пожалуй — хо-хо-хо-хо! оно даже стильно! Но для Тамары? Для Татьяны? Для Валентины? Мове жанр ** и преогромная дыра в поэзии! Вам нужна новая фамилия, непременно нужна...

Но Наседкина, сложа руки на груди и опять-таки успев показать Мешканову, что они у нее — белые и «вкусные», мотала головою и на все его восклицания повторяла спокойно и сонно:

---

* Никогда в жизни! (*фр.*)

** Дурной вкус (*фр.*).

— Ай, нет, нет!.. Ай, нет, нет!

— Ай, да, да! — передразнивал ее режиссер, приседая пред нею, как дама. — Ай, да, да!

Она улыбалась, но стояла на своем:

— Ай, нет, нет!

— Ай, да, да! — упорствовал Мешканов. — Вы, ангел сверхъестественный, может быть, того, — придумать громкой фамилии не умеете? фантазия не богата? а? Так я, розан вы мой центифольный, обработаю вам это в один секунд... Хо-хо-хо-хо!.. Двадцать годов сим рукомеслом промышляю. Прославлен за изобретательность, — хо-хо-хо-хо! По всем театрам России рассыпаны мои крестницы и крестники. Даровая коммерция и не будет вам стоить ни копейки. У меня псевдонимы, можно сказать, рассованы по всем карманам. Позвольте! Да, — вот я вас сейчас, не сходя с места... хо-хо-хо-хо!

Он сунул руку в жилетный карман, вынул перочинный нож и деловито выпучил молочно-голубые глаза свои на блестящее лезвие.

— Ножова? Ножина? Ножикова? Нет, это, — хо-хо-хо-хо! — не лучше Наседкиной... Сталь? Есть уже Сталь Амелия, знаменитейшее mezzo-soprano... Сталецкая? Великолепно звучит, и для вызовов хорошо, но, — черт ее побери! и такая есть! У нас же два года назад дебютировала и провалилась... Еще печать примет вас за нее, да и выругает задним числом: народ-то, не взыщите, неразборчивый, — рыло еще сколько-нибудь смыслят, а уха ни-ни! — так вот и жарят больше по рекламам, да по справкам из старых газет... хо-хо-хо-хо!.. Ни за что ни про что примете в чужом пиру похмелье!.. К черту Сталецкую!.. Позвольте! Я, наконец, задет в своем профессиональном самолюбии! Неужели я, Мартын Мешканов, не высосу вам красивой фамилии из перочинного ножа?! «Братья Завьяловы в Ворсме»... Завьялова? Совсем бы хорошо, но Завьяловых — и оперных, и опереточных, и драматических — яко песку морского, а Ворсма эта русопетская — верх безобразия... Ворсма, Жиздра, мез-

дра, тундра — удивительно много слов в русском языке, от которых пахнет плесенью и тиною... Эврика! Завьялова-Вормс! Хо-хо-хо-хо! Лучше быть не может! Благородно, сильно, красиво и... и даже иностранно! Это решено: вы должны быть Завьялова-Вормс!

— Ай, нет, нет! — отразила и это лестное предложение г-жа Наседкина все с тем же веселым упорством.

— Ву зет тре дифисиль *, мадмуазель! — почти уж и обиделся Мешканов, и уложил нож обратно в карман: — Но почему же вам не нравится? Объясните, почему?

Наседкина сделала серьезное лицо.

— Потому что я ненавижу ложь и не терплю в себе фальши. Я очень хорошо сознаю, что фамилия Наседкиной безобразна и будет мне вредить на афише, но — если я Наседкина, то и должна быть Наседкиною. Не хочу обманывать публику никакими Сталецкими и Завьяловыми-Вормс... Судьба меня обидела, сделала Наседкиною, — ну Наседкиной и надо за себя отвечать.

— Вот как? Хо-хо-хо-хо! Это, однако, очень интересно-с, какая у вас философия! Хо-хо-хо-хо! Любопытно и... и... довольно даже курьезно!.. Впервые слышу: у нас в опере дамы так не разговаривают...

Дебютантка продолжала методически и хладнокровно:

— Это все равно, как Александра Викентьевна все убеждает меня выкрасить волосы. Вы видите: они у меня недурны и густые очень, а цветом Бог обидел... грязная мочала какая-то! Можно подумать, что я никогда не мою головы! Самые мещанские и пошлые волосы, какие можно вообразить! Александра Викентьевна уверяет, что к моему цвету лица, — я ведь, вы видите, ужасно какая белая, — золотые волосы необходимы, обещает, что я стану чуть не красавицей. И это надо правду сказать: я в светлом и рыжем парике удивительно интерес-

* Вы слишком привередничаете (*фр.*).

ная! в совершенстве идет к типу моей наружности! А выкраситься все-таки ни за что себе не позволю... никогда!.. Потому что для меня представляется все равно, чем ни солгать: языком ли, волосами ли, лицом ли... одинаково скверно! Уж я такая: не могу!

— Для сцены-то гримироваться придется же... — заметил заинтересованный Мешканов.

Наседкина живо возразила:

— Это совсем другое дело! На сцене я в искусстве, а не в жизни! Там — освещение особое... Если не загримируешься, то публике — вместо лица — видна грязная доска. Да и потом — на сцене я не Елизавета Вадимовна Наседкина, но Тамара или Брунгильда — стало быть, не на Наседкину, но на Тамару или Брунгильду должна и походить... Но — в жизни?! Фамилию перемени, волосы выкраси... позвольте! ведь это же полный подлог личности! И — уж раз начала собою обманывать — почему ограничиваться фамилией и волосами? Я вот очень носом своим недовольна: кому Бог дает римский, кому греческий, а мне посадил какую-то нижегородскую картошку или грушу-скороспелку... что же — прикажете мне ехать в Париж или Лондон нос себе переделывать? Ведь теперь пишут в газетах и для исправления носа мастики какие-то придуманы. Ах, оставьте, пожалуйста! Предоставляю подобные пошлости другим! Природа не дала мне красоты, но я горжусь тем, что во мне кусочка поддельного нет, я — вся натуральная.

Она уставила в лицо Мешканова осторожный, пристальный взгляд, лукаво и опасливо ищущий сообщника.

— Говорят, теперь иные дамы дошли до такой хитрости, будто лица себе эмальируют и всю жизнь ходят в маске...

Она выждала паузу, что скажет режиссер. Он понял намек и — верный своему скользкому, легкомысленному театральному злоязычию для злоязычия — пошел навстречу.

— Бывает это, говорят... хо-хо-хо-хо!.. слыхал я, будто бывает...

— Я, может быть, слишком строга, — продолжала Наседкина, убедившись, что имеет дело, если не с единомышленником, то во всяком случае с малодушным поддакивателем, и уже гораздо осмелев в авторитетном на него напоре, — но, по моему простому мнению, женщина, которая позволяет себе подобные обманы, есть жалкая и пошлая женщина... я не могу питать к ней никакого уважения! Это хуже, чем — как другая фигурою фальшивит: вату в платье кладут, подушки резиновые... Мерзость! Отврат! Презираю!

— Хорошо вам браниться-то, хо-хо-хо-хо! — загрохотал Мешканов, бесцеремонно подсаживаясь к дебютантке и закидывая руку на спинку ее стула: — Бобелина, героиня греческая!

— Совсем не потому, — возразила Наседкина ровным, спокойным голосом, без малейшей попытки отодвинуться, — будь я худа, как палка, и черна, как галка, я все-таки ни в вату себя не зашнурую, ни лицо эмальировать не соглашусь. И фамилии другой не возьму. Я — такая. Берите меня, какова есть, а фальшивить я ни для кого не согласна. Ни наружностью своею, ни словами, ни мыслями, ни сердцем.

Она вдруг открыла на Мешканова серые глаза свои, теперь глубоко вдумчивые, полные искренней, почти детской доверчивости.

— Я лгать не умею. И, если против кого у меня предубеждение в душе, — тоже скрыть не могу. Вот, например, с вами сейчас, Мартын Еремеич, я сейчас чувствую себя — дура дурою и откровенно вам говорю: мне ужасно неприятно. И я очень понимаю, что тем врежу себе и, быть может, восстановляю вас против себя, но молчать — против моего характера, и я должна вам высказать... Меня вами так напугали...

— Гм... — кашлянул сконфуженный Мешканов и отодвинул свой стул подальше. — Гм... Это кто же постарался? И... и... в каких, собственно говоря, смыслах?

Наседкина крепко повела плечом, и опять режиссер должен был отметить: а ведь плечи-то хоть на выставку! что называется, размое-мое!

— Зачем же спрашивать? Ведь вы сами хорошо знаете, в каких... Впрочем, если вы настаиваете, — извольте. Меня уверили, что если я хочу иметь успех в вашей опере и получить приличный ангажемент, то я должна позволить вам ухаживать за мною, как вам будет угодно и, — если вы будете слишком настойчивы, мне придется даже отдаться вам... да!

Мешканов вскочил со стула, красный, смущенный, уничтоженный, лысина его сразу взрумянилась, как кумач, и даже задымилась росою внезапного пота.

— Черт знает что... — бормотал он, совсем как Берлога, который заразил его своею поговоркою.

Наседкина «взирала» ясно, спокойно, грустно, глубоко, открыто.

— Это вам, конечно, Санька ваша такие прелестные басни обо мне внушать изволит? — свирепо обратился к ней обескураженный режиссер.

— Александра Викентьевна?.. Право, не помню... Позвольте...

Наседкина подняла глаза к потолку, обдумывая, — потом сказала положительно и спокойно, как человек, убежденный, что знает наверное:

— Нет, Александра Викентьевна мне не внушала. Нет. Да с нею я всего лишь один раз и говорила об этом. Знаете ли, я ведь не могу очень откровенничать с нею... То есть — я-то откровенна, как со всеми, но я не имею права смотреть на нее, как на советчицу, не могу ждать большой искренности с ее стороны... Мы, конечно, в отличных отношениях, я обожаю Александру Викентьевну как профессора, она дорожит мною как хорошим голосом, но в частной жизни — мы совершенно чужие... Впрочем, я никогда и не старалась быть для нее своею... Я не имею, да и не хотела бы иметь чести при-

надлежать к числу ее любимых учениц, которые делят с нею ее интимную жизнь. Она — отличный человек, но деспотка, капризница, порабощает всех, кого любит, а я — тоже порядочный самодур. Нет, у нас это всегда было разгорожено: она — сама по себе, а я сама по себе. Так что мы совсем не такие близкие друзья, как кажемся. И в интимном вопросе... тем более такого щекотливого свойства... Александра Викентьевна, конечно, последний человек, к которому я пойду за советом. Я уже не помню... Разговор о вас вышел у нас как-то совершенно случайно. Напротив: Александра Викентьевна не только не вооружала меня против вас, но — кажется — она, единственная из всех, говорила мне, что все — сплетни и глупости, что вы отличный товарищ и милый человек, и мне с вами надо хорошо поладить, потому что вы очень умны, любите и понимаете искусство, и ваши советы могут сделать из меня настоящую артистку...

Мешканов оправился, обдернул жилет и галстук и сделался горд.

— Очень признателен Александре Викентьевне за доброе мнение, — с достоинством произнес он. — Благодарю... признаться по правде: хе-хе-хе-хе! от нее — не совсем-то ожидал... А вам, милейшая Елизавета Вадимовна, вдвое спасибо, что поверили.

— Не за что, Мартын Еремеич, — наивно остановила его Наседкина. — Я совсем ей не поверила.

— Не поверили?!

Наседкина кивнула головою.

Режиссер таращил на нее молочно-голубые, оглупелые гляделки.

— Не поверили, когда она меня защищала?.. Стало быть... кому же вы верите?! Им — мерзавцам этим, которые вам на меня сплетничают?

Наседкина отвечала протяжно:

— До сих пор верила им...

— И это вы мне — так прямо в глаза?

— Ах, Мартын Еремеич, я не умею делать разницы. Для меня все равно: что за глаза, то и в глаза.

Мешканов уже бегал по комнате, как разъяренный хорек.

— Покорнейше вас благодарю! чрезвычайно признателен! До глубины души тронут! Не знаю только, чему обязан? Откуда вы могли заключить — и чем я подтвердил?

— Ах, Мартын Еремеич! Да — просто тому обязаны, что за вас Александра Викентьевна Светлицкая говорила мне — одна, а против вас я слышала сплетни человек от двадцати и слово в слово!.. Ну и к тому же вы знаете Александру Викентьевну, какая у нее самой репутация и как легкомысленно она относится ко всем вопросам нравственности... Для нее все это — пустяки, не стоящие обсуждения... Она не понимает женского стыда. Отдаться — для нее — что стакан воды выпить... Что же мудреного, если я ей не поверила, подумала, что она лишь утешает меня, обманывает, чтобы не отпугнуть от дебюта?

Мешканов стоял пред нею, даже не пурпурный с лица, а совершенно фиолетовый.

— Так что вы до сих пор изволили почитать меня за совершеннейшего подлеца, который... гм!.. — который только что не насилует дебютанток во вверенном ему театре?

— Изволила почитать.

— Может быть, и продолжаете-с?

Но его враждебный и злой взгляд встретился с самыми ласковыми и дружескими лучами как-то сразу и просветлевших выражением, и потемневших влажным цветом очей г-жи Наседкиной.

— Нет, не продолжаю, потому что очень хорошо вижу, какой вы человек. Права была Александра Викентьевна, которую вы не любите, а не разные ваши добродетельные приятели и приятельницы, которые меня предупреждали...

— Спасибо и на том-с... Очень рад-с с своей стороны... — бормотал расстроенный Мешканов. — Позвольте вашу ручку... будем друзьями, если разрешите... Ей-Богу же, не такой мерзавец, как вам обрисовали... Но, Елизавета Вадимовна, я все-таки позволю вас спросить: кто?.. Ну не всех — хоть двух-трех мне назовите: кто?

Наседкина гордо выпрямилась, как оскорбленная королева Либуше на троне или Рогнеда какая-нибудь.

— Извините, Мартын Еремеич: я не доносчица и не сплетница.

Мешканов опять осекся.

— Одного я не понимаю, Елизавета Вадимовна, — заговорил он после недолгого, но достаточно неловкого молчания, которое он выносил очень тяжело, пыхтя, сопя, кряхтя и даже как-то рыча и похрюкивая, а Наседкина, напротив — чрезвычайно легко и с голубиною безмятежностью. — Не понимаю, — и вы меня тоже извините, — вашей смелости-с... То есть — как же это вы-с, будучи обо мне самого низкого мнения, все-таки вот решились приехать на этот наш урок и оставаться со мною наедине в течение доброго часа?

— А разве моя смелость не оправдала себя, и я имею причины раскаиваться? — улыбнулась ему молодая певица.

— Я не о том-с, что вы оказались правы... Я только вообще удивляюсь смелости...

Наседкина перебила его с резким взглядом прямо в глаза.

— Послушайте, Мешканов. Говорить — так говорить до конца. Я уже сказала вам, что вы совсем не негодяй театральный, а хороший и добрый, оклеветанный сплетнями человек. Ну и теперь мне не страшно вам сознаться: если бы вы оказались тем негодяем, за которого я вас принимала, я покорилась бы вам во всем — с ужасом, с ненавистью, с отвращением, но — как покорная и бессловесная жертва...

Режиссер бессмысленно смотрел на нее, чувствуя, что у него голова становится о четырех углах и перемещают-

ся мозговые полушария. Он думал: «Эта девица, по-видимому, задалась целью довести меня до желтого дома!»

А девица ораторствовала:

— Что делать? Я знаю, что говорю ужасные вещи и вы имеете право меня презирать, но я не могу: я слишком люблю искусство... Оно — моя жизнь, оно — выше всего, для искусства я пожертвую всем... всеми чувствами, привязанностями, самою собою... Я воспиталась в обществе патриархальном, где на театр смотрят, как на дом разврата, на актеров, как на слуг дьявола, на артистку, как на безнравственную женщину... Вы видите: я не побоялась — я на сцене, я актриса... Лишь бы быть жрицею искусства, а то мне — все равно! Я желаю работы, желаю дороги в искусстве. Меня уверяют, что дороги нельзя найти без взяток, что дать карьеру артистке — монополия властных людей, которым надо платить за покровительство либо деньгами, либо телом... Денег у меня нет, — я нищая. Хорошо! Пусть будет отравлена моя жизнь и разобьется сердце. Я буду презирать взяточника, но он получит свою взятку: искусство выше всего, — какою бы то ни было ценою, я должна и не побоюсь купить себе дорогу и право работы в искусстве!

Наседкина говорила громко, возбужденно, с мрачно разгоравшимися, трагическими глазами. Ошеломленный Мешканов смотрел на нее восторженно, как на внезапное видение божества.

— Так вот вы какая!.. Вот вы какая!.. — бормотал он, с молитвенно сложенными руками. — В первый раз в жизни... Елизавета Вадимовна!.. Вы потрясли... Во мне душа взметалась... Ах, я осел! Ах, старый осел!

И вдруг он опустился на колени.

— Елизавета Вадимовна! Уж простите — что было, чего не было, что думал на ваш счет, чего не думал, на что не посягнул, — бросим все это в реку Лету и предадим забвению... не гневайтесь на меня, свинью!

Елизавета Вадимовна совсем не поспешила его поднять, а только протянула режиссеру свою чересчур мягкую, будто бескостную, холеную ручку, которую Мешканов почтительнейше — без шутовства и любострастия — поцеловал.

— Стало быть, мир? — воскликнул он, с кряхтом и кряканьем вставая от коленопреклонения. — Мир, дружба и союз навсегда! Можете быть уверены, что я, Мартын Мешканов, есмь первый и почтительнейший друг ваш в сем театре. Ежели что вам надо — только свистните: я для вас и за вас — хоть распнусь во всем, что мне по силам и от меня зависит... Потому что — с умиленным сердцем и увлажненными глазами говорю: вы меня пристыдили, вы меня с изнанки на лицо перевернули, вы разбудили и воскресили меня, милостивая государыня вы моя! Вы «в волненье привели давно умолкнувшие чувства!» Я горд, что вы входите в наш театр! Вы делаете нам честь! Вы влетели к нам, как бодрый, свежий ветер! Вы — белая голубка в черной стае воронов!

Госпожа Наседкина смеялась, радостно растроганная, и — манерою, хорошо перенятою у Светлицкой, — красиво смахивала с глаз светлые, маленькие слезинки...

— Да — полно вам!.. довольно же!.. будет!.. Я совсем не заслужила... мне стыдно... Какой вы восторженный!.. Ах, милый, милый, милый Мартын Еремеич!

— А все-таки, — уже важно и покровительственно, отеческим тоном заговорил режиссер, — этак, сударыня вы моя, с нашим братом, скотом-мужчиною, нельзя — тем паче в стенах театральных-с... На ваше счастье, я действительно не такой прохвост, как меня ославили, — ну а вдруг бы? Хо-хо-хо-хо! а вдруг?

Елизавета Вадимовна потупилась.

— Вы же слышали...

— Да — неужели же вы, в самом деле, решились и... обреклись? Неужели — так бы вот — без боя, без сопротивления, как бессловесная овечка...

— Ну нет! — только не бессловесная!..

Наседкина гордо подняла голову, раздула ноздри и засверкала глазами.

— У меня было что сказать вам, и я сказала бы...

— Что?

— А вот что — я презираю и ненавижу людей, способных предаваться наслаждениям тела, когда их не делит сердце. Я презираю и ненавижу насилие. Я никогда не прощу вам своего срама, своего бессилия бороться, никогда не прощу, что вы обратили меня в грязную вещь. Вы получите очень мало удовольствия и — навсегда — тяжелые и опасные раскаяния, ни капельки любви — и злопамятного, беспощадного врага. Если за всем тем вы все-таки хотите обладать женщиною, которая вас презирает, ненавидит, трепещет отвращением и ужасом, — ваше дело: да падет грех на вашу голову. Если вы упорствуете надругаться над сердцем, в котором вы не властны зажечь ни одной, хотя бы даже случайной, инстинктивной, самой чувственной и грубой искорки, — потому что все мое сердце полно святою и нераздельною любовью к другому человеку, — если вам непременно надо отравить себя мною, изломать мою душу и осквернить мое тело, — отравляйте, ломайте, оскверняйте... я бессильная, купленная жертва... будьте палачом!

— Умеете поговорить! — вздохнул Мешканов, следивший за нею с уважением и любопытством. — Ишь, какой монолог закатила! А на слове я вас тем не менее поймаю. Другой-то человек, к которому вы полны святою и нераздельною любовью, — оказывается у вас, недотрога моя милейшая, уже облюбован? Смею осведомиться об имени счастливца?

Елизавета Вадимовна залилась пурпуром не только по лицу, но даже по шее, и поднялась со стула, отвернувшись от Мешканова красивым, смелым жестом страдающей Федры смешавшим в себе и восторг, и отчаяние, и стыд.

— Ну нет, Мартын Еремеич, человек вы хороший, и я очень рада иметь вас другом, но до такой степени... нет, поверенных в этой беде моей мне не надо... не могу!

Она закрыла глаза правою рукою, а левую — дружески — ребром, по-мужски, не как для поцелуя, но как для доброго, товарищеского пожатия — протянула режиссеру.

— Голубчик, не сердитесь... Если бы вы знали, как обидно и стыдно... какое унижение... эх!.. Будь моя любовь счастливая, я не стала бы скрываться, — не в моем характере! Да я бы так была счастлива... на весь свет кричала бы о своем блаженстве... ох какая это слава, какая это гордость, если бы он любил меня!.. Ну а теперь...

— А с чего же он — индивидуй этот ваш необычайный — не соизволяет любить вас, — позвольте вас спросить?! — азартно возразил Мешканов на тяжкий вздох и красноречивую паузу, прервавшие монолог Елизаветы Вадимовны. — Вы меня извините, но после всего того он оказывается против вас просто дурак — этот идеал ваш воздушный! Если он с вами ломается — кого же ему нужно? Мисс Алису Рузвельт? Венеру Милосскую? Прекрасную Елену?

Наседкина, бледная, тяжело задыхающаяся, с отчаянием трясла головою.

— Не знаю, не знаю, кто его достоин... Только не я... Мне он представляется богом и выше всех... Я и не мечтаю. Я даже назвать не смею... Единственное мое счастье, что он не знает, что я его люблю... А то смеяться бы стал... Господи! разве я надеюсь? Я сама своей дерзости изумляюсь, Мартын Еремеич, как я смею... Он такой великий, а я — ничтожество, маленькая...

И, смахнув слезу, она вдруг заговорила искусственно веселою, возбужденною, бойкою скороговоркою:

— А фамилии своей, Мартын Еремеич, я еще потому менять не желаю, что есть у меня в городе дяденька и тетенька — и я нищая, а они очень богатые купцы. И держатся они, Мартын Еремеич, — мои дяденька и тетенька, — такого глупого образа мыслей, что, поступив на сцену, я кладу мораль на их фамилию. Так что они, Мартын Еремеич, даже перестали меня к себе принимать.

— Кафры и готтентоты!

— Так вот назло же им буду в актрисах — Наседкина! Если замуж выйду, и то для сцены Наседкину сохраню. Специально для удовольствия дяденьки и тетеньки. Пусть страдают! Авось от злости печенки у них лопнут, и мне наследство останется. Нет, — значит, уж вы, Мартын Еремеич, пожалуйста, так и печатайте в афишах: Наседкина, Наседкина... и, миленький, нельзя ли шрифтом покрупнее?

— Хо-хо-хо-хо! Можно! для вас все можно! Хо-хо-хо-хо! Девица! А вы таки оказывается здорово с ноготком?!

— А вы думали: нет? — возразила Наседкина, опять с тем задорным движением, которое заставило Мешканова вспомнить о «Чародейке» и подумать: «Будет иметь успех, шельма! ох, будет иметь успех!»

— Н-да-с, с ноготком, с ноготком... Что же? Конечно, Елизавета Вадимовна, в конце концов ваша воля. Но, что хотите, фамилию вы себе оставляете все-таки... простите!.. того-с... хо-хо-хо-хо! — кислую-с... Вон и Андрей Викторович ее никак запомнить не может. То он вас Курочкиной, то он вас Перепелкиной...

По лицу Наседкиной скользнула странная тень.

— Он приучится, — сказала она как-то глухо и с кривою улыбкою в сторону.

Чуткий к интонациям, Мешканов пронзил ее испытующим взглядом.

— Гм?!

Но Наседкина уже улыбалась.

— Ну разве что приучится!.. — засмеялся и режиссер. — С ноготком, с ноготком... Punctum! * — как говорит наш почтенный maestro... Пойдемте-ка репетировать, покуда не приехало благосклонное, но справедливое начальство да не пропело нам хорошей аллилуйи!

* Баста! (*нем.*)

X

Любезный друг А. В.!

Знаю, брат, что ругаешь ты меня давным-давно ругательски и прав со всех сторон, я же выхожу против тебя совершеннейшая свинья, и даже не весьма породистая. Но вспомни и сообрази, друже, какова есть наша жизнь ахтерская, и — «понять — простить», говорит Виктор Викторович Гюго. Стало быть, «не кляни, но люби!» А я впредь присягу даю в поведении своем исправиться и писать тебе летопись живота моего, если и не столь часто, как обещал, то все же не менее одного раза в месяц. Ах, милый человек! Совсем я смаялся с бисовою работою! Пою три-четыре раза в неделю, от репетиций голова кругом идет. Ежели, может быть, слышал, ставим «Крестьянскую войну» юного музикуса, по фамилии Нордмана. Гениальный, брат, парень, я — просто на коленях пред ним! Так тебе смею доложить: новых времен и нашего века вещатель. Была, брат, музыка будущего, была кучка, были веристы — и все это, выходит, предтечи. В Нордмане, друг, валит какая-то новая, наша, нутряная сила — нарастает музыка четвертого сословия! Понимаешь: ни слушать, ни петь не могу равнодушно, — каждым тактом он меня за самое сердце до крови ущемляет! Пою на репетициях в нервной дрожи, в холоде восторга, — кричу, мечусь, стону... Чувствую, брат, что рожаю что-то сильное и здоровое, — ну а сам понимаешь, как же роженице не страдать, не выть, не орать и не корчиться в муках? Сегодня у нас была первая вечерняя репетиция в костюмах: воспользовались кануном Введения, что спектакля нельзя ставить, и катнули «Крестьянскую войну» по всем правилам искусства. И вот так возбужден и взвинчен я до сих пор, что не могу спать, хотя уже четвертый час, и моя Анастасия Прекрасная десятый сон видит и храпит какими-то необыкновенно чувствительными тонами нежной флейты. Скажи ты мне, пожалуйста, милая душа, как опытный человек и писатель, жизнь наблюдающий: отчего это русская молодая бабенка, как только попадает в большое благополучие и на чрезвычайно сытые кормы, так сейчас же и прежде всего храпеть выучивается? Что это и как: физиология или психология? «Вот загадка тебе, мудрый Эдип, разреши!»

Но вижу из-за тридевяти земель хмурый лик твой: не любишь ты моих неуклюжих a parte *, Бог тебе судья! Будешь читать и думать: «Ну пошел Андрюшка притворяться остроумным и кривляться экстренными вопросами!» По-вашему, писательскому, ведь только вы, соль земли, можете рассуждать, а про нашего брата, ахтера, вы в таких случаях говорите: «Умничает!», и носы презрительно воротите. Знаем мы вас!

---

* Замечаний, реплик (*ит.*).

А что, брат? Прочитал сверху страницу, что написал, и — того: сконфузился. Пожалуй, ведь и впрямь наумничал. Нечего сказать, нашел из-за чего: из-за Настасьина храпа! Прямо стыдно, милый человек, извини, пожалуйста. А я за это сделаю в письме перерыв, поброжу по кабинету, выкурю папиросочку и выпью за твое здоровье стакан хорошего бордо. Сей благородный напиток светит красным рубином предо мною на письменном столе, и, признаться тебе откровенно, одну бутылку я уже спустил под стол пустую, другая усыхает к концу, и есть канальское поползновение пошарить в буфете насчет третьей. Пожалуйста, не заключи из этого, что я сделался ночным пьяницею-одиночкою. Исключительный, брат, случай: нервы после Фра Дольчино поют и гудут, и хочется говорить, говорить. А говорить-то и не с кем — не Анастасию же Прекрасную воздымать с ее пышных перин, чтобы она зевала, крестилась и хлопала предо мною глазами! Нет, уж лучше — поговорю «наедине с своей душой» и в приятном тет-а-тете с бутылкою... «О ты, бордо, друг неизменный!»

Взвинтила, брат, меня репетиция, но и — надо со стыдом признаться: поругался я сейчас, люто поругался, друг любезный! А угадай — с кем? Читая за тридевять земель и сто лет меня не видав, ни за что не поверишь. С Еленою Сергеевною поругался, милый человек. Да! да! потаращь глазами-то, покрути губами, покачай головою: с нею самою — с Еленою Сергеевною, госпожою и владычицею нашей зрелищной храмины, где аз многогрешный есмь смиреннейший и бессловесный служка, с обожаемою нашею дивою и милым другом, — с Лелечкою Савицкою-с. И не в первый, брат, раз уже поругался. И, кажется, — ох как кажется! — не в последний!

Из-за чего? А черт меня знает из-за чего! Во всяком случае, не из-за того, что она мне сделала замечание, зачем я затягиваю фермату в нашем дуэте. Конечно, было немножко досадно, что — при артистах, при хоре и оркестре. Конечно, Санька Светлицкая тут как-то из-за кулис вывернулась и подзудила меня ласковым словцом. Но — не первый год вместе поем. Мало ли она мне замечаний делала, и — ничего! Да и наконец, правду говоря, Леля совершенно права была: действительно, увлекся я, распустил пасть свою... Мне-то на «фа» ничего, горлань, сколько хочешь, что дальше, то легче, одно удовольствие, а у нее «si» naturel* вверху — этого долго не протянешь... как говорит Мешканов: кишка тонка! Только, помоему, не следует и браться за такую партию, которую по-настоящему спеть не в состоянии, для которой кишка тонка. Ну — Леля мне заметила, а я ей тоже заметил. Вот это самое заметил. Ну и погрызлись. И она так оскорбилась, что у нее, — понимаешь? у нее! — ведь ты помнишь, какая она сдержанная? — даже губы побелели и задрожали. Ну и она смолчала, а мне

* «Си» натуральное, естественное, природное (*фр.*).

стало очень совестно, но извиниться я все-таки не извинился, потому что я прав. И все говорят, что я прав И Мешканов, и Саня Светлицкая. Ты знаешь? Она ведь преумная, эта Саня Светлицкая. Она, если хочешь, дрянь, и даже «тварь», но голову ей Господь Бог посадил на плечи светлейшую, и искусство она смыслит — ой-ой-ой! Я просто не понимаю, как за тринадцать лет, что мы работаем вместе, я оставался вдали от этой женщины? Не обинуясь говорю: чрезвычайно много потерял. Конечно, тут главным образом виновата Елена. Между нею и Светлицкою старая бабья вражда какая-то. Ну а ты знаешь, какое безграничное влияние имела на меня Елена? Понятно, я, даже не рассуждая, стоял на ее стороне и всегда обдавал Светлицкую холодом презрения, взятым взаймы у Елены. А, в сущности говоря, какое мне дело до того, что эта госпожа развратничает там с кем-то и как-то особенно и вообще пользуется скверною славою? Это ее частная жизнь, которая при ней пусть и остается. Я до старух не охотник и компании госпоже Светлицкой в оргиях ее не составлю, но судить ее — эка, подумаешь, каков я сам-то святой! А вот — что, фыркая да брезгуя Светлицкою, я ни за что ни про что проиграл тысячи умнейших советов и указаний в своем искусстве, — это, брат, верно И ты понимаешь, как мне неприятно и досадно: я так мало встречал на своем веку людей, которые настояще меня понимают, чувствуют мои творческие намеки и способны дать дельный совет. И вот — оказывается, как слепой и глухой какой-нибудь, прозевал около себя чуть ли не самого мне на этот счет полезного человека! Я теперь довольно часто разговариваю с Санею Светлицкою, потому что у нас дебютирует в «Демоне» ее ученица, — отличнейший голос и, кажется, будет артистка! — и мы систематически встречаемся на репетициях. На днях по поводу моей излюбленной «Крестьянской войны» Светлицкая сделала мне столько умнейших замечаний о Маргарите Трентской, обнаружила такое тонкое, такое глубокое, — именно как я хочу, — такое общественное — понимание этого удивительного характера, наметила такие нюансы, что я просто в телячий восторг пришел и не удержался, чтобы не сказать ей:

— Жаль, Светлячок, что вы контральто, а не сопрано: вот бы вам петь Маргариту Трентскую, — дернули бы мы с вами тогда оперу — на славу!

А она отвечает.

— Что делать, Андрюша? — бодливой корове Бог рог не дает. Уж такие мы, злополучные контральто, парии в музыке все равно как басы. Только подтягиваем вам, премьерам, а все, что самостоятельно и интересно, плывет мимо нас. А вот Наседкину (это ее ученица) я вам для Маргариты выдрессирую, — это я вам обещаю, — останетесь довольны. А вы, голубчик, — когда Леле надоест петь Маргариту, — уж постарайтесь, выхлопочите, чтобы партия была передана Наседкиной.

Я готов был сказать ей, что рад был бы отдать Наседкиной Маргариту Трентскую не только когда Леле надоест партия, но хоть и сейчас, для

первого представления «Крестьянской войны», да вовремя спохватился и прикусил язык. За кулисами этаких векселей на себя выдавать нельзя, — и без того у нас с Еленою Сергеевною отношения все спотыкаются. Но Светлячок — чертова баба! — догадлива: и без слов понимает — шельма!..

Нет, поссорились мы с Савицкою не за ее замечание, а — вообще — с тех пор, как появился у нас Нордман и затеялась его «Крестьянская война» — потекла между мною и Лелею какая-то ледяная река. Собственно говоря, стыдно и даже глупо. Ну какое в конце концов дело мне, баритону, как удастся новая партия поющей со мною примадонне? Лишь бы мне не мешала, а все остальное — ее печаль! Если по театральной-то подлой морали рассуждать, то мне же еще лучше для успеха, чтобы примадонна не слишком выдвинулась вперед, а осталась на заднем плане, в общем фоне к моей великолепной особе... А вот — поди же ты: не только слышать Лелю в Маргарите Трентской бесит меня, но даже и сейчас вот думать, что она эту партию в руки свои захватила, мне — нож острый! И опять-таки есть тут, братец, что-то помимо того, что партия Леле не по силам, и она с Маргаритою Трентскою только-только справляется. Нет, тут нечто поглубже.

Светлицкая на днях очень хорошо развивала мне мысль, что для всех новых веяний нужны и новые силы. Искусство, конечно, не исключение в этом правиле, — напротив, первый показатель и пример. Так как мы были совершенно наедине, то могли говорить откровенно.

— Посмотрите, — сказала она, — вот вам пример: как Леле Савицкой при всем ее прекрасном голосе, таланте и школе не удается партия в «Крестьянской войне». И вы не правы, когда говорите, что партия ей не по средствам. Нет, она очень могла бы овладеть этою музыкою, если бы понимала ее дух, если бы сочувствовала ее настроениям и любила ее цели. Платонова была безголосая, но создала же Даргомыжского! Нет! — в том-то и дело, милый мой Андрей Викторович, в том-то и беда Лелина, что тут новое вино вливается в старый мех. Леля для Маргариты Трентской стара не голосом, не наружностью, не талантом, — она духом стара, всем складом мысли, всем образом жизни... Вы прекрасно называете оперу Нордмана — музыкою четвертого сословия. Но как при таком метком определении вы можете удивляться и сердиться, что Леля не в состоянии ее петь? Что ей может сказать музыка четвертого сословия, когда она — человек вряд ли даже третьего? Вы хоть и университетский, но выходец из народа, вы у сапожника в мальчиках маялись, — пролетарий по происхождению, по натуре, по симпатиям, по работе, по идеям. Что же удивительного, если вы сливаетесь в одно целое с итальянским пролетарием — этим вашим Фра Дольчино? Наука, литература и искусство одинаково могут быть пропитаны политическою мыслью. И, если человек искусства политически мыслит, естественно, что он выражает свою мысль теми средствами, к которым природа дала ему талант. Вы — певец: ваше дело выражать свою мысль звуками голоса. Можете считать это за пара-

докс умничающей старой бабы, но — если у живописи, у скульптуры есть способы и типы творчества, точно отражающие консерватизм или революционный порыв художника, если у клерикала одна кисть, а у социалиста другая, если у бонапартиста один резец, а у анархиста другой, то я не знаю: почему не быть тем же характеристикам и для пения? Я положительно утверждаю, что — будь вы рождением и воспитанием граф, князь какой-нибудь или даже только купец богатый — вы, конечно, тоже были бы великим артистом в своем роде, но пели бы совсем иначе, чем теперь поет бывший пролетарий Андрей Берлога. Это, знаете, ведь и прежде бывало, в истории оперы можно найти примеры. Лаблаш был человек из народа, — ну и в 1848 году поднял своим «Вильгельмом Теллем» венцев до того, что студенты, выйдя из театра, уличною демонстрацией начали революцию. А Марио — маркиз ди Кандиа — наоборот, был легитимист, и публика рыдала и волновалась именно, когда он изображал ей рыцарские чувства и дворянские горести старого феодального режима — «Фаворитку» какую-нибудь, Рауля де Нанжи, Рикардо в «Бале-маскараде»... Вы — новый человек. В вашем пении веет вихрь нового века, трепещет дух пролетариата, слышен глухой гром революции. Еще бы вам не нравилась «Крестьянская война»! Еще бы вам не удавался Фра Дольчино! А Леля Савицкая — артистка-барыня, артистка-аристократка. Вас сближают нейтральные силы: любовь к искусству, свобода сценической богемы, — и потому вы так долго не замечали, какие вы разные люди и какие разные артисты. Она живет в XVIII веке, а вы стремитесь опередить XX! Как же вы хотите, чтобы женщина XVIII века прониклась симпатиями и идеями Нордмана? Никто лучше Лели не споет «Voi che sapete»* Моцарта, величественную Донну Анну, пейзанку Алису Мейербера и даже благородную Валентину в «Гугенотах», но — «Бог свободы, освяти наши мечи»?! Как может она быть хороша в Маргарите Трентской, когда ей совсем не нужна грубая, пролетарская и мужицкая свобода, за которую та восстала? когда она не молилась Богу такой свободы и никогда, ни за что не согласилась бы поднять меч в защиту ее?! Нет, нет, нет, Берлога, не сердитесь на Лелю. Она и то делает для этой партии нечеловеческие усилия, чтобы быть приличною. Это геройство, это самопожертвование с ее стороны, а вы еще ворчите! Нельзя же требовать от человека, чтобы он заново родился или, как змея, вылез из своей старой шкуры, сверкая блестящею новою!

Видишь ли ты, друг мой: замечаю, что приписал сейчас Светлицкой целый моноложище, в котором действительно есть много ее слов, но, покуда писал, понапихались-таки сюда и мои собственные мысли, принявшие бытие и форму только теперь, но бродившие в голове давно-давно и часто-часто... Да! Светлицкая права! Леля — артистка-барыня,

* «Вы, кто знает» (*ит.*).

маркиза, аристократка, а я — артист-пролетарий, артист-босяк, поющее четвертое сословие, голосящий протест, вопящая революция. И всегда так было. Во всем. В искусстве, в жизни, в любви. Оттого, брат, должно быть, некогда и любовь наша с нею кратковременная так глупо и пшиком фейерверочным лопнула, — да, именно оттого, что —

любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

И вот, друг ты мой, — вспомнить хотя бы, — сходив в буфет за новою бутылкою бордо, — это давнее наше сожительство. Как оно дико и внезапно возникло, как бурно и коротко прошло, как легко, скучно — будто ненужный и праздным оказавшийся опыт какой-то — оборвалось и для обоих безвозвратно упало в бездну жизни!.. Когда мы с Лелею сошлись, была у нее спальня этакая бледно-голубая. Знаешь, как она умеет устроить, — большой, скромный и черт его дери сколько тысяч стоящий шик: самый, что ни есть, dernier cri * — дальше ни шагу! А я и тогда уже бессонницам был подвержен. И вот — бывало — зажгу я электричество, усядусь в кресла подле кровати, сижу и гляжу, как Леля спит. И всякий раз кажется мне, бывало, что она — не простая человечина, как все мы, грешные, мясом, костями и кровью вылезшие из материнской утробы, а музейный мрамор какой-то, оживший, вроде Галатеи, что ли, или вот — как теперь о Ниобее в театрах фарс представляют. Хороша, как ангел, но есть в ней что-то чужое, чужое, чужое. И никогда не было так, чтобы я этого чужого не чувствовал, — даже в самые страстные минуты, даже в первые дикие восторги нашего медового месяца! Знаешь, она — вроде гомеровых богинь, которые отдавались пастухам и рожали от них Энеев всяких, но любовь их не делала ни пастухов богами, ни богинь пастушками. Когда остывало любопытство страсти, они оставались вкушать амброзию на Олимпе, а пастухи — грызть козий сыр и пасти свои стада в долинах земли. Что же мне скрываться? Любили меня женщины много, и я многих женщин любил. Чтобы уж очень, не скажу, потому что искусство всегда любил больше всех женщин в мире, и в жизнь свою не позволил ни одной женщине стать между мною и искусством. Но — ей-Богу — хорошо любил: весело, нежно, ласково. И со всеми, кого когда-либо любил, остался друг, и никто из них лихом меня не помянет, и я всем им тепло благодарен за прошлое, и все они живут в памяти, как родные. Нет — ближе и милее, чем родные: я все еще всех их люблю. Захар Кереметев — он циник, старый Улисс! — сострил както раз, что я — вроде султана: мой живой гарем — это само по себе, это — «на

* Последний крик (*моды; фр.*).

текущем счету»; но сверх того у меня в голове — будто бы — мысленный сераль отставных любовниц: нечто вроде богадельни отживших чувств, уволенных на пенсию благородной дружбы! Что же? Пожалуй, прав. Я ни с кем из прошлого не встречаюсь радостнее, чем с женщинами, любимыми когда-то, и никто мне не дорог более, чем они. И с Лелею, ты знаешь, у меня тоже хорошая дружба осталась. Даже больше и ближе, чем со всеми другими Только, — вот в этом Светлицкая опять права всегда в нашей дружбе чувствовался такой оттенок, будто Леля — большая, а я — маленький; она — взрослая и умная гувернантка, а я — талантливый, но дрянной мальчишка, сданный ей в опеку и на воспитание; она — высшая, а я — низший, она — правая и великодушно прощающая все мои глупые вины, а я — кругом пред нею виноватый И знаешь ли, так было всегда. Я не сомневаюсь, что Леля меня любила, быть может, любит более или менее еще и теперь. Но у всякой женщины есть своя манера любить, есть черта, которая управляет ею в любви и господствует над любовью Лелина любовь — это, — позволю себе так выразиться и надеюсь, что ты сумеешь меня понять, — какое-то повелительное наблюдение Она любит ужасно свысока. Однажды я попрекнул ее, шутя, что, когда она ласкает, то — будто Владимира на шею вешает и дворянскую грамоту жалует Она улыбнулась мне глазами, но — как будто с недоумением, и мне казалось, что она подумала: «А разве оно не так?» Она в мое время далеко не была еще тем бесстрастным и, как язвит Светлицкая, бесполым манекеном красавицы, как ее все знают теперь. Я имел в ней роскошную, пылкую любовницу. И все-таки она всегда «наблюдала». Я каждый день, каждую ночь в тысячах мелких черточек замечал, что рядом с увлечением страсти в ней живет какое-то тревожное, даже опасливое ко мне любопытство, пожалуй, не лишенное и оттенка некоторой, хотя и побежденной, брезгливости. Как — к существу бесконечно низшей породы. К полузверю, которому отдал ее, богиню, чувственный порыв, но который человекоподобен, безопасен и приятен только благодаря ее искусной дрессировке; а — чуть ослабить узду-укротительницу, — и зверь уже дик, грязен, противен и для нее, богини, унизителен. В ее хрустальных глазах я неизменно читал смутное выражение сомнений стыда, надежд страсти и недоверчивых страхов, с каким Доре изобразил в иллюстрациях к сказке «Красавица и зверь» царевну, выданную замуж за таинственное чудовище. Она удостаивала меня ревновать, но и ревность ее была высокомерна. Часто мне казалось, что вся ее ревность — просто — и не более! — проявление физической опрятности. Прости немножко мифологии: она ревновала меня, как нимфы, живущие с Паном, ревновали его, козлоногого полубога-полузверя, к козам и овцам диких пастбищ. Она не скрывала своих стремлений «поднять» меня на свой уровень, она меня воспитывала по своему идеалу, она меня пилила за мои скверные, плебейские манеры, она заставила меня бросить тужурку, косоворотку и картуз и выучила одеваться у хороших портных, она невозмутимо поправляла по двадцати раз на день

мои французские ошибки. Словом, работала надо мною, как Робинзон над Пятницею, чтобы сотворить человека по своему образу и подобию, и, как Робинзон же на Пятницу, — любя, смотрела на меня чрезвычайно сверху вниз. О, друг! Я не спорю, что она имела на то все права! Леля — удивительная, может быть, великая, единственная женщина. Я же, если отнять у меня мой талант, конечно, величина, не более чем в грош ценою. Но ты не испытал и представить себе не в состоянии, как нравственная зависимость от женщины и женская мягкая муштра могут оскорблять и раздражать. У нас чуть ли не все ссоры рождались из этого. И бывали моменты, когда я любил Лелю — почти ненавидя, мстительно, со злостью, когда мне доставляло скверное, но огромное удовольствие унижать ее, принадлежащую мне богиню, нарочно усиливая и подчеркивая именно те «зверские» стороны моего характера, которые были ей антипатичны. Я напускал на себя мужичество, неряшливость, циническое фразерство, глупо пил, знакомился с пошлейшими людьми, искал хамства и хвастался хамством. А она очень хорошо видела, что это значит: мужик-вахлак пробует контрдрессировать дворянскую дочь, — и на все мои выходки отвечала убийственно-кротким холодком своим, который у нее, когда она хочет, так и обвивает человека, так и пропитывает его насквозь презрением. И мне-то согнуть ее на свой салтык никогда не удавалось, а она меня гнула, гнула и гнула, как лозу. Да, Леля — патрицианка, и падение в объятия плебея не разучило ее ненавидеть и презирать плебейство. В одной ссоре, когда она держала себя особенно высокомерно, я, взбешенный, имел низость попрекнуть ее, что — мол, напрасно, сударыня, вы изволили надмеваться и аристократничать: отставной любовнице купца Хлебенного оно, пожалуй, и не к лицу. Леля побледнела, встала и ушла. Из дверей обернулась ко мне, смотрит прямо в глаза и говорит — знаешь, этою своею манерою спокойно вещать и чеканить слова, точно на морозе человека водою поливает, — говорит, как печатает:

— Силе Кузьмичу Хлебенному я принадлежала поневоле, как купленная вещь, но тебя, Андрей, я пробовала полюбить... ты это помни!

Ну... и помню!.. Мы вскоре после того расстались. И — собственно говоря, с тем я и остался от нее на всю жизнь, что она меня не любила, но только *пробовала полюбить* Как начальство пишет резолюцию на докладах о видах на неурожай: «Не весьма утешительно!» И единственный реванш мой — в том, что все же не она меня, а я первый ее бросил. И — представь себе! — я уверен, что именно тем я и сохранил себе ее дружбу и хоть сколько-нибудь восстановил для себя ее уважение. Потому что — это она сама мне впоследствии призналась:

— Пока мы были любовниками, я была к тебе очень привязана («любила» — так-таки и не захотела, брат, сказать... только это — врешь! любила, богиня, Андрея Берлогу — врешь, любила!) — я была к тебе очень привязана, но нисколько тебя не уважала... А бывали дни, что и презирала, Андрей! И тебя — как тебя, и себя — зачем я с тобою.

С характером дама, братец ты мой!.. Погоди: дай опрокинуть стаканчик бордо за ее здоровье!..

И вот, милый, хочу я изобразить тебе, как сумею, откуда закипает во мне эта моя шалая злость, когда я слышу, как Леля выводит ноты в Маргарите Трентской. Это — правильно Светлицкая мне растолковала — это у меня именно плебейское, мужицкое, атавизм от трудовой черни. Ну точь-в-точь как рабочая артель сваи бьет, а прохожий барин в перчатках вдруг суется: «Mes amis, comme c'est drôle*, дайте и мне потянуть за веревку!..» — «Отойди, барин, не господское тут дело, тебе оно — в шутку, а мы горбом берем!..» Не люблю, брат, я господ, хоть и сам в господа вышел, и господские капиталы загребаю, и господскую одежу носить от Елены Сергеевны обучен. Ничего с этим не поделаешь: органическое, не люблю. И больше всего не люблю, когда барин в мужика играть начинает и по-барски к небарским делам ручку прикладывает. Ну вот, например, взять: уж на что Лев Николаевич Толстой — гениальная голова, а мазанья печек и тачанья сапогов его я в свое время переварить не мог, — все равно как теперь не могу переварить, зачем он о рабочем вопросе отсебятину пишет, когда рабочего мира не знает. Уж это так заведено на Руси: где барин, там, будь он хоть семи пядей во лбу, там и отсебятина. А отсебятина — это дилетантизм. И если отсебятина гениальна, — это только гениальный дилетантизм: фейерверк семью саженями выше нормы, но такой же бесплодный пшик, как и всякий фейерверк. Ненавижу отсебятный дилетантизм Ненавижу дилетантские сапоги, хотя бы их шил Толстой, ненавижу дилетантские печки, хотя бы их мазал Толстой, особенно ненавижу дилетантское отношение к социальным вопросам, хотя бы дилетантствовал опять-таки сам Лев Николаевич Толстой. Потому что надо любить и знать, а в работе — знать — значит любить, а любить — значит знать. Отсебятный же дилетантизм работы не знает, не любит, он лишь упражняется в предвзятой диалектике о работе и самодовольно гимнастирует мыслью, как уверенный в своих мускулах цирковой Геркулес — пудовою гирею Отсебятина — холод, умничанье, ряженье, фальшь. Печка, свалянная по внушению отсебятины, не греет, сапог отсебятный не носится, отсебятно воображенный рабочий — не человек с плотью человечьей, а книжный призрак из Генри Джорджа. Не хочу печек и сапогов, скверно сделанных руками, способными хорошо писать «Воскресенье», не хочу рабочего, выдуманного умным барином-диалектиком по английским книжкам. Не хочу и — чтобы моя барыня Елена Сергеевна отсебятиною сочиняла Маргариту Трентскую, которой демократическое пламя ее не согревает, которой идей она в себе не носит, которой подвиг для нее не нужен, которой слава для нее непонятна, которой характер ей антипатичен. Не хочу в живом и страстном деле — формально

* Друзья мои, как это забавно (*фр.*).

умничающей, мертвой театральщины, ловко комбинирующей внешние «ситуации», торжествующей условными позами, жестами, гримасами, группами, рассудочными интонациями, рассчитанными нотами...

Я жить хочу,
Хочу волненья,
Хочу борьбы!..

Хочу жизни и правды жизни — заправских печек, заправских сапогов, заправских рабочих, заправскую Маргариту Трентскую. Да — черта с два! Хоти, пожалуй: где взять, когда нет?

А эту девицу Наседкину, рекомендуемую Светлицкою, надо, однако, очень и очень запомнить на всякий случай. Любопытная, брат, фигура: такой как будто еще не случалось встречать. Что голос у нее феноменальный, — это, конечно, дело превосходнейшее; но хороших голосов слыхивал я на своем веку немало, а вот — как она этим голосом своим удивительным вчера, на репетиции «Демона», сказала мне в дуэте:

Ты все понял, ты все знаешь
И сжалишься, конечно, ты...
Клянися мне от злых стяжаний
Отречься отныне... дай мне обет!..

Так, брат, сказала, такою трагедией всю эту глупую висковатовскую риторику наполнила, что у меня волосы на голове зашевелились, и я сам себя позабыл... И вдруг, брат, почудилось мне, что и в келье я монастырской, и ночь, и Казбек в окно виден... а ведь — даже без декораций репетировали: ни малейшей иллюзии... Опомнился — слышу: кой черт? Пою «Клятву» — полным голосом, со всею игрою... это я-то! на репетиции-то! Демона-то! Новость! Невидаль! Да так — доревел весь дуэт до конца... Оркестр хохочет, Рахе кисло ухмыляется, а Мешканов рад, прыгает, как чертик в банке:

— Вот это называется — забрало доброго русского молодца! вот это по-нашему— подъем!

Он чрезвычайно благоволит к этой нашей дебютантке и, что для Мешканова особенно удивительно, без всякого амурного пакостничества, столько ему свойственного. Госпожа Наседкина в жизни совсем нехороша собою, неинтересна и, на первый взгляд, даже не слишком симпатична. Но ты же Мешканова знаешь: у него, сатира, такое правило, чтобы без разбора бить сороку и ворону, — авось, мол, пошлет Бог когда-нибудь и ясного сокола. Ну так вот сей самый потаскун Мешканов, который — именно по поводу этой же толстомясой девицы — всего еще несколько дней тому назад импровизировал всякое циничное вранье и ржал, как стоялый жеребец,

с некоторого времени начал вдруг относиться к г-же Наседкиной с таким отличным уважением, точно она Вильгельмина, королева нидерландская. Понимаешь: Мешканов!!! Право, я даже не подозревал у него такого тона и не считал его способным! Ведь — театральный же гном он: копошась и кривляясь во мраке кулис, давно уже позабыл, как на белом свете настоящие люди между собой разговаривают! Подобной аттенции от него еще ни одна из наших театральных дам не удостоивалась, не исключая самой Елены Сергеевны, которой он больше боится, чем любит ее, которою больше артистически восхищается, чем ценит в ней ее великие добродетели. Над Мешкановым мужчины в труппе посмеиваются, но вчера он так рыкнул на Ваньку Фернандова, хоть бы и самому нашему Захару в пору, — знаешь, как орет Захар, когда имеет дело с человеком маленьким, рабочим и — он уверен, что безопасным? Злополучный Ванька так шаром и откатился. Но предо мною-то Мешканов, по обыкновению, на задних лапочках, и я прижал его в угол: кайся, старый грешник! рассказывай, нечестивый зубоскал! И — представь! — даже со мною серьезничает:

— Рассказывать, — говорит, — мне нечего, каяться не желаю, а только верьте моим словам, Андрей Викторович: ежели была на свете Орлеанская дева, Жанна д'Арк, так вот она — эта самая Елизавета Вадимовна Наседкина и есть — Орлеанская дева!

Я говорю:

— Орлеанская дева — это, Мартын, великолепно, но несколько двусмысленно. Ежели по Шиллеру, то хорошо, а ежели по Вольтеру, так оно — попахивает!

А он смотрит с укоризною:

— Эх, говорит, вы! Великий человек, а не умеете в женщине душу ее прочитать! И уж кому-кому, а вам-то всех бы меньше следовало над этою бедною Наседкиною издеваться... Ведь она на вас, как на икону какую-нибудь чудотворную, взирает! Только что Богу не молится!

Благодарю, не ожидал. Тем более что манера молиться на меня Богу у этой девицы — престранная. Намедни поймала она меня в коридоре один на один, смотрит мне в лицо своими серыми глазищами и вдруг заявляет, — очень ласково, но, знаешь, решительно и бесповоротно:

— Господин Берлога, я слышала, что вы в артистическом совете всегда очень много говорите за меня, и у дирекции я считаюсь состоящею под вашим специальным покровительством. Я чрезвычайно благодарна вам за ваше расположение, я понимаю, насколько ваша поддержка мне полезна, но все-таки очень прошу вас: прекратите это, не надо. Я безумно люблю искусство. Оно для меня — святыня. Я считаю, что достигать своего идеала человек обязан исключительно своими силами. Если его поддерживают да подсаживают — это уже компромисс, это не удовлетворяет. Я — человек мнительный: если вы или кто другой станет мне по-

кровительствовать, мне все будет казаться, что я только покровительством и делаю карьеру, а сама по себе ничего не стою и без покровительства гожусь разве в хор или на выхода — изображать наперсниц, дуэний и придворных дам. Сомнения отравят мне все счастье, все наслаждение, которое я нахожу в любимом труде. Так что — пожалуйста, оставьте меня одну идти своею дорогою.

Признаюсь, я был страшно удивлен. Во-первых, эту пухлую и сонную девицу ославили у нас в театре дурою, и вдруг — ослица Валаамова возглаголела, да еще — как! Во-вторых, за весь мой театральный опыт — первый случай, чтобы дебютантка отказывалась от моего покровительства! В-третьих, этот наивный энтузиазм, эта вера в святыню искусства, эта готовность надорваться в одиноком служении своему богу, эта гордая жажда самостоятельности... знаешь, я был глубоко тронут!

— Но, милая барышня, — говорю я, — вы несправедливы и деспотичны даже, позвольте вам заметить. Вы не хотите оставить мне права критики? Ведь — если я поддерживаю вас в совете, то, значит, нахожу вас достойною поддержки. Все знают, что я на протекции суров, терпеть не могу ничьих протеже и очень редко имею собственных, в искусстве для меня не существуют ни родня, ни приятель, ни любовница...

А она мне на это — со стальным этаким, острым, жестким блеском в глазах:

—Это неправда. Вы солгали. Стыдно. Вы такой большой. Вам стыдно лгать.

Я остолбенел несколько. А она знай твердит свое:

— Если бы вы были такой, как хвалитесь, вы не позволили бы Настасье Николаевне оставаться на сцене... Она у вас прелестная, очаровательная, и я не удивляюсь, что вы ее любите больше искусства...

Это я-то, понимаешь ли, люблю Настасью больше искусства! Я! Ну-ну!.. А Наседкина жучит меня, жучит:

— Но ведь не можете же вы не понимать, что у нее нет никаких прав быть оперною артисткою? Вы вон никогда и в театр не приходите, когда она поет. И сами с нею никогда не поете. А как же вам не стыдно заставлять других артистов петь с нею? Как вам не стыдно заставлять публику слушать за деньги певицу, которой вы не хотите слушать даром? Нет, нет. Не знаю, как друзей и приятелей, но женщин своих вы на сцену проводите. И это — тоже одна из причин, почему я прошу вас освободить меня от вашего покровительства. В чистоту побуждений за кулисами не верят, а прослыть вашею любовницею — мне совсем не льстит, и я не хочу...

Друг мой! Клянусь тебе: по крайней мере, двадцать лет не получал я от женщин подобного реприманда* неожиданного! И — смотрю я на нее: добро

* Выговора (*фр.*).

бы Венера или Психея какая-нибудь этак меня шельмовала, а то ведь только что глаза недурны, а в остальном — зауряднейшая булка придворного пекаря Филиппова. И вся горит негодованием, чуть не презрением... И, конечно, насчет Настасьи она совершенно права: пора оборвать эту бесхарактерную канитель, — какая, к черту, Настасья артистка? Терпит ее публика — словно мне взятку дает. Но права не права, а, чтобы меня отчитывали, как гимназиста, этого я не люблю. Принял на себя холодный вид и отвечаю:

— Хорошо-с, — как вам будет угодно. Исполню ваше желание и в совете более говорить за вас не буду. Но не боитесь ли вы, что таким образом пострадают ваши интересы?

— О! — говорит, — в совете есть кому постоять за меня: я ученица Александры Викентьевны Светлицкой, и, следовательно, защитить мои интересы — это ее право и обязанность...

— Ну, Елизавета Вадимовна, позвольте откровенно сказать вам: Александра Викентьевна в совете ровно ничего не значит, директриса всегда и во всем против ее мнений, в репертуаре она — нуль, ее защита скорее повредит вам, чем поможет. Если у вас нет в совете опоры более солидной, то поверьте: вы застрянете именно на придворных дамах, Инесах, Анитах, Мартах...

— Что делать? — отвечает. — Я предпочитаю независимо работать в Инесах и Анитах, чем пробираться в Валентины и Виолетты по лесенке протекций. Мне — лишь бы оставаться в искусстве! Я не честолюбива. И Инеса, и Анита хорошие тоже необходимы, чтобы опера слагалась в стройный ансамбль и давала публике истинно-художественные впечатления. Поверьте, что если я хорошо помогу вам какою-нибудь Инесою или Анитою, то я буду так же довольна, как если бы пела Валентину или Виолетту...

Ах, брат! тут уж я напускной мрачности своей и не выдержал: так это она мило, просто и искренно доложила, такая это святая правда, до того — моя идея! Я сам себя всю жизнь так чувствую на сцене! Ничего я Наседкиной не сказал, а взял ее за обе ее мягкие лапки, крепко их пожал, поцеловал и с почтительнейшим поклоном отошел... И на душе у меня было хорошо, и в сердце радость: есть еще, значит, порох в нашей пороховнице, и не стоит искусство без новых искренних людей!. Да не иссякнут источники живой силы! Да любят любящие, да творят творящие!

Сейчас, сейчас... Извини, брат: это я не тебе написал, но ответил нечаянно Анастасии Прекрасной, которая, проснувшись, изумлена, что я жгу электричество, когда в окна глядит белый свет...

Ну насчет артистического совета Елизавета Вадимовна шалит: поддерживать ее я не перестану, надо только попросить Мешканова и Светлицкую, чтобы не выдавали меня и держали язык за зубами. Но про Жанну д'Арк Мешканов в своем роде прав. Действительно, когда Наседкина говорила, был в ней божественный огонь, священная самоот-

верженность этакая... Жаль только, что — при подобной психике восхитительной — физику-то наша Жанна д'Арк имеет все-таки, увы, не шиллеровскую, но — ни дать ни взять именно, как Pucelle d'Orieans *, вольтерова толстуха, плод любви бродячего монаха и трактирной служанки Посмотрим, посмотрим, что из нее выйдет. Давно уже никто в искусстве столько меня не интересовал!

Бордо мое допито, рука онемела от пера, а нервы успокоились: зеваю, хочу спать... Анастасия уверяет из спальни, что я не боюсь Бога и намерен кончить жизнь нищим, так как в прошлом месяце мы заплатили за электричество 32 рубля 80 копеек... Спасаю свою старость от сумы и посоха и ставлю точку. Прощай, брат милый. Будь здоров. Не забывай Пиши.

Твой Андрей Берлога

XI

В широко распахнутых дверях нарядной, но весьма хаотической уборной, — озаренный сзади ярким электрическим светом, огромный на пестром фоне развешанных по стенам юбок, верхом на венском стуле, как гусар на коне, — сидел белый, с мохнатыми крыльями, ангел. В правой руке он любовно держал стеклянную кружку с красным вином, в левой — дымилась папироса. Ангел курил, прихлебывал и деловито осведомлялся у стоявшего пред ним театрального рассыльного:

— Как жена?

Рассыльный, печальный желтый человек с тяжелым рубленым шрамом через бровь вверх по лбу, улыбался благодарно, с тою почтительною фамильярностью, которая в отношениях между слугами и господами всегда свидетельствует, что первые уважают и любят, а вторые — порядочные и добрые люди, и говорил сиплым басом:

— Супруге моей, Марья Павловна, последние сроки выходят. С часа на час ждем.

— Разродится — крестить зови. Кумовья будем.

---

* Орлеанская девственница (*фр.*).

— Без вас, Марья Павловна, не обойдемся! Разве возможно? Не оставьте милостью! В первый долг! Авось мы не хуже других.

Маша Юлович осушила свою кружку, передала ее рассыльному, вздохнула и изрекла:

— Крестникам моим, брат Матвей, числа нет. Своими детьми Бог не благословил, — так хоть чужих крещу. Страсть люблю крестить! У всех наших театральных крестила: у артистов, у музыкантов, у хористов, у капельдинеров... всесветная, друг, кума!

— Что у тебя, Маша, денег на этих твоих крестников должно выходить — помыслить ужасно! — подал из уборной реплику сдобный голос Настасьи Николаевны Кругликовой.

Ангел пожал плечами, бросил папиросу на пол, кашлянул и плюнул.

— Деньги — тлен!

— А без денег — плен.

— Без денег люди живут, а вот без детей — скверно. Люблю эту публику, ничего мне для них, ребятишек гнусных, не жаль...

— Ну — уж!

— Изумляюсь я на тебя, Настасья, этакая ты молодая, красивая, здоровая, а детей не любишь и рожать не хочешь... Я бы на твоем месте — эх!

— Кто любит, оно, конечно, хорошо, но я к тому довольно равнодушна и очень благодарна Андрею Викторовичу, что не опутал меня такою жестокою обузою на жизнь.

— Не понимаю!.. И удивительное это дело! как оно — разное... Одна баба по детям тоскою исходит, зачем нет, а другая по акушеркам бегает, чтобы не было. Я теперь поуспокоилась, потому что годы мои не те, чтобы рожать: сорок стукнуло. Но лет десять назад просто с ума сходила, — жива быть не хочу, а рожу себе ребенка! По докторам ездила, по водам... ничего! Баба-неродиха! И откуда мне такая напасть вышла, никто

мне толком не изъяснил. Так — обозначается вроде наказания, что с мужчиньем проклятым много путалась!.. На битой дороге трава не растет!.. Любовников у меня, Настя, прямо тебе скажу, было — как огурцов в бочке, а детей — ни-ни-ни... Один доктор знаменитый тем и объяснял. Напрямки советовал мне остепенить себя: выходите, мол, замуж, проживите несколько лет в единомужии, — будут дети...

— Ты бы и вышла?

— Да! как же! А свобода-то?! Да еще пес его, доктора, знает: может быть, и врет... Свободу мужу отдашь, а детей не получишь... вот те и шиш! Опыт-то — больно решительный. Промахнуться — обида на всю жизнь.

— Начали, — прислушалась Настя к далекому глухому взрыву музыкальных звуков. — Ступай на место. Тебе скоро выходить...

— Успею: целый дуэт впереди... Ты что же здесь сидишь, дебютантку не слушаешь?

— А что мне? Не охотница я...

— Большой успех имеет, — серьезно сказала Юлович, — сказать правду, не запомню у нас такого. После третьего акта верхи совсем сбесились, да и весь театр ходуном заходил...

— Верхи и насадить можно, — сухо отозвалась Кругликова.

— Ну нет, насаженная публика этак не аплодирует. Столько хлопальщиков насадить — карман лопнет... Что грех на душу брать? Не по нутру мне девка эта, ужасно как не по нутру, — а хороша на сцене, надо к чести приписать, чрезвычайно это даже, насколько она хороша! Эх! Умная женщина Лелька, а дуру валяет. Попомни ты мое слово, Настасья: купила она себе черта за свои гроши, и в этой девице — погибель ее... Слышишь?

Она прищурилась и мигнула в сторону, откуда неслись глухие звуки сцены, вдруг сменившиеся еще более глухим рокотом рукоплесканий.

— Когда это бывало, чтобы публика аплодировала Тамаре за «Ночь тиха»?! Неслыханное дело, сударыня моя! Леля с Наседкиной — вроде хохла. Купил, знаешь, хохол шапку, чтобы люди на него дивились; надел шапку, да весь в нее и ушел; люди смотрят: шапка ходит, а хохла нет... съела хохла шапка! Ох-ох-ох! Не покупай слуги больше себя самой, Настасья! Это тебе мое верное слово: не покупай и не нанимай! Андрюшка твой тут тоже что-то уж слишком танцует и топчется... Смотри, Настасья! Настасья, смотри!

— А мне что? — равнодушно возразила красавица, павою выплывая из уборной. — Не она, так другая, не другая, так она... Мне теперь — главное дело: бенефис его с рук сбыть, а потом, пожалуй, хоть и прости-прощай — на все четыре стороны... Я, Маша, имею теперь такое намерение, чтобы мне в Петербург поехать. Дело мне там одно предлагают... ах! ты себе вообразить не в состоянии, — но самое золотое и приятное дело. Сама не заметишь, как можно в миллионщицы выйти, при умном своем расчете и твердом характере. Я бы и сейчас — с лапочками готова туда, но еще маленько недостает моего капиталу...

— Надеешься бенефисом добрать? — сухо перебила Юлович.

Анастасия Прекрасная согласно склонила мечтательную головку.

— Опять, значит, ограбишь город бенефисом-то? Шутка сказать: в прошлом году никак тридцать тысяч сняла с публики!

— Уж и тридцать! Всего двадцать семь... и то двух соток не достало!

— Газеты-то ругались-ругались, что Андрюшка с публики последнюю шкуру сдирает...

— А пускай! Что мы — на аркане, что ли, людей в театр тащим? У кого есть деньги и охота платить, — милости просим, а нет, — и не надо...

— Нехорошо, Настасья! Дорого эта жадность твоя Андрюшке обходится. Косится на него публика за цены. Выходит, что на словах он один, а на деле другой: вроде как бы на лицемерие похоже. Целый год он все со студентами да курсистками о народе толкует и сам чуть не в босяках слывет, а — подошел бенефис, и — здравствуйте! — в театре нет места дешевле трех рублей.

Настя спокойно возразила:

— Я на нынешний бенефис хочу с пяти начать.

— Ошалела?!

— Ничего не ошалела, но — как чует мое сердце, что это в остатний раз, должна я или нет о себе позаботиться, чтобы свою жизнь обеспечить? Я, Маша, в обыкновенные Андрюшины дела не мешаюсь. Я даже, можно сказать, изо дня в день страдаю, глядя, сколько капитала пропадает в нем без пользы. Если бы он меня слушался да в руки мои отдался, я бы его давным-давно вывела в миллионеры. Впятеро бы больше нынешнего получал! Ну не хочет, прицепился к своей Елене Сергеевне с Морицем Раймондовичем, любы ему его студентики да шлепохвостые девчонки, — его глупая воля: сиди на голодном пайке!

— Хорош голодный паек: три тысячи в месяц!

Настя с досадою и азартом замахала руками:

— А Баттистини берет тысячу за вечер, а Саммарко — тысячу двести, а Титто Руфо — полторы... А что они перед Андрюшею? Нет, ты об этом со мною лучше не разговаривай и сердца во мне не вороши! Я на эту Андрюшкину распущенность денежную давно зажмурилась, чтобы злостью не исходить. Ничего не поделаешь, — так хоть не замечать! Глаза бы мои не видали! Хочешь быть дураком, батюшка, — ну и будь, будь, будь! Другие пряники едят, да еще и в мед их макают, а ты собственные пальчики полижи!.. Но бенефис — это уж, Машенька, дудочки! Бенефис — это мое! Так у нас и договорено, что бенефис — мое! И совсем не за что меня стыдить и не боюсь я никаких попреков: в своем добре я всегда права и вольна

им распоряжаться как хочу. Все свою цену имеет, Машенька. И — ежели теперь, скажем, бенефис может принести мне сорок тысяч рублей, то это совсем дурою надо быть, чтобы расценить его на тридцать! В прошлом году — ведь помню я — барышники трехрублевые билеты по десяти рублей продавали! Триста процентов слишком! Зачем же я буду такую прибыль упускать в чужие карманы? Я лучше сама половину против барышников возьму, — и публике легче, и мне хорошо...

Юлович строго погрозила ей толстым пальцем.

— Ох, ты, Настасья! А знаешь, что про тебя рассказывали в прошлом году?

— Что? — невинно вопросила красавица, слегка розовея и опустив ресницы на бирюзовые глаза.

— Да — будто барышники потому и драли так с публики по десяти-то целковых за билет, что ты им сама по семи рублей на дому продавала?!

Кругликова не успела ответить. Дверь со сцены распахнулась настежь, в коридор вихрем ворвались стоны оркестра и вопли голосов, а на пороге, подобно бешеному привидению, восстал Мешканов с дымящеюся лысиною, прыгающим по носу пенсне, с глазами тигра, и — лица на нем человеческого нет.

— Добрый Гений! — вопил он задушенным голосом, — Марья Павловна! Где вы? Добрый Гений! Черт! Где Добрый Гений?.. Марья Павловна!!! — всплеснул он руками на сконфуженную Юлович, — Марья Павловна!!! Да ведь это же бессовестно! Вы бы еще чаи распивать уселись! Не слышите вы, что ли? Ушей у вас нет?!

Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь за облака,
Я дам тебе все земное...
Все!.. Все!..
Люби меня! —

гремел на сцене Андрей Берлога.

— О, пес! — громко выругалась Юлович, поспешно вскочив со стула и оправляя ладонями белые складки своего ангельского балахона. — Что же ты раньше-то молчал?.. Матвей!

— Служу, Марья Павловна!

— Влаги!!!

Она, не глядя, протянула руку, и в руке, словно магическим фокусом каким, очутилась новая кружка с красным вином, которую Мария Павловна и не замедлила опрокинуть в себя залпом...

— Кха!

— Маррррья Павловна!!! — неистовствовал и топал ногами Мешканов.

Но она уже мчалась мимо него, как снеговая лавина, тяжело качая белыми крыльями и подобрав подол райского балахона.

— Лечу, лечу, лечу...

И — чуть не в ту же секунду — уже на сцене, грянул широкою вибрацией ее мощный mezzo-soprano:

— Исчезни, дух сомненья!

И слился с ответным воплем Тамары и львиным рыканием Берлоги:

— Здесь власть моя!

Мешканов только руками развел!

— Ну не угодно ли?! Ведь прямо бомбою в вступление вкатилась! Еще секунда, и все бы — насмарку! Безобразие! А Елена Сергеевна не велит штрафовать!.. Андрюша-то! Андрюша что сегодня разделывает! Господи! Вот разошелся! Прямо — лев! тигр бенгальский!

Ее отдать я не могу...
Она моя!.. Она моя!.. —

заполняли театр страстные, буйные звуки, заставляя пламенеть женщин, мурашками восторга охватывая мужчин... И рыдала в райке взволнованная, потрясенная молодежь, и диким,

раздирающим проклятиям полубезумного, бледного, в треплющихся по лбу, потных, развитых космах-змеях Демона уже отвечали в партере истерические взвизги нарядных дам... Даже ко всему прислушавшиеся на своем веку рецензенты, из коих один сам про себя говорил:

— Ну какой я, к черту, теперь судья артистам? У меня за двадцать лет, что я в опере сижу, музыкою мозоли в ушах набило ..

Даже рецензенты проснулись на своих покойных креслах, зашевелились и переглядывались с почтительным изумлением: никогда еще не пел так Демона Андрей Берлога!

* * *

Елена Сергеевна вышла из директорской ложи на осторожный, почтительно вызывающий стук, — сразу слышно, что служебных пальцев.

— Что вы, Риммер?

— Виноват, Елена Сергеевна, в кассе много спрашивают, когда и в чем опять поют г-жа Наседкина. Как прикажете отвечать?

Елена Сергеевна неприятно замялась.

— Я не знаю... Мы не условились...

И — так как по умному, безобразному лицу управляющего скользнула тень упрека: ну можно ли, мол, было не условиться?! — она прибавила, будто оправдываясь:

— Кто же ожидал?!

— Огромнейший успех, — значительно и веско произнес Риммер, глядя прямо в лицо директрисы непроницаемыми, деловитыми глазами.

— Подождите до конца спектакля, — возразила она, не отвечая. — Спросим.

— Будет поздно, Елена Сергеевна. По моему расчету, мы уже рублей на триста публики отослали ни с чем. Чрезвычайно большой успех.

Елена Сергеевна нетерпеливо отвернулась и сошла по узкому, темному коридору в режиссерскую.

— Ну, — что же делать? Извините. Промахнулась. Мой убыток.

Управляющий следовал за нею по пятам.

— Я буду говорить, что в «Тангейзере». Опера на репертуаре и партия для г-жи Наседкиной подходящая. Позвольте говорить, что в «Тангейзере»? Венеру? Елизавету? Как прикажете?

— А если она не поет?

— Тогда — дело обычное: велим Вальтеру фон Фогельвейде, сиречь Ваньке Фернандову, заболеть, «Тангейзера» отменим по внезапной его болезни, а поставим ту оперу, которую г-жа Наседкина соизволит выбрать для второго дебюта...

Елена Сергеевна задумалась.

— Нет, нет, лучше подождите.

— Как угодно... Теряем...

— Нет, нет... Да — вы слышите? Уже апофеоз... Сейчас конец. Несколько минут не сделают разницы.

— Положим, Елена Сергеевна, что очень сделают: публика теперь бросится к шубам, а не в кассу.

— Все равно.

— Слушаю.

Елена Сергеевна замедлила шаг.

— Риммер!

— Я-с.

— А на «Роберта» хорошо берут?

Риммер промолчал. Директриса повторила вопрос.

— Бе-рут, — протяжно сказал управляющий. — Конечно... Брать-то берут... Только — того: уж очень опера-то заиграна, Елена Сергеевна...

— Да... разумеется... — отрывисто бросила Елена Сергеевна ему в ответ и пошла вперед быстро-быстро.

— Вот еще тоже много спрашивают, — нагоняя, сообщал Риммер, — будет ли г-жа Наседкина занята в «Крестьянской войне»?

Елена Сергеевна сразу остановилась.

— Что такое?

— Интересуются, будет ли г-жа Наседкина петь Маргариту Трентскую?

— Но, кажется, в анонсах ясно объявлено, что Маргариту Трентскую пою я?

— Интересуются, — намерены ли чередоваться?

— Нет! — резко оборвала директриса. — Нет! Это уж слишком много... нет! Можете всем решительно говорить, что нет. Эта партия — моя, и ею делиться я ни с кем не желаю.

— Слушаю-с.

* * *

В режиссерской был шум и хохот. Среди толкотни артистов Андрей Берлога, закинув на руки полы темно-серого хитона, цепляясь за мебель черными крыльями, сверкая бриллиантовою звездою в волосах, присядкою плясал русскую и вопиял благим матом:

— Ура! ура! Победа! Наконец-то настоящая победа! Ух! Я счастлив, как ребенок! Вы поймите: это такой успех, такой решительный, созидающий успех! Ну, словом, господа, вот вам: она совсем забила меня в этом акте! честное слово, забила! публика слушала ее гораздо внимательнее, чем меня...

— Что же, однако, вам тому уж очень радоваться-то, Андрей Викторович? — внезапно подала голос Настя Кругликова.

Она сидела в сторонке, молчаливая, злая, надутая.

— А? Ты говоришь?

— Говорю, что совсем не вижу никакой причины, чтобы вам козлом скакать. Не очень повысились. По-русски это называется — из попов в дьяконы.

— А! Настасья! Что ты понимаешь!

— Не беспокойтесь: что надо, все понимаю... до капельки! — буркнула красавица и совсем уже надулась как мышь на крупу.

— Андрей Викторович! — вопил с порога запыхавшийся Мешканов. — Невозможно! Бессовестно! Публика неистовствует, я звоню на занавес, а вы изволите тут...

— К черту! Не желаю выходить... Выпускайте одну дебютантку!

— Помилуйте! Вас целым театром зовут, Марью Павловну тоже... Морица Раймондовича...

— К черту! Что вы, право, Мешканов? Старый театральный воробей, а обычаев не знаете! Когда дебютант имеет успех, его непременно выпускают на вызовы несколько раз solo...

— Хорошо. Я — мне что же? — я — пожалуй... Только вы все-таки приходите...

— Иду, иду...

Берлога поймал за пуговицу длиннобородого, Фаусту в первом акте подобного, Кереметева и принялся изливаться:

— Этакая же умница на сцене! этакая душка! Так тебя и поднимает, так и несет! Огонь! вихрь! сила! Я пел Демона со всеми нашими русскими знаменитостями, но даю тебе, Захар, честное слово: не только такой — даже подобной Тамары у меня еще не было...

— Лучше поздно, чем никогда, Андрюша! — раздался холодный, ровный голос Елены Сергеевны.

Никто и не заметил, как она вошла и очутилась на обычном своем директорском троне, за письменным столом. Берлогу сразу — точно водою из ушата облили.

— А? Елена... гм... да... — растерянно переминаясь, залепетал он.

А Кереметев поспешил стушеваться, бормоча про себя:

— Вот что я называю — влопаться!

— Андрррей Викторович! — грянул с порога свирепый, негодующий Мешканов.

Берлога обрадовался ему, как спасителю.

— Бегу!

— Сумасшедший! истинно сумасшедший! — проводила его Настя Кругликова.

В коридоре Мориц Раймондович Рахе отмахивался от Мешканова.

— Не пойду я больше... Довольно... Не Бетховен дирижировал — только один «Демон»... не весьма большой заслуга... Genug! *

— Там такой шум, — обратился он, входя в режиссерскую, к угрюмо сидящей жене.

— У нас тут Андрей Викторович накричал, пожалуй, не меньше, — подхватил Риммер.

— А! Риммер! Вы здесь! Кстати! Слушайте: печатайте завтра один анонс, что на своя второй дебют госпожа Наседкина имеет петь Брунгильда в «Валькирия» Вагнер...

Риммер скроил шутовскую гримасу.

— Ого!

Елена Сергеевна повернулась к мужу сердитым порывистым движением.

— Бог знает что! «Валькирия» у нас шла всего два раза в самом начале сезона...

Рахе пожал плечами.

— Мне заявлял Андрюша.

— Придется назначать лишние репетиции, мучить хор и оркестр...

— Was kann ich? ** Мне заявлял Андрюша.

— Андрюша... Андрюша... — с досадою повторила Савицкая. — Эта «Валькирия» еще не сделала ни одного полного сбора... Хорошо Андрюше заявлять... надо же и с кассою считаться!

---

* Довольно! (*нем.*)

** Что я могу? (*нем.*)

— Сбор-то, пожалуй, будет, Елена Сергеевна, — почтительно вмешался Риммер. — Публика г-жою Наседкиною очень заинтересована. Сбор будет.

Рахе кивнул головою, добыл свою вечную сигару и подтвердил:

— Jawohl! Ти не должен быть боязний: сбор будет.

Елена Сергеевна умолкла, с сердитыми глазами, с нервно вздрагивающею верхнею губою. Рахе посмотрел на жену внимательно, глубоко, понял, что в ней кипит большая буря, и попробовал смягчить положение.

— Я бы полагал, Елена, что в следующий «Демон» Тамару должен петь ти.

Елена Сергеевна встала с места таким резким движением, точно стрела сорвалась с тетивы.

— Нет, Мориц, я Тамары больше петь не буду.

Рахе запыхтел сигарою.

— Не есть остроумний... Ти желаешь, чтобы труппа и публикум думали, что ти испугалась на молодая конкурентка?

Савицкая мрачно задумалась.

— Хорошо, — решительно сказала она. — Ты прав. Повторим «Демона». Я буду петь. Только с Тунисовым, а не с Берлогою.

— Но-о-о-о?! Елена!!!

Савицкая остановила мужа, даже подъявшего к потолку изумленные длани с дымящеюся сигарою, повелительным, твердым жестом.

— Это мое решение. Непреклонное. Неизменное. Не беспокойся, пожалуйста. Берлоге оно будет только приятно. Ему не такая Тамара нужна. Сам только что сейчас здесь распространялся...

Рахе с досадою щипал бороденку, мотая головою.

— Ah! Worte, Worte, Worte! * Ты говоришь слова, в которые нет смысл и дело.

---

* Ах! Слова, слова, слова! (*нем.*)

— Я пою «Демона», но без Берлоги.

— Сбора не будет, Елена Сергеевна, — осмелился вставить слово Риммер и спохватился: директриса обратила к нему лицо, какого он не видал у нее за все тринадцать лет службы.

— Да?! Не будет сбора? При моем участии? Это вы — мне в глаза?!

Голос ее вырос до жестких, стальных каких-то звуков, лицо стало красно, и зубы открылись, и все тело напряглось враждебною энергией, как один взбудораженный мускул.

— Помилуйте, Елена Сергеевна...

Рахе бросил сигару и поспешил ему на помощь. Он слишком хорошо знал, что пламенные глаза и побелевшие губы Елены Сергеевны сулят проврався управляющему недоброе. Он знал, что вывести из себя Елену Сергеевну, при ее суровой самовыдержке, — почти чудо, — за всю совместную жизнь он видел жену в подобном состоянии не более трех-четырех раз. И это были важные и жуткие для нее моменты, — и, как всякий «прорвавшийся» человек, она была в них страшна, опасна, несправедлива — тем опаснее и страшнее, чем крепче сдерживала себя до того. Рахе взял жену за руки и заговорил быстро, спокойно, убедительно.

— Елена, Риммер есть совершенно справедливый. Он очень преданный, и ти напрасно крикаешь на верный тебе человек. Der Kerl hat Recht *. «Демон» есть опера, которую делает не сопрано, doch ** баритон, и ти не имеешь никакой повод, за что обижать себя на Риммер. Без Андрей Берлога «Демон» — пшик! Mit diesem Тунисов willst du sein ein vox clamantis in deserto? ***

---

* Карл прав (*нем.*).

** Все-таки (*нем.*).

*** С этим Тунисовым ты хочешь быть (*нем.*) гласом, вопиющим в пустыне? (*лат.*)

Елена Сергеевна, со злыми еще, но уже угасающими глазами повторяла:

— Я с Берлогою петь не стану! не стану! не стану!

— Елена!

— Если уж даже ты, Мориц, думаешь, что я — без помощи нашего великолепного Андрея Викторовича — не в состоянии привлекать публику...

Рахе в сердитом отчаянии схватился за голову.

— Ah! Dummheiten! Ich kann nicht erklären... * Не то, совсем не то...

— ...Тогда я не понимаю, зачем мне вообще оставаться артисткою в своем собственном театре? Это — значит: и я все свои песни спела, и моя песня спета...

— Ты раздражена, у тебя нервы, ты не хочешь меня слушать, ты не хочешь меня понимать, ты желаешь сердиться и срывать свое сердце.

— Поверь, у меня достаточно самолюбия, чтобы не довести себя до унижения быть в тягость собственному делу... Я не Светлицкая, Мориц, — я Елена Сергеевна Савицкая! Да!

— Ah! Wem sagst du?! **

— Тебе, милый мой друг и супруг, Мориц Раймондович, — тебе, мой учитель, ценитель, последнее мое слово, высший мой авторитет в музыке за эти тринадцать лет!.. Ах, Мориц! Мориц! Да что же это?! Тринадцать лет работать трудом египетским, отдать в искусство все, — честь, молодость, любовь, — всю жизнь... для чего? Чтобы — при появлении в театре первой же случайной девчонки с громким голосом — ближайшие твои друзья первые поспешили тебе объявить: ступай вон! ты стара! ты больше никуда не годишься, очисти место для молодой, отдай ей свои роли, а сама садись в кассу и продавай билеты на ее спектакли...

---

* А! Глупости! Я не могу объяснить... (*нем.*)

** Ах! Кому ты говоришь?! (*нем.*)

И она в новом отчаянии заломила руки над головою, как в смертной, истерической тоске. Рахе, красный, встревоженный, со слезами на глазах, бросился к ней и усадил ее на мягкий диван.

— Елена! молчи! Елена! ты не имеешь права так говорить! Ты будешь раскаивать себя, что оскорбляла нас! Я желаю тебе добра, Риммер желает добра, но ты не позволяешь говорить, не желаешь слушать... ты с ума сходительный!..

А дверь режиссерской раскрылась, как от вихря, и на пороге вырос красный, потный, лысый, торжествующий, радостный Мешканов.

— Елена Сергеевна! Елена Сергеевна! Пожалуйте! Зовут!

Риммер издали показал ему кулак. Рахе взглянул с испугом. Елена Сергеевна сразу преобразилась в свою обычную ледяную маску.

— Кто меня зовет? Куда зовут? — сухо возразила она, стараясь не глядеть на режиссера.

Мешканов сообразил, что влетел не ко времени, и спустил тон.

— Виноват... публика вас зовет, Елена Сергеевна... — смиренно сказал он, устремляя на директрису жалобно извиняющиеся, круглые глаза, — всем театром вопят... пожалуйте!

— Зачем это? Я не пела, слава Богу...

— Хотят благодарить вас за дебютантку...

— Много чести!

Рахе стал между нею и Мешкановым.

— Елена! не говори! Тебе сейчас не надо ничего говорить, — быстро шепнул он ей, — ничего не говори, чтобы не раскаиваться потом, Елена...

И, обратясь к Мешканову, уже громко и по-хозяйски распорядился вслух:

— Елена Сергеевна чувствует себя нездоровою и выйти не может...

— Maestro! Да ведь не уймутся: будут орать до утра... я уже два раза электричество гасил: не действует... еще хуже! Хо-хо-хо-хо! Барьер в оркестре ногами ломают!

— Выйдите вы и сделайте анонс. Елены Сергеевны в театре нет, — чувствуя себя нездоровою, она уехала до конца спектакля и выйти не может...

— Глупости! — вдруг вскрикнула Савицкая. — Чтобы завтра весь город кричал, будто я так огорчилась успехом Наседкиной, что слегла в постель от разлития желчи? Одна Санька Светлицкая чего наговорить постарается! Нет! Этого удовольствия я ей не доставлю! Нервы нервами, а дело делом! Я иду, Мешканов! Мориц, пойдем!

— Aber... при чем я?

— Вас, maestro, тоже ужасно как зовут, — заметил Мешканов, — но я уже не смел настаивать, потому что вы сказали, что довольно выходили... И Светлицкую зовут... как профессора. Прикажете выпустить?

— Конечно! О чем тут спрашивать? Неужели сами не могли догадаться?

И вот — затрещал гром воплей и плесков опьяненного восторгом, непустеющего зала, и брызнули на сцену яркие огни, и они стояли перед рампою, пред распахнувшимся занавесом: Берлога, Рахе, Светлицкая, Елена Сергеевна, Наседкина, Юлович... Публика бушевала и вопила:

— Савицкую! Браво! Спасибо! Савицкую!

А она, стиснув зубы, задыхалась от отвращения чувствовать свои руки в руках — она знала — двух своих злейших врагов и, мило улыбаясь публике и товарищам, думала и заботилась теперь лишь об одном, чтобы руки не были холодны, не дрожали и не выдали бы ее волнения ни торжествующей Наседкиной, ни еще более торжествующей Светлицкой. Дружеским и фамильярным жестом «матери театра» она вытолкнула вперед, к суфлерской будке обеих — дебютантку и ее учительницу. Публика ревела. Светлицкая утирала платком глаза... За-

навес упал. Берлога очутился около Елены Сергеевны и — благодарный, восторженный — нагнулся, чтобы поцеловать ее руку. Но губы его глупо и пусто чмокнули в воздухе...

— Не надо... Прощай, Андрюша!

XII

Эдгар Нордман переживал большие и неприятные волнения. Судьба его «Крестьянской войны», так хорошо было налаженная, повисла на волоске. После «Валькирии», в которой Наседкина-Брунгильда имела успех еще больший, чем Тамарою в «Демоне», Берлога пригласил молодого композитора к себе в уборную и, поспешно снимая с лица какаовым маслом грим Вотана, категорически потребовал, чтобы Нордман взял партию Маргариты Трентской от Елены Сергеевны и передал дебютантке. Нордман испугался, и бледно-желтые, висячие на лоб косицы его как будто еще выцвели и побледнели.

— Андрей Викторович, друг мой! Подумайте: разве возможно?!

— Возможно, если я предлагаю. И не только возможно: должно, нужно, необходимо.

— Андрей Викторович, знаете, я просто теряюсь...

— Э! Не от чего вам теряться! Вы не теряться должны, а радоваться. Вы — композитор. Вы не можете не слышать, что Наседкина в вашей опере будет в десять раз сильнее и ярче Савицкой. С нею успех «Крестьянской войны» обеспечен и застрахован как в хорошем банке. Ваша прямая выгода, чтобы пела Наседкина. Я забочусь не о ней, но о вас.

— Я очень понимаю ваше расположение, Андрей Викторович, и ценю, и глубоко благодарен, но — знаете — как же, знаете, с Еленою Сергеевною? Посудите сами: я, конечно, знаете, неопытен в театральных обычаях, но так, вообще, ужасно неловко, знаете... Елена Сергеевна работала над партией,

сделала целый ряд репетиций, и вдруг — чуть не накануне, знаете, первого представления — я отставлю ее от роли, как будто, знаете, не выдержавшую пробы дебютантку? Это неприлично, невозможно, неблагодарно и неблагородно, знаете, с моей стороны. Я не могу.

— А! Нордман! Кому вы говорите? Неужели вы воображаете, что я сам не знаю и не продумал вашего положения? У меня от мыслей о «Крестьянской войне» хроническая бессонница установилась, а за Лелю мне так больно и стыдно, что сердце раздирается... Но ничего не поделаешь. Что надо, — надо. Ваша опера — экзамен всей нашей деятельности. Мы были вправе рисковать успехом, пока не имели настоящей певицы для Маргариты Трентской, и приходилось довольствоваться Савицкою, как суррогатом, что ли: вместо хлеба лебеда и за неимением гербовой пишем на простой. Но теперь, когда в труппу вошла Наседкина, всякий риск — безумие, преступление. Если вы на нем настаиваете, вы не любите вашей оперы.

— Милый Андрей Викторович, но вспомните же, что — если бы не Елена Сергеевна, то «Крестьянская война», знаете, не нашла бы и театра для постановки, знаете... по крайней мере, в России! Савицкая так много для меня сделала и делает, я, знаете, обязан ей началом карьеры. И теперь — в ее собственном театре — такое оскорбление ее артистическому самолюбию... за что? Помилуйте! мне будет стыдно в глаза ей глядеть...

— Оставьте, пожалуйста! Вы будете в стороне. Я беру всю ответственность на себя. Вам не придется иметь неприятных объяснений. Вы останетесь с умытыми руками. Лишь предоставьте мне действовать. У Елены не будет даже повода обидеться. Ну... по крайней мере, явно обидеться, показать, что она оскорблена. Предоставьте мне! Я сделаю, что она сама откажется от партии. Я не интриган, подкопов вести не умею и не поведу ни за какие блага в мире. Но я заставлю ее наглядно убедиться, что она обязана передать партию, за-

ставлю открыто, прямою, честною конкуренцией другого таланта... От вас же попрошу лишь одной помощи. До сих пор «Крестьянская война» репетировалась в ординарном составе. Стало быть, если заболеет кто-нибудь из нас, исполнителей, то вот и — конец: спектакль сорван. Этак нельзя. Это и нам, и вам — убыток. Вы заявите дирекции, что желаете застраховать оперу от подобных случайностей и требуете двойного персонала. Пусть меня дублирует, на всякий случай, Тунисов, а Маргариту репетирует Наседкина...

— Тунисов — Фра Дольчино?! Вы смеетесь, Андрей Викторович. Он не вытянет. Ему не по силам.

— Пусть репетирует. Петь он не будет, но пусть репетирует. Я должен иметь за собою тот оправдательный факт, что я сам не стою за свою монополию на партию и разрешаю меня дублировать, — следовательно, вправе требовать того же отношения к делу и от других исполнителей... и от Елены!

— Андрей Викторович, это софистика! это, знаете, обход! И такой прозрачный, знаете, что никого не обманет.

— Ну и пусть софистика! черт с нею! Лишь бы конвенансы были соблюдены: нужна же мне какая-нибудь почва под ногами...

— Я, знаете, искренно говорю вам: от всего сердца, знаете, предпочел бы, знаете, чтобы вы оставили всю эту вашу затею, и пусть «Крестьянская война» идет, знаете, как уже срепетирована... с Еленою Сергеевною.

— В таком случае, — холодно и зло возразил хмурый Берлога, — будьте любезны передать мою партию Тунисову уже не фиктивно, но в самом деле. Я с Савицкою Фра Дольчино петь не буду.

— Андрей Викторович! Что это вы говорите?! Какой там Тунисов?! Вы слишком хорошо знаете, что опера без вас пойти не может, и я, автор, первый буду просить, чтобы ее отменили и сняли с репертуара.

— Ну и просите, отменяйте, снимайте: я с Савицкой петь не буду. Я слишком важное значение придаю вашей опере, чтобы играть ее судьбою. Пусть она лучше не идет вовсе, чем кое-как.

— Да ведь шла бы она «кое-как», если бы не отыскалось этой вашей Наседкиной?

— Что же нам считаться с «бы»? Давайте говорить в изъявительном наклонении, — пропади всякая неприятная условность и да здравствует счастливая действительность!

— И совсем, знаете, не «кое-как» опера идет. Вы напрасно, знаете, вдаетесь в пессимизм. Вы слишком предубеждены относительно Елены Сергеевны. Против того, что в этой партии можно быть ярче и сильнее, я возражать не смею, но во всяком случае Савицкая — вполне удовлетворительная Маргарита.

— Мне удовлетворительной мало, — сердито прервал Берлога, — мне нужна великолепная.

— И вы полагаете, что Наседкина будет великолепна?

— Уверен.

— Знаете, у нее, конечно, замечательные, роскошные, знаете, голосовые данные, но, знаете, ждать от артистки, которая всего лишь один месяц на сцене, и пела, знаете, не более пяти или шести спектаклей, чтобы она сразу создавала огромные драматические роли...

— Да вы ее сегодня в «Валькирии» Брунгильдою слушали? — крикнул Берлога.

— Слушал. Очень была хороша, знаете. Но Брунгильда, Тамара — это, знаете, возможно: тут имелись традиции и образцы. А моя опера, дурна ли она, хороша ли, знаете, но — совсем новая, никем не петая и не играная. Она требует самостоятельного творчества, ее нужно создавать без всяких прецедентов, примеров, тут нужна не хорошая копия, но оригинал. Это, знаете, ответственность нешуточная. Тут — вся моя судьба. Надо, знаете, очень верить в артистку, чтобы поручить ей свое детище так

наобум, как вы требуете... Наседкина слишком молода... У меня такой веры в нее нет.

— Ну а я вам на это скажу, что потому-то и добиваюсь я Наседкиной для Маргариты Трентской, что и в Тамаре, и в Валькирии она именно ни на минуту не была копией... Господи ты Боже мой! Знаю я этих Тамар штук пятьдесят, по крайней мере, и — кроме Наседкиной — хотя бы одна из них на шаг отступила, хотя бы интонацию новую нашла против рутины, которую еще первые исполнительницы установили... Павловская, Рааб, Верни... «дела давно минувших лет, преданья старины глубокой»! Словно граммофоны ходячие! Наша Леля пела и играла Тамару изящнее всех, — это что и говорить. Но только с Наседкиною я понял, что и Леля никуда не годилась, была не Тамарою, но лишь ангельской красоты барышнею, выряженною в грузинский костюм. Образованною барышнею, с чувствами, нервами, дневником, где-нибудь в шкафу спрятанным, с альбомом, с пианино, с моим портретом на письменном столе. А ведь эта чертовка — всю роль вверх дном перевернула! Вы вспомните: дикарка, красивый, ласковый, сильный, грациозный зверь, безграмотная, первобытная, добыча гарема или терема, глаза — одна животная красота без тени отвлеченной мысли, как на старинных иконописных грузинских портретах, — и вся, в каждом жесте, взгляде, трепещет ждущим темпераментом... Суеверная, сладострастная, здоровая, молодая... Такой Тамаре, понятное дело, в монастыре должны демоны грезиться, галлюцинации безумные всякие, мечтания непроизвольных озлоблений плоти и одоления страстей. Она — порченная от страсти, бессознательная истеричка, в которой пол бунтует против воздержания не по возрасту, — знаете, вроде Соломонии Бесноватой, о которой был написан первый русский роман. В ту тоже все черти влюблялись, покуда ее не отчитал какой-то угодник. Черт-то, являющийся в фимиаме, — для Тамары, как его Наседкина объяснила, — не абстракция в халате сером, не роман-

тическая идея ходячая, декламирующая хорошие стихи, но реальный, осязаемый любовник... желанный и неизбежный...

Шепчет он, говорит:
«Подожди, я приду...»
И я жду жду давно...
Кто б он был?

Вы вспомните! Ведь она это так говорила, что меня — Демона, ждущего за дверью, — и огонь опалил, и мороз по коже подрал. Я впервые всем нутром почувствовал, что Демон любит Тамару не только для словесного упражнения в отвлеченностях там всяких байронических, но хочет ее как женщину, ищет, чтобы она ему телом принадлежала, что он — влюбленный, страстный, грозный инкуб... Я понял этот поцелуй их ужасный и смерть ее... и все, что у Лермонтова было так ярко, ясно и страстно, даже под вуалью цензурною, а в опере стало изрядною чепухою. Да-с! Наседкина не только сама новые пути обрела, но и мне указала. А вы боитесь, что ее не достанет на самостоятельное творчество!..

— Пресса, однако, нашла, что Наседкина в Тамаре грубовата... — несмело возразил Нордман. — Пишут, будто она, знаете, сняла с образа Тамары всю идеализацию. Острят, что — «опростившаяся Тамара»...

Берлога сурово покосился на него.

— Пресса... Пресса... — пробормотал он. — Критика!.. Какая у нас, к черту, художественная критика? Кто? Где? Рутинер на рутинере, старые азы твердят. Мозги и нервы жирами заплыли. Им, гонорарным обжорам, до того лень думать об искусстве, что — ежели стул на сцене стоит слева, когда они привыкли, чтобы справа, так и это уже раздражает: почему? как смели? Нарушение порядка! Новаторство! Измена традициям! Один Шмуль Аухфиш кое-что смыслит... ну так он — молодчина! он за нас! Чем же вы смущаетесь?

— Я не смущаюсь, Андрей Викторович. Я, знаете, только напомнил вам, что Тамара Наседкиной не всем понравилась, как нам с вами, и знатокам показалась странною.

— А вы думаете, что вы всем понравитесь и никому не покажетесь странным? — грубо спросил Берлога. — А со мною разве легко примирились, что я новшествую и вношу в оперу начала реалистической драмы? Тоже, батюшка, ругани принял на свою голову не один ушат. Насмешки, издевательства — всего вдоволь было! Бросьте! Кто сразу на все вкусы угодил, это — верный залог умеренной и аккуратной пошлости... это — копии, фабрикаты, машинное производство на мелкого буржуа! Без странностей, угловатостей, без хаоса и риска в творчестве для нашего времени немыслимы ни настоящий талант, ни живая оригинальность... Таланты век выражают, а содержание века таково бурно и широко, что не упомещается в старых формах, рвет оно их, как бродящее вино, разбивает, опрокидывает. Я Бога благодарю, что Наседкина показалась знатокам нашим странною... это — благодать! Это лучшее доказательство, что она — не консерваторская кукла, заведенная по камертону и метроному от сих до сих, но — наш человек, живая душа... Нашего полку прибыло, Нордман! понимаете вы это? А вы, чудак-парень, чем бы торжествовать и радоваться, повесили нос на квинту и терзаетесь сомнениями. Бросьте. Я пред Лелею в гораздо худшем положении, чем вы. У нас крушением отношений, разрывом пахнет. Но, хотя бы и впрямь совсем полный разрыв между нами вышел, я не уступлю и на своем настою. У всякого человека есть свой бог, которым поступиться нельзя ни для друга, ни для жены, ни для отца, ни для родной матушки.

Идея моего бога — превратить искусство в могучую социальную силу, наполнить его демократическим протестом, сделать из него вопль угнетенных и восстающих, воплотить в звуки и волшебство сцены гнев, проклятия и борьбу против торжествующего насилия... Я хочу заставить оперу петь ту же песнь

безумству храбрых, которою звучит демократическая литература, живопись, скульптура, живое слово адвоката, статья публициста, лекция профессора. Пока я не встретил вас, Нордман, мне это счастье давалось только урывками — случайною, одиночною фразою Рубинштейна, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова... Вы принесли мне свою «Крестьянскую войну», и мой желанный мир открылся мне полностью — во всей своей ослепительной и грозной красоте. Я вижу мое небо, населенное дикими и страшными, но испуганными богами. Оно затянуто тучами, дрожит кровавыми зарницами, и с бешеным криком реет в нем буревестник, черной молнии подобный. Боги слышат, боги видят и трепещут. Когда я сегодня в «Валькирии» пел мудрого Вотана, который все предвидит божественным разумом, но ничего не в силах предотвратить, я все время думал о вас, Нордман. Вы — как Зигмунд: сын человеческий, во имя любви и жалости поднявший меч на Валгаллу, где пируют в беспощадном величии сверхэгоизма своего страшные боги... Я ненавижу богов, Нордман. Я весь — земля: бедная, прекрасная, страдающая, буйная земля. Непокорный Адам, которому сказано было — «земля еси и в землю отыдеши», живет во мне, ропщет и проклинает небо, осудившее его на пот и на волчцы, наказавшее человеческое наслаждение казнью матери в болезни родить чада. Рай, Валгалла, Олимп — называйте как хотите, — и всякое властное отражение их на земле подлежат разрушению. Вы читали «Сатану» Кардуччи? Вам следовало бы написать к нему музыку... Пусть Зигмунд пал от копья Вотана, пусть на титанов брошены Этна и Везувий и коршун клюет печень Прометея. За Зигмундом придет Зигфрид, а за Зигфридом будут «Сумерки богов». Измученный Адам сбросит оковы, прогонит богов, опрокинет божков, разобьет завоеванный рай на трудовые участки, и будет равенство — общее право, общая мораль, общая собственность в общем труде, как мечтал ваш герой, наш великий, наш милый, наш могучий Фра Дольчино...

Не бойся погибнуть! Смерть начало жизни!
Огонь очищает! Умрем, чтобы победить!
Из нашего пепла Феникс воскреснет
И к небу в пламени молний возлетит! —

запел он громовым голосом последний дуэт из «Крестьянской войны».

Кто-то не то в коридоре, не то в соседней уборной кашлянул и почтительно крикнул:

— Браво!

— Нас слышат, — встревожился Нордман, указывая глазами на дверь. — Вы бы, Андрей Викторович, знаете, поосторожнее.

— Э! Что мне? Все равно! Да это — наверное, Мешканов. Он всегда последний из театра уходит: профессиональное режиссерское самолюбие особого рода... Им не смущайтесь: свой человек... Впрочем, отворите дверь, загляните, кто...

— Нет, это — Фернандов, — отвечал композитор, глядя в коридор. — Он уже ушел и дверью хлопнул. Я его сзади узнал, — по котиковой шапке, она у него такая лысая.

— Ванька Фернандов?.. Оставьте дверь открытою, Нордман... В уборных уже пусто, и так вернее, что нас никто не подслушает... Так вы говорите: Ванька Фернандов?

Берлога сделал гримасу.

— Ну это не столь приятно. Значит, сегодня Машенька Юлович будет от слова до слова знать, о чем мы с вами, запершись, разговаривали. А что Машенька Юлович знает сегодня, о том Елена Сергеевна Савицкая столь же обстоятельно осведомляется завтра. Машка по натуре не передатчица, не сплетница, — сохрани меня Бог! Напротив! Но она благоговеет пред Еленою, а у той талант необычайный — выкачивать ее до дна души, как насосом каким-нибудь колодезным. Да еще если Марье покажется, что Елену обижают, против Елены злоумышляют... встанет на дыбы! Но — все равно! Нордман!

Я вам говорю: все равно! Пусть все знают! все слышат! Я прилепился душою к вашей опере. Пусть завтра мне из-за нее придется поссориться со всеми своими друзьями, разрушить дело, зачеркнуть все свои создания за тринадцать лет, — мне все равно! «Ее отдать я не могу! Она моя! Она моя!» Вы отдали мне ее и уж позвольте, чтобы она была всецело моею. Нордман! Знаете ли вы, понимаете ли вы, милый мой мальчик, великий композитор... да! да! не трясите головою: у вас великий талант и — куда вы с ним поедете, где остановитесь — даже пророком быть страшно... Понимаете ли вы, Нордман, что это за штука такая — вот эта самая так называемая опера, по-нынешнему музыкальная драма, которую вы пишете?

Один старый журналист говорил мне, что, когда он ребенком в первый раз был приведен в оперу, ему показалось, будто это — обедня. Опера — строгий, ответственный чин, Нордман. Весь театр, этот дом о трех стенах, есть житейская фальшь, условность, с которою мириться надо — по симпатии, вопреки рассудку и назло логике. А опера — из фальшей фальшь, из условностей условность. В веке реалистических проверок и переоценок ей, казалось бы, лопнуть надо, обанкротиться и умереть за ненадобностью. А она живет. И не только живет — развивается. Вагнер покорил себе мир, и музыка будущего стала музыкою настоящего. Цивилизация выучилась или учится мыслить о жизни оперною музыкою. У нас были Чайковский, Мусоргский, Бородин, жив Римский-Корсаков. У итальянцев — Верди кончил жизнь «веристом», и хотя современные веристы довольно бездарны, но принципиально они стоят на хорошей дороге, и вся беда у них — в отсутствии настоящей идейной смелости. Уж на что антимузыкальный народ французы, и те обзавелись композиторами-мыслителями: Сен-Санс, Массне, Брюно, Шарпантье, Дебюсси. Про немцев нечего и говорить. Они, с Моцарта, жизни и философии с музыкою не разлучали. Теперь у них там Рихард Штраус явился: Фридриха Ницше в оркестр проводит! Я, даже я, искатель новизны и поклонник всякого новатор-

ства, улыбался прежде, — странным мне казалось... до вас улыбался, Нордман! До вашей оперы, к которой вдохновение дал вам Каутский и которой не могло быть раньше — в веке, не знавшем Лассалей, Марксов, Каутских, Бебелей, в веке, не пропитанном теорией и энергией социальной борьбы... Да! Чем бы умереть, опера живет и развивается, растет. И в ее великой фальши, Нордман, спит великая правда, бессмертная и потому не дающая ей умереть. Опера бессмертна, Нордман, потому что в человечестве бессмертен пафос. Опера — пафос. В ней все — «в высшей степени», и тогда только хороша опера, когда она во всех своих средствах поднимается на «высшую степень». Вы читали Вагнера? Старик понимал свое дело. Когда сливаются высшая красота и экспрессия звука с высшею красотою и экспрессией жеста, мимики, пластики; когда живопись, скульптура и архитектура вступают в равноправный союз с музыкою и окружают певца и актера обстановкою всемогущих, ободряющих вдохновений; когда история и археология проверяют внешность легенд, которые мы рассказываем публике; когда дух времени бурею дышит в наших голосах, в порывистом визге скрипок и стоне тромбона, — вот когда начинается для театра та музыкальная драма, которой человеку не грех посвятить свою деятельность, опера, которая есть не праздная забава, но общественная работа — могучий и возвышающий просветительный труд. Опера — гармония всех искусств, объединение всех форм красоты, согласие всех средств художественного пафоса. Мориц Рахе и Елена Савицкая на этот счет тех же мнений, что и я. Тринадцать лет назад сложился наш артистический союз и держал свое знамя высоко, строго. Вы слышали у нас Глинку, Моцарта, Вагнера, Чайковского, Бизе, Римского-Корсакова. Лучше сделать, может быть, и возможно, но никто еще не делал, — наш рекорд самый высокий и до сих пор нигде никем не побит. Но эта музыка, почти вся, — их музыка, их — классиков и романтиков: Морица и Елены Сергеевны. Я в ней был пассивная, служебная сила, — род необходи-

мой голосовой декорации. Вы, дорогой мой Нордман, ты — милый мой, неоцененный, великий ты, дикий ты, глупый ты, гениальный ты, восхитительный ты человек! — принес мне мою музыку, мою оперу, ты мне объяснил, зачем и почему я певец.. Ну и баста! Если так, если уж повезло мне счастье, то не выпущу я его из рук. Я считаю себя вправе и хочу им распорядиться. Слушай! Я хочу, чтобы ты был велик, — и — рвись моя жизнь, моя душа, моя любовь, мои дружбы! Все — под ноги тебе и твоему творению! Ты должен быть велик! Твоя идея должна встать и выплыть пред публикой, как победоносная, грохочущая колесница, без единого диссонанса в ее торжественном ходе, без скрипучих рессор, без лопающихся пружин... Леля — великая артистка, но не для нас! Она должна понять, должна!.. Она — артистка — и поймет!.. А если не поймет, значит, я ошибался в ней всю жизнь, значит, образцовую музыкальную машину, карильон бесподобный, принимал за человека, за живую душу, во всеоружии ума и таланта... О, черт возьми! Да мало ли наконец я в угоду ей перепел в свое время всяких там Фигаро, Ренато, Риголетто и прочего ее «искусства для искусства»? Я достаточно делал, как она хотела, — «по ее». Теперь я хочу делать свое по-своему. И сделаю. Сделаю! Сделаю! Сделаю! Или вовсе не хочу делать... Пусть вам Тунисов поет Фра Дольчино! Черт! Дьявол! Кто угодно! Или давайте мне настоящую Маргариту Трентскую, или я не пою вовсе. Мне нужен пафос, равный моему! Мне нужен огонь, отвечающий огню, борение пламени с пламенем! Поймите же, Нордман: он жив, он здесь, в моей груди, он вошел в меня, ваш Фра Дольчино, — я чувствую себя им... И вы хотите, чтобы Фра Дольчино принял за Маргариту Трентскую — Лелю Савицкую? принцессу за революционерку? изнеженную, избалованную, повелительную барыню за женщину окопов и баррикад? Да — перестаньте же, Нордман! Нельзя так! Вы хотите погубить и себя, и меня, и ее... Одно из двух: или опера ваша мое дело, или — только маскарад, костюмированный вечер с пени-

ем под хороший оркестр. Оперу делать готов и счастлив всею душою! Маскарады — слуга покорный! устраивайте сами!..

XIII

— Я вас понимаю, Андрей Викторович, — говорил под унылыми косицами своими Нордман, бледный, смущенный, страдающий, — я понимаю... я чувствую... я благодарю... И... и мне, знаете, нечего вам возразить... Вы, знаете, принципиально совершенно правы... Но, знаете, существуют личные отношения... лично неловко, знаете... И потом, знаете, все-таки во мне таких смелых надежд нет на эту госпожу Наседкину, как вы приказываете... Я признаю за нею все достоинства, которые, знаете, вижу и слышу, но — все-таки... отнять, знаете, роль у знаменитой артистки, которую знает и любит вся Европа, чтобы отдать случайной дебютантке... Страшный риск, Андрей Викторович! На каких же данных?

Берлога смотрел на него в упор, значительно, сурово. Когда Нордман кончил свои бессвязные вопросы и в волнении умолк, кусая дрожащие губы, Берлога важно поднял палец, как вещающий жрец, и запел вполголоса:

Я сам страдал,
Я горе знал,
Я голод знал, я знал изгнанье...
Истерзан ум,
И сердце в тоске —
Ах, я пойму твои страданья!..

Помните «Миньону»? Помните Лотарио? Ну вот — потому-то я и верю в Наседкину для Маргариты Трентской, что она голод и холод знала... стало быть, голодных и холодных понимает! Черт возьми! Леля в жизнь свою на четверть часа не опоздала позавтракать, пообедать, кофе со сливками выпить,

а вы хотите, чтобы она вдохновлялась и публику вдохновляла образом женщины, которая почитала за редкое счастье есть дохлую кобылятину!.. О, черт возьми! Вашего Фра Дольчино батька в мастеровые мальчишкою отдал, — меня тоже! Вашего Фра Дольчино обвиняли, что он кошелек чей-то стянул, — ну а я нарочно топор у соседа украл, чтобы меня в полицию взяли и в тюрьму посадили: таково сладко было у сапожника, в мальчишках-то, голодать! Вашего Фра Дольчино монахи в аббатстве четками — по чем ни попадя — дули, а на мне места нет, где бы шпандырь не гулял! Эх!.. Вон — к нам в театр генерал Конфектов ходит. Поклонник! Каждый мой спектакль обязательно в первом ряду сидит, на четырнадцатом номере... А, — двадцать семь лет назад это было, — я к нему от хозяина послан был новые сапоги для верховой езды доставить. Он и тогда уже полковник был. Сел сапоги примеривать, я на коленках стою, пыхчу, натягиваю, — бес его знает, мозоль, что ли, ему обеспокоил... Так он — не то что обругать, даже и в зубы дать не удостоил, а просто носком этого самого сапога — как ткнет мне в подбородок... только зубы ляскнули! Дивно, как я языка не откусил... И камердинер его тут же стоял, докладывал ему что-то... И — оба, как будто ничего не случилось: ткнул между разговором безгласную тварь — и пошел дальше... Да если правду говорить, то и я тогда — ничего, обидою не вскипел и местью на всю жизнь не возгорелся. Что же? Все было в порядке вещей. В таких понятиях шпандырем настеган был, что от хорошего барина не стыдно... Он полковник, а я мальчишка: благодарим ваше высокоблагородие за науку! Стыд и гнев после пришли... Много лет после.

Зато уж и пришли! Зреленькие! Конфектов этот души во мне не чает... Весь кабинет у него моими портретами убран... Гляжу я на него иной раз, думаю: вот бы напомнить? Ведь и не подозревает, подлец, — да и где уж упомнить этакую проходящую ноту в жизни, как тычок в зубы сапожному мальчишке? А уж то-то сконфузил бы... Да не люблю я больно признавать-

ся... И тебе-то рассказал, потому что нам с тобою чиниться, брат, не приходится: одного поля ягоды, — я сапоги шил, ты в пастухах жил... Тоже, небось, колотушки-то на шкуру принимать случалось... Тело у нас с тобою стало ныне белое, а кость, брат, остается черная и горжусь тем, и люблю я свою черную кость, и не хочу ее белить...

Грубовата!.. — заговорил он, помолчав, — ну, конечно, не великосветская княжна с придворного маскарада, как господин дворцовый художник Зичи Тамару написал... Да ведь это чепуха — Демон и Тамара Зичи, две конфеты в розовой воде, для институток и сытой буржуазии выдуманы... Я по Кавказу путешествовал, — именно «Демона» ради, — и у пшавов был, и у хевсуров, Трусовское ущелье пешком прошел, источники Терека видел, в Сванетию ездил... видал настоящих-то горских княжон, лермонтовскую Тамару и Бэлу. Хороши чрезвычайно, а близко садиться — не рекомендую: чернушкою дух забивают и блоха с них скачет немилосердная. Ну и по части манер, знаешь, от наших девчат не далеко ушли: перстами сморкаются, рукавом утираются... Бросьте Нордман! с надушенною критикою считаться — добра не видать... Вон — нашего свет-Алексея Максимыча за его «Мальву» тоже критики упрекают: не могло, говорят, пахнуть от Мальвы синим морем, потому что она работница на рыбном промысле и, стало быть, от нее могло лишь вонять тухлою рыбою... Ишь, какие тонкие обонятели! Разнюхали! Как о рабочей женщине речь идет, — сразу все ее ароматы определили! А, небось, и в голову им не приходит понюхать, какими одеколонами благоухала княжна Бэла, когда ее Азаматка примчал к Печорину в тороках. А что княжны Тамары касается, то истинно я тебе скажу: такая у них там, в грузинских монастырях, по кельям душила, что всякого Демона отшибет с непривычки: мыться-то ведь сестрам не весьма благословляется, ибо чистота телесная есть угождение плоти... Эх, Нордман! Будь друг! Напиши оперу на «Мальву»!.. Выйдет это у тебя, — вот как вый-

дет, молодой ты черт! А мы разделаем... на совесть! С Наседкиною ли, с Машкою ли Юлович — обе уважат... Напиши! И «Гимн Сатане» напиши! Ты по-итальянски-то силен ли? На русском языке его нет... Я пробовал переводить, да не очень выходит: того... мудрено слишком, не дается, лаконичен он очень, Кардуччи, идол этакий... Да — погоди! Я тебе все-таки его доставлю: хорошо ли, нет ли, — понятие получишь. На строгости размера и на красотах не взыщи, — не поэт я, брат, а порыв, кажется, сохранил, и раскаты ритма чувствуются...

— Я буду очень рад, благодарю вас...

— Грубовата! — размышлял вслух Берлога, — у нас все так. Чуть человек жизнь гольем схватит да поставит во всеобщую улику, — сейчас правда всем режет глаза, и начинаются вздохи о «нас возвышающих обманах» и вожделения к художественным красивеньким лжам по привычному трафарету... Вон и про сегодняшнюю Валькирию, небось, напишут умники, что в новой Брунгильде не было видно «дочери богов». А на черта ли мне дочь богов? Наплевать на мифологию! Ты мне образ природы и символ жизни подай! Я в ней чувствовал буйный ветер ущелий, свист бури, полет дикой охоты, страшную мощь стихии, несущей в разнузданной свободе своей битву и смерть... Все эти «дочери богов» только на то и годятся, чтобы ходить гусиным шагом, величественно поднимать нос к колосникам и вращать глазами, точно колесами. А Наседкина мне первобытную женщину показала — ту германку, которая побивала легионеров римских, а не то — если поражение — детей перережет и сама на мужнин меч бросится. Она заставляет верить, что копье Валькирии неотразимо, что Брунгильда с Зигфридом в самом деле перебрасывались пудовыми камнями. Она мне показала зарю цивилизации, каменный и бронзовый века... Нет, вы счастливец, Нордман! Вам везет, как не знаю кому... Она будет страшна и велика в Маргарите Трентской!

Он нагнулся к лицу композитора и произнес тихо, глядя Нордману в глаза:

— Уж надо признаваться вам: не наобум говорю и не в предположениях одних. Третьего дня у Светлицкой пела она мне партию. Удивительно, отец родной! То есть — я вам скажу: совсем новым светом всю оперу облила... Конечно, тут Саньке Светлицкой надо большое спасибо сказать: возится она с Наседкиною паче родной матери, и та без критики и совета Александры Викентьевны не делает ни единой ноты. Но и это не худо: Светлицкая — большая фигура в искусстве. Ум хорошо, а два лучше — тем более, на первых ученических порах... Но было много и не от Светлицкой, своего. И свое-то меня и забирало. Негодования много в этой душе, Нордман. Нашего, мужицкого, рабочего негодования на фатум цивилизации, беспощадный и тяготящий. Многотерпеливого, медленного, но непреходящего. Она-таки простовата, госпожа Наседкина, и, может быть, даже совсем неумна, и это, что я сам нахваливаю-то в ней, может быть, у нее лишь бессознательное, непосредственное. Но тогда тем лучше для нас: это значит, что она с Маргаритою Трентскою чутьем слилась, нутром ее поняла, вдохновением ее на самом темном дне души творит и, как свою вторую натуру, создает, и на все ее духовные движения инстинктом отвечает... Я вам говорю: эта девка страдала и голодала. Я немножко проник в ее биографию. Она, батюшка, смолоду большой беды хватила, — с голодухи на пороге проституции была, а — черт ее знает? может быть, и за порог ступила! Если бы не повезло ей счастье встретиться с Светлицкою, то гнить бы ей где-нибудь в публичном доме. Этот ужас не забывается. Он в крови остается со всею ненавистью, которую порождает. Пойдемте завтра к Светлицкой. Мы заставим Наседкину петь ваш второй финал:

Красным пожаром день судный пылает,
В башнях зубчатых трепещут палачи...
Знамя, взвивайся! Народ, подымайся!
Бог свободы, освяти наши мечи!..

Она поднимет дыбом ваши мирно висящие, желтые волосы, она заставит вас кричать, стиснув кулаки, плакать горящими, полными крови, глазами... И потом это ее «do»! это изумительное, бесподобное, невероятное «do»!.. Нордман! Вы не имеете нравственного права уступать Маргариту Трентскую другой певице! Если вы оставите ее в руках Елены Сергеевны, вы не артист, вы не человек искусства, вы не мыслитель, вы не общественный деятель...

— И так как я совсем не желаю, чтобы господин Нордман был сразу уничтожен во всех своих достоинствах, то можешь быть спокоен, Андрюша: я отказываюсь от роли и передам ее твоей протеже...

Нордман схватился за свои злополучные косицы и, как сложенный перочинный ножик, согнулся пополам в кресле, на котором сидел, головою в колена, точно страус, пытающийся зарыть нос в песок, а Берлога вскочил и рванулся вперед, как бешеный вепрь. Он рассвирепел страшно... На пороге в широко распахнутой двери стояла в своей синей кофточке и шляпе Елена Сергеевна. Она казалась совсем спокойною, холодною, даже насмешливою на вид, — только ноздри у нее ходили сильным, задержанным дыханием, да глаза светились необычною, жестокою ясностью глубокого и презрительного гнева.

— Это что же такое? — хрипло, с удушьем выговорил Берлога, растирая ладонью нервно заболевшую грудь, — как прикажете понимать? За мною шпионят? Меня подслушивают, когда я говорю с друзьями?! Елена Сергеевна! Леля! Красиво! О, черт возьми! Проклятая сцена! Проклятый театр! До чего в нем может упасть самый порядочный человек!

— Я не подслушивала тебя, Андрей Викторович, — тихо возразила Савицкая. — Нет надобности тебя подслушивать. У тебя есть счастливая манера устраивать заговоры во все горло и говорить секреты на весь театр. Я шла не подслушивать, но именно предупредить тебя, что у стен бывают уши,

и нехорошо, чтобы о твоих планах и замыслах против меня я узнавала от других, а не от тебя самого.

— Ванька Фернандов?! — вспомнил Берлога и даже зубами скрипнул. — Скотина проклятая! Я ему завтра морду побью! Вы были правы, Нордман!..

— Все равно кто, — холодно возразила Савицкая. — Дело не в том. Я сидела в кассе, сводила с Риммером счета. Ко мне приходят и говорят, что Андрей Викторович Берлога затворился с Эдгаром Константиновичем Нордманом и кричит о каком-то coup d'état *, что ли... или как прикажете назвать? Я было не поверила: все-таки мой театр — мой дом, — неужели в моем собственном доме мой лучший друг и старый, постоянный сотрудник позволит себе строить на меня заговор какой-то? Пошла просто остановить и предупредить вас, что неловко так, не компрометируйте себя... Ну пошла — и пришла как раз к тому, чтобы услыхать ультиматум Андрея Викторовича... Спасибо, Андрюша, голубчик. А вы, Нордман, не конфузьтесь напрасно... Что же? Дело житейское. Дружба дружбою, служба службою. Забудьте во мне артистку и постарайтесь видеть только директрису театра. Я не угодила вам как певица, — что делать? Приложу старания, чтобы вы остались довольны мною как контрагентом...

— Елена Сергеевна! Клянусь вам... вот — при нем же, при Андрее Викторовиче... это — не моя идея! Мне, знаете, и в голову не приходило, знаете... И я повторяю Андрею Викторовичу, что говорил: я всем доволен, не вижу ничего слабого и требующего поправки и был бы, знаете, очень рад оставить все в порядке, как срепетировано, без всяких перемен и изменений...

— А Андрей Викторович, — оборвала Савицкая, не обращая внимания на беснующегося Берлогу, — Андрей Викторо-

* Государственном перевороте (*фр.*).

вич тоже повторит мне, что в таком случае он не поет Фра Дольчино, предпочитает снять оперу с репертуара, быть может, даже выходит из труппы... Мало ли где могут остановиться Андрюшины капризы и фантазии, когда его обуяет упрямство! Нет, благодарю, — слушать подобные комплименты в глаза я не привыкла и не намерена привыкать. Я предпочитаю проглотить обиду и сделать, как Андрей Викторович прикажут. Знаете, «чего моя нога хочет?»

— Называть убеждение упрямством и самодурством — самый легкий способ спора, Елена Сергеевна, — гневно отозвался Берлога. — Ты знаешь, что я настаиваю на передаче партии не по личным каким-либо расчетам и видам — и уж, конечно, меньше всего думаю оскорбить тебя и поступить тебе назло. Что же мне сто раз возвращаться на первое? Я объяснял тебе достаточно подробно, почему ты не должна петь Маргариту Трентскую. Ты смотришь на это, как на блажь мою, а для меня это — вопрос высшего порядка...

— Знаю! слышала! — презрительно остановила его Савицкая. — Политика в опере!.. Политика, зависящая от того, что у одной певицы верхнее «do» громче, чем у другой!.. Оставь, Андрей Викторович! здесь мы друг друга никак не поймем и сойтись не можем... Толкуй об этом, если нравится, с Санею Светлицкою, которая водит тебя за нос, поддакивая твоим социальным фантазиям и бредням... О Бог мой! Может же человек настолько потерять рассуждение, чтобы поверить, будто у Светлицкой, у Саньки Светлицкой есть политические убеждения, социальные симпатии и идеалы! Ах, не дергайся нетерпеливо! Я вовсе не собираюсь разубеждать тебя: не мое дело. Да и вообще совершенно напрасно сейчас спорить с тобою о госпоже Наседкиной. Ты влюблен и слеп, как все влюбленные.

— Здравствуйте! — с полною искренностью изумился и даже в пояс поклонился Берлога. — Только этого недоста-

вало! Ну, Елена Сергеевна, извини меня, — но от тебя я мог бы ждать чего-нибудь поумнее...

— Не обижайся, пожалуйста: оно совсем не так глупо, как ты думаешь. Я и не утверждаю, что ты влюблен в девицу Наседкину, как в девицу Наседкину, — пылаешь гимназическою страстью к ее толстому телу и оловянным глазам.

— Уж это — по-женски, Елена: глаза у нее совсем не оловянные.

— Я от своего пола, кажется, никогда и не отрекалась, — беру его со своими достоинствами и недостатками... по-моему, — оловянные, а тебе — как угодно... Ты вообразил, что она будет великим орудием твоих фантазий, ты в орудие своей мечты влюблен, — вот что я хотела сказать. Ну и Бог с тобою, Андрюша! Делай что хочешь, поступай как знаешь, но — в последний раз предупреждаю тебя: смотри — не ошибись!..

Она горько засмеялась, и это было странно и грубо в ней, никогда не улыбающейся.

— Политика, построенная на верхнем «do» певицы!.. Ах, Андрей Викторович! Неужели ты, энтузиаст, Дон Кихот комический, не замечаешь, в какой наивный ты попадешь просак?

— Ты, Леля, кажется, сама только что сказала, что говорить об этом излишне: мы друг друга не поймем.

— Да я не о политике твоей хочу говорить. Я в ней чужая. Мне до нее дела нет. Я не политический человек, я артистка и только артистка. Выше искусства для меня ничего не существует, а твоя политика — где-то там, внизу. Ну а как артистка — уж позволь мне: я могу иметь свое мнение и, быть может, более авторитетное, чем твое. Потому что ты — случайный самородок, а я — метод и школа...

— Твое при тебе и остается. Никто не отнимает.

— Политика на верхнем «do»! — опять засмеялась гневными, печальными нотами Елена Сергеевна. — Какой умный и прочный фундамент! Политика на верхнем «do»! Ну а если

она, твоя Наседкина, сорвется на этом своем знаменитом верхнем «do»? Что же тогда будет с твоею политикою?

Нордман, встревоженный, поднял голову и испуганными глазами смотрел на Берлогу.

— Она не сорвется. С чего ей срываться? — проворчал тот.

— С того, что у нее голос непоставленный, — холодно отвечала Савицкая. — Твоя Наседкина — я не спорю, — великолепный, стихийный материал, большая музыкальность, яркий темперамент, быть может, даже талант драматический. Из нее можно огромную артистическую величину выработать. Но твой новый друг, Александра Викентьевна Светлицкая, которая вертит всеми вами, как марионетками, — да! да! не воздымай очей к потолку и не пожимай плечами: это так, я все вижу, все понимаю! Я знаю, что говорю! — твоя Светлицкая слишком поторопилась доставить мне неприятность счастливой соперницы. Она вывела крышу на воздухе, без стен и фундамента. У Наседкиной — не школа, а призрак школы, подлог, обман, внешний, поверхностный лоск напоказ, а вглубь — нет ничего. Таким пением можно обманывать публику, но не нас, специалистов. Она сама не знает своих средств и не уверена заранее, как и что у нее выйдет. Она не прочна. Ее покуда выручает огромный голос и здоровая глотка, но в конце концов она кричит на авось, как горластая деревенская девка... вот что, милый мой Андрей Викторович! И не можешь ты этого не слышать.

— Но мне именно это в ней и нравится! — воскликнул Берлога. — Свобода, сила и непосредственность!

Савицкая возразила:

— До первой простуды, с хорошим насморком!.. Смотри, Андрей Викторович! И вы, Нордман! Мне как директрисе театра в конце концов не слишком важно «do» госпожи Наседкиной. Возьмет она его — отлично; не возьмет — ее печаль: она провалится, а на деле нашем это не отзовется. Только в газетах напишут, что странно, мол, зачем г-жа Савицкая поручила неопытной дебютантке партию, которая по всем правам принадлежит ей

самой, и сама Савицкая должна бы ее петь. Так что я ничем не рискую. Но вы, друзья мои, вы, которые строите на верхнем «do» Наседкиной чуть ли не целый политический переворот...

— Знаешь, Леля: довольно бы! — резким движением остановил ее Берлога. — Ты играешь словами и глумишься. На верхнем «do» Наседкиной никто никаких политических планов не строит, а что она в силах создать из Маргариты Трентской политический образ, — ты, я думаю, сама сознаешь. Остроты твои злобны, несправедливы и некстати. Как бы ты ни считала меня виноватым, глумления я не заслужил...

— Глумления ты не заслужил, но боюсь, что сожаления ты уже заслуживаешь, — тихо сказала Савицкая. — Я не сочувствую тебе в твоих политических экстазах, но я понимаю тебя, я вчуже люблю и ценю силу и красоту, с которою ты ищешь своей идеи в искусстве. Теперь ты воображаешь, что нашел. Твое счастье. Но — не ошибись! не обманись! Больно будет! Искренность — качество хорошее, но на ней умные и ловкие плуты ездят верхом, как на добром коне, и совсем не к тем красивым воздушным замкам, куда коню хочется... Ты нашел орудие, влюблен в орудие: берегись, не оказаться бы тебе чьим-нибудь орудием самому! И некрасивым орудием, Андрей! Верь мне — когда-нибудь ты прозреешь, оглядишься зрячими глазами, и станет тебе стыдно, и ты вспомнишь это мое слово...

— Это ты опять про Светлицкую? — сухо и нетерпеливо перебил Берлога. — По-женски, по-женски, Елена! И — это стыдно тебе и обидно мне: предполагать меня... меня! под влиянием какой-то Светлицкой... Я не ребенок, служу театру почти два десятка лет, Саньку Светлицкую знаю смолоду и вижу насквозь. Говорить с нею об искусстве — наслаждение, но запутать меня в театральную интригу — нет, нет! ты слишком обидного мнения о моих умственных способностях и нравственной опрятности! Я знаю старую интригантку и — не на таковского напала! Орудием Сани Светлицкой я не был и не буду никогда... Да и вообще, если в театральной своей карьере я бывал чьим-

нибудь орудием, если случалось бессознательно служить чьим-либо чужим целям, так только — уж позволь напрямик сказать — только твоим, друг Елена. И, следовательно, не тебе о бесхарактерности моей или о наивности и безволии, что ли, распространяться и не тебе меня ими попрекать.

Савицкая сидела бледная, с глубокими, яркими глазами.

— А вот эта жалоба твоя... — медленно начала она.

— Я не жалуюсь, я только констатирую факт.

— А вот эта жалоба твоя, — настойчиво повторила она, — разве не от Светлицкой?

— Причем Светлицкая? Она — если и говорила — голос толпы, не больше... Это все знают и все об этом говорят.

— Все? Даже все? Ах, Андрей, Андрей! Не дай Бог мне увидать тебя когда-нибудь так же опутанным и съеденным, как ты, слепой человек, меня съесть помогаешь!

— Ну, Леля, извини меня, но эти твои намеки и подозрения — уже театральщина. А театральщины я терпеть не могу. Ты знаешь. В твои счеты со Светлицкою я входить не намерен, они мне нимало не интересны и меня не касаются. Это — ваше, женское...

— Ах как много ты говоришь сегодня о женском и хвалишься тем, что ты мужчина!

— Наседкину я выбираю петь Маргариту потому, что она более подходит к партии и, следовательно, выгоднее нам в интересах дела, а ставить интересы дела выше личного самолюбия — этому я в твоей же школе выучился. И остается только удивляться, что других-то ты учила хорошо, а когда очередь сломать свое самолюбие дошла до тебя самой, ты не умеешь и не хочешь подчиниться очевидности, ревнуешь, злишься и делаешь мне несносные сцены...

Савицкая поднялась, гордая и мрачная, как Королева Ночи.

— Андрей Викторович, — сказала она резко и порывисто, — избавь меня от чужих, необдуманных и с ветра взятых

слов. Это все не твое. Не может быть твое. Если бы я не умела владеть собою и побеждать личное самолюбие ради дела, мы не вели бы этого разговора. Да! Если смотреть с личной точки зрения, моя обязанность сейчас — спасать себя и мой театр от узурпации, которую ты мне сослепа готовишь. Мне следовало бы поставить на карту все риски, которыми ты угрожаешь, закаменеть и на все твои крикливые претензии отвечать — нет! нет! нет! Потому что ты меня губишь. Ты не понимаешь, но ты меня губишь. Как артистку, как директрису, как друга, как женщину. Ты ставишь меня в отвратительное, унизительное положение, ты объявляешь мне начало моего конца... Не возражай! не возражай! Спроси свою совесть: она тебе доскажет, чего еще не объяснила Саня Светлицкая... Но я не в состоянии рисковать театром. Дело мне дороже. А я в таком капкане, что надо выбирать: либо мне быть, либо делу. Я не могу сказать: не хочу Наседкиной, — потому что ты связал с нею судьбу «Крестьянской войны». Я не могу отказаться от постановки «Крестьянской войны», потому что она — законное достояние нашего дела, нашей артистической программы, она нам нужна и нравственно, и материально, мы не имеем права уступить ее другому театру, это было бы нравственным самоубийством нашего дела. Я не могу сказать тебе: артист Берлога! слушайтесь дирекции и служите, как я того желаю, а иначе — ступайте вон... Потому что лишиться тебя, — значит разрушить театр, а он мне, поверь, Андрей, не доходами только дорог... Ты знаешь свою необходимость, Андрей, — и пользуешься ею. О! Тебя хорошо навели на ум, кто ты и что ты в театре, и какая у тебя власть... Я связана по рукам и по ногам, а ты лепечешь о самолюбии! Хорошо, Андрей! Хорошо! Сейчас я сломала свое самолюбие, как ты желал: я о пощаде тебя просила, а ты даже не понял, — я глаза тебе открыть хотела, я тебя на обрыве хотела удержать, в который ты и сам летишь, и нас всех тянешь... Хорошо! Ступай к своим новым друзьям! Работай

с ними, слушай их лесть, езди в их упряжке, воображая, будто везешь общественное дело, и — будь что будет. А меня в своей памяти зачеркни, как я тебя зачеркиваю... Служить будем вместе, но работать — врозь! Дороги разошлись... мы с тобою больше не товарищи.

XIV

Елизавета Вадимовна Наседкина, свежая, вся бархатная, грандиозная, величественно шествовала главною городскою улицею, счастливая любопытными и внимательными взглядами, которыми ее встречали и провожали прохожие господа и дамы, с удовольствием узнавая в ней ту молодую известность, о которой теперь так много шумит молодежь и пишут газеты. Елизавета Вадимовна была в том трансе успеха, когда человек даже хорошеет от счастья, — так ему везет. С утра, еще в постели, она прочитала три рецензии о Валькирии — каждая длиною по целому столбцу. Две совсем на «ура»; одна — Самуила Аухфиша — с легкими замечаниями, но столь почтительными, окутанными в такие комплиментарные формы, что впечатление получилось чуть ли не более радостное, чем от тех «ура» начистоту: сразу видно, что, уважая и надеясь, писал журналист, — в критических чернильницах подобный тон находится только для первостепенных и авторитетных артистов. Вышла Елизавета Вадимовна на улицу, — афишные столбы пестреют анонсами с ее именем, жирно напечатанным в красную строку, — не забывает обещания Мешканов, старается. В окнах эстампных магазинов — ее фотографии рядом с Савицкою, Берлогою, Яном Кубеликом, и перед ними — либо синий студенческий околыш, либо те барашковые шапочки, что возбуждают столько ненависти в Насте Кругликовой. Встречные прохожие глазеют, впиваются издали любопытными взглядами, оборачиваются и долго следят, с завистью: вот он, мол,

каков талант-то бывает вне сцены и запросто! Встретился обер-полицеймейстер Брыкаев — полковник бравости и усатости необыкновенной — и отсалютовал, как королеве. А всего полгода назад вышло у Наседкиной недоразумение с паспортом, — так этот же самый полковник заставил ее прождать два с половиной часа в вонючей своей приемной. Принял — руки не подал, не посадил, на ногах выдержал четверть часа, слушал ее, как Юпитер — травяную тлю, и во всем отказал огулом: на что был вправе, на что не вправе — по совокупности и без разбора. Отказал, как только полиция умеет отказывать: не желаю — и шабаш! И можете жаловаться хоть самому императору! Так что потом Светлицкая ездила поправлять дело — и устроила, как водится, в пять минут, ибо для громкого имени, дорогого парижского туалета, крупных бриллиантов в ушах, для жалованной кабинетской броши на груди, у обера сразу и время откуда ни взялось, и неподатливый закон очень вежливо и угодливо посторонился. Промчался на лихаче в резвых санках, вея по ветру патриаршею бородою, Захар Венедиктович Кереметев и ручкою послал Наседкиной на тротуаре столь дружеский и улыбающийся воздушный поцелуй, что певице еще веселее стало: уж если эта старая осторожная лиса так откровенно и льстиво заигрывает, значит, театральные фонды дебютантки стоят, выше чего и стоять нельзя! Офицер и нарядный бобровый господин в цилиндре долго шли за Наседкиною и, заметно желая быть услышанными, громко разговаривали о вчерашней опере. Наседкину хвалили. Наседкиною восторгались. Офицер клялся, что она ему нравится лучше Савицкой; штатский поддакивал, что Савицкая и молодая-то никогда так хороша не была, а теперь и сравнение обидно. В Наседкиной находили все: голос, игру, талант, вкус, даже красоту.

— Она не только на сцене, она и в жизни-то должна быть душка очаровательная! — с пафосом и все повышая голос, воскликнул офицер.

Это, пожалуй, было уже слишком навязчиво! Довольная, благодарная, смеясь в мыслях своих, Елизавета Вадимовна ускорила шаг и — чтобы отделаться от бесцеремонных меломанов — вошла в первый попавшийся французский магазин. Купила японскую куклу германского изделия, действительною стоимостью марки в полторы, но за которую с нее взяли шесть рублей. Это было тоже ново и приятно — так вот взять да и зайти в первый попавшийся магазин и ни с того ни с сего заплатить шесть рублей за первую приглянувшуюся вещь, не опасаясь, что тяжело для кармана и что комми будут подозрительно коситься на потертый костюм, дешевые калоши и старомодную шляпу. В зеркальных окнах Наседкина с наслаждением видела себя нарядною, в бархатной кофточке — «под Савицкую», в красивых бурых мехах какого-то американского зверя с мудреным названием, в дорогой шляпе. Она казалась себе и элегантною, и эффектною, и светилась счастьем — и в веселых серых глазах, которые теперь никто не назвал бы сонными, и сияли они умно, красиво и заманчиво, — и в сытом лице, разрумяненном ходьбою и морозом. Она возвращалась с прогулки домой, и опять-таки радостно заставляла ее улыбаться мысль, что вот — идет она в лучший отель города, а не в скверные меблированные комнаты на окраине. Где хозяйка привыкла отводить душу, пиля горемычную безденежную жилицу за вечно недоплаченный счет; где надо было умильно просить никогда не получающую на чай прислугу, чтобы подала сто лет не чищенный, обросший ярью-медянкою самовар. Где — за стеною справа тайная проститутка-одиночка каждую ночь принимала поющих, шумящих, ругающихся, дерущихся приказчиков, а слева — студенты зубрили вслух лекции либо пили водку и пиво и, громыхая стульями, до зари орали о политике. Где старый и почетный жилец номеров, херсонский помещик Дуболупенко не стеснялся приходить к молодой соседке в гости в халате на ночное белье и в туфлях на босую ногу, садился верхом на стул, курил, рассказы-

вал сальные анекдоты, от которых уши вяли, и вопрошал гнусавым басом:

— А колы-ж вы, жестока сусидка, примандруете до мене ночуваты?

А она была обязана смеяться, как на милую, остроумную шутку, и — Боже сохрани оборвать или тем более выгнать вон нахала, потому что, во-первых, третий месяц должна этому Дуболупенке двенадцать с полтиною и намерена занять еще три рубля, а во-вторых, последний кредитишко ее у хозяйки только и держится надеждами этой почтенной дамы, что жилица наконец перестанет ломаться, возьмется за ум и сторгуется с херсонским ловеласом о постоянном «иждивении»...

— Вы подумайте: пятьдесят в месяц только на булавки дает, окромя всего прочего, — одета, обута, сыта, пьяна, номер самолучший из всей гостиницы, и все полное содержание!

Никогда лучше не чувствуешь свободу, как — если вспомнишь тюрьму. Никогда так не рад вовремя пришедшему счастью, как сравнив его с пробежавшими черными днями. Наседкиной сделалось еще веселее. И день был веселый. Бледное солнце улыбалось, синева неба лежала безоблачная, ясная; прозрачным хрусталем по белым крышам дрожали розовые света и голубые тени и в снежном шоколаде разъезженной санями улицы переступали розовыми лапками голуби; прыгали, кричали и дрались воробьи...

— Елизавете Вадимовне! Нижайшее!

Навстречу Наседкиной из переулка вышел среднего роста, очень широкоплечий молодой человек, одетый франтом дешевого, рыночного тона, заблудившегося в типе между приказчиком из галантереи средней руки, театральным барышником на дорогие места и хулиганом в удаче. По манере, как этот господин вывернулся из-за угла и именно хулиганским каким-то движением занял весь тротуар, заслоняя Наседкиной дорогу, чтобы мимо него никак не пройти, не заметив и не

ответив, видно было, что он повстречал певицу не случайно, а поджидал ее давно и с расчетом — и в хорошо выслеженном месте, которого ей по пути домой нельзя было миновать. А по испугу, сразу смахнувшему с лица Наседкиной все ее недавнее счастье и самодовольство, столько же ясно было, что широкоплечий молодой человек подстерег ее неспроста, и свидеться с ним не доставляет ей ни малейшего удовольствия. Первым движением Елизаветы Вадимовны было броситься в сторону — с тротуара на мостовую. Но — прямо в глаза ей сверкнули недоброю угрозою светлые голубые глаза, полные решительности бесстыжей и бесшабашной. Она увидала крепко сжатые под светлыми усами, опасные, упрямые губы и руку без перчатки, в коричневом драповом рукаве, вежливо протянутую — как бы поздороваться, а на самом деле стерегущую каждое движение певицы и готовую схватить ее при малейшей попытке к бегству. И Наседкина слишком хорошо знала, что мускулы в этой красной руке железные...

— Не узнали-с? — учтиво кланялся молодой человек, между тем как голубые глаза, насмешливо и нагло наблюдавшие, как пухлые щеки Наседкиной меняют краски от внезапного пурпура к мертвой бледности и от бледности к синеве, говорили без слов: «Смотри... не фордыбачь... скандал сделаю!»

— Сережа... Сергей Кузьмич... — выговорила певица с нечеловеческим усилием над собою — оправиться и принять спокойный вид, достаточно приличный, чтобы не привлекать внимания прохожих, — Сергей Кузьмич... Вот неожиданность... Какими судьбами?

Молодой человек этот тон одобрил. Он бойко поправил на голове свой рыжий котелок, обменялся с Наседкиною рукопожатием и заговорил весело, по-приятельски и фамильярно.

— Судьбы мои, Елизавета Вадимовна, самые простые. Взял билет третьего класса, сел в почтовый поезд, третьева дня в Петербурге — вчерась здесь.

— Дела имеете? — спросила Наседкина, медленным шагом продолжая путь и сделав молодому человеку глазами знак, чтобы он следовал рядом с нею.

— Нет, делами особыми не обременен, — все так же резво отвечал молодой человек, — какие у меня могут быть особые дела? И в Петербурге почитай что вовсе без делов живем, а тут, слава Те, Господи, чужой город. Больше в том счастливом расчете ехал и имел ту приятную надежду, чтобы вас повидать, Елизавета Вадимовна.

Наседкина промолчала. Молодой человек, зорко следя за нею сбоку, продолжал.

— Как же-с! Намедни сижу в портерной на Большом проспекте, спросил себе пару пива, «Листочек», и вдруг — корреспонденция касательно ваших, Елизавета Вадимовна, блестящих успехов... Пишут, знаете, все этакое самое приятное... Неслыханное явление, — говорит, и первый на всю Россию голос, говорит, и сразу жалованье десять тысяч, говорит... чрезвычайно как радостно было прочитать, Елизавета Вадимовна! Даже до слез! Верьте слову!

Она, уже овладевшая собою, возразила зло и едко:

— Так обрадовались, что уж и в Петербурге не могли усидеть, сюда прискакали?

— Да что же-с? Конечное дело, всякому приятно-с... Кабы я был человек занятой... А то ведь привязки-то к месту, истинно говорю вам, у меня нет никакой. Питер — так Питер, Москва — так Москва, Одесса — так Одесса... я, Елизавета Вадимовна, человек ужасно какой вольный.

— По-прежнему, значит?

— Обязательно.

— И без места?

— Всенепременно. Эх, Елизавета Вадимовна! Какие по нынешнему времени могут места быть человеку, который понял свое назначение? Одна эксплуатация мыслящего существа при недостаточном питании и истощении мышечной системы.

— Вот как вы нынче выражаетесь!

— А что же, Елизавета Вадимовна? Не вам одним в гору идти и вникать в круги образования. Люди мы небольшие, но тоже брошюры от скуки почитываем. И разговоры слышим... да-с!..

Он смеялся, скаля великолепные белые зубы.

— А впрочем, и насчет места, ежели какое в виду наклюнется, тоже имел надеждишку — по старому знакомству, просить вашего покровительства... Я в том ожидании, Елизавета Вадимовна, что вы разрешите мне посетить вас, чтобы объяснить вам все мое существование досконально.

Она угрюмо кивнула головою.

— Вам к тому же в вашем качестве театральной примадонны надлежит беречь свое соловьиное горлышко и не разговаривать на морозе... Так — ежели будет милостивое разрешение, когда прикажете быть?

— Э! — с гневом и отвращением вырвалось у Наседкиной. — Что тянуть? Все равно: не отвязаться! Приходите сейчас... по крайней мере, — разом!

— Чего лучше желать нельзя, покорно вас благодарю, — восхитился молодой человек. — Стало быть, прикажете следовать вместе с вами?

Она скользнула взглядом по всей его фигуре.

— Нет, лучше...

— Кажется, я во всем своем аккурате? — обидчиво поймал он ее на этом экзамене. — Вы не бойтесь: не осрамлю вас своим визитом, костюмчик новенький, — пред швейцаром лицом в грязь не ударю...

Она злобно подумала: «Тебя, скотину, не то что в это барахло, но хоть у Тедески одень, все будет видно, что ты за птица».

А вслух спешно возразила:

— Нет, нет... вместе — это неловко... Да, наконец, если вам надо говорить со мною, то — у меня живет компаньон-

ка, надо же сперва ее удалить, я совсем не желаю, чтобы она нас слышала...

— Ни я-с! — конечное дело, будет много приятнее, чтобы с глаза на глаз и по совершенному секрету.

— Я пойду вперед, отпущу компаньонку и предупрежу швейцара, чтобы он вас принял. Ведь ко мне не очень-то всякого, людей с разбором пускают... Будьте у меня... хоть через час...

— Холодновато мне так долго ждать-то! — шутовски и жалобно возразил молодой человек. — Квартира моя отсюда далече. Пожалуй, не вытерпишь часа на холоду, — в трактир зайдешь, пива, водки выпьешь, помалу я пить не умею, а хмельному к вам в гости идти — оно, быдто бы, и совестно.

— Хорошо... через полчаса... через двадцать минут. Только не вместе.

— Слушаю-с, — протяжно и в сомнении сказал молодой человек.

— Не бойтесь, не удеру, — криво усмехнулась Наседкина в ответ на его пытливый и угрожающий взгляд.

Он ответил солидно, веско, значительно:

— Этого невежества я от вас и не ожидаю, потому что — куда же вам бежать, коль скоро вы к сему городу счастьем своим привязаны?

Он быстро нагнулся и произнес почти ей в ухо — не шепотом, который шипит и выдает посторонним, но беззвучным, пустым, тихим говором, который слышат только те, к кому он обращен:

— А вот — ежели ты, Лизка, думаешь распорядиться, чтобы меня к тебе не допустили, — так ты эти затеи лучше оставь: стекла в гостинице побью... на сцену мертвого кота прямо тебе в морду брошу!

Она не отвечала, только выразила мрачными глазами: «Знаю. Не грози. Ежели бы не знала, каков ты сахар, так не стала бы с тобою и разговаривать...»

Тогда он — довольный и уверенный — согласно моргнул ей смеющимся левым глазом и отстал от нее так же неожиданно и незаметно, как пристал, — точно бес в землю провалился. А на ее искаженные, огрубелые черты возвратился весь недавний ужас. Она шла домой быстро-быстро, и в голове ее кружились, прыгали и били молотками тяжелые, оскорбительные, свирепые мысли... И когда Наседкина вошла в свою гостиницу, то — при всем своем самообладании — не смогла устроить себе спокойного лица. Так что встретивший ее на лестнице нижайшим поклоном управляющий, — пылкий меломан и уже страстный поклонник, — заметил, изумился, испугался и позволил себе спросить, все ли Елизавета Вадимовна в добром здоровьице. Она спохватилась, да и зеркало показало ей, что она выглядит ужасно.

— Благодарю вас, я здорова... только не в духе очень: печальные известия с родины получила... — лгала она с геройскими усилиями вызвать на лицо хотя бы грустную улыбку, чтобы смягчить слишком уж трагический эффект своего появления. —Тетка умерла... самая моя любимая из всех родных... воспитала меня!.. да!..

— Письмо изволили получить? — почтительно осведомился соболезнующий управляющий.

— Нет, человек один приехал, — импровизировала Наседкина, — моей кормилицы сын... Кстати, Павел Фадеевич: он сейчас должен зайти ко мне... так, пожалуйста, распорядитесь, чтобы его приняли. А то — знаете, человек простой, одет без шика, еще швейцар его за просителя примет и откажет...

— Слушаю-с.

— И, пожалуйста, покуда он у меня будет, не принимайте ко мне никого другого... Я так расстроена... Никого не хочу и не могу видеть... ни о чем другом слышать!.. Только о бедной моей тете... пусть мне все расскажет... много-много расскажет о ней!..

Лицо Наседкиной исчезло в носовом платке.

— Слушаю-с... не извольте беспокоиться... — твердил растроганный управляющий. — Сам пойду и буду дежурить на подъезде-с... Не сомневайтесь.

Из-за платка послышалось:

— Зовут его Сергей Кузьмич Аристонов.

— Аристонов-с? — несколько озадачился управляющий. — Аристонов... очень хорошо-с.

— Ко мне никого не было утром?

Управляющий склонил голову на левый бок особо уважительным движением.

— Андрей Викторович заезжали — даже дважды...

— Берлога?!

Елизавета Вадимовна, приятно удивленная, отняла платок от лица: Берлога еще ни разу не навестил ее.

— Приказали передать вам, что по важному делу, и обещали опять заехать в три часа...

— А теперь половина второго...

В голове Елизаветы Вадимовны мысли летели вихрем: «Берлога... сам заехал... дважды... важное дело... о, проклятый Сережка!.. Как нарочно!.. Надо же, чтобы именно сегодня... изверг! мучитель!»

— Им тоже прикажете отказать? — спрашивал управляющий.

Елизавета Вадимовна задумалась: «А! Спроважу как-нибудь! Не вечность же Сережка думает у меня быть и кровь мою пить!..»

И вслух приказала:

— Нет, Андрея Викторовича, если приедет, примите.

XV

Никакой компаньонки у Елизаветы Вадимовны и в заводе не было: это она солгала, чтобы несколько укротить настойчивость

своего преследователя. Не имелось еще даже и своей камеристки: девушка была подряжена и сговорена, но должна была отойти к новому месту от старого только через неделю, а покуда Елизавета Вадимовна даже для театра довольствовалась услугами горничных отеля с любезного разрешения управляющего-меломана. Номер Наседкина занимала красивый, большой, из трех комнат, угловой, точно маленькую отдельную квартиру в круглом колене двух коридоров и с выходами в оба.

Она переодевалась, — одна и мрачная, как черная туча, с тоскою страха, гнева и стыда, доходящих до тошноты физической, — с ненавистью ко всему окружающему, к каждой вещи, к свету, льющемуся в окна, к зеркалу, которое показывало ей лицо, искаженное багровыми тенями, постаревшее в противном и жалком выражении бессильной злобы, — с ненавистью к пестрым дорогим тряпкам, которые с нее падали на ковер, — с ненавистью к своему обнаженному толстому телу.

Постучали. Наседкина даже задрожала вся и красная стала — гневная кровь алым цветом разлилась по шее, по груди, по плечам. Стиснув зубы, в удушье и одышке набросила она на себя домашний турецкий капот, наскоро, привычною рукою провела по лицу пуховкою и твердым, тяжелым шагом вышла в свою гостиную. Господин Аристонов успел уже войти и снять свое подозрительное пальто и теперь тщательно укладывал это сокровище на кресла у двери.

— Вот и я, — весело оглянулся он на шелест капота и, мигнув Наседкиной глазом на дверь, щелкнул языком: запереть, мол?..

Она молча кивнула головой.

— Еще раз здравствуйте!

Елизавета Вадимовна смотрела на него, как он стоял перед нею — руки в боки, и угрюмо — против воли и с опаскою, думала: «Все еще красив, мерзавец... Хоть бы ему рожу кто серною кислотою облил!»

А «мерзавец» оказался действительно молодчина хоть куда, с русыми стрижеными кудрями и широким наглым

взглядом голубоглазого Чурилы Пленковича. Одеть и причесать его по-русски, — был бы еще лучше, а то — куцый, готовым купленный на Александровском рынке пиджачишко жмет и неуклюжит богатырские плечи, тесно и неловко в нем широкой груди, выпуклой, — хоть Илья-пророк катай-валяй по ней в колеснице!

— Что надо? Зачем приехал? Говори скорее: у меня времени немного...

Рука, протянутая было Аристоновым, осталась висеть в воздухе, непожатая. Он с шутовским удивлением посмотрел на нее, посмотрел на Наседкину, которая бросала ему свои отрывистые вопросы, закинув руки за спину, точно боялась, не ударить бы его, и стоя так, что между ним и ею оставался большой, тяжелый, круглый стол... Посмотрел и спрятал руки в карманы.

— Зачем приехал?

— Ты, Лиза, — сказал он, не отвечая, самым мирным и ласковым голосом, — ужас как раздобрела и похорошела со своим театром.

— Это тебя не касается. Зачем приехал?

Аристонов ухмыльнулся.

— Зачем да зачем? Очень просто, зачем... Соскучился.

Он шагнул вперед, оперся обеими руками на стол, их разделяющий, и договорил уже без всякой улыбки:

— Жить с тобою приехал.

— Да! Вот этого только недоставало!

Наседкина хотела искусственно расхохотаться, но всю грудь ее коробило внутри, как бересту на огне, и звуки вылетали из горла дикие, хриплые, прерывистые, как собачий лай.

— Ты эти комедии для сцены своей оставь, — спокойно заметил Аристонов, — когда представлять будешь... Всерьез оно не выходит... на икоту больше похоже, ежели с хорошего перепоя... да!.. А жить со мною я тебя заставлю! да! Это ты можешь быть спокойна! Мне, брат, черт с тобою, что о тебе в газетах пишут

и генерал-губернатор у тебя ручку целует... Желаю! Такая моя фантазия, чтобы ты вернулась ко мне и жила со мною! И заставлю. Потому что я в своем праве. Будешь жить. Да!

— Бесстыдный ты и безумный, Сережка! О правах заговорил! Какие у тебя на меня права? Жена я тебе, что ли?

— Это в состав не входит. Что мне жена? Слово! Подумаешь: первый год ты меня знаешь! Должна понимать, каков я есмь человек. Которую женщину я желаю, та, стало быть, и есть мне жена. И которая женщина, стало быть, мне принадлежала, на тае я так смотрю, что, стало быть, есть она моя, и могу я завсегда ее для себя потребовать, а не то...

Он сделал правою рукою жест настолько выразительный, что Наседкина скривилась лицом и дрогнула телом, точно уклонилась от удара.

— Знаю, знаю, не хвались... — ненавистно твердила она, кивая подбородком. — Знаю, что без финского ножа не ходишь... Думала: с годами остепенился и в разум вошел... Нет! видно, горбатого могила исправит... Каков ушел, таков и пришел... насильник!

— Уж и насильник! — победоносно усмехнулся Аристонов. — Не греши напраслиной, Елизавета Вадимовна! Дело прошлое, и не в упрек между своими людьми: не на аркане тебя тянул я, — сама по ночам из окошка прыгала да в контору ко мне бегала...

— Напомнил! Что я могла понимать? Мне полных пятнадцати лет не было!

— Ну а я понимал: мое, значит, счастье. Кошке игрушки, мышке слезки.

— Хвастай, хвастай!

— Я не хвастаю, а — сама выдумала считаться... после эких лет! Ну и получай! Справедливость требует. Я, которые вины мои, завсегда по всем в ответе. А против справедливости — не желаю. И против справедливости — ты не ври! не моги!

Теперь они оба стояли, опершись ладонями на разделяющий стол, и, нагнув на него тяжелые туловища, смотрели друг на друга дерзкими, вызывающими глазами. Наседкина первая не выдержала взгляда, отвернулась и отошла прочь к окну, опустив голову на грудь и вздрагивая плечами.

— Пять лет я тебя не видала, — послышался ее голос, угрюмый, но более мягкий, чем раньше. — Думала: конец... слава Тебе, Господи! Отвалилась пиявка... избавил Бог от муки!.. Нет, дурная трава не вянет: объявилось сокровище!.. Эх, Сергей!

— Тридцать первый год знаю, что Сергей. Я, душенька, и сам было давно позабыл, как тебя звали. Да вот — говорю тебе: прочитал в газете... ну и того — заиграла фантазия! и не могу! помчался!

— Пять лет не нужна была, а тут — так вот сразу понадобилась?

— Лизавета! К чему твои слова? Или ты моего характера не знаешь?

Она вглядывалась в него с сторожким, но уже не слишком враждебным любопытством.

— Мало переменился, — вздохнула она. — Красивый ты, Сережка! Красивый, как был... Щеки пораздуло, в глазах жилки кровяные показались, да и вообще морда красновата стала: должно быть, пива много пьешь... а красивый! Черти тебя на пагубу женскую берегут...

— Тебе же лучше! — весело возразил Аристонов.

Наседкина хотела сесть на кушетку, но вдруг взглянула на своего странного гостя, покраснела, прикусила нижнюю губу и осталась стоять.

Аристонов заметил ее движение и усмехнулся про себя. Оба молчали.

— Слушай, Сергей, — заговорила Наседкина, — ты глупости эти свои оставь. Я так понимаю, что ты до сих пор все сгоряча говорил, потому что рассердился на меня, что я тебя неласково встречаю. На том извини: уж очень ты меня испугал. Ты сам

посуди: какое мое теперь положение? Не к лицу ты мне, не по нынешним делам моим. Ты меня компрометируешь. Я тебе истину говорю, что я тебя почитала, как бы в мертвых. А ты — вдруг привидением из земли... На что похоже? Кстати ли?.. Ты пойми и не сердись...

— Я очень тебя понимаю и совсем не сержусь.

— А если понимаешь, то оставь глупости и говори дело.

— Я тебе сказал.

Она ударила по спинке кушетки рукою и вскрикнула грозно:

— Что надо?

— Тебя надо.

Он поставил ногу на стул, закурил папироску и, вскользь прищурившись на растерянное лицо Наседкиной, послал ей воздушный поцелуй.

— Влюблен!

— Врешь ты! врешь! — нервно и с скорбною какою-то злостью вскрикнула Елизавета Вадимовна. — Врешь ты, подлец! Узнал, что в люди я вышла, денег много получаю... вот — оно, зачем я тебе понадобилась! вот она — твоя любовь!

Сергей гордо выпрямился и великолепно протянул вперед могучую, красную руку.

— Деньги твои мне — тьфу! — сказал он, опуская папиросу в пепельницу. — Лизавета! Или ты меня не знаешь? Я ради денег в жизни шага лишнего не сделал, — обязательно ты должна меня так понимать, Лизавета. Кабы я льстился на деньги, давно бы на миллионщице был женат. Укор твой мне, будто бы я питаю жадность на твои деньги, — абсолютно напрасный. Вот ежели бы ты мне место могла приискать, чтобы мне оставаться недалеко от тебя, притом необременительное в занятиях и без эксплуатации моей личности произволом капиталиста-проприетера, — это я буду благодарен и приму с радостью. А деньги твои — для меня не приманка. На что? Мои желания в жизни ограниченные, и я чувствую себя дос-

таточно хорошо и судьбы своей менять не желаю. На бутылку пива и добрую компанию я завсегда добыть могу. А ежели не добуду — приду к тебе и спрошу, но — взаймы! Такой подлости, чтобы эксплуатировать женский труд и жить в содержанцах у своей любовницы, на это — нет, ошибетесь в расчетах! — Сергей Аристонов в благородстве своих чувств не способен... Я, может быть, вагабунд и праздный человек, но я не хулиган и питаю возвышенные мысли... К тебе пылает моя фантазия любви, а денежная инсинуация есть мне с твоей стороны одна напрасная обида!

Елизавета Вадимовна смотрела на него, качая головою, как человек, удрученный горькими недовериями опыта, тяжелого и злого. Морщины на лбу ее сгладились, багровая синева сбежала со щек, дыхание смягчило свои порывы, голос звучал печально, но спокойно.

— Знаю я твои фантазии любви, Сережа! — сказала она, опускаясь на стул подальше. — Всю мою жизнь ты ими исковеркал, проклятый ты человек... Из-за тебя гимназию не окончила, из-за тебя замуж не вышла, из-за тебя родительского дома лишена, из-за тебя должна была в люди идти куска хлеба искать... Спасибо еще, маленький скоро умер, а то — легкое ли дело?.. Ох, Сергей! Я этих лет моих — от семнадцати до двадцати двух — во сне видеть ненавижу, не то что вспоминать наяву. Фантазии любви! Именно, что всегда одни фантазии твои бесчестные ко мне были... Ты вспомни: сколько раз ты меня бросал? сколько раз опять назад забирал в лапы свои ненасытные? Это — правда, что никогда ты с меня денег не тянул и на мой счет не жил... Да откуда же я тебе тогда взяла бы денег? на что стала бы тебя содержать? Но ты хуже делал. Ты между мною и жизнью капризами своими самодурскими стал, ты меня жизни лишил, ты меня в грязь вогнал и человеком сделаться мне не позволил... Фантазии любви! Нет, тебя черт-завистник под руку толкал, ты мне наказанием за грех мой девичий стал, чтобы я ни покоя, ни сытости не знала... Ведь только и отдыха-

ла я от твоих фантазий любви, что — когда, бывало, влюбишься ты в какую-нибудь новую дуру и меня бросишь. Сперва ревновала тебя, мучилась, а потом на сердце мозоль вырос: по чувству реву от обиды, что изменил и бросил, а умом рада, — ах, хорошо! ах, передохну свободно! жить будет легко! ах, если бы совсем конец! ах, если бы на волю!.. Место себе, занятие подыщу: я же смышленая, расторопная, на все руки прытка была... Жалованье, квартира, харчи... живешь месяцев шесть — думаешь, что в раю: никакой труд не в труд! никакой работы не страшно! Человеком себя чувствую — дурно ли, хорошо ли — живу... И — только-только начну оперяться, — здравствуйте! Тут как тут мой сокол ясный, и опять у него фантазия любви... В боннах служила: век бы не рассталась, в такую хорошую семью войти Бог послал! — нет, свел: ревность обуяла... Кастеляншею в детском приюте была, — довел, что со срамом выгнали за тебя... вот они, твои фантазии любви-то! Всюду-то, всюду-то ты меня находил, как злой дух какой-нибудь, и, какую хату я ни надумаю себе строить, ты сейчас придешь, все мое здание разрушишь и меня прочь уведешь...

— А ты бы не ходила! — насмешливо предложил Аристонов, посылая ей через стол кольцо из дыма.

Наседкина горько улыбнулась:

— Что издеваешься, Сергей? Сам знаешь: прикована я к тебе была. Рада бы не пойти, — так сами ноги несли... Эх, Сережа! Никогда ты этого не мог понимать, как я тебя, подлого, любила!

Аристонов созерцал ее с безмятежным любопытством, курил и молчал. Она продолжала жестким тоном:

— Не пойди за тобою — как же... Алеша Попович! бабий перелестник! Умеешь заставить, что и говорить! Миловал Бог: никогда я такого мужчины на житейском пути своем не встречала, чтобы не могла его за нос провести и вокруг своего пальца обернуть. Только тобою меня судьба наказала: всегда ты из меня — какую хотел дуру, такую и делал... Как заколдовал ты

меня тогда девчонкою... чем бы в гимназию ходить, а я к тебе в контору на свидания бегала! — так семь лет в бедах и горе, в стыде и нужде маялась, а расколдоваться не могла...

Она опять вздохнула глубоко-глубоко.

— Красивый ты! Красивый, Сережка!.. Истинно, что колдовство в тебе было, дьявол в тебе сидел... «Ты бы не ходила!..» И слова-то у тебя... И глаза-то у тебя... и нож финский... и в окно-то ты влезешь... и за четырьмя стенами, за тремя замками найдешь... Думаешь, позабыла я, как ты ко мне, когда я в кастелянши-то удостоилась, на четвертый этаж по водосточной трубе вполз? Как шею не сломал... одно удивление!..

Аристонов улыбнулся важно и красиво, как знаток своего дела.

— У сумасшедших, пьяных, лунатиков и любовников есть, говорят, на такой случай особый бог.

— Разве — что!

Сергей лег животом на стол, подпер голову руками и долго молчал, заботливо выделывая свои дымные кольца и отсылая их к Наседкиной.

— Ну-с, что было, то прошло, — сказал он наконец. — А теперь как же будем, Елизавета Вадимовна?

Она порывисто встала.

— Слушай, Сережка! Честью прошу тебя: оставь! Оставь! Довольно! Пожалей! Пощади! На что я тебе? Пять лет прошло... мы чужие люди! Я не для тебя, ты не для меня... Я не та Лиза, которую ты знал. Я страшную школу прошла, Сергей. Когда ты в последний раз меня в Курске бросил, я до нищеты, до отчаяния дошла, мне за три рубля продаваться случалось... Бог не захотел моей конечной погибели, нашелся добрый человек — актер пьяненький. Он во мне голос и дар мой открыл, на Светлицкую мне указал, дал к ней рекомендацию и между знакомыми денег собрал, чтобы мне доехать сюда и на первых порах не поколеть с голода. Ну я так и поняла, что

это предо мною, за все мои страдания с тобою открылась наконец настоящая моя судьба, — как говорится, планида моя засветила. Пять лет я одною думою жила, а житье, Сергей, несладкое было. Спасибо, Александра Викентьевна, как скоро заметила мой талант, и начала я делать большие успехи, стипендию мне положила, у поставщиц своих открыла кредит маленький, устроила девку на ноги стать, а до тех пор...

Она махнула рукою и отвернулась, опять вся пылая румянцем стыда, с малиновыми ушами и затылком.

— Я себя в эти пять лет, как каторжная какая-нибудь, ломала и школила. Ты меня судьбы моей лишил, а я ее нашла. Хороша ли, плоха ли была наша семья, а все — хоть серая, да сытая, купеческая. Отец меня в барышни готовил, я пять классов гимназии прошла, а ты меня сорвал, как цветок, истрепал, поломал и в девки бросил! Хвалишься, что хулиганом не был, на мой счет не жил, не торговал мною, как другие подлецы делают. А что мне в том, ежели мне все равно самой для прокорма тела грешного продаваться пришлось? Живуча я... самой себе иной раз не верю, как вспоминаю, насколько живуча! В бездне была и по отвесным стенам полированным на ногтях, кровью обливаясь, к свету выползла... А ты пришел опять меня в бездну столкнуть? Нет, Сереженька, это не пройдет! Лгать тебе не стану, да тебя и не проведешь. Гляжу я на тебя сейчас, — и красив ты, окаянный, и мил мне по-прежнему. Оттого я и испугалась так тебя, что знаю твою власть надо мною, — бросает меня к тебе, шалею я от тебя. Но увести меня за собою из новой моей жизни тебе не удастся! Нет! Слишком дорого заплочено! Не удастся! Лучше мышьяку нажрусь! Лучше петлю надену!

Она взяла с этажерки газету и бросила Аристонову, — он поймал на лету.

— Читай! Что голос хвалят, — это пустяки: голос — не от меня, голос — природа дала, Светлицкая обработала... А вот ниже: Аухфиш, сам Шмуль Аухфиш, уму моему удивляется,

певицей интеллигенции меня называет!.. Меня! Лизку Наседкину, которую выгнали из пятого класса гимназии за амуры с отцовым конторщиком, которая как о высшем счастье мечтала, чтобы в бонны хорошее место найти, которая с голода за три рубля к проезжим ходила... Пойми же ты, пойми, враг ты мой, друг ты мой любезный, чего мне стоило обработать себя в этот мой новый вид! Пять лет я только и делала, что училась. Не одному пению с игрою. Это всего легче далось: это у меня природное, — мне только направление дай, а там у меня все само собой как-то выходит... талантом льется! Я на сцене, Сережка, сама себя иной раз не понимаю, отчего я такая, а не другая, почему вдруг руку подняла или справа налево перебежала... а выходит — аккурат то, что надо! Я на сцене — как пьяная стою: и я, и не я! Дома, в классе, на репетициях готовишь роль-то, готовишь, думаешь о ней, думами всю голову изломаешь над каждою нотою, над каждым словом... А на спектакле, глядь, вышла, увидала публику, осветилась рампою... — и словно колдовство какое: оно — как будто и то делаю, что надумала и приготовила, а выходит совсем не то... настоящее выходит! Понимаешь? И публика не ожидала, и товарищи не ожидали, и я сама не ожидала... Это не от меня! Это сверх меня! Это чудно! Странно, сладко и чудно!.. Лучше этого ничего на свете нет и, кто это пережил, уже ни на что другое не променяет. Кто не испытал, тому и объяснить трудно... И не всякому дано! Ха-ха-ха! Лелька Савицкая все бы свои тысячи и бриллианты отдала, чтобы хоть один вечер такой пережить!.. А вполне-то — из всего театра — один Берлога меня в этом моем пламени понимает...

Она счастливо засмеялась и вполголоса запела дикий клич — вихрь ветра и стремление туч — вчерашней Брунгильды-Валькирии:

Хой-о-то-хо!
Хой-о-то-хо!
Хей-а-ха! Хей-а-ха!
Хой-о-то-хо!

— Вот ты услышишь! Вот ты увидишь!

Аристонов невольно опустил руку с папироскою и, разинув рот, засмотрелся на мгновенно преображенные, озаренные прекрасным вдохновением черты певицы, на ее сразу пластическую, монументальную позу, с буйно брошенными вперед руками, с могучими волнами груди.

«В самом деле, и Лизка, и будто не Лизка, — размышлял он, глубоко заинтересованный. — Словно полоумная... либо пьяная... а хорошо! Наподобие русалки, искушающей пустынника, и даже как бы дева морей...»

Но обнаруживать впечатление было не в его расчете. Он принял вид равнодушный и жесткий и сказал небрежно, почти с презрением:

— Сказывают люди, путаешься ты с ним, с Берлогою этим...

Наседкина широко открыла удивленные глаза.

— Откуда успел осведомиться?

— Ночью с хористами вашими в некотором местечке повстречался... Сплетничают о вас здорово.

Елизавета Вадимовна резко тряхнула головою...

— Не верь. Враки!

— Да мне — что же? Я — чтобы при мне мои бабы шалили, этого не люблю, а когда меня нет, я не ревнивый.

— Пустяки!..

Елизавета Вадимовна нервно дергала шнурок на портьере.

— Пустяки! Ничего еще нет... может быть, и не будет... а, может быть, и будет... я не знаю!.. Лгать тебе опять-таки не стану: оно к тому идет... и... и... нужно мне это очень, Сергей Кузьмич... по делу нужно!.. Чувства у меня к нему — женского чувства к мужчине — нет. Да и он во мне покуда женщины не замечает: в артистку влюблен, идеалы строит... Но уж слишком он мне полезен — не то что нужен, необходим прямо — знаменитый Андрей наш Викторович... Эх, брат Сережка! Не пришли еще те счастливые времена, когда мы, женщины, бу-

дем с вами вровень стоять и каждая по своему собственному достоинству карьеру в жизни делать! Сейчас в нашем деле — будь ты хоть ангел с небеси, а без мужской поддержки не обойдешься. Повсюду еще женщина должна въезжать в карьеру свою на мужских плечах. Без Андрея Берлоги я бы еще под горою сидела, а он меня сразу наверх горы взнес... Ну а даром таких услуг не оказывают, — платить надо. А капитал у нас, женщин, для расплаты, известное дело, один — тело...

Она с горьким смехом ударила себя обеими ладонями в грудь с такою силою, что оторвалась и покатилась по полу узорчатая пуговка капота... Аристонов проводил пестрый волчок взглядом и с любопытством перевел глаза на Елизавету Вадимовну. Он находил, что она говорит дело, и был заинтересован.

Она продолжала и горько смеяться, и горько говорить.

— Этот — спасибо, хоть кредитор добрый, не торопит расплатою... А за пять учебных лет моих?! Ты меня дурою полуграмотною оставил, а сейчас — смотри: я по-французски говорю, я на фортепиано играю, я, если надо, какой угодно разговор могу поддержать... Даром, что ли, досталось? С неба свалилось? Святым Духом осенило? Нет, милый друг: за все плачено! И все — из того же капитала... все ценою самой себя и по случаю куплено!.. Александра Викентьевна бранит меня, что я говорю по-французски, как кафешантанная певичка или девица уличная, — и argot*, и акцент, и обороты самые вульгарные, — в обществе, мол, так нельзя, надо свой язык перевоспитать. А я — как выучилась? Жил полгода в меблированных комнатах наших француз, коммивояжер, с образчиками тисненой кожи приехал... Ну и, спасибо, обучил! Гроша медного не стоило, еще подарки получала и взаймы без отдачи что денег перебрала. Только уж на благородстве языка в этакой практике прелестной — извини, не взыщи... Жутко, темно жилось, Сергей!

* Арго, жаргон (*фр.*).

мне назад на себя оглянуться страшно — будто в пропасть адову... А ты зовешь, требуешь... Полно!

Аристонов методически докурил и загасил папиросу, потом поднялся и сел на столе, свесив ноги уже с той стороны, в которой все еще ощипывала кисть на портьере — всем телом волнующаяся — Елизавета Вадимовна.

— Лиза! ты понимаешь меня совсем не в тех смыслах и совершенно несообразно моей возвышенной душе! — произнес он, тоже ударяя себя кулаком в грудь. — Я очень могу чувствовать... и совсем к тебе не с тем, чтобы низводить тебя с твоей высоты!.. Напротив, я чрезвычайно как весьма горжусь тобою, Лиза, и твоя цивилизация прогресса делает тебе честь. Что немного круто поговорил с тобою, прости. Ты согласилась, что сама виновата: встретила меня, слишком ощетинясь. Давай — помиримся, Лиза...

Он протянул руку. Она свою спрятала...

— Помиримся — давай, а руки — не надо...

— Брезгуешь?

— Знаю я твои лапы: кузнечные клещи. Дать руку, волю отдать... Ученая!

— Боишься ты меня, Лизка! — засмеялся Сергей, — ох, боишься!.. Давеча на кушетку сесть не решилась, теперь руки не смеешь дать... Да что ты, право? Чудак-девка! Зверь я, что ли, или разбойник лесной?

— Я не боюсь тебя, — коротко возразила Наседкина. — Я не боюсь тебя: я тебя знаю.

Он нахмурился повелительно и гордо.

— А если знаешь, — к чему же, Лизавета, все твои прелиминарные переговоры? Коль скоро я желаю твою руку, обязательно должна ты мне подать ее, покуда я честью прошу, а то ведь и сам возьму... если ты меня знаешь!

Она, молча, приблизилась и вся дрогнула, как обожженная, когда ее мягкие, холодные от волнения пальцы

очутились зажатыми в широкой горячей руке молодого человека.

— Ну и довольно, Сергей... Отпусти!

— Погоди. Авось не слиняешь — за ручку-то подержаться...

— Сергей! Богом тебя прошу: пожалей ты меня! не буди ты во мне проклятой моей привычки к тебе! Знаю я тебя! знаю! И не тебя боюсь — себя перед тобою боюсь...

— Слушай, Лизета! — говорил он, не обращая на ее слова никакого внимания. — Слушай, Лизета! — он властно обогнул рукою ее талию. — Все, что ты говорила, я себе усвоил, и даже оно проникло в священные глубины моего чувствительного сердца. Но, Лизета! Посуди сама: по какой же реальной причине должен я, например, упускать в тебе мое счастье? Мне к тому нет никакого расчета и не предвижу ни малейшей возможности. Согласись, что в такой моей глупости вся очевидность самопожертвования, то есть презренный и противный рассудку аскетизм. Я чрезвычайно понимаю и абсолютно признаю, что мы с тобою теперь не пара в глазах фальшивого общественного света, который вознес тебя на ступень аристократии, и великодушно не настаиваю, чтобы ты публиковала наш с тобою неразрывный союз...

Он закинул другую руку за шею свою и поймал ею голову безмолвной Елизаветы Вадимовны и без сопротивления положил ее на свое плечо...

— Напрасно воображаешь! Я не намерен вмешиваться в твою жизнь, портить твою карьеру и житейские отношения. Ты считала себя свободною пять лет, — я оставлю тебя при твоей свободе. Я не накладываю ига и не хочу ярма! Я горд: я свое место знаю. Я лишен даров высшего образования и не удобен среди аристократов, которыми ты теперь окружена. Поверь, я не прошу тебя вводить меня к ним. Я имею самолюбие и не позволю себе быть там, где я не на первом месте и хуже других. Я оставляю тебе и твою свободу, и твое счастье. Ты говоришь, что по

твоим деловым расчетам тебе необходимо сойтись с господином Берлогою. Эти твои слова были очень практические, и я не ревнив, тем более такая знаменитость, и я — со всем моим уважением и даже почитаю за честь. Дело прежде всего. Сделай милость, поступай в жизни своей согласно своему уму и рассуждению, к общему благополучию, как женщина рассудительная и свободная... Но, Лизета, ежели ты, столь любившая меня в черные дни, гордо отказываешь дать мне часть в своем современном превозвышении, то мой натуральный исход — тебя возненавидеть и нанести ужасную месть беспощадною рукою... Лизета! Я за гласностью не гонюсь, я доволен секретом... Если ты будешь вести себя против меня хорошо и не выйдешь из пределов, я буду безмолвен, как полночный жилец могил... Лизета! Ты слышишь меня? Или не слышишь? Лизета!

Елизавета Вадимовна молча дышала на его плече странным звуком — будто вздохи переходили в тихий, судорожный смех... Глаза ее были мутны и далеки, лицо залито пунцовым цветом, рот стал четырехугольный и горел сухим жаром...

— Лизета!

Она улыбнулась жалко, счастливо, бессмысленно, дико и закрыла глаза, и свободная рука ее, трепеща, побежала по его груди и обвила шею...

— Миленький... миленький... Сереженька... миленький... дружок...

— Так-то лучше... — весело отвечал он, подхватив ее ловкою охапкою на свою молотобойную грудь.

Ручка у входной двери завертелась. Тра-та-та-та-та! — посыпались частые удары нетерпеливого порывистого стука. Сергей невольно выпустил женщину из объятий, но она осталась висеть на нем, ошалевшая, непонимающая.

— Елизавета Вадимовна... Кой черт: заперто?.. Елизавета Вадимовна!.. Но мне же сказали, что она дома... Елизавета Вадимовна!.. Спит, что ли? Елизавета Вадимовна!..

Она открыла глаза, оторвалась от Сергея, узнала голос, в одичалых глазах мелькнул луч сознания — она схватилась за виски и крепко сжала их, чтобы кровь отхлынула и отрезвела память.

— Кто? — беззвучным говором спрашивал Сергей.

Наседкина приложила палец к губам.

— Берлога.

— О, черт!

Тра-та-та-та-та...

— Елизавета Вадимовна! Отзовитесь! Я по важному делу и с самыми радостными вестями...

Аристонов и Наседкина обменялись взглядами.

— Надо принять... Он уже два раза заезжал... Я ему это время назначила...

Сергей согласно мотнул головою.

— А я?

Наседкина молча указала ему глазами на выход в другой коридор, через ее спальню. Он бесшумно подхватил с кресла свое курьезное пальто.

— Елизавета Вадимовна!

Сергей был одет и в рыжем котелке уходил своею скользящею, хулиганскою походкою человека, привычного к самым неожиданным приключениям и переделкам.

Наседкина наконец нашла нужным подать голос.

— Кто там?

Звук был хриплый, обрывистый, будто со сна.

— Не узнает! О, неблагодарная!

Она шептала Сергею:

— Ты подожди минутку в коридоре за углом, покуда я его впущу... Понял?

И громко:

— Андрей Викторович? Вы?

С е р г е й. Понял... Эх, не ко времени... Черт!.. Лиза!.. Когда же приходить-то?..

Б е р л о г а. Я, я, конечно, я... Здравствуйте! Отворите вы мне наконец, нелюбезная хозяйка?

Н а с е д к и н а. Сейчас... извините, ради Бога... я было прилегла отдохнуть... Минуточку! Одну минуточку!.. одеваюсь...

С е р г е й. Лиза, когда опять приходить?

Н а с е д к и н а. Не приходи, не стоит тебе ко мне приходить: видишь — на юру живу... народ толчется... минуты верной нет... Лучше я сама тебя найду... Дай свой адрес, в каких номерах остановился... Сегодня вечером... скорее! скорее пиши! Жди... приду... пиши адрес... К десяти часам... Жди!

Сергей исчез за дверью. Наседкина повернула ключ в замке и, еще сжимая в руке шуршащую записку, пошла, чтобы отворить Берлоге. Ноги свои она чувствовала слабыми и мягкими, будто ватные и без костей. Перед глазами плыл туман, стены комнат качались и шли кругом, все предметы плясали. Елизавете Вадимовне казалось, что ее шатает, как пьяную, и голова горела пьяным жаром, и горло душило пьяною тошнотою, и хотелось рвать на себе одежду, и терзать свое, бунтом восставшее, пылающее тело.

— Ну и соня же вы! — радостно восклицал вошедший Берлога. — Непозволительная, бессовестная соня... Спать в то время, как я обделываю, можно сказать, беспримерные дела и ставлю вас на порог величайших событий! А лицо? Лицо? Боже мой, какое смешное у вас лицо!.. Ну-с, очаровательная Брунгильда, отгадайте, с чем я к вам пожаловал? Вы ничего не ждете? ничего не подозреваете?

Наседкина с мутною головою и едва зрячими глазами отвечала тем же судорожным полувздохом-полусмехом, что несколько минут назад едва не отдал ее в руки Сергея... Нет, она ничего не подозревала, и ей больших усилий стоило, чтобы понимать. Торжествующий Берлога не замечал... Он потрясал толстою тетрадью писаных нот.

— Сударыня! Фра Дольчино приветствует вас, как свою Маргариту Трентскую... Сегодня утром Елена Сергеевна

возвратила Кереметеву партию с официальною запиской, которою просит передать Маргариту Трентскую вам... Елизавета Вадимовна! Что с вами? Вам дурно? Что вы? Елизавета Вадимовна?

Ее большое горячее тело неожиданным грузом рухнуло к нему на грудь, и на плечи легли тяжелые, белые, влажные руки... Снизу вверх стремились к нему бессмысленные глаза с исчезающими зрачками, и губы с углами, грубо опущенными в красивом безобразии мучительного восторга, прижались к его удивленным губам.

— Елизавета Вадимовна...

А она ловила его руками за голову, тянула к себе и лепетала:

— Голубчик... миленький... люблю... люблю... не могу... Сер... Андрюша, золотой... миленький... голубчик...

Часть вторая

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА

XVI

Была оттепель, и снег падал пополам с дождем. Электрические солнца бодро и будто сердито даже боролись с матовою мзгою. Мокрый асфальт тускло сиял белыми полосами отраженного света. Из-под теней домов выходили на тротуар нищие — странные, новые нищие — и, протягивая руки к нарядным прохожим, спешившим в театр, говорили хриплыми голосами:

— Одолжите двугривенный на ночлег типу Максима Горького!

— Примите участие... бывший хорист... Когда-то вместе с Берлогою в одних операх пел. А ныне — сами изволите видеть: ноябрь на дворе, а я франчу в калошах на босую ногу... ха-ха-ха!.. будьте столь любезны — пятиалтынный на обогреваньице!..

— Господин интеллигент! Вы — интеллигент, я — интеллигент, прошу, как интеллигент интеллигента...

Их было много и — чем ближе к театру, тем больше. У подъездов театральных они не смели стоять, оттесненные жандармами, пешею и конною полицией. Но они, как шакалы по горным ущельям, рыскали в смежных переул-

ках, выныривая из глухих пассажей и проходных дворов. Мрачные фигуры их, подобно кариатидам, сгибались по углам домов, всюду, где электрический свет поглощался мозглою тьмою мокрой ночи. Насупротив театра по тротуару они стояли и бродили десятками, будто — бывало, в прежние времена, — на церковной паперти или у кладбищенской ограды. Они просили повелительно, сами назначали монету, какую желают получить, и, если получали, то — обыкновенно — благодарили и тотчас же удалялись, уже не беспокоя других прохожих. Встречая же отказ, ругались крепко и — тоже по-новому.

— Какой же ты, чертов сын, студент, ежели в оперу ходить у тебя деньги есть, а голодному человеку пятака дать не можешь? После подобного твоего свинства выходишь ты белоподкладочный пес паршивый, а не товарищ!

— Буржуй толстомясый! Чтобы те уши заложило в театре твоем! Туда же — Берлогу слушать идет... с посконным рылом в суконный ряд!

— Что-о-о? — вздымался обруганный «буржуй».

— Ничего, проехало. Подбирай, что упало.

— Берегись, любезный! Участок недалеко...

— А кулак у меня еще ближе.

— Городовой! городовой!

Но городовые к таким стычкам спешили очень медленными ногами и обыкновенно приходили к месту действия — лишь когда оскорбитель, все еще ругаясь, провалится, будто в трап театральный, в первые открытые ворота, чтобы переждать грозу в безопасном уголке темного двора.

— Оглох? Не слышишь? — бушевал перепуганный и обозленный обыватель.

А полициант медлительно и расчетливо лукавствовал:

— Виноват, ваше высокородие. Так что позволил себе думать, не мастеровые ли на смех зовут, промеж себя шутят...

— Ты не думать здесь поставлен, а за порядком наблюдать! Этак — тут резать будут, ты не услышишь?

— Храни Бог всякого, ваше высокородие. Как можно-с?! Опыт имеем.

Если оскорбленный жаловался околоточному или помощнику пристава, тот окидывал ленивого городового рассеянным взглядом:

— Вавиленко! Ты что же, скотина?! Смотри у меня!

— Вы, господин пристав, пожалуйста, не оставьте этого дела без внимания... Я не о себе хлопочу в данном случае: я слишком уважаю себя, чтобы обижаться на какого-нибудь босяка... Но вы сами понимаете: удобства публики... улица создана, я думаю, для всех...

— Взыщу-с. Будьте благонадежны. Не попущу-с. Взыщу-с.

Но и не взыскивал, и попускал. Полиция боялась трогать эту странную, одичалую нищету, которая сознала, что ей уже нечего больше терять и ни в каком новом житейском изменении ей хуже быть не может.

— Гуманничаем с чертями. По мордам надо бить подлецов! — кипятился молоденький, рыжеусый и красный, как наливное яблоко, приставок перед другим, пожилым, толстым, рослым, с угасшими, ко всему миру равнодушными глазами. А тот безразлично ухмылялся в седеющие усы и солидно возражал:

— Уж и гуманничаем... Такие слова в нашем с вами звании довольно странно даже помнить, не токмо что произносить.

— А ежели странно, то и бей по морде!

— А финского ножа в спину хотите?

— Помилуйте! — возмущался солидный господин в цилиндре, — подходит и говорит: «Господин, дайте десять копеек на ночлег...» Я ему натурально даю две копейки: согласитесь, не Крез же я, чтобы раздавать по гривеннику всякому нищему, который просит... И что же? Он швырнул монету на мостовую. «Я, — говорит, — у вас на дело спрашиваю, а вы

мне суете игрушку...» Две копейки — ему игрушка! Ведь это же — черт знает что такое! Это — последний разврат!

— Да, конечно... — и соглашался, и возражал господин в мягкой шляпе. — Но с другой стороны... строго говоря... в самом деле, что же он может сделать для себя на две копейки?

— Как что? как что? Еще, дальше просить! Не жалей спины-то! Покланяйся, попроси! Я — две копейки, другой — две копейки, четвертый, пятый... этак он не то что гривенник, — до рубля с публики наберет... Вы чему же изволите смеяться?

— Поклоны человеческие у вас уж очень дешево стоят. Оказывается по арифметике вашей, что — за гривенник-то благопотребный — ему — самое малое, что перед пятью прохожими унижаться придется...

— А, батюшка, за чем пойдешь, то и найдешь: такая подлая профессия!

В другой проходящей группе слышалось:

— Куда полиция смотрит? Этакое безобразие! И отчего это за границею босяка нет?

— Положим, что есть... только в глаза он не лезет.

— Да вот не лезет же! Стало быть, полиция хорошая, распорядительная, — умеет охранить обывателя от неприятности...

— Ну, знаете, тоже! Бывал я и в Берлине, и в Париже: Держиморды, в своем роде изряднейшие... не дай Бог!

— Там не то что полиция хорошая, а взаимопомощь рабочая очень развита. У нас при безработице либо болезни рабочему неоткуда медного гроша достать на пропитание, а Германия на предмет страхования против потери работоспособности отсыпает ежегодно по сто с лишком миллионов марок... какой же там может быть босяк?

— Извините, пожалуйста. Причем страхование? причем безработица и работа? Очень они хотят работать! Как же!.. Вон — Илья Семеныч, тоже вроде вас философ и филантроп наш известный, покровительствовал одному такому... как их

теперь, дьяволов? бывшими людьми, что ли, называют?.. Отличное место ему нашел — лакеем к своему двоюродному брату. Так — что же вы думаете? Отблагодарил он Илью Семеныча? Как бы не так: обиделся... «Если, — говорит, — уж такая мне судьба, чтобы снимать с господ пальто, то я предпочитаю делать это не в передней, но в темном переулке...»

Прохожие сменялись прохожими, группы группами, людские волны волнами, и ни одна волна не проходила, чтобы не столкнуться с босяками и не замутиться сомнениями о них.

Барышня в барашковой шапочке. Откуда их столько сегодня у театра? Ужас! пройти нельзя.

Студент. Теперь всегда так, когда Берлога поет. Он, говорят, приучил. Очень много денег раздает им.

Барышня в фетровой шляпе. Зачем?

2-й студент. Сам был босяк... по сочувствию к страждущему человечеству.

Барышня в барашковой шапочке. А я, наоборот, слышала от одного верного человека, что Берлога совсем не такой бескорыстный, как о нем рассказывают.

3-й студент. Вся эта благотворительность его, о которой так много разговоров, одна грошовая реклама, а сам он в жизни своей — совершеннейший буржуй: именья покупает, дома строит, купоны стрижет...

Барышня в фетровой шляпе. Сплетни.

Студент. О домах и купонах не знаю-с, но что у нас на курсе пять человек его стипендиатов, в том могу вас уверить с совершенною определенностью.

Барышня в барашковой шапочке. Ах, что стипендиаты? стипендиаты не доказательство.

3-й студент. Может быть, это его дети незаконные?

Барышня в фетровой шляпе. Фу! что это!

3-й студент. Как будто не бывает!

Барышня в фетровой шляпе. Вот направление ума!

Студент. Хватили через борт, коллега: Берлога еще слишком молод, чтобы иметь детей в университете.

3-й студент. Да ведь я не серьезно... собственно, для смеха... так!

Барышня в фетровой шляпе. Вы — так, другой — так, третий — так... А, глядишь, по городу пошла гулять сплетня.

2-й студент. И вот вам образчик, как публика сочиняет историю своих больших людей!

Барышня в барашковой шапочке. Еще бы не было стипендиатов. Стипендиатов имеют и Морозовы, Овчинниковы, Трапезниковы. Это самый буржуазный способ филантропии. Мода. У кого же теперь нет стипендиатов?

Барышня в фетровой шляпе. Да вот у нас с вами нет.

Барышня в барашковой шапочке. Совсем не остроумно. Мы с вами живем на пятьдесят рублей в месяц, а Берлога получает десятки тысяч... какое же сравнение?

2-й студент. Нет, вы напрасно: я знаю... он парень широкий, безотказный... Наши к нему не раз ходили: он и на стачку отсыпал, и на литературу... молодец!

Студент. Да вы оглянитесь: уже то одно, что к нему это босячье волною плывет, — разве не говорит вам уже это обстоятельство, какой он души человек? Этакую популярность на фу-фу купить нельзя-с! У пролетария есть инстинкт против фальшивого заигрыванья. Его любовь правдою заслужить надо-с.

Барышня в фетровой шляпе. Сегодня их как-то особенно много...

Студент. Первое представление... торжество, в некотором роде...

Барышня в шляпе с цветами, до сих пор молчавшая. Говорите, господа, в защиту ваших босяков

что хотите, но с тех пор, как я прочитала «Бездну» Андреева, я не могу их видеть без ужаса...

Барышня в барашковой шапочке. Пошлите сочувственную телеграмму графине Толстой: она тоже Андреева ненавидит.

Барышня в шляпе с цветами. Я ненавижу совсем не Андреева, но босяков... А вы как думаете, товарищ?

Барышня в фетровой шляпе. Нет... что же?.. за что же?.. Ничего.

2-й студент. Да, первое представление, — и притом, знаете ли, слышно, что самая опера-то — этакая особенная... тоже босяцкая... в своем роде...

Студент. Наша! Пролетарская!

2-й студент. По всему городу о ней расплылись всякие слухи... Говорят, будто Савицкую сегодня генерал-губернатор к себе вызывал...

Барышня в барашковой шапочке. Это еще зачем понадобилось?

Студент. Да уж, разумеется, не затем, чтобы полюбоваться на ее красоту.

2-й студент. Сомневаются, не было бы демонстрации.

Барышня в фетровой шляпе. В опере-то?! Когда же это бывало?

Барышня в барашковой шапочке. А чем опера хуже других мест? Нынче — всюду.

Студент. Вы читали, какую статейку предпослал сегодня «Крестьянской войне» этой «Истинно-русский Обух»?

Барышня в фетровой шляпе. Предоставляю вам: я подлых газет не читаю.

Студент. Напрасно-с. Сказано в Писании: «Изучайте врагов ваших».

Барышня в фетровой шляпе. Уж будто так сказано?

Студент. А не сказано — тем хуже. Следовало сказать.

3-й студент. Я читал. Здоровеннейший донос наворочен. Чего-чего нет... «Профанация святейшего из искусств отвратительными звуками революционного набата...» «Змеиный опыт крамолы проползает в последний уголок человеческой души, еще ею не оскверненный». «Композитор Нордман — по слухам, поляк, а, судя по фамилии, едва ли не жид...»

Барышня в барашковой шапочке. Бросьте. Как не противно повторять?

2-й студент. Полный арсенал, значит. Сразу залпами по всему борту?

Студент. Пачками, брат, стреляют. Прямо пачками.

3-й студент. Досталось и Савицкой, зачем приняла «Крестьянскую войну» к постановке, а о Берлоге прямо пишут, — что caveant consules! * пора, мол, обратить внимание на этого господина, который при несомненном таланте и прекрасном голосе, прикрываясь щитом святого искусства, злоупотребляет своим дарованием для целей отнюдь не художественных. У нас, говорит, не так коротка память, как воображают разные там социал-демагоги. Нам, говорит, действительно очень трудно вспомнить, в какой консерватории получил г. Берлога свое музыкальное образование, но зато, говорит, мы очень хорошо припоминаем, что в 188* г. студент юридического факультета Андрей Берлога был исключен из московского университета по прикосновенности к серьезнейшему политическому делу...

* Пусть консулы будут бдительны! (*лат.*); употр. как предостережение, предупреждение об опасности.

Барышня в фетровой шляпе. Вот негодяй-то писал!

Барышня в барашковой шапочке. То-то у подъезда сегодня уж как-то слишком много архангелов понаставлено.

Барышня в шляпе с цветами. Ах, я боюсь. Если бы знала, лучше бы и в театр не пошла.

Барышня в фетровой шляпе. Вы всегда всего боитесь. По-моему, — преинтересно...

Студент. Я знаю одно: глотку надсажу сегодня, вызывая Берлогу и Нордмана.

Барышня в фетровой шляпе. Берлога чудный артист! чудный!

2-й студент. Артист артистом, но необходимо выразить гражданский протест.

Барышня в барашковой шапочке. За этим дело не станет.

Барышня в фетровой шляпе. Гражданский протест по театральному делу?.. Ну и мизерия же настала, друзья мои!

Студент. Времена, товарищ: противу рожна времен не попреши.

3-й студент. Эпоха улицы, поющей гимны под красными знаменами, отошла в вечность...

Барышня в фетровой шляпе. Вы так уверены?

3-й студент. Ну отложена впредь до разрешения... Теперь скажите спасибо, если есть случай покричать хоть в театре.

Барышня в фетровой шляпе. Вы — нарочно? Не злите меня, товарищ!

Студент. Я сегодня по городу, как птица какая-нибудь, летал из конца в конец: все наши будут в театре...

2-й студент. Коллеги не выдадут... валом валят!

Студент. Знай наших!

* * *

Театр действительно был обставлен усиленным полицейским нарядом — в количестве удручающем, так что публика, подходя и подъезжая, сразу пугалась и уже на подъезде поднималась, неприятно смущенная, расстроенная ожиданиями неопределенными и боязливыми. На подъезде у красивых дверей с хрустальною, семью цветами радуги насквозь просвеченною мозаикой, ждал новый сюрприз: спрашивали билеты. Обыкновенно эта поверка производится внутри театра, в коридорах, при входе на места. Но сегодня Савицкая, в самом деле вызванная для объяснений к генерал-губернатору, получила незадолго до спектакля полицейское предписание, чтобы во время представления «Крестьянской войны» в здании театра не было ни одного постороннего человека, кроме зрителей, снабженных билетами на спектакль, и их прислуги, а потому контроль билетов должен быть производим при входе в самый театр, под надзором местного участкового пристава. Никто почти, приезжая в театр, не держит билетов в верхнем платье. Приходилось расстегиваться на ветру, под мелким ситным полуснегом-полудождем, чтобы рыться в жилетном кармане или добывать из брюк портмоне. Дамы с своими сумочками были поставлены в особенно неприятное положение, потому что и платье-то держи, и сумочку-то ищи, а рук у человека только две, и мокрая зима обидно плюет на легкие вечерние туалеты, прохватывая тело до костей своею поганою сыростью. Многие чуть не плакали. Мужчины ворчали, бранились, жаловались на простуду, говорили колкости и грубости контролерам. Те — под градом неприязненных слов и сотнями неприязненных глаз — бледнели, краснели, пожимали плечами и возражали отрывисто:

— Разве наша вина? Начальство приказывает. Нам еще неприятнее, чем вам... Распоряжение от полиции.

Эти слова повторять внушил и приказал им Риммер, разозленный нелепым предписанием об уличном контроле до бешенства — как только русский немец может освирепеть, когда удается его раздразнить до забвения природной флегмы и искусственной выдержки. Человек до мозга костей театральный, Риммер слишком хорошо знал, какое горе и насколько большая опасность для спектакля, если публика входит в зал, заранее злая, обиженная, взволнованная. Это одно из действительнейших средств сорвать успех пьесы. Чтобы хоть несколько парализовать первое дурное впечатление, Риммер покинул кассу: она не нуждалась в его надзоре, потому что на ней красовался аншлаг — «Билеты на первые пять представлений оперы «Крестьянская война» все проданы». Облеченный во фрак, с какими-то турецкими и персидскими орденишками на цепочке по лацкану, торжественно-злой, с перекошенным ртом и красно-бурыми пятнами на умном, безобразном лице, он стоял в дверях фойе, мимо которых проходила, размещаясь в ярусах театра, недовольная публика. Он почтительно кланялся каждому новому лицу — манерою, перенятою у парижских театральных директоров, так встречающих свою публику каждый вечер, — и твердил, как попугай, заучивший свой урок, одну и ту же фразу:

— Приношу извинение от имени дирекции, что вас заставили неприятно ожидать... Распоряжение свыше и совершенно против нашей воли... Что делать? Сила солому ломит.

Какой-то полицейский чин постарше сделал было Риммеру замечание, что этак, мол, не годится. Немец — будто только того и ждал, — весь окрысился.

— Уж это позвольте нам знать, что нам в нашем собственном театре годится, что не годится. Я здесь управляющий, а вы кто-с? Достаточно, что вы у нас на подъезде сегодня хозяйничаете, но у себя дома мы сами себе господа. Эта ваша шутка нынешняя с контролем под снегом ста-

вит у дирекции восемьдесят тысяч на карту! да-с! Так — имеем мы, я полагаю, право хоть обезопасить-то себя, чтобы наше в чужом пиру похмелье не слишком нам соком вышло-с...

— Что же вы сердитесь, Георгий Иванович? — смутился полицейский. — Тоже и мы ведь — не от себя... Действуем по инструкции.

— Инструкцию вашу я видел-с и знаю, что по инструкции должен я предоставить в ваше распоряжение сегодняшний контроль-с... извольте-с! слова против не сказал-с! повиновался-с! предоставил-с!.. Ну а насчет моих прав и обязанностей, как администратора в этом театре, это — извините-с! такой инструкции вам не дадено! да-с! не дадено-с! И дадено быть не может-с... руки коротки!

Чин пошел было доложить полковнику Брыкаеву, но бравый полицеймейстер только поморщился, пошевелил своими огромными усищами, как огорченный таракан, и кисло сказал:

— Оставьте...

К нему подошел — почтительный и согбенный — старичок-капельдинер, рассыльный при директорской ложе. Доложил, что Елена Сергеевна изволят быть в театре и очень просят их высокоблагородие лично пожаловать за кулисы в артистическое фойе, так как там-де у них происходит замешательство со студентами.

— Бунтуют? — внимательно и как-то весело оскалился полковник, тревожно вспушив великолепные свои усы.

— Никак нет-с, но — которое праздное собеседование...

Елена Сергеевна стояла среди артистического фойе, окруженная группою человек в пятнадцать. Синели воротники студенческих мундиров, тряслись черные змейки на кудластых женских головках, все лица — бледные и красные — пестрели возбуждением, сверкали неспокойными глазами. У Елены Сергеевны — нарядной, праздничной, в черном, блестящем будто стальною кирасою, туалете, но бледной и усталой —

лицо светилось равнодушным холодом какого-то особого, презрительного гнева.

— Вот — сам господин полицеймейстер, господа, — указала она на входящего Брыкаева. — Полковник подтвердит вам, что в этом новом распоряжении дирекция не при чем. Следовательно, мне остается только выразить вам свое глубокое сожаление, что я бессильна удовлетворить вас, а вы уж будьте добры — перенесите ваши объяснения в настоящую инстанцию...

— В чем дело, господа? — возгласил Брыкаев, официально улыбающийся, строго любезный, ласково настороженный.

Огромный, торговый, полустоличный город, в котором полковник Брыкаев свершает служебное течение дней своих, не нахвалится своим усатым и бравым полицеймейстером.

— Где — волки, а у нас — отец!.. — восклицает о нем именитое купечество и в глаза, и за глаза.

Брыкаев это знает и любит свою репутацию. Когда он напивается пьян, то гордится и хвастает, что все обыватели — его дети и живут за ним, как за каменною стеною.

В самом деле, он не свиреп по натуре и не чванлив, не жесток по карьере. Он так давно командует городом, что почитается уже местным старожилом. С населением его связывают сотни незримых уз — интимных, неразрушимых, обязывающих к взаимосоглашениям и компромиссам. Как всякий чиновник, который спокойную доходность облюбованного теплого местечка предпочитает рискам честолюбивой карьеры, полковник пустил свои корни в почву города очень глубоко, — даже до неразрывности. Полковник часто повторяет, и этому можно верить, что, если начальство переведет его на другой пост, — хотя бы даже с значительном повышением, — он подаст в отставку. Стяжая естественным

притоком безгрешных доходов свыше сорока тысяч рублей в год, этот усатый философ созерцает с глубоким равнодушием, как даже весьма младшие товарищи обскакивают его по службе в наградах, чинах и назначениях, выходя в градоначальники, губернаторы, даже генерал-губернаторы, а он знай себе сидит сиднем, как полицейский Илья Муромец какой-то; и тоже чуть не тридцать лет и три года.

— В нашей службе-с, — острит он, — кто прыток хватать кресты, тот не замедлит дохвататься-с и до креста могильного-с. А я не столь честолюбив-с. Не столь-с...

Зато в городе он — настоящий и полный хозяин. Всякий обыватель знает, что генерал-губернатор важнее и главнее, но Брыкаев сильнее. Слово «полицеймейстер» давно исчезло из городского обихода. Говорят: «Полковник», говорят: «Брыкаев». Фамилия стала нарицательною. Когда Брыкаев умрет или будет смещен, о преемнике его наверное и долго будут говорить: «Наш новый Брыкаев». А старый настоящий Брыкаев останется жить в городских сагах, и о нем будут рассказывать анекдоты — фактические и выдуманные, — по крайней мере, три местных поколения, вперед лет на тридцать, а то и на все пятьдесят. Ибо:

— У других — волки, а у нас — отец!

Что генерал-губернаторов и прочего высшего начальства видел над собою и сменил недвижный полковник Брыкаев, — трудно исчислить. Сановники менялись, но режим держался почти без колебаний. И не то чтобы полковник каждого нового отца-командира перегибал на свою линию. Напротив, гнулся, как будто, он, а не они. При начальнике зверообразном Брыкаев сам делался зверь зверем, при либерале — либеральничал. Но и лютость зверя, и гуманное воркование либерала — одинаково — оказывались вскоре лишь числителями в дроби житейской, коей неизменным и постоянным знаменателем оставался он, незаменимый и несменяемый полковник Брыкаев. И — одинаково при всех генерал-губернаторах — обыватель твердил скептически и безнадежно:

— Этого зверя мы в ползверя видим. Полицеймейстер у нас порядочный человек. А кабы не Брыкаев...

— Видали мы их, благородных да гуманных! Мягко стелят, да жестко спать. Полицеймейстер у нас порядочный человек. А кабы не Брыкаев...

На почве сей полицейской идиллии расцветали обывательские чувства и соответственные им афоризмы красоты и логики изумительной. Порядочность Брыкаева была в молчаливом единодушии признана феноменом настолько исключительной редкости и общеполезности, что решительно никому в городе не жаль было поддержать ее нерушимую длительность воздаяниями посильной мзды. Сила Кузьмич Хлебенный был человек независимый: хвастался, будто — с какою бы свирепою властью предержащею ни столкнула его деловая судьба, он еще никогда никому не платил взяток, не платит, да и впредь платить не намерен. Уличали его:

— А Брыкаев? Он же от вас чуть не министерское жалованье получает?

— Совсем не жалованье-с, но-стипендию-с. Ибо по натуре и должности — предназначен он быть свиньею, а, заместо того-с, предпочитает и обучается быть порядочным человеком-с. Как же этакое не поощрить-с? Разве я не понимаю, сколь ему трудно-с? От свиньи откупаться за стыд почту-с, но для порядочного человека стипендия у меня всегда готова-с.

И с тех пор сделалась взятка в городе N. не свидетельством порочного мздоимства, с куплею-продажею законности, но премией за гражданскую добродетель и аттестатом на служебную порядочность. И никто в городе не говорил о Брыкаеве:

— Взяточник.

Но:

— Наш почтенный стипендиат.

Столь успешно и тактично устрояя свои отношения сверху вниз, не менее преуспевал Брыкаев в отношениях, которые обязывали его взирать снизу вверх.

Приезжал из Петербурга грозный генерал-ревизор, когда-то полковой товарищ Брыкаева. Вместе переходили Балканы и брали Геок-Тепе. Ехал и заранее сам смущался: как ему теперь встретиться и обойтись со старым камрадом-ровесником, застрявшим в провинциальных полицеймейстерах? Сам-то генерал уже в министры лез и сиял именными вензелями на эполетах. Но Брыкаев и тут поставил себя так ловко и умно, с достоинством услужливо, без наглости самостоятельно, — что — на прощальном обеде, данном именитому гостю от синклита городского, — его превосходительство расчувствовалось и в подпитии само возговорило к бравому полицеймейстеру:

— Послушай, Брыкаев. Ведь, кажется, мы когда-то были на «ты»? Почему же ты говоришь мне «вы» и «ваше превосходительство»? Мы здесь, слава Богу, не при исполнении служебных обязанностей. Зови меня «Яша» и «ты».

Брыкаев от пьяного великодушия и опасного брудершафта искусно отшутился, но — назавтра при проводах ревизора, откланиваясь его превосходительству — сумел среди громких официальных приветствий преловко шепнуть — так, однако, что слышали два-три влиятельных городских чина и, в том числе, генерал-губернатор:

— За твою вчерашнюю ласку благослови тебя Бог, старый товарищ! Ты воистину великий человек! Дай Бог видеть тебя министром и графом... Ты спасешь нашу великую общую мать Россию!

Его превосходительство уехало, растроганное, а Брыкаев вскоре получил награду через очередь. И — от генерал-губернатора до последнего чинушки в городе — все знали отныне:

— Брыкаев человек с тактом и знает свое место. Но — его голою рукою не тронь! Потому что есть у него в Петербурге такие «ты», что в случае надобности только помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!

И, зная, ходили опасно.

Полковник Брыкаев был далеко не трус, но и не рискун. Когда началась революция, никто не мог обличить его, будто он попятился в задние ряды и присел за спины и фалды своих подчиненных. Но и пылкой готовности подставлять лоб свой под пулю браунинга либо живот под осколок бомбы он тоже не выказывал. «Союз русского народа» был им недоволен, но не имел причин к буйному протесту: сколько «надо» по порядку морд разбить — разбито; кого «надо» пороть — выпороты; обреченные обыскам — обысканы; обреченные узилищу — сидят; «жид» выселен — аккурат в той препорции, как предписывают временные правила, и без малейшей поблажки в сроках и способах отбытия. С другой стороны — на революционной левой — полковник Брыкаев, конечно, не мог заслужить чувств доброжелательных, но — покушений на жизнь его не было, чего только он и желал. И даже неоднократно о нем слыхать было можно:

— Полицеймейстер Брыкаев — сравнительно еще возможный человек.

Ибо «морды» разбивались, но не вдребезги; порки производились, но не до полусмерти; обыски свершались, но с извинениями; узилища были полны, но с пленниками обращались вежливо; «жид» выселялся, но без большой слежки за обратным въездом в город через другую заставу.

Полковник Брыкаев ненавидел революцию. Но и ненавидел он ее по-особенному — не как полицейские ненавидят, а как — купцы, фабриканты — все, для кого революция выражается торговым кризисом и застоем в деле. В городе говорили, что Брыкаев состоит негласным пайщиком во многих торговых и промышленных предприятиях и сам давно уже — не столько полицеймейстер, сколько купец в полицейском мундире. Он женат на дочери крупного местного коммерсанта, и — зять командует в городе совершенно тем же манером, как тесть — у себя в магазинах и на фабрике.

Рабочих Брыкаев держит в хозяйском кулаке. Со студенчеством любезен, но втайне ненавидит его, потому что, по старинному предубеждению чиновника девяностых годов, еще верует, будто — «это студенты мутят рабочих». По секрету и с глаза на глаз со своим человеком Брыкаев почти равнодушен к политике. Все политические возможности он рассчитывает, примеряя от своих домашних планов. Реформы «весны», конституция, реакция, Дума — все это для его полицейской философии — слова, слова, слова. Его глубокое убеждение, что в современности какую форму правления ни учреди, хотя бы самые, что ни есть, Северо-Американские Соединенные Штаты, все равно без полиции — она не останется. А — ежели будет полиция, то, стало быть, будут и полицеймейстеры, а ежели будут полицеймейстеры, то, стало быть, и без Брыкаевых не обойтись. Зато одно слово «забастовка» уже вызывает бешеную пену на его алые губы, каждый «профессиональный союз» вызывает в нем жажду зуботычин, нагаек и расстрелов. Этот купец-полицейский инстинктивный, полусознательный враг именно социальной революции. Он не боится ни баррикад, ни красных флагов, ни прокламаций, с криками о республиках и федерациях. Это, по его скептическому наблюдению и убеждению, все — шум слов, громкие разговоры. Его заставляют бледнеть только рабочие не у станков, остановившиеся машины, погасшие домны, закрытые фабрики.

— В чем дело, господа?

Брыкаев стоял пред молодежью, бравый, молодцеватый, держа руки с тою специальною грацией, которая развивается в этих оконечностях только у людей полупочтенных профессий, обязанных обладать инстинктивным тактом, — кто примет и пожмет их руку, кто — нет, — и ежели ненароком ошибся, и осталась рука висеть в воздухе, то умей даже и сей

неприятный казус пропустить весело и незаметно, будто ты и не давал руки, а так только — замахнулся ею почесать нос собственный.

Ему ответило враждебное молчание, полное укоризненных, сердитых взглядов. Молодежь не условилась, кто будет говорить, и теперь замялась в ожидании почина. Но одна из курсисток произнесла вполголоса:

— Потому что бесправие и произвол... это — свинство!..

И тогда заговорили все сразу. И стали наступать на Брыкаева, и махать руками, и кричать сердитыми, высокими голосами, словно в непрерывном пении молодых петухов.

— Господа, — улыбнулся Брыкаев кротко и беспомощно, — будьте так любезны, пусть говорит кто-нибудь один... так, — я ничего не пойму: природа одарила меня только двумя ушами.

Осилил шум густым голосом и складно заговорил студент-медик, высокий, красивый парень с румяно-смуглым круглым лицом и серьезными чистыми глазами умного ребенка. По борту мундира висела у него алюминиевая цепочка и — покуда студент говорил — с жестокостью теребил ее толстыми красными пальцами. Цепочка не выдержала — разорвалась. Студент сконфузился и потерял нить речи, словно в оборванной цепочке таился весь его ораторский секрет. Заплел, замямлил, заповторялся.

— Ничего-с не понимаю, — сожалительно вздохнул Брыкаев, — извините-с, но решительно ничего-с... Извольте объясниться удовлетворительно.

Студент густо покраснел и — в скрытой, презрительной язвительности полицеймейстера будто нашел себе нравственную опору.

— Я спрашиваю от лица моих товарищей: на каком основании сегодня нас не допускают в ложи более, чем в количестве пяти человек?

— И стоячие места в проходах уничтожили! — рявкнул незримый бас.

Он был такого маленького роста, что его не видать было из-за других, но громыхал голосиною — как из бочки.

— По правилу-с, — любезно поклонился полицеймейстер. — На законнейшем основании. Есть такой пункт в арендном контракте между городом и г-жою Савицкою. Сверх того, полицейские правила общественной безопасности...

Все глаза обратились на Елену Сергеевну. Она — издали, нехотя, — кивнула головою: да, есть, мол, такой пункт. Все заговорили:

— Но в практике театра установился прецедент...

— Абсурд и нонсенс!

— Это правило никогда не соблюдалось!

— Просто, — полицейские крючки!

— Преспокойно ходили, сколько влезет!

— Придирка и произвол!

— Мы не в состоянии впятером платить за ложу десять рублей!

— Вы хотите отнять у студенчества любимый наш театр!

— Господа, — возвысил голос Брыкаев, — правило есть правило. Дура лекс сед лекс*, — щегольнул он латынью. — Если существовало и длилось привычное правонарушение, об этом можно только сожалеть, но — вы сами законы изучаете: изумляться, что правонарушение прекращается, и негодовать на то — по меньшей мере, странно-с.

— Да помилуйте! У нас сегодня десятки складчин.

— Разве можно так неожиданно?

— Без предупреждения?

— Закон обратного действия не имеет!

— Что же нам теперь — жребий бросать, что ли, кому оставаться в театре, кому идти по домам?

---

* Закон суров, но это закон (*лат.*).

— Коллеги ждут на улице, их даже в театр не пускают!

— А! я согласен! — сладко возразил Брыкаев, — то обстоятельство, что вы, господа, не были предупреждены, конечно, неудобно и свидетельствует о некоторой небрежности. Но тут уже не наша вина: мы не обязаны... спрашивайте с дирекции. Это — интерес театра.

— Позвольте, полковник! — гневно остановила его Савицкая. — Вы не имеете нравственного права бросать в меня подобным обвинением.

— В вас? Елена Сергеевна! — даже ужаснулся Брыкаев. — Как вы могли подумать? Смею ли я? Я говорю, что дирекция снебрежничала, — разве я против вас?.. Где же вам входить во все мелочи?.. Ну, Риммер прозевал, Ландышев не распорядился, — вот что я имел в виду, а совсем не то, чтобы сказать вам неприятное.

Но Савицкая предложенной позиции не приняла и своей не уступила.

— Вы слишком хорошо знаете, полковник, что дирекция — это я. Я — и никто другой. Ну-с, и я не принимаю на себя этой ответственности с больной головы на здоровую. О вашем распоряжении я до настоящей минуты знала столько же, сколько вот все они, господа публика. Ваша бумага пришла к нам в театр только в четыре часа дня. Я нашла ее у себя в режиссерской всего лишь несколько минут тому назад...

Брыкаев кисло улыбнулся.

— А зачем же вы не изволили прочитать ее в четыре часа дня? Надо было прочитать в четыре часа дня.

— Очень много помогло бы это! — презрительно бросила ему Савицкая. — Вы сами, полковник, понимаете, что анонс не может быть оповещен по городу в какие-нибудь три-четыре часа.

— Тем не менее, — возразил Брыкаев, — вы сами констатируете, что и в эти три-четыре часа дирекцией не было принято никаких мер.

— Я же говорю вам, что меня даже не было в театре.

— Согласитесь, что мы не виноваты, если вы не изволите бывать в своем театре.

Тон полицеймейстера был вежлив, но проскакивали в нем двусмысленные вызывающие ноты, говорившие Савицкой о внезапной, новой, тайной вражде.

«Что-то не чисто, — подумала она, — слишком много готовности принять скандал».

И — уже готовая было вспыхнуть — она овладела собою.

— Мой контракт, на который вы ссылаетесь, — начала она холодно и веско, — не обязывает меня проводить в театре 24 часа в сутки. Но сегодня, — уж если на то пошло, — я не могла быть в театре именно по вине городской администрации. Потому что сегодня меня вызывал генерал-губернатор. В то время как вы прислали мне свою бумагу, я сидела в приемной его превосходительства... Могу прибавить, что в беседе его со мною не было ни одного слова о распоряжении, которое вы нам предъявляете.

Брыкаев осекся и сел, но не сдался.

— Вы принимаете мое распоряжение, как обиду какую-то, — сказал он с любезною досадою. — А между тем оно было только актом вежливости. Мы совсем не обязаны предупреждать вас о пунктах вашего контракта, которые вы сами должны знать. Что в ложах нельзя помещать больше пяти человек, это вам известно не с нынешнего и не со вчерашнего дня, но уже тринадцать лет...

Елена Сергеевна, не отвечая, обратилась к студентам:

— Моя цель, господа, достигнута: вы сами слышали лично от господина полицеймейстера, что стеснение, которое вы испытываете, вызвано не моими действиями, и я не преследую в этом случае никаких корыстных целей...

Молодежь зашевелилась, загомонила.

— Помилуйте! Кто же сомневается?

— Университет знает вас не первый год!

— Но как же мы теперь устроимся с товарищами?

— Ведь ждут!

— На улице, под дождем!

— Скандал может выйти!

— Человек десять я могу принять в директорскую ложу, — сказала Савицкая, — ну а в остальных, уж извините, — оказывается, — я не властна... Постарайтесь войти в соглашение с господином полицеймейстером.

Но Брыкаев поднял обе ладони щитками, точно архиерей, благословляющий народ.

— Я ничего не могу, господа, — я тоже не своею волею командую, у меня есть свои предписания... Меры городской безопасности...

— Вы напрасно спешите отказывать, полковник,— спокойно остановил его один из студентов — длинный, тонкий, задумчивый человек с профилем молодого Дон Кихота, освещенным синими глазами тяжело, покорно и сознательно больного. — Мы ничего не просили у вас.

Брыкаев посмотрел на студента, ничего не сказал, но запомнил его физиономию.

— Да и не просим! — зароптали другие.

— Слишком много чести!..

— Мы желали объясниться с госпожою Савицкою, потому что привыкли ее уважать...

Брыкаев пропускал мимо ушей неприятные возгласы, всплывавшие на ропоте, будто пена на сердитом потоке, с невозмутимым лицом человека, видавшего всякие виды и стоящего настолько выше непокорной толпы, что для нее у него нет ни глаз, ни ушей, ни ответа.

— Итак, — обратился он к Савицкой, — насколько я могу понять, инцидент исчерпан? Вы не нуждаетесь более в моей помощи?

— Помощи вашей я и не просила, — холодно оборвала его директриса, — мне нужны были ваше присутствие и личное свидетельство, совсем не ваша помощь.

— Браво, Савицкая! — громыхнул незримый бас.

Молодежь окружила Елену Сергеевну, жала ее руки, кланялась, благодарила. Брыкаев нашел момент удобным, чтобы удалиться с честью. С тонкою улыбкою на усатом лице он отступил от группы, лихо повернулся па каблуках и вышел из фойе, высоко неся голову и оглашая коридоры тем особо шикарным звяканьем шпор, которым щеголяют только жандармы и полицейские, любящие напоминать и людям, и самим себе, что они когда-то были настоящими кавалеристами.

В успокоение молодежи Савицкая обещала предоставить шестое представление «Крестьянской войны» в пользу недостаточных студентов университета. Депутация ушла восхищенная, осыпая директрису возгласами благодарности и восторга. А подле Елены Сергеевны очутился хмурый, озлобленный Риммер.

— Я боюсь, Елена Сергеевна, — заговорил он поспешно и возбужденно, — у нас в театре скандал готовится.

— Очень может быть, — сказала она вялым голосом.

— Студентов в ложи не пускают, стоять в проходах не позволяют, — а между тем на галерее и в купонах такая сволочь понабралась, что я подобной у нас в театре и не видывал. Человек пятнадцать. Это все — «Истинно-русский Обух»... Самые погромные рожи.

— Если у них есть билеты, что же мы можем сделать? Ну предупредите полицию.

— Помилуйте. Брыкаев только усами шевелит да в глаза смеется... Тут что-то не чисто. Нет, будь что будет: пока что, я уж своими средствами. Состав капельдинеров на верхах утроил, — всех туда послал, которые поздоровее. Чтобы — чуть скандал — хватали молодчиков и — за шиворот — в коридор.

— Смотрите, чтобы свои от усердия не устроили скандала хуже чужих.

— Нет, там у меня контролер умный.

— Кто такой?

— Новенький: Аристонов.

— Это — которого Берлога рекомендовал?

— Да, протеже госпожи Наседкиной.

— Я предпочла бы другого. Он сам разбойником смотрит.

— Зато красавец-то какой. Во фраке — прямо картина. На женской половине у нас — между хористками, статистками, портнихами, горничными — чисто землетрясение... С ума посошли.

— Мориц Раймондович на сцене?

— Надо полагать, потому что в оркестровой их нету.

— Пора бы начинать.

— Ждут вашего родительского благословения.

— Пойдемте.

XVII

Объяснение Елены Сергеевны с генерал-губернатором было не из приятных.

Владыка края был человек не злой и не глупый, не без образования. Смолоду «хватил Европы» и в свое время молодым свитским генералом даже карьеру начал и сделал через скромную придворную оппозицию «Звездной палате». В «сферах» он слыл либералом. Разумеется, от вельможного расчетливого либерализма его никому на Руси не было ни тепло, ни холодно, и ни одна соломинка не шевельнулась ни вправо, ни влево. Но на однообразной серой картине петербургского раболепства генерал отсвечивал все-таки розовым пятном, которое созерцали не без удовольствия и сословной гордости даже те, кому он оппонировал. Вот — дескать — все говорят и пишут, будто у нас, куда ни кинь, — либо лакей, либо дикий бурбон, а мы, между прочим, даже вон какого

фрондера и рыцаря терпим в среде своей, — и ничего, очень им довольны.

Служил генерал давно и хорошо — с умением и счастьем. Желать в смысле карьеры ему оставалось уже очень немногого вообще, — и ничего такого, что он ценил бы выше возможности безбедно и богато просуществовать еще лет двадцать пять живым и неискалеченным стариком. В отставку он не уходил, потому что — «на это дурно посмотрят», а он не привык, чтобы на него дурно смотрели, он не рожден был для опальной тоски. Да и не дополучены были еще два-три отличия, завершающие предел карьеры российского честолюбца, и без которых кончать неловко — обидно пред ровесниками. Но генерал-губернатор очень хорошо знал, что для получения этих отличий ему уже нет надобности беспокоить себя какими бы то ни было проявлениями служебной энергии сверх положения, — достаточно просто оставаться на действительной службе и не «манкировать». Подобно тому, как к капиталисту, нажившему коммерческими оборотами десять миллионов, затем — даже если бы он преднамеренно сократил свой приобретательный пыл — уже не может не прийти в естественном притоке доходности миллион одиннадцатый, — так точно и карьерист высшего полета, наследственный и благорожденный, раз груди его коснулся Белый Орел, уже механически движется простым тяготением времени к андреевской ленте, к портретам, осыпанным алмазами, переменам титула и т.д. Штукою делается — лишь дожить обычные для того сроки, катясь от одного к другому, по инерции. Лишь бы смерть не предупредила, а уж государство пожалует. Специальные заслуги выдающейся личности в состоянии сократить эти сроки, но отсутствие заслуг не отменяет векового движения наградной машины. Его нарушает и тормозит только ложный шаг, ошибка, промах, возбудившие явное неудовольствие «сфер». Так как не ошибается только тот, кто ничего не делает, то и, обратно, чтобы не оши-

баться, наилучший рецепт — делать как можно меньше. В высокой русской бюрократии — вероятно, со дня ее возникновения — знаменитый рогатый силлогизм о черепахе, обгоняющей Ахиллеса, безмолвно принят, как неопровержимая истина, как железный закон, против которого прати могут лишь неустойчивые умы да беспокойные выскочки. Быстроногим Ахиллесам, будь они хоть семи пядей во лбу, все же свойственно время от времени кувыркаться в придорожные рвы и канавы, увязать в болотах и испытывать при этом членовредительства, часто последуемые инвалидностью. Черепаха же от всех подобных неприятных рисков избавлена и — знай себе, festinat lente *, здоровая, спокойная, самоуверенно методическая. Не делая ни шага в сторону ни для кого и ни для чего, она приползает к Ахиллесовым целям, — правда, лет на 25 позже, чем мог бы добежать Ахиллес, но в карьере важны только изъявительные факты, а сослагательное наклонение не считается. Случайный удачник, который, быстро взлетев по лестнице чинов и отличий, «чуть-чуть не попал в министры», «чуть-чуть не был назначен в генерал-адъютанты», в гораздо меньшей степени человек будущего, чем «природный» вице-директор департамента, для которого быть когда-нибудь министром — вопрос естественного бюрократического хода в течение пятнадцати-двадцати лет; чем эскадронный командир в аристократическом гвардейском полку, который знает, что если он останется служить до старости лет, то быть генерал-адъютантом — для него — нормальное предназначение, а все, что может отстранить от него сей светлый фатум, есть служебная аномалия, коей надо избегать паче всякого смертного греха. И возможно избежать, и должно, потому что сии аномалии — не стихийны, но рукотворны: от людей исходят, людьми прекращаются и в людях исчезают.

* Торопись медленно (*лат.*).

Генерал-губернатор был не трус. Но он любил свое здоровое, холеное тело, свет дня, удобное богатое жилище, тонкий обед, приятный карточный стол, красивых женщин, дорогое вино, сияние мундира, мраморы дворцовых зал, улыбку власти: иметь возможность всего этого определяло для него жизнь. Когда он думал о смерти, мысль слагалась в том роде, что — вот будет темно и сыро, надо будет неподвижно лежать под землею в шести досках, заключенных в свинцовый ящик, и не ты будешь есть вкусные entremets *, приготовленные поваром Фомою, но тебя самого съест какой-то глупый и противный червь могильный. Хотя и libre penseur **, генерал добродушно и искренно верил, что есть такой особый и специально для человеков приспособленный червь. Однажды он даже огорчился несколько, когда сынишка не мог разыскать ему сие достопримечательное кольчатое или коленчатое в «Жизни животных» Брэма. Идея, что труп человеческий кишит в разложении своем такими же червями, как всякая падаль, показалась его превосходительству столь же оскорбительною, как если бы его денщику, унтер-офицеру Остолопенко, присвоены были генеральские эполеты. Своего специального могильного червя он почитал как бы родом посмертного ордена, что ли, какого-то, выдаваемого человеку за его первенство и выслугу в природе. Человек — среди тварей земных — генерал, ему полагается червь могильный, приползающий неизвестно откуда, высокого чина его ради. Собака, корова, лошадь и прочие существа, имеющие вместо души пар, — рядовые на лестнице природы, — разлагаются просто, с самозарождением червя обыкновенного. Отпущен ли могильный червь для евреев, генерал втайне сомневался, но в виде либеральной уступки духу времени допускал, хотя и скрепя сердце.

---

* Легкое блюдо перед десертом (*фр.*).

** Свободомыслящий (*фр.*).

Генерал-губернатор имел семью — спокойную, приличную, удобную. Жена не мотала денег и не брала взяток, любовников меняла редко и тихо, без огласки, и сохранила еще достаточно привлекательности, чтобы мужчины ее желали и искали, а не она мужчин. Значит, в доме не звучала ревность, не плодились скандалы. Взрослые сыновья хорошо поставлены на ноги, один в лучшем гвардейском полку, другой — атташе при видном, дающем ход, посольстве. Долги делают умеренно, играют, пьют, развратничают не более того, сколько полагается, чтобы не вносить диссонанса в тон той безумно-богатой, высокопоставленной и праздной молодежи, среди которой и посредством которой им приходится делать блестяще начатую карьеру. Замужняя дочь, правда, разводится с мужем, но в высшей степени достойно и прилично, и свет на ее стороне. У нее есть богатый и красивый, с княжеским титулом, жених-любовник, за которого она выйдет после развода. Но сейчас они живут — она в Биаррице, он — в Москве, и весь Петербург, созерцая эту корректнейшую драму, сочувственно вздыхает: cette pauvre Hélène!..* Младшие дети отлично учатся. Все члены семьи в наилучших, дружеских отношениях. Ни интимности, ни любви, ни фамильярной дружбы, конечно, не допускается. Эти человеческие слабости свои его превосходительство помещает уже восемнадцатый год в квартире и особе некоей госпожи Тальянчиковой, когда-то первой красавицы петербургского кордебалета, ныне необычайно похожей на холмогорскую корову, одетую в японское кимоно: из этого малопатриотического, но удобнейшего туалета госпожа Тальянчикова не выходит двадцать четыре часа в сутки. Она считает генерала величайшим человеком в подлунном мире, он ее — бескорыстнейшим и вернейшим существом, в чем, пожалуй, и не ошибается. Есть дети. Тоже где-то учатся в иногородних учебных заведениях, и намечены для них приличные средние карьеры. Но о них

* Эта бедная Елена!.. (*фр.*)

не принято говорить. И, если в вакантные недели года они навещают город, то останавливаются не у матери, а у тетеньки Надежды Ивановны. Г-жа Тальянчикова «не берет». Тетенька побирает, но скромно — больше люстрином и шепталою. От сложных ходатайств и крупных предложений отмахивается руками, с ужасом, так как не в состоянии вместить. Вообще от возможности скандала с этой стороны генерал-губернатор навсегда и очень счастливо застрахован. Он достаточно умен, чтобы понимать своих чиновников, и достаточно осторожен, чтобы подписать важную бумагу на веру, не читая. У него есть фавориты и льстецы, но нет человека, которому он верит безусловно. Поэтому ввернуть ему «коку с соком» довольно мудрено, и — в карты со своими подчиненными он играет охотно, но интриг не боится.

Жизнь, устроенная так благоразумно, полно и корректно, чего-нибудь стоит, черт возьми! Поэтому житейский идеал генерал-губернатора формулируется просто: «Андрей Первозванный», но — без пули террориста в висок, без осколка бомбы в брюхе. Поэтому он — тихий, но злейший враг всяких историй и большой скептик по части «революции». Он признает ее наличность лишь постольку, поскольку то предписано из Петербурга. Генерал-губернаторство его считается самым спокойным в России. Крайняя правая печать на него за это, что называется, собак вешает и зовет его лапшою в эполетах, жидовским батькою и т.д. А какой-то инок-демагог даже предал его гласной анафеме с церковного амвона. Однако генерал-губернатор, твердо веруя, что в Петергофе и Царском Селе «его знают», предпочитает анафему браунингам и ведет свою политику тонко. Инока-демагога он выслал за пределы вверенной ему области, а для равновесия пересек в пяти деревнях десятого, закрыл и конфисковал несколько газет и конфирмовал два смертных приговора над какими-то экспроприаторами, столь темными и сомнительными, что и сама революция за них не весьма обиделась. Если потребуют

того положение дел и мирное течение карьеры, генерал еще расстреляет и повесит, сколько надо, и еще, и еще. Без угрызения совести, но и без хищного аппетита. Лично — он предпочел бы не вешать, но — «Россия ожидает, что каждый исполнит свой долг». И он исполняет. Во дни, когда генералу приходится конфирмовать смертные приговоры, у него разливается желчь. Домашние очень жалеют его тогда и говорят: «Ах, бедный!..» Г-жа Тальянчикова служит в местном монастыре заздравный молебен и ставит угодникам толстейшие свечи. В самом генерале акт конфирмации — нельзя сказать, чтобы вызывал особенно бурные эмоции. Но все же, подписывая, он бывает хмур и неизменно думает про себя: «Только бы не позвали в министры! Ни за что!»

Принял Елену Сергеевну генерал-губернатор в высшей степени любезно, — не заставил ждать ни одной минуты, встретил у дверей кабинета, почтительнейше усадил в кресла и даже сам сел не прежде, как — со старомодною, времен Александра II, грацией — извинился за свои стариковские немощи... Прошло добрых десять минут в комплиментах и эстетических восторгах. Генерал-губернатор восторгался Савицкою в «Роберте-Дьяволе» и уверял, что она поет Алису гораздо лучше Штольц, которую он слышал еще корнетом сорок лет тому назад.

— Вас, Елена Сергеевна, тогда и на свете не было... Ха-ха-ха! Вот какой я старый старик... Ха-ха-ха!

Савицкая видела, что генерал конфузится, тянет время, и начинать объяснение приходится ей. Она выждала удобную паузу и приступила к делу.

— Ваше превосходительство желали меня видеть...

В молодых глазах генерала погас веселый, голубой смех, румяное лицо одряблело и скисло, седые бакенбарды сразу утратили свою лучезарную пушистость и из серебряных будто стали никелевыми, — он сразу весь померк.

— Да, позволил себе немножко побеспокоить вас... уж извините старика... Опера там у вас какая-то... «Восставшие мужики»... или как?

— «Крестьянская война»...

— Да, да... все равно... Ну... нельзя ее ставить. Буду просить вас отменить.

Елена Сергеевна смотрела генерал-губернатору прямо в глаза, и это его смущало. А между тем она думала совсем не о нем. В ней плыли сейчас странные, двойственные мысли. Генерал-губернатор своим распоряжением — если не разорял театра, то во всяком случае наносил ему страшный материальный удар, пуская насмарку план всего сезона. Постановка «Крестьянской войны» стоила дирекции огромных денег, и у Савицкой не было в запасе не только равносильной, но хотя бы сколько-нибудь интересной новинки, способной стать «гвоздем» для публики и Маскоттою для кассы. Но, с другой стороны, директрису, как вихрь горячих искр, пронизал и потряс поток почти радостных надежд: «Но ведь это же счастливейший компромисс. Если «Крестьянскую войну» снимет со сцены force majeur*, то исчезает само собою главное неудовольствие, расщепившее нашу труппу, создавшее партии, оторвавшее от меня Андрея... Мы можем отлично помириться на почве общего несчастия... И — затем, какой бы успех ни имела его возлюбленная Наседкина — в старом репертуаре, рядом со мною она для меня не оскорбительна, она не может раздавить меня, сделать ненужною в моем собственном деле, как было и есть в этой проклятой «Крестьянской войне»... Ах, за все это стоило бы заплатить даже вдвое! Это — все равно — что снова на рельсы стать... Но — бедный Нордман! бедный Нордман!»

---

* Форс-мажор (*фр.*); непреодолимое препятствие; чрезвычайное обстоятельство.

И, спохватившись, она отогнала от себя нечистые мысли — вовремя, потому что генерал-губернатор смотрел на нее не без изумления и говорил:

— Ну я очень рад, видя, что просьба моя огорчает вас гораздо меньше, чем я опасался.

Елена Сергеевна овладела собою.

— Я буду вполне откровенна, ваше превосходительство, — сказала она. — Для меня лично тут весь вопрос — в материальном уроне. Он ужасен, я не знаю, как мы его вынесем. Но я привыкла считаться с материальными вопросамисвоего дела уже во вторую очередь. Вот почему ваши слова не поразили меня таким непосредственным отчаянием, как вы ждали. Как артистку, меня отмена «Крестьянской войны» не столько ужасает, потому что я небольшая поклонница нового музыкального направления, хотя у автора — Нордмана — талант великий...

— Он жид, конечно, ваш Нордман? — ухмыльнулся генерал-губернатор.

— Ничего подобного: отец — швед, мать — хохлушка.

— А в «Обухе» между тем пишут.

— Ваше превосходительство! Кто же «Обухам» верит? «Обухи» беззастенчивы, когда ненавидят человека и топят его. Я удивляюсь, как они еще вас евреем не объявляют.

— Хо-хо-хо! — заулыбался генерал, — при моей родословной, это было бы несколько затруднительно... Но дело в том, m-me Савицкая, что — кем бы ни был господин Нордман — оперу его ославили революционною и не считаться с этим я не могу...

— Ваше превосходительство, опера прошла установленную драматическую цензуру, афиша подписана полицеймейстером по цензурованному экземпляру...

— Да-с, да-с. Все это я знаю, все это прекрасно. А вот — не угодно ли-с? не угодно ли-с?

И генерал лист за листом подбрасывал к Елене Сергеевне через письменный стол письма, открытки, номера газет с отмеченными синим карандашом столбцами.

— Мне со всех сторон в уши трубят, анонимами сыпят. «Обух» этот — pardon * — подлейший прислали сегодня чуть не сотнею экземпляров...

— Ваше превосходительство, мне остается только повторить вам: кто же верит «Обухам»?

— Я и не верю-с. Если бы я верил, я иначе распорядился бы. Весь этот вопль, конечно, сущая ерунда-с. Уж если от музыки начнут революции приключаться, тогда — чего же остается ждать и что предпринимать? По-моему-с, играть революционно на скрипке или контрабасе столь же невозможно, как эсдекские щи варить или по-эсэрски масло пахтать.

«Послушал бы тебя Андрюша Берлога!» — невольно подумала Елена Сергеевна.

— Но... — извинительно продолжал генерал, поднимая палец, — но... Я прямо вам говорю: я боюсь не оперы этой вашей, но общественного мнения. Общественное мнение возбуждено. Общественное мнение грозит скандалом...

— Ваше превосходительство! Да какое же общественное мнение — «Обух»?

— Мерзавцы! pardon! passez le mot! ** я с вами совершенно согласен, что — мерзавцы. Но ведь они кричат, они в Петербург телеграфируют, за ними — партия, у них — покровительство... войдите же и в мое положение. Мне прямо пишут, что я покрываю своим авторитетом гидру революции, что я небрегу властью, попустительствую крамоле... Действительно, вы правы: недостает только, чтобы меня обозвали полячишкою или жидом!

— Мне кажется, что высокое положение вашего превосходительства...

---

* Простите (*фр.*).

** Простите! Так грубо выражаюсь! (*фр.*)

— Chère dame *, я здесь не всемогущ и не один.

Он интимно перегнулся через письменный стол и, проницательно прищурив глаза, сделавшиеся похожими на синеватые шляпки гвоздей, сказал вполголоса:

— Вы думаете, что за мною разные соглядатаи не смотрят здесь в сотни глаз? J'en ai jusq'ici! ** — он резнул себя ладонью по горлу. — Доносят каждый мой шаг... Я вас, Елена Сергеевна, очень ценю и уважаю, и Берлогу слушать люблю, и о Нордмане слыхал, будто человек талантливый, но — извините, — своя рубашка ближе к телу.

— Ваше превосходительство! — отозвалась Савицкая, понурая, но спокойная. — Вы — хозяин края, вам лучше видеть свое положение, чем кому бы то ни было. Но вы сами говорите, что считаете оперу безвредною.

— О да.

— Во имя чего же вы ее запрещаете?

— Я не запрещаю, Елена Сергеевна, я только выражаю желание, я только прошу вас, чтобы вы ее сняли... Надеюсь, вы не заставите меня сделать из этого маленького одолжения casus belli ***.

Генерал произнес латинские слова, будто французские, с ударениями на последнем слоге.

— Одолжение немаленькое, ваше превосходительство. Оно срывает нам сезон и разоряет нас совершенно. Но вóйны с вашим превосходительством нам немыслимы, и я сдаюсь на капитуляцию по первому вашему требованию.

— Вот это — умница! вот за это — благодарю!

— Но, ваше превосходительство, ответственности пред публикою я на себя не возьму ни в каком случае. Если опера вам неприятна, извольте запретить спектакль — вы!

---

* Дорогая дама (*фр.*).

** Мне это до вот так! (*фр.*)

*** Повод к войне (*лат.*).

— Chère dame! — жалобно сказал генерал-губернатор, — следовательно, вы не поняли? Я именно не хотел бы запрещать, а хочу, чтобы вы сами от вашей «Крестьянской войны» отказались.

— Ваше превосходительство! Это — шелковый шнурок султана. Я согласна положить голову на плаху, но решительно отказываюсь от самоубийства.

— Елена Сергеевна, вы ставите меня в очень щекотливое положение.

— Нет, ваше превосходительство, это вы меня в ужасное положение ставите.

— У меня нет решительно никаких оснований запретить вашу «Крестьянскую войну». Но она не должна идти. Придите же мне на помощь.

— У меня нет решительно никаких оснований отменить «Крестьянскую войну», если вы ее не запретите. Force majeur может лишить меня только сборов, но добровольным отказом я поссорюсь со всею труппою — Берлогою, Наседкиною, Нордманом, даже муж будет против меня... Это — лучше закрыть лавочку. Потому что публика станет на пострадавшую сторону, и репутация театра погибнет. У нашего дела есть традиции, есть направление. Перед гласною неодолимою силою я не могу не согнуться, но тайного компромисса мне никто не простит.

Генерал сделался строг.

— Так что вы предпочитаете поссориться со мною?

— Даже до того, ваше превосходительство. Или запретите, или мы будем играть.

— Я совсем не хочу, чтобы за границей рисовали меня в карикатурах и писали обо мне, будто я испугался каких-то там фаготов или тромбонов!

— А я, ваше превосходительство, совсем не желаю, чтобы карикатура увековечивала меня в роли местной Жанны д'Арк, спасающей вас от «Обуха» ценою какого-то музы-

кального харакири. Вы меня извините, ваше превосходительство, не мое дело критиковать ваши усмотрения, но давление, оказываемое «Обухом» на вашу волю, представляется мне возмутительным.

— M-me Савицкая, я уже имел честь объяснить вам...

— Дайте нам, по крайней мере, однажды сыграть «Крестьянскую войну». Дайте публике видеть, что она представляет собою, и затем — уж если она окажется так преступна — вы можете покончить дело просто, без всяких запретов и неловкостей для вас и для нас.

— То есть?

— Очень просто: полицеймейстер не подпишет новой афиши, — только и всего...

— Гм? А вы на первом спектакле скандал устроите?

— Виновата, ваше превосходительство, но вы ошибаетесь в распределении ролей: это нам грозят скандалом, а не мы грозим...

— Принять вызов к скандалу — уже значит в нем участвовать.

— От кого вы ждете скандала, ваше превосходительство? За постоянную публику театра и за студенчество я ручаюсь...

— Однако мне пишут, что готовится демонстрация?

— Ее не будет.

— На вашу ответственность?

Елена Сергеевна подумала и сказала:

— На мою ответственность.

— Храбро.

— Я уверена, что если бы даже предполагалась демонстрация, то достаточно мне попросить студенчество, чтобы пощадили театр, — и пощадят.

— Храбро, храбро.

— Но, ваше превосходительство, если вы ждете скандала со стороны «Обуха» и компании, то, конечно, мне тут ос-

тается только умыть руки. На этих господ я ни малейшего влияния не имею... да и не желаю иметь, — должна вам сознаться со всею искренностью.

— То-то вот и есть! — проворчал генерал-губернатор.

— Но, ваше превосходительство, я не понимаю логики, по которой театр должен отвечать за скандал, ожидаемый от «Обуха» и черных сотен? Вы хотите наказать за скандал не скандалистов, но жертву скандала. Помилосердуйте. Ведь нам же после того станет жить нельзя.

— Chère dame, вы не хотите меня понять. Я никого не хочу наказывать ante factum *. Мне все равно, с чьей бы стороны ни затеялся скандал. Раз его не было, я не имею ни права, ни желания карать за намерение. Но мне говорят: будет скандал. Я обязан предупредить и устранить предлог к скандалу. А будут ли скандалить студенты или черносотенцы — мне все равно. Я не желаю скандала вообще. Я запрещаю его одинаково и налево, и направо.

— Так вот, ваше превосходительство: запретите скандал направо, а слева — я вам ручаюсь — его не будет.

— Да! Это вы говорите!

— Ваше превосходительство, — возразила Савицкая, помолчав: она видела, что генерал упирается уже не так твердо и попробовала доконать его новою атакою с неиспробованной еще стороны. — Вы опасаетесь демонстрации, которая, если бы даже случилась против ожиданий, может быть подавлена и прекращена в пять минут...

— Вы, кажется, полагаете, что это необыкновенно большое удовольствие для администратора — подавлять и прекращать демонстрации? — вставил генерал-губернатор замечание вскользь, с довольно добродушною ядовитостью.

Елена Сергеевна пропустила фразу его мимо ушей и продолжала:

---

* До того, как что-либо случилось (*лат.*).

— ...А не боитесь, что, отменив оперу только потому, что она не угодна какому-то «Обуху», вы подчиняете и нас, и — уж извините — себя самозванной диктатуре людей с улицы!

— Ого?

— Поверьте. Вы, ваше превосходительство, всегда были добры ко мне, и сейчас мне обидно не только за самое себя, но и за ваш — еще раз извините! — авторитет, которому мы все привыкли подчиняться.

Генерал нахмурился.

— Сильно сказано, madame Савицкая.

Но та шла напролом и va banque *:

— Сегодня же весь город будет знать, кричать и трепетать, что, значит, «Обух» — сила всемогущая вне сравнений, если по первому слову «Обуха» даже полномочный генерал-губернатор спешит сотворить волю его, не разбирая, кто прав, кто виноват...

Генерал совсем наморщился и кисло пошутил:

— Елена Сергеевна! Не забывайте, что мы беседуем все-таки в некотором роде при исполнении служебных обязанностей!

— Ваше превосходительство, я привыкла в деловых своих отношениях считаться всегда с главною и сильнейшею из властей, которые вижу в наличности. По-моему, у нас в городе — такая власть — одна: вы. А вы хотите разочаровать меня и уверить, будто — «Обух»... Что же, — если вы меня обидите, — мне на вас «Обуху», что ли, жаловаться?

Генерал засмеялся и махнул рукою.

— Видно, ворону жаворонка не перепеть... — сказал он с любезностью. — Однако, Елена Сергеевна...

Неизвестно, какой оборот приняли бы эти переговоры, если бы дежурный чиновник не подал его превосходительству записку в узеньком, необыкновенно пестром конверте с пре-

* Ва-банк; идти на риск (*фр.*).

длинным серебряным инициалом «Т»... Генерал извинился, что должен прочитать. От бумаги запахло довольно резкими духами. Елена Сергеевна сообразила, что записка от г-жи Тальянчиковой, и очень приободрилась в своих надеждах. Она знала госпожу эту за фанатическую театралку и поклонницу Берлоги. Пропустить возможность слышать его в новой роли г-жа Тальянчикова почла бы для себя величайшим лишением и жестокою обидою.

«Постой же! Если вы, mon général *, все-таки упретесь, — думала про себя директриса, покуда владыка края пробегал записку, — я знаю, куда поеду жаловаться на вас — прямо отсюда, из вашего дворца...»

Но генерал-губернатор поднял на нее благосклонные, прояснившиеся глаза.

— Вот и еще меня просят, чтобы «Крестьянская война» непременно шла сегодня... В нашем обществе у вас все-таки сторонники...

— И я уверена, что это — лучшие и достойнейшие люди нашего общества! — поспешила подхватить Елена Сергеевна.

Генерал-губернатор таинственно улыбнулся и спрятал записку в бюро.

— Ну-с, Елена Сергеевна, — обратился он к ней, уже опять совсем ласковый и бархатный, и в веселом серебре пушистых седин, — видно, нечего с вами делать. Скажу, как византиец: «Переклюкала ты меня, премудрая Ольга!» Сдаюсь. Давайте торговаться о мире.

— О, с удовольствием, ваше превосходительство. Худой мир лучше доброй ссоры. Торговаться я никогда не прочь. Мое дело — коммерческое.

Торговались минут пятнадцать, любезно и спокойно, без споров, и заключили перемирие на следующих условиях:

* Мой генерал (*фр.*).

1. Сегодняшний спектакль «Крестьянской войны» состоится без отмены, в виде опыта.

2. Если он пройдет без скандала, то к следующим четырем спектаклям, на которые билеты уже распроданы, власти чинить препятствий не будут.

3. В одном из пяти спектаклей генерал-губернатор лично прослушает «Крестьянскую войну», чтобы решить, быть ей или не быть дозволенною к представлению впредь.

4. Елена Сергеевна — признательная за любезность — предоставит в течение сезона три спектакля в пользу благотворительных учреждений, состоящих под покровительством ее превосходительства — супруги начальника края.

5. В случае, если сегодняшний спектакль не обойдется без скандала, весь мирный договор, за исключением пункта 4, считать недействительным.

Елена Сергеевна уехала от генерал-губернатора победительницею, но очень мрачная.

XVIII

Сцена при опущенном занавесе всегда имеет вид хаотический. Все ее условности рассчитаны на зрителя издали. Вблизи на ней все аляповато, грубо, пестро и неуклюже. А главное: сцена — дом о трех стенах, геометрическая трапеция с выломанным основанием. Она никогда не может и не должна о том забывать и приспособляет к тому все свои красоты и необходимости. Поэтому, когда опущенный занавес прибавляет законную четвертую стену, противоестественная прелесть сцены нарушается тем уродливее, чем сильнее ее далекие очарования при занавесе открытом. Голый, темный, глухой, с карнизом электрических ламп наверху, передний занавес давит перспективу, задний декоративный занавес придвигается близко-близко, и сцена обращается в ог-

ромный, ярко освещенный колодезь, заваленный и обвешанный тряпьем, выкрашенным в безобразно-крикливые цвета. Внизу, по дну колодца, двигаются, топчутся, смеются, говорят люди с кукольною раскраскою лиц, приведения с житейскими словами, улыбками и жестами, странными, потому что они не подходят к резкости гримов и необычайности костюмов. Куртки, блузы и рубахи рабочих, черные пиджаки и сюртуки режиссеров и служащих, дамский вечерний туалет или мужской смокинг товарищей, не занятых в спектакле и забегающих на сцену любопытными гостями, еще более подчеркивают сумасшедшую сумятицу стесненных и облитых преувеличенным светом красок. Если смотреть со стороны, то мало что на свете смешнее костюмированного человека с «пиджаком». В лучах верхней рампы гримированные лица все такие большелобые, белые, в лиловатых тенях, так черны усы на них, брови и ресницы. А лица без грима, наоборот, серы, как тени, будто присыпаны землею, и кажутся грязными пятнами, по которым бледно и волнисто расплываются мимические сокращения мускулов. Это мир, где действительность превращается в призрак, а призраки получают наружность действительности.

Здороваясь, кивая и пожимая руки, Елена Сергеевна прошла к занавесу.

— Душа моя! душа моя! — встретил ее седобородый, таинственный в своей шапочке черного мага Захар Кереметев, — наконец-то вы... Ах, я уже из сил выбился!.. Что делают? Что делают? Никто ничего не понимает... всюду приходится работать самому, ни от кого ни малейшей помощи... мы с Эдуардом Фомичом изнемогли!.. Нет, душа моя, баста! Вот — будьте все свидетели: последняя опера, которую я поставил! Не могу! Не просите! Дальше — пусть Мешканов ставит, Петров, Иванов, Семенов, Сидоров... кто угодно, только не я!.. Помилуйте, душа моя: с каждою новою оперою я сознательно чувствую, как из меня уходит вот этакий

кусок жизни... Бог с ним, святым искусством!.. Я еще не хочу умирать. Оно пьет мою кровь, как вампир, и старит меня в один день на десятки лет.

Елена Сергеевна слушала кокетливые жалобы главного режиссера привычным и равнодушным ухом, очень хорошо зная, что и сегодня, как всегда в течение тринадцати лет, Захар Венедиктович — золотой человек для художественного замысла, а в исполнении лентяй и плохой техник — пальцем о палец не ударил для предстоящего спектакля, но сидел в режиссерской, рассказывая Маше Юлович и другим охочим слушателям неприличные анекдоты: что не более, как минут за пять до сигналов, вышел он на сцену, уже в совершенстве слаженную Мешкановым и Поджио, и принялся являть власть: цепляться к мелочам, орать, стучать палкою на статистов и хористов, давать подзатыльники рабочим, переделывать по-своему никому незаметные и ненужные пустяки общей картины, придираться к костюмам и гримам исполнителей вторых ролей... К первачам Захар Венедиктович не очень разлетался с своею командою. Чтобы оборвать добродушную и в глубоком невежестве своем безответно-покорную всему, что ей «образованный человек» велит, Машу Юлович, на это Кереметева еще хватало. Но к Берлоге он, если адресовался с советом, то лишь в самом смиренном, вопросительном и условно-предлагающем тоне. А Светлицкую, например, даже и совсем обходил своим начальственным авторитетом. Та еще на первых порах оперы обожгла сунувшегося было поучать ее режиссера в ответ его мудрому и красноречивому пустословию таким язвительно-вежливым отпором, что бедный Захар Венедиктович даже тринадцать лет спустя еще хорошо помнил, какого дурака свалял он пред этою чертовою бабою. Да еще и — что всего неприятнее — обидеться было не на что, — так вежливо она разыграла его по нотам!..

Между седобородым Кереметевым и худым, длинным, похожим на Дон Кихота в старости, декоратором Поджио,

Елена Сергеевна, в черном платье своем, казалась какою-то темною феей на совете с двумя дряхлыми колдунами. Влюбленный без памяти в свое искусство, Поджио широко таращил мистические черные глаза, водил длинными костлявыми руками перед самым лицом директрисы и бормотал пещерным, сиплым голосом, выдававшим старость, гораздо более глубокую, чем показывали черные волосы, колючие усы и мефистофельская эспаньолка:

— Взгляните, достоуважаемая: на генеральной репетиции вы нашли, что монастырский двор слишком ярок... Нет, многоуважаемая, это не двор ярок, а задний план с горами был темен... да-с! Я ошибся номером света... Взгляните: сегодня — совсем другое впечатление. Хотя на дворе выдержан тот же самый тон, но для гор я нашел новые фиолетовые стекла, бледнее прежних, — и гармония получилась полнейшая... Неправда ли, высокочтимая, ведь вы желали именно так?

Елена Сергеевна глядела на расстилавшиеся пред ее глазами пятна — лиловые, синие, темно-красные, желтые, как золото, бледно-палевые, как слоновая кость, — на полотнища темной, почти черной зелени, с глубоким синим небом вверху, и привычным глазом угадывала в этих пятнах колонны, двор, цистерну — chiostro* итальянского монастыря, резные двери собора, слюдяные окна келий, черепичные кровли, зеленые горные побеги к небу, пасти ущелий, сонные туманы и плывущие облака...

— Хо-хо-хо-хо! Сожжет, многоуважаемая, публику солнцем, опалит ее наш Эдуард Фомич! — суетился и прыгал, шмыгая за кулисы и из-за кулис, совсем захлопотавшийся Мешканов. Бас Фюрст в лиловом полукафтане и с злодейским гримом кардинала Раньери возразил ему, кося глаза, тупо-суровые от привычки к мрачным и злобным ролям:

* Кладбище (*ит.*).

— Ты сперва нас рожей своей не опали. Она у тебя сегодня — пожар: сбор всех частей и при личном присутствии полицеймейстера!

Действительно, бедняга, замотавшись в хлопотах, был красен как рак, горяч, как печь, и мокрее мыши: лысина его даже дымилась как будто... Берлога стоял в первой кулисе, опершись на мотыку, с которою ему предстояло выйти на сцену: в первом акте «Крестьянской войны» Фра Дольчино скрывается под видом садовника в женском монастыре, где заключена как послушница Маргарита из Тренто. Он был нервный и хмурый, но, завидев издали Елену Сергеевну, просиял, сунул свою мотыку ближнему хористу и быстро зашагал навстречу Савицкой, протягивая обе руки.

— Как это хорошо с твоей стороны, что ты пришла, — заговорил он тихо, сердечно, тепло, — я так боялся, что ты не придешь... и так благодарен тебе теперь!

Савицкая возразила тоже тихо и — бесстрастно:

— Как же я могла бы не прийти, когда идет впервые новая опера? Полагаю, что я немножко заинтересована тут. Я — директриса театра.

Берлога страдальчески сморщился.

— Нет, нет. Не говори так безразлично. Я ведь все равно не поверю тебе... Не надо директрисы! Пришла потому, что ты великодушная, потому что ты — друг...

Савицкая спокойно остановила его:

— Не надо так много об этом.

Берлога внимательно оглядел ее.

— Ты чертовски красива сегодня, — сказал он, — но у тебя усталое лицо...

В голосе его звучали совестливые ноты. Елена Сергеевна чутко поймала их и улыбнулась.

— Можешь успокоиться: устала не душою, но телом. Власти предержащие мучили весь день. То генерал-губернатор, то полицеймейстер...

— Да, да, да! — заторопился, заволновался артист, — ну чем же ты кончила с ними? ну что же? ну как же? Расскажи.

Елена Сергеевна коротко и сухо передала ему свой разговор с генерал-губернатором.

Берлога даже побледнел под красками.

— Однако... черт побери! Угощают же нас!.. Черт побери! Что же это? Выходит, что нас посадили под куст, как щедринский волк — виноватых зайцев: может быть, растерзают, а может быть, и помилуют?

Елена Сергеевна пожала плечами.

— Да неужели же, Леля, мы старались и работали только для одного спектакля?

— Увидим...

Берлога тяжело перевел дыхание.

— Ну!.. — вскрикнул он, засверкал глазами и потряс кулаком. — Ну если так... держись же! Покажу я себя им сегодня!.. Хоть в Сибирь потом, а помнить будут!.. Погибни, душа моя, с филистимлянами!

Елена Сергеевна промолчала.

— А ведь это — собственно говоря, против правил, уважаемая... хо-хо-хо! — льстиво и вкрадчиво, но все-таки со звуком выговора в голосе вмешался прислушавшийся Мешканов. — Собственные свои правила нарушает наша милая директриса... да-с!.. Разве можно артисту пред выходом на сцену сообщать неприятные известия? Да еще в новой партии? Ай-ай-ай!

— Пустяки!.. — хмуро отмахнулся от него сильно призадумавшийся Берлога. — Не слабенький я... не из таковских!

— Знаю, что вы не из таковских, — хо-хо-хо! — да порядок-то у нас таковский... хо-хо-хо-хо... субординация того требует!.. Вон — посмотрите: у Риммера в сюртуке карман отдулся, точно он свистнул кассу за все пять спектаклей... хо-хо-хо-хо!..

— Сам не свистни, — улыбнулся Риммер, — а мне не расчет. Я опта придерживаюсь, в розницу не ворую. Уж если украду, все голые останетесь, а по мелочам не стоит мараться.

— Хо-хо-хо-хо!.. А знаете, что у него в кармане? Письма! У нас с ним договор: чтобы ни одного письма, в театр приходящего на имя артистов, занятых в спектакле, не передавать раньше, чем кончит партию... Хо-хо-хо!..

— Да я давно завел это, многоуважаемая, — важно подтвердил, обсасывая золотой набалдашник своей палки, магоподобный Кереметев. — Необходимо. Потому что, ангел мой, — черт его знает, что ему могут в письме писать? Письма, сокровище вы наше, разные бывают. От иного письма у человека, пожалуй, сразу и голос пропадет, и язык прилипнет к гортани... Ты — что крякаешь, Фюрст?

— Вспомнил, как ты утешил меня — в «Севильском цирюльнике» семь лет назад этим самым милым правилом вашим о письмах... Помнишь, Андрей? У меня батька ударом помер... Прислуга прибегает из дома с запискою от жены, а это чучело немецкое, — он важно, широким жестом ткнул пальцем в ухмыляющегося Риммера, — записку себе в карман, а прислугу — из театра в шею... Жена ждала-пождала, не вытерпела, жутко ей одной в квартире с покойником. Тоже прибежала за мною, да прямо и угодила вот на этого соколика...

Фюрст перевел свой грозный палец на Кереметева. Тот закивал своею черною шапочкою любезно и самодовольно:

— Было, было...

— Захар бабу мою, конечно, только что не в объятия принял, но — так и проморил ее битый час в конторе. Тары-бары, ахи-вздохи... уж он ей сочувствовал-сочувствовал, уж он с нею плакал-плакал, уж он сморкался-сморкался!.. Ну и — ни-ни! Не допустил ко мне —до последнего занавеса. Как услыхал по музыке, что финал, так и вздыхать перестал, и платок в карман спрятал. Да еще и выговор жене читает: «Что же, —

говорит, — вы со мною время теряете? Спешите к вашему супругу... Он теперь сирота... Ужасно! ужасно! такая внезапная потеря! ах какая несчастная весть!» Да-с! Так — по милости вашей, голубчики, и ломался я доном Базилио каким-то глупейшим в то время, как — через улицу перебежать — моего отца обмывали и на стол клали...

— Публика, добрейший мой, не виновата, что твой отец вздумал умирать в тот вечер, когда ты был занят в Базилио, — с убеждением и свысока возразил Кереметев, и Риммер одобрительно ему поддакнул. — Если бы знать перед спектаклем, я заменил бы тебя, ангела, другим артистом, хотя и терпеть того не могу, сокровище мое. А выпускать на сцену певца расстроенным или больным... слуга покорный! Еще не прикажете ли анонсы делать? «Господин Фюрст просит у публики снисхождения по случаю постигшего его семейного несчастия»?.. Чтобы публика дирекцию зверями считала: ах, бедный! в каком состоянии эти изверги заставляют его петь!.. Нет, брат! Служить искусству так служить. Раз уже надел ты костюм и вышел на эти подмостки, — Кереметев красиво топнул ногою, — раз тебя осветила рампа, — кончено: отрезан от мира, все там — по ту сторону оркестра и за кулисами — для тебя чужое. Да! На сцене для актера нет ни отцов, ни сыновей, ни жен, ни любовниц, ни горя, ни радости, ни несчастья, ни смерти. Есть только роль и публика.

— La gente paga e vuol si divertir! * — запел Мешканов из «Паяцев».

Елена Сергеевна серьезно возразила:

— Человек, который поет эти слова, однако, зарезал на сцене свою неверную жену.

— И не имел на то никакого артистического права! — возопил Кереметев. — И нарушил тем все свои обязанности к театру. Если хочешь резать жену, то можешь произвести эту милую операцию дома...

* Люди платят и хотят развлекаться! (*ит.*)

Фюрст перебил:

— Прислав предварительно записку главному режиссеру Кереметеву: «Прошу не занимать меня на этой неделе в репертуаре по случаю нервного расстройства, испытываемого мною ввиду намерения убить свою жену...»

— Смейся, смейся. Ride, pagliaccio! * Теперь ругаешься, а тогда сам же благодарил...

— Я — покладистый. Легкие мы люди. У кого из нас характер есть? А вот жена моя — та до сих пор помнит, как ты ее маял... не простила. Строгая она у меня...

— Есть зубок, есть! — даже самодовольно заулыбался Кереметев. — Женщина — всегда женщина...

— Хо-хо-хо-хо... «сказал великий Шекспир — и совершенно справедливо!..» — грохнул Мешканов...

Берлога задумчиво обратился к Елене Сергеевне.

— Знаешь? Кереметев и Мешканов правы... Ты этого, что нам рассказала, не говори Нордману... что его приводить в отчаяние?

— А где он, кстати? — оглянулась по сцене Савицкая, — я не видала его... хочу пожать ему руку... пожелать успеха...

Все захохотали, а Берлога указал глазами на колосники.

— В кукушке. На бедняге лица нет. Совсем больной, — трус этакий, — от страха. Я уже прогнал его со сцены, потому что он невозможен: прямо заражает нервностью. Глаза безумные, косицы эти его бледно-желтые повисли на самый нос, руки холодные, трясутся... точно его сейчас вешать будут!.. И каждую минуту за живот хватается...

К е р е м е т е в. Уж мы Машу, добрую душу, прикомандировали к нему. Она его малиною с ромом напоила.

Б е р л о г а. Б-р-р!

К е р е м е т е в. А теперь как нянька с ним возится, разговорить старается. Но, по всей вероятности, вотще...

---

* Смейся, паяц! (*ит.*)

Берлога. Авторская лихорадка, febris compositorialis! *

Мешканов. В полном разгаре и трепете!..

Кереметев. Эти авторы на первых представлениях — словно роженицы.

Берлога. Да, нашему брату скверно, а уж им — совсем невтерпеж.

Елена Сергеевна внимательно осмотрела Берлогу: он остался для первого действия оперы в своих волосах и почти со своим лицом. Белила и едва уловимые штрихи легкого грима помолодили и одухотворили его уже сорокалетние черты, изрядно помятые и театром, и буйною пестрою жизнью. По беспокойной игре мускулов под подвижною кожею, по живому, отвлеченному блеску глаз, окруженных тенями синей пудры, Елена Сергеевна поняла, что Берлога в большом ударе: успела она изучить его за пятнадцать лет!

— Ты превосходно сделал лицо, — сказала она ему спокойно и доброжелательно, — гораздо эффектнее, чем на репетиции. Боюсь тебя сглазить, но — от тебя дышит вдохновением!.. Я многого жду от тебя сегодня.

Он лишь погрозил опять кулаком на занавес:

— Разнесу!

Нежный, бледно-серый, в тонах gris de perle ** зрительный зал, залитый мягким, ласкающим светом, с тем расчетом и строился в свое время, чтобы успокаивать и умиротворять удобством и красотою даже самых кислых, брюзгливых и раздражительных из числа публики — в России вообще вялой, скучной и геморроидальной. И кресла просторные и развалистые, и скамеечки под ногами, — мягко сидеть, мягко ногу поставить, мягко руку положить. Обаяние театрального комфорта сказалось и теперь. Возбужден-

---

* Сочинительская лихорадка! (*притворная; лат.*)

** Жемчужно-серых (*фр.*).

ная полицейскими придирками на подъезде публика, разместившись в мягкой обстановке, с спокойными красками пред глазами, среди спокойных шелестов и шуршаний по мягким коврам, успокоенная в зрении, слухе, осязании, быстро теряла свою злую нервность. На лицах зажигались улыбки, взгляды ласково искали знакомых, тона разговоров умягчались, мысль отрывалась от недавней напрасно претерпенной неприятности и обращалась к обычным, средним, приятным темам, к которым располагают зрелище и среда большого нарядного общества.

Зал был блестящий на редкость, как бывает только в самые большие праздники искусства. В партере и ложах собралось не только все, что было богатого, красивого, изящного в городе, — указывали приезжих из столиц, меломанов из Одессы, Киева, Варшавы. Юркие репортеры, стоя в проходах между местами, едва успевали записывать имена, которые газеты их должны завтра назвать au hasard *. Дама, ведущая в «Почтальоне» отдел мод, — по мере того как наполнялись ложа за ложею, обращаясь в выставочные витрины дорогих материй, кружев, брильянтов, артистических причесок, обнаженных плеч и, изредка, красивых лиц, — спешно стенографировала туалеты. В зале стоял рокочущий волновой гул густо вздымающегося по ярусам разговора. Верхи почти сплошь сверкали белыми и желтыми светлыми пуговицами молодежи. В проходе самого верхнего яруса на темном фоне студенческих мундиров ярко выделялась широким белым вырезом фрачного жилета могучая и както боевая, будто вызывающая, фигура Сергея Аристонова. Снизу давно заметили эту красивую голову на богатырских плечах. В двух смежных ложах бенуара, сияя почти идольским величием и великолепием, две московские титулованные коммерсантки-миллионщицы, знаменитые на всю Рос-

* Наудачу (*фр.*).

сию своим страстным покровительством искусствам вообще и артистам в особенности — княгиня Латвина, урожденная купеческая дочь Хромова, и графиня Оберталь, урожденная купеческая дочь Карасикова. И — даже эти избалованные полубогини-полуживотные, о которых Москва острила, будто они родились от помеси Мецената с Мессалиною, удостоили поднять бинокли свои на доброго русского молодца, так эффектно скрасившего демократические верха своею разбойничьей статью, и не опускали биноклей долго. Всего же лучше оценила Сергея та странная, необычно темная публика, нашествием которой на верха так беспокоился, докладывая Елене Сергеевне, Риммер. Сергей нарочно поместился как раз вблизи двух таких подозрительных господ, не разобрать — то ли жуликов, то ли сыщиков: один — кучерявый, дремучий, черный, с огромною верхнею губой, другой — тощий, желтый, франтоватый, с наглыми белыми глазами. Ни тому ни другому близкое соседство Аристонова не доставляло, по-видимому, ни малейшего удовольствия. Черный жулик только сердито сопел и таращил глаза на занавес, но блондин сохранял на обглоданном лице своем выражение откровенного разочарования, будто — не терпелось ему свистнуть да примолвить: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А Сережка делал вид, будто совсем этих голубчиков не замечает, и лишь менял позы — одну другой молодцеватее, одну другой выразительнее, говорящие о силе, ловкости и привычке к боевым житейским переделкам.

Прозвонил сигнальный колокол. Двери замкнулись.

Еще гулкий благовест... Еще в третий раз... Свет погас.

Залом овладела напитанная тьмою тишина, полная любопытно-тревожной, ожидающей таинств, внимательной мысли и затаенных дыханий.

И вдруг — рухнуло.

На публику упал из тьмы обвал грома. И был его короткий грохот так огромно страшен, и такая пестрая могучесть прозвучала в его нестройном раскате, что многие в зале бес-

покойно зашевелились на местах своих, охваченные мгновенным испугом, не обломился ли потолок.

Все ждали, а вышла все-таки внезапность.

Пауза. Мрак и тишина. Как легкий ветер, прошло по залу шуршание лепетов отдыхающего испуга, смеющегося или раздосадованного недоумения.

Еще обвал... Теперь уже все распознали в его падении визг и гудение струн и рев меди, — и никто не испугался, — но все широко открыли слух свой, — кто в строптивом негодовании, кто в покорном восторге, но все сразу в жадном любопытстве. Потому что еще не слыхано было от струн, дерева и меди подобного слития звуков, и никто раньше не думал, чтобы пение струны, дыхание дерева и вопль меди были способны к бешенству таких напряжений.

Тьма притаилась, чреватая озадаченными людьми. Ни одного кашля, ни одного чихания.

«Сразу берет толпу», — подумал, довольно ежась в уютном кресле своем, старый критик Самуил Аухфиш, похожий на Мефистофеля, удрученного многолетним геморроем. Он уже читал партитуру «Крестьянской войны», уважал Нордмана и желал ему успеха.

Еще обвал... Еще... Это било по нервам, как обухом.

— Что это? Лавина? Землетрясение? Пушечные залпы? — тихонько шепнула из своей ложи княгиня Латвина в смежную ложу графини Оберталь.

И та шепнула ответ:

—Я не знаю, что это, но если он ударит вот так еще раз, то я закричу...

Но Нордман не ударил.

Тихий, робкий стон запел из глубины оркестра, скрипка и виолончель свились цепью душу раздирающих диссонансов в мучительный плач о помощи кому-то, будто раздавленному тяжкими массами тех недавних обвалов, задыхающемуся и воющему под их рассыпчатым каменным грузом... И, не внемля стону,

мерно и часто дышали в стороне хриплые глухие фаготы, похожие своими ритмическими толчками на ровный стук фабричных машин. И, чем ярче разрастался стон, тем громче и увереннее дышали неуловимые фаготы; чем настойчивее и чаще звучал беспощадный стук фаготов, тем горестнее прорывались сквозь его мерный дробень горькие плачи и визги струнного стона.

Аухфиш растроганно улыбался в темноте и думал: «Да, да, да... Это писал сумасшедший мальчишка, которому Мориц Рахе должен править музыкальную орфографию... Но я слышу, как проклятие труда обрушилось на человечество и раздавило его и, раздавленным, потащило его за собою и под собою — обрабатывать землю в поте лица своего».

А в райке техник шептал медику:

— Вот совсем так-то у нас на мануфактуре ревели бабы, когда провалилась забастовка... Четырнадцать покойников в сарай-то снесли... заревешь!.. Да. Бабы ревут, а фабрика-то идет, машины-то стучат, и горя им, подлым, нету...

Нежно-острые, точно иголочные уколы, высокие-высокие писки флейты piccolo * входят в гармоническое нарастание тягучею, слащавою церковною мелодией...

— Кирие, элейсон! Кирие, элейсон!..**

Звенят пронзительные голоса кастратов.

— Кирие, элейсон! — ксендзовски гнусит ответный гобой.

— Кирие, элейсон! — бряцает арфа серафимов.

— Кирие, элейсон! — звучит и рокочет могучий церковный орган.

Пришли утешители и золотят проклятие труда верою и правду страдания подслащивают упованием божества. Пугают и задабривают. Обещают радости и грозят гневом. Поют славу духа и сгибают тело на колена к подножиям святынь.

---

* Малая (*ит.*).

** Господи, помилуй!.. (*греч.*)

«Кирие, элейсон» завладело оркестром, растет и поднимается,. как стройное и последовательное вспухание гигантской звуковой опары. Вся поверхность звукового моря — торжествующее «Кирие, элейсон». Стоны померкли, почернели, ушли в бездну, в глубь земли, и ворочаются там, на дне Тартара, подобно падшим титанам, заставляя глухо рыдать то струну контрабаса, то пасть тромбона... И еще глубже и глуше — словно тени вековых воспоминаний — рушатся время от времени чуть слышные обвалы... И стучит назойливый хрип станков-фаготов... Предостерегающие ропоты встают из глубин моря. Дышат шахты от центра земли. А наверху праздник...

— Кирие, элейсон! Te, Deum, laudamus! * — торжествует ликующий оркестр — tutti **.

— Кирие, элейсон! Te, Deum, laudamus! — надрываясь, визжат флейты-кастраты. И в лицемерном писке их слышно самодовольство победоносной лжи, ликование цели, оправдывающей средства, праздничное торжество духовного мещанства, пошло-обманное, плутоватое, наглое, бестолковое... Мелодия мечется от инструмента к инструменту угловатыми зигзагами, точно летучая мышь, и гримасничает, как дьявол, костюмированный ангелом света. В глубине — она, трусливо обрываясь, пятится пред стонами павших титанов, наверху, карикатурно модулируя, переливается в злые хохоты над миром, приявшим ее властный обман.

«Вот Кирие, элейсон — драгоценный... для черной мессы!» — подумал Аухфиш и — обрадованный удачным словцом для будущей статьи — чтобы не забыть сравнения, черкнул отметку золотым карандашиком-брелоком на крахмаленом рукаве сорочки.

А занавес распался, и Поджио ослепил публику голубым небом и желтым горячим светом, вызолотившим двор ста-

---

* Тебя, Боже, хвалим! (*лат.*)
** Весь (*ит.*).

рого итальянского монастыря и над ним лысые суровые горы. Медленно двигалась церковная процессия, блестели кружевом и багрянцем мальчики-аколиты, темнели ряды коленопреклоненных бегинок, дымились толстые восковые свечи. Ромуальд Фюрст в фиолетовой мантии важно хмурился из-под балдахина. Все было прекрасно и правдиво, как жизнь, но публика, уже избалованная в этом театре и красотою, и жизнью, смотрела и слушала нетерпеливо: она ждала Маргариту и Фра Дольчино, — Наседкину и Берлогу.

— Кирие, элейсон! Кирие, элейсон!

Последние пары процессии исчезли во вратах монастырского храма... И вот одна из бегинок отстала от подруг своих, замедлила шаг, остановилась у паперти под истуканом гордого Маркова льва, царственно положившего лапу на раскрытое Евангелие, и быстро повернулась лицом к публике... Театр узнал Наседкину.

— О, довольно интересная! — шептала графиня Оберталь.

Латвина сказала:

— Этот коричневый халат ее старит... Но она ужасно похожа на кого-то... Я не могу вспомнить, но отлично знаю это лицо...

По-видимому, знакомым нашел лицо Наседкиной и полицеймейстер Брыкаев, потому что даже слегка подпрыгнул на своем кресле и обменялся изумленным взглядом с жандармским полковником.

Очевидно, лицо Наседкиной оказалось хорошо известным и в дешевых верхах театра, потому что по галерее прошел дружный радостный гул молодых голосов и, хотя в театре Савицкой аплодисменты во время исполнения не допускались, но навстречу Наседкиной прорвались было довольно дружные хлопки.

А Наседкина стояла под сиянием золотых букв Евангелия, как в короне письмен, и пушистые волосы, усыпанные блестящею пудрою, будто пронизанные лучами солнечными, окружали ее голову райским ореолом и делали ее некра-

сивое — так странно знакомое всем — лицо подобным лику святой.

— Это черт знает что! — злобился, кусая усы, Брыкаев. — Дерзость какая! Если она не переменит грима ко второму акту, я остановлю спектакль... Скандал! Безобразие! Вызов! Недостает теперь, чтобы еще Берлога гримировался шлиссельбуржцем каким-нибудь.

Жандармский полковник тоже сидел на иголках и тоже, вероятно, ожидал от знаменитого баритона какой-либо дерзкой выходки, так как, видимо, успокоился, когда Фра Дольчино оказался с лица только Андреем Берлогою, — босым по колено, в синей сборчатой хламиде, вроде нынешней рабочей блузы, с закатанными по плечи рукавами, обнажившими крепкие, подкрашенные мускулы, с пламенем сумрачных очей из-под бурого шлыка, нахлобученного на лоб, с нервными, сильными размахами мотыкою, которою он разрыхлял гряды монастырского огорода.

И увидали друг друга Фра Дольчино и Маргарита из Тренто. И встретились. И пели.

Маргарита

Молитвы час. Гремят святые хоры.
Один лишь ты не в церкви...

Фра Дольчино

Нет, также ты.

Маргарита

Я здесь тебя искала и ждала.
Отсутствие твое заметить могут.
И без того идет зловещий шепот,
Что странен ты... быть может, еретик...

Фра Дольчино

Пусть будет так. Мне с ними — части нет.
Одевшись в пурпур и золото,

Они дерзают петь славу Тому,
Кто на земле ходил, одетый в рубище,
И носил на руках мозоли
От пилы и топора.

Маргарита

Но разве ты не молишься Ему?

Фра Дольчино

Молюсь ли я? О, больше, чем все вы!
Каждый удар заступа в землю —
Наша молитва к Нему!
Каждая капля рабочего пота —
Наша молитва к Нему!
Каждый стон, каждый вздох надорванной груди —
Наша молитва к Нему!
Вы молитесь устами — мы молимся трудом!
Слава Ему, в труд к нам пришедшему!
Слава Ему, показавшему нам свет труда!

Широко, мощно и страстно лился голос Берлоги странными речитативами, которые всякий другой исполнитель, не он, сделал бы скучною гимнастикою интервалов. Правоверные рецензенты-классики с ужасом и любопытством считали еретические ноны и децимы, которые бросал им в пространство зала великий певец в быстром, скачущем, страстном разговоре певучими нотами. Это было — как жизнь, как живая речь: взвизг и бурчание гневного спора, стон и плач негодования, гордая декламация победного исповедания веры, красота пылкого слова с открытой трибуны, шипящая тайна и шепот пропаганды, с угрюмою оглядкою на врага, который стоит за углом и чутко вытягивает подозрительное ухо. У Берлоги ожил и проникся мыслью каждый звук и знак Нордмана. В каждом тоне слышала толпа, что в том, что поется ей, нет ни момента напрасного, не продуманного, случайного, не выношенного глубоко-связным чувством. Каждая нота звучала и пела

о творчестве могучего и мрачного гения, великим страданием своим взлетевшего бесконечно выше окрыливших его слов.

А гений лежал в кукушке, полумертвый, уткнув голову, как страус в песок, в колена Маши Юлович. Она матерински гладила его толстою ручищею своею по мокрым от лихорадочного пота косицам и приговаривала, как старая нянька:

— Нишкни, батюшка, нишкни. Ничего, голубчик мой, ничего. Все будет хорошо. Вона — как Андрюша-то в голосе... Ах, шут этакий! Аж — мороз дерет по коже... Ну и чертила! На-ка! На-ка! Ведь это он «la» засветил, словно конфетку скушал... Вот так тип!

— Кто ты? — взвился со сцены робкий, счастливый, трепещущий девственною любовью вопрос Маргариты.

Ты не простой работник, нет.
Когда ты говоришь со мною,
Мне кажется: из уст твоих
Я слышу слово многих тысяч.
Когда ты смотришь на меня,
Мне кажется: в глазах твоих
Сверкают тысячи очей...
Ты — не один. Ты — многий.
Кто ты? Кто?

— Молодец девка! — бормотала про себя Юлович, против воли захваченная экспрессией ненавистной Наседкиной. — Кабы не так противна мне была она, расцеловала бы ее за фразу эту... Ах ты, Господи! Голос-то — как масло: сам и плачет, и воркует... Ишь, — дьяволица! Вся в меня: по всей середине грудью валяет! Вы, ученые, консерваторские, облизнитесь-ка! Знай наших!.. Да, нишкни ты, батюшка Эдгар Константинович, перестань трепыхаться, трусишка ты моя разнесчастная. Бьется, словно птица подстреленная — право! Чего боишься? Совсем тебе нечего теперь робеть. Вона каких дышловых запряг: из какого хошь ухаба вывезут...

Ужасом погребения содрогались в оркестре валторны, и глухая тишь царила в зале, а скорбный стон Берлоги рассказывал угрюмо, спокойно и тихо:

Я знал удары бичей.
Я лежал под топчущей ногою.
Я звонкие цепи носил вот на этих руках.
Мне ведомы жабы и крысы подземных темниц:
Часто они, ненасытные, крали
Черствый колодника хлеб.
Я с голода руки глодал — забытый!
От жажды я стену сырую лизал — обреченный!
Смерть шептала в уши мне...
Смерть... Смерть...

Сотни глаз смотрели на Берлогу с высоты галереи и куполов, и не один десяток глаз этих затуманился воспоминаниями, потому что и обладатели их знавали удары бичей, и цепной звон, и крыс в тюрьмах, и голодовки, и смертный ужас...

— Вот это — опера! Неслыханная опера! Небывалая опера! — столбом вздымалось впечатление, обнимая зал эпидемией чародейного захвата.

Даже Брыкаева пробрало жутким холодом, и он под голос Берлоги сидел и как-то внезапно думал: «Надо мне каналью-экономишку подтянуть, — уж больно нагло стал воровать порции у арестантов...»

В директорской ложе за спинами жадно вытянувших головы вперед студентов пестрое, каторжное лицо Риммера было страшно и дико непривычным волнением, растопившим его обычную холодную саркастическую маску.

Елена Сергеевна стояла в первой кулисе и, слушая Наседкину, почти мирилась с своим артистическим горем, что уступила сопернице интересную, блестящую партию.

«Да! — честно сознавалась она самой себе, — я не могла бы так... я так не могу... Это — не мое... Андрей прав: это — новое... новый вопль новых людей... Я не в состоянии заста-

вить его петь, как он поет сегодня... Она поднимает его каждою фразою, каждою репликою... Как они понимают друг друга! какое единство темпераментов! какая общая ненависть! какая общая любовь!..»

Она подумала о том, что уже вся труппа уверена и твердит, будто Наседкина — новая любовница Берлоги, и не сегодня-завтра связь их огласится и устроится maritalement *, а бедная Настасья Кругликова — по циническому выражению Мешканова — поедет на козлах. Ей были неприятны эти мысли — и на этот раз не потому, что они отравляли ее ревностью женщины, певицы, директрисы,— но потому, что они врывались в артистическую иллюзию и разбивали мещанским разочарованием, — раздевали эту Маргариту и этого Дольчино и опошляли их в обыкновенных будничных людей, которым в житейской обывательщине никогда не слить голосов своих в ту благородную силу единства, что породнила их в музыке Нордмана.

«Да! Это поет любовь. Это — голоса влюбленных. Но любит Фра Дольчино — Маргариту, но отвечает Маргарита —Дольчино... Любви Берлоги и Наседкиной я не слышу... Связь, сладострастие, увлечение — все возможно, все допускаю, но любви нет. Это — поет перевоплощение. Это — дышит темперамент творчества. Это — любовь, покуда светит рампа, и до порога уборной. О счастливые! счастливые! Так поверить в то, что выражаешь! Так гореть! так творить».

— Ты — пророк! Ты — царь всех несчастных! — звенит полновесными ударами серебряного колокола трижды повторенное верхнее «si» Наседкиной.

Елена Сергеевна едва успевает вспомнить, как трудна ей самой была эта страшная фраза, которую молодая соперница бросила в воздух легко, словно три резиновых мяча.

* Жить, как в супружестве, в сожительстве (*фр.*).

Чтобы пророком быть, скипетр не нужен:
Довольно держать заступ в руке! —

рокочет средними нотами величавый, спокойный речитатив Берлоги...

Хор нищих-патаренов окружил влюбленную чету. Будто солнце померкло и краски Поджио выцвели от их голодного, волчьего, фанатического воя:

Земля полна неправды,
Плывущей к небесам, как душный дым.
Он черной тучей одел чертоги Божьи,
И ангелы не в силах им дышать!..

Нордман плакал в своей кукушке и твердил утешающей Юлович:

— Это — моя песня о потерянной овце... Это — когда у меня в горах, знаете, овцу волки съели... Если бы вы знали, Маша, как это горько мне было — потерять овцу... И мужик, которому она принадлежала, знаете, был нищий-нищий. И он плакал, что пропала овца. Он, знаете, бил меня и плакал. Плакал и бил. И это ничего, совсем ничего, знаете, что он бил меня за овцу. Я знал, что он должен меня побить, потому что он бедный мужик, я не страдал, что он бьет меня. А вот — когда, знаете, я воображал, что она — овца-то — в пустыне, знаете, — ночью — одна — беленькая — глупая... и со скалы, знаете, смотрят на нее зелеными фонарями глаза волчьи... я, знаете, очень страдал тогда и плакал. И скрипка моя, знаете, плакала...

— Да и я, батюшка, давным-давно ревом реву! — откликалась ему отдувающаяся, сморкающаяся Марья Павловна с мокрым лицом, с мокрою, облитою слезами, грудью. — Ох ты, миленький мой! голубенок ты мой! И в кого такой уродился? Сухих-то глаз в театре почитай что не осталось...

— Бежим, сестра! — звал Дольчино.

— Куда, пророк?

— За ними: на голод, на страдания, к радостям отречений, к восторгам борьбы и побед.

Маргарита

Веди меня, куда хочешь, куда знаешь!
Я чувствую в тебе, дыхание свободы.
Я хочу быть свободною, как ты!

Фра Дольчино

А я тогда лишь сознаю себя свободным,
Когда освобождаю других.

И два голоса-красавца слились в могучей дуэтной фразе:

Нет одному свободы в мире,
Свободны могут быть лишь все.

И хор патаренов выл вслед им:

Лишь тот сознал свою свободу,
Кто жизнь отдает свободе других.
Нет одному свободы в мире,
Свободны могут быть лишь все!..

Елена Сергеевна опустила глаза в оркестр и встретила лицо мужа и дирижерскую палочку, занесенную им над головою, как разящий меч. И ей показалось, что она видит своего Морица в первый раз в жизни. Этот маленький, рыженький, полуседой, болезненный человек был прекрасен — строгий и ясный, как творящий бог в синем сиянии экстатических глаз, недвижно зрящих в далекие, полные образов бездны. Из каждого движения, взгляда, содрогания в лице вырывалась могучая повелительная мысль, стягивающая к себе силы и внимание ста инструментов, приподнятых, как вих-

рем, электризованных к магнетическому единству с вдохновением своего сурового маэстро... И, глядя на обожествленное лицо мужа, Елена Сергеевна думала: «Да неужели же это Мориц? Боже мой, как прекрасен человек, когда он — участник великого творчества!»

И в невольном благоговении повторяла про себя то же, что думал весь зал:

— Да! Этого еще никогда не бывало! Неслыханная опера! Гениальный творец!

Ее рука давно уже чувствовала долгое нервное пожатие холодной, чужой руки, которая восторженно, до боли стискивала ее всякий раз, когда нарастали звуковые экстазы сцены и оркестра, но Елена Сергеевна — гипнотизированная спектаклем и музыкою — даже не обернулась посмотреть, чье это пожатие, кто это волнуется, холодеет, дрожит и мучится рядом с нею. И только, когда запахнулся занавес, и Рахе величественным жестом заклинателя духов погасил свой оркестр в раскатах тяжелых аккордов, — Елена Сергеевна увидала свою руку дружески, братски стиснутою в руке Александры Викентьевны Светлицкой, плачущей глазами, полными гипноза, так же мало, как и сама Савицкая, понимающей, когда и какими судьбами сплелись их вражеские руки в братском пожатии общего артистического восторга.

Театр ревел и грохотал, как морская буря. Рахе, рыженький, улыбающийся, сгорбясь, пробирался из оркестра между пультами и, кивая музыкантам, говорил снисходительно:

— Н-ню, для первая раз мы играль себе ничего... довольно даже порадочно!

Мешканов метался по сцене и вопил голосом, волчьим более, чем у всех патаренов:

— Господин Нордман! Автор! Композитор! Да — подайте же мне, наконец, этого черта-автора! Ведь публика театр разнесет, если мы его не покажем!..

Но автор в кукушке бился в истерике, и Юлович с Риммером и контролером Сергеем Аристоновым тщетно старались отпоить его валериановыми каплями...

XIX

Антракт шумел. Двигались нарядные пары. В буфете курили папиросы и пили пиво. Самуил Аухфиш, маленький, тщедушный, проталкивался сквозь толпу, выпячивая грудь с таким гордым видом, точно «Крестьянскую войну» написал он, а не Нордман.

— Что, Самуил Львович? ваша взяла? — окликнул его товарищ-рецензент конкурирующей в публике, но тоже передовой по направлению газеты, приземистый, похожий на бога Гамбринуса, бородач с пивною кружкою в руках.

Аухфиш приосанился и постарался стать выше ростом.

— Что значит, взяла? — сказал он высоким, вызывающим тенором. — Конечно, взяла. Как же бы она могла не взять? А вам неприятно?

— Нет, ничего... Молодчина ваш Нордман!.. Ну да и постановка же!.. Идет, как по рельсам... Берлога-то, Берлога-то, каков! Ха-ха-ха!

— Позвольте, пожалуйста, — окрысился и насторожился Аухфиш, — чему же вы смеетесь?

Когда ему что-нибудь нравилось в музыке, он сразу приходил в воинственное, боевое настроение и становился ревнив и подозрителен, не обидели бы его протеже.

— А вот его спросите...

Рецензент указал на высокого плотного парня — бакенбардиста, обритого на английский манер, во фраке, некрасивого под низко стриженными, почти белыми волосами, но с веселыми глазами, выражавшими в зеленоватых искрах своих талант необыкновенный.

— А что, Самуил Львович, — сказал этот господин низким, рокочущим басом, — правда это, будто во втором акте Берлога будет петь выборгский манифест, а Наседкина — подавать ему реплики из Эрфуртской программы?

— Эх, Калачов! Ну и разве хорошо зубоскалить, когда...

Аухфиш сокрушенно махнул рукою и, взяв Калачова за пуговицу, глядя ему в лицо снизу вверх, принялся, быстро выпаливая слова пачками, разъяснять и напоминать только что слышанные красоты. Говорил он витиевато, скучновато, и не без плевков в лицо собеседника. Звучало: «септаккорд на торжествующем разрешении», «радостная встреча лейтмотивов», «вспыхнувшая доминанта». Калачов смотрел на Аухфиша сверху вниз, как большой солидный сенбернар на фокстерьера, и — в знак согласия — ритмически мотал носом. Он был доволен поговорить с Аухфишем, потому что ему надо было набраться музыкальной атмосферы и нахвататься ее технических терминов. Фельетонист безразличной, широко распространенной газеты, Калачов совершенно не знал музыки и откровенно сознавался, что не смыслит в ней ни бельмеса. Но, быть может, именно потому писал о ней по разговорам со сведущими людьми ужасно смешные карикатуры, полные трагикомической важности, которые городская буржуазия обожала. Калачов был в городе — после Берлоги — едва ли не первый бог.

— Так! — вздохнул он наконец в паузе Аухфиша, — значит, социал-колоратурка и баритон-демократ. Он ей — гаммами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А она ему трелями: «В борьбе обретешь ты право свое!..» Чрезвычайно любопытно, оригинально и поучительно.

— Эту оперу, — ядовито подхихикнул седой старичок, профессор консерватории, пописывающий в серьезных случаях музыкальные статейки для «Обуха», — эту композицию господина Нордмана следовало бы играть не на музыкальных инст-

рументах, а на бомбах и браунингах-с... Кстати, тогда, может быть, не столь заметно и скоро обнаружилась бы ее совершеннейшая безграмотность.

Аухфиш не стал спорить с профессором: он видел, что у старика даже пена вскипает на губах от злости, — и прошел мимо. Но вслед ему неслись визгливые всхлипывающие выкрики:

— Я удивляюсь Морицу Раймондовичу Рахе, как он мог допустить... Кажется, солидный музыкант, не мальчишка, старый капельмейстер... Театр опозорил себя!.. Профанация искусства!.. Щенок из приготовительного класса!.. Я собственными ушами слышал параллельные квинты... Если бы мой ученик написал подобную мерзость...

«Да! — думал Аухфиш про себя, отзываясь на эту бессильную злость сразу и невольным гневом пред очевидною недобросовестностью предвзятого мнения, и веселым злорадством своей несомненной победы, — черта с два! напишут твои ученики что-либо подобное! Разве ты музыкант? Столоначальник от композиции и тюремщик в душе! Отношение из Гайдна! Входящее из Моцарта, исходящее из Россини».

Аухфиш бродил по буфету, по коридорам, по фойе, прислушиваясь к рокоту разговоров, и — что дальше, тем больше и светлее расцветал душою. Успех Нордмана превзошел все ожидания. Хвалили Берлогу, восхищались Наседкиною, одобряли оркестр и несравненную дирижерскую палочку Рахе. Но — что редко бывает с оперною публикою — как-то весь театр нутром понял, что сегодня при всем их великолепии главные-то в спектакле все-таки не они, и движущая, центральная-то суть — не в них, всеми любимых и среди всех знаменитых, но в том, никому незнакомом, неуклюжем, беловолосом мальчике-чухонце, который — когда по требованию публики чуть ли не в двадцатый раз открылась в занавесе выходная дверь на вызовы, — показался публике между Берлогою

и Наседкиною, ничтожный, едва не шатающийся, с испуганным обморочным лицом.

— Ага! Ага! — повторял торжествующий Аухфиш, кланяясь дамам, кивая шапочным знакомым, пожимая руки встречным друзьям. — Вы поражены? Вы увлечены? Вот видите! А между тем вы слышали самую слабую часть партитуры... это только начало! это только завязка! только первый акт!.. Мы сегодня поклялись задушить вас впечатлениями... вы уйдете из театра, бледный от испуга и восторга...

— Ты что же не свистал? — сердито спрашивал в райке толстогубый проходимец белявого своего товарища. — Ведь велено свистать... деньги дадены.

Тот только повел наглыми глазами на ревущую, краснолицую, уже потную и мокроволосую молодежь. В грохоте ладоней и ног будто исполнялась тоже своеобразная симфония землетрясения какого-то. Отверстые глотки орали протяжным серьезным воем, почти грозными голосами, точно войско откликалось на зов боевой трубы. Распаленные пламенем, полные румяною жаркою кровью, молодые лица сверкали восторженно-хмурыми, страстными, озлобленными глазами.

— Свистнешь тут! — проворчал белявый. — Самого так свистнут...

— На то и нанимался, чтобы скандалу быть.

— А если с четвертого яруса вниз головой?.. Видишь: ошалели. Вона — статуй-то стоит...

Статуй, то есть контролер Сергей Кузьмич Аристонов, был в эти минуты в самом деле способен спустить вниз головою с четвертого яруса всякого, кто пошел бы против успеха «Крестьянской войны». Он переживал странные минуты. В груди его поднимались волнения и чувства, совершенно новые для его беспокойной, бурлящей силы. Когда Риммер, назначив его на дежурство в верхний ярус, пре-

дупредил, что посылает его на пост, который может стать, так сказать, боевым, Сережка был очень доволен — не по чему другому, как просто по удали, заполнявшей всю его разбойничью, богатырскую натуру. Он был горд поручением и весел доверием. Значит, мол, мы молодцы, коли добрые люди с первого взгляда узнают сокола по полету и кланяются: не выдай, Сергей Кузьмич, поддержи!.. И ему хотелось оправдать себя, хотелось, чтобы вспыхнул ожидаемый и предсказанный скандал, — и уж тогда-то блеснет он собою, уж покажет, каков он на свете живет, раб Божий Сергей Кузьмин сын Аристонов! Покуда не началась увертюра, он неотлучно следил за двумя проходимцами — и сердце у него страх горело желанием, чтобы они зацепили его и дали ему повод вышвырнуть их из театра.

«На одну ручку!» — мечтал он, презрительно ухмыляясь.

За что он будет драться, что от кого защищать, — о том он не имел еще никакого понятия и к этим вопросам был глубоко равнодушен. Дирекция, которой он служебно принадлежал, сказала ему: если будет скандал, — вышвырни вон скандалистов. Ну и довольно того! Больше ему нечего было, да и не интересно знать. Он любил шевельнуть и хвастнуть силою, любил пустить в ход могучий свой кулак. И теперь, когда в воздухе запахло потасовкою, хотелось драки для драки, удали для удали. Больше ничего.

Сергей Аристонов слушал не первую оперу в жизни своей, не первый спектакль слышал он и в театре Савицкой. Не впервые слышал он и Наседкину. Ему очень нравилось, что она — артистка, любимица публики, он любил, что ей аплодируют громче, чем другим артистам, вызывают ее после актов и в конце оперы больше, чем других. Было смешно и гордо, слушая ее, думать про себя под шум «Демона» или «Валькирии»: «Эка моя Лизка-то сегодня закатывает! Вот-то сейчас в ладоши трепать будут!.. Раз двадцать вызовут. Ах, шельма!»

Проходила в антрактах публика, — контролер Сергей Аристонов слышал:

— Наседкина — божество... Наседкина — совершенство... Такого драматического сопрано не запомнит русская сцена... Русская Мари Дюран... Великая артистка.

А Сергей улыбался про себя скептически и насмешливо думал: «Скажите пожалуйста! Моя-то Лизка!»

Сегодня Наседкину вызывали десятки раз, завтра о Наседкиной все газеты печатали статьи, как о величайшей художественной надежде оперного мира, послезавтра на Наседкину падал из лож или с галерки дождь цветов, у Наседкиной почтительно целовал ручку генерал-губернатор, Наседкина пела на вечере для проезжих великих князей. Но для Сергея Аристонова Наседкина тем не менее оставалась до сих пор только Лизкою, и это-то именно и было ему забавно: «Для всех — ух ты что, а для меня — моя Лизка!»

В шлеме ли Валькирии, в локонах ли Тамары, во всяком гриме и наряде, — Сергей — быть может, один в театре — не поддавался обаянию талантливых перевоплощений артистки и всегда признавал в лицо и, — с упорною, презрительною веселостью своего, домашнего, постельного человека, — помнил и ни на минутку не забывал в ней ту свою Лизку, которая вчера спала с ним в его бедном номеришке грязных и дешевых меблированных комнат. Если же он пожелает и прикажет, то и сегодня она после спектакля надует всех, кто ее окружает и стережет, и улизнет от них, как тень незаметная, воровская, и придет, плутовски, крадучись, ночевать к нему, мещанину Сергею Аристонову, вчера бродяге, а завтра, быть может, хулигану. Размышляя об артистической карьере своей любовницы, Сергей согласно признавал одно: Лизке повезло. Но ему было дико подумать, что Лизке повезло неспроста, что его Лизка — существо необыкновенное, особенное. Ему никогда в голову не приходило, что он ее не стоит, не

пара ей. Даже при зрелище самых ярких ее вдохновений, самых блестящих ее триумфов, он чувствовал себя бесконечно выше и властнее ее. Везет, мол, Лизке, но Лизка все-таки только Лизка, а я, слава Тебе, Господи, Сергей Кузьмич Аристонов, и — дондеже хощу — Лизка — моя девка и у меня в кулаке!.. Любовную связь, возникшую между Наседкиною и Берлогою, Сергей считал по тому же разряду: Лизке везет. Он смотрел на Берлогу без всякой ревности, а — с тем озорным снисхождением, с тою юмористическою и неуважительною почтительностью, как счастливые ухаживатели за молодыми женами старых и солидных мужей относятся к ловко обманутым и слепым рогоносцам. Либо — как тайный и расчетливый сутенер — к богатому и щедрому содержателю, который сдуру воображает себя единым и любимым обладателем продажной женщины, не подозревая, что предмет его страсти — лишь покорная, слепо рабствующая кошка своего повелителя-«кота». По натуре больше озорник, сорванец и школьник, чем хулиган, Сергей не способен был злоупотреблять своею властью над Лизою Наседкиною, как средством материальных вымогательств или другого рабовладельческого каприза. Он гнушался влиять через Наседкину на Берлогу и держать его в руках. Но ему была невыразимо смешна эта пара, в которой «самый интересный человек в России» играл роль обманутого дурака, а «Лизке» приходилось вертеться и кружиться между двух огней, чтобы ни одним не обжечься: настоящего хозяина-любовника ублаготворить и показного провести за нос так ловко, чтобы он, будучи в дураках, тем не менее испытывал блаженство и оставался в восторге от своей новой возлюбленной. Что он и только он был, есть и будет, покуда сам того захочет, настоящим хозяином своей Лизки, Сергей Аристонов нисколько не сомневался. В своем взгляде на Лизу Наседкину он — как смолоду остановился на той победоносной точке, когда в глухом

губернском городе, среди нравов едва дрогнувшего темного царства, завладел ею, полудикою, пятнадцатилетнею купеческою дочерью, ошалевшею от первых приступов пробужденной чувственности, — так в этой самодовольной позиции и остался. Может быть, если бы Елизавета Вадимовна сумела устоять пред Сергеем при первом свидании, он нашел бы в себе новое уважение к ней, рассмотрел бы в ней нового человека. Но теперь эта Брунгильда, эта Тамара представлялась ему совершенно тою же Лизкою, которая, плюнув на все, не исключая отца с матерью, удирала из гимназии на свидания с ним, Сергеем, — как блудливая кошка, прыгала через заборы, ползала в подворотни, лишь бы вдоволь нацеловаться и поспать с своим милым дружком. И никогда Сережка не поверил бы той перемене, что у этакой-то насквозь ему знакомой его Лизки может быть теперь внутри общего с Берлогою больше, чем с ним, Сергеем, и что Берлога его Лизке интереснее и ближе, чем он, Сергей.

«Андрей Викторович врезался, а Лизка — фартовая бестия, комедии валяет! — одобрительно думал он и, прочно утвердившись на этой спокойной точке зрения, хохотал внутри себя веселым школьническим смехом. Он не мог видеть Берлогу без тайной улыбки даже на сцене, даже в лучших, потрясающих его ролях. Заставляя содрогаться мужчин и плакать женщин, великий музыкальный трагик не подозревал, что в зале всегда есть человек, для которого он — нечто вроде шута горохового, и человек этот — билетный контролер Сергей Аристонов. Влюбленный Демон мечется, как раненый нетопырь в своих кудрях-змеях по келье Тамары и надрывает сердца стонами неземного отчаяния, а Сережка беспечно покачивается себе на ногах в проходе между местами, и на губах его глум, а в уме озорная, веселая мысль: — Наш-то любовничек старается... На пять с крестом... Ах, шельма Лизка!..»

Сергей Аристонов был человек добросовестный — тою хоровою совестью, которую в общежитии правильно называют «каторжною», совестью артели, товарищества, группы. Раз он обязался делу, то считал своим долгом и своею честью служить ему беззаветно, уже не рассуждая, хорошо оно или худо, благородно или позорно. В полку из него вышел бы лихой солдат, — своенравный и десятки раз штрафованный в мирное время, но незаменимый в походе и на поле сражения. В политической партии — бесстрашный и самоотверженный боевик. А забрось его судьба в сыскную полицию, выработался бы новый Ванька Каин. В грабительской шайке он почел бы долгом быть вором пуще всех воров, в публичном доме — вышибалою из вышибал, перед зверством которого спасовал бы сам «Васька Красный». Когда Берлога по просьбе Наседкиной устроил ее «молочного брата» в театре Савицкой билетным контролером, Сережка и здесь не замедлил пропитаться духом корпоративной преданности и круговой поруки. «Наша опера» ну, значит, и не смей супротив нее фордыбачить, а не то — хоть и в зубы! Кстати, и Риммер, под чью команду Сергею пришлось поступить, был человеком приблизительно той же логики и житейской кройки. Риммер же Сергею очень понравился и показался своим, фартовым парнем: видать, что ухарь, — такого слушать за старшого — никому не в срам! Прибавлялось тут в корпоративном энтузиазме, конечно, и то практическое влияние, что «наша опера» — мало, что наша, она еще и «Лизкина опера». На ней строится материальное благополучие Елизаветы Вадимовны Наседкиной и тот ее почти фантастический житейский успех, который воскресил в Сергее Аристонове интерес к давно забытой было и оставленной любовнице и которым он теперь про себя очень гордился. Что вредно опере — вредно Лизке, кто враг опере, значит, враг Лизке, ее работе и добыче. И — только мигни ему Риммер, — Сергей Аристонов готов был ринуться на всех подобных недругов с энергией

парижского сутенера, который сам способен содрать с своей любовницы кожу за то, что бедняжка забыла починить ему прореху на жилете, но считает священным долгом перерезать горло всякому постороннему, кто ее обидит, и очень способен всадить нож между лопаток придирчивого городового, буде тот мешает ей продаваться и добывать.

Но сегодня, когда на зал обрушились первые звуковые обвалы Нордмана, Сергей Аристонов почувствовал, будто его с размаху бьют кулаками в сердце. Чья-то незримая рука высадила в глубине души его какую-то забытую, с детства глухо заколоченную дверь и могущественно хлынуло в брешь что-то настолько хорошее, красивое, свежее, что страшно и удивительно было подумать о той радости, которую оно несло с собою внутрь человека, и хотелось только, чтобы оно шло, шло, шло, не прерываясь, напитывая слух и мысль никогда еще не испытанными озарениями. Не понимая себя, Сергей косился на соседей — и сквозь темноту на всех лицах читал отражения еще небывалого захвата.

По телу его прошел холод, за сердце схватили острые железные клещи. Ему казалось, что до сих пор он никогда еще не слыхал музыки: эта — первая. Он опустил руки на барьер яруса, и прикосновение к твердому, неподвижному дереву показало ему, что пальцы его дрожат и ходят ходуном. Летел акт — и Сергей Аристонов даже ни разу не вспомнил, что золотоволосая женщина в коричневом балахоне там внизу, под золотыми буквами Евангелия, — это — его Лизка, не кто другая, как только его Лизка! И Берлога, хотя никогда он не выходил на сцену более похожим на самого себя, чем сегодня, не шевельнул в нем обычной смешливости. Разинув рот, впившись глазами в сцену, трепещущий, Сергей горел и холодел, и опять горел, внимая словам, облекавшимся в могущественные звуки: личности исчезли, творчество выплыло вперед, нахлынуло, как потоп, властною волною и вширь, и вглубь, окружило, захватило, томило и жгло.

«Так их! так их!.. — восторгом бессознательного гнева отзывались в душе Сергея клянущие вопли Фра Дольчино. — Жарь сукиных сынов!.. Ежели теперь трудящемуся человеку — вместо жизни — предоставлена пожизненно каторга острова Сахалина, кто тому виноват?.. Бей в голову! Справедливо! Жарь!»

И когда молниями, вспыхнувшими среди грома аплодисментов, зажглось электричество антракта, Сергей стоял с щеками, мокрыми от неслышно прокатившихся по ним слез, и нисколько того не стыдился...

— Что, товарищ? Забирает? — радостно и дружески сказал ему один из ревущих и топающих студентов.

Он только улыбнулся счастливо. Ему не хотелось разговаривать. Хотелось, чтобы поскорее кончились свет, крики и грохот, и опять зияла бы во тьме яркая сцена, плакал оркестр, гремел Берлога, страстно пела Наседкина...

«Так вот оно что? Вот какое дело это? Вот они какие? — радостным благоговением ползли быстрые мысли в голове его. — Хорошо, товарищ!»

— Что? — обернулась на него какая-то курсистка, прерывая на мгновение свой восторженный визг.

— Ничего, — удивился Аристонов. — Извините. Почему?..

— Вы мне сказали что-то?

— Никак нет... извините... задумался... Нешто я вслух?

Капельдинер прибежал звать его в кукушку на помощь Нордману, впавшему в истерику. Зрелище Нордмана, рыдающего в беспомощных объятиях растерянной Маши Юлович, бьющегося головою о кресла, выкликающего бессвязные слова, потрясло Сергея.

«Вот оно как! Вон они какие! — продолжало терпко саднить в смущенном мозгу его, точно рана открытая, во все время, покуда он поднимал композитора с пола, укладывал его на диванчик аванложи, бегал в конторскую аптеку за ва-

лерьяновыми каплями, примачивал Нордману виски нашатырем. — Не в шутку это, значит, — ноты-то сочинять. Не барское баловство для препровождения времени праздных людей... Ноты написал, а сам на части разрывается... Ведь это, значит, здоровье свое человек в ноты отдал, ведь это — жизнь из тела уходит...»

И, когда Нордман опомнился настолько, что уже можно было показать его вызывающей публике, Аристонов никому его не доверил — сам довел, почти снес его на руках до режиссерской, с любовно-бережною нежностью, точно отец — любимого ребенка... За кулисами он лицом к лицу встретился с Наседкиною, спешившею — после вызовов — в свою уборную переодеваться из коричневого хитона в белый. До сих пор тайные любовники, контролер и примадонна, избегали обмениваться в театре хотя бы единым словом. Это было условлено и взято за правило. Но сейчас прекрасное лицо Сергея было одухотворено глубоким и ясным светом таких красивых прозрений, — струилось, с властью флюидов незримых, столько новых чувств и мыслей, — что примадонна невольно приостановилась пред ним — изумленная — с пристальным, рассматривающим взглядом...

— Так нравится? — почти испуганно вырвалось у нее навстречу этим, к общению зовущим, человеческим светам...

А он схватил ее руку и впервые в жизни приложился к ней благоговейно и почтительно, склонившись в полроста, точно пред ним стояла королева.

— Большой вы человек, Елизавета Вадимовна!

В глазах ее мелькнули опасливые, робкие огоньки.

— Что с вами?

Но он уже отступил, повторяя:

— Ничего... Большой вы человек... Большое поле вам нужно... Много пользы можете принести... Большому кораблю большое и плаванье... Плавайте!.. Дай вам Бог!

Голос Сергея звучал необыкновенно и многозначительно. В словах его пели новые великодушные ноты, каких Елизавета Вадимовна не слыхала от него еще никогда. Она вошла в уборную, сильно взволнованная, с пунцовым сквозь белила и пудру лицом, и зеркало показало ей глаза, сверкающие недоверчивым предчувствием, радостным испугом:

«Неужели расчувствовался, понял, и — свобода?.. Неужели посторонится? отпустит? — думала она между тем, как парикмахер проворно вынимал шпильки из кос ее и распускал по плечам густые, волнистые, вызолоченные пудрою волосы. — Ах, если бы! Свобода... Свобода... Ах, хороша свобода! Ах, если бы теперь во всю грудь почувствовать мне ее, свободу-то свою! А ведь мне сейчас о свободе и петь...»

Постучался и вошел в уборную Фаустом сгорбленным Захар Кереметев, сопровождаемый сердитым полицеймейстером.

— Душа моя, душа моя! — бормотал колдунообразный режиссер, — вы великолепнейший ангел в подлунном мире, но вот — извините, полковник Брыкаев, как профан в искусстве, но знаток в полицейском уставе...

Брыкаев с любезною ухваткою рассыпался в комплиментах, но попросил уважаемую Елизавету Вадимовну сделать для следующего акта другой грим.

— Потому что — неудобно-с: публика волнуется.

Наседкина широко открыла глаза и засмеялась:

— Переменить грим? Как же я переменю грим, если я сегодня — без грима? Посмотрите сами, полковник: только белила и румяна... Я играю Маргариту со своим лицом.

— Но вы ужасно похожи... В фойе прямо по имени называют.

— Да, это правда, душа моя, — подтвердил и Кереметев, — только и слышно разговора, что — шлиссельбургская мадонна! вылитая шлиссельбургская мадонна!

— Кто это? — спокойно спросила Наседкина.

Полицеймейстер назвал по имени. Пухлое лицо примадонны выразило недоумение.

— Не то что не видала ее, даже и не слыхивала о такой...

— Ну вот, видите, добрейший! — устремился Кереметев к Брыкаеву. — Не говорил ли я вам?

Но полковник даже вознегодовал как будто.

— Позвольте не поверить вам mademoiselle, — сказал он с улыбающеюся досадою, — кто же не знает? Знаменитейшая государственная преступница.

— Откуда мне знать? Я политики боюсь пуще оспы или тифа! Ужасы какие! Да неужели так похожа?

Она освежила заячьею лапкою искусственный румянец лица своего. Полицеймейстер пригляделся и подивился: сейчас он не видел в пухлом лице Наседкиной ни одной столь испугавшей и оскорбившей его черты.

— Вблизи, я должен сознаться, — нет, — сказал он, — но издали вы производили эффект совершеннейшего сходства.

— Но — что же я могу сделать, если так? Бог мне дал лицо — я не в состоянии переменить его на другое... Мне самой неприятно походить на какую-то там революционерку. Я ведь-таки немножко черносотенка... — кокетливо прищурилась она в сторону Брыкаева и погрозила пальчиком Кереметеву. — Только, чур, т-с-с, тихо: чтобы учащаяся молодежь не узнала... А то — будет мне на орехи!..

Кереметев кивал шапочкою, кивал бородкою и хохотал:

— Нет тайного, что не стало бы явным... Подведем вас ужо, сокровище мое! подведем!

— Хотите, может быть, — невинно обратилась она к полицеймейстеру, — я темный парик надену? Это очень неприятно, но — если надо...

Но оба — и Кереметев, и Брыкаев — даже руками замахали.

— Что вы! что вы! — закричал режиссер, — да это издевательство над искусством! насмешка над сценической иллюзией! Сейчас брюнет, сейчас блондин? что из анекдота! Это отвратительно! Я никогда не позволю!..

— Я очень хорошо понимаю, Захар Венедиктович, но — если полковник требует?

— Нет-с, — чурался и полковник, — нет-с, я не требую. Выйти вам в темных волосах значило бы не уменьшить, но увеличить сходство. Единственная разница, что вы — блондинка...

— Не говоря уже о том, — перебил Кереметев, — что выйти в втором акте шатенкою или брюнеткою после того, как в первом акте вы были блондинка, значит наполнить сегодня весь театр, а завтра весь город анекдотом и догадками, что, как и почему... Полагаю, что вам, дорогой полковник, подобная перспектива совсем не желательна?

— Нисколько не желательна, — возразил Брыкаев, — но, Захар Венедиктович, и шлиссельбургской мадонны на сцене я тоже не желаю.

Наседкина тем временем кончила работать заячьею лапкою и отвернулась от зеркала.

— О чем спорить, господа? — сказала она. — Вот — смотрите: я готова. Продолжаете возмущаться, полковник? Или так будет хорошо?

Брыкаев внимательно вгляделся в лицо ее и пожал плечами.

— Не имею решительно ничего возразить... по-моему, превосходно.

— Даю вам слово, что я именно с этим гримом выйду на сцену, ни одной черточки ни прибавлю, ни убавлю... Если не верите, можете солдата ко мне приставить, чтобы сторожил...

— Что это вы, Елизавета Вадимовна? — оскорбился Брыкаев. — Мы еще, слава Богу, не настолько забвенны по час-

ти приличий... Достаточно вашего обещания. — Инцидент исчерпан?

— Совершенно полагаюсь на вас. Имею честь кланяться. Извините великодушно, что обеспокоил.

Полковник звякнул шпорами и вышел. Елизавета Вадимовна показала ему в спину язык и засмеялась. Засмеялся и Кереметев. Он-то отлично понимал, что роковое сходство, переполошившее полицию, создавалось не гримом, но мимическою экспрессией необыкновенно подвижного, когда она хотела, счастливо складочного, пухлого лица Наседкиной...

— В этих воинственных переговорах мы потеряли много времени, — сказал он, уходя, — будьте готовы, очаровательница: через три минуты — начинаем...

— Мешканов! душечка! — говорила Наседкина, дружески держа за руки затормошившегося, — красного, пылающего, но внимательного режиссера, — милый! как бы это нам ухитриться — поскорее сообщить публике, что полиция приходила меня перегримировывать?

— Хо-хо-хо! — загрохотал Мешканов, — дорогая, неужели вам еще мало успеха? Надбавки просите? Приказываете на каменку пару поддать? Хо-хо-хо!

Елизавета Вадимовна гордо выпрямилась и раздула ноздри.

— Совсем нет. Вы очень дурно меня поняли. Извините, что попросила.

— Виноват... за что же вы сердитесь?.. Уж и пошутить нельзя...

— Так не шутят. Вы знаете мой взгляд на служение искусству... Если я хочу, чтобы публика знала, то, конечно, не для клаки какой-то добровольной. Меня возмущает акт глупого произвола. Пусть публика поймет, в каких пошлых тисках зажато наше артистическое творчество...

Сергей Аристонов тем временем почтительно, как солдат пред начальством, стоял в уборной Берлоги и говорил ему:

— Андрей Викторович, позвольте вас беспокоить... Разрешите мне нанести вам посещение для частной беседы...

— Вы хотите быть у меня? — отвечал артист, рассеянный, с трудом узнавая, кто с ним говорит: раньше он видел Аристонова всего лишь два раза, да и то мельком, — хорошо... но завтра я весь день занят...

— Когда прикажете?

— Если хотите, послезавтра утром, часов в одиннадцать...

— Слушаю, покорно благодарю, буду непременно... Только, Андрей Викторович, — Сергей замялся, — мне бы желательно, если возможно, чтобы наедине...

— Хорошо... я распоряжусь, — озадачился недоумевающий Берлога. — Следовательно, что-нибудь важное?

Сергей склонил голову.

— Надеюсь получить от вас руководство к дальнейшему свершению жизни моей.

Берлога любопытно воззрился на молодого красавца.

— Голос в себе открыли? На сцену хотите?

Сергей тряхнул головою.

— Нет, где нам... С посконным рылом — в калачный ряд!

— Ну, положим, молодой человек, фигура-то у вас для театра —лучше желать нельзя.

— Где нам! — повторил Сергей, качая головою. — Кабы лет десяток тому назад, может быть, и голос нашелся бы, а теперь — годы мои ушли. Чувствую мою жизнь потерянною и желаю разговаривать с вами, как найти ее обратно.

— Вы думаете: я сумею помочь вам?

Сергей взглянул ему в глаза.

— Ежели не вы, так — кто же?

— Послушайте, — смутился Берлога, — не ошибаетесь ли вы адресом? Если вас мучат идейные сомнения...

— Нет-с, сомнений у меня нету, — перебил Аристонов. — Что мне с собою делать, это я решил твердо...

— И давно?

— Десять минут назад, когда вы про мучения человеческие пели. Куда я пойду теперь, знаю. Вы мне укажите, где моя дорога, как мне по ней идти.

— Милый мой, — говорил Берлога, и польщенный, и сконфуженный, — вам бы лучше посоветоваться с публицистом каким-нибудь, литератором, политическим деятелем, наконец... Если хотите, я найду вам случай, дам рекомендации... Чем же я-то могу быть вам полезен? Я только художник, артист... исполнитель чужого творчества... Мои сведения ограничены. А жить — я сам был бы благодарен и счастлив, если бы кто-нибудь научил меня и заставил бы, как надо жить.

Сергей смотрел на него твердо и ясно.

— Ничего-с, — сказал он, словно ободряя. — Это, право, ничего-с. Главное в человеке — такое иметь в себе, чтобы другой человек мог его совести поверить. Я вас слышал сегодня. Я вам поверил. Вы знаете, что мне надо. Слышу. Я приду к вам.

— Андрей Викторович! на сцену! — крикнул, пробегая, Мешканов.

Берлога наскоро подал Аристонову руку, крикнул на ходу:

— Так, — послезавтра... жду!

И бросился за кулисы. И без того уже хорошо, радостно было у него на душе, а странная встреча с Аристоновым внесла в его приподнятое настроение новый, красиво торжествующий аккорд.

«Дело идет на лад! дело идет на лад! — восторженно пела его душа, — моя музыка торжествует и побеждает. Мое искусство находит почву и смысл. Милый мой Нордман! Дивный мой Нордман! Если уже после первого акта являются ученики и требуют — будь нашим пророком, возьми нас в свои апостолы... Ныне отпущаеши! Андрюшка, мой друг, ты нашел свою заветную стезю!.. Мы действуем, милый человек, мы живем и творим, из нашего настоящего

вырастет большое и живое будущее!.. А, Леля, Леля! Погаснут твои насмешки — и поймешь ты, великая, слепая женщина, что я был зрячий, я был умный, я был прав...»

А Сергею Аристонову предстояло сегодня удивить еще многих. В дверях директорской ложи он заметил директрису. Настроение восторга уже поколебалось в Елене Сергеевне, и себялюбивые, завистливо-оскорбленные змейки опять заползали вокруг ее сердца, разыскивая щелки, чтобы пробраться и угнездиться внутрь. Вокруг нее кипел праздник, на котором, казалось ей, она одна — не участница — ненужная и чужая. Сергей, проходя мимо с почтительнейшим из своих молодецких поклонов, инстинктом раскрытого цветущего сердца почувствовал, что в этой величественной черной фигуре таятся скорбь и гневное бессилие развенчанной царицы. И ему стало жаль, что на празднике, захватившем его в свою радость, есть грустное лицо и обиженное сердце... Жаль и праздника, что нарушается его красивая цельность, и жаль ее — этой мрачной тучки, плывущей по сверканию радостных праздничных небес так одиноко и безучастно. И ему захотелось — вдруг — порывом, безудержно, как только умел он хотеть, — подойти к печальной красавице-директрисе и утешать ее, и ввести ласковым словом в единство общего ликования. И он не успел подумать, что делает, как — уже был пред Еленою Сергеевною и говорил ей:

— Как вы должны быть счастливы, что имеете такой прекрасный театр!

Она нахмурилась, удивленная внезапною фамильярностью служащего, не зная — как принять ее: что это — бестактность поклоннического экстаза или, быть может, пьяная дерзость? Но прекрасные глаза Сергея смотрели трезво и успокоительно. Он говорил:

— Человечество будет вам благодарно и никогда не забудет ваших благодеяний.

Его наивная торжественность и буйная красота обезоружили директрису. Она улыбнулась ласковыми глазами:

— Вы думаете?

— Да. Кто в состоянии дать людям источник радостей, тот человек божественный. Вы божественный человек! Вы сотворили то, что в темные души проливается свет. Извините, что я — так смело. Конечно, вы — хозяйка и директриса, а я — простой служащий. Мое образование — малое. Но я могу чувствовать. Вы божественный человек! Если бы я смел, я попросил бы вас дать мне — поцеловать вашу руку.

И — побежал к своему месту, оставив после себя — будто полосу света и тепла.

«Какие хорошие слова сказал мне этот красивый человек и как хорошо он говорил их! — размышляла Елена Сергеевна, медленно входя в ложу. — Итак, есть еще люди, которые меня любят?»

И озябшая душа ее согревалась.

* * *

Недаром Мешканов не умел говорить о финале второго акта «Крестьянской войны» без дилетантского волнения и слез на глазах. Недаром Поджио вложил весь свой декоративный гений в зловещий лунный сумрак хаоса пьемонтских ущелий, скал и потоков, среди которого, как цветы смерти, поднялись от земли к небу клятвы возрождения и мести: стихийный вопль сиплого голоса, требующего хлеба в пустую утробу свою; кашель и чахоточный стон нагого бесприютного холода, который устал напрасно просить себе, как милости, места у печей жизни и с яростью зимнего волка бросается на каждого, кому тепло в уютных стенах под непротекающею крышею; звериный вой женщин, одетых рубищем, бессильных питать полумертвых младенцев своих безмолочными, высохшими грудями, готовых в отчаянии материнской зависти и ревности вцепиться зубами в горло каждой пыш-

нотелой самке, что лелеет толстых детенышей своих под шелковыми одеялами в люльках красного дерева, отделанных перламутром. Крестьянин с звонкою косою, огромный и грозный, как воплощенная смерть, тенором, гудящим, подобно зловещему крику филина, проклинал сеньора, который закрепостил его квадрату истощенной земли, величиною годному разве на могилу для своего пахаря. Он топал ногами и ревел на свирепого лакея-управляющего, взывал о казни сборщиков податей, о пожаре — на гумно попа, о грабеже церковной ризницы. Израненный инвалид поднимал костыли свои, хрипя о мести тем, кто безвременно и напрасно искалечил его, — деревенского парня, насильно оторванного от мирного труда и пронизанного стрелами в нелепой войне двух сеньоров за пустырь, на котором нельзя рассеять даже меры гороха. Жены, опозоренные правом первой ночи, рвали на себе волосы и вопили в позднем бешенстве воскресшего стыда:

Дайте нам видеть кровь тех,
Кто осквернил нам любовь и семью,
Кто отнял нашу чистоту
У мужей, для которых мы ее сберегали!

— Вы увидите ее! — гремел со скалы Фра Дольчино, подъемля боевой топор, рассыпающий в синем сиянии ночи полосы и искры стальных молний. — Вы должны ее увидеть! Сегодня же потечет она рекою в смелом и правом бою!

Сплотимся, как тучи, в грозе и силе!
За нас — Бог и правда!
Кто против нас — зверь!
Осушите слезы! Довольно вы просили!
Повелевать должны мы теперь!

— Я буду мстить за мою вытоптанную ниву!
— Я — за сожженную хижину!
— Я — за мои увечья и побои!

— Я — за кашель, в котором я выплевываю свои легкие!
— Я — за сестру, изнасилованную епископом Райнери.
— Я — за невесту, зачахшую в его гареме.
— Долой десятину! долой налоги!
— Долой заставы и пошлины!
— Долой ростовщиков и проценты!
— Долой сеньоров и попов!
— Отрясаем от ног своих прах развратного Рима!
— Смерть папе! Он продал Христа сеньорам и богачам!
— Анафема иудам распятого народа!
— Анафема иродам и пилатам его!
— Не знаем мы власти иной, как от Бога.
— Народ во Христе, и в народе — Христос!
— Лишь Он, Иисус, наш король на земле и на небе!
— Мы в бой пойдем под знаменем Его!

Фра Дольчино

Да! Клянемся не знать иной власти,
Кроме правды, которою дышит к народу святыня небес!
Да не будет между нами старших и меньших!
Мы все равны, мы все братья и сестры,
И нет над нами гордой воли вождя!

— Да не будет! да не будет! — грохочут вместе с трубными взрывами фанатические голоса апостольских братьев.

— Погибель каждому, кто захочет быть выше других!

— Пусть умрет он смертью попов и сеньоров, обреченных нами мечу!

— Пусть сгорит его хижина и нива, как замки и церкви, обреченные нами огню!

— Пусть изгладится его имя в народе!

— Кто захочет быть выше нас, тот против нас!

— Наш вождь — буря Духа Святого,

Зовущая искать свободы в борьбе!
— Наше знамя — имя Иисуса,
Который трудился и был нищий, как мы!
— Так хочет Бог! Так хочет Бог!..

Фра Дольчино

Чистые жены, отрекшиеся от соблазнов плоти!
Святые сестры патаренов, не знающие мужей!
Подруги, равные нам подвигом и правом!
Поднимите знамя, вытканное вами
В бессонных мечтах о боях, сокрушающих цепи,
О крови, смывающей с мира позоры неправды,
О солнце свободы, что — там — глядите! молитесь! —
На алом востоке
Для нас зажигает победы зарю!

— Знамя!
— Солнце!
— Победа!
— Свобода!
— Так хочет Бог! так хочет Бог!

Розовым голубем взмыла над толпою и затрепетала в кровавых заревых лучах, которыми брызнул на сцену старый колдун Поджио, хоругвь патаренов. И, сжимая древко ее обнаженными руками, стояла под ее ветровым трепыханием Маргарита из Тренто — тоже вся розовая и золотая, в белом хитоне своем, с волосами, летящими с плеч по всей спине и почти до колен, будто молнийные крылья гневной валькирии, устремившейся в бой. Перед самым выходом на сцену Наседкина приподняла и вспушила свои волосы спереди надо лбом, и теперь легкого прикосновения к ним было достаточно, чтобы публике они показались какою-то львиною гривою, поднявшеюся дыбом в экстазе праведного гнева и великой страдальческой страсти... Уже никто, — даже сам Брыкаев, — не видел, да и не искал сейчас в артистке политического сходства и вызывающей портретности. Она была

великолепна и страшна незаимствованною экспрессией, — прелесть и ужас опасной угрозы наплывали на зал от нее самой. Она создала тип, на который сотни сердец откликнулись каждое по-своему.

— Это Жанна д'Арк! — думали одни.

— Это Шарлотта Корде! — думали другие.

— Это — валькирия!

— Это — ангел смерти!

— Так должны были выглядеть парижские женщины-мстительницы, когда плясали карманьолу вокруг гильотины и мочили платки в крови аристократов.

И даже — в семнадцатом ряду партера — старый учитель латинского языка, шестидесятилетний человек в футляре, перегнулся в шестнадцатый ряд к сидевшему наискосок товарищу-историку:

— Она напоминает мне ту рослую и грозного вида девушку в летописи Геродиана, которая подняла в цирке бунт против Коммода и заставила его выдать Клеандра...

Мощный порыв огромного и сложного голосоведения страстно владычествовал над театром, деспотически оковывая внимание, заставляя умы мыслить только звуками, в них врывающимися, поднимая и взвинчивая нервы новостью своих неожиданных правд и красот. Сотни людей тонули в оргии звука, дрожа нервами на границе истерического экстаза. Но те, кто был заранее знаком с партитурою «Крестьянской войны», теперь переживали самый острый и волнующий момент артистических ожиданий. На крыльях смело и дико сплетающейся гармонии, в вихрях инструментальных столкновений, в воплях человеческих голосов грозная мелодия хора патаренов передалась могучему сопрано примадонны и полетела вперед — навстречу восходящему солнцу — к решительному удару и венцу финала... Мешканов замер за кулисами, впервые бледный, с выпученными глазами и раскрытым ртом. Елена Сергеевна в директорской ложе невольно пода-

лась вперед к барьеру, и сапфировые глаза ее сверкали с побелевшего как мел лица. Аухфиш скорчился в кресле и низко опустил голову, сжатый страхом, как молодой наездник перед главным препятствием скачки: «Не взгляну на сцену, покуда она этого не сделает...»

Фра Дольчино кинулся к Маргарите и — по холоду руки, что сжала ее руку, Елизавета Вадимовна почувствовала, как Берлога трепещет за приблизившееся мгновение, которым решится судьба оперы, а по твердой силе пожатия — как он верит в ее голос и темперамент, как надеется, молит и одобряет: «Голубушка! не робей! Не выдай! Ты можешь! Не робей!»

А из оркестра будто поднялось облаком, придвинулось к самой рампе и стало огромным-огромным лицо Морица Рахе, и — почти страшное в холодном вдохновении повелительной воли, почти жестокое в мистическом напряжении жреческой энергии, приказывало глазами, бездонными от колдовского экстаза: «Ты сделаешь! сделаешь! сделаешь! Ты не смеешь не сделать! Вперед!»

Ей почти казалось, что жезл, летающий в руках его, магически живет и светится: «Подай мне твой голос на конец моего жезла. Твоя жизнь сейчас должна быть в жезле моем. Иди, куда он тебя ведет! Делай, делай, делай, — хоть умереть!»

«Заря! Заря!» — взывает, будто пламенем дышит, кто-то вдохновенный — рядом, — в ком Наседкина уже лишь смутно помнит и чувствует Берлогу. Инстинкт гармонии охватил ее и обратил в живой инструмент поющего пафоса. Ей уже не надо слушать ни себя, ни других, чтобы знать, что она поет хорошо и верно, — она чувствует уже, что теперь иначе быть не может, что знание партии возвысилось в вдохновение и превратилось в инстинкт. Голос ее лег в основу ансамбля, как фундамент, на котором другие голоса быстро-быстро, спешно-спешно строят прекрасную, ввысь летящую башню — весь стрельча-

тый и сквозной, воздушный готический храм мощного, в небо подъемлющего ритмы свои набата...

— Заря! Заря! — поет Берлога. — Во гневе и огне
Встает святое солнце.
То — день суда! И судьи — мы!
Наш день! Победный день!

И, схватив на лету раскат высокой ноты баритона, примадонна львицею бросила в ответ ему — в новом ритме широкой маршевой мелодии боевого гимна — знаменитую фразу, так много волнений, мук и страха стоившую всем, кто ставил «Крестьянскую войну», любил ее и ждал ее успеха...

Красным пожатием день судный пылает!
В башнях зубчатых дрожат палачи!
Знамя, взвивайся! Народ, подымайся!
Бог свободы! Освяти наши мечи!

Палочка замерла в руках Рахе, и два повелительные глаза его вошли, как два стальные гвоздя, в глаза певицы... И Наседкиной показалось, что он весь вошел в ее голову, и что это не она спела, но он — Рахе — из нее разлился поверх сцены и оркестра потоком звука, который, как радостный орел, вылетел к небу из уст ее, вместе с орлиными словами:

— Бог свободы!

Все в театре было полно этим красавцем-звуком, и ушам всех было радостно, что они наполняются им так мощно, так цельно, так бархатно, так глубоко — до дна сознания и существа. Звук длился и расширялся, точно пружина, мягкая сила его заставляла вздрагивать ответным звоном хрустальные канделябры и привески у люстр. И так хороша была радость беспредельности, запевшей в зву-

ке, так гордо выразились в нем мощь и прелесть разумного человеческого голоса, такою пышною вибрацией звенел в нем восторг свободы и боя, что в этот момент — онемевшему, будто придавленному впечатлением, залу — чтобы наслаждаться звуком — не надо было уже и мелодии: хотелось только его самого, чтобы звучала грудь человеческая здоровым воплем прекрасной природы, чтобы стихийное чарование росло и длилось, длилось и росло без конца... И оно длилось... И — лишь когда неподвижная палочка Морица Рахе качнулась и сверкнула влево — вся холодная и едва сознательная, но уже радостная, предчувствующая свою победу, — Наседкина успела подумать: «Но ведь это же именно и было мое верхнее «do» на восемь тактов!.. Но — Боже мой! — это же так просто и так легко...»

Волшебный звук вставал и укреплялся на вершине финала, как золотой шпиль, завершающий созидание набатного храма. Камни, мысли и линии сложились в единое, великое, стройное. Могучий зодчий уверенно поднялся на подоблачную высоту их и возвестил свершение строительства победным воплем, взвеявшим над венцом храма, как его первоосвящение — в жизнь, и служение, и радость человекам на веки веков. И — когда взвился, взвеял, и укрепился, и восторжествовал этот звук — венец, звук — знамя, всем в театре показалось, будто кончилось что-то долгое и мрачное и начнется что-то хорошее и яркое, насквозь светящееся самоотверженною волею и любвеобильными свершениями.

И людям хотелось улыбаться друг другу, пожимать руки, обниматься и меняться веселыми поздравлениями. Точно они отбыли Великий пост и встретили радость Светлого Воскресения. Точно разрушилась зима и смерть, и оживший Адонис, в весенней красоте, поднялся — весь в улыбке — из растаявшего, будто небывалого, гроба.

Финал летел к заключительным аккордам размашистым stretto *, двухчетвертные такты которого падали, как альпийские лавины, весело и губительно рассыпающиеся дробными камнями...

XX

Отзвучали песни, отшумели шумы, электричество погасло, театр черен и заперт. Елена Сергеевна едет в санях темною улицею под звездами по шипящему снегу и дышит свободно — в первый раз за весь вечер. Слава Богу. Спектакль сошел спокойно, без ожидаемого скандала. Правда, в последнем акте, когда Фра Дольчино и Маргариту — побежденными пленниками — возвели на костер, какой-то пьяный голос в райке рявкнул было:

— Так вам, жидам, и надо... Музыка! Играй гимн!

Но крик был пущен неловко, чересчур не вовремя, в момент слишком напряженного и страстного внимания, и — одинокий, неверный — замер в быстром шиканье возмущенных соседей. А Сергей Аристонов выхватил крикуна с места и выбросил в коридор с такою стремительною быстротою, что инцидент остался местным — публика не успела взволноваться и испугаться.

Не бойся погибнуть! Смерть — начало жизни!
Огонь очищает! Умрем, чтобы победить!
Из нашего пепла Феникс воскреснет
И к небу пламенным облаком взлетит! —

согласно, сильно и трогательно пели Наседкина и Берлога. Бедный Сергей Аристонов не слыхал их. Выброшен-

* Заключительная часть произведения в ускоренном, стремительном темпе (*ит.*).

ный им пьяница заявил жалобу, и полиция взяла обоих в контору для составления протокола. Обиженный зритель протестовал:

— Помилуйте, господин пристав! Ежели теперь, ощущая возмущение чувств при зрелище зловредной крамолы, ежели теперь я, положим, даже и обругал ихних актеров жидами, то — однако — по какому же теперь праву — предоставлено сему истукану брать меня за ворот и пинать коленкою в зад? Подобный момент поведения совершенно не соответствует правильности моих чувств, потому что я в качестве патриота требовал не более, как усладить мой слух звуками национального гимна.

Сергей же твердо стоял на своем:

— Никаких правильных чувств я от вас не слыхал, но, как выражали вы коровье мычание на манер черкасского быка, то была моя прямая служебная обязанность, чтобы просить вас вон из театра.

— Ежели и просить, то вы должны словами, а никак не за ворот. Я за место деньги платил.

— Другие тоже деньги платили. И если теперь им мешает слушать оперу который-нибудь неповинуемый прохвост...

— Господин околоточный! Извольте прислушаться: ругаются в вашем присутствии!

— Нисколько я не ругаюсь, а только установляю факт личности.

— За этакий ваш факт можно вас и в морду!

— Что же не бил, покуда я тебя за ворот тащил?

Сергей был вне себя от негодования. С тех пор как он понял, что такое опера Нордмана, в чем ее суть и за что восстает против нее враждебная интрига, его безразличная боевая энергия осмыслилась и получила твердое направление.

«Так вот что, голубчики, вам не по нраву пришлось? — думал он в какое-то воображаемое, враждебное простран-

ство, злобно косясь на толстогубого и белявого клакеров, обессиленных общим энтузиазмом и поэтому чувствовавших себя весьма глупо. — Вот вы какие соколы? Богачи и начальство хотят парню рот заткнуть, чтобы не смел кричать о нуждах бедного человека, а вы позволяете себе — на такую пакость — наймоваться? Ах, воши лохмотные! Да — шевельнись вы теперь только: контрабаса внизу не пожалею, — обоих в оркестр спущу!..»

Толстогубый и белявый чувствовали гневную предубежденность грозного соседа, проникавшую их, как магнетический ток некий, и сидели — ни гу-гу! тише воды, ниже травы. Но — которого-то из их товарищей, вероятно, особенно совестливого, что — деньги взяты, а скандала нет, угораздило-таки прорваться. И, когда Сергей бросился в ту сторону, толстогубый с белявым только переглянулись: дескать, — ну и влетит же кому-то из нашей братьи от этого ирода... по первое число!..

Подписав составленный протокол, Сергей направился в партер, еще мерцающий несколькими лампами. В ярусах уже не было ни души, и электричество погасло. Перед оркестром еще бушевала кучка молодежи человек в шестьдесят, но занавеса для них не поднимали. Какой-то господин, не слишком молодых лет и скверно бритый, но в студенческом мундире, вскочил на стул и держал речь. Сергей приблизился. Господин тараторил, как трещотка. Звенело в воздухе:

— Наплыв гражданских чувств... Подъем... Искусство пролетариата... Протест... Эксплуатация труда капиталом...

Господина окружало уже человек с десяток. Прислушивались. По боковому проходу летел к нему с искаженным лицом испуганный Риммер. Из главных дверей показались два полицейских мундира. Они наблюдали, но не спешили вмешаться, будто поджидали чего-то. Сергей взглянул на них, взглянул на оратора и вдруг — сообразил. Господин скривил рот, повысил голос:

— Долой...

Но, не договорив, сам слетел долой со стула: Сергей сдернул его за руку. Вокруг Сергея зашумели. На Сергея бросились. Сергея ругали. Сергея толкали.

— Как вы смели?

— Негодяй! Черная сотня!

— Вы оскорбили нашего товарища!

Пленника вырвали из рук контролера. Сергей храбро смотрел в распаленные лица, напиравшие на него пламенным кругом.

— Эх вы! — крикнул он наконец. — Умники! Провокаторской хари от товарища отличить не умеете!

— Что? Что? Что? — посыпались голоса, как листья в осеннюю бурю.

— А то, что мундир на нем, сукине сыне, студенческий, а штаны — форменные, жандармские. Подайте мне его сюда, я его к начальству сведу... вон стоят архангелы! пусть поцелуются!

— В самом деле, господа, — вмешался один барин постарше и солидного либерально-земского типа, — контролер едва ли не прав. Этот господин очень подозрителен. Чуть ли я не встречал его на улице в полицейском мундире...

— Еще бы я не прав, — самоуверенно говорил Аристонов, — я из Петербурга. Мы, питерские, к подобным гадам присмотрелись. Глаз наметанный.

— Вспомнил и я! — почти радостно воскликнул толстый, юный, розовый техник. — Я намедни рожу эту в биргалке видел... в штатском... он с околоточным — у стойки — пиво пил.

Толпа рассвирепела.

— Давайте его сюда!

— Допросить!

— Осмотреть!

— Бей его, товарищи!

— Господа! господа! помилосердуйте! здесь театр! — усовещивал бледный, в желчных пятнах, летучею мышью мечущийся Риммер.

— Бей!

Но бить было некого: провокатор воспользовался замешательством, когда толпа отняла его из лап контролера, и успешно скрылся в полумраке огромного зала.

— Как есть — вороны! — бесцеремонно поблагодарил толпу Сергей Аристонов.

— Под креслами уполз!

— Ложи обыскать надо. В ложах прячется.

— Нет, верно, в оркестр перескочил...

Полицейский чин приблизился от входа. Студенты фыркали.

— Расходитесь, господа, расходитесь.

Ему отвечали со злобою и насмешкою:

— Расходимся, господин, расходимся.

— Господа, — умолял Риммер, — не подводите театра под штраф!

Другой полицейский расспрашивал Сергея:

— Что здесь у вас было?

Сергей посмотрел ему в толстое, неумело лицемерное лицо, ухмыльнулся, мигнул студентам и отвечал:

— Так что, господин пристав, какой-то мерзавец пытался произнести возмутительную речь, но я ему воспрепятствовал...

— Вы должны были задержать его и представить властям, — сухо возразил полицейский.

— Не управиться было, господин пристав: сильный черт, извините на худом слове... Но, ежели угодно вашему благородию, то — что ушло, не пропало. Извольте произвести обыск в зале. Где-нибудь здесь прячется. Далеко скрыться не мог.

Полицейский, не отвечая, будто не слыхал, отвернулся и зашагал в другую сторону. Студенты захохотали.

— Расходитесь, господа, расходитесь.

Выходя из театра, группы публики невольно смолкали и робели, видя пред собою черные, попарные, будто мура-

вьиные, шеренги городовых, ожидавших скончания своего тяжелого, скучного наряда. Когда мимо проходил Сергей Аристонов, полицейский офицер окликнул его:

— Вы! как вас там?

— Что прикажете?

Сергей приостановился — вызывающий, ярый. Он чувствовал в трех шагах за собою Риммера с двумя товарищами-контролерами, а недалеко впереди дружескую кучку студентов и не боялся быть арестованным втихомолку, без свидетелей и защиты.

Полицейский грозил ему пальцем в белой перчатке.

— То, что вы не в свое дело суетесь... Смотрите! Нос оторву! Я вашу рожу запомнил.

Сергей хладнокровно возразил:

— Очень приятно слышать. Можете, значит, кланяться мне на улице.

— Ах, каналья!

Но Сергей уже исчез в переулке.

Один полицейский хохотал. Другой злобился.

— Все равно. Зачту вперед. Не сегодня, так завтра — от нас не уйдет. Видна птица по полету. Я его рожу запомнил.

А Сергей в переулке быстро нагнал четверых, среди которых он уже издали легко узнал сзади своих врагов по райку: толстогубого и белявого.

— Если затевать подобные штуки, — недовольно бунчал белявый, — то надобно нагнать в театр человек сотню. А то — эка выдумал: полтора десятка на такую-то махину... Тут — дерзни: опосля и костей не сочтешь.

— За целковый да рыло свое подставлять? — вторил толстогубый.

— Я так прямо и доложу завтра Ермилу Федотовичу: вперед — меньше чем за трешницу не согласен...

«Ага! — подумал Аристонов, крадучись сзади клакеров, — вот кто скандал-то строил?..»

По имени и отчеству он признал главу местной черной сотни, негласного издателя «Истинно-русского Обуха». Клакеры шли, ругая «Обух» и скупость патриотов-покровителей:

— В министры вылезть норовит, а на патриотизм — четвертной бумаги не истратил.

— На жидов наущает, а сам на деньги жаден — хуже всякого пархатого...

— Жилит, жилит... уж добро бы свои! А то ведь знаем мы: опчественные!

— Из казенного сундука!

— Ах, и воры же, братцы! Ах, уж это надо ихней чести приписать, что весьма большие мошенники!

— Тише вы! — останавливал белявый, — мимо редакции идем, швейцар либо дворник слышат...

— Плевать! Я им, скаредам, ежели вдругорядь жилить будут, то и стекла переколочу! право, поколочу!

Сергей Аристонов приятно улыбнулся. Ему подали веселую идею. Озорство — его вторая натура — жадный и дразнящий аппетит растратить безысходно накопившуюся удаль в замысловатой и отчаянной штуке — закипело в нем, подсказывая хитрый и дерзкий скандал.

«Погодите, голубчики, я вас всех усахарю! — размышлял он в злобном веселье, скаля в темноте острые, хищные зубы. Он приостановился следовать за квартетом и дал клакерам уйти вперед, но не терял их из вида. А когда они слились с ночною тьмою, он уже твердо и безошибочно знал направление, по которому им непременно надо будет идти минут, по крайней мере, десять. — Я вас усахарю!»

— Дворник! — смирно окликнул он у первых же ворот, — скажи пожалуйста: как пройти на Пильщикову улицу?

Послышался сонный ответ:

— Направо бери... будет — через три переулка — четвертая налево...

Сергей Аристонов выждал, двигаясь тихим, черепашьим шагом, ровно столько минут, во сколько по его расчету четверо клакеров могли дошагать до полицейского поста, который — он знал — находится впереди, на скрещении улиц Пушкинской и Тотлебенской.

А затем... дзинь — грр! дзинь — грр! дзинь — грр!.. загремели и посыпались стекла: три камня, брошенные меткою рукою, ухнули в три окна редакции «Обуха»... И в то же мгновение Сергей с неистовым ревом:

— Держи! держи! — ринулся по Тотлебенской — в том направлении, куда ушли четверо его неприятелей.

— Держи! Держи!

У каждых ворот Сергей толкал дремлющего дворника либо срывал с него шапку.

— Держи! Держи! Дьявол! Дрыхнешь тут! В «Обухе» три окна выбили! Четверо! Держи! Мимо тебя, ирода, шли! Отвечать будешь! Держи! Держи!

Дворник вскакивал, хлопал глазами и гипнотически покорный уже промчавшемуся мимо воплю, — сам устремлялся, сам простирал длани, сам ругался, сам голосил:

— Держи! Держи! Четверо! Мимо шли! Держи! Держи!

Тотлебенская улица украсилась десятками темных теней, бегущих по одному направлению, наполнилась гомоном, криком, воем, гиканьем, трелями полицейских свистков.

— Держи! держи!

Встречные извозчики порожнем поворачивали сани, настегивали кляч своих и мчались навскачь в неведомую, инстинктивную погоню, гогоча сиплыми, здоровенными деревенскими голосами:

— Дяржи! дяржи!

Многие из преследователей, в рьяном усердии держать, уже успели обогнать Сергея. Тогда он умерил свой бег и, хотя все еще вопил: «Держи! держи!» — начал искусно отставать от преследования. В нижних этажах домов приотворялись

подъезды и оконные форточки. Выставлялись головы встревоженных обывателей и обывательниц, выглядывали швейцары.

— Послушайте... что случилось? где пожар? что такое? — сыпались испуганные вопросы сверху вниз сквозь мглистый воздух в бледной дрожи редких фонарей.

Под одною из таких встревоженных голов Сережка счел за полезное остановиться.

— Ничего особенного и никакого пожара, — сказал он, с любезностью приподнимая котелок свой. — Не извольте беспокоиться. Просто четверо хулиганов каких-то сейчас выбили стекла в редакции «Обуха»... Ловят их... На Пушкинскую побежали...

— Держи! Держи!

— Ах, мерзавцы! — возмутилась голова, — и еще ночью... какого переполоха наделали! У меня просто сердце оборвалось... Жить нельзя стало в городе! да! Нельзя жить!

— Неаккуратная публика! — равнодушно посочувствовал Сергей, сторонясь, чтобы пропустить мимо новую бегущую группу, толсто топочущих и как-то особенно грозных и напористых преследователей.

— Держи! Держи!

— Из «Обуха», что ли? — крикнул Сергей вслед этой группе, заметив, что в ней сверкают ливрейные пуговицы швейцара и мундирные посыльных. — Жарьте на Пушкинскую: там ваших скандалистов поймали, утюжат...

От Пушкинской на Тотлебенскую действительно уже доносился неясным гулом мутный концерт человеческого гама в прорезе с полицейскими свистками.

— Держи! Держи!.. — помчались туда обуховцы.

Сергей же, пропустив этот своего рода девятый вал, спокойно зашагал — в обратную сторону. Свернул в переулок, в другой, в третий и очутился на той самой Пильщико-

вой улице, о которой он за минуту до своего приключения расспрашивал дворника, чтобы на всякий случай, — хотя пойматься он не надеялся, — обеспечить себе некоторое alibi *. Он был необычайно доволен собою и об одном жалел: что не может видеть, с какими глупыми рожами должны стоять теперь ненавистные ему толстогубый и белявый, окруженные рассвирепелыми дворниками, под кулаками обуховцев и селедками городовых.

«То-то обалдели, небось, дураки! — с удовольствием воображал он, шагая по звонкому в холодной ночи тротуару. — Как ни вертись, а ночевать вам, голубчики, в участке. И шеи намяты будут, — первый сорт!»

Перед ним задышали седыми облаками порывистых паров яркие, часто отворяемые двери извозчичьего трактирчика, торгующего всю ночь и на чистом отделении. Сережка привычным поворотом завсегдатая направился в этот облюбованный им Капернаум. В нем все еще ликовало и прыгало.

«Всю ночь пить буду! Знай наших, питерских!.. А, между прочим, довольно-таки даже глупый народ эти провинциальные хомяки! Подобны овцам без пастыря: куда их погнал, туда и пошли... Ну-с, однако, и то сказать: ежели будем рассуждать насчет уличного скандала, то — есть ли на свете другой мастер по сей части, равный тебе, Сергей Кузьмич, друг ты мой любезный?!»

* * *

Когда Елизавета Вадимовна Наседкина, окончив партию и отбыв бесчисленные вызовы публики, вошла в свою уборную, чтобы разгримироваться и сменить театральный костюм на вечерний туалет: после спектакля предвиделся маленький дружеский ужин в честь Нордмана, — всем за кулисами показалось, что она как будто стала выше ростом и осанистее фи-

* Алиби (*лат*), доказательство невиновности

гурою. Светлицкая, заплаканная, возбужденная, бросилась ей на шею.

— Милушка! Милушка!

Елизавета Вадимовна претерпела грузную ласку наставницы снисходительно, но без всякого ответного увлечения.

— Ну да, ну да, милая Александра Викентьевна, — говорила она, слегка даже освобождаясь от профессорских объятий. — Я очень тронута, очень благодарна. Но о чем же плакать? Неужели вы не ожидали? А я была уверена... все так обыкновенно!

В голосе и тоне ее звучали новые, небрежные ноты, которые — будь это у мужчины — надо бы назвать генеральскими. Маша Юлович, — по добродушию своему, зашедшая-таки поздравить Наседкину, хоть и не любила ее, — не заметила этих нот.

— Врешь, матушка! — вмешалась она, ласково похлопывая примадонну по плечам, — что грех на душу брать? Теперь храбра, а перед первым выходом так тряслась, что половицы под тобою содрогались.

Наседкина ускользнула из-под фамильярной руки и возразила сухо:

— Я волнуюсь только до рампы. Звук оркестра меня перерождает.

Юлович продолжала, улыбаясь Светлицкой:

— Я-то было думаю: откуда это в оркестре кастаньеты взялись — как будто некстати? Ан, это наша примадонна зубками пощелкивает... Стой-ка ты, стой-ка, — ринулась она на помощь одевающейся Наседкиной, — юбка-то у тебя, мать, совсем криво повисла... Погоди, поправлю... Я тебе — сейчас...

Наседкина взглянула на нее, согбенную и хлопочущую, через плечо и уронила — совсем будто барыня горничной, даже как-то в нос:

— Спасибо, милочка.

— Милочка?!

Машу Юлович ожгло. Она вытаращила на Елизавету Вадимовну широкие глаза растерянной телки, которая в сердцах не знает, что ей — бодаться или удирать? Красноречие ей изменило. Она хлопнула ресницами, сердито фыркнула носом и выскочила из уборной, подобно буре, свирепо вея колеблющимися перьями своей кокоточной шляпы.

А Наседкина, как ни в чем не бывало, натягивала на руки длинные бурые перчатки и жаловалась Светлицкой манерно и жеманно:

— Я так устала, ног под собою не слышу, — вот до чего утомлена!

— Вам бы домой, в постельку, баиньки, — говорила Светлицкая, нежная, ласкающая, почти заискивающая.

— Да. А тут этот глупый ужин! Вы будете?

— Конечно. Довезти вас?

— Нет, merci. Я обещала Андрею Викторовичу, что я с ним поеду.

Светлицкая подумала с насмешливым одобрением: «Еще сегодня утром ты сказала бы: Андрей Викторович обещал мне, что возьмет меня с собою... Молодец моя Елизавета!..»

И — покатилась из уборной, шарообразная, плавная, как мяч. В коридоре ей пришлось промелькнуть мимо Маши Юлович, которая на пороге одной из уборных возбужденно говорила Ваньке Фернандову, тоже красному и злому:

— Понимаешь: я ей теперь — «милочка» оказываюсь? Какая-нибудь примадонка без пяти минут, и Марья Юлович для нее — «милочка»? А?

Фернандов огрызался:

— Так вам и надо! сами виноваты! не суйтесь с услугами — ко всякой! Удивляюсь. Годы ваши не маленькие, на

театре вы зубы съели, знаменитость нажили, а не можете позабыть, что смолоду в горничных служили. У кого бант не так приколот, у кого юбка висит, — так вот вас и тянет поправить... Сама — неряшище, а вокруг других хлопочет: нельзя же! «барышни»!

— Ты-то, батюшка, что еще? — озадачилась Юлович, — я тебе — по дружбе жалуюсь, как доброму человеку, а ты на меня же распетушился?.. Ах ты, невежа!

— Мне-то, что? — за вас, Марья Павловна, обидно! Поддержать свое достоинство не умеете! Амбиции в вас нет!

— А что тебе до моей амбиции? — дурак ты!

— Чужая вы мне, что ли? — окрысился Фернандов.

Юлович осмотрела его подозрительно и погрозила толстым пальцем.

— Фернашка! Это с твоей стороны — маневры!.. Опять разуть меня собираешься? Разжалобить не надеешься, так благородным негодованием думаешь взять!..

— Нет-с, не маневры! не маневры! нет-с! — кипел маленький тенор, дергая плечами, точно хотел выскочить из самого себя. — Это вам стыдно так говорить! Какая же вы артистка, если не чувствуете моей искренности? Я за вас как старый ваш товарищ оскорблен, как член труппы, как уважающий себя артист... Ух как я эту вашу Кострюлькину ненавижу! — взвизгнул он бабьими нотами. — Вот уж — не было печали, черти накачали! Нанесло же на нас этакую дрянь!

— Не ври, Фернашка, — серьезно остановила Юлович, — талант, большой талант.

Он перебил:

— А черт ли мне в ее таланте, если я в ней свою погибель чувствую? Вот — увидите, Марья Павловна, помяните мое слово: эта девица попала к нам, как серная кислота на платье. Разлезется и расползется от нее театр наш, как материя согнившая...

Маша Юлович молчала. Фернандов ругался.

— Талант? Талант? Эка невидаль — талант! В театре Савицкой голым талантом не удивишь: нечего нам талантом в носы-то тыкать! Ты себя в общей работе покажи, в товариществе. Если ты талант, так ты строй дело, а не разлагай, слаживай, а не разбивай!

Маша Юлович нерешительно вступилась:

— Собственно говоря, Фернашка, зря лопочешь. Мне Миликтриса эта — уж куда как не по душе, но покуда, кажется, грех про нее сказать, чтобы антриганка...

— Интриганка!

— Не все тебе равно? Цепляйся! Смола!.. Ни в чем этаком покуда не замечена...

Фернандов даже замотался как-то на месте, будто готовый сорваться со шнурка и завертеться по полу волчок.

— Как не замечена? — аж завизжал он. — Да — она вся сплетена из интриги! От нее дышит кляузою и каверзою, как от приказного крюка! На что вам факты? Мое внутреннее убеждение говорит, что дрянь, — по совести, нюхом чувствую... С тех пор, как эта госпожа у нас завелась, за кулисами ад стал. Когда это бывало? Тринадцать лет работали дружно, одною семьею, — товарищи были, друзья, закадыки, — худого слова никто не слыхал — ни от кого, ни про кого.

— Не ври, Фернашка! Одному тебе — что влетало!.. И от меня-то, и от Лели-то, и от Захара, и от Морица Раймондовича...

Фернандов гордо выпрямился.

— Попали вы пальцем в небо! Вы! Елена Сергеевна! Захар Венедиктович! Да — Мориц Раймондович меня не то что ругать, — может хоть палкою прибить: я — ничего! смолчу! Неприятно, а — стерплю! Потому что — знаю: не со злобы, но дело любя, театру добра желая. Мориц Раймондович? Вы еще сперва раскусите его, кто он для нас есть, наш Мориц Раймондович! Он меня жучить вправе, потому что

он мне в моих понятиях больше, чем отец. Товарищ! над всеми товарищами товарищ. Но — чтобы какая-нибудь налетная фря... нет, играйте назад, сударыня! Тонко ходите, чулки отморозите!.. Пусть попробует, — я ее так рвану, что она от меня горошком откатится...

— Ишь ты! Аника-воин!

Юлович, шутя, ударила Фернандова ладонью по затылку. Он отряхнулся, как пудель, и с уверенностью продолжал:

— Фактов вы от нее и не ждите, — не будет! Незачем ей самой факты оказывать: факты на себя вон та толстобокая приняла...

Он кивнул в сторону артистического фойе, куда недавно прокатилась черным шаром Александра Викентьевна Светлицкая.

— Саньке у нас в театре терять нечего. Она — человек конченый. У нее теперь такая позиция: только пакостями и может еще на поверхности держаться... как помет на воде! Ну и мутит, и крутит. Всех перессорили и замотали. Елена Сергеевна ходит, как тень могильная. Андрей Викторович наш гениальнейший такого дурака валяет, что стыдно смотреть: словно паяц на ниточке — куда дернут, в ту сторону и заболтал руками-ногами. Вас вон уже «милочкою» зовут и в горничных ставят. Мешканов с Санькою тринадцать лет враг был, только на похабных анекдотах и уживались кое-как, с грехом пополам. А теперь через новенькую эту к Саньке в лакеи пошел, на Кереметева начинает фыркать: плевать, мол, хочу! Сам с усам! Натуркали ему в уши, будто он гениальный режиссер, а Захарка, мол, только всю жизнь на твоей спине ездил, да жареных голубей в рот ловил...

— Да ведь если говорить начистоту, то правда, друг милый?

— Ничего не правда. Режиссеров выдумка делает, а у Мешканова только исполнение великолепно. Он от печки лихо танцует, но собственною фантазией — пшик! Захар наш — лентяй

и тунеядец великий, и пошарлатанить не прочь, но у него голова, у него вдохновение, у него — общий план. Уйди Мешканов, Захару будет трудно, но выдрессирует себе другого подручного и справится. А Мешканов без Захара будет кот в сапогах.

— Удивительная вещь! — угрюмо сказала Маша Юлович, перебирая пуговицы своего пальто одним из тех простонародных жестов, которые, как натура, проскальзывали у нее сквозь сценическую привычку всякий раз, когда она уж очень искренно развеселится или задушевно задумается. — Удивительная вещь! Леля — ангел. Тринадцать лет все мы знаем, что ангел. А, поди же ты, друзей верных мало нажила. И человека, на которого ей можно положиться в деле, у нее нет... Прав ты: все столбы расшатались. Разве еще — Риммер надежный...

— Риммер — колбасник и торгаш. Для него — кто кассу сделал, тот и великий человек. Сегодня — Савицкая, завтра — Наседкина: ему все равно, он и искусство, и людей ценит по сборам. Нет-с, уж что себя утешать и обманывать! Кавардак! Порядок, дисциплина, традиции — все летит к дьяволу! Прошли наши красные денечки, Марья Павловна! Катимся к закату и начинаем смеркаться. Были божки, а скоро станем вражки. Спеты наши песенки!

— Это ты — после такого-то спектакля, как сегодня?

Ванька Фернандов посмотрел на Юлович свысока.

— Замечательная вы артистка, а ничего не понимаете! — произнес он, помолчав, с таинственною важностью, не хуже самого Захара Кереметева, точно какой-нибудь египетский иерофант или мистагог средневековый.

— Сам, небось, слышал успех-то... — смутилась Юлович: она не ожидала возражений.

Фернандов язвительно вскинулся на нее:

— А что же, госпожа Юлович, находите вы радостного в успехе «Крестьянской войны»?

— Да ведь хорошо, Фернашка! Страсть как хорошо!

— Кто спорит, что худо? Господин Нордман в один вечер себе имя сделал. Но что лестного для вас-то? для меня? для театра нашего? Нуль-с. Хуже: минус! Потому что господин Нордман своею музыкою всем нам приказал сегодня в отставку подавать.

Юлович широко открыла коровьи свои глаза и захлопала веками, не понимая.

— Теперь отставку какую-то выдумал, — произнесла она в медленном недоумении, — мудришь ты сегодня, Фернашка. Господь с тобою!..

— Да вы можете эту музыку его по-настоящему исполнять? — приставал Фернандов, — по совести скажите: можете? Артистически? Художественно?

— Что ж? — вздохнула певица. — Известно... Мне трудно... я не консерваторская...

Фернандов гордо ткнул себя пальцем в грудь.

— Я— консерваторию кончил. При Рубинштейне. У Эверарди! И — не могу! Да. И никто из нас, стариков, не может. Что такое представляли собою сегодня Тунисов, Самирагов, Фюрст? Как в лесу дремучем бродили. Надерганными марионетками себя чувствовали. Граммофоны пели, автоматы играли. «Ансамблю не мешали», — только и скажут о них завтра в газетах. А, пожалуй, кто поправдивее, то и без церемонии напрямки напишет: «Ансамбль не портили». А ведь каждый из них — артист-с! Один Андрей Викторович в гимнастике этой плавал как рыба в воде. Да и то, правду сказать, все же остался на втором плане: Наседкина-то — тут не поспоришь! — успехом его забила... Да-с. Вот то-то и оно-то. Не можем, выходит, мы эту оперу петь: не наша музыка! Да что мы? Сама Елена Сергеевна не смогла, тоже не ее дело вышло... Е-ле-на Сер-ге-ев-на!!! А вы радуетесь, что пришла и понравилась публике такая музыка, которою мы не в состоянии овладеть! Это — наш

конец, это всему нашему артистическому поколению — крышка! Вон — как Вагнер когда-то раздавил итальянскую оперу, так нашу теперь Нордман херить начал... Нам умаляться, а Наседкиным расти. Тьфу! Не видали бы глаза мои!

Он и в самом деле плюнул.

— И понимают-с они это, шельмы, отлично понимают, не беспокойтесь. Недаром заслуженных артисток в «милочки» жалуют. Одна Санька Светлицкая сияет, как новый грош. Сковородкина ее плавает павою именинною, раздула щекастую рожу, как воздушный шар, дерет нос до колосников, обтянула шелками грудищи свои, так и прет ими на каждого, будто таран какой, так вот всем своим существом хамским и орет тебе навстречу: я теперь — здесь первая шишка! сторонись! прочь с дороги! козырь идет!.. У-у-у! победители, чтоб вам ни дна ни покрышки! Сегодня пришла девка из публичного дома, завтра придет вышибало, хулиган...

— Не ругайся уж! — с боязнью оглянулась сконфуженная Юлович.

А Фернандов наскакивал:

— Я, Марья Павловна, в театре маленький человек, второй артист. Небольшая фигурка я, Марья Павловна! Но я наш театр люблю-с... да! Может быть, никто его, наш театр, столько не любит и не понимает, как я, маленький человек! Елена Сергеевна и Мориц Раймондович понимают меня, как беспутного, но они для меня — как боги земные, и очень мне это горестно — видеть, что они в слепоте своей попускают разным червям-древоточцам разрушать свою храмину... Под них подкопы ведут! Я, Марья Павловна, недаром по клубам шляюсь и по трактирчикам трусь. В народе иногда услышишь такое, что своим умом — в три года не дойти, — ан, ларчик-то просто открывался...

* * *

К Светлицкой, когда она проходила артистическим фойе, приблизился быстрыми шагами длинный-длинный, узкий-узкий, прямой-прямой, — что называется — с коломенскую версту, юноша, белокурый, кудрявый, быстроглазый, с какою-то победительною и радостною улыбкою на безусых алых губах, красиво и смело вырезанных крутою, будто бреттерскою, линией. Она сразу бросалась в глаза и в какой угодно толпе делала лицо это заметным и интересным. И Светлицкая вдвойне привычным, наблюдательным взглядом — внимательной артистки и развратной женщины — сразу же заметила и оценила — и эту линию, и молодецкую осанку юноши, и легкую, будто летучую, походку его, и победно-яркие карие глаза веселой хищной птицы.

«Ух какой белый орел!» — подумала она, сама сразу веселея.

А белый орел подлетел, переломился в поклоне, как складной аршин, и произнес в упор певице:

— Печенегов.

В густом голосе его смеялись веселые, дурашливые ноты той же молодой удали, что написана была в породистом, типически-дворянском, изящном лице, в стройном и гибком теле, облеченном в довольно потертый, визитный костюмчик, в смешно дыбящихся завитках волос, будто пронизанных лучом улыбнувшегося солнца.

Светлицкая измеряла незнакомца взором испытующим, но приятным: он ей нравился.

— Что вам угодно? — вызвала она на крашеные уста свои одну из самых приветливых и благосклонных своих улыбок. Их у нее было выделано множество. И пускались они в ход, словно звонки электрические, по безошибочно выскакивающим номерам.

Юноша вторично мотнул головою и прогудел шмелем:

— Моя фамилия — Печенегов. От кочевого народа седой древности. Осмелился прикочевать к вам.

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Обладая некоторым баритоном, не будучи от природы глухонемым, хромым и безруким, а также сгорая пламенною страстью к искусству...

— Хотите учиться петь?

Бойкими искорками в смешливых глазах, радостным звуком густого голоса, талантливо-шутовскою интонацией, — будто он сам над своею удалецкою решимостью подтрунивал, а в то же время и верил в себя, как в хорошую живую шутку, которая сильнее всякого серьеза, — красивый Печенегов все больше и больше занимал Светлицкую. Навстречу бесконечно льющейся молодой жизнерадости нового знакомого она улыбалась теперь уже невольно и почти искренно. А Печенегов гудел:

— Долго колебался в выборе профессора. Но сегодня, слышав г-жу Наседкину, — эврика! Или Светлицкая, или никто!

— Это мне очень лестно, — произнесла Александра Викентьевна уже с важностью. — Но я — должна сознаться откровенно: неохотно учу мужчин... Моя специальность — женские голоса.

Печенегов махнул солнечными завитками кудрей своих.

— Знаю.

— Отчего бы вам не обратиться к Броньи или Патошникову? Они специалисты.

— Или Светлицкая, или никто! — с пафосом повторил Печенегов.

Александра Викентьевна самодовольно потупилась, играя богатым веером из черных страусовых перьев.

— Притом, — позвольте прямой и щекотливый вопрос: средства у вас есть?

В красивом лице Печенегова не дрогнул ни один мускул, когда он отвечал серьезно и значительно:

— Против зубной боли — имею наследственный заговор от двоюродной бабушки. Помогает, хотя и не всегда.

— Вы — комик, однако? — рассмеялась певица. — Нет, оставим вашу бабушку в покое. Я спрашиваю о средствах, чтобы учиться, платить за уроки... Учиться пению вообще, знаете ли, недешевая забава, а я, предупреждаю вас, имею репутацию профессора дорогого.

Печенегов повесил голову.

— Нет, — произнес он сокрушенно и уныло, — кроме бабушкина, иных средств у меня нет.

— Вот видите, — как же быть-то?

— Я вам натурою отработаю, — решительно предложил Печенегов.

— То есть?!

Светлицкая даже слегка вспыхнула от неожиданности, боясь прочитать в ней оскорбительный задний смысл, скрытую дерзость. Но юноша пребыл ясен, как майское утро, и пересчитывал невозмутимо:

— Дрова колоть — согласен. Печи топить — согласен. Способен быть за швейцара и дворника. В качестве кухонного мужика, изряден. В качестве посыльного — незаменим. Не однажды выводил тараканов бурою. Полы натирать — не пробовал, но могу научиться. Но — или Светлицкая, или никто!

Светлицкая хохотала, пряча лицо в пушистые перья.

— Вы всегда такой веселый? — уже слегка кокетничала она из-за веера.

— Когда денег нет, всегда.

— А если есть?

— Мрачен. Терзаюсь заботами, куда бы их поскорее спустить.

— Ай-ай! Мотать и кутить-то вам как будто раненько? Который годок-то?

— Двадцать два.

— А прибавили себе сколько?

— Нет, верно, что двадцать два: я в маменьку, моложавый.

— Действительно, — ужас, какой молодой! Даже на девочку похож... Только, что длинный вырос!

— Вот и примите меня в класс за девочку, — хладнокровно посоветовал Печенегов.

Светлицкую опять немножко передернуло под белилами. Как все люди, много преступные и еще больше оклеветанные, она была болезненно чутка к намекам на пороки, которые приписывала ей городская сплетня, и в этом отношении выработала себе почти манию преследования.

Печенегов же рассказывал:

— Я на масляной для маскарада английскою мисс одевался. Так за мною толпы зевак ходили. Первый приз получил.

— А вы говорите по-английски? — с удовольствием спросила Светлицкая: она любила этот язык, по памяти от своей учительницы и благодетельницы, великой Н – и, которая заставила ее выучиться по-английски, потому что сама была американка.

— Yes! *

Печенегов заговорил быстро и с апломбом, двигая четвероугольным ртом, широко вращая выдвинутою вперед челюстью. Гортанные звуки, жующие, плюющие, чавкающие, летели, как из граммофона... Светлицкая слушала с круглыми глазами.

— Я ничего не понимаю.

— Aoh?! ** — изумился Печенегов и залопотал еще бойчее и внушительнее.

Светлицкая пожимала плечами в недоумении.

— Что такое? Кто вас учил по-английски? Это — какое-то провинциальное наречие. Я хорошо знаю язык, но не в состоянии разобрать ни одного слова.

---

* Да! (*англ.*)
** О?! (*англ.*)

Печенегов виновато улыбнулся и сказал уже по-русски:

— В Кронштадте английские матросы убить меня хотели.

— За что?

— А вот за это самое. Слышат, будто по-английски, а понять не могут. Догадались наконец, что я их морочу... До ножей дошло...

Улыбка исчезла с лица Светлицкой, и круглые брови ее поднялись в серьезном движении удивления и любопытства: подражательный обман юноши поразил ее.

«Уж не талант ли?» — зажглось жадною искрою в артистическом уме ее.

— Так вот вы какой чудак! — сказала она медленно, заинтересованная. — Это редкость. И много таких штук вы умеете делать?

Он беззаботно рассмеялся.

— Хоть с утра до вечера забавлять вас буду... Я ведь шалопай. Меня за фокусы-покусы мои из шести гимназий выгнали. Я и фейерверки умею делать.

— Право, уж и не знаю, как быть с вами, — раздумчиво соображала Светлицкая. — Если бы еще женский голос... Мужчин я не брала до сих пор ни даровых, ни льготных...

— Ежели требуется, я — для иллюзии — могу на уроки, в самом деле, в женском платье являться?

— Фу, какой глупенький!

Светлицкая даже ударила Печенегова веером своим. Он шаркнул ножкою и отдал честь по-военному:

— Рад стараться.

— Хорошо. Нечего делать с вами. Приходите завтра ко мне в класс, попробую, какой у вас голос.

— Голос у меня очень хороший, но завтра не могу, — жалобно отрекся Печенегов. — Очень вызывал сегодня ученицу вашу. Глотку сорвал.

— Вот милый! — похвалила Светлицкая.

Печенегов серьезно склонил голову:

— Я милый.

— В таком случае, приходите — когда ваша «глотка» поправится.

— Я скоро.

— Буду ждать.

— Я к тем, кого люблю, всегда скоро! — успокоил Печенегов.

— Вот как? И я уже удостоилась быть в том числе?

— А то — как же? — изумился Печенегов. — Разве иначе я осмелился бы вас беспокоить? Я с пятого класса гимназии поклонник ваш... Полагаю, что ни единого спектакля вашего не пропустил. А портреты ваши положительно во всех ролях имею...

— Вот не подозревала, что одержала такую блестящую победу!

Польщенная в своем артистическом самолюбии, так часто уязвляемом за последние годы, Светлицкая была, в самом деле, тронута. Глаза ее помолодели и затуманились сантиментальным облачком мечты о любимом деле, любимых утехах и успехах, — о прощальном счастье отцветшей молодой славы, о наступающей грусти отставной старости...

— Merci.

Она протянула Печенегову руку, кругло затянутую в черной перчатке. Тот низко нагнулся и почтительно поднес ее к губам своим.

— Э! кто же в наше время целует дамам руки в перчатках? — кокетливо засмеялась певица. — Ах вы, молодой вьюнош! Да и вообще — охота у старухи руку целовать?

Печенегов осмотрелся.

— А где она?

— Кто? — не поняла Светлицкая.

— Старуха?

Певица с ужимкою спрятала губы за веер.

— Что искать далеко? Пред вами стоит. Я своего возраста не скрываю.

— Так это вы про себя так изволите?

Печенегов — как бы в негодовании — заводил белесыми бровями по высокому своему лбу и зашевелил смешно-курчавою шапкою солнечных завитков.

— О-о-о! Вот уже не думал про вас, что и вы кокетка!

— Что-о-о?

Светлицкая пронизала молодого человека подозрительным и недовольным взглядом умной женщины, почувствовавшей себя в смешном положении перед слишком явною и грубою лестью: «Смеется он, что ли, надо мною? За дуру принимает?..» Но — и опять — чело прекрасного юноши оказалось безоблачно-ясно, глаза бесхитростно честны и чисты, улыбка младенчески невинна и прямодушна. И весь он был, будто светился насквозь, — молодчина, рубаха-парень, душа нараспашку, энтузиаст, лихач-кудрявич, свеча-человек...

«Наивен без конца или уж очень нахал и жулик? — испытывала его мрачная, цинически опытная мысль Светлицкой. — Наивен!» — выбрала она поверить тому, во что было приятнее поверить. Помолчала, вздохнула и сказала дружеским, материнским, но не без натянутости, сконфуженным будто, голосом:

— Скажите пожалуйста! Молоко на усах не обсохло, а уже льстец!.. Так — приходите пробовать голос. Если окажется хороший, так и быть, — приму вас... Жду...

Из вестибюля, покуда служитель одевал ее в каракулевую шубку, она-таки оглянулась на Печенегова, стройно и быстро уходившего по коридору в зрительный зал, и черные бархатные глаза ее были влажны, томны и сладострастны...

«Чудо, как хорош! — думала она, летя в легких санках и дружески кивая Савицкой, которая ее обогнала, — просто прелесть, объеденье, какой мальчик!.. Если бы у него еще голос был, — вот клад для сцены!.. Только, должно быть,

плут... сразу за настоящее берется, понимает, что должен делать карьеру через женщин... Что же? Ничего, не лишнее! шанс большой!.. Неловок еще... Дерзостью думает брать. Предлагается слишком уже откровенно... Смотрел на меня как кот на сало... Фу! скверное сравнение для такой старой туши, как я!.. Ах-ах-ах! Если бы молодость... хоть денек молодости!.. Молодость, молодость, где ты?.. Дурачок! так вот я и поверила тебе, что ты в самом деле бомбами моими пленился! Это только Машка Юлович у нас еще сантиментальничает со студентами, на пятом десятке романической любви ищет, — чтобы «жалели» ее, видите ли, — этакая дура петая!.. Нам ли, тертым калачам, Арманов и Альфредов ждать? Просто — альфонсик начинающий: почву пробует, что где, как клюнет... А, впрочем, кто их разберет, мальчишек? Шалые и преразвратные они теперь стали... Может быть, и в самом деле я еще... гожусь?.. Да и не все ли равно? Увлекся — тем лучше для меня, альфонсит — тем хуже для него... А во всяком случае... забавно... забавно...»

XXI

Ужинали в великолепном белом зале лучшего в городе ресторана. Предполагалась небольшая, своя компания, а набралось человек сто. Так что даже Сила Кузьмич Хлебенный, инициатор ужина, знаменитый широкостью натуры и кармана, увидав, что набралось лишней публики, изобразил на жирной, красной, умной роже своей комическое недоумение, как бы вопрошая: «Это мне сегодня — за экую ораву платить?!»

У Хлебенного была преполезная привычка — не отказываться ни от какой «общественной жратвы», как бы скромно и малосоответственно его избалованному вкусу она ни за-

тевалась, лишь бы — в очень хорошем ресторане, ему знакомом. А рестораторы, получая заказы на какой-нибудь интеллигентно-демократический обед или ужин, с просьбою устроителей — нельзя ли подешевле? — прежде всего интересовались:

— Сила Кузьмич будут?

— Непременно.

— Ну что же? — объявлял тогда ресторатор с вялою любезностью великодушия, снисходящего к безысходной нищете ближних своих, — можем подать рублика на три с персоны...

— Дорого, почтеннейший, не по карману нашей публике. Народ трудящийся. Нельзя ли — на два?

— Дешевенько будет, — язвительно ухмылялся великодушный ресторатор, — бутылку вина на стол поставить, — вот они уже два рублика ваши и кончились... И три-то себе в убыток беру: ведь рублевого обеда на подписном не подашь... Но Сила Кузьмич, вы говорите, наверное у вас будут?

— Честное слово дал.

— В таком случае, — вздыхал ресторатор, — хорошо-с. Что с вами поделаешь, когда вы такие скупые? Пожалуйте. Сготовлю на два рубля.

И подавал обед или ужин превосходнейший, с роскошною закускою, с изысканным меню, с ординэром хороших французских марок, с настоящим шампанским, с ликерами. Так что участники торжества ели, пили да только похваливали и удивлялись:

— Что же рассказывают, будто в этом ресторане дерут?! Такой обед дома устроить — втрое дороже станет.

Сила же Кузьмич, прибыв на подписной обед, имел обыкновение, — прежде всего, — приостановиться в дверях зала и — из-за них — осмотреть собравшуюся публику — незаметно и издали, соколиными татарскими глазками своими,

ныне заплывшими пятидесятилетним жиром, но привычными смолоду следить за версту овцу в степи. Затем он подзывал распорядителя.

— По скольку?

— По два-с.

— До пяти.

После чего уже входил и пожимал руки знакомым. Если он находил приятную компанию или вообще предвкушал, что ему будет весело, то мигал распорядителю:

— Два накинь.

Потом накидывалось еще три, потом пять, потом десять... вырастали многосотенные и тысячные счета, о которых никто из участников торжества и не подозревал даже. Они еженедельно аккуратнейше по субботам погашались в торговой конторе всероссийско знаменитой фирмы «Кузьмы Хлебенного сыновья и К°».

С этой двойственностью счетов выходили истории курьезные. Обедает Сила Кузьмич вдвоем с известным русским техником, профессором Груздевым, которого он большой поклонник. Почтительнейше осведомляется:

— Позволите просить вас винцом?

Профессор строго смотрит на него сквозь очки.

— То есть вы, по вашему милому купеческому обыкновению, собираетесь душить меня шампанским? Нет-с, не позволю.

— Помилуйте! — даже обиделся и как бы ужаснулся Сила Кузьмич, — могу ли я допустить себе такое отсталое безобразие? Нонче и у нас в купечестве довольно глупая мода эта уже оставлена... Мы попросту — красненького выпьем, столового...

— Красненького — хорошо, — согласился профессор, — но только уж, пожалуйста, не выше трех рублей за бутылку. Потому что платить будем пополам. Дороже — мне не по средствам.

— Обижаете-с!

— Нет, батюшка, я на этот счет немец. Угощений — никаких. Принцип.

Сила Кузьмич уважительно склонил лысую главу свою.

— Принцип — всего дороже-с. Ежели принцип, не смею и возражать-с. Супротив принципу — никогда-с. У нашего полицеймейстера Брыкаева принцип, чтобы взятки брать: уважаю, даю-с. У вас, наоборот, принцип, чтобы даже глотка вина даром не выпить: уважаю, платите-с.

И моргнул услужающему:

— Подай нам, брат Семен, ординэрцу... моего, знаешь?..

Принесли вино в графине. Профессор пьет и похваливает:

— Превосходное вино. Почем?

Сила Кузьмич отвечает с протяжностью.

— Рупь семь гривен...

— Быть не может?

— Человека спросите, если не верите.

И Семен поддакивает:

— Так точно, как Сила Кузьмич изволят говорить: рупь семь гривен.

Профессор уж и в экстаз пришел:

— И вот, имея возможность пить за рубль семьдесят копеек этакий нектар — шальные люди еще тратят бешеные деньги на шампанское, мутон-ротшильды, шамбертэны там всякие?!

Сила Кузьмич прихлебывал из стакана и говорил:

— Необразование.

Распили графин. Профессор уже сам предлагает:

— Не повторим ли?

— Почему же нет-с?

— Я, батенька, собственно говоря, не питух, да нельзя утерпеть: уж больно дешево и сердито.

Пообедали. Расплатились по-немецки, пришлось на каждого по 3 р. 50 копеек с «на-чаем». На прощанье Сила Кузьмич спрашивает:

—Угощать себя вы, профессор, не позволяете. Но — ежели протекцию маленькую — разрешите вам оказать?

— Смотря по тому, в чем...

— Невинная-с. Вам ординэр мой понравился. Семен, скажи там за кассою, чтобы, когда вот они — профессор — удостоят бывать у вас в лавочке вашей, то я приказываю — завсегда им на стол вот этот мой ординэр ставить...

С тех пор профессор повадился в ресторан с благоприятным ординэром частенько-таки — то вдвоем, то втроем с приятелями. Попивают ординэр Силы Кузьмича, восхищаются и не жалеют сильных слов — ругать безумных шалопаев и расточителей, которые швыряют деньги на шамбертэны и мутон-ротшильды. Лишь однажды вышла странная заковыка. Ужинал профессор с двумя знакомыми профессорскими же семьями после театра, а прислуживал в этот раз не Семен. Подал человек счет: восемьдесят четыре рубля. Недоумение.

— Это не нам.

— Никак нет-с, вам.

Недоумение переходит в ужас. Сотрапезники смотрят на Груздева подозрительно. Считают. Двадцать рублей восемьдесят копеек находят законными и резонными. Но откуда же взялось остальное?

— Батенька, — пыхтит на слугу красный Груздев, — вы тут черт знает чего нагородили! Вчетверо приписано!

— Помилуйте, — защищается слуга, — мы не можем ничего приписать: мы из буфета на марки берем, своими деньгами отвечаем. Счет составляет касса. А — как, стало быть, вы изволили выкушать четыре графина мутон-ротшильда, то эта марка у нас стоит семнадцать рублей бутылка. Извольте взглянуть по карте.

Профессор совсем опешил, а сотрапезники, кто бледнея, кто краснея, смотрели на него уже без всяких подозрений, но просто-напросто зверями, как на изверга, жулика, предателя.

— Что вы врете, батенька? — разразился Груздев, — во сне вы, что ли, бредите? Я не заказывал вам никакого мутон-ротшильда... Не идиот я и не саврас без узды, чтобы пить ваши дурацкие мутон-ротшильды. Это вино мне всегда подают здесь по рублю семидесяти копеек...

Слуга сделал большущие глаза:

— Это? Не может того быть-с.

— Как? — возопил Груздев, уже в полном бешенстве. — Что же — я, профессор Груздев, лгать вам стану? Вы смеете — мне в глаза? Это дерзкий обман! наглость! грабиловка! жульничество! Распорядителя сюда! хозяина!

Пришел распорядитель, узнал Груздева, выслушал претензию, посмотрел счет, обратил на несчастного официанта бесстрастно-внушительные очи и произнес с вескостью:

— Вы, Трифон, болван. На первый раз я вас только штрафую, а в другой раз будете уволены... Столы смешали. Разве это ихний счет? Это — кабинетский, из четвертого номера...

И рассыпался в извинениях. Груздев торжествовал. На радостях рассеянного недоразумения компания распила еще графина два.

Столь усиленное истребление таинственного ординэра, однако, смутило ресторан подозрением, не превышает ли профессор своего кредитива. Поэтому в первый же раз, когда Сила Кузьмич опять заехал в ресторан, распорядитель решился осведомиться: как их степенство изволят приказать впредь — продолжать или прекратить?

Сила осклабился.

— Аль уж больно здорово хлещет?

— Как воду-с.

— Например?

— Уже за двадцать семь бутылок счет отправлен вам в контору.

— Чисто! — ухмыльнулся Сила.

— Четыреста тринадцать рубликов-с.

— С гривенником, — поправил Сила. — Или гривенник уважения мне делаете?

— Шутить изволите, Сила Кузьмич... Смеем ли мы?

Сила вздохнул.

— Ну, до трех дюжин отвечаю — идет. Пущай профессор побалуется. Человек ученый-с. А после — шабаш: скажите ему, что ординэр такой был, да весь вышел. Сила, мол, Кузьмич намедни сам его выпил, а вам теперь советует пить понтэ-канэ.

Но были у Силы выходки и совсем в другом роде.

Приехал он на торжественный литературный обед, осмотрел публику — и вдруг видит у закуски внушительную, но неожиданную фигуру местного публициста-реакционера, столп того самого «Обуха», в редакции которого Сергей Аристонов побил окна. Последовал обычный кивок распорядителю.

— Сколько персон?

— Тридцать-с.

— По скольку?

— По пяти-с.

— С тебя по семи с полтиной. Разницу взыщу.

Повернулся и уехал.

А из ближайшего затем своего счета преспокойно вычел семьдесят пять рублей «штрафных», — и никакие уговоры на него не воздействовали.

— Зачем пущаете сволочь?

— Чем же ресторан виноват, Сила Кузьмич? Разве мы приглашаем гостей на обеды? Спрашивайте с устроителей.

— Желаете-с учить меня, с кого что спрашивать? Ноги моей у вас не будет-с.

— Сила Кузьмич! благодетель! Смеем ли мы?

Устроителей же обеда Сила тоже покарал особым образом. На обеде было решено учредить городской клуб лите-

ратурного объединения, причем рассчитывали деньгами на первый подъем позаимствоваться у Силы Кузьмича: он на подобные начинания был отзывчив. Хлебенный не дал ни копейки, но подарил для украшения будущего клуба дорогое чучело пятнистой гиены:

— Пущай с Ермилкою единится... в самый раз-с!

Прочел Сила Кузьмич в газетах, будто некий крез американский нарочно уклонился от уплаты судебных издержек по проигранному процессу и преднамеренно довел один из своих дворцов до описи чрез судебного пристава — лишь затем, чтобы узнать в точности все, что именно у него есть во дворце этом. Силе Кузьмичу понравилась американская шутка. Он захотел повторить ее на собственном своем имуществе.

Выбрал маленькую и безобидную, но бесспорную денежную претензию к себе и уперся платить. Однако ошибся в расчетах. Русский судебный пристав оказался слишком ленив или слишком не формалист, чтобы следовать примеру своего американского коллеги. Он просто опечатал в конюшне Силы Кузьмича два стойла с выездными жеребцами и прекратил опись, так как — по оценке истца — стоимость описанного имущества значительно превысила сумму иска. Сила Кузьмич почесал лысину, и — рассмеялся:

— По-американски оно, может быть, и умно, но по-русски вышло преглупо-с, — заявил он, расплатился и зазвал судебного пристава обедать.

Что за человек был Сила Кузьмич Хлебенный в нутре своем, это в конце концов даже и для ближних его было темно, как вода в облаках небесных. Для внешнего мира он был плотно заштукатурен смесью самодурства и юродивства, которою вообще любят замазывать свой настоящий облик русские, не совсем обыкновенные люди, — одинаково, и в нищенском рубище, и в миллионах. А с именем Силы Кузьмича Хлебенного молва людская связывала столько легенд, полных вспышек характера, ума и таланта, — словно мол-

ний из огромной серой тучи, — что можно было подозревать в нем не только не совсем обыкновенного, но даже и совсем необыкновенного человека. Имя свое носил он недаром и десятки раз доказывал, что, действительно, таится в нем сила — и сила гордая, упрямая, полная ярких чувств и своеобразной, дикой красоты.

— Тебе бы, Сила Кузьмич, не купцом Хлебенным, а купцом Калашниковым зваться! — говаривал ему Берлога, сохранявший с ним дружество, несмотря на давнее жестокое горе, которое пережил Сила Кузьмич, когда этот самый Берлога отнял у него Елену Сергеевну.

Сила Кузьмич вытирал лысину красным фуляром и вопрошал с загадочною иронией, которая неизменно отравляла своим дурашливым и оскорбительным ядом большинство его слов:

— Разве похож-с? Так вот вы, когда поете Калашникова, мною гримировались бы? Жаль только-с: опера-то скверная-с...

— Ну, брат Сила, с лица-то и фигуры, ты, извини меня, больше на йоркшира откормленного смахиваешь... А вот дух в тебе чуется мне действительно этакий... понимаешь?..

Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, —
Вышел я на страшный бой, на последний бой!

— Скажите-с, какие страсти-с!.. Теперича, стало быть, так мы с вами это и поделим-с: кому — йоркширское лицо, но калашниковский дух-с, а кому — калашниковское лицо, но дух...

Берлога хватал его в объятия, трепал, обнимал, целовал:

— Сила! ты меня поддел!

А Сила наблюдал его с каким-то влюбленным презрением и сопел, сквозь жиры свои, утираясь красным фуляром:

— Отстань... упаточил... Невидаль, подумаешь: мудрено тебя поддеть!

— Эх, Сила! Опоздал ты родиться!

— Да уж не знаю-с, опоздал ли, поспешил ли, а только, что, пожалуй, ты прав: действительно, не ко времени-с... Как-то... не то-с!

— При царе Алексее Михайловиче какой бы из тебя Стенька Разин вышел!

Сила Кузьмич улыбался, утирался фуляром и говорил:

— Стенькою Разиным нас, волжан, не оконфузишь... В каком же русском человеке-с нет кусочка — от Стеньки Разина-с? Я с генерал-губернатором нашим однажды о русском человеке беседовал... по душам-с... Умное слово от старика слышал-с.

— Да — ну?!

— И очень. По его мнению, у русского человека только и есть на выбор две стоящие дороги: либо в генерал-губернаторы, либо — Стенька Разин-с.

— Мысль!

— И цельная, сударь ты мой. «Верьте, — говорит, — Сила Кузьмич, почтеннейший, — даже о самом себе вам скажу: не будь я генерал-губернатором, то желал бы быть Стенькою Разиным... Ибо, — говорит, — когда в корпусе был, то большие задатки к тому чувствовал... Что меня пороли за то, и пересказать вам не могу, — говорит».

Берлога хохотал. Сила Кузьмич прихлебывал свое неизменное красненькое и говорил:

— Я же, ежели угодно вам знать-с, скажу тебе, Андрей Викторович, что, может быть, даже и большинство горестей наших российских оттого происходит, что мы, россияне, пути-то эти — выборы свои — перепутали.

— То есть?

— Да — иному бы распрекрасно было в Стеньках Разиных орудовать, а он, глядь, в генерал-губернаторы затесался. Другому лю́бое бы дело — в генерал-губернаторах сидеть, ан в Стеньки Разины идти приходится.

— Ну а как же сам-то ты, Сила?

— Что же я-с? Человек не молодой-с. Живем-с. Не горюем-с.

— Однако ты ни по той, ни по другой линии не вышел: ни Стенька Разин, ни генерал-губернатор.

Сила Кузьмич Хлебенный загадочно щурился и еще загадочнее произносил:

— Да ведь ежели кто — ни по одной-с, тот, может быть, по обеим-с?

Этот человек любил и умел брать власть. Вернее сказать, — всякое общественное или даже просто коммерческое, промышленное дело, к которому он прикасался, не замедляло превращаться в местную силу с организацией властною и зубатою, — в своего рода автономию, не гонящуюся за юридическим признанием, потому что ей довольно своей фактической победы. Влияние и обаяние Силы Кузьмича Хлебенного было громадно не только в городе, но и во всей области. Официальная власть искала с ним союза в самые трудные, серьезнейшие минуты, которые переживал край. Ни для кого не было тайной, что лет пятнадцать тому назад — в жестокие беспорядки, вызванные голодом и холерою, Сила Кузьмич, еще молодой человек, — ему тогда и сорока лет не было, — оказался негласным диктатором области. Пред ним совершенно стушевался тогдашний начальник края. Он обратился в пешку, безропотно утверждавшую все, чего Сила Кузьмич желал и требовал, и в одном лишь Силе Кузьмиче свое спасение чаявшую. Генерал-губернатор только подписывал да конфирмовал, но от Силы выходили предписания и циркуляры. Сила двигал войска, Сила сменял и отдавал под суд чиновников, Сила наполнил тюрьмы арестованными, Сила направлял экзекуции. Диктатор он был крутой, жестокий. Несколько смертных казней того времени городская молва приписывала исключительно его настоянию, но наверное того никто не знал. Спрашивали его самого. Сила утирался фуляром и отвечал двусмысленными афоризмами — вроде:

— Который человек влюбляется в виселицу, тот на ней и будет-с...

— Было бы на чем повесить человека, а за что — всегда найдется...

Однажды на журфиксе у генерал-губернатора зашла речь о смертной казни, которая тогда была еще большою редкостью в России, о тяжкой нравственной ответственности, принимаемой на себя администратором, когда он утверждал смертный приговор.

— А, должно быть-с, это очень интересное чувство — подписывать смертный приговор? — задумчиво произнес Сила Кузьмич.

Внук мужика и сын раскольника, он сохранил наследственную ненависть к дворянам и духовенству. Промышленник и торговый человек сильной воли и широкой инициативы, он скоро разочаровался в союзах капитала с бюрократией, запрезирал всякое начальство и ушел — понемногу перелился — в либеральную фронду. Пристал было к земству и вцепился в идею всесословного сплочения. Но — пришла пора искусственных подъемов промышленности, оргия спешного заводостроительства и торжествующего протекционизма. Сила призадумался и, отвернувшись от земства как великой безнадежности, нащупал новый путь: принялся исподволь организовывать именитое купечество в капиталистическую оппозицию. Как раз приближалось столетие торговой фирмы Хлебенных. В связи с недавними услугами Силы Кузьмича по укрощению беспорядков, правительство желало наградить его дарующим дворянство Владимирским крестом. Сила Кузьмич демонстративно отказался:

— Купцом я родился, купцом и помру-с.

Отказ этот долго был притчею во языцех. В Петербурге поморщились, но во всероссийском именитом купечестве Сила Кузьмич стал излюбленным велик-человеком. Выбрали его председателем биржевого комитета. И это спокойное учреждение в руках Силы Кузьмича не замедлило сделать-

ся для министерства финансов страшилищем каким-то. Кредитов он не просил, а требовал, — а, когда отказывали, грозил. Указания принимал к сведению, но не к исполнению, ни даже к руководству. Проекты свои осуществлял без отсрочек, а к утверждению представлял post factum * либо вовсе не представлял. Дерзил и бесцеремонно ставил на вид: не мы для вас, а вы для нас. Накопил сотни поводов для формальной подсудимости, но в ус себе не дул, сознавая себя фактическою силою, которую тронуть — «себе в убыток».

— В России конституции нет-с, — хвалился Сила Кузьмич, утираясь фуляром, — так мы у себя в городе свою маленькую завели-с... местную-с... про собственный обиход-с. По состоянию-с, понимаете-с: крохотную... купеческую... третьей гильдии-с. Однако, помогат!

Всемогущий министр в официальной аудиенции принял Силу с ледяною вежливостью.

— К сожалению, должен сообщить вам, что правительство недовольно деятельностью вашего биржевого комитета. Если его направление будет идти вразрез с планами министерства, местная промышленность рискует лишиться долгосрочных кредитов в Государственном банке.

Сила Кузьмич беспечно заиграл своими татарскими глазами.

— Ваше высокопревосходительство, местная промышленность — это я-с!

Министр сконфузился.

«Вот скотина, — подумал он, — не мог обойтись без того, чтобы не поставить точку на i...»

Вслух же возразил сухо:

— Мы имеем в виду не личности, но, как я уже сказал вам, весь объем местной промышленности.

Сила Кузьмич утерся фуляром.

---

* Постфактум (*лат.*); после сделанного.

— В таком разе, — превесело запыхтел он, — верьте моему слову, ваше высокопревосходительство: «весь объем местной промышленности» немедленно остановит свои станки...

Министр, всю свою карьеру сделавший на игре искусным превращением государственного социализма в бюрократические скандалы, осекся, сдался, начал торговаться. Кредиты были даны.

Генерал-губернаторы Силу ненавидели. Один даже с тем и ехал в область:

— Скручу Хлебенного и его шайку.

На первых же порах вышло у них столкновение. Власть потребовала от именитого купечества крупных пожертвований на патриотические цели. Именитое купечество «приняло к сведению» и... осталось глухо. Последовало жесточайшее объяснение с Силою Хлебенным.

— Ваш биржевой комитет — крамольный. В нем сидят ненавистники своего отечества... Я вымету их вон.

— Ваше превосходительство, не извольте-с обижать занапрасно-с. Мы своему отечеству слуги верные-с. Ежели потребно, готовы жертвовать хоть вдесятеро.

— В таком случае, потрудитесь немедленно распределить взносы.

— С удовольствием, ваше превосходительство, но — потрудитесь переменить приемный комитет.

— Милостивый государь! Известно ли вам, что приемный комитет состоит под личным моим председательством?

Сила на сей неотразимый аргумент только вздохнул с соболезнованием:

— Как же неизвестно? Уж мы и то — вот как сожалеем, ваше превосходительство, что вы попустили себе вовлечься в этакое предприятие. Конечно, ваше превосходительство — человек у нас новый...

— Не извольте учить меня! Я призвал вас не для того, чтобы давать мне уроки!

— Как можно, ваше превосходительство, возьмусь ли я давать вам уроки? Лучше от всего своего отступиться, чем подобный риск на себя принять.

Его превосходительство выпучило глаза, не зная, как понять двусмысленную фразу Хлебенного: вдохновлена ли она почтительным ужасом к величию власти генерал-губернаторской, или же, наоборот, презренный купчина дерзнул намекнуть, будто учить его превосходительство — предприятие столь же безнадежное, как, например, лечить мертвого?

«Не смеет!» — самоутешительно решил генерал, однако заговорил, хотя по-прежнему гневно и сухо, но уже много тише:

— Приемный комитет пользуется совершенным моим доверием.

— Но, к сожалению, он не пользуется доверием общества. То-то вот и доказываю вашему превосходительству, что вы у нас человек новый. Перемените комитет, в один день соберем десятки, сотни тысяч. Но этому нынешнему комитету я первый, ваше превосходительство, медного гроша не дам...

— Потрудитесь формулировать прямо и ясно: что вы имеете против этих людей?

— Ничего я лично против них не имею, ваше превосходительство, но только — очень уж воры.

У генерал-губернатора даже губы побелели.

— А знаете ли вы, — сказал он глухим голосом, уставляясь глазами, огромными, как оловянные ложки, прямо в узенькие глазки Силы Кузьмича, — знаете ли вы, сударь, что я могу вас — прямо вот из этого кабинета — отправить в городскую тюрьму?

Сила Кузьмич утерся фуляром.

— Настолько знаю, ваше превосходительство, — возразил он спокойно, — что, едучи к вам, даже распоряжение управляющему оставил. Ежели, мол, его превосходительство меня арестуют, в ту же минуту шабаш производство — запирай фабрики и стоп все станки!

Лицо генерал-губернатора вытянулось в пол-аршина, а Сила Кузьмич невинно пояснил:

— Потому что, ваше превосходительство, я рассуждаю, как коммерсант: уж какое же будет мое производство, если хозяин сядет в острог? Не коммерция, но одно разорение. Чем в убыток-то себе канителиться, лучше прикрыть... конечно, что на фабриках у меня сейчас числится рабочих до сорока тысяч, а вокруг них кормится — может быть — не одна сотня тысяч человек...

Получить от Хлебенного в наследство сорок тысяч безработных прямым числом и сотни тысяч голодных числом косвенным генерал-губернатор не пожелал. Сила Кузьмич уехал полным победителем.

В городе по этому поводу было немалое ликование. Сила Кузьмич опять попал в герои и на долгое время остался как бы символом обывательской оппозиций. Спрашивали его:

— И как вы, Сила Кузьмич, не обробели с этаким — прости, Господи, — чертом столь бесстрашно разговаривать?

Сила Кузьмич скромно ухмылялся:

— Сызмальства у меня, братец ты мой, привычка: молод был — на медведя с рогатиною ходил...

Другой помпадур, в подобном же случае, вздумал чересчур поднять свой генеральский голос.

— Ваше превосходительство, — спокойно остановил его Сила, — не извольте на меня кричать. Я боюсь...

Помпадур, зарвавшись в нахрапе, вместо того еще повысил бас свой тона на два.

— Ваше превосходительство, я уже просил вас: пожалуйста, не кричите на меня, — я очень вас боюсь...

Помпадур, в самозабвении, пустил уже громовые раскаты.

— Ваше превосходительство! — заорал тогда благим матом и Сила. — Я себя не помню от страха! Извольте говорить со мною тихо! А не то — я окошко вышибу и к улице — «караул» закричу!!!

Помпадур — будто его свинчаткою по темени стукнуло — лишился на минуту дара слова. В сверкающих глазах красного, потного Силы он прочитал решительную готовность проделать скандал, которым грозит, во всей полности. Картина, что глава купеческого сословия, архимиллионер и первый во всей области землевладелец высунется из разбитого окна в генерал-губернаторском кабинете и будет вопить «караул», как будто генерал-губернатор его бьет или режет, — его превосходительству совсем не улыбнулась. Он смеялся, пошутил что-то в любезно-извинительном духе насчет своей военной горячности и нервности почтеннейшего Силы Кузьмича и заговорил прилично. А Сила Кузьмич утирался фуляром и юродски отдувался:

— Напугали же вы меня, ваше превосходительство! Еще бы немного, — право слово, хотел «караул» кричать!

Популярность Хлебенного в обществе была весьма широка. Интеллигенция льнула к нему нежно и раболепно, как к щедрому меценату и сильному прогрессисту-сочувственнику. Купечество его побаивалось, как властного самодура, но боготворило, как «своего». Бюрократия шипела на него тысячами змей, откровенно почитая его, в самом деле, каким-то современным аватаром Стеньки Разина. Но вдруг — Хлебенный как будто охладел ко всему тому... Отказался от общественных должностей, стал уединяться, читал какие-то книжки, которые тщательно прятал от своих домашних, часами сидел в задумчивости, вздыхал, утирался фуляром, бормотал:

— Не то-с!

— Что — не то, удивительный ты человек?

— Все не то-с... Все, что мы, например, делаем...

— Ты, — в газетах пишут, — из биржевого комитета ушел?

— Да-с... ни к чему-с... не то-с!

— Как же? А идея твоя — сплотить капиталистическую буржуазию? а мечты о купеческой конституции? а организация сословия в оппозиционное большинство?

Сила Кузьмич сплевывал на сторону и откровенно заявлял:

— Нешто-с из дерма-с конфекты-с делают-с?

— Поразглядел, значит, публику-то свою?

— Проверил-с... Ошибка моя была-с... Не то!

Интеллигентным идеологам, плясавшим около него, яко вокруг тельца златого, Сила давал много денег, но был с ними сдержан, осторожен, иногда даже холоден. В нем будто жила недоверчивость поколений в поддевке и сапогах бутылками к классу с двухсотлетней историей в немецком сюртуке и штиблетах. Из-за природного ума и хитрого юродивства было не разобрать: образован Сила или круглый невежда? По коммерческим своим делам ему смолоду пришлось часто и подолгу живать в Англии. Английским языком владел он очень хорошо и не скрывал того от знакомых, — но знал ли другие, неизвестно. Библиотеку свою он держал под замком, не допускал в нее даже близких друзей. Читал охотно и много, но уединенно и — когда его спрашивали, что, — утирался фуляром и отвечал:

— Божественное-с. Как деды, так и мы-с. По сословию-с.

Постоянно менялись у Силы Кузьмича фавориты и фаворитки — случайные люди. Он привязывался то к талантливому литератору, то к энергичному земцу, то к вдохновенному сектанту, то к энтузиастке-сердобольнице какой-нибудь — на короткие сроки, но с пытливою страстностью, точно натуралист, обретший новый животный экземпляр, в котором ему чудятся еще не открытые данные, еще не изученные законы, способ-

ные сделать поворот в его науке или дать ей хоть толчок вперед. В подобных увлечениях Сила Кузьмич бывал широк беспримерно. По одному слову своих случайных людей он покрывал целые уезды школами, больницами, осушал болота, воздвигал обсерватории, учреждал стипендии, отправлял экскурсии в Камчатку или на Новую Землю, субсидировал бездоходные журналы и неидущие газеты, издавал многотомные сочинения, безнадежные к сбыту, основывал библиотеки и читальни, приобретал картины, статуи, кредитовал изобретения, театральные предприятия и всевозможные начинания искусства. Так продолжалось, покуда случайный человек не раскрывался ему весь до дна. И — в ту же минуту — становился он Силе Кузьмичу не нужен и неинтересен, словно найденный экземпляр обманул натуралиста, и тому теперь досадно, зачем он истратил столько времени, возясь с незначительным видоизменением обыкновеннейшей особи, которую случайный оптический обман показал ему за новую породу. И для разжалованного фаворита наглухо запирались и сердце, и карман Силы Хлебенного. Дон Жуан ди Маранья не переменил на веку своем столько любовных увлечений, сколько этот краснолицый, лысый, утирающийся фуляром Сила Кузьмич — увлечений людьми тех или других идей. В последнее время направление любопытств потянуло его в другую сторону.

— Рабочего человека узнать бы-с... — говорил он часто и с открытою тоскою.

— Будто ты, Сила Кузьмич, рабочих не знаешь? Весь век с ними возишься.

— Хозяйское знатье-с... А вот — как он сам по себе-с... внутре?

— Однако тебя считают чуть ли не первым на всю Россию знатоком рабочего быта? В комиссиях разных участвовать приглашают тебя, как сведущего человека, и мнения твои всегда бывают самые полезные...

— Чутьем действую-с. Нутро, значит, еще не вовсе позабыло, как дед рабочим был. Но знатья истинного — нет. Где же?.. Не то-с!.. И трудно-с, невозможно-с... Я хозяин, он рабочий, — как теперича, с какой стороны мне к нему подойти-с? Овраг-с!

— Вот-с, — говорил он однажды Берлоге, — вот-с ты намедни стихи мне читал... о мужике... графа Алексея Толстого сочинение... что, стало быть-с, будто бы «есть мужик и мужик: коли он не пропьет урожаю, я того мужика уважаю»... Я же того мнения-с: никакого мужика он не уважал-с — он, твой граф Алексей Толстой-с. А уж насчет тверезого мужика окончательно врал-с, ибо тот мужик, который урожай свой пропивает, для нашего брата, крупного землевладельца, в качестве дешевого кабальника, куда спорее-с... Это все равно-с, как мы, фабричные хозяева, рабочих в реестрах своих размечаем: хороший рабочий, дурной-с рабочий. Или тоже в зверинцах: этот лев — умный, а тот лев — глупый. Который о воле позабыл, породу свою смирил, у сторожа руки лижет, у публики подачек просит, укротителя на себе верхом возит, — словом, позволяет проделывать над собою всякое надругательство, льву несвойственное, тот лев — видите ли-с — умный. А ежели сохраняет любовь к свободе, ревет, мечется, на публику зубы скалит, сторожу, того гляди, голову оторвет, падали тухлой жрать не желает, а иной и вовсе есть и пить перестал, голодом уморить себя с тоски пробует, то подобного льва содержатели зверинцев почитают глупым-с. Ибо он сохраняет в себе льву свойственное и не хочет существовать хозяину своему — в профит и выгоду, но в ущерб и обиду своей львиной природе. Так что — понимаешь? — выходит: который лев — по-львиному дурак, тот для человека — подручный и умелый. Так и с рабочими. Ежели рабочий сам для себя враг — он для хозяина хорош, его хозяин возлюбит. А который сам себе врагом быть не желает, шкуру

свою жалеет и человека в себе бережет, — такого рабочего для хозяина нет хуже, и хозяин ему враг. Как же, братец, нам в такой позиции милой друг дружку познавать-то? Так — сидим насупротив, смотримся из очей в очи да думаем: ах ты, распостылый! Только всего и знатья...

— Но ведь у тебя, Сила, на фабриках — говорят, не так?

— Стараюсь, чтобы было не так... да — что!.. Не то-с!

— У тебя там и школы, и больницы, и народный дом, и жилища усовершенствованные...

Сила утирался фуляром и говорил:

— Не то-с... Все равно что голодному — мармеладина в рот... Не то-с!

— Чего же тебе еще надо?

— То-то вот и говорю: кабы знатье-то!

— Ну, брат, это сказка про белого бычка!

А задумчивый Сила твердил:

— Что я рабочего своего лучше знаю, чем многие другие хозяева, с тем я, пожалуй, согласен-с. Да ведь — как знаю? Этак вон опять скажу, и содержатели зверинцев полагают, будто они своих зверей знают. А который из них в душе у своего зверя был? который в состоянии львиное сердце понять? мысли его прочитать? чувства его воспринять? К тому только и сводится знатье их, что столько-то раз в день накорми, да тогда-то из кишки водою облей, да — эйн, цвей, дрей... гоп!.. через обруч!.. Один укротитель мне хвалился даже, будто звери его любят: «Верю им, — хвастает, — больше, чем детям родным». Я и говорю ему: «Отчего же вы, сэр, никогда не становитесь к ним спиною?..» А он в ответ: «Помилуйте! как можно? разорвут!..»

Сила вытирался фуляром. Берлога хохотал, но спорил:

— Однако тебя рабочие действительно любят?

Сила Кузьмич махал рукою.

— Эх!

— Сила! Ты нестерпимый скептик. Мало ли ты имел доказательств?..

— Эх! Ну за что им меня любить-с? За мармеладины мои? Это — все равно-с, как если бы лев возлюбил хозяина за то, что сторож его клетку чистит-с... Дудки-с! Где клетки-с, там о любви — напрасный разговор-с! Любить значит — знать-с. Стало быть, какая же любовь, если знатье немыслимо-с, и даже языка между нами общего нет? В том вся и любовь-с, что мысли свои взаимно скрывать и ухмыляться приятно друг другу обучились. Ну а спиною друг к другу стать, извини, не посмеем: неравно любитель-то — от большой любви — разорвет?..

— В любовь рабочих не веришь, а сам — как их любишь!

— Одному любить множество — не штука-с. Вот множеству одного любить — это вряд ли-с: мудрено. Не за что-с. Да и Бог весть, люблю ли я их еще-с? Может, люблю — как жареного карася в сметане: потому что вкусно его кушаю...

— Клевещешь на себя, брат Сила!

— Любовь-с и знание, по-моему, неразделимы-с. Прежде чем не узнаешь, — как любить? И сейчас я не то что люблю, а знания о них ищу. Потому что чутье мое меня к ним тянет, но знатья о них нет. Кабы какой человек принес мне рецепт, как рабочего человека познать, озолотил бы я его, братец ты мой...

— Мало ли рецептов? А людей с такими рецептами — теперь еще больше.

— Не то-с... Истинно говорю тебе: все еще не то!.. Когда оно откроется, окажется совсем другое...

— Тебе читать надо, — не без важности советовал Берлога, — ты бы Маркса поштудировал: он тебе мозги прояснит...

В татарских глазах Силы Кузьмича зажигались веселые, плутоватые огни.

— Это — покойника — который «Ниву» издавал? С младенчества, брат, подписываюсь... не помогает!

— Сила!!! — ужасался Берлога, — да неужели ты — до сих пор — не слыхал о Карле Марксе?

Сила Кузьмич утирался фуляром.

— Немец? Где же всех немцев знать-с?

— Вот это-то и ужасно в тебе, Сила, это-то и двоит так жестоко натуру твою богатейшую, что ты при своем огромном природном уме дико необразован!..

Глаза Силы Кузьмича делались все веселее и веселее. Он вздыхал:

— Суди Бог тятеньку с маменькой, не удостоили меня вкусить от сладости наук... Красненького выпьем-с?

— Выпить-то выпьем...

— За Марксово здоровье-с!

— Да он давно помер.

— О? скажи пожалуйста! Немец, а все-таки помер? Ну так за упокой души... «Капитал» сочинил он, ты говоришь?

Берлога всматривался в его невинно-лукавое лицо — и вдруг краснел и — глядя по настроению — либо начинал хохотать, либо приходил в досаду и гнев.

— Я ничего тебе не говорил про «Капитал». А это ты сам отлично знаешь, что Маркс написал «Капитал». Да и читал его, наверное, но по обыкновению дурачишься и мистифицируешь!

— Хе-хе-хе! Это мне — осенение свыше...

И вздыхал:

— Ох-ох-ох! Маркс твой о капитале писал, а я капитал имею...

— Так что же?

— Да вот: что — легче?

Чем старше делался Сила Кузьмич, тем сильнее и беспокойнее овладевала им та мутная неудовлетворенность, которую выражал он в пыхтящих вздохах своих:

— Не то!

Действительность не веселила, а человек был по природе жизнерадостный, и жизнерадостность требовала красивых миражей. Сила и смолоду был большой любитель искусств, но с приближением старости стал сближаться с миром их все теснее, углубляться в него все решительнее и любовнее. Давно уже замечали в городе, что случайных людей, которые прежде вокруг Силы Кузьмича роями плодились и менялись, становится все меньше, но все ближе и интимнее смыкается вокруг него тесный, избранный кружок постоянных артистических его симпатий — несколько актеров и актрис, литераторов, художников, музыкантов. Все — большие люди в своих специальностях, настоящие яркие таланты, с честною любовью к своему искусству, искатели вдохновенных целей и новых средств. В обществе этом Хлебенный почти всегда немо безмолвствовал, но умел — уже одним присутствием своим — разжигать одушевленные беседы и пылкие споры, к которым прислушивался с особым каким-то вниманием — необычайно умным и даже как бы мечтательным... Город, конечно, сплетничал, что все меценатство Силы сводится к разврату с красивыми актрисами. Этот человек действительно любил женщин, но почитал себя, а пожалуй, и в самом деле был глубоко в них несчастным. Развращенный привычкою миллионера безотказно покупать все, что нравится, — он с юности утвердился в цинической уверенности, что не продажных женщин для него нет, а продажных почитал всех равными — будь то светская красавица, которую предварительно надо таинственно засыпать ценными бумагами и брильянтовым дождем, будь то обыкновенная уличная женщина за три рубля. В качестве законной супруги Сила Кузьмич имел — уже лет двадцать — дородное и по-своему красивое, но редко трезвое и пребеспутное чудовище из породы Липочек Большовых. Несмотря на свой сорокалетний возраст, чудовище ставило ему рога решительно с каждым охочим офицером сменявшихся в городе пол-

ков, к чему Сила Кузьмич давно уже относился с глубочайшим равнодушием. Только рожать чудовищу было воспрещено строжайше. Собственных детей своих от этой дамы — уже довольно взрослых — Сила Кузьмич воспитывал за границею: сына в Англии, дочь в Швейцарии. Супругу свою он презирал всесовершеннейше, даже не удостаивая скрывать то ни от нее, ни от других.

В городе всегда называли и указывали одну, двух, иногда даже трех женщин, обыкновенно очень красивых, изящных, интересных, всякому завидных, как любовниц Силы Кузьмича Хлебенного. И, действительно, он с молодых лет имел содержанок. Время от времени менял их, когда надоедали или начинали слишком сорить деньгами, — одну прогонит, другую заведет. К этому порядку образовалась уже привычка житейская, и, если бы у него в один прекрасный день вовсе не оказалось ни одной содержанки, то, пожалуй, Сила Кузьмич почувствовал бы себя даже неловко. Но зачем ему нужны были и доставались именно эти женщины, а не другие, он, кажется, и сам не отдавал себе отчета. Ярким, страстным чувственником он не был, сладострастником, любителем разнообразного и вычурного разврата — еще того меньше. Так, по правилу капиталистического шика, требовалось и полагалось, чтобы у архимиллионера Силы Хлебенного были блистательные содержанки, — ну и были. Никаких любовных иллюзий он в этих отношениях ни себе, ни женщинам своим не допускал. А равнодушен к ним был до того, что некоторые не выдерживали лютой скуки своего странного сожительства и, пренебрегая всеми богатыми выгодами, все-таки удирали от Силы Кузьмича с каким-либо офицером, актером, коммивояжером и т.д. — очертя голову и куда глаза глядят, — увозя самую искреннюю на него злобу. Приехал он как-то однажды к одной из своих красавиц, а той нет дома, и горничная подает ему прощальную записку, что, мол, не жди, сердца золотом не купишь, ухожу с дру-

гом сердца и навсегда. Сила Кузьмич прочитал и — хоть бы плюнул, что ли, с досады. Взглянул на трепещущую горничную, показалась ему недурна.

— Вас как звать-с?

— Надежда.

— Угодно вам, Надя, занять при мне место вашей барыни?

И — к вечеру того же дня Надя, в драгоценных мехах, каталась по городу на собственных рысаках, в венском экипаже...

Ни одна из этих женщин не могла похвалиться, хотя бы малейшею духовною близостью с человеком, который оплачивал многими тысячами рублей даже не ласки их, но лишь видимость ласки. И — сколько раз случалось, что — в то время как его многотысячные одалиски неделями напрасно поджидали капризного повелителя в великолепных своих квартирах — Сила Кузьмич вдруг ни с того ни с сего зачастит в загородный грязный трактирчик, а то и похуже куда-нибудь, где ему понравилась разговором, песнею, пляскою, умными глазами — жалкая певичка, хористка, либо просто уличная женщина. В ближайшем губернском городе безбедно живет не особенно красивая и уже немолодая женщина — бывшая проститутка, которая «вымолчала» у Силы Кузьмича десять тысяч рублей единовременно и ежемесячную пенсию. Он приметил ее в Нижнем в какой-то холостецкой ярмарочной оргии — за красивые глаза и хорошую улыбку. Заговорил — угадал существо необычайной доброты и кротости, и — не то чтобы застенчивое или боязливое, но совершенно бессловесное: почти не умеющее и не желающее говорить. Задумался — и стал сперва ездить к ней каждый день, а потом и увез ее с собою в свой город.

— Вы молчите хорошо-с, — объяснил он. — При вас думать приятно-с. Вы помолчите-с, а я подумаю-с.

В том и время проводили. Проститутка сидит, молчит, улыбается прекрасными глазами, а Сила Кузьмич думает, прихлебывает красненькое, утирается фуляром, воздыхает и бормочет:

— Не то-с... Знатья нет... не то!

Когда эти странные похождения Хлебенного огласились в городе, он щедро наградил свою немую компаньонку и выпроводил ее в соседнюю губернию.

Сила Кузьмич и смолоду красив не был, в годах же совершенных — ожиревший, облысевший, с кумачным лицом курносого Сократа, с манерами чудака с фуляром своим неизменным — он и впрямь стал смахивать больше на йоркшира, вставшего на задние ноги и облеченного в сюртук, чем на человека, созданного по образу и подобию Божию. Но в безобразии его не было отталкивающих черт и во всем его явлении сквозила натура интересная и недюжинная. Поэтому бывали женщины, которые любили его не только за деньги, но он-то тому никогда и ни об одной не верил и даже ненавидел, чтобы его старались уверять. Должно быть, когда-нибудь хорошо поверил там, где верить не следовало, больно обжегся, да так с палящею раною и остался на всю жизнь.

Давно прошлые отношения его к Елене Сергеевне Савицкой были загадочны и темны. Он взял ее — начинающую провинциальную дебютантку, в переутомлении большою нуждою и трудною карьерою, разбитую неудачным любовным романом — без всяких иллюзий чувства: он купил — и купил щедро, она продалась — и продалась добросовестно. Она ничего не умела делать недобросовестно. На троне она была бы внимательнейшею в истории к подданным своим королевою, в горничных — аккуратнейшею прислугою. И как в примадоннах она не помирилась с собою раньше, чем достигла предельных высот музыкального и сценического изящества, так и в содержанках оказалась аристократическим совершенством, пред которым Сила растерялся и спасовал. Влю-

бился и зауважал. Уже в первый месяц связи он предлагал Елене Сергеевне, что разведется со своим чудовищем и женится на ней. Елена Сергеевна отказала наотрез. Сила крепко и горько загрустил: для постели, значит, свое тело продать мне еще возможно, а в брак — отвращается и презирает... не гожусь я, чудо еловое, такой женщине ни для уважения, ни для любви!.. Елена Сергеевна умела, однако, своим красивым обаянием умиротворить его оскорбленное чувство, и вот — мало-помалу между содержателем и содержанкою совершенно исчезли отношения хозяина-самца к рабыне-самке, но возникла и окрепла настоящая искренняя дружба. Холодный, но беспредельный фанатизм Савицкой к искусству нашел отклик в любопытствующем, мечтательном дилетантизме Хлебенного. Приехал в город на гастроли Берлога, вдохновил Елену Сергеевну идеей художественной оперы. Сила Кузьмич арендовал и перестроил городской театр, дал денег на антрепризу. Это было веселое и счастливое для него время. Он жил среди милых и дружественных людей, в симпатичном и радостном деле. Елена Сергеевна, Берлога, Рахе, Кереметев, Поджио сомкнули вокруг Силы Кузьмича кольцо бодрой, радостной деятельности, окруженной неслыханным успехом. Сила был горд и счастлив. Но скоро настали черные дни: вспыхнула любовь между Берлогою и Савицкою... Зная страсть и привязанность Хлебенного к покинувшей его любовнице, весь город с подлым любопытством ожидал грозного скандала. Никто и думать не хотел, чтобы человек, которого сам Берлога считал купцом Калашниковым, пропустил «так» потерю, растоптавшую его любовь, оскорбившую его огромное самолюбие, сделавшую его посмешищем в городе, — особенно же обидно, в коммерческой среде, где он царил на недосягаемой для соперников-капиталистов высоте, будто хан какой-нибудь. Что вынес в этот печальный для себя год Сила Кузьмич Хлебенный, это только его грудь да подоплека знают, но — ни скандала не было,

ни театра Елены Сергеевны он мщением не погубил. Только — именно в это время он и выучился юродски часто кряхтеть, юродски шумно вздыхать и утираться красным фуляром. С Берлогою он некоторое время избегал встречаться, но, когда встретился, глазом не моргнул. Тот пошел прямо к нему с распростертыми объятиями.

— Сила! Не должно быть зла между нами. Ты мне больше, чем брат... Обнимемся!

Сила утерся фуляром.

— Что же-с? — сказал он спокойно, — пожалуй, хоть и обнимемся... Красненького выпьем-с?

Берлога хотел продолжать объяснения, договориться до конца. Хлебенный взял его за обе руки, сморщился:

— Не надо-с... оставим-с... Вы — гений-с, я — обыкновенный человек-с... Не надо-с!.. Не то-с!..

Когда Берлога бросил Елену Сергеевну, Сила Кузьмич повторил ей свое предложение:

— Одно ваше слово, и я с супругою своею разведусь... Сердце мое принадлежит вам-с, не оставьте — примите уж и руку-с!

И опять она отказала. Весь он тогда выцвел и почернел даже.

— Настолько несносно противен я вам?

— Сила Кузьмич! Верьте: не иду за вас, потому что вас же жалею. Не такой вы человек, чтобы идти за вас — без любви...

— Гм... да-с... А, простите-с, — чтобы, извините-с, полюбить вам меня-с — о такой напрасной мечте — значит — уже и содержать ее в уме своем — запретно-с?

— Ничего не будет из такой мечты, Сила Кузьмич, нет во мне любви, вам ответной.

Сила шумно вздохнул, утерся фуляром.

— Все еще Андрея Викторовича любить изволите?

Елена Сергеевна отреклась спокойно и решительно.

— Нет. Прошло. Отболело и кончено. Я здорова.

— Слава Богу-с. Но — ежели вы теперь, следовательно, свободны-с...

— Нет, — остановила она его кротко, но бесповоротно, — не надо. Не рождена я для личных чувств. Не мое это. Не то.

— Не то-с?

— Да! — вот именно, как у вас есть привычка говорить: не то...

— Понимаю-с! — как будто немножко просветлел Хлебенный.

А она продолжала вдумчиво и уверенно:

— Именно опыт с Берлогою окончательно показал мне, что я — безлюбовная... Прошел по жизни вихрь какой-то страсти... как будто и любви... Но теперь, назад оглядываясь, я не уверена: любила ли его? И — если любила — то кого в нем любила? Его самого? Гений его? Свою романическую грезу о великом артисте? А, быть может, свое самолюбие? Женскую борьбу свою с его хаосом внутренним? с его беспутством? попытку обтесать стихийное существо в человека?.. И все прошло. Вихрь пролетел. Страсти нет. Не люблю. Была больна... Исцелилась... И отлично... Кончено навсегда.

Она подумала и прибавила:

— А замуж я, может быть, пойду.

— Вот как-с? — хмуро усмехнулся Хлебенный.

— Не за любовь, не за мужчину, — не беспокойтесь. Вас не люблю, но и соперника у вас нет... Если, конечно, не считать театра моего.

— С этим соперником я и бороться не стал бы, — уважительно произнес Хлебенный. — Не меньше, чем сами вы, люблю дело ваше.

— Да! — с восторгом и энтузиазмом продолжала она. — Дело у меня на руках большое. Хорошее, святое для меня

дело. Я вся в нем, нет у меня ничего заветного кроме него. Ах, вы не можете ни вообразить, ни понять, что я испытывала в этот год проклятый, который мне пришлось проболеть врозь с театром моим!.. Только тогда — в Париже — в разлуке — в постели больничной своей — я поняла, какое оно большое и прекрасное, дело мое, какое оно мне милое и родное, как оно выше и дороже меня самой! Нет, нет, милый друг! Не ревнуйте и не тревожьтесь. С любвями всякими у Елены Савицкой кончено: не будет больше любвей. А вот союзник-друг нужен. Верный и неизменный, — такой, чтобы понимал меня в деле моем и любил его, как я люблю. От мужа-любовника отрекаюсь на веки веков. Хочу и возьму себе мужа-друга, мужа-брата и — немножко мужа-няньку, быть может...

— Меня-то, значит, вы даже и на эти все роли считаете непригодным?

— Какая же вы нянька, Сила Кузьмич? Какой вы — брат? Вы влюблены в меня и любви хотите. Если бы мы стали муж и жена, года не пройдет, что вы — либо меня убьете, либо сами застрелитесь.

Сила утерся фуляром и промолчал...

— Не с вашим характером сознавать себя нелюбимым мужем любимой жены. Это не брак, а застенок. Не вам быть жертвою, не мне — палачом...

XXII

Ужин вышел скучненький, а потому и очень быстрый. Все участники спектакля были слишком утомлены, да и большинство гостей из публики — тоже. Елена Сергеевна только заехала на минутку — пожать руку Нордману и поздравить его мать и тотчас же отбыла домой. Ее даже и не удерживали, — настолько была известна строгая регулярность, кото-

рую она соблюдала в жизни. И то уже было удивительно, что Савицкая позволила себе быть вне дома и не в постели в такой поздний час: ночь шла уже к половине второго.

— Да-с, это видать, что сынок ваш имел успех настоящий, — сказал г-же Нордман Ромуальд Фюрст, — не для всякого директриса наша согласится так себя обеспокоить.

Мамаша композитора, с которою большинство труппы познакомилось только теперь, оказалась особою довольно странною: настоящая «великолепная Солоха», сдобная ведьма из Диканьки, — чернобровая и, должно быть, когда-то прекрасивая из себя хохлуша, но — еще массивнее Маши Юлович и толще Светлицкой.

— Хо-хо-хо! — острил под шумок Мешканов, — у этакой тетеньки — и вдруг сын — Эдгарка Нордман! Да подобную фитюльку она, если понатужится, и сейчас не затруднилась бы родить — всего такого, как он есть, во фраке и штиблетах... хо-хо-хо... во всю натуральную величину!

Сила Кузьмич Хлебенный, со свойственною ему наблюдательностью и наметанностью глаза, сразу признал в ней одну из тех практических хохлуш-полубарынь, которыми кишит благодатная Украина по торговым и промышленным местечкам своим. Рассадниками их являются, по преимуществу, сахарные и рафинадные заводы, затерянные в глуши Черкас, Смелы и тому подобных счастливых захолустий. Заедет на службу в этакую трущобу молодой техник или механик, — великорусс, финн, швед либо немчик. Ну нанял холостую квартирку в мазаной хате, столуется у знакомых, а какая-нибудь румяная Гапка или большеглазая Хивря ходит к нему с экономии подметать покои и ставить самовар. К концу года Гапка или Хивря обязательно беременна — а техник, будучи совестью велик, характером же слаб и опытом жизни искушен мало, великодушно спешит покрыть грех венцом. Если же погубитель — парень не из податливых и тертый калач, то Гапка будет реветь год, два, три года, но

в конце концов все-таки желаемое выревет и серденько свое с собою окрутит. Так как Гапка лицом красива, телом соблазнительна, головою умна, языком убедительна, и характер у нее — стальная пружина, бархатом обитая, — плоть же мужчинская немощна, и сердце не камень, — то матримониальное предприятие лишь весьма редко не кончается заслуженным успехом. Во искупление случайного греха провинциальной одинокости и скуки, техник навязывает себе в виде камня на шею полудикую и властную бабу, которая плотно прикрепляет его к своему родному захолустью, — все они — галушечницы: ярые патриотки родной колокольни! — и спускает тихо и бесповоротно в омут захолустной обывательницы, на самое глубокое и мягкое, тиною засосное дно. Затем — счастливые супруги вступают в тридцатилетний, а то и поболее, период благополучного совместного прозябания: каждый день ругаются и время от времени дерутся; оба дуют алкоголь — она в виде наливок и пива, он — попросту в белой, всероссийской казенке; попрекают друг друга взаимно загубленною жизнью и плодят детей в столь чудовищном количестве, что полупьяный отец не в состоянии запомнить их всех по именам, а нежная мать, зря потомство свое в полном сборище, только руками всплескивает:

— Де цего гаду набралось?!

Если такому супругу все-таки посчастливится в карьере, и выйдет он в люди, то из супруги в городской буржуазной среде вырабатывается ухарь-баба, несносно шумная, развязная, фамильярная, наянливая. Втайне она одержима почти манией преследования: не ударить бы лицом в грязь? не смеются ли над нею в новом обществе, как над вороною в павлиньих перьях? не слишком ли непристойно сквозит в ней из под нового платья босоногая Гапка из Диканьки? И в борьбе гордости с застенчивостью ведет себя халда халдою... Но молодость, красота и живой малороссийский тем-

перамент выручают и берут свое. Хотя взыскательные салоны Умани, Белой церкви и тому подобных центров светскости немало и долго хохочут над наивностями и промахами бедной Гапочки, но в конце концов ее веселая демократическая жизнерадостность становится душою общества. Без Гапочки — маевка не маевка, вечеринка не вечеринка, она — и петь, она — и плясать, она — и в игры играть. Романов у Гапочки заводится — числа нет. И обыкновенно Гапочка добрая: ухаживателей своих долго и напрасно не мучит и милостями своими одаряет их щедро и без особо взыскательной разборчивости. Но свою политику любви она ведет тонко, — комар носа не подточит! ни следа, ни намека! Супруг уверен, спокоен и счастлив. А сплетни Гапочка не боится, ибо на любую сплетню она десятью сплетнями ответит, да еще при встрече в волосы сплетнице вцепится, брехучий рот ей собственными могучими перстами до ушей разорвет. Наезжие ревизоры из Киева и Петербурга находят Гапочку оригинально-очаровательною дикаркою, похожею на Кармен, на Мальву, а супруг ее чрез то крепчает властью, толстеет карманом, избегает подсудностей и преуспевает по службе. Если должность позволяет мужу иметь безгрешные доходы и брать взятки, то эту последнюю возможность Гапочка забирает от него в свои нежные ручки, чтобы использовать до дна, и дерет с живого и мертвого — артистически, инда иной раз даже муж крякнет:

— Матушка, уж ты слишком!

— А вы, Трохвим Трохвимович, сыдыть соби та не рыпайтесь, бы вы таки дуже глупы.

Славянские жены вообще сильнее мужчин как семейный характер и воля. Властность полек вошла в пословицу. Это — настоящие самодержицы своего домашнего очага. Однако встретить польскую семью, где, наоборот, муж крепко зажал жену в кулак и душит ее в ежовых рукавицах, совсем уж не такое редкое исключение. Но чудо, подобное белому дроз-

ду или пестрому волку, — украинский муж, который не был бы под башмаком у прекрасной половины своей. Кажется, единственное исключение — Тарас Бульба. Да и то, поди, Гоголь прихвастнул из патриотизма. «Гордая и велеречивая жена» Кочубея, которой потрухивал сам Мазепа, напрасно советуя мужу «вздеть на нее мундштук, как на кобылу», — женский тип, для Украйны гораздо более национальный.

Если у Гапки чрез утайку и сбережения супружеских выдач на хозяйство заводятся свои деньги, она, сколько бы ни была расточительна по природе и образу жизни, бывает скупа и жадна на этот специальный капитал, как Плюшкин в юбке, и становится очень не прочь от тайного ростовщичества по мелочам, причем проценты дерет наивно-жестокие.

Некоторые из этих чаек днепровских долетают до столиц и удостаиваются со временем витать в кругах широких, среди чинов высоких. Вот — Гапкин муж директор департамента, вот Хиврин супруг — председатель правления всемогущего петербургского банка, вот Галечка — замужем за железнодорожным тузом, вот Маруся — хозяйка того самого рафинадного товарищества, в экономиях которого она двадцать пять лет тому назад полола бураки. Но надо отдать им справедливость: на какую бы высоту житейскую ни занесли Гапку капризы судьбы, как бы она ни испакостилась и ни оподлилась, делая карьеру, малороссийский демократический патриотизм никогда не вымирает в ней совершенно:

И юга родного
На ней сохранилась примета...

Хоть в Гельсингфорс, хоть в Лондон преуспевшую Гапку зашли, у нее в доме и там будут и борщ, и варенуха, и земляки с пид Хвастова и Канива, за которых она хлопочет, как за родных, и шевченковский вечер, на котором она, сняв с себя бремя лет, ореол превосходительства и суету миллионов,

щеголяет в плахте, запаске, черевиках и веночке из барвиночка, и рада до светлого утра петь украинские песни — то сумные до слез, то лихие — с визгом и плясом, не жалея каблука для гопака:

Щоб мои пидкивки
Брязчали,
Щоб мои вороги
Мовчали!

Из ста великорусских женщин среды дворянской, бюрократической, интеллигентски-разночинной, учащейся, — пожалуй, даже среднекупеческой, не говоря уже о высоких слоях коммерческой аристократии, — вряд ли выберется одна, знающая петь хоть десяток песен своего народа, звучащих по Волге, Оке, Каме. А любая малороссиянка — живой украинский песенник. Поэзия народа — как встретила Гапку у колыбели, — так и поет с нею всю жизнь и песнью проводит ее в могилу.

Гапка — украйнофилка до мозга костей. И даже, собственно говоря, не украйнофилка, но — пирятинофилка, если она из под Пирятина, кременчугофилка, если она из-под Кременчуга. В Лондоне, Париже, Вене она тоскует по России, в Петербурге и в Москве — по Украине, а в Киеве и Харькове — по Пирятину и Черкасам.

Москалей Гапка недолюбливает и среди ласковых к ним улыбок часто обмолвливается — ой лышечко! — изящным словечком «кацап». С поляками и евреями — по надобности может быть любезна и мила, как ангел, но втайне твердо исповедует старое гайдамацкое правило, что «жид, лях и собака — все вера одинака!» Если же может безопасно дать антипатиям своим открытую волю, то бывает в исторически наследственной вражде груба, жестока, даже ужасна. В погромных организациях подобные полубарыни — бывшие Гапки и Хиври — часто играли грозную роль подстрека-

тельниц непримиримых и беспощадных. Неугомонная кровь Гонты и Железняка бурлит в их жилах свежее и требовательнее, чем у мужчин.

По могучему здоровью своему они, хотя южанки, сохраняются долго, имеют длинную вторую молодость, затяжное бабье лето, свежую, сильную старость. Из них выходят великолепные, многосемейные матроны, пред сединами которых почтительно склоняются головы детей, внуков и правнуков. Сыновья же, дочери, зятья и снохи ходят пред ними по струнке, даже сами будучи уже дедами и бабками. Отсутствие семьи на старости лет — для них и нравственная, и материальная погибель. Потому что щирая украинская душа не терпит одиночества и должна искать ласки. В большинстве из них женщина переживает красоту, — и поздняя любовь — их обычное несчастие, будто отмщение за долгую самостоятельность и власть над мужьями. Удел отцветших красавиц с недогоревшим темпераментом, — несчастные и нелепые вторые и третьи браки с мальчишками, которым они и в матери-то уже староваты, скандальная кабала в паучьих лапах какого-нибудь альфонса-шантажиста, одиночное пьянство с гордого замкнутого горя и — в очень частом конце концов — одинокая нищая смерть в подвальном углу или на бесплатной больничной койке.

M-me Нордман выглядела Гапкою пожилою, но весьма в удаче. Сверкала великолепными фламандскими кружевами и брильянтами в ушах и на груди, подобной Чермному морю, потому что шелк платья ее был цвета sang de boeuf*, бычьей крови. Правду сказать, это придавало ей вид довольно отвратительный и даже страшный: точно свежеободранная туша в мясной лавке. За ужином усадили ее на почетное место, между Силою Кузьмичом Хлебенным и Морицем Раймондовичем Рахе. Почетом она была довольна, но с ви-

---

* Бычьей крови (*фр.*).

димою тревогою устремляла тяжелые и жгучие взоры свои на дальний захудалый конец стола, где упоместилось человек шесть господ, уже решительно никем не званных и совершенно никому не известных, и — в числе их — очень молодой человек, сразу видать, что петербуржец, в щегольском фраке, который он носил с большим, по хорошим французским образцам Михайловского театра вышколенным, шиком.

— Кто сей?— спросил Берлога — через стол — у Фюрста.

— А — черт его знает... с нею приехал, — указал он глазами на г-жу Нордман. — Хахаль, надо полагать...

— Довольно отвратительный красавец.

— Совсем щенок еще... Похоже, что из выгнанных гимназистов.

— Только не за политику.

— Да, скорее похоже, что за распространение в классе порнографических карточек или за основание лиги любви.

Сила Кузьмич провозгласил тост за Нордмана. Пили и кричали ура. Чокались с композитором, чокались с его матерью. Г-жа Нордман, принимая приветствия, улыбалась какою-то напряженною, фальшивою улыбкою и говорила своим соседям трубным голосом, густо и жирно вырывавшимся из крашеных под темными усиками губ:

— От то я не думала, щоб с моего Эдгарки был путный человек. Эдгарка, ходи до мамы... Поцелуемся...

Родственное лобзание с большим любопытством наблюдали со всех столов. Вспыхнувшее радостью, смущенное лицо усталого, но в эту минуту словно под живою росою расцветшего Нордмана поразило многих. Кереметев нагнулся над тарелкою и сказал в длинную бороду свою:

— Сынок пылок, родительница хладнокровна и величественна. По-видимому, материнскими ласками наш высокоталантливый автор избалован не весьма...

— Ах, не говорите! — отозвалась ему соседка — Наседкина. — Она ужасна. Я видеть ее не могу...

— Вы знаете, — шепнул ему Мешканов, — она его била в детстве... Даже под суд попала было за истязание. В старых киевских газетах — говорят — можно корреспонденцию найти... очень скверное было дело.

— Боже мой! Есть же такие матери!

— Нет, к другим детям — от второго мужа — она, говорят, хороша была... Только вот этого — Эдгара — не выносила. Слишком, видите ли, похож на первого мужа ее, покойника. А с тем она так хорошо жила, что бедняга предпочел сбежать от нее к чилийцам каким-то или перуанцам, что ли, волонтером — под пули... Там и ухлопали его, раба Божьего, хо-хо-хо!..

M-me Нордман тем временем вопрошала Силу Кузьмича:

— Скажыть, мусье Хлебенный, что же — за опэру сына моего — много он денег теперь получить может?

— Ежели-с опера сына вашего останется на репертуаре-с, то, конечно-с, это — целое состояние-с.

— В самой вещи? Например, сколько же, мусье Хлебенный?

— Да — ежели бы он пожелал продать свой первый сезон на корню — то даже я до пятнадцати тысяч пошел бы-с... А кто по этой агентуре специальный практик, тому не удивительно взять и все двадцать пять-с.

— Неужели? Ах как это приятно...

Глаза г-жи Нордман засияли — она даже удостоила послать довольно ласковый взгляд сыну. На другом конце стола — между Машею Юлович и Светлицкою — Эдгар Константинович представлял — нельзя сказать, чтобы великолепную фигуру — жидким тельцем своим и большою головою, в желтых косицах над лицом, не оправившимся от волнения, над глазами припадочного мученика, над улыбкою испуганного ребенка.

— Это очень приятно, мусье Хлебенный, — тараторила мамаша, — потому что, хотя видимость моя показывает вам

меня богатою женщиною, но после смерти моего мужа я оказалась в процессе с другими его компаньонами... и теперь совершенно разорена. До того, что — рассчитывала жить на проценты, но — представьте: в последнее время боялась даже, что должна буду тронуть капитал...

— Ай-ай-ай! — посочувствовал Сила Кузьмич, качая головою.

— Да. А вы знаете: почать капитал — все равно, что в плотине дыру пробуравить. Я скорее согласна питаться цибулею с черным хлебом, чем без необходимости тронуть капитал. Но — если двадцать пять тысяч, это хорошо, это меня очень устраивает, мусье Хлебенный.

— А у вас с сыном-с, стало быть-с, имущество общее, не разделенное-с?

— То есть — как это? — озадачилась мамаша, — какое же у Эдгара может быть имущество? У него никакого имущества нет... Я имею хорошие средства, но они достались мне от второго мужа... Эдгара это не касается нисколько. Он как пасынок совершенно тут не наследник.

— Я-с, собственно, спрашиваю не о его правах на ваш капитал, но, — как вы изволили заметить, что, если Эдгар Константинович заработает двадцать пять тысяч, то эта сумма вас устроит?

— Да. Я даже тогда смогу поехать за границу лечиться. Мне Мариенбад необходим. Конечно, я теперь в процессе, но именно потому Эдгар и должен будет поддержать меня. Не покинет же он свою мать в несчастии?

Хлебенный с каменным, ничего не выражающим лицом созерцал колышущееся пред ним Чермное море и думал: «Так вот куда должна ухнуть «Крестьянская война»?! Утроба уемистая... упоместит!..»

Мамаша говорила:

— Конечно, родители видят теперь мало благодарности от детей своих, и Эдгарка всегда был против меня самый бесчувственный. Но ведь если он не окажет мне уважения,

то я, как мать, могу на него даже начальство просить? Не правда ли, мусье Хлебенный?

Сила Кузьмич согласно прикрыл глазки свои.

— Лет двадцать пять тому назад в смирительный дом могли бы его упрятать-с, — сказал он совершенно серьезно. — В настоящее же время-с советую вам в случае надобности обратиться лучше к власти генерал-губернаторской-с.

— Ах, мерси, мерси вам, мусье Хлебенный. Вы очень меня успокоили. Потому что, знаете, дети никогда не понимают, чем они обязаны родителям...

Сила Кузьмич весело думал: «Сейчас последует: девять месяцев под сердцем носила...»

А мамаша пела:

— Я, мусье Хлебенный, после Эдгарки еще десять ребят родила, но ни одного так трудно. И беременность-то моя им была самая неприятная...

«Так и есть!» — веселился про себя Сила Кузьмич.

— А уж что я с ним в детстве намучилась! Дитя было хворое, глупое дитя... Можете себе представить: до девяти лет, — звыныть мене, — ночью вставать не мог научиться... понимаете?.. Звыныть мене, под себя ходил.

— Против этого, — с участием сказал Сила Кузьмич, — хорошо сечь детей сапожным голенищем.

— Так я ж секла! — воскликнула мамаша с увлечением. — Колы ж я его не секла? И голенищем, как вы советуете, и розгами, и мокрым ручником... Так нет же — упрямо бисово дитя: я ему — свое, а воно мини — свое... Бо весь в батька вдался: от тож был мучитель мой — швед, нерубленая голова!.. Як те самые мериканцы застрелили его в своей Америке, я поставила свечу Божьей Матери Черниговской... ей-же-ей!..

— Жестоко обращался с вами-с?

— А ужасно жестоко ж! День молчит, ночь не спит... Богу молится... книжки свои шведские читает... чисто скаженный,

альбо якийсь штундист... Что этих книжек я в печи сожгла... А он, змий, назло мне, возьмет да новые купит. Вот и извольте судить, мусье Хлебенный, каково было мое за ним горькое житье... Варьят был — и сына уродил варьятом. Стыдно было его с другими благородными детьми в люди показать. Я уж его от сраму в деревню услала... Потому что — согласитесь, мусье Хлебенный, — какое же удовольствие матери, если каждый видит и говорит, что у нее сын — дурень?

— Во втором браке вы были, кажется, более счастливы?

Мамаша закатила глаза.

— Ах, мой второй муж был ангел, а не человек. Конечно, он женился на мне уж очень немолодым, но зато не всякая герцогиня так живет, как жила я за вторым моим мужем, мусье Хлебенный... Вас, разумеется, никакою роскошью удивить нельзя, но — поверите ли? — у нас в доме — хи-хи-хи! — звыныть мене — даже в известном месте бархатные обои были...

— Да-с, это шик-с! — одобрил Сила Кузьмич. — У меня в доме — сознаюсь — не дошли...

— Ну-ну! Воображаю! У такого-то богача! Вы только мне приятное хотите сказать, а воображаю! Поди, все — мраморное!

Мориц Раймондович Рахе, ушей которого коснулся этот глубокомысленный разговор, оторвался от внимательной беседы с Самуилом Аухфишем, пылко выводившим ему музыкальное родословие Нордмана — через Мусоргского и русланистов — от Роберта Шумана.

— Н-ню, а куда вы будете прятал Вагнер? — твердил капельмейстер. — Без Вагнер где бы вы находил один такой чрезвычайно густой оркестр?

— Вы, Мориц Раймондович, готовы слышать Вагнера уже в каждой лишней арфе, в каждом нарастании струнных, в каждом плаче усиленных духовых... Виолончель —

по-вашему — не играла до «Тристана и Изольды» и только марш в «Сумерках богов» открыл людям тайну валторны...

— Н-ню, ви совершенно напрасно понимал меня за такая большая осел, aber... Warten Sie *, Самуэль Львовиш... Слюхайте, слюхайте немножко на Сила Кузьмич: was spricht er doch da, zum Teufel?! **

Сила Кузьмич, заметив обращенные к нему взоры Рахе и Аухфиша, — с левого бока тоже не без удивления прислушивался глуховатый старик Поджио, — чуть мигнул им татарским глазком своим.

— Да-с, — вздохнул он, — так, стало быть-с, второй супруг ваш оправдал себя пред вами и восстановил несколько пол наш в вашем добром мнении-с?

— Хи-хи-хи! Как вы это говорите, мусье Хлебенный!

— Давно вы изволили потерять супруга вашего?

— Ах! уж давно, давно, мусье Хлебенный! Да! Нет моего голубчика! Вдовею седьмой год.

— Замуж — не думаете-с?

— Хи-хи-хи! Вот нескромный!

— Что же-с? Вы так молоды и свежи-с...

— Ах, мусье Хлебенный! Перед детьми стыдно. И люди смеяться будут: в третий-то раз! Скажут: вот ведьма, — двух мужей уморила, за третьего берется...

— А третий, может быть, вас уморит-с. Стало быть, будет долг платежом красен-с. Ничего-с.

— Вы насмешник, все смеетесь с меня...

— Напраслина-с. Где нам? Сами того боимся, как бы кто не осмеял-с.

Вдова потупила стыдливые очи.

— Уж если желаете правду знать, то — следовало бы, — шепнула она. — Я, мусье Хлебенный, очень много теряю

---

* Но... Подождите (*нем.*).

** Что же он там говорит, к дьяволу?! (*нем.*)

чрез то, что вдовею. Состояние мое расстроено. У меня опека. У меня процесс. Как тут обойтись без мужчины, мусье Хлебенный? Мое дело вдовье, женское.

Сила согласно кивал головою.

— Имеете ли в виду избранника-с?

Вдовица нырнула пунцовым лицом в салфетку.

— Хи-хи-хи! нет, вы ужасно, ужасно какой нескромный!

— Помилуйте-с. Дело Божье-с. Дурного нету ничего-с...

— Что ж? — уклоняясь от прямого ответа, улыбалась самодовольная вдова. — Конечно, и в том вы правы, мусье Хлебенный: я еще не перестарок какой-нибудь и душу спасать мне рано... Живу в провинции — как в пустыне. От завода, покуда процесс тянется, отлучиться не смею. Местечко наше глухое — ужасть, какие сплетники. Одинокой женщине, если не старая и собою недурна, просто жить нельзя: сейчас что-нибудь сочинят и пронесут. Особливо акцизничиха да судебного следователя жена. Уж из-за того одного стоит выйти замуж, чтобы от сплеток освободиться.

Аухфиш нервно отвернулся к Мешканову.

— Слышали? Вот тип!

— Хо-хо-хо! Она и третьего уморит.

— Сын перед нею благоговеет, как перед святынею какой-то, а она в нем — наголо — видит только новую доходную статью!

— Хо-хо-хо! Эдгар будет оперы писать, а она гонорарий получать да хахалям фраки шить. Жетоны дарить. Посмотрите на жеребца-то!.. Хо-хо-хо...

Тостов было мало. Тосты были скучны. Обилие посторонних и малознакомых гостей стесняло. Громадная мещанская туша г-жи Нордман точно придавила собою артистическую богему...

Встали из-за столов.

— Вы — домой? — тихо спрашивала в амбразуре окна Берлогу Елизавета Вадимовна Наседкина.

— Нет, вас провожу.

— А затем, конечно, к Юлович?

— По всей вероятности.

— Зачем?

— Да — рано еще. Нервы взвинчены. Спать все равно не могу. Куда же деваться?

— А если бы я попросила вас — не ездить?

— Почему?

— Просто потому, что мне не хочется, чтобы вы туда ездили?

— Каприз?

— Нет, убеждение, что вам там не место.

— Мне? Да — что я за бог такой?

— Вот именно, вот именно дурно то, что вы этого не понимаете. Вот именно о том я мечтаю, чтобы вы поняли, какой вы бог, и не унижали бы своего божества.

— Лиза, вы воображаете бедную Машу Юлович устроительницею оргий каких-то...

— Извините, нет: этой чести я ей не делаю. Видеть вас в безумстве оргии — мне, вероятно, было бы неприятно, как женщине, но я поняла бы вас, как артистка, как человек. Но вы — среди мелкого богемного кутежа...

— Право, вы очень ошибаетесь, Лиза. Никаких кутежей у Юлович не происходит. Ее дом — просто последний пристойный огонек, на который может прийти наш брат, опозднившийся бездомовник. Немножко играют у нее. Немножко пьют бессарабское вино. Болтаем в товарищеском кружке. Смешит какой-нибудь шут гороховый, вроде Ваньки Фернандова...

Пухлое лицо Наседкиной раздулось в гримасу презрительного негодования.

— Вам — играть в карты! Вам — забавляться обществом Ваньки Фернандова!.. Создатель Фра Дольчино и — Ванька Фернандов! Боже мой! Андрюша! За что вы себя губите?

Она произнесла тихий вопрос свой с таким ярким отчаянием, что Берлога оторопел.

— Да — что вы, Лиза, право? Словно я маленький мальчик или новичок какой-нибудь? Кажется, не первый год я так живу, и — как видите, ничего, не погиб... процветаю!

Она продолжала скорбно смотреть на него большими серыми глазами и повторяла:

— Фра Дольчино и Ванька Фернандов!

Берлога сделал гримасу.

— Милая Лиза, Фра Дольчино остался в уборной. Вы сейчас тоже не Маргарита Трентская. Вносить в жизнь театральные фигуры — смешно и пошло.

Она остановила его.

— Может быть, смешно, но не пошло. Не клевещите на поэзию наших призраков. Наше воображение — наша святость, наша сила. Как я люблю Дон Кихота. Если бы можно было жить цельно, как он!

— Но, так как я не Дон Кихот...

Она не дала ему договорить:

— Сейчас вы прекрасны, а через минуту безобразны, сегодня большой, завтра маленький-маленький. И — если бы вы знали, как это оскорбительно мне — видеть вас, когда вы безобразны и маленький! И — знаете ли, Берлога: эти впечатления не проходят. Они впиваются в душу и мутят ее. Очень часто, когда вы на сцене — великолепный, могучий и светлый, как бог, — я смотрю на вас и думаю: как было бы хорошо, если бы он сейчас — вот с этим гордым жестом, вот с этою мощною нотою — упал и умер!

— Покорнейше вас благодарю! Типун вам на язык. Совсем не намерен. Я желаю прожить мало-мало сто лет.

— А вот я — наоборот — именно так желала бы умереть. Молодою, во вдохновении и в обстановке красоты.

Хорошо остаться в памяти людей прекрасным белым лебедем, испустившим дух вместе с последнею песнью. Когда сегодня красиво, надо использовать его до конца. Завтра всегда мещански-буднично. Сегодня Берлога — мой Фра Дольчино, завтра Берлога — собутыльник Ваньки Фернандова, закадычный друг Машеньки Юлович, Андрюша Настеньки Кругликовой...

Берлога наклонился к уху ее и сказал вполголоса, с ласкою:

— Андрюшею меня и Лиза Наседкина не однажды называла.

Она пожала плечами.

— Что я для вас? Одна из многих. Я не имею на вас никаких прав. Да и слава Богу! Я и теперь вчуже мучусь, когда вижу, как вы гибнете, а — если бы вы мне были свой? муж? любовник?

— Позвольте, Лиза, на звание мужа вашего я, конечно, не имею претензий, но...

— Вы хотите сказать: любовницею моею вы были? Да. Но вы-то моим любовником еще не были...

— Это что-то тонко! — улыбнулся Берлога насильственно и не без досады.

— Нисколько не тонко. Напротив: чересчур, слишком грубо. В капризе страсти вы взяли меня...

— Но...

— В капризе страсти вы взяли меня, — настойчиво повторила Наседкина, не допуская перерыва. — Вы — мое божество. Вы можете делать со мною все, что вы хотите. Вы — тот, кому отказывать нельзя. Если бы для вашего вдохновения, для вашего таланта, для полноты вашей жизни вам понадобилось отрубить мне руку, бить меня плетьми, я покорилась бы так же безропотно и угодливо, как отдаюсь вам, когда повторяются ваши капризы... Я — вещь, которою вы можете распоряжаться как вам угодно, лишь бы от этого расцветал ваш гений. Вся

страдательная, покорная сторона моей любви, конечно, отдана вам, великому артисту, богу искусства: ваша воля должна быть — как закон для такой рабы искусства как я, бедная. Но свою любовь активную, деятельную, я берегу не для призрака, но для действительности, не для артиста, но для человека. Сейчас вы для меня — султан: милый, любимый, но все-таки султан. Любовником моим вы станете только тогда, когда Берлога-человек будет стоять на уровне Берлоги-артиста, и оба Берлоги сольются для меня в одном светлом целом...

Берлога нахмурился.

— Ну, Лиза, уж не такая же я дрянь, как вы меня изображаете!

— Боже мой! Как вы выражаетесь? — испугалась Наседкина. — Кто же говорит? Разве я могла бы? Вы мой дорогой, мой милый, мой чудный! милый-милый-милый! Но вы — слабый! у вас — характер спит. Вы по своей огромной доброте и доверчивости вечная игрушка людей, которые не стоят вашего мизинца.

— Ах, Лиза! Не говорите общих мест. Если бы вы знали, сколько раз в жизни я слыхал это!

Она смотрела на него восторженно.

— Да! Вы — бог! Вы — настолько бог, что вам жаль людей, которые ниже вас, — вам хочется снизойти в равенство с ними, уподобиться им... Вы — бог, жаждущий быть чернью, стремящийся выпачкаться о людей, s'encanailler *, как говорит Александра Викентьевна.

— Лиза, к сожалению, мы — после ужина, и я даже не могу спеть вам, как Моцарт:

Ба! Право? Может быть!
Но божество мое проголодалось...

* Опустившихся (*фр.*).

Потому что Сила по обыкновению закормил по горло.

Наседкина омрачилась и прошептала:

— Вот так всегда — ваша манера: оборвать насмешкою и запачкать прозою каждый мой сильный, искренний, поэтический порыв...

Она красиво положила красивую свою руку на рукав его тужурки.

— А к Юлович все-таки не ездите сегодня... Ну, милый! желанный! Для меня! Мне так хочется, чтобы ты хоть одну ночку провел, хоть спать-то лег бы сегодня тем же прекрасным Фра Дольчино, которым я знала тебя весь вечер... Хоть одна ночь в жизни — цельно красивая!

— Друг мой, что же будет из того, если я не поеду к Юлович? Ведь к тебе — мне нельзя? Слишком поздно и — завтра скандальная сплетня на весь город.

Лиза покраснела и слегка прикрыла глаза «баррикадами», как называл Мешканов ее тяжеловесные ресницы.

— Ах, когда только упорядочится у нас все это! — прошептала она.

— Следовательно, — остается, — домой... Откровенно тебе скажу: tête-à-tête * с моею русокудрою Настасьею меня ничуть не прельщает.

Лицо Наседкиной выразило отвращение, словно она взяла лягушку в руки.

— Долго ли еще будет тянуться эта комедия между вами? — спросила она, стискивая зубы.

Берлога только руками развел и пожал плечами. Наседкина же говорила:

— Отвратительная женщина! Я даже не ненавижу ее... даже не презираю... Она мне просто противна, — до дрожи, до мурашек по телу, — до тошноты противна... И страшна!..

---

* Тет-а-тет, наедине (*фр.*).

Берлога посмотрел на Елизавету Вадимовну с удивлением и засмеялся.

— Ну уж все, что хотите, только не страшна! Настасья — дура образцовая. Настасья — воплощенная мещанская пошлость, но — чтобы она внушала страх...

Елизавета Вадимовна перебила.

— Разве не страшна жаба, завладевшая розовым кустом, чтобы пожирать его цветы? Разве не страшен ярлычок в уголке гениальной картины, возвещающий: «Приобретена маклером таким-то»? Я не могу — органически не могу, Андрюша, видеть вас вместе с этой женщиной! И это не женская ревность, не думайте... Если бы я ревновала вас к Настеньке, как женщина, мне давно пришлось бы отравиться с горя или ее серною кислотою облить. Потому что — разве я слепая? Где же мне равняться с нею, как с женщиною? Она — красавица, я — рядом с нею — бесформенный комок какой-то...

— Начинается унижение паче гордости! — усмехнулся Берлога с ласкою.

Елизавета Вадимовна остановила его спокойно, уверенно.

— Никакого унижения, никакой гордости. Я знаю, что я почти дурнушка. За мое лицо, за мое тело такой избалованный человек, как Андрей Берлога, любить меня не может. Вы живете с Настенькою Кругликовою, вы жили с Еленой Савицкой... что я в сравнении с такими богинями?.. У меня есть лишь одно преимущество пред ними: все они любили вас для себя, а я люблю вас — для вас... Ведь правда?

В ответ на теплый звук ее голоса Берлога задумчиво пожал ее руки. Наседкина продолжала:

— Когда я вижу вас вместе с Настенькою Кругликовою, вы представляетесь мне какою-то драгоценною материей — на полке мануфактурного магазина. Лежит кусок, вымерян на аршины, расценен на рубли, какой покупатель ни придет и

сколько ни спросит, столько ему отрежут по prix fixe *, а — если пожелает взять оптом, весь кусок, то десять процентов скидки... Ужасно, Андрюша!

Берлога мрачно молчал.

— И вы увидите: скверно это кончится! Когда на человека смотрят только как на товар, его — в конце концов — компрометируют, убивают пошлостью, пачкают и губят скандалом бессознательной продажности... Вот чем страшна ваша Настенька. Вот чего я в ней — за вас — боюсь!

Светлицкая, давно наблюдавшая издали за их оживленною беседою, подкатилась шаром.

— О чем спорите, друзья мои?

Она взяла их обоих за руки, и бархатные, жаркие ладони ее стали, как проводники электричества от тела к телу.

— Да вот, Светлячок, — говорил Берлога, улыбаясь наполовину с досадою, наполовину самодовольно, — Елизавета Вадимовна уверяет, что, если я хочу выпить стакан красного вина, то должен сперва облечься в тогу и надеть на голову венок из виноградных листьев... Иначе мне — будто бы — не по чину.

— Не верьте, Александра Викентьевна: я говорила только, что понимаю его в оргии, но не в компании Машеньки Юлович. Если бы оргия, если бы красивый жест, — я, может быть, сама просила бы вас взять меня с собою...

— Вот как?

— Что же — вы думаете — я бесстрастная? во мне нет любопытства и инстинктов? нет капризов и чувственной воли? Не беспокойтесь! Такая же, как и вы. Дайте мне захват красоты, увлеките меня в размах страсти: я не жеманница и не трусиха, — сумею быть вакханкою не хуже других и искреннее многих. Но нероны с Сиводраловки и мессалины с Живодерки мне смешны и жалки.

* Твердая цена (*фр.*).

— Где же я вам возьму оргию красивого жеста? Для виноградных венков и Дионисовых празднеств надо было родиться две тысячи лет тому назад.

В черной ночи зрачков Светлицкой зажегся какой-то особенный тусклый огонек.

— Знаете ли — что, дети мои? — заговорила она тоном родительской ласки, как добрая-добрая пожилая мамаша, — я вас помирю. Вы, Лиза, не хотите, чтобы Андрей Викторович ехал к Юлович. Понимаю и одобряю. Вы, Андрей Викторович, не хотите ехать домой...

Берлога жалобно сморщил нос.

— Настя меня ждет, Светлячок! Вы поймите: Настя!

— Понимаю и одобряю. Из того и другого следует, что он не должен ехать ни домой, ни к Юлович, а поедемте-ка оба ко мне...

— К вам? Светлячок, да ведь четвертый час ночи! Вам давно пора баиньки.

— Умеет же Маша Юлович не ложиться в постель до семи утра. Разве я уже настолько старше ее, что не могу того же? Ах вы, невежливый мужчина!..

— Да ведь я — вас же жалеючи...

— Пожалуйста, без сожалений! Жалки не мы, бессонные, а те, кто в состоянии спать после «Крестьянской войны» с Берлогою и Наседкиною. Ах, дети мои! какой день! Душа трепещет от слез и радости. Я десятки раз переходила сегодня от рыдания к смеху, от ужаса к райским восторгам. Вы чувствуете мои руки? они горячи, как огонь. А в театре они были холоднее льда. Мы победили, дети мои, мы победили! Вы, Лиза, вы, Берлога, и в вас — обоих — может быть, немножко я! О, Лиза! в вашем успехе растаяли сегодня, по крайней мере, десять лет моей жизни! Я помолодела благодаря вам, — и чрез вас намерена теперь еще долго-долго жить в искусстве... Милые! разве можно, разве не стыдно проспать экстаз победы? Поедемте! я уже подговорила Нордмана: он будет с нами.

— Ах как хорошо! как хорошо!

Наседкина даже захлопала в ладоши.

— По крайней мере, поговорим между собою, справим свой праздник — как следует, — по душе и от сердца, без свидетелей; тесным, дружеским творческим кружком. Сегодня — наша ночь и да здравствует наша ночь! Такие не часто будут выпадать нам на долю. Не каждый день будут приходить к нам Нордманы, не каждый год будем мы получать от них «Крестьянскую войну»...

Берлога сразу стал угрюмым.

— Еще кто знает, — пробормотал он, — не в последний ли раз мы исполняли ее сегодня.

Наседкина с ужасом взялась за голову.

— Не говорите! не говорите! Об этом страшно даже подумать.

Светлицкая недоверчиво усмехнулась.

— Сплетни Лели Савицкой, разозленной, что ее отставили от должности с пенсией, но без мундира...

— Нет, Светлячок, Сила тоже говорит, что дело наше неважно. Генерал-губернатор предупредил Лелю, что — в случае какого бы то ни было недоразумения из-за «Крестьянской войны» — он примет сторону против нас. А между тем — Сила слышал — обуховцы собираются сделать в Думе запрос, по какому праву Елена поставила «Крестьянскую войну» без разрешения.

— Чьего? — изумилась Светлицкая.

— Городской театральной комиссии.

— Тринадцать лет служу в театр Савицкой — и впервые о такой комиссии слышу.

— До сих пор она существовала только на бумаге, ну а теперь, как видно, добрые люди рассчитывают сунуть нам ее, как палку в колесо...

Глаза у Светлицкой были глубокие, внимательные.

— Вы почитаете эту угрозу серьезною?

— Как всякую, когда в искусство врывается повелевающий и проверяющий хам.

— Ой какое словечко в устах социалиста!

— Разве социализм обязует мириться с хамством? Напротив, велит истреблять его до корней его. Хам — буржуйная сила, хамство — буржуйное наращение. В социалистическом равенстве, как в утопии апостольских братьев, которых мы сегодня изображали, ни хамов, ни хамства не будет.

— Но покуда и они, и оно есть, — засмеялась Светлицкая, — надо от них бежать и укрываться... Поедемте-ка, поедемте ко мне!

— Да — что же мы у вас делать будем? Поздно.

— А вот именно — укроемся, маленьким кружком избранных, от хамства и проведем час в радости, — сами по себе — как следует людям умным, талантливым и свободным...

— Вино-то, по крайней мере, есть ли? А то я отсюда захвачу...

— Не трудитесь. Виноградного сока — сколько угодно. А, быть может, найдутся и виноградные листья...

— Зачем? Кавказские голубцы тушить?

— Нет, — увенчать победителя и победительницу. Вы же сами говорите, что Лиза понимает вас только в венке из виноградных листьев.

* * *

Сила Кузьмич Хлебенный взялся довезти Аухфиша до типографии, где печатался «Почтальон». Старый журналист давно уже отвык ложиться спать без того, чтобы хоть мельком не взглянуть на готовые к печати полосы выходящего номера. Ехали в покойной, приятно зыбкой карете, и оба молчали, в темноте экипажа почти невидимые друг для друга, погруженные — каждый — в свои думы, напитанные впечатлениями недавних эмоций.

— Да-с, — шумно вздохнул Сила, — да-с... хорошо... Весьма даже увлекательно-с. А все-таки, ежели по правде-с... Не то!..

— Вы думаете? — тревожно оторвался от мыслей своих Аухфиш, — вы думаете, что Нордман сделал не то?

— Нет-с, этого я не дерзаю... Сам-то Нордман, кажется, сделал аккурат то, на что рассчитывал, что следовало ему сделать, и сколько ему его искусство позволяло-с: мастерски потрафил, куда наметил, — в самую точку-с. Но не ко времени нам оно. И не к месту-с. И из его того у нас — большое не то выйдет-с. Вроде как бы речь праведника на площадях Содома и Гоморры-с. Я его, вашего Нордмана, сейчас не иначе, как за ангела чистого, почитаю-с. Ну а мы, грешные, черти не черти, но не так чтобы уж очень далеко от них ушли-с.

Он долго молчал.

— Эта мамаша его-с — для меня — какой-то аллегорический зверь-с, будто из Апокалипсиса...

— Скажете! Язычок у вас, Сила Кузьмич!

— Право, аллегорический-с... Словно она — не одного Нордмана мамаша, но всех-с, кто ныне на Руси посягает-с... вот как посягнул Нордман-с. Вы ведь согласны-с, что он посягнул?

— И еще как!

— Да-с... посягнул! Новый звук в больном сердце нашел, и народу своему на служение звук тот вместе с сердцем бросил, яко жертву благопотребную. Однако из всего его посягновения теперича выйдет-с только тот один результат, что любовник его мамаши купит себе какие-нибудь процентные бумаги и своевременно будет стричь от оных купоны-с. Хе-хе-хе!.. Как-с бишь этого сочинителя-то звать-с, у которого Нордман заимствовал сюжет «Крестьянской войны»?

— Каутский, социолог.

— Талантливый?

— Если не гениальный.

— Хе-хе-хе-хе!

— Над чем вы?

— Над судьбою-с... или, ежели хотите, над круговращением-с человеческим-с... Гениальные Фра Дольчино и Маргарита погибли на костре-с, гениальный Каутский написал о них великолепное сочинение-с, гениальный Нордман извлек из сочинения этого великолепнейшую оперу-с, которую гениальные Берлога, Наседкина и Рахе вдохновеннейшим образом исполнили. Столько гениев работало, увлекалось, страдало, — некоторые даже умерли-с, — чтобы красотами звука-с и видения-с передать в толпу одну и ту же идею-с...

— Зато она сразу и восторжествовала над толпой! — горячо возразил Аухфиш, чувствуя в тоне Хлебенного какую-то враждебную горечь — не то лютой насмешки, не то подавленного страдания.

Сила помолчал в темноте.

— Восторжествовала-то не идея, но мамаша, — сказал он с сухою язвительностью и даже без обычного своего слова-ерика. — Мамаша ни о каких идеях и не слыхивала и, как побеседовал я с нею, оказывается черносотенкою мутнейшей воды. И тем не менее теперь идея Нордмана будет работать на нее, как поденщица, и социалистический гений «Крестьянской войны» повинен стать ее оброчным на двадцать пять тысяч в год. Меньше — не согласна. А, ни-ни!

Сила зло засмеялся.

— Да-с, Самуил Львович почтеннейший, да-с, дяденька вы мой! Вы себя призрачными торжествами не обманывайте. Аплодисменты — шум, вызовы — крик, газетные статьи — черная краска на белой бумаге, даже сборы — не более, как меновая стоимость любопытства. Смот-

рите, сударь мой, в корень. Не — кто и кого за «Крестьянскую войну» будет хвалить, но кого «Крестьянская война» будет кормить. А кормить она будет мамашу Нордмана и через мамашу какого-нибудь сутенера, вроде нынешнего ее прохвоста, который, глядя по деньгам, сегодня будет возлагать ее на одр наслаждений, а завтра — бить по зубам-с. И вот судьба первой песни твоей, о социализм музыкальный!

Он говорил все злее, с остреющею горечью в голосе.

— Помните ли вы, Самуил Львович, сказку о том, как некий меринос увидал во сне вольного барана и погиб от того? Ну-с а представьте себе, что не погиб, но совладал, выдержал и стал сам в вольные бараны стремиться. Радостный дух в себе обрел, порывы свободные, счастливые, настроение духа любвеобильное. Не живет меринос, а цветет всем существом своим. Понятно — в подобной жизнерадостности — шерсть на нем так и шелковится, так и курчавится. А хозяину-то радость: стрижет да продает, продает да стрижет... Только о том и молится: «Господи! не оставь — дай Ты моему мериносу почаще во сне вольного барана видать, чтобы шерсть на нем росла еще шелковее...» Нечто вроде такого мериноса представляет собою и Нордман наш... Нет-с, вы не сомневайтесь: я правду говорю — аллегорическая мамаша эта у него!.. всем своим естеством аллегорическая-с.

— Символ? — усмехнулся Аухфиш.

Хлебенный шумно вздохнул.

— Федорушка-матушка-с... Отечество достолюбезное-с...

Аухфиш молчал. Его интересовали и мысль Хлебенного, и нескрываемое раздражение, презрительно звучавшее в его гневных словах.

— Чем живем-с? Только и нравственного капиталу у нас, что молодые силы родят-с. Вся история в том проходит-с, что с гения деток своих, гениальными идеями вдохновлен-

ных, состригаем шерстку, яко с агнцев неповинных, и употребляем ее на пальты и одеяла-с, а также на вязаные чулки-с, против дурной погоды-с. Где наши права? Что отвоевал нам молодой задор разных, жизнь положивших за други своя, только то у нас и есть достояния. Всего-с! И личного, и имущественного, и политического! Где наши слова? Что молодой задор успел выкричать, с тем мы и остались. Я того мнения-с, что все мы теперь, со всею требухою нашею-с, оказываемся — вроде приживальщиков при молодых поколениях-с... А вы-с?

Аухфиш отвечал суховато и сдержанно.

— Я, Сила Кузьмич, как вам известно, человек восьмидесятного поколения. Мне своих сверстников заживо хоронить не приходится. Существуем и трудимся на общество не без промахов и недостатков, конечно. Но работаем, покуда живы, и бесполезными себя не почитаем.

— Да-с... так-с... — вежливо и внимательно такал Сила после каждой фразы Аухфиша, а когда тот кончил, спросил его.

— Ведь вы, Самуил Львович, если не ошибаюсь, левый кадет-с?

— По личным моим убеждениям я левее конституционно-демократической партии, но как практический работник принадлежу к ней.

Сила засмеялся.

— Вам смешно?

— Который только уже ответ я слышу — вот этакий-то-с! один думает левее партии, другой правее, а все — в ней, как в теплой серединочке...

— Потому что голый идеализм, не уравновешенный отчетливым сознанием возможных достижений, ни к черту не годится, Сила Кузьмич. Века утопистов, как Фра Дольчино, прошли. Воображать, что можно схватить рукою луну за рога, могут только дети.

— Вот-вот! — обрадовался Сила Кузьмич. — Именно это я и говорю-с. Дети! Именно, что детям мы предоставили нашу луну за рога ловить-с!

— Сила Кузьмич! Да вы-то сами, при таких речах ваших, кто же оказываетесь? Эсдек? Эсэр?

— Где нам-с, обывателям-с! — шумно вздохнул Хлебенный, — просто докладываю вам: так себе... приживальщик при современности-с!.. Кто-то ее творит, а мы приживаем-с да благодарим... Впрочем, вру-с: именно не благодарим. В том-то и штука, что приживаем и даже не благодарим. Напротив: важничаем, ругаемся и норовим держать в черном теле... вот именно, как Нордманова мамаша сынка своего воспитывала-с! Он к ней всею душою, а она к нему задом. Он к ее ногам всю кровь сердца своего пролить рад, а она искренно изумляется, что ее детище хоть на что-нибудь пригодно. И, когда дурак ухитрился достать луну, мамаша оную отбирает, чтобы подарить сутенеру! Тьфу!

Он в самом деле плюнул.

— Вы изволили помянуть эсэров и эсдеков. В таком тоне якобы они — дети-с...

— Я называю ребенком всякого, кто не считается с действительными силами своей минуты, забывает ближнее для дальнего и возможностям завтрашнего дня предпочитает утопических журавлей в небе.

Сила вздохнул.

— Возможность... невозможность... — промолвил он. — Знаете ли, Самуил Львович? Мне пятьдесят второй год. Вам, вероятно, меньше, но все же мы современники-с. Оглянитесь назад — и вы увидите: мы прожили век свой среди самых удивительных невозможностей, непостижимым образом осуществлявшихся изо дня в день... И только их дерзновенным течением мы и доплыли к нынешнему рубежу своему, из них сложился весь наш быт-с и прогресс. А из возможно-

стей, которые и отцы наши, и мы признавали насущным делом дня своего, и многоглаголали о них, и пытались их достигать, не осуществилась — почитай что ни одна. Ежели же которая и осуществилась, то — после невозможности и при ее посредстве... Вы в юности своей путешествия Жюля Верна читывали-с?

— Кто же не читал? Мое сознательное детство прошло в семидесятых годах: самый расцвет Жюля Верна.

— Так вот-с — вспомните: у этого барина уж какая была богатая фантазия насчет возможностей человеческих. Ну а телефона, беспроволочного телеграфа и фонографа вообразить не умел: даже в голову они ему не приходили, невозможными их почитал. В то самое время как они уже изобретались... может быть, были уже изобретены. Возможные наутилусы до сих пор больше ключами ко дну идут, чем под волнами, как рыбки, плавают, а невозможный телефон-то у меня в квартире звонит уже двадцать седьмой год-с, а в невозможном граммофоне — пожалуйте завтра слушать — у меня и Карузо поет, и соловей курский свистит... Да-с! То же самое и в политике-с, и в жизни социальной-с.

— В ваших словах, пожалуй, есть доля правды, — сказал задумчивый Аухфиш, — но скачок прогресса — не есть его нормальный ход, и неожиданные торжества невозможностей, которые вам так нравятся, для меня лишь показания, как болезненно развивается наша культура.

— А для меня — показания, что я прав-с, когда говорю, что наша культура творится нашими детьми, а мы в ней только приживальщики. Потому что творчество невозможного требует великой чистоты и прямой силы. И потому-то принимать на себя подвиг невозможного умеют и смелость имеют только дети.

— И безумцы.

Сила усмехнулся.

— Читал я недавно в книжке-с: «Безумство храбрых есть мудрость жизни...» Хорошо-с?

— Хорошо-то, хорошо, но...

— А из Писания еще с детства знаю: «Кто не умалится, как дитя, не может войти в Царствие небесное».

— Тот же Пророк советовал, однако, осторожность: будьте мудры, как змеи...

— И незлобивы, как голуби. Естественные науки этот символ давно разрушили-с. Почитайте книгу Брэма. Голубь — птица довольно ехидная-с, а змея кажется умною только от каких-то костяных щитков над глазами, по натуре же своей она — дура дурой-с.

Он примолк и потом, вздохнув, заговорил снова.

— Да-с, дети войдут в Царствие небесное и по любви своей введут в него даже кое-кого из нас... из Федорушки-матушки, из взрослой совокупности российских возможностей, — хихикнул он быстро и злобно. — Хотя, по правде сказать, не стоим мы того. Ибо — как мы с вами очень удивляемся Нордману, что за охота ему порабощаться толстомясой мамаше своей, и каждый из нас на подобную мамашу давно бы плюнул, — так вот мне иной раз удивительно и на тех, кто нам свободы и права достает кровью и муками своими: откуда у них берется и достает терпения и любви, чтобы еще на нас не плюнуть? Ведь — какую бы луну они ни сняли для нас с неба, мы продадим ее за первое же ласковое слово любого светло-пуговичного сутенера нашего, и будем творить власть имущую волю его, как влюбленные собаки, и вилять хвостом, покуда он сожрет и труд детей наших, и самих детей-тружеников... Так-то-с. Не то!..

Карета остановилась у длинного корпуса типографии, многоэтажно-глазастой яркими огнями в бесчисленных окнах.

— А все-таки-с, — сказал Сила Кузьмич, прощально пожимая громадною лапою своею маленькую щуплую ручку Аухфиша, — все-таки-с, помяните мое слово: вся-

кая струна рано или поздно смычком перетирается. Сколько господин Нордман ни много терпелив и влюбленно покорлив, но в один прекрасный день и он может взбунтоваться, и мамашу свою весьма к черту послать, со всеми ее сутенерами бывшими, настоящими и будущими-с. И будет тогда мамаше очень глупо-с и очень нехорошо-с... Потому что... не то-с! не то! не то!

XXIII

Назавтра после первого представления «Крестьянской войны» опера Е.С. Савицкой пережила день величайшего своего триумфа. В городе только и речей было, что о спектакле редкостном, о Нордмане, о Наседкиной, о Берлоге, — и все речи сливались в согласный хвалебный хор. Газеты за поздним окончанием спектакля успели поместить лишь коротенькие репортерские заметки, возвестившие громадный успех оперы, которого отрицать не посмел даже злобно шипящий «Обух». Но послезавтра настал черный день.

Свободный от спектакля и репетиций, Берлога проспал поздно за полдень. Зимний день начинал уже погасать, когда — на звонок из спальни — Настасья Николаевна собственноручно подала Андрею Викторовичу кофе, почту и газеты.

— Заезжал Самуил Львович, — сказала она, — должно быть, по делу... встревоженный такой.

— М-м-м... что же он, чудак, меня не разбудил?

— Будила я, да разве ты — когда тебя сон одолеет — человек? Хуже, прости, Господи, мертвого тела.

— Врешь все... Я сквозь сон слышу, как кошка мышь сторожит.

— Уж этого я не знаю, но только, чтобы разбудить тебя, покуда сам не выспишься, есть единственное средство: воды в рот набрать да в лицо тебе прыснуть.

— Ну и прыснула бы?

— Покорно благодарю: чтобы ты в меня подсвечником пустил, как в прошлом году было? Ты спросонья как дикий слон: ничего не помнишь и не понимаешь...

— Не намекал тебе Шмуйло, зачем был?

— Нет, только спросил, обедаешь ли ты дома.

— Заедет, стало быть?

— Ничего не сказал.

— Телефонируй ему в редакцию, что приезжал бы, буду ждать. Н-ну?

— Да я — ничего... Что ты вскинулся?

— А зачем морды делаешь?

— У нас сегодня и без Аухфиша пятнадцать человек за стол сядет.

— А мне — что? Хоть тридцать.

— Хорошо тебе, когда ты хозяйством не занимаешься...

— Большая невидаль! — при пятнадцати обедающих, накормить шестнадцатого!

Настенька подумала про себя: «Очень невидаль, если кухарке выдано на рынок по расчету только на десять... А кухарка, поди, тоже утянет... Ах Ты, Господи!»

Вслух же произнесла:

— Очень взволнован был Самуил Львович. Должно быть, приезжал денег занять...

— Ты Настасья, кроме денежных, других беспокойств даже предположить не умеешь!

— Если будет просить, ты, Андрей Викторович, не давай!

— Ну уж это — дам я или не дам — одного меня касается... совершенно не твое дело.

— Да! не мое! Ты за октябрь три тысячи получил, а сейчас — всего еще ноября половина — где они? У меня платежи...

— Отстань!

Почта была большая, как всегда. Берлога, пересмотрел адреса и, не видя интересных почерков, отложил письма

в сторону и взялся за газеты. Как водится, заведомо дружеские оставил напоследок — закусить горькое сладким, и начал с заведомо враждебных. Хмурый, с насупленными бровями на опухлые, заспанные глаза, он развернул желто-бумажный небольшого размера лист «Обуха».

— Ого?!

Столбцы сверху донизу пестрили именами Берлоги, Наседкиной, Савицкой, Нордмана, Рахе, Поджио, Кереметева, Мешканова в сопровождении крепких эпитетов и злобных афоризмов, свидетельствовавших, что «Обух» объявил театру войну по всему фронту и без пощады. Берлогу это обстоятельство не обеспокоило. Он был уверен и ждал, что успех «Крестьянской войны» взбесит обуховцев до потери самочувствия, — и теперь, чем свирепее была энергия черносотенной атаки, тем даже приятнее было сознавать, что враг разбит наголову и не имеет в запасе никакого оружия, кроме пошлых ругательств и гнуснейших доносов.

— «Теряющий голос рекламист»... я!.. — ухмылялся Берлога, почесывая мохнатую грудь под малиновою шелковою рубахою. — «Вместо тона эс-дур пел в тоне эс-де»... скажите пожалуйста! туда же острить покушается... сморчок! старый хрыч! Черномор допотопный!.. «Для вящего угождения «ашвободителям» гримировался мишурисом из Шполы...» ну еще бы!.. «Разнузданная оргия революционной сволочи...» «Бессмысленный рев нашей неучащейся, но скандалящей молодежи...» Конечно! Все в порядке! Полный арсенал... Ах, и злы же вы, соколики! ах, злы!.. Эка, эка! Настасья! смотри, как нас сегодня «Обух» жарит: рецензия... фельетон... «Каждый день...» Ха-ха-ха! По всем по трем! Вот идиоты: сами не понимают, какую рекламу нам делают... Позволь: да тут еще! И — еще!.. И еще раз, еще!!!

Под заголовком «Гнусное покушение» Берлога нашел чрезвычайно подробное и в высшей степени трагическое опи-

сание ночного битья стекол, претерпенного редакцией «Обуха» после первого представления «Крестьянской войны». С горестью указывалось, что удалось скрыться и временно («надеемся»!) избежать наказания настоящим виновникам адского комплота, имевшего целью умертвить разом издателя, редактора и секретаря «Обуха», соединившихся в это время, — «как, очевидно, хорошо осведомлены были злоумышленники», — для редакционного совещания. Читалась сдержанно-негодующая нотация Брыкаеву, полиция которого оказалась не на высоте призвания: вместо действительных злодеев схватила и продержала целую ночь в кутузке людей, не только не причастных к скандалу, но хорошо известных самой редакции «Обух» за благонадежных патриотов, «каких мы, к сожалению и к позору страны нашей, не всегда видим даже на высоких административных постах».

— Кой черт? — хохотал Берлога, — они уже и Брыкаевым недовольны? Ермилку, что ли, прочат в полицеймейстеры посадить? Вот бы ловко...

И запел из «Игоря»:

Он им княжество управит,
Он казны им поубавит...

— А ты совсем без голоса! — заметила Настя. — Сипишь, как болотная сова. Подслушал бы кто, — не поверит, что Берлога.

— С утра... не суть важно.

— Хорошо утро: третий час.

— Когда человек просыпается, тогда для него и утро.

— Нет, это не утро виновато, а — что после «Крестьянской войны» ты невесть где пропал на всю ночь и вчера только к полдню отыскаться изволил...

— Где я пропадал и когда изволил отыскаться, это, мадам, — опять-таки — не ваше дело. Тысячу раз говорено: не сметь меня пилить...

— Губи голос-то! Губи!

— Если и погублю, никто от того не пропадет... Детей у нас нет. У тебя, поди, тысяч сотня отложена на текущий счет, с голода не умрешь.

— Сколько ни отложено, — мои. На мое не рассчитывай.

— Наплевать! Мне и не надо. В акробаты пойду. Смотри.

Берлога трижды, без перерыва, перекувырнулся на кровати через голову. Лицо его налилось кровью, глаза стали блестящие, веселые.

Настя качала головою:

— Чисто мальчишка уличный!.. Хуже мальчишки!

— Извините, мадам: по паспорту — сорок первый год землю топчу, небо копчу... Чем клеветать на почтенного человека, принесли бы вы лучше эмса с молочком. В самом деле, в горле, что-то коты бродят.

Настя вышла. Берлога опять обратился к «Гнусному покушению». «Обух» выражал уверенность, что тайными виновниками штурма на редакционные стекла были какие-нибудь «жиды, по всей вероятности, возвращавшиеся из оперного вертепа (отныне мы отказываемся давать название театра «заведению» г-жи Савицкой!) и обнаглевшие от зрелища постыдной безнаказанности, с которою шайка музыкальных хулиганов, с государственным преступником Берлогою во главе, в течение целого вечера испытывала долготерпение сердца русского, оскверняя и втаптывая в грязь заветные святыни чувств и мыслей народа православного. Эх, народ, народец! молодец ты русский! Ходишь в рукавичках да в овчинной шапке! Ужо дождутся эти Савицкие, Рахе, Нордманы, Берлоги, что посадит их наш богатырь на одну рукавичку, другою прихлопнет, и — только мокренько останется от всех вас оптом, изменницы-полячки, плуты-колбасники, жиды-предатели и всякая цыганская шваль, проклятые прихвостни иуд земли Русской!»

— Здорово пущено! — грохотал Берлога, переваливаясь по мягкой постели огромным и тяжелым, складным и сытым телом своим, — никому нет пардона... даже бедную Лелю в полячки произвели... ха-ха-ха! Удивительно еще, как Наседкину в покое оставили... по младости лет, должно быть... ха-ха-ха!

Следовало — «письмо в редакцию», под заглавием «Земный поклон». Какой-то «Русский и потомок русских» благодарно кланялся в землю тому неведомому «богатырю-зрителю», который третьего дня с галереи обругал Фра Дольчино и Маргариту Трентскую жидами и требовал, чтобы музыка среди акта играла гимн. Письмо составлено было в том неестественно-разухабистом стиле, который русские немцы почитают народным и былинным... «Не стерпело сердечушко бахвальства бусурманского, раскипелось ретивое с похвальбы крамольничей, свистнул-гаркнул добрый молодец жидам окаянным словечушко удалецкое, аж с того словечушка они, жиды, окорачь поползли друг за дружку попрятались!» Затем «Русский и потомок русских» выражал глубочайшее сожаление, что богатырь, якобы заставивший словечушком удалецким Берлогу и Наседкину ползти по сцене окорачь, был один и, следовательно, в поле не воин. «Кабы добрых молодцев с полсотенки разнесли бы свистом соловьиным поганое гнездо крамольное!.. Эх! да заглушили бы песнями святорусскими безмозглое карканье «ашвобадителей!» А кто молчать не захочет, тому — жидовскую глотку заткнем! Небось, как ни широка, а не ширше кулака православного!..»

— Словом, поздравляю вас: жди погрома! — задумался Берлога. — Хорошо, что касса сделана вперед на пять спектаклей... Неожиданной публики, значит, быть не может.

Открытым «письмом в редакцию» ставился провокаторский вопрос Морицу Раймондовичу Рахе: на каком основании он уклонился исполнить требование, чтобы оркестр иг-

рал гимн? «Или к голосу русского патриотизма ваше немецкое ухо глухо? Конечно, вам, как иностранцу и нехристю, милее какой-нибудь Нассауский марш, но не забудьте, что вы живете в русской, православной стране и кормитесь русскими, православными деньгами. Если с тех кормов вы настолько разжирели, что потеряли слух и внимание к настоятельным желаниям публики, то знайте: найдутся русские люди, которые прочистят вам уши и посадят вас на полезную диету!»

— Бедный Мориц! — улыбнулся Берлога, — в нем нет полных четырех пудов веса... Как?! И в передовой статье! Совсем бенефис! Да они сегодня весь номер одними нами заполнили...

Однако передовая статья заставила Берлогу нахмуриться. Она была написана не по-обуховски: сдержанно, ехидно и ловко, с тою прозрачною свободою намеков и обличений, которою на Руси отличаются только очень властно внушенные и поддержанные статьи, не боящиеся административного отмщения. Безыменно загоняя вежливые шпильки в бока генерал-губернатора, который мог де, но пренебрег предупредить позорище «Крестьянской войны», передовица обращалась к городу с открытым вопросом: «Существует ли в городском самоуправлении театральная комиссия и, буде существует, то ведомо ли членам этой последней, что они удостоены общественного доверия отнюдь не для синекуры, но для строжайшего контроля антрепризы, ведущей дело свое от имени «городского» театра? Вчера антреприза эта опозорила городской театр постановкою лжеоперы г. Нордмана, дважды возмутительной — и своею какофонией, и своим прокламационным бредом, нестерпимым для слуха благомыслящих и благонадежных граждан. Ждем с любопытством, каким актом протеста намерено реагировать на это безобразие городское самоуправление, оплачивающее труды театральной комиссии, — казалось бы, — немалою мздою. Боимся, однако, что ожидания наши

напрасны. Г-жа Савицкая — persona grata, enfant gâté * отцов города и давно отвыкла считаться с какими бы то ни было авторитетами, кроме своего личного каприза и произвола. Тринадцать лет бесконтрольного владычества г-жи Савицкой в городском театре — печальная страница нашего самоуправления. Представлением «Крестьянской войны» антреприза сняла с себя маску и показала, каким богам служит она, лукаво вовлекая в свое служение город, от имени которого она работает. Эта неосторожность антрепризы особенно важна ввиду того обстоятельства, что в текущем сезоне истекает срок последнего пятилетнего контракта города с г-жою Савицкою, и, следовательно, возникает вопрос о дальнейшей эксплуатации театра. Смеем надеяться, что и в управе, и в Думе найдется достаточно голосов, способных разъяснить воротилам нашего самоуправления неприличие для города тенденций, взятых антрепризою г-жи Савицкой, и гарантировать храму искусства дезинфекцию от чумного проникновения под величавые плафоны его заразных веяний брошюрной революции. Город не может потерпеть, чтобы театр его еще на пять лет обязался быть жерлом вулкана, изрыгающего вопли эсдекской или эсэрской пропаганды. Скажем прямо: лишь близость договора г-жи Савицкой с городом к окончанию удерживает нас напомнить, кому следует, что во всяком благоустроенном самоуправлении столь вызывающий факт, как самовольная постановка «Крестьянской войны», был бы почтен не только законным, но необходимым поводом к расторжению контракта».

«То самое, о чем третьего дня намекал Сила, — думал Берлога, опуская газету на шелковое стеганое одеяло. — Ишь, куда гнут! До контракта добрались... Врешь, брат! Сердит, да не силен. Комиссиями своими ты нас не запугаешь. Отнять у нас театр — не так-то легко. У Лели в дело

* Букв: желанная личность (*лат.*), избалованный ребенок (*фр.*).

сотни тысяч всажены, — есть о чем посчитаться с городом... Не мы должны, — нам должны. Еще кто кому опаснее и грознее!»

— Андрей Викторович! — окликнула Настя, — там какой-то из театра спрашивает тебя.

— К черту! Разве не видишь, что я еще в постели?

— Да ты этак до вечера проваляешься, не встанешь.

— Ну и не встану. Тебе-то что?

— То, что безобразно с твоей стороны... А человек этот уже в третий раз приходит сегодня. Теперь уходить не хочет. Ругается. Говорит, что ты сам ему назначил.

— Я?.. Черт его знает, может быть, и назначил... Спроси: зачем? кто он такой?

— Контролер, что ли, новый... Аристоновым звать.

— Не помню.

— Видный такой, бравый...

— А! знаю!.. — оживился Берлога. — Действительно, назначил... Зови его сюда.

Настя даже обиделась.

— Так вот здесь — голый — будешь принимать постороннего человека?

— Фрак мне для него надевать, что ли?

— Хоть халат накинь, выдь в кабинет... А то ведь спаленку твою — срам показать: свинорой свинороем!

— Я не виноват, если прислуга не убирает.

— Когда убирать-то? Четвертый час, а ты в постели... Электричество пустить или нет?

— Да, уже темновато... пожалуй, зажги.

Настя ворчала:

— С электричеством лег, с электричеством встал... Поди, глаза-то у тебя, как у ночного филина, стали, — на свет дневной уж и глядеть разучились... Пожалуйте сюда! — крикнула она в дверь, к Аристонову, — велел просить вас в спальню...

Сергей вошел к Берлоге совсем с другим лицом, чем — как сиял он в опере, в антракте «Крестьянской войны». На лбу его лежала гневная морщина, прекрасные глаза темно синели тучею далекой грозы, в плотном складе сжатых губ залегло горькое, враждебное. Входя, он поклонился довольно сухо и остался у двери.

— Здравствуйте, милейший, — заговорил Берлога навстречу ему, с постели, самыми дружелюбными тонами богатого и широкого голоса своего: он уже успел выпить кофе и эмс — размягчил горло, одеревенелое от долгого сна, отхаркался, отплевался: трагикомическая утренняя проза, мытарством которой покупается певцами у катаральной гортани соловьиная поэзия остального дня, и вечерних чудес вокальных. — Извините меня, батюшка, что надул вас — не мог принять утром.

— Да, — сухо возразил Аристонов, — пожалуй, к министру внутренних дел легче добраться, чем к вам.

Берлога только руками развел жалостно:

— Предупредить о вас Настасью Николаевну свою я забыл, разумеется, а заснул поздно — то есть, вернее сказать, слишком рано... Ну-с, и такая, изволите ли видеть, вышла история с географией, что по обыкновению продрых я, как сукин сын... Что же вы, отец, там, в дверях, стоите? Садитесь — хотите, на кресло, хотите, на кровать.

— Я с холода, — сухо возразил Аристонов. — Боюсь простудить вас.

— Наплевать... не барышня!.. Эка лапа-то у вас здоровенная!.. Хорошо еще, что не шибко жмете...

Аристонов в самом деле едва коснулся руки, протянутой ему Берлогою, да и то не без колебания, которое артист принял, как застенчивость.

— Ну-с? в чем дело? о чем вы желали меня экзаменовать? Вываливайте вашу арифметику с математикой.

— Мне с вами, Андрей Викторович действительно надо поговорить, — угрюмо отвечал Сергей. — Очень надо поговорить. И серьезно. Только должен вас предупредить: разговор наш будет совсем не тот, как предполагал я третьего дня, когда просил у вас разрешения посетить вас. Да-с. Сейчас я к вам по другому делу. И — быть у нас с вами тому, первому, предполагавшемуся разговору или оставить его в напрасном проекте, — это зависит от того, как вы изволите ответить мне на мои вопросы.

Он сидел в низком кресле у изголовья Берлоги и, опустив мрачные глаза, упрямо водил взглядом по волнистому узору красивого персидского ковра.

— Валяйте, голубчик, что хотите: мне все равно. Я ведь не знаю, насчет чего вы... Ваше дело — спрашивать, мое — на что сумею, отвечать.

Сергей заговорил медленно, не поднимая головы.

— Есть люди, которые — люди, и даже — как ангелы. И есть люди, которые — дьяволы. И из дьяволов есть — который, если уж дьявол, так начистоту: с рогами, с хвостом, с когтями огненными. А другой — дьявол только внутри себя, но, понимаючи скверноту своего естества, блюдет выгоду своей наружности. Оденется человеком, рожу себе под ангельский лик раскрасит, и пошел гулять промеж нашего брата, простеца. Слова у него — самые хорошие, какие только знает человек, песни его — ангельские. Что он ни скажет, что ни сделает, — будто божество в нем сидит и посредством его силу свою оказывает. Ну, через все то обольщает собою человеков. Я того мнения, Андрей Викторович, что дьявол первого сорта-с, хотя он и дьявол, по крайней мере, тем хорош, что начистоту играет, — дьявол, мол, я, с тем меня и бери, что дьявол! Ангелом себя не ставит, а — давай, мол, побарахтаться, кто кого осилит: ты меня, черта, или я тебя, человека?

— Второй ваш черт, конечно, много сложнее и ядовитее, — улыбнулся Берлога.

Сергей поднял на него мрачные глаза.

— И вреднее, — сказал он значительно. — Это — именно против него молиться велено: «Избави нас от лукавого». Это главное, Андрей Викторович, что он вреднее!

— Согласен, — и вреднее. Но к чему, однако, милый человек, бысть нам притча сия?

— К тому, Андрей Викторович, что во мне большой чертогон ходит. Да вот — не знаю, с кого начать.

— Что в вас ходит?

— Чертогон-с. Поднялась во мне великая охота — даже до страсти — тряхнуть всякими там чертями-дьяволами, которые у нашего брата верхом на шее сидят, да куда велят, туда и вези их, едут... Так, знаете, тряхнуть, чтобы черепочки посыпались! Об этом самом и хотел я говорить с вами. Потому что — прямо скажу вам: вы во мне эту бурю разбудили... третьего дня... Фра Дольчино вашим! Вы! — и никто другой. Она, может быть, и раньше — всегда — с первого сознания моего — жила во мне, да не требовала, не мучила... спала. Вы разбудили. Мне от нее теперь покоя нет! И за то — возлюбил я вас третьего дня паче жизни моей. И за то — понес я к вам великое довечное свое спасибо...

Берлога потянулся к нему, довольный, растроганный.

— Я очень счастлив, дорогой мой, что мой Фра Дольчино оказал на вас такое глубокое влияние. Ей-Богу, счастлив и горд! Конечно, главное лицо тут — совсем не я, а Нордман, который написал такую музыку, что, когда пою, сердце кровью обливается и глаза слезами кипят...

Аристонов бесцеремонно перебил его.

— Ежели вы бурю разбудили, теперь ваша обязанность — направление буре моей указать, чтобы людям польза от нее была, чтобы, во мне безвыходно бурля, она меня самого не задушила...

— Понимаю... — медленно заговорил Берлога, — вы ищете общения-с...

— Виноват-с, — резко и холодно опять остановил его Аристонов. — То, как я вам о себе рассказал, было третьего дня. Вы тогда могли увести меня за собою, куда вам угодно. Потому что истинно богом или ангелом каким-то вы мне со сцены показались. Приказали бы вы мне в тот вечер: «Аристонов! умри!» — умер бы, не пикнул. «Аристонов! убей!» — хоть родному брату нож в ребра! Каждое слово ваше для меня — как святое откровение было. Каждое слово против вас — как язва вонючая, гриб, напоенный поганою отравою. Всех врагов ваших, всех, кто этаких людей, как Фра Дольчино, гонит и мучит, всех, кто против нашего брата, пролетария, смеет нос задирать да урчать подлыми словами из сытого брюха, — так бы вот и перервал пополам... Изволили читать сегодня в газетах, что позавчерась ночью кто-то в «Обухе» окна расшиб? Это — я-с.

— Вы?!

Изумленный Берлога покинул свою покойно лежачую позу и даже сел на кровати, спустив на ковер белые черноволосые ноги.

— Вы?! Зачем?!

— Затем, что, коль скоро убежден я о человеке, что он дьявол, то — натура моя такая: не терпит, чтобы тому человеку в ухо не засветить...

— Вот черт! Нет, вы не врете? В самом деле, вы? Вот черт!

— Не могу я от мысли, которая ко мне в голову попадет, на слове голом отъехать. Поступка желаю!

— Качество недурное, милый человек, а в нашем брате, мягкотелом россиянине, даже не весьма частое. Но — как бишь вас звать-то? — Аристонов! батюшка! — разве бить окна по ночам — это — поступок? Вам сколько годков-то? Шалость! И — уж извините меня: не только не похвалю вас за деяние ваше, но даже обругаю. Шалость ребячья, неумная и — по результатам — вредная. Обессилить либо уничтожить злого волка — хорошо, злобить его — лишний ущерб

стаду. Вон, — почитайте «Обух»: они в отмщение за разбитые стекла свои грозят погромом...

Ласково-укоризненный тон Берлоги странно действовал на Аристонова: под строгими звуками неприятного, казалось бы, выговора он, чем бы опечалиться, как будто немножко посветлел.

— Да, — согласно кивая заговорил он, — вы совершенно правы. Все это потом я и сам рассудил и одумался. Было глупо, мальчишки достойно. От битья стекол мир с лица наизнанку не перевернется. Я очень рад, что вы меня отчитали. Я боялся, что вы меня похвалите.

— Боялись?

— Да, — потому что тогда вы были бы аккурат такой человек, которым я сейчас напуган... «Избави нас от лукавого»!..

— Вы мудрено говорите. Не понимаю, Аристонов.

— Ангел с отрубленным хвостом и спиленными рожками, копыта в штиблетах и когти в перчатках. Слова и песни — ангельские, а нутро дьявольское, на людях — божество, наедине с самим собою — Анчутка Беспятый... Ведь вы не такой, Андрей Викторович? В вас подобного пегого разделения, что до сих пор вы беленький, а от сих пор — черный, не имеется? Вы — весь такой, как я вас вижу и слышу? Разницы между словом и жизнью у вас нет?

В голосе молодого человека перекатывались странные тона, смущавшие Берлогу трепетами затаенной и — до враждебности — пытливой страстности: в них звучали оскорбление, растерянность, недоумелая горечь. Так допрашивал бы любимую жену безусловно доверчивый муж, который получил анонимное письмо об ее измене: отрицать факта не смеет, признать не хочет, и ничего в жизни не пожалел бы, чтобы не было ни письма, ни подозрения, ни ревности, и прячет за искусственную, бесшабашную насмешку свой безумный,

ледяной страх разочарования, разбитого союза и грядущего одиночества. И глаза Сергея синели, — в упор глазам Берлоги, — в отуманенном мраке своем, — вопрошающею грустью, тревогою глубокой душевной раны, изнемогающей без лекарства и облегчения.

— Послушайте, Аристонов, — сказал Берлога, глубоко затягиваясь папиросою, что у него всегда бывало признаком конфуза и душевного волнения. — Я не знаю, что вас так взбудоражило и причем тут — как чувствуется в словах ваших — оказываюсь я...

— Третьего дня, — перебил Аристонов, — я решился было отдать вам в руки душу и жизнь мою. Это, Андрей Викторович, извините за выражение, не баран начихал. Это — большое. Вот почему я теперь — прежде всего — должен твердо знать, что вы за человек.

— Милый мой, ни души вашей, ни жизни я у вас не спрашивал, — позвольте вам заметить.

— Неправда: спрашивали! — почти вскрикнул Сергей. — Вы артист! Вы — сила! Кто выходит в публику с таким талантом и с такими словами, как вы пели, — тот спрашивает себе чужую душу и приказывает чужой жизни, чтобы шла за ним. Кто не чувствует себя, как Фра Дольчино, тот не должен им притворяться. Если вы сами не верите в слова Фра Дольчино, вы не имеете права увлекать меня, чтобы я ему поверил. Третьего дня вы сделали меня дольчинистом. Моя душа принадлежит Фра Дольчино, моя жизнь пойдет по следам Фра Дольчино. Как же вы не спрашивали? Разве — кто такой Фра Дольчино — не от вас узнал я и понял? Разве другой человек на земле мог бы захватить меня и отдать ему так сразу? Вы сумели быть Фра Дольчино, — так вот я — отдающий Фра Дольчино душу и жизнь свою — спрашиваю теперь, в свою очередь: достойны ли вы-то быть им? какой вы человек?

— Милейший Аристонов, чужая душа и жизнь — подарок неудобный, принять его я решительно отказываюсь. Я и тре-

тьего дня сказал вам, помнится, что я только артист, носитель художественного образа. Учителем жизни быть я не имею ни претензий, ни возможности, ни характера, ни достаточных знаний. Если вам нравится образ, мною созданный, учитесь у этого образа, берите у него то, что вам надо и подходяще, а я лично — причем же тут я?

Он усиленно курил и окутывался дымом.

— Конечно, я не Фра Дольчино, — это вы выбросьте из головы своей. Да и, сколько вы ни влюбились в Фра Дольчино, благодаря мне и Нордману, — небось, и сами понимаете, что принимать его вам надо не буквально и оптом, как мы его вам показали. В двадцатом веке с утопическим социализмом четырнадцатого столетия далеко не упрыгаешь. Но — если вы хотите знать, почему мне удался Фра Дольчино, на это мне ответить вам нетрудно. Потому что мне дорога красота этой социалистической легенды, которую я чувствую каждым нервом своим. Потому что опера Нордмана — вопль бесправного труда, вой обездоленных, нищих, голодных, а я сам был бесправен, нищ и голоден. Потому что я ненавижу насилие и неравенство. Потому что и разделяю мнение Фра Дольчино, что каждый богач — или сам преступник, или наследник преступника. Потому что стон голодного раба, проклятие безработного, плач ребенка, истерика проститутки — смолоду стали кошмарами души моей... Любезный друг! Я человек подвала и, — хотя на мне и вокруг меня шелк и бархат! — я помню свой подвал. И пусть отсохнет десница моя, пусть язык мой прилипнет к гортани, если забуду его! Если забуду и перестану ему служить!

Он бросил окурок в камин и зачиркал спичкою, тотчас же закуривая другую папиросу. Аристонов всматривался в него зорко и мрачно.

— Следовательно, — произнес он с вескою медлительностью, — вы даете мне право так вас понимать, что вы человек хороший — искренний и честный?

Берлога пожал плечами.

— Как человеку, кто же сам себе правильный судья? Берите меня вашим собственным наблюдением или, уж если я вас так интересую, проверьте свое впечатление, поговорив с людьми, которые знают меня хорошо и давно...

Аристонов отрицательно качнул головою.

— Мне нужно только ваше собственное мнение, ничье другое, — сказал он решительно и резко. — Как вы-то сами себя понимаете? Скажите искренно: хороший вы? прямой? можно вам верить? То, что вы говорите, поете, делаете — так вот оно и на самом деле в уме вашем светится и в сердце звучит?

Берлога добродушно моргнул своими темно-карими глазами.

— Экой вы чудак-исповедник!.. Вот пристал!.. Неловко, поди, этак-то о самом себе разговаривать...

Он окружился синим дымом.

— Что ж? Извольте... Совершенством себя не считаю, не святой. Грехов накопил не малую толику, ибо, во-первых, от юности моея мнози борят мя страсти, и дух силен, плоть же немощна. Во-вторых, такова жизнь моя ахтерская, что — направо соблазн, а налево — два. Выпить люблю, дому своему не рачитель, насчет красивой бабы всегда был завистлив и глазаст. Но — если, как из ваших восклицаний мог я догадаться, дело идет о неискренности либо лицемерии, то сомневаюсь, чтобы я не то что мог, но даже сумел грешить по этой части... Когда я пробую хитрить, мне ужасно не везет, и всякий мой тонкий план обязательно оставляет меня в очень толстых дураках. Не знаю, что именно имеете вы в виду, но — настолько серьезной двойной игры, чтобы из-за нее посторонний человек мог вчуже волноваться чуть не до слез и тянуть меня на цугундер этический, — откровенно и вполне искренно скажу вам: память мне не подсказывает... Скажите мой грех, и —

если в самом деле виноват, то я — ничего: каяться покладист!

Лицо Сергея Аристонова будто покрылось серым налетом, а губы дрогнули и скривились.

— Я попрошу вас покорнейше выслушать одно мое приключение, — сказал он. — Оно немножко вас касается...

— Валяйте! — согласился Берлога, взглянув на часы. — Времени до обеда много...

— Да, уж я попросил бы вас, чтобы нам никто не помешал.

По лицу Аристонова поползла гадливая, злая гримаса... Взгляд его, избегая встретиться с глазами Берлоги, выразил глубокое, не желающее скрываться отвращение.

Он долго молчал. Берлога, с любопытством косясь на него, медленно натягивал на упругие ноги свои тонкотканые шелковые кальсоны.

— В ту ночь, — тихо и злобно заговорил Аристонов, — в ночь после «Крестьянской войны», когда вы надорвали мое сердце воплем своим в защиту нищих и голодных, когда вы бунтом наполнили душу мою, когда мой ум признал в вас любимого, старшего и начальника, — ну и вот после того как я с большого восторга в нутре озорство это свое мальчишеское проделал насчет стекол в «Обухе», — пошел я, Андрей Викторович, разгуляться в Бобков трактир... Вы, поди, о такой трущобе не слыхали?.. Только тем и хорош, что круглые сутки торгует, как часы движутся. Вся ночная сволочь, сколько есть в городе, сливается туда, как в помойную яму какую-нибудь.

Берлога, в это время одевавший штиблеты, вдруг разогнулся, оставив их незавязанными, оперся руками на колена и уставил на Аристонова внимательно выжидающие глаза, яркие на чуть побледневшем, с дрогнувшими щеками лице.

— В этом Бобковом трактире, — продолжал Сергей все с тою же ровною унылою злобою, — попал я на скандаль-

ную сцену-с. Машина играла «Камаринскую» — и совершенно пьяная женщина плясала на сдвинутых столах... Она была в ситцевых лохмотьях и в прюнелевых ботинках, настолько дырявых-с, что нога светилась... Это — в ноябре-то месяце! Я не вру-с...

Он поднял на Берлогу вызывающие, угрюмые глаза. Тот сидел бледный, но спокойный, точно слышал давно знакомую, старую сказку, которую сразу узнал по началу.

— Слушаю вас, слушаю... — сказал он до странности кротко, — так плясала на столах?.. Ну-с?

* * *

Это была странная встреча...

Вокруг пляшущей женщины толпилась, ревя и всячески пакостничая, компания самой беспардонной жулябии. Аристонов когда-то, в Питере, сам к «Гайде» принадлежал, «Рощу» всю знал поименно, с «линейцами» и «коломенцами» водился, но — рассмотрев очами сведущего человека хулиганье Бобкова трактира, — невольно нащупал неразлучный свой финский нож в кармане:

— Хороши!

В седом пару осклизлой трактирной духоты, в просинях папиросного дыма женщина металась над головами, как привидение, сплетенное из пестрых туманов. Она визжала, топала, ругалась... Благообразный сед муж за буфетною стойкою даже сконфузился несколько, увидев приближающегося Аристонова: он успел уже заявить себя в трактире как завсегдатай дневной, — чистый, солидный и денежный.

— На дворянской половине прикажете столик занять? Здесь — изволите видеть, какое у нас сегодня развеселье...

Аристонов выпил водки.

— Что мне одному на вашей дворянской — отшельника в пустыне, — что ли, — изображать?

— Помилуйте-с! — как бы уж и обиделся сед муж, — возможно ли-с? Лучшие в городе господские компании можете встретить.

Но Сергей уже наметил себе свободный столик — одинокий, маленький, в углу за машиною. Оттуда ему хорошо виден был весь мутный трактирный зал — каждый входящий и выходящий. Он любил быть так — будто сокол настороже. Ему нечего и некого было бояться: ни сыщиков, ни жуликов, но — такова уже была его привычка по любопытству и по опаске человека, имеющего частые приключения и до них охочего. Он заказал себе пива и антрекот... Женщина все еще плясала и безобразничала, высоко поднимая отрепанный подол платья, так что голые белые ноги сверкали до колен.

— Нанашка! Куда чулки девала? — кричали ей из-за стола.

— Это, братцы, ее гувернантка из пансиона в разгул не пускала, так она без чулков удрала.

— Из каких? — спросил Сергей полового.

Тот посмотрел с изумлением.

— Девка!

— Умник любимовский! Вижу, что не барыня. Спрашиваю: чужая или ваша, притрактирная?

— Никак нет-с... у нас не водится.

— Не ври! Где это видано, чтобы при подобной трущобе девки не ютились? Бутербродов без масла не делают. Впрочем, насчет этой — пожалуй, извини, твоя правда: если бы ваша была, не позволили бы ей подобным отрепьем заведение конфузить, велели бы чище себя держать.

— Ишь вы, какой приметливый! — одобрил половой, расставляя по столу бутылки, судок, прибор и тарелку с хлебом.

— В миру живем — на мир глядим... Стакан пива — пьешь?

— Покорно благодарим на ласке. Не потребляем-с.

— Не велят? Знаю! Ха-ха-ха!

— Такое наше занятие, что голова должна быть свежая. Только поутру в пять часов смена будет. Нельзя нашему брату мозги дурманить.

— Да, до пяти часов в аду вашем пробыть — это и без пива пьян будешь!

— Квасом отпиваемся. Квасу — потребляй, сколько хочешь. Буфетчик не претит... А «Нанашка» эта у нас — вы справедливо изволили рассудить, — с ветру. Надо думать, прибеглая какая-нибудь. По всей «вириятности» недавно в городу-с. Что-то мы подобной раньше не примечали. Появилась не больше, как ден семь или восемь. Прикажете позвать?

— Сам — целуйся, если нравится! Лахудра!.. Ей на будущей неделе — сто лет.

Половой почтительно улыбнулся.

— Понятно, товар не первой свежести... изрядно подержанный... Хорошие-то к нам сюда и не пойдут. Однако — иные господа одобряют, будто — оченно занимательна, чтобы компанию разделить... Потому что даже удивительно, как всякому разговору может соответствовать... анекдоты знает... Даже-с рискует по-французскому. Из образованных-с...

— Это вам здесь в провинции — в редкость, а у нас в Петербурге подобные сокровища — хоть расставляй вместо фонарных столбов. Что на Вознесенском, что на Большом проспекте.

— Конечно-с, вы люди столичные, завсегда можете иметь пред нами свой преферанс.

Машина грянула и раскатила заключительный аккорд, — умолкла. Женщина спрыгнула со столов и сказала что-то, должно быть, очень пакостное, потому что кругом оглушительно захохотали. Она взяла поднос и, кривляясь, пошла между столами:

— Подайте Цукки за ейные штуки! Соблаговолите, пьяницы, на построение скляницы! Плясала за водочку — угостите красоточку!

Какой-то скот подставил ей ногу, — она клюнула носом в полроста своего и растянулась между столами — на четвереньках, копошась, как огромная, неопрятная черепаха. Половые бросились к ней с ругательствами — за оброненный поднос, но она была уже на ногах и грохотала:

— Цел твой поднос, — чего взяли? Смотри! Не смяла! — крикнула она буфетчику и показала шиш. — Ха-ха-ха!

Поднос, однако, у нее отняли. Она оглядела хохочущих за столами хулиганов, скроила смешную рожу, по которой было не угадать, смеется она или плачет, и погрозила кулаком:

— У! Черти! Ха-ха-ха!

Сергею стало жаль ее. Он видел, что женщина, падая, попала ногою под нижнюю скрепную перекладину стола, — значит, должна была сильно ушибить себе щиколку либо голень, — и не смеет даже показать, что ей больно... Когда «Нанашка» подошла к его столу и заголосила свой нищенский припев:

— Подайте Цукки за ейные штуки...

Он кивнул половому, чтобы подвинул стул.

— Водки или пива?

«Нанашка» скроила ему рожу на новый манер, вытянула нос, оттопырила губы и прогудела по-протодьяконски, как труба:

— И того, и другого по полные тарелци, дондеже не попрошу еще и еще!

— Пожалуйста, не стесняйтесь... Двадцатку, — приказал Сергей половому.

— Не опасайся, мон шер *, — утешала женщина, — не стеснюсь. Этого я совершенно не умею — стесняться. Если

* Мой дорогой (*фр.*).

приказывать будешь: «Нанашка, стеснись!» — и тогда не смогу. Был у меня, скажу тебе, любовник, из писарей военных, — по роже меня бил, чтобы хоть чуточку стеснялась, — так нет: страдала, но себя не превозмогла...

— Кушать желаете? — спрашивал Сергей, не обращая внимания на ее болтовню — механический, будто заученный, привычно глумливый и наглый говор женщины-шута: старой проститутки, которую обыкновенный промысел полом уже не вывозит, и приходится ей в женском банкротстве своем подбодрять торговишку юродством скоморошьего рабства и бесстыжею готовностью на всякое свинство.

— Закусите?

Женщина взглянула на Сергея пристально. Глаза у нее были прекрасные — огромные, голубые, хотя и несколько обессмысленные уже многолетнею привычкою к алкоголическому безумию. На красном опухлом лице, по которому пот безобразно расплавил смытые краски, они производили странное впечатление, будто взятые у кого-то взаймы, напрокат.

— Хм... — сказала «Нанашка», умеряя свой напускной искусственный бас в обыкновенный женский голос, хотя и хриплый, и надтреснутый: она, видимо, довольна осталась осмотром своего угостителя, потому что даже оправила на плечах своих шелковую тряпку, когда-то бывшую платком. — Хм?.. Это зависит от того, с какими вы целями...

— Дальнейших целей, кроме компании и приличного угощения, никаких не имею.

Женщина сделала гримасу и опять бросилась в шуты.

— Еще бы, — я так и думала: этакий сокол ясный — для нашей ли сестры?! Бывало: марьяжила я, любезный друг, понтов и почище тебя! Только это — прошло! Ау, Нанашка!.. Ну-с, вас с поднесеньицем, а нас — с угощеньицем!

«Нанашка» опрокинула в рот большую — «двуспальную», как говорят питухи, — рюмку казенки.

— На здоровье, — слегка поклонился Сергей, с любопытством глядя, что она хоть бы солью закусила, хоть бы корочку хлеба понюхала: только губы широко облизнула темно-красным, изрубцованным языком. А женщина говорила:

— Если, милый мужчина, весь ваш интерес ко мне ограничен тем, как Нанашка жрет водку, то это спектакль недолгий, и закуски не спрашивайте: не понадобится. Потому что далека еще от меня та порция казенной отравы, после которой желудок мой соглашается принимать твердую пищу. Засиживаться же с вами я не могу, потому что — водка водкою, но еще должна я найти свою судьбу на сию текущую ночь. Пониме, товарищ? Если поутру я приду домой без рубля серебром, то меня хозяйка и в постель не пустит... Позволите повторить?

— Пожалуйте... Затем подано.

— Не постави, Господи, во грех рабе Твоей, отроковице Надежде!.. Чисто сделано, молодой человек? А вы сами — что же?

— Не предвидел давеча компании. Сразу на пивную линию поступил.

— А вы — вперебой... Вот так, смотрите: Господи, благослови — рюмку водки. Господи, благослови — стакан пива, теперь — опять рюмку водки, после — опять стакан пива... Прелюбезное дело. Будете и пьяны, и сыты, и на закуску напрасно не потратитесь. Испробуйте, молодой человек.

— Спасибо, знаю. От этого перебоя назавтра глаза изо лба вон лезут.

— У новичков, — покровительственно согласилась женщина. — Вы, я вижу, нежного воспитания. Но — кто привык — лучше не надо. Огонь и бархат. Учитесь, молодой человек! Пьяницею будете, — вспомните Нанашку: спасибо скажете, что просветила!..

Уровень влаги в двадцатке быстро понижался.

— Вас Надеждою зовут? — спросил Сергей.

— Да, во времена оны звали Надеждой... И Надей тоже звали, — Надюшей, Наденькой... Муж, — потому что, молодой человек, у Нанашки был... а, если хотите, и сейчас имеется некоторый великолепный муж, — любил меня называть На́ною... Не Нано́ю, — это французская пакость. Нана́ ко мне потом пришла, когда я девкою стала, но На́ною, на первом слоге ударение. Если черт подсунет вам жену Надежду, попробуйте ее На́ною звать: очень нежно... Почти столько же чувствительно и хорошо, сколько Нанашка — скверно.

Она выпила и опять оглядела Аристонова.

— Пальто у вас хорошее... Отчего не снимете? Ведь жарко? Боитесь, что сопрут? За буфет можно отдать.

— Мне неудобно здесь без пальто: я во фраке.

— Гордись, Нанашка, какого сегодня барчонка замарьяжила: во фраке ходит! Фу-ты ну-ты, черт возьми! Официантом, что ли, служите?

— Нет, я при театре. Билетный контролер.

По лицу проститутки скользнула странная тень.

— Театральный? Это хорошо. Я люблю театральных. Сама была театральная...

— Вы?

— В консерватории, друг любезный, обучалась. Слыхал про такое заведение?

— Я петербургский.

— Ага! То-то — я гляжу: ведете себя не по-здешнему, — с девкою сидите, а не очень к ней свинья... Н-да... Курса не кончила, не похвалюсь, но тем не менее, если бы не вот это стекло почтенное, — она щелкнула по водочной бутылке, — была бы, может быть, примадонна не хуже других. Не веришь? Ей-же-ей! Спрашивай еще двадцатку!.. Я тебе из «Трубадура»... Я тебе из «Пророка»...

О, мой сын! —

завопила она благим матом, сипло и дико, но, уже наслушавшийся оперных голосов, Аристонов сразу почувствовал манеру, когда-то учившегося петь, человека.

О, мой сын!

И тут же спаясничала:

Мои сссссу-у-укин сын!!!

И нагло захохотала.

— Спрашивай еще двадцатку! Даром, что ли, мне для тебя безобразничать?

Заинтересованный Аристонов постучал ножом о тарелку.

— Спросить недолго, — сказал он, — но поднимете ли?

— Вона! — хладнокровно возразила женщина, — ты, знай, ставь, а — сколько я подниму еще, — после четверти спросишь.

— Ну, четверти, положим, я вам не поставлю: от этого человек должен лопнуть и синим огоньком сгореть.

— До сих пор Бог спасал, либо черт выручал, — не горела, — равнодушно сказала «Нанашка», принимаясь за поданную новую бутылку. — И брюхо у меня цельное, хоть пощупай... А — сколько поставишь, твоя воля: я за все буду благодарна. Жаль, надо мне рубля моего добывать, а то — не отошла бы от тебя: парень ты, я вижу, фартовый, клевашный...

— Я дам вам рубль, — начал было Аристонов, — и больше дам...

Женщина грубо захохотала и с размаху ударила его по плечу тяжелою красною ладонью.

— Что? Занятная девка Нанашка? Лестно тебе с нею? То-то! Смотри, не влюбись, брат. Если ты при опере состоишь, — слыхал про Кармен? Это я самая и есть.

— Слушайте, — перебил Аристонов, с отвращением и почти страхом глядя, как в трясущихся толстых пальцах ее горлышко бутылки соприкасалось с звенящею рюмкою, переливая светлую спиртовую струю, — съешьте вы, пожалуйста, что-нибудь... А то мне — просто — противно смотреть, как вы наливаетесь в пустышку!

Женщина пожала плечами.

— Если тебе угодно, пожалуй, — сказала она с видом совершенного пренебрежения. — Только напрасно... Я всегда такая: у меня нутро порченное. Спиртное принимает — хоть лей в воронку, а хлебом себя насильно кормлю... не проскакивает... Ну ладно — дадим Бобкову торговать, черт с ним, хоть и не стоит он того, подлец бородатый! Пускай подаст балычка с малосольным огурчиком, да почки, что ли, в мадере...

Аристонов распорядился.

— Ты уж, часом, не из интеллигентов ли? — спросила его женщина, вглядываясь в него с несомненною, но не злою иронией.

Он отрицательно тряхнул кудрями.

— Нет. Не берусь принять на себя подобное обозначение. Я простой человек. Тот же пролетарий. Конечно, старался образовывать сам себя, поскольку мог, посредством чтения газет и брошюр...

— Впрочем, оно заметно... Не те у тебя глаза, не тот разговор... А за интеллигента, извини, я потому тебя приняла, что это у ихнего брата есть такое пошлое обыкновение, чтобы угощать нашу сестру на даровщину, а потом выспрашивать биографию. Ха-ха-ха! «Как дошла ты до жизни такой?» Все — сукины дети, будь они прокляты!.. От меня не надейся: я меды-сахары разводить не охотница... Пьем, что ли, друг? Все пиво дуешь? Ну дуй, дуй... разводи болото в пузе! Каждому — свое.

— Так ты в опере служишь, — говорила она, кроша ножом огурец, — слыхала, знаю... большое дело... хорошая

у вас здесь опера, на всю Россию гремит... Савицкая держит?.. Слыхала, слыхала... А что — Санька Борх поет еще?

И, не ожидая ответа, повернулась к половому:

— Смотри, черт паршивый: это для меня мой гость заказывает, это — я даю вашей кухне гнуснейшей торговать!

— Знаем... ладно! — сухо ухмыльнулся слуга, сообщнически подмигивая Аристонову.

— Ты не мигай... лакуса! шестерка несчастная! Не ладно, а ты мне мой процент подай! Порция почек по прейскуранту рубль стоит, балык — семь гривен, водка, пиво... стало быть, полтинник мне из-за буфета принеси, не то — ноги моей у вас больше не будет, пропади пропадом все ваше гнездо поганое!

И, как ни в чем не бывало, обратилась к Аристонову:

— Так не знаешь Саньку Борх?.. Светлицкая по сцене.

— Александра Викентьевна Светлицкая известна мне очень хорошо, — возразил удивленный Сергей. — Знаменитейшая артистка. Вы-то откуда ее знаете?

— Саньку Борх? Закадыки! Когда-то вместе в Одессе хористками служили... Обе — альты. Всегда в паре стояли. Только два голоса настоящих и было во всем хору: я да она... Мой-то, пожалуй, считался еще почище... Вот — ежели знаком — спроси ее завтра: Надя Снафиди кланяться вам велела... увидишь, как удивится. Ха-ха-ха!.. Как же! Обе мы тогда из Одессы разлетелись — как пташки из гнезда. Ее среди сезона Н – а за границу увезла, а я потом в Москве со студентом закрутилась, да — дура была! — на Красную Горку замуж за него выскочила... Ха-ха-ха!..

Она помолодела от воспоминаний, и глаза ее стали прекрасны, даже сквозь туман хмеля, наплывшего на нее, вопреки недавнему хвастовству — одолеть хоть «четверть».

— Мой муж — он, брат, большой человек, — бормотала она, — богатый человек — мой муж... я против него — как есть свинья... была, есть и буду... Великий человек... прекраснейший...

Аристонов глядел — любопытный и недоверчивый.

— Это мне очень удивительно, однако, что вы так одобряете вашего супруга, — сказал он ей внушительно и хмуро. — Коль скоро он, как вы говорите, человек хороший, то — совсем его не рекомендует, что он попускает вам пребывать в подобном вашем поведении. А если он к тому ж еще человек со средствами, то этому уж имени нет, что вижу вас — посреди ноября месяца — в ситцевом барахле... Надо зверем быть, чтобы допустить близкого человека до подобной гибели... У вас из ботинок пальцы торчат...

Пьяная женщина согласно кивала головою и дремотно лепетала:

— Да... из ботинок пальцы... это ты — справедливо... Подлец! я ему скандал сделаю... Потому... ежели ты муж... стало быть, в церкви венчан... содержи!.. Пальцы из ботинок... не можешь по закону!.. терпи!

Она долго и бессмысленно смотрела на стоящую перед ней рюмку, потом осторожно поймала ее двумя пальцами, будто удиравшую блоху или зазевавшуюся муху, проглотила водку и — на минутку ожила от свежего обжога алкоголем.

— Тоже, брат, наскучит оно — гулящую бабу из б...ков-то выкупать! — произнесла она минутно-твердым голосом, с грустным взглядом, полным сознательной обреченности, странно противоречивой ее — только что — бормотам и лепетам, жалобам и угрозам.

Но Сергей сидел против нее прямой и строгий.

— Между мужем и женою никто не судья, — говорил он, — но человек человека завсегда пожалеть должен. Какой бы ни был предел вашего поведения, не собака вы, чтобы на холоду вас морозить, а в тепле — позорить... Когда человек загублен нищетою, он имеет за себя оправдания в каждом унижении. Но ежели близкую себе душу оставляет без помощи богатый под-

лец, то его, как убийцу, Каиновым клеймом метить надо. Если бы я вашего супруга знал и когда-нибудь повстречал, то, даже незнаком будучи, не отказал бы себе в удовольствии, чтобы наплевать ему в рожу!..

Он сердито застучал стаканом.

— Еще пару пива!

«Нанашка» — опять ослабевшая — глупо улыбалась и плела, едва ворочая языком, тяжеловесным и вялым, как удушливая, жаркая, белая, болотно-влажная мгла пьяного трактира, налегавшая на ее замутившуюся голову, на ее смыкающиеся ресницы.

— Этого ты никак не можешь... Не смеешь ты того, чтобы плевать моему мужу в глаза... Ты пред моим мужем всегда должен без шапки стоять... Он тебя, каналью, в полицию... Мой муж — может быть — первый человек в России! Он сто тысяч жалованья получает! А ты — что?

Аристонов видел, что женщина совершенно пьяна, и толку от нее больше не добиться. Но инстинкт какой-то странной, родственной жалости препятствовал ему покинуть это разрушенное, дикое, сонное существо в его алкоголической одури на жертву жестокого, буйного трактира, на произвол темной, зимней ночи...

«Вытолкают ее, — на четвереньках поползет... еще замерзнет на панели?» — угрюмо думал он.

Рассказанное женщиною знакомство со Светлицкою заинтересовало его страшно. Он чувствовал, что «Нанашка», может быть, завирается, но не врет, и за беспутным лепетом ее нащупывается какой-то любопытный и близкий секрет.

«Беспременно завтра пойду к Елизавете, расскажу ей, пусть передаст Александре Викентьевне либо меня свезет — я сам опишу, в каком положении находится ее старая подруга... Через Светлицкую, может быть, и до господина-супруга этого неизвестного сумеем добраться. Только бы узнать, кто та-

кой... Ах, животное! В тысячах зарылся, а жена — девка, больная и босиком!..»

Женщина уронила руки на стол и, склонясь к ним головою, медленно засыпала. Аристонов глядел и размышлял: «Оставить ее так — значит след потерять... Город велик...»

— Слушайте! вы! — толкал он «Нанашку». — Как вас? Надежда! Слушайте!.. Вы где живете-то? Адрес скажите, нехорошо так... На квартиру вас отвезу. Слышите, что ли? Надежда!

— Не смеешь ты этого, — бормотала женщина, — никак не смеешь, мужлан, Надеждою меня называть... Ты должен звать меня: Надежда Филаретовна...

— Да хоть Анкудиновна, адрес-то скажи!

— Не Анкудиновна, а Филаретовна... Мой папенька... Ты не должен папеньку обижать. Недостоин ты, чтобы поминать его, дурак!.. Я перед тобою превозвышена, как солнце, а ты — комар... Муж тебя сейчас в полицию...

Сергею стало смешно.

— Хорошо. В полицию так в полицию. А покуда — нечего делать, видно, придется взять тебя к себе. Не то, пожалуй, в полиции-то буду кончать ночь не я, а ты.

— Ехать я могу... Это — с моим удовольствием... Рубль обещал... я — по чести... Куда хочешь... с полным удовольствием!.. Но мужа — не моги! Муж мой великий человек. Ты пред ним не смеешь дерзать... Он тебя — в морду... в полицию...

Мглистый холод ночи, движущейся к утру, охватил несчастную своим отрезвляющим дыханием. Переезд от Бобкова трактира до номеров, где квартировал Аристонов, был недалекий, но тем не менее «Нанашка» в ситцах своих успела закоченеть, как снежный чурбан. То влекомая, то толкаемая своим спутником, она ввалилась в его «комнату с мебелью», громоздкая, как колода, с сине-багровым лицом, как труп утопленницы.

— Господин городовой, я вас не боюсь... — бормотала она, очевидно, твердо уверенная, что ее привезли в участок. — Пожалуйста, не деритесь!.. не на таковскую напали... Ночевала в части-то... хи-хи-хи!.. не боюсь... Кабы я беглая... хи-хи-хи! Мой вид — всегда при мне... Пожалуйста... На!!! прррописывай, крупа!!! Паспорт у меня в порядке — лучше графского... Хи-хи-хи!.. Мой муж первый человек в России...

Летела ночь. Горела лампа. На кровати Аристонова стонала, храпела, металась растерзанная куча грязных лохмотьев, из которых отвратительно рвалось задыхающееся, бессознательно окованное ядовитым сном тело... Сергей — мертво-бледный — сидел у стола, бессонный, не раздеваясь, во фраке, как был в театре. И лежала перед ним на столе темно-зеленая паспортная книжка, добытая с той жалкой твари, что грязнила теперь своим пьяным сном постель его и заражала воздух его комнаты вертепною вонью. И значилось в книжке, что выдана она таким-то участком, такой-то города Петербурга части жене личного почетного гражданина Надежде Филаретовой Берлоге, с согласия мужа ее, личного почетного гражданина Андрея Викторовича Берлоги, от такого-то числа такого-то 189* года на вечные времена...

XXIV

— Все?

Сергей Аристонов возразил угрюмым вопросом:

— Чего же вам еще?

Берлога медленно одевался. Лицо его было хмурое, пепельное, но спокойное.

— Позвольте спросить, — говорил он, расправляя пред зеркалом буйные, темные вихры свои, — вы вот это суд-

ное, так сказать, посещение свое — как вдохновились его предпринять?.. Сами от себя, по собственной инициативе, или после разговора... Послать-то она вас ко мне не могла, нет, это-то я очень хорошо знаю, уверен в ней, что она не посылала и не пошлет... но — был уже у вас с Надеждою Филаретовною разговор-то объяснительный?

С е р г е й. Нет. Я сам. С нею нельзя разговаривать. Она — с похмелья — совершенно больная стала. Лежит без задних ног, бурчит, ничего не понимает. Боюсь, чтобы не начала чертей ловить.

Б е р л о г а. Ага! Так я и думал. Знаете, — что, прекрасный вы молодой человек мой? Не отложить ли нам в таком случае судебного разбирательства до тех пор, покуда Надежда Филаретовна придет в себя? А то — согласитесь: как-то неловко. Предполагаемая пострадавшею — налицо, а следователь не находит нужным подвергнуть ее допросу и составляет обвинительный акт по одной видимости преступления и по внутреннему убеждению, что ли? Такого обвинительного акта ни один прокурор не примет к судоговорению, — вернет дело к доследованию, да еще и с выговором, батенька. Абсолютная скорость потребна только блох ловить, а суд должен быть, говорят, хотя и скорый, но также правый и милостивый...

Голос его звучал печальною насмешкою, уверенность которой озадачила Сергея.

— Что нужен правый суд, — я согласен, — проворчал он, — но на милость — не рассчитывайте. Нет во мне милости. Себе не попрошу и другому не дам.

Б е р л о г а. Так-с. Хорошо, пребудем при одной голой справедливости. Так вот даже лишь во имя этой достоуважаемой дамы, госпожи Справедливости, я все-таки прошу и требую: будьте так любезны — когда Надежда Филаретовна вернет себе задние ноги и дар понимать человеческую речь, осведомитесь: поддерживает ли она то ваше обвинение? в ее-

то глазах оказываюсь ли я тем негодяем, эгоистом и лицемером, даже дьяволом в перчатках, как вам угодно было присудить меня?.. То-то-с! Нана — человек безумный и пропащий, но — святой честности, клеветать неспособна, и — нет! от нее материала в мой обвинительный акт вы, господин прокурор, добудете немного!.. А — без обвинения с ее стороны — я не признаю права обвинять меня ни за кем, в том числе, конечно, и за вами — человеком, которого я вижу в первый раз и который меня тоже в первый раз видит...

— Что же? — вызывающе ухмыльнулся и даже по-звериному оскалился Аристонов, — это, понятно, выходит дерзость моя... За нее вы вправе меня в шею вытолкать, в окно вышвырнуть... Попробуйте!

— Может быть, и попробовал бы, если бы вы — почему-то — не казались мне симпатичны.

— Покорнейше благодарю... Не просто ли скандала и огласки боитесь?

Берлога возразил так спокойно и прямо, что Аристонов ему сразу поверил:

— Нет, скандала и огласки я не боюсь. Отвык бояться. Слыхали вы сказку про дамоклов меч, над головою человека на волоске висящий? Вот так-то надо мною всю жизнь мою висят скандал и огласка о Надежде Филаретовне... Раза три-четыре уже меч падал, наносил мне больные раны... теперь, по-видимому, опять хочет упасть, и, вероятно, опять будет больно. Что же делать? Это — фатум. Не ведаешь ни дня, ни часа, ни места, когда и где он настигнет.

С е р г е й. Спокойный же у вас характер. Философом можно назвать.

Б е р л о г а. Мой милый, есть в Италии огнедышащая гора Везувий. Знаете? Вулкан! Страшилище! Однако весь он до самого почти жерла своего покрыт виноградниками, плодовыми садами, пахотною землею. Стоит ему в недобрый

час плюнуть — и вся эта красота и обилие пойдут к черту: будут залиты лавою, забросаны камнями раскаленными, засыпаны пеплом, ухнут в расселины почвы. И бывало так не раз, и бывает, и будет. Однако мужик тамошний спокойно обрабатывает бока Везувия и не думает о жерле. Так хорошо работает, что даже и самый край-то этот получил название *«Terra di lavoro»*, земля труда. Народ на ней живет бойкий, удалой, веселый, жизнерадостный...

Сергей. Я, Андрей Викторович, четырехклассное училище кончил и в народных аудиториях о вулканах не раз чтения слушал. Так что...

Берлога. В уроке географии не нуждаетесь. Понимаю. Извиняюсь. Но воспользуйтесь им все-таки для образа, для символа. Ежели человек впустит в душу свою пугало роковой угрозы, — чего стоит тогда жизнь и на что она годится? какой смысл имеет труд? Как возможны деятельность и строительство будущего? Свое пугало у каждого человека есть, но — одно из двух: либо пугалу поклониться и служить, либо на жизнь работать. С болезнью сердца нельзя быть атлетом. Страдая головокружением, не суйся переходить Ниагару по канату или взбираться на башню высокую: сорвешься, как строитель Сольнес, о котором вы, может быть, тоже слыхали.

Сергей. Нет, не слыхал, да, признаюсь... я бы попросил вас: ближе к делу.

Берлога. Мы именно у дела, мой милый друг. Я — в отношении Надежды Филаретовны — тот же мужик неаполитанский. Моя жизнь, залитая светом искусства, ярка, пестра, сильна и — на вашем же примере я вижу, — полезна: вон как вас мой Фра Дольчино взвинтил! Разве бы я мог сохранять свободу творчества, цельность мысли, искренность увлечения, если бы я подчинился своему личному пугалу и каждую минуту ждал, как оно ворвется в жизнь мою и оскорбит, даже, может быть, растопчет меня? Довольно

уж и того, что знаешь: это возможно, — но трепетать ежеминутно — а вдруг скоро? а вдруг сейчас? — фи! это недостойно ни мужчины, ни человека... в этом личность исчезает... пятишься к стаду, к хаосу... да!..

— Откровенно сказать, — заговорил он, помолчав, в то время как Сергей Аристонов смотрел в упор в лицо его взглядом хмурым, подозрительным, ждущим, но не злобным, — мне, любезный мой Аристонов, очень неприятно говорить с вами о Надежде Филаретовне прежде, чем вы от нее самой не слышали повести нашей... Выйдет, как будто я оправдываюсь, тогда как оправдываться мне не в чем. Больно мне за нее очень, но совесть моя пред нею чиста. Вы ее теперь-то где и как оставили? — спросил он Аристонова уже совсем деловым тоном.

С е р г е й. Все там же... у меня в номере... спит... запер ее, уходя.

Б е р л о г а. Пила сегодня — перед сном-то?

С е р г е й. Двадцатку выглушила... Я было не хотел давать... Однако вижу: человек весь не в себе... трясется, мучается, плачет... готова руки на себя наложить... Невозможно. Послал...

— Отлично сделали, — вздохнул Берлога. — Ну-с, любезный мой Аристонов, — стало быть — вот вам мое показание. Снимайте. Протокольте. Не совру.

* * *

Веселая богема собралась зимою 188* года на совместное житье в верхнем — пятом — этаже московских меблированных комнат Фальц-Фейна на Тверской улице. Юная, нищая, удалая, пестрая. Дюжины полторы жизнерадостных молодых людей собирались с разных сторон и концов жизни: мир перестроить, обществу золотой век возвратить, а в ожидании превесело голодали, неистово много читали, бешено спорили часов по пятнадцати в сутки, истребля-

ли черт знает сколько чаю, а при счастливых деньгах и пива. Три номера подряд были густо населены смешением самого фантастического юного сброда. Все — гении без портфелей и звезды, чающие возгореться. Несколько студентов, уже изгнанных из храмов науки; несколько студентов, твердо уверенных и ждущих, что их не сегодня-завтра выгонят; поэты, поставлявшие рифмы в «Будильник» и «Развлечение» по пятаку — стих; начинающие беллетристы с толстыми рукописями без приюта, с мечтами и разговорами о тысячных гонорарах; художники-карикатуристы; голосистый консерваторский народ. Инструменталисты в богеме не уживались, ибо инструмент есть имущество движимое, а, следовательно, и легко подверженное превращению в деньги и горячительные напитки. Жили дарами Провидения и поневоле на коммунистических началах: на пятнадцать человек числилось три пальто теплых, семь осенних и тринадцать — чертова дюжина! — штанов. Дефицит по последней рубрике может показаться иным скептикам невероятным. Недоверие их возрастет еще более, когда они узнают, что из недостающих двух пар штанов одна была украдена с ног собственника среди бела дня и на самом людном и бойком месте Москвы жуликами хищной Толкучки, причем ограбленный собственник отнюдь не был одурманен сном, вином или опоен зельями, но находился в состоянии вожделенно-бодрственном и владел всеми чувствами своими совершенно!.. Заработки сообща приискивались, сообща проедались и пропивались. В гостинице эти три номера известны были под лестными именами «Вороньего гнезда», «Ада», «Каторги» и т.п. Почему арендатор меблированных комнат, хотя и с ропотом, но терпел, а не гнал в шею эту неплатящую, шумную, озорную команду, того, кажется, ни сам он, ни терпимая команда не понимали.

В богеме этой существовал и был заметен парень лет девятнадцати, Андрей Викторович Берлога, студент-юрист, из мещан-самородков, только что исключенный из универ-

ситета по прикосновенности к политическому делу, необычайно всем тем по юности своей гордый, хотя и решительно не знающий: что же он дальше-то делать будет? И для себя, и для жизни? Потому что никто из членов богемы в самого себя жить тогда не собирался и каждый почел бы за великое бесчестие иметь даже и мысль о том, чтобы устроиться лично, эгоистом, безыдейно, помимо высших «альтруистических» целей и вне таковых же возможностей. Буржуа, бюрократ были враги лютые. Даже свободные профессии буржуазного требования лишь допускались и терпелись, но отнюдь не поощрялись и в идеале не благословлялись. Богема обеспечивалась и запасалась работишками лишь, чтобы жить впроголодь да сохранить — не то что денежный источник, — уж куда там! — но хоть тропинку к нему на тот случай, если какая-то таинственно мерещившаяся всем «организация» или просто великая смутная сила товарищества пролетарского кликнет клич о помощи «делу»... Да! Хороший был народ... без штанов, но с энтузиазмом!

И вот однажды, в такую-то богему вдруг — бух! откуда ни возьмись, свалилась оперная хористка Наденька Снафиди... Двадцатисемилетняя дама с девичьим паспортом, голос удивительный, красота писаная, греческий профиль, кудри — темное золото, глаза — голубое море, сердечный человек, редкий товарищ, в компании душа общества, чудесная разговорщица на какую угодно тему, сочувственница всем светлым богам и мечтам молодежи. Приехала она в Москву после хорошего сезона, довольно денежная и безмужняя, потому что только что разошлась с сожителем, фаготом или гобоем из одесского оркестра. Влетела, как пташка, и всей богеме вдруг стала необыкновенно мила и необходима. Весело в богеме сделалось и влюбленно. К Нане Снафиди липли все, как мухи к меду. А она ко всем была одинаково участлива, мила, дружественна, — со всеми равно фамильярная, никого не выделяя особым вниманием и нежностью, с каждым на доб-

рой товарищеской ноге. Но месяц спустя начала богема — без всяких, казалось бы, видимых и осязательных причин к тому — таять и разлагаться. То один, то другой юноша вдруг начнет задумываться, хандрить, на всех товарищей зверем смотрит, да в один прекрасный день, глядь, и сбежал, даже адреса друзьям не оставил. Два студиоза, неразрывные приятели с начала курса, неожиданно и жесточайше сперва переругались, а потом подрались. Один из бесчисленных поэтов — тот самый, у которого на толкучке штаны с ног украли, — сделал глупейшую попытку отравиться спичками. Остался жив только потому, что по рассеянности спичек в масло накрошил шведских, а не фосфорных. И — наконец — серия скандалов увенчалась даже громом револьверных выстрелов: некий скрипач из армян пустил в Надежду Филаретовну три пули. Из них одна убила кота на диване, другая прострелила глаз Добролюбову на стене, а третья пробила плечо Андрею Берлоге, когда он боролся с обезумевшим восточным человеком, чтобы его обезоружить. Армянин орал:

— Нэ моя, так нычья!

Надежда Филаретовна каталась по полу в истерике, а Берлога тем временем порядком-таки истек кровью. Полиции объяснили скандал несчастным случаем, раненого отвезли в больницу. Богема же окончательно распалась, потому что терпение арендатора лопнуло, и он опустошил «Воронье гнездо», выселив всех его обитателей даже не в 24 часа, а в 24 минуты.

Надежда Филаретовна навещала Берлогу в больнице. Раньше между ними никакого романа не было, но тут они сперва подружились, потом влюбились. А, может быть, сперва влюбились, потом подружились. Сближала их и личная симпатия двух красивых, богато одаренных натур, и случайность только что пережитой вместе «драмы», и, главное, общее стремление к искусству. Берлога едва начал тогда

учиться пению и еще не знал, что из этого выйдет. Надежда же Филаретовна затем и в Москву приехала из Одессы, чтобы, поработав над богатейшим контральто своим у знаменитого Гальвани, превратиться из хористки в примадонну и начать артистическую карьеру уже всерьез. Под влиянием ее Берлога начал понимать самого себя, открыл свой артистический, если еще не талант, то первый инстинкт, нашел тот фанатический порыв к искусству, ту святую радость жречества, которыми затем наполнилась вся его жизнь...

Вышло, значит, так, что стали они любовниками, поселились в общей квартирке. Когда Надежда Филаретовна сделалась беременна, то женились. Надо заметить: Надежда Филаретовна не настаивала на браке этом. Но двадцатилетний Берлога почел долгом чести дать свое имя ожидаемому ребенку. Перед свадьбою бедного Берлогу, как водится, засыпали добрые люди сплетнями, анонимами, предостережениями, — обычное предисловие к бракам, в которых жених предполагается по юности неопытным и глупым, а невеста — не первой молодости, свежести и «с прошлым». Но все эти предубеждения не открыли Берлоге ничего нового — такого, в чем еще раньше не призналась бы ему, что скрывала бы о себе сама Надежда Филаретовна. Был между женихом и невестою день торжественного всепокаяния, когда оба они рассказали друг другу всю жизнь свою, и клятвенно условились, что отныне все прошлое зачеркнуто и не существует для них, будто и не бывало, а надо устроить хорошее общее настоящее да работать, уповая на еще лучшее будущее. Правда, минутами Берлоге казалось, что Надежда Филаретовна как будто не договорила чего-то и, порою, будто висят у нее на языке какие-то новые, нужные слова, совсем бы готовые сорваться вслух, но — вдруг — струсит, застыдится, спрячется, уйдет в себя... Но — то были бегучие, пролетные минуты, и жених не придавал им большого значения. Нана призналась ему во всех своих

молодых грехах и ошибках, назвала ему всех людей, которых она раньше его любила и которым принадлежала. Он знал, что она имела уже двоих детей, к счастию для нее, для него, да, вероятно, и для них самих, умерших вскоре по рождении. Какими еще признаниями могла она отяготить такой солидный обвинительный акт? Раз мужчина помирился с подобным накоплением, чем еще его смутишь и испугаешь?

Обвенчались. Месяца два спустя родился ребенок — и, не дожив года, помер от менингита... Надежда Филаретовна была страшно потрясена смертью этого младенца. Она не имела сил отвезти мертвое дитя свое на кладбище. Отец один присутствовал, когда маленький розовый гробик исчез под широким, блестящим заступом в яркой желтой земле. Возвратясь с кладбища, Берлога, к изумлению и ужасу своему, нашел жену без чувств, распростертою на полу... пылающую, храпящую...

— Отравилась?!

Бросился к приятелю-соседу по номерам, молодому, только что кончившему курс медику. Тот пришел, освидетельствовал.

— Кой черт — отравилась? Она просто мертвецки пьяна.

И пошло это изо дня в день на целую неделю... Берлога очень жалел жену. Пьянство ее он приписывал — естественно — порыву материнского отчаяния, горю по напрасно погибшей малютке.

— Не убивайся, Нана, — умолял он ее в светлые промежутки. — Ну что же делать? Невозвратимо. Мы молоды. У нас будут еще дети...

Нана мрачно качала головою.

— Зачем? Чтобы землю ими удобрять? Оставь! Мои дети не живут. Третье так умирает. Я поганая. Проклято мое материнство. Оставь меня! Не хочу!..

А пьяная бросалась к нему, страстно нежничала, ревела:

— Дай мне дитя! Ты обязан! Я не могу иначе. Ты — мой муж, я твоя жена! Я должна иметь ребенка, — я должна доказать тебе, что я не мерзавка. Сделай мне ребенка! Не хочешь? Значит, ты брезгуешь мною?.. Ха-ха-ха! Фу-ты ну-ты, пан какой!.. А я тебе докажу... я тебе себя докажу!.. Я не поганая!.. Почище тебя найдутся, не побрезгуют, за честь почтут... Идиот!

Рвалась куда-то бежать, называла какие-то имена, кричала каких-то мужчин, — надо было бороться с нею, чтобы не ушла, двери на ключ запирать, держать ее за руки.

Трудно было молодому мужу — самолюбивому, гордому, начавшему уже освещаться тем общественным и женским успехом, что затем сопутствовала ему — ему! Андрею Берлоге! — чрез всю его триумфальную жизнь. Но он и сам был уверен, и врачи ему говорили, что дикое поведение Надежды Филаретовны — скоропреходящий результат сложного нервного аффекта: испуг от истории с огнестрельным армянином, трудные роды, послеродовые анормальности, смерть ребенка... Мало-помалу, — словно река, взбунтованная вешним половодьем и после ледохода мирно входящая в берега, — Надежда Филаретовна стихла, вытрезвилась. Возвратилась к обычному своему обществу и занятиям, усердно брала уроки музыки и пения, еще усерднее помогала в том же своему молодому мужу. А об его голосе и таланте уже заговорили в Москве...

Берлога был искренно и спокойно счастлив. Когда поостыло пламя первой, молодой, физической страстности, влюбленно соединившей эту пару, когда супруги вгляделись и каждый в самого себя, и оба друг в друга, они не нашли в себе глубокого чувства, которое таинственным инстинктом слагает союзы, неразрывные на всю жизнь. Но они очень пришлись друг другу по душе, характеру, быту, привычкам, надеждам, стремлениям, пристрастиям. Расцветающая молодость мужа и еще не отцветшая молодость жены дружили весело, кра-

сиво, в том немножко насмешливом кокетстве, в том резвом супружеском флирте, какими бывают полны все русские браки по любви, покуда муж и жена чувствуют себя бодрыми товарищами, не отравились горечами борьбы за существование, не утомились взаимными уступками, не озлились, не заворчали, не наполнили жизни своей кислым недовольством, ревностью, рабством, злорадными вызовами взаимной требовательности, угрюмою неудовлетворенностью обоюдных разочарований. Жена нравилась Берлоге — и как женщина, и как человек, и как товарищ. Единственно что смущало его в ней, это — какая-то странная, насмешливая, почти презрительная лень, которую Надежда Филаретовна начала теперь являть решительно во всем, что ее лично касалось. Она будто не верила в возможность, что из нее может выйти что-нибудь хорошее, словно знала за собою что-то такое тайное и непременное, что в конце концов, как deus ex machina*, выскочит поперек каждой житейской тропинки, какую она изберет, всему помешает, все опутает и погубит. При великолепном голосе и несомненном артистическом темпераменте, она и в пении своем не шла далее грубого первобытного дилетантизма. Когда муж работал, помогала ему внимательно, с любовью, аккомпанировала ему на рояле, строгая, как немецкий педант, давала отличные советы, охотно и остроумно решала вместе с ним задачи по теории музыки. Но сама только и любила, что кричать цыганские песни да ловкими карикатурами передразнивать всякого певца и певицу, которых слышала. Берлога бранит жену, — Надежда Филаретовна хохочет:

— Отстань! Это мне пригодится, когда я буду этуалью в кафешантане.

Заговорят при Надежлее Филаретовне о чудесной, ясной красоте ее, — она взглянет в зеркало и лениво отпустит милое словцо:

---

* Бог из машины (*лат.*).

— Ребята хвалили!

Повторит кто-нибудь умную, пикантную остроту ее, похвалит красивую мысль, — она кривляется:

— Мне ума во сто лет не пропить!

Однажды Берлога встретил в ресторане старого почтенного человека, барина-шестидесятника, которого он очень любил и уважал, потому что тот некогда высвободил сапожного подмастерья, мальчишку Андрюшку, из кабалы у довольно свирепого хозяина-немца и поместил в гимназию на какую-то, от него зависевшую, стипендию. С того Берлога и жить начал. Последние годы благодетель Берлоги проживал далеко от Москвы, где-то на юге, с воспитанником своим не видался, не переписывался. Очень оба обрадовались свидеться — и старик, и молодой. И пошли между ними расспросы.

— Женат? Раненько! Давно? На ком?

Ответил Берлога. Старик большие глаза сделал.

— Надежда Снафиди? Это уж не одесская ли?

— Да, Василий Фомич, жена моя долго жила в Одессе!..

Очень опечалился благодетель.

— Что ж это, Андрюша? За что ты погубил себя? Неужели лучше-то никого взять не сумел?

Нахмурился молодой муж.

— Оставьте, Василий Фомич. Я очень хорошо знаю, что прошлое жены моей небезупречно. Но я женился, необманутый. Она мне все рассказала, и в прошлом мы — квиты. А в настоящем — смею вас уверить: дай Бог всякому такую хорошую и чистую жену, как моя Нана, а я лучшей не желаю.

Василий Фомич выслушал не без удивления, долго молчал и потом возразил:

— Любезный Андрюша, раз ты своею супругою доволен, то — тебе с нею жить, и толковать больше тут не о чем. Потому что я, можешь мне поверить, не такой человек, чтобы нашептывать мужу непристойные анекдоты о жене. Но,

если она тебе все о себе рассказала, ты — замечательный человек, Андрюша, позволь удивиться твоему мужеству, потому что ты — герой.

— Василий Фомич, право же, есть на свете много женщин с прошлым гораздо хуже, чем у моей Наны, — однако из них в хороших руках выходили превосходные жены и матери.

— Любезный мой, я вижу геройство твое совсем не в том, что ты помирился с прошлым Наденьки Снафиди, но — потому, что ты не испугался ее будущего.

— Будущее, Василий Фомич, от нас зависит: мы сами кузнецы своего счастья.

— Ну, извини, не совсем. Знай, что куешь. Потому что, когда женщина принадлежит к семье наследственных алкоголиков, в которой за три поколения нельзя насчитать ни одного вполне нормального человека, — это, брат, тоже не лишнее принять в расчет. Потому что вы подробно объяснились, тебя не оскорбит, если я назову тебе имя некоего капитана Твердислава?

— Нисколько, — гордо возразил Берлога, с вызовом поднимая вихрастую свою голову. — Я знаю. Это — человек, с которым Нана когда-то ушла из родительского дома и долго жила в гражданском браке. Но, кажется, мы условились обойтись без анекдотов о прошлом моей жены?

— Их и не будет. Но, видишь ли, Твердислав этот был мой приятель, потому что — не думай о нем худо, — очень хороший человек...

— Именно так и Нана про него говорила.

— Это делает ей честь, потому что покойный любил ее. Потому что, — Боже мой, сколько он с нею возился и что муки принял! Все состояньишко ухлопал на лекаришек и шарлатанов разных, потому что брались ее вылечить.

— Вылечить? От чего?

— От запоя, друг милый.

Перед глазами Берлоги как будто опустился мутный, зеленый занавес. Горячая волна хлынула в голову и вихрем закрутила мысли. Он вспомнил недавний кутежный взрыв, которым разрешилось горе жены его по умершем ребенке.

Принудил себя улыбнуться.

— Нана пила запоем? Что это вы, Василий Фомич?

— Несомненно, мой друг. Потому что я сам неоднократно бывал свидетелем буйства ее.

— Да — сколько же лет ей было тогда?

— Восемнадцать или девятнадцать, не больше. Потому что впервые она запила по пятнадцатому...

Мурашки бежали по телу Берлоги.

— Я ничего подобного не замечал за женою моею, — сказал он с усилием, — за исключением одного, пожалуй, случая... Но тогда было так естественно... я сам рад был бы в вине забыться...

Василий Фомич выслушал рассказ, вздохнул и ничего не сказал.

— Послушайте, — мрачно обратился к нему Берлога, — вы говорите: капитан этот лечил Нану... может быть, вылечил?

— Не знаю, милый. Вряд ли. Потому что и разошлись-то они все из-за того же... очень уж — напиваясь — безобразничала.

— Запой неизлечим, Василий Фомич?

— Не знаю. Потому что не слыхал я, голубчик, чтобы излечивались.

— Неужели же и теперь был запойный припадок?

— Судя по твоему описанию, похоже, голубчик. Очень я тебя жалею. Потому что большую обузу ты на себя взял.

И, опять долго помолчав, прибавил:

— Уж говорить так говорить до конца. Знаю, что выходит — вроде как бы добивать тебя. Однако лучше предупредить. Потому что, когда она в таком состоянии, ты дол-

жен за нею следить паче зеницы ока. Потому что ее главное безобразие в пьяном виде, — сбежать из дома, чтобы мужчинам на шею вешаться. Твердиславу жестоко хлопотно выходило с нею на этот счет. Из больших скандалов выручал ее. Потому что, если, бывало, она в подобном разе знакомых любовников не найдет, то способна предложиться первому встречному на улице. Сто квартир они переменили из-за этой ее блажи... Потому что нельзя же — потом стыдно от соседей, от прислуги...

Берлогу — как кипятком облило. Он вспомнил, как Нана, пьяная, приставала к нему с назойливыми супружескими ласками, как она ругалась и проклинала, когда он отстранял ее, как просилась и рвалась уйти из дома — неизвестно куда, в пространство города, точно ее демон какой гипнозом к себе тянул. Вспомнил, что — когда припадок окончился — Нана с какою-то болезненною нетерпеливостью заторопила мужа бросить меблированные комнаты, в которых они квартировали, и перебраться в другие. Вспомнил лукавое лицо и прилично улыбающиеся глаза одного из номерных соседей, отставного армейского офицера и великого бабника. Вспомнил, что однажды, когда он шел по коридору меблированных комнат мимо сидевшей за самоваром прислуги, то номерная девушка что-то шепнула другим, и вся компания фыркнула в спину проходящему жильцу, аж тому странно и обидно стало. Вспомнил непонятную, почти презрительную, чуть не враждебную угрюмость, с какою — во время и после припадка Наны — встречал и провожал Берлогу на подъезде, прежде всегда любезный и ласковый швейцар Прохор, очень хороший, почтенный человек, за справедливость уважаемый всем многоэтажным, четырехфасадным домом.

Берлога вышел из ресторана сам не свой. Шел домой и думал: «Итак, я связан навсегда с запойною пьяницею и нимфоманкою?!»

Дома Надежда Филаретовна встретила его, веселая, цветущая, с хорошими, честными, красивыми своими голубыми глазами. Она только что вернулась с очень удачной репетиции благотворительного концерта, в котором должна была выступить впервые в Москве, — да и вообще на эстраде, — как камерная солистка. У Берлоги достало воли скрыть от жены бурю, прошедшую в душе его. Он видел, что Надежда Филаретовна, окрыленная успехом на репетиции, находится в очень редком для нее настроении красивой гордости собою, что в ней шевелится и счастливо озирается еще стыдливая, робкая, но как будто оживающая, вера в себя. Это было трогательно и прекрасно. Сердце Берлоги надорвалось жалостью. Он не нашел в себе ни силы, ни желания, ни смелости разрушить это настроение — пугливую, молящую попытку еще раз расцвети — недоцвета, знающего про себя, что он обречен на бесплодное увядание и гибель. Жена его — вся — выяснилась ему теперь. Он понял внутреннюю трагедию горького недоверия, которым она, как ядом каким-то, обливала до сих пор все радостные красивые стороны натуры своей, все удачи своего труда, светлые надежды, счастливые минуты. Он разобрал в ней существо, до ужаса захваченное и подавленное сознательною тайною, ее грызущею. Он догадался наконец, что отравленная душа этой резвой, веселой, остроумной женщины в действительности приемлет все счастливое, удачное, положительное — лишь как нечаянную и незаслуженную, скоропреходящую случайность; а настоящее-то, постоянное и неизменное для нее — одно: сознание своей обреченности, черное, как полночь, бездонное, как провал в тайну ада.

На концерте Надежда Филаретовна провалилась. Начала она свою арию превосходно и вдруг — спуталась, запела фигуру второго куплета вместо первого, — аккомпаниатор едва успел подхватить, — сконфузилась, заторопилась, потеряла дыхание и постановку звука, стала форсировать и кон-

чила, не выдержав ферматы, каким-то неверным, пустым, будто детским, криком... Ее едва вызвали... Берлога был потрясен, огорчен и — рассержен, потому что художнически возмущен: по личному артистическому самочувствию ему казалось, что подобное несчастие может случиться только с певцом, небрежным к искусству и публике, не доучившим свою партию до совершенства, — чего собственная его артистическая добросовестность, инстинктивно неразлучная с каждым истинно-крупным и вдохновенным талантом, совершенно не терпела и не допускала.

— Что, брат? Жаль... Неважно... — сказал ему бывший в концерте Василий Фомич.

Сама Надежда Филаретовна приняла неуспех свой с наружным спокойством — даже как бы с фатальным злорадством каким-то. Стояла в артистической комнате, очень бледная, красивая, сияла огромными голубыми глазами и острила сама над собою усерднее, чем когда-либо, с мрачною веселостью того юмора, что немцы прозвали висельничьим.

— Что с тобою сделалось? — с негодованием и горем допрашивал муж, сопровождая ее домой в актерской карете.

— Видно, не гожусь.

— Ты отлично знала арию, на репетициях прекрасно пела...

— Не гожусь.

— Публики испугалась?

— Нисколько... Так... Не гожусь.

Дома, уже ложась спать, перед постелью, она внезапно спросила мужа:

— Это — какой старик стоял рядом с тобою, покуда я пела?

— Горталов... Василий Фомич...

— Одессит?

— Да. Я, вероятно, рассказывал тебе о нем. Очень близкий мне человек.

— Я помню его: он, кажется, бывал у покойного Твердислава.

— Да, — сухо возразил Берлога, сдержанный, стараясь быть спокойным. — Он мне говорил, что хорошо тебя знает.

— Говорил?

— Да, говорил...

Нана не произнесла больше ни слова. Берлога понял, отчего провалилась в концерте жена его.

Назавтра Надежда Филаретовна запила.

На этот раз припадок был откровенный — долгий, буйный, мучительный. Памятуя предостережения Василия Фомича, Берлога оберегал жену, как нянька младенца. Болезнь прошла, но — когда супруги после того посмотрели друг другу в лицо трезвыми, здоровыми глазами, они оба поняли, что — кончено: внешности еще сохраняются между ними, но все внутренние связи лопнули и растаяли. Влюбленность — не устояла пред физическим отвращением, в котором продержала Берлогу почти три недели пьяная жена, похотливая, как обезьяна, назойливая, как уличная девка, грязная всеми физиологическими последствиями пьянства, как двуногий зверь. Дружба — испуганно попятилась пред обязующим, суровым чувством виноватости и стыда, которыми наполнили истерзанное существо Наны угрюмые дни вытрезвления. Молодая порядочность, мягкая деликатность, с какою относился к ней муж, ее давила, удручала.

Берлога дебютировал на Императорской сцене. Успех был огромный, — артист сразу определился. Светило взошло.

— Андрей Викторович, — предложила Надежда Филаретовна на той же неделе, — давай разведемся.

— Что ты, Нана? Бог с тобою.

— Не пара я тебе. Разные наши дороги. Ты выше звезд полетишь. Тебе надо быть свободным. Ну а я, как ни плоха, все-таки имею в себе настолько гордости, чтобы не липнуть к крыльям твоим своею земною грязью. Нельзя мне оста-

ваться твоею женою. Я тебя свинцовым грузом в болото тянуть буду.

— Милая Нана, право, ты преувеличиваешь... О странном твоем предложении... мне даже говорить совестно... Зачем?

— Я больная, Андрюша. Нехорошо больная. Ты — творец, художник. Артисту лучше даже самому этим болеть, чем иметь на руках жену такую... Я тебе — погибель буду, медленный яд.

— Глупости, Нана! Больных лечат.

Надежда Филаретовна горько засмеялась:

— Меня с восемнадцати лет лечат... ха-ха-ха!.. Дудки! Верила, была дура, — больше не обманут. Только деньгам перевод да совести морока. Насквозь отравлена. Какое между нами может быть супружество? Что и было, все потеряно. Разве мы любим друг друга? В порядочность играем. У тебя — долг, у меня — стыд. Детей больше я не желаю и не позволю себе иметь. Родить живые трупы, будто какая-то присяжная поставщица на гробовую лавку, — это бесчестно и отвратительно.

— Нана! Если так, зачем же ты вышла за меня?

— Виновата пред тобою... Обманулась... Полтора года припадков не было. Понадеялась на себя, думала, что совсем прошло... Прости! Моя ошибка — мне и поправлять. Бери развод, принимаю вину на себя...

Берлога отказался наотрез, взволновался, рассердился, накричал. В нем расходилась цыганская кровь его, все его хохлацкое упрямство возмутилось самолюбиво и гордо пред мыслью, что он, будто трус какой, побежит от испытания, брошенного ему судьбою, даже и не поборовшись. Надежда Филаретовна, выслушав его возражения, долго думала.

— Хорошо, — согласилась она наконец. — Пожалуй, ты прав отчасти. Лучше мне не освобождать тебя. Ты молодой, пылкий. Мне твой талант дорог. Береги его от баб, Андрей

Викторович! Я, по крайней мере, из тебя батрака и невольника своего не сделаю.

— Я, Нана, так просто тебя не уступлю, — вот еще увидишь: выхожу тебя и выправлю!

— Нет, мой милый. Таланты в няньки не годятся. Таланту самому нянька нужна.

— Только не мне!

— Да, ты сильный, определенный, самоуверенный. На тебя завидно смотреть. Громадные пути перед тобою открыты. Тем более некогда твоему таланту с пьяною бабою нянчиться. Да и стыдно талант на то тратить. Живи сам по себе, Андрюша милый, — в свою силу, в свою мечту, в свою публику, — а меня оставь... одна побреду!

— Все образуется, Нана! — ты увидишь, ты увидишь, что образуется.

Она твердила свое:

— Если тебе угодно сохранить наш брак формально, это — твое дело. Меня форма, конечно, не стесняет. Но помни: от обязанностей ко мне я раз навсегда тебя освобождаю. От всех. Долга твоего не хочу. Возьми себе свой долг...

— Эх, Нана! Тебе тридцати лет нету, а ты себя уже заживо отпеваешь. Подберись! Поживем, повоюем еще, глупая ты женщина! Посмотри в зеркало: ведь в тебе жизни и силищи конца краю нет. Такого света в глазах, как у тебя, ни у кого на свете не найти. Здоровая, складная, красивая...

Она усмехалась злобно, жутко.

— Да, если принаряжусь, то под вечер на Петровке еще могу заработать пятишницу.

— Нана! Что за цинизм отвратительный!

— А если я знаю, что больше никуда не гожусь?

Берлога подписал контракт в хороший летний театр и заставил антрепренера пригласить вместе и Надежду Филаретовну. Сразу разбогатели. Надежда Филаретовна не проваливала партий, была вполне прилична на сцене, как актриса. Красивый

голос, умная фраза, прекрасная наружность давали ей право на карьеру и без протекции как хорошей рабочей полезности. Но Берлога в театре этом имел даже уже не успех, — его окружила какая-то бешеная влюбленность публики. Хлынул на счастливца и совсем с головою потопил его страстный океан массовых восторгов, безумие которых растет, как эпидемия, божественно посланная, чтобы обратить избранника своего из человека в бога, а театр — в идольское капище. Обвинять Берлогу, что он небрежен к жене и забывает о ней, и теперь было бы несправедливо. Работали они вместе, видимая дружба их казалась теплою и тесною. Но — в искусстве — скромная тусклая звездочка контральто Лагобер (Надежда Филаретовна ни за что не хотела петь под фамилией мужа и взяла себе псевдонимом ее анаграмму) совершенно растаяла и погасла в могучем заревом сиянии восходящего солнца Берлоги. А в жизни потекла между супругами отчуждающая река общественности — ревнивая воля искусства и любовь поклоннической толпы, с каждым днем все более широкая, властная, страстно униженная и выжидательно требовательная, с каждым днем все далее отодвигающая берег жены от берега мужа, с каждым днем все выразительнее вопиющая к своему новому рабу-богу:

— Прежде всего ты мой... И потом — мой... И опять — тоже мой... Пусть все в жизни будет для тебя игрушка, потому что сам ты игрушка — моя!

Все житейские привязанности и принадлежности великого артиста — иллюзии. Действительна и победна лишь одна его принадлежность: публике, которой он кумир и невольник, учитель и балованное дитя!

Конечно, чуждость, невольно накоплявшаяся между супругами, была замечена чуткою театральною средою. Казалось бы, что жены людей успеха, — видимые счастливицы, которым бешено завидуют сотни дам, поклоняющихся мужьям их, — настолько удачно превозвышены супружескою

любовью своею, так гордо обеспечены принадлежностью своею герою толпы, что — уж из недр толпы-то этой никакому, хотя бы самому смелому Дон Жуану или Ловеласу нельзя — безумно даже — думать об ухаживании за супругою полубога. Но за кулисами действует другая, более смелая и опытная психология.

— Душа моя, — любил повторять старый циник Захар Кереметев, — когда человек становится любовником всех женщин, у него истощаются ресурсы про домашний обиход, и его собственной жене очень скучно. А когда жене скучно, то кому-нибудь из знакомых мужа будет весело. Когда мужья бесятся от ревности к... — и он сыпал именами, — мне, душа моя, хочется успокоить это бедное дурачье, что они отлично отомщены... Этому великому Дон Жуану самому систематически ставит рога его аккомпаниатор. Вон у того Фоблаза сын — живой портрет нашего контрабасиста. А сей Ловелас, едва успел открыть курсы пения, как его супруга поспешила сбежать с учеником-баритоном.

И красивую Нану Лагобер тоже окружило кольцо мужского негодяйства — праздных аппетитов, устремленных к женскому телу, предполагаемому одиноким, заброшенным, скучающим, ревнующим... Но и обрывала же этих господ Надежда Филаретовна!

— Что вы мне сплетничаете подлости о муже? Во-первых, врете. Во-вторых, неинтересно. В-третьих, какое вам дело? На ревность думаете взять? Я, миленький, не консерваторка только что со скамьи.

Так и прослужила сезон недотрогою.

На зиму Берлога взял дорогой ангажемент в большой южный город с первоклассным театром, в антрепризу с громадным артистическим авторитетом. Надежда Филаретовна, — весь последний летний месяц мрачная, как туча, — наотрез отказалась не только служить вместе с мужем, но даже следовать за ним.

— Не желаю быть брелоком на цепи твоих успехов.

— Нана, это — дикий каприз!

— Ничуть. Я не пара тебе ни в жизни, ни на сцене. Я желаю работать сама по себе. У меня тоже есть контракт.

Она назвала. Берлога в изумление и гнев пришел.

— Да ведь это же — клубная сцена! Опера на пятачке.

— Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.

— Нана! Глупо!

— Оставь! По Сеньке и шапка.

— Да ведь вы прогорите через две недели!

— Тогда приеду к тебе на хлеба.

Уперлась и настояла на своем. Берлога уехал один. Надежда Филаретовна проводила его на вокзал. Была спокойная, мягкая, нежная, — словно не жена пред разлукою, но старшая сестра, напутствующая брата к хорошему делу, полному ожиданий пользы и посулов славы. Провожало Берлогу много народа. Но когда он, откланявшись, отулыбавшись, откачнулся в бегущем поезде от окна и почувствовал в вагоне, что вот он — один, — то — единственным длящимся впечатлением от пестрой толпы, лиц и одежды, улыбок и киваний, белых платков в воздухе, — вставали и долго сопровождали его два огромные голубые глаза изпод темной какой-то, черной почти, широко оперенной шляпы... И казалось Берлоге почему-то, что — вот сейчас огромные, голубые, неплачущие глаза Наны светились для него в последний раз и простились с ним навсегда. И он не знал — страшно ли и жалко ему от того или — как школьнику, выпущенному на свободу, — хотелось тому поверить.

А Надежда Филаретовна, проводив глазами поезд, подозвала к себе того маленького антрепренерика, к которому она подписала контракт на зиму.

— Моисей Артурович, я должна вас предупредить. Ищите себе другое контральто. На меня не рассчитывайте.

Антрепренер не удивился.

— Конечно, Надежда Филаретовна, мне очень грустно потерять вас из персонала, но, откровенно говоря, я был заранее в том уверен. Конечно, теперь, когда Андрей Викторович делают такую блестящую карьеру, мое маленькое дело уже не для вас. Конечно, сохрани меня Бог, чтобы я вас удерживал. Большому кораблю, конечно, большое и плавание.

— Благодарю вас. Неустойку-то все-таки поди взыщете?

— Неустойку, конечно, взыщу, потому что сейчас, перед самым сезоном, новое контральто искать — это, сами понимаете, конечно, денег стоит. Конечно, с большою надбавкою против бюджета придется взять.

Надежда Филаретовна подала ему пачку сторублевок и контракт свой.

— Пересчитайте, ровно тысяча.

— Очень хорошо-с... Конечно, очень благодарю вас... Однако ведь оно не к спеху... Я, конечно, мог бы подождать... Прикажете расписку?

Расквитавшись с антрепренером, Надежда Филаретовна ушла с вокзала. Ей пришлось миновать группы провожавших мужа ее, почти сплошь знакомые: вчерашние друзья, приятели, подруги, близкие и нужные люди. Что она ни с кем не простилась и старалась скрыться спешно и незаметно, это в жене, расстроенной первою разлукою с любимым мужем, никого бы не удивило. Но — когда ей кое-кто все-таки поклонился, Надежда Филаретовна престранно и пренебрежливо не отвечала, будто и не видела, хотя глядела прямо в упор всею глубокою лазурью удивительных очей своих.

— Найми извозчика к Никитским воротам, — приказала она артельщику на подъезде. — Чтобы был лихач.

И помчалась на мягких рессорах и тихих резинах по Москве, только что вымытой, будто лакированной коротким ливнем, сквозь солнце, из пролетной, буйной тучки. И были голубые глаза ее — спокойные, чуть движные, будто камене-

ющие: глаза человека, отбывшего муку жестокой борьбы и вышедшего из нее к решению большому и дерзкому, — последнему.

Дождевые ручьи вдоль тротуаров, расцвеченные коричневым блеском, весело и мутно стремились из нахолмных покатых переулков к перекресткам с низменной улицей. Стоки под чугунными решетками, не успевая пропускать наплыва, кипели и клокотали грязною пеною. У одного такого водопадика Надежда Филаретовна приостановила своего лихача. Сняла с руки свое обручальное кольцо и — бросила в сток.

— Трогай.

А небо было — нежно-голубое, детски-невинное, чистенькое после грозового купанья, — в разорванных клочьях дымчатой, уже прозрачной тучки, в золоте солнца, рассмеявшегося полуденною радостью по омытым дробными каплями окнам, по мокрым крышам.

Никитские ворота.

— Который дом, сударыня?

— В «Малый Эрмитаж».

Надежда Филаретовна бросила лихачу трехрублевку — и улыбнулась: уплатив неустойку, она истратила все деньги, оставленные мужем на прожитье. Теперь у нее в портмоне лежало четыре рубля семьдесят пять копеек — последние.

Одинокая дама, прилично одетая, интеллигентного образа и подобия в ресторане — для Москвы явление вообще не очень-то обычное, а тем более в «Малом Эрмитаже» — загульном трактире для дешевой вечерней публики с Тверского бульвара. Днем здесь почти никого не бывает, кроме студентов, закусывающих на перепутье с Бронных в университет, да торговцев с соседней Никитской, удирающих на полчасика из магазинов своих, чтобы распить пару пива и сразиться на бильярде. Когда Надежда Филаретовна проходила почти пустым еще трактирным залом, опытные глаза

хозяина из-за буфетного прилавка устремились на ее эффектную, невозмутимую красоту, скованную в рамке дорогого и строгого туалета, с изумлением недоверчивым и недовольным:

— Не под ту вывеску попала сударыня — по ошибке забрела.

Но, когда он услышал, что Надежда Филаретовна заказала тоже довольно смущенно и лениво подошедшему к ней половому, — старый буфетный скептик спокойно отвернулся.

— Пьющая. Тайком пьет — по таким местам, чтобы своей компании отнюдь не встретить.

Этот человек видал на веку своем всякие виды, знавал всяких людей, и удивить его в подлунном мире вряд ли что могло еще — по крайней мере надолго — ни горем, ни радостью.

С какими-то грибками, поданными на закуску, Надежда Филаретовна выпила три рюмки водки. В завтраке она, поковыряв вилкою плохой бифштекс, не съела ни единого кусочка, зато очищенной выглотала еще рюмок пять... А глаза у нее все оставались спокойные, тихие, ясные — голубые глаза неба, чисто вымытого грозою, бесстрастного в свободе от рассеянных туч.

Столика за три от Надежды Филаретовны ел холодную осетрину и пил пиво молодой человек лет тридцати, в очень пестром осеннем костюме под англичанина — по сезону, при очень ярком галстухе — по личному вкусу. Еще как только Надежда Филаретовна вошла в ресторан, господин взволновался заметным изумлением и любопытством. Чисто бритое, розовое лицо его под светлою щеткою коротко стриженных и низко над бровями растущих волос даже взрумянилось в улыбке радостной неожиданности. Наблюдая, как молодая женщина принялась наливать себя водкою, пестрый сосед сперва, по-видимому, смутился и не весьма верил глазам своим, но затем — нечто обмыслив — заулыбался еще веселее и с хитрым одобрением, как человек, узревший под-

ходящую компанию, к которой он очень не прочь бы примазаться, Надежда Филаретовна почувствовала пристальный взгляд пестрого соседа и обратила глаза в его сторону. Молодой человек немедленно приподнялся с своего диванчика и, опершись концами пальцев о стол, заговорил с учтивейшим наклонением круглой, будто шар обточенный, головы, с учтивейшим понижением голоса, учтивейшим московским говором-речитативом:

— Сударыня, прошу извинить мою нескромную назойливость, но если сходство меня не обманывет, я имею счастие видеть госпожу Лагобер?

Голос был приятный, молодой купеческий басок, с тою мычащею хрипцою, по которой коренного уроженца Замоскворечья и питомца Городских рядов можно узнать среди тысячи пришлых москвичей, как бы искусно они ни акали и ни пели словами врастяжку. Надежда Филаретовна рассматривала господина с хладнокровием, будто выбирая товар в магазине. А господин в своем чуть согнутом поклоне, с руками на столе стоял тоже, будто собирался кусок кашемира дорогого размахнуть по прилавку перед хорошею покупательницею.

— Вы меня знаете?

Молодой человек принял вопрос за приглашение подойти, и теперь изгибался корпусом и опирался перстами уже у стола Надежды Филаретовны.

— Помилуйте. Как же не знать-с? Постоянный ваш слушатель и поклонник. И в Ване, и в Зибеле. Великое удовольствие изволите доставлять...

Усы у него были яркие — широко выпуклые, рыжие; рот — яркий, с веселою белизною здоровенных, еще крестьянских, не успевших выродиться в купеческом поколении, зубов. Круглоголовый, круглоглазый, рослый, уже тучный и плотный, он похож был на какого-то двуногого бычка, необыкновенно веселого и самодовольного, что вот как его

ни поверни: на племя ли, на мясо ли, а он — молодая скотинка хоть куда: первый сорт и препородистая.

— Да, я — Лагобер... А вы?

— Потомственный почетный гражданин Амплий Кузьмин, сын Шерстяков... Ежели отсюдова через бульвар повернуть налево, то на углу Мерзляковского переулка будет наш галантерейный магазин... в окружности здешней довольно даже известен. Разрешите присесть?..

Дней десять спустя в листках московской уличной прессы появилось красивое сообщение:

Наши артистические нравы. Вчера, в 11 час. ночи, в известном трактире-вертепе подмосковного села Всесвятского, имела место чудовищная драка, учиненная небезызвестным в Белокаменной молодым коммерсантом, потомственным почетным гражданином А.К.Ш. и легковым извозчиком, бляха № 666, «лихачом» Артемоном Панкратовым. Оба получили довольно серьезные поранения битым стеклом и обломками мебели. Драка возникла в результате семидневного непробудного пьянства и на почве взаимной ревности обоих мужчин к некой г-же Л., «подруге» г. Ш. в его бесшабашном загуле. Со стыдом приходится добавить, что упомянутая г-жа Л. очень знакома публике одной из наших летних сцен как довольно талантливая исполнительница нескольких оперных партий.

Берлога получил телеграмму, письмо, вырезку газетную... Света не взвидел. Бросил успех, сезон, контракт. Примчался в Москву и — Наны не нашел! Как в воду канула... Единственным памятником ее безумного взрыва достался Берлоге перепуганный, полуопившийся, тяжко избитый, чуть не полоумный, почти с суеверным ужасом, но все-таки влюбленно о Нане вспоминающий, горемычный купчик Шерстяков, который с нею в одну неделю пропил тринадцать тысяч рублей и от которого она сбежала, выпрыгнув из коляски в темную, осеннюю, беззвездную ночь, среди трущобного Ходынского поля...

— Я умолял ее, — плакался злополучный бычок, — я говорил: «Надина! Вы для меня как божество, и все мое состояние — ваше!.. И если ваш супруг согласится дать вам развод, то я хоть сейчас готов увенчать возникшие наши отношения законным браком». А она мне на это — без всякого неглиже: «Поди ты к черту! На что мне тебя? Телят, что ли, родить?..» Ну тут мы, обыкновенно, подрались...

Лишь несколько недель спустя московская полиция уведомила Берлогу, что Надежда Филаретовна нашлась в одном из захолустных приволжских городков. Она жила по чужому паспорту и в кабале у какого-то странствующего шулера, который торговал ею по пароходам осенней навигации. Вырвали несчастную из когтей негодяя. Супруги увиделись.

— Пожалуйста, — было первым словом Наны, — не будем объясняться о том, что было. Все добродетельные слова я сама знаю, предположи, что они все сказаны, и баста: не надо их повторять. Зачем ты нашел меня? Оставь. Не стоит. Я знаю свой путь.

— Нана, ты психически больная! Я не могу больше рисковать ни твоею судьбою, ни своим именем...

— Моя судьба — моя собственность, никому не позволю ею распоряжаться. А твое имя — ты сам компрометировал, разыскивая меня, — я жила по чужому паспорту, никто не подозревал, что я — твоя жена.

— Нана! да любили же мы когда-то друг друга?

Она улыбалась ясными, похожими на вымытое небо глазами.

— Ну, что там... Лучше расскажи, какие партии ты будешь петь в Ла Скала? Ведь я читала в газетах: ты уже в Ла Скала приглашен?.. Молодчина, Андрюша! Знай наших! Вот так-то! Иди вверх! иди!

Берлоге все-таки удалось убедить жену, чтобы выдержала курс лечения в знаменитой петербургской лечебнице для

нервнобольных. Надежда Филаретовна пробыла в ней одиннадцать дней, а на двенадцатый удавилась на корсетном шнурке, привязав его к дверной ручке. Случайно зашедшая сиделка не дала ей умереть. Директор заведения отказался держать Надежду Филаретовну.

— Не понимаю, — говорила она мужу, — почему ты думаешь, будто человеку находиться в сумасшедшем доме лучше, чем в кафешантане или кабаке?

— Нана! Ты совершенно исказила себя. Где твой стыд?

— Милый Андрюша! Я возвратила тебе твой долг, — значит, и стыд мой тебя не касается...

— Нана! Что же мне с тобой делать? Куда мне девать тебя?

Каменное лицо ее наконец дрогнуло, выразив жестокое страдание, голубые глаза помутились, и в белках протянулись красные жилки.

— Лучше всего, выведи в поле и убей, как собаку!..

Лечили Нану еще в двух невропатологических институтах — специальном, противоалкоголическом, в Финляндии, и заграничном, германском, после которого, говорят, уже идти некуда: наука сказала свое последнее слово, бросает карты и говорит «пас». В финляндском санатории Надежда Филаретовна во время прогулки бросилась со скалы в море, и жизнь ей спас лишь дико счастливый случай, что упала она не на дно, а в рыболовную сеть, откуда рыбаки сейчас же и подхватили ее в лодку. А репутацию заграничной лечебницы она жестоко осрамила, ухитрившись, вопреки строжайшему, всемирными рекламами прославленному присмотру, пьянствовать не только сама, но еще и споить с круга свою надзирательницу... И опять в газеты попала.

— Я больше не пойду в эти тюрьмы твои, — сказала она Берлоге при свидании. — Оставь меня жить, как я хочу.

— Хочешь?

— Ну, — как могу. Стены меня давят. Это — гроба.

— Нана, да не в праве же я допускать, чтобы ты по кабакам шаталась с трактирными девками вровень.

Голубые глаза мутнели.

— Если ты даешь мне на выбор — сидеть в сумасшедшем доме или быть трактирною девкою, то я выбираю — девку...

— Я тебе не о сумасшедшем доме говорю, но необходимо лечение.

Она улыбалась сурово и язвительно.

— Да, в настоящий сумасшедший дом меня никак нельзя посадить. Я умная.

— Никто и не собирается.

— Да. Никак нельзя. Сто комиссий свидетельствовать меня созови, все — невроз найдут, а здравого ума и твердой памяти — шалишь! — отрицать не посмеют...

Карьера, все более успешная и блестящая, мотала Берлогу по всей Европе. Сегодня он пел в Петербурге, через неделю в Брюсселе, там — в Одессе, там — в Лондоне или Мадриде. Скитаясь, он оставлял жену под верными опеками, купленными за большие деньги, на дружеских попечениях, обусловленных истинным и испытанным личным расположением искренно привязанных к великому артисту, уважающих людей. И тем не менее все эти оберегания разрешались скандалами, после которых из жизни Берлоги вычеркивалось несколько прежде хороших отношений, и — то один, то другой приятель терял способность смотреть ему при встрече прямо в глаза. Чем старше становилась Нана, тем чаще повторялись ее загулы, тем грубее были припадки алкоголизма, тем наглее пьяные поиски и выборы случайных любовников. Кого только не было! С кем только ее не ловили! Какие-то гимназисты, певчие, околоточный, псаломщик, актеры на выходах, оценщик из ломбарда... Возникали шантажные истории, ревнивые скандалы, бывали жестокие драки и побои, не раз всплывала пугалом угроза желтого билета.

Ни любви, ни дружбы Берлога, разумеется, давно уже не мог питать к безумному существу, несчастно связанному с ним церковью и законом. Он уже несколько лет жил своею особою мужскою жизнью, были у него связи с женщинами короткие и долгие, были наложницы, любовницы, невенчанные жены... Не только по разуму, но и по совести, он уже считал себя правым перед Наною, для которой, мол, он по долгу делал, делает и готов сделать все, но в ответ своим стараниям не получает ничего. Однако где-то в уголке души оставалось у него от Наны большое пустое место. Оно ныло незабывчиво и болело постоянно, напоминая о себе каждый день, может быть, каждый час. Призрак несчастной жены гонялся за великим артистом во всех его странствиях и будто требовал какой-то новой помощи, будто упрекал, что еще не все испробовано, чтобы Надежду Филаретовну поддержать и спасти.

В 189* году, на седьмой год брака Берлоги с Надеждою Филаретовною, русский артистический мир облетела сенсационная весть, будто Берлога опять сошелся с женою, — живут вместе и очень дружно, она остепенилась и сопровождает мужа во всех его гастролях. Берлога решился на это сближение по совету одного знаменитого психиатра.

— Знаете ли, общение с вами — это все-таки единственное сдерживающее начало, с которым ваша жена как будто немножко считается. Если бы вы могли всегда держать ее вблизи себя, то — быть может...

Берлога решился взять на себя эту — он не скрывал от себя, что тяжелую, — жертву, как епитимию, как искупительный подвиг. Когда он предложил Нане, она печально улыбнулась:

— Еще не надоело спасать?

— Нана! Есть обязанности, которых человек не вправе оставлять на своей совести.

Она смотрела на него своими ясными голубыми глазами с глубоким выражением благодарной безнадежности.

— Право, Андрюша, иногда я готова думать, что ты в самом деле любил меня и еще любишь немножко... Но все-таки говорю тебе: лучше выведи меня в поле и убей... Вернее...

Общество, в которое возвратилась Надежда Филаретовна, ждало встретить ее чудовищем. Увидело прекрасно сохранившуюся, почти молодую еще женщину. Только прелестные краски нежного лица несколько помутнели и огрубели, будто потухли, да преждевременно брюзглая полнота тела выдавала, что Надежде Филаретовне уже далеко за тридцать и что не очень-то берегла она свое железное здоровье. Могучий организм, почти чудотворный в постоянном восстановлении безобразно растрачиваемых сил, пророчил Надежде Филаретовне веку лет мало-мало до восьмидесяти. А чудные голубые глаза уверяли, что — покуда они освещают ее изящный профиль — эта женщина все будет молода и — разве ослепнет, тогда лишь состарится. Вела себя она в обществе строго, чинно, с тактом и апломбом, настоящею женою знаменитости. К мужу держалась ласковым товарищем, в любовницы не навязывалась, ревностью не преследовала... Послушно выполняла режим, предписанный ей врачами, и довольно аккуратно принимала стрихнин, хотя в мрачные минуты острила, будто — «в недостаточном количестве: сразу бы граммов двадцать пять, — вот это поможет».

«Бродячая идиллия», как прозвала Надежда Филаретовна свой опыт «супружества в первый раз по возобновлении», продолжалась месяца два, но оборвалась скандалом, вящим всех прежних. Великим постом Берлога концертировал в провинции. В Киеве Надежда Филаретовна стала задумываться, в Харькове захандрила, в Ростов-на-Дону приехала мрачнее ночи.

Берлога испугался было, что приближается припадок, и усилил наблюдение за женою. Но дело обошлось: протосковав несколько дней, Надежда Филаретовна переломила себя и успокоилась. Берлога торжествовал: это был первый припадок, который ей удалось побороть.

— Ты видишь: лечение действует. Ты уже можешь владеть собою, когда хочешь. Стрихнин отлично помогает тебе.

Надежда Филаретовна на такие речи ничего не отвечала.

Во Владикавказе она схватила жестокую ангину. Берлогу ждали в Тифлисе, Баку, Батуме, а больную — по Военно-Грузинской дороге, да еще с возможными мартовскими обвалами — везти было неудобно. Решили, что Берлога поедет дальше один, а Надежда Филаретовна, как поправится, возвратится в Ростов и там будет ждать мужа из Батума.

Она оставалась в отличном настроении, компаньонка при ней была превосходная, — умная и дельная старая дева из хороших, «новых» институток. Берлога уехал.

В Батуме среди значительно залежавшейся корреспонденции артиста нашло, наконец, отчаянное письмо. Компаньонка уведомляла, что по приезде в Ростов Надежда Филаретовна ее немедленно уволила. Компаньонка имела мужество заявить, что не уйдет, так как нанята не Надеждою Филаретовною, но Андреем Викторовичем, который поручил ей следить за здоровьем жены.

— Ах, — возразила Надежда Филаретовна, — если вам нравится роль тюремщицы, то не препятствую: будьте.

— Тюремщицею вашею я не буду, но сиделка вам нужна.

— Это решительно все равно! Будьте! Будьте!

В «Гранд-отеле» Надежда Филаретовна остановиться отказалась, а выбрала по случайной рекомендации подскочившего на вокзале фактора темную гостиницу подле вокзала. Отель этот оказался такою трущобою, что — оглядевшись в номере — Надежда Филаретовна в ответ на отчаянный взгляд компаньонки даже и сама рассмеялась.

— Это я вам назло. Ужасная мерзость. Не плачьте. Теперь уже поздно, но завтра мы, разумеется, переберемся из этой ямы.

Однако — неправда: ни завтра, ни послезавтра — не выехали, и Надежда Филаретовна уже заступалась:

— Не все ли равно? Право, не так скверно. Комнаты большие, кормят сносно...

А затем компаньонке начало чутьем сдаваться, будто она живет, как слепая, среди тайны какой-то, будто вокруг нее сплотился фамильярным кольцом некий ловко скрытый, ехидно-почтительный, насмешливо и нагло-надувательный заговор. Мордастый швейцар со скулами, какие можно видать только в сыскных бригадах да в каторжных казематах, — грязные горничные с опухлыми развратными лицами проституток, не успевших опохмелиться после вчерашнего кутежа, — вонючий коридорный Михей — мохнатый, обезьяноподобный, ушастый недоросток с наглым взглядом профессионального вора и сводника, — вся эта вертепная челядь держалась в отношении компаньонки насторожившись, с непроницаемо-плутовским вызовом: много-де знаем, да ничего не скажем. И на красивое лицо Надежды Филаретовны тоже легла сообщническая печать лукавой и злой, будто мстительной, тайны. Компаньонка готова была хоть присягу принять, что под ее бдительным глазом пациентке напиться негде и некогда. Однако ее смущало, что Надежда Филаретовна начала как-то подозрительно долго спать, вставая с постели лишь к трем-четырем часам дня, и в спальне ее каждое утро спирался дух алкоголя. Проверив свою слежку, компаньонка пришла к выводу, что Надежда Филаретовна-таки пьянствует по ночам. Но — как? где? с кем? откуда берет вино? И вот компаньонка задумалась о себе самой, что в последнее время она засыпает как-то уж слишком рано после ужина, спит что-то чересчур крепко, будто мертвая, а поутру просы-

пается трудно, с страшно тяжелою головою, с зелеными пятнами перед глазами, со звоном в ушах... Мелькнуло подозрение: «А ведь это, пожалуй, моя сударка меня дурманом опаивает?»

Перехитрила, — заставила себя проснуться среди ночи. Четвертый час утра.

— Надежда Филаретовна!

Молчание. Спит? Дыхания не слышно.

Зажгла электричество: спальня пуста. Платье на месте. Тронула ручку двери: заперта снаружи. Вспомнила, что в другой двери есть запасной ключ. Вышла в коридор. Прокаженный дом дохнул ей навстречу всею ночною чумою своих отравленных конур. В подлестничной каморке коридорного Михея светился волчок, слышались бормотание и хохот... Компаньонка осторожно взглянула...

Вернулась в номер, собрала все свои вещи и с первыми лучами света, с первыми шорохами пробуждающейся гостиницы, ушла из поганого дома. Она была не то что возмущена, — раздавлена негодованием к тому, что видела. Целомудренная институтка чувствовала, что не в состоянии больше ни встретиться с Надеждою Филаретовною, ни даже оставаться с нею под одною крышею.

От Надежды Филаретовны Берлога получил с тою же почтою короткую записку — и уже не из Ростова-на-Дону, а из Одессы:

Прощай, Андрюша милый. Спасибо за все. Не ищи. Довольно. Поспасал, — и будет. Свинье место в луже, а горбатого одна могила исправит. Прощенья не прошу, потому что простить меня нельзя, но, право, благодарна тебе, что ты ко мне был хороший.

Все розыски Надежды Филаретовны были тщетны. Полиция предполагала, что сутенер-лакей, увезший ее из Ростова, продал ее в Александрию или Порт-Саид. Но два года

спустя на киевском Крещатике Самуила Львовича Аухфиша ударила по плечу пьяная проститутка.

— Интеллигент, угости коньяком!

Аухфиш взглянул, узнал и — вцепился...

В эту встречу, последнюю и короткую, лицом к лицу уже не с Наною, но с живым трупом Наны Берлога убедился, что его личная роль в жизни этой женщины и нравственная ответственность за нее кончены, и единственно, чем он еще в состоянии быть ей полезен, это — поддерживать ее материально. Аухфиш взялся быть деловым посредником между ним и Надеждою Филаретовною. Берлога вручил ему крупный денежный взнос, из которого Аухфиш должен был выдавать или высылать Надежде Филаретовне по ее востребованию. Надежда Филаретовна — узнав — даже рассмеялась:

— Разве можно мне деньги давать? Лучше в Днепр бросить.

Взяла двадцать пять рублей и скрылась.

Берлога в то время уже любил Елену Савицкую, и они вместе созидали свою художественную оперу. А затем побежали тринадцать лет творчества, успеха, славы, любви...

Надежда Филаретовна беспокоила Аухфиша очень редко, но всегда ужасно внезапно, — в самом деле, словно падал какой-то дамоклов меч бессмертно и насмешливо притаившегося неизбытного скандала. Сравнительно большую сумму она потребовала только однажды, когда ей действительно надо было выкупиться из публичного дома, в который она спьяну продалась, а там ее больно избили.

Однажды понадобилась и она Берлоге. Он задумал было обзакониться с одною из своих поклонниц, крупною капиталисткою. Аухфиш после долгих розысков нашел Надежду Филаретовну, — подавальщицею ружей при тире на Минеральных водах, в глупейшем тирольском костюме, сравнительно трезвую, но уже неузнаваемо пошлую и грубую, под зеленою пернатою шляпою, с раскрашенною штукатуркою

по расплывшемуся лицу. Надежда Филаретовна выслушала предложение дать развод и спросила, кто невеста. Аухфиш назвал, описал.

— Нет, я развода не дам.

— Полно вам, Надежда Филаретовна! Почему?

— Совсем незачем Андрею Викторовичу на этой госпоже жениться.

— Вам-то что? Не все ли равно?

— Видите ли, Аухфиш: не давать развода — это — единственный способ, которым я могу отблагодарить Андрюшу за его доброту ко мне. Ему не годится быть женатым. Мною он застрахован от новой глупой женитьбы — вроде вот этой.

— Надежда Филаретовна, извините, но — понимаете ли вы, что при вашем образе жизни нам будет не трудно провести процесс о разводе и без соглашения с вами?

Глаза Надежды Филаретовны сверкнули голубыми молниями и потемнели, как под тучею. На мгновение Аухфиш узнал в ней прежнюю прекрасную Нану.

— О? Процесс? Отлично. Но тогда уговор: на меня не пенять. Раскопаем всю подноготную с самого начала, чтобы грязь-то по всей Европе поплыла!

— Когда-то вы сами предлагали Андрею Викторовичу...

— Тогда бы и брал, когда предлагала.

Подумала и прибавила:

— Зачем он у меня развода не спрашивал, покуда жил с Еленою Савицкою? Эта — пара была. Для нее бы посторонилась... А денежный мешок пусть сам добывает, как знает.

— Так и передать?

— Так и передайте.

Берлога выслушал своего поверенного, похмурился, повздыхал, поерошил темные вихры свои, попыхтел доброю дюжиною недокуренных папирос, порасставил их, где попало, почертыхался, шагая по кабинету из угла в угол, — и наконец смущенный, сказал Аухфишу, совсем расстроенный:

— Знаешь ли, Самуил Львович... черт ее побери совсем, эту Нану... Знаешь, она права... Канитель! Брось!..

XXV

Берлога, бледный, бродил по спальне, пыхая папиросою, и, останавливаясь пред сидящим Аристоновым, нагибался к нему низко-низко.

— Моя вина пред Надеждою Филаретовною, — говорил он раздельно и веско, — слагается из того, что я не хочу быть окончательно виноватым пред нею. Эта женщина сплетена из своенравий дикой свободы. Лишить ее свободы значит совершить против нее оскорбительную жестокость и напрасное преступление. Вот сейчас придет к обеду Аухфиш, узнает, что Надежда Филаретовна объявилась, и начнет уговаривать меня, чтобы я запрятал ее в сумасшедший дом. По его адвокатскому мнению, это — не только право мое, но и мой долг. Он десятки раз доказывал мне, что, оставляя Нану на свободе, я грешу ужасно, поступаю нечестно против общества. Ну а я не могу. Он отличнейший человек, наш милый Аухфиш, умнейший, образованнейший, честнейший, только — несносный буржуа. Как упрется в свою «пользу общества», так уж это — ultima ratio *, не свернешь его. И все, что в его программу не уложится аккуратно по предложенной мерке, будет отсечено и похерено так чисто и неумолимо, что сам Брыкаев позавидует. Я же, должен сознаться, совсем не настолько обожаю это наше великолепное общество, чтобы во имя его безопасности упрятывать за толстые стены и железные решетки женщину, которая никому не делает зла, кроме себя самой, а в трезвое время свое, наверное, умнее нас с вами, обоих вместе взятых. Покуда я вижу

* Последний довод, крайнее средство (*лат.*).

в человеке свет разума, я не смею отказать ему в свободе воли, я признаю его право распоряжаться собою, как ему угодно. Вас привело в ужас — найти мою жену пьяною проституткою в Бобковом трактире, в ситцевом платье, в рваных башмаках — по ноябрьскому морозу. Да, ужасно. Но вы видели: я не был ни потрясен, ни даже изумлен вашим рассказом. Это у меня — уже притертый мозоль. Наступят, — вскрикнешь, но долго не болит. Все здесь думано, передумано, обдумано. Что страдало — отстрадало, что мучило и гневило — перестало. С супругою моею я боролся за нее самое долго и честно и отступился от нее не потому, что устал, но — когда убедился, что она — права.

Аристонов вскинул на артиста глаза — недоверчивые, сердитые.

— То есть — как права? Насчет чего?

— В том права, что лучше и глубже знает самое себя, чем мы ее знаем. Все наши старания и заботы о ней всегда были, есть и будут напрасны и ей противны, потому что становятся между ее натурою и жизнью, как враждебные, чужими руками сооруженные перегородки, которые воле ее приходится расшибать, чтобы объединяться с инстинктом и жить по-своему. Что делать? Птице нужно безумие крыльев, жуку-могильщику — тление трупа, а Надежде Филаретовне — Бобков трактир... Так что не спешите считать меня извергом... Перейдемте-ка в мой кабинет. Я покажу вам документы...

Берлога откинул портьеру и щелкнул у дверей электрическим выключателем. Вспыхнувший в потолке матовый полушар мягко озарил большую, красивую комнату с дорогими книжными шкафами, с бронзовым «Извозчиком» Трубецкого на письменном столе, с гипсовым Максимом Горьким в одном углу, с бронзовым Лассалем в другом. Сверкали сквозь хрустальные стенки горки с золотом и серебром, даренным от публики. Между картин по стенам, — все ори-

гиналов, все в ценных и стильных, любящими авторскими руками подобранных рамах, — извивались широкими плоскими змеями полосы драгоценных лент: красные, голубые, белые, сверкающие, как парча, матовые, как платина, седоватые веселым стриженым серебром атласа, испещренные золотыми и черными литерами посвящений. Куча лавровых венков сохла на полу у стены небрежно сваленною копною. От нее в кабинете артиста пахло — поэт сказал бы: славою, но сам Берлога жаловался, что москательною кладовою. Копны подобные Берлога раздаривал поклонникам щедрою рукою, прислуга, да и сама Настасья Николаевна, распродавали их либо в мелочные лавочки на лавровый лист, либо просто обратно в те самые цветочные магазины, из которых они выходили; наконец, раза четыре в год генеральная чистка квартиры решительно удаляла пыльные остатки их на чердак или даже в помойку. Но — не проходило и недели, как вырастала новая копна, со свежими листьями и свежим духом. Некоторые — особенно художественные, по преимуществу, пальмовые — венки сохранялись, повешенные темно-зелеными и серыми ободьями вокруг портретов знаменитых композиторов. Сурово хмурился Рубинштейн, безразлично благодушествовал Чайковский, испуганно сквозь очки смотрел близорукий Римский-Корсаков.

— Читайте, — говорил Берлога Аристонову, — вот вам расписка Аухфиша, что он получил от меня для Надежды Филаретовны двадцать пять тысяч рублей... Смею надеяться, что женщина, обеспеченная такою суммою, не имеет права жаловаться, будто она оставлена на произвол судьбы и вынуждена трепаться в ноябре под ситцевыми лохмотьями в рваных прюнелевых ботинках... Вот расписки Надежды Филаретовны или ее уполномоченных... Вы видите: она обратила свое обеспечение в какой-то, с позволения сказать, пропойный фонд... Десять рублей, двадцать пять, сто... Кто там? — сердито вскрикнул Берлога, отзываясь на осторож-

ный стук в двери. — Настя! Ведь просил меня не беспокоить!.. Кто там?

— Я, Аухфиш. Если ты еще занят...

Досада на лице артиста сменилась радостью.

— Очень рад. Входи, голубчик. Ты необыкновенно кстати, милый Шмуйло.

А у х ф и ш. Не удивительно быть кстати, когда зван обедать... Или ты забыл?

Б е р л о г а. А, черт! Погоди! Не до того...

А у х ф и ш. Сила Кузьмич тоже сейчас подъедет. Но так как я имею к тебе — подобно Мармеладову — разговор приватный, то позволил себе просить Настасью Николаевну, чтобы она задержала его на несколько минут приятною своею беседою.

Он недоумевающе смотрел на Аристонова — выжидательно, как на лишнего. А тот, гордый, красивый, хмурый, стоял с таким видом, что, мол, места своего никому не уступлю и уйду всех позже, когда сам захочу: я здесь сейчас главный человек, мое дело — самое важное и очередное, и все, что здесь происходит и может произойти, оно — первое в жизни и для Берлоги, и для меня, и для всех прикосновенных.

Берлога представил:

— Аухфиш, Аристонов... познакомьтесь... Представь себе, Самуил: Надежда Филаретовна изволила пожаловать в город и — по обыкновению — в ужаснейшем виде...

А у х ф и ш. Знаю. Я затем и приехал к тебе пораньше, чтобы поговорить...

Б е р л о г а. Откуда узнал? Была у тебя?

А у х ф и ш. Нет... хуже... Репортер заметку доставил в редакцию «Почтальона»... Угораздило их столкнуться в яме какой-то.

Берлога долго молчал. Хмурый, как осенний лес, он краснел, будто вечерняя туча под солнечным закатом.

— Что же — эта прелесть появится в газете? — спросил он наконец глухим, ревущим звуком, медным каким-то, будто колокольным, голосом.

— В нашей, конечно, нет... И я принял меры, — взял слово с репортера, что он не сдаст заметки в другие издания... Но ведь это — паллиатив. Сегодня пронюхал наш репортер, завтра пронюхает репортер «Обуха»... Надо предупредить скандал, — найти Надежду Филаретовну, уговорить, усовестить, выпроводить из города, — вообще принять меры.

Берлога опять обратил на Аристонова указательный перст свой.

— Она теперь вот у него в номере заперта... пьяная лежит...

— Ах, вот это прекрасно! — обрадовался Аухфиш.— Следовательно, не потратим напрасно времени на розыски...

Берлога говорил:

— Ты при Аристонове вообще не стесняйся... Парень настоящий... Друг.

Сергей встрепенулся, широко раскрыл глаза, рванулся движением, словно хотел отречься, возразить, и — ничего не сказал. Аухфиш твердил:

— Прекрасно, прекрасно... Это счастливый исход... Если хочешь, я сейчас же поеду к ней, приведу ее в норму, и — по прежним примерам — инцидент будет исчерпан...

Б е р л о г а. Впредь до возобновления.

А у х ф и ш. Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu! *

Берлога угрюмо заметался по кабинету, тряся головою, как лев пустынный. Аухфиш деловито обратился к Аристонову:

— Очень безобразничает?

С е р г е й. В мертвом запое... Ничего не понимает.

* Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого хотел! (*фр.*)

Аухфиш сел, вздохнул, умолк, призакрыл глаза, закурил сигару.

— Ожидаю резолюции... — промолвил он после долгого ожидания, наполненного пыхтящими вздохами, будто стонами шагающего, шатко качающегося Берлоги.

— Оставь... Что я могу? — огрызнулся тот.

— А я что могу? Твой полномочный министр — не более. Ты — власть законодательная, я — исполнительная...

— Какие от меня законы!

Долгое молчание. Берлога на ходу мрачно ткнул рукою в воздухе, по направлению к Сергею Аристонову.

— Он очень расстроил и глубоко растрогал меня... В отчаянном она положении!

Аухфиш усмехнулся с печальною досадою.

— Что же? Попробуй еще раз опыт спасательства... Возьми ее к себе.

Берлога отозвался с большим сердцем:

— Этого, я думаю, даже злейший мой враг, даже круглый идиот от меня не потребует!

А у х ф и ш. Да, ты эту горькую чашу выпил до дна. Довольно, друг милый. Ты нам слишком нужен и дорог. Рисковать собою мы тебе не позволим. У тебя есть свое дело, свои обязанности, свое святое назначение. Жертвовать своею ролью в искусстве ты не вправе даже и для лучшего человека, чем Надежда Филаретовна.

Б е р л о г а. Человек-то она, положим, прекрасный! Лучше всех вас, буржуев!

А у х ф и ш. Это я слыхал от тебя тысячу раз. Но уж будь любезен: если я буржуа, то оставь мне право буржуазной морали и логики. В Надежде Филаретовне я могу видеть лишь одно из двух — на выбор: или, как Ломброзо определяет, прирожденную проститутку и, следовательно, непременную кандидатку в преступницы; или буйную сумасшедшую. В том и другом случае она небезопасна. Это — постоянная угроза

тебе, обществу, всем моральным нитям, которыми ты с искусством связан. Какая-то ходячая катастрофа, вредная, наконец, и для нее самой.

Б е р л о г а. Скажи: прежде всего, а не — наконец!

А у х ф и ш. У меня к ней личных отношений никаких нет, а потому, извини, я могу рассматривать ее лишь с точки зрения общественной ценности. Тут она — нуль, хуже: отрицательная величина. Поэтому, «прежде всего» для меня — ты и искусство, а Надежда Филаретовна — «наконец». Против фатума не пойдешь. Что обречено гибели законом природы, должно погибнуть. Надежда Филаретовна — человек пропащий. Но, пропадая, пусть, по крайней мере, не портит существования другим. Она вредна — и должна быть обезврежена.

Б е р л о г а. То есть — опять в больницу какую-нибудь? Старая музыка, Самуил! Ты знаешь ведь, что она не хочет.

А у х ф и ш. Душевнобольных о согласии не спрашивают.

Б е р л о г а. А от «спасительных насилий», как это, бывало, нам с кафедры профессора определяли, она имеет обыкновение тоже спасаться — покушениями на самоубийство!.. Покорно благодарю!.. Пойми же ты, милый мой друг, Самуил Львович, что есть птицы, которые клеток не выносят, и — лучше их в вихре ночной бури бросить, чем клеткою оберегать... Если Надежда не чувствует себя хозяйкою своих поступков, она бьется в четырех стенах, как пленная ласточка о прутья клетки... Хоть голову расшибить и кровью истечь, да не быть бы там, где велят и как велят! Ну-с а на душу свою взять ее смерть я не согласен!.. нет!.. Наши жизни пошли врозь, так уж и умирать давай будем — каждый посвоему, в независимости друг от друга и кому как нравится.

Аухфиш пожал плечами.

— Ну а если она замерзнет на улице, пьяная? Разве невозможно это, молодой человек? — обратился он за поддержкою к Аристонову.

Тот отвечал:

— Она и третьего дня замерзла бы, если бы я не подобрал.

Но голос его звучал нерешительно. Заметно было, что последние слова Берлоги ему понравились. Он и сам встрепенулся, как птица, и смотрел на Берлогу зорко, пытливо, охотничьим глазком сокола, сторожащего крылатое слово, как готовую подняться цаплю или водяную курочку.

Аухфиш продолжал:

— Вот видишь, Андрей Викторович. Ты язвишь меня «спасительным насилием». Но тебе вряд ли удастся доказать мне, что больному человеку легче на панели в ноябрьскую изморозь либо в кабаке, среди пьяных драк, чем в мягкой постели, среди европейского комфорта и тщательного ухода.

— Не знаю!

— Андрей Викторович, не капризничай! Нельзя же звать белое черным и черное белым. Не дети мы.

— Да ты вспомни, сколько раз она удирала из комфортов-то этих и постелей мягких? Сегодня — уговорили ее в шелки и кашемиры облечься, а завтра она опять где-нибудь на Толкучем рынке щеголяет в ситцевом тряпье и калошах на босу ногу. В комфорты-то и постели мягкие ее приходится тащить силою, а от Бобкова трактира надо силою удерживать, в тюрьму запирать, тюремщиков приставлять...

— Да, стремление — так сказать — s'encanailler * у нее непреоборимое. Но разве это отрицает мои слова? Напротив, подтверждает. Если ребенок вместо молока, мяса, хлеба начинает пожирать мел, уголь, испражнения, я знаю, что ребенок болен, и обязан поставить его под опеку постоянного наблюдения, которое не допустит его до всей этой гадости и заставит питаться нормальною пищею.

* Якшаться со всяким сбродом (*фр.*).

— Для взрослых детей опека опоздала. Нану переделывать поздно на пятом десятке лет. Не младенец.

— Хуже младенца, потому что детский организм, развиваясь годами, прогрессирует и оздоровляется, а субъект, одержимый нравственным помешательством, moral insanity *, в состоянии только назад пятиться и разрушаться. Что я считаю Надежду Филаретовну совершенно пропащим человеком, это я готов повторить, сколько тебе угодно раз. Но собачьей смерти я ей отнюдь не желаю. А ты своею, извини меня, трусливою деликатностью готовишь ей именно собачью смерть. И — когда стрясется такая беда — будет это позорно и громко, а тебе — стыдно и вредно.

Берлога усмехнулся почти злобно.

— То-то вот и есть, друг Самуил Львович, то-то вот и противно мне, что даже теперь мы с тобою — ты сам не замечаешь, как — лицемерим! Совсем не за Надежду Филаретовну эта возможность собачьей смерти нас пугает, но — что собачья смерть мадам Берлоги на живого мосье Берлогу скверную тень бросит, его величие унизит, благородство подсалит и осрамит...

Он сел верхом на угол письменного стола своего и обратился к Аристонову:

— Вам Надежда Филаретовна показалась сумасшедшею?

— Нет. Не больше, чем всякий пьяный человек.

— То-то вот и есть. И никто из нас ее сумасшедшею не видал. И, когда трезвая, так-то она всех нас, умников, логикою своею вокруг пальца вертит...

Аухфиш перебил:

— Lucida intervalla! Folie raisonnante! ** Наука это противоречие давно разрешила, меня им не убедишь.

Берлога даже сморщился.

---

* Нравственное слабоумие (*англ.*).

** Светлые промежутки! (*лат.*) Проявления здравого смысла! (*фр.*)

— Ах, оставь! Наука!.. хороша наука, которая до сих пор не придумала для больных своих ничего кроме тюрем! И вся-то медицина — знахарству сестра родная, а психиатрию уж и вовсе — будто ведьма в остроге от тюремщика родила... колдовство пополам с неволею! Якобий прав, Самуил Львович. Психиатрия еще не выучилась лечить душевнобольных. Покуда она умеет только оберегать от них общество здоровых. Так оно и есть. Вот мы битый час спорим о том, чтобы посадить Надежду Филаретовну в желтый дом. И оба отлично знаем, что желтый дом ее не вылечит, но убьет. А все-таки спорим, будто и впрямь собираемся лечить ее, будто преследуем и соблюдаем ее пользу. Ерунда, брат! Запереть Надежду Филаретовну значит не ее лечить от сумасшествия, но меня — от нее. Значит — забрать с улицы человека, неприятного и конфузного для великолепного господина Берлоги, и запереть его в одиночное заключение, подальше от глаз и языков человеческих. Ну нет! Мучить человека неволею только за то, что он воплощает в себе мой стыд и страх пред обществом, я не в состоянии, хотя бы Нана даже и впрямь была сумасшедшая. А я в ее безумие не верю и никогда не поверю.

— Сам ты после того сумасшедший! — проворчал Аухфиш.

Берлога подхватил:

— В той мере, как Надежда Филаретовна? Очень может быть. Клянусь тебе: мне самому часто бывает так тошно и срамно среди всего этого нашего довольства пошлого... от всех этих горшков, статуэток, бронз... от пиджака моего бархатного... от Настасьи великолепной... от поклонников-идиотов... от психопаток развратных... от критики фальшивой и завистливой... до того нестерпимо, что так бы вот взял — переколотил всю эту мразь, Тарасу Бульбе подобно, и пошел бы именно в Бобков трактир водку пить и, по старой памяти, петь песни с босяками!

— Однако не идешь же!

— Так — не по нежеланию, а по трусости! Хочется, да колется, и маменька не велит.

— Ага! То-то! Это не трусость, любезный друг, но работа задерживающих центров, способность регулировать свои желания прежде, чем они перейдут в действие. У кого регулятор воли работает — тот в здравом уме, у кого он слабеет — тот на пути к безумию. Мир управляется гедоническим знаменателем, милый Андрей Викторович. Если возможная сумма наслаждения ниже его нравственной стоимости, то ожидаемое удовольствие обращается в страдание и стыд, оказывается тебе невыгодным, и ты от него отрекаешься и воздерживаешься, как от безрасчетной сделки. Кто на эту расценку не способен, тот уже вычеркнут из нормы. Разум и совесть у него, значит, банкроты, и не годится он — для ответственности ни перед обществом, ни даже пред самим собою.

— Ну да, да! — перебил Берлога, — в пословице это — хоть и перевернуто вверх ногами — но гораздо проще и короче: «Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию». О подчинении удовольствия весам задерживающих центров хорошо говорить, ангел мой, с теми, у кого есть добрая зацепка в жизни, есть чем и ради чего волю свою задерживать. Не удивительно, что я в состоянии сдержать в себе босяцкий порыв, когда — вместо Бобкова трактира — могу пойти в театр и изобразить Фра Дольчино или Бориса Годунова, что ли. Как искусством-то напитаешься и со всех сторон окружишься, уж оно тебя в жертву хаосу твоему внутреннему не отдаст. Талант может блажить, безобразничать, умалять себя, губить, в грязи влачиться, но — врешь! от самого себя никуда не уйдет, дороже самого себя ничего не найдет и, в какую пропасть ты его ни кинь, он к самому себе вернется! Ну — а у бедной Наны зацепок нет и не бывало... Человек с огромными способностями и без всякой

в них надобности. Как спокойно жить, как в вине ума не топить, когда сознаешь, что ты — не ты, а только форма и маска твоя? когда уверена, что вместо крови человеческой по жилам твоим бежит отравленная грязь? когда чувствуешь, что вот-вот вскипит эта грязь и выльется наружу пред всем белым светом?.. Хорошо рассуждать, когда не носишь в себе отравы прирожденной. Вот я вам, Аристонов, давеча говорил, что не хочу и не позволю отдать себя во власть угрозам фатальным. А ведь эта Нана несчастная — она вся — воплощенное сознание обреченности! Цинизм висельника, который кривляется, чтобы не так страшно было умирать, а сам тем временем ничего, кроме петли, не помнит и ни во что, кроме петли, не верит.

Он был очень взволнован. Аристонов глядел на артиста с пытливым участием, взор его смягчился.

— Не тому я теперь удивляюсь и негодую, что она меня бросила и во все тяжкие пустилась, — говорил Берлога, трепещущий, почти со слезами на глазах, — а тому, как она, уходя, сохранила еще ко мне теплое чувство какое-то, не возненавидела меня... Знаешь, этою лютою ревностью больного к здоровому, завистью слабого к сильному, обреченного смерти к жизнерадостному. Страшно, милый мой Шмуйло, и оскорбительно, должно быть, такому вот человеку, как Нана, который жизнью-то, будто болотом зыбким бредет и ужаса полн, что — сам не знает где, но непременно вот-вот провалится, — обидно и горько ему, думать надо, жить рядом с фанатиком этаким, буйволом самоуверенным, как твой слуга покорнейший. Я, как нашел дорогу свою, так и попер по ней дроволомом беспопятным. Как ощутил силу свою, так и вознадеялся на себя паче, чем на Господа Бога в небесах. Я да мое вдохновение, и — сам черт мне не брат, и все города взяты, и все крепости — наши! Я, когда за что брался, то даже мысли такой в себе не допускал, что это у меня может не выйти. И все выходило. А Нана насчет себя не то

что веры — даже иллюзии никакой не в состоянии сохранить хотя бы на полчаса времени... Какой материал богатейший пропал! Певица... актриса... женщина... умница... Ничего не вышло!

А у х ф и ш. Потому что была лентяйка... совершенно распущенный человек!

Б е р л о г а. А что такое лень? У кого — болезнь, усталость организма, недоразвитость физическая. Скольких лентяев я знавал, что, поглотавши железа либо мышьяку да сосновым лесом либо морем подышав, бодрость, подвижность и охоту к деятельности обретали. А у кого — именно вот отсутствие веры в себя, в призвание свое, в надобность и красоту того, что взялся делать. Людей без лени нету. И я, и ты, и вот он, Аристонов, — каждый ленив по-своему. Меня еще сегодня моя Настасья лежебоком ругала. Уж на что живая машина Мориц Раймондович Рахе, на что дисциплина воплощенная Елена Сергеевна Савицкая, а я убежден, что и они лень знают... Лени чужд только излюбленный труд. Какого-нибудь Фра Дольчино репетировать я не ленив. Ты человек больной, слабый, а торчишь в типографии до пяти часов утра, ныряешь в корректурах, как жучка — в рыхлом сене, что в волнах, скипидарными ароматами почки свои разрушаешь, потом человеческим легкие свои отравляешь... Веришь, что дело делаешь, понимаешь его, любишь, — ну и труд не в труд, и тягость не в тягость, и на здоровье наплевать. Этак, брат, работать — первое наслажденье в мире. Лучше, чем любимую женщину целовать. Потому что поцелуи надоедают и приедаются, а излюбленный труд пресыщения не знает. Оттого-то, должно быть, — засмеялся он, — женщины и ревнуют так часто нашего брата к призванию... Много баб я любил, а все же ни одной настолько, чтобы ради нее репетицию пропустить, либо к спектаклю опоздать, либо на сцене о ней думать и помнить.

Берлога умолк, куря и шагая.

— Ведь вас, если не ошибаюсь, Елизавета Вадимовна мне рекомендовала? — обратился он к Аристонову.

Сергей слегка покраснел, но гордо выпрямился, выкатил грудь.

— Да.

Берлога повернулся к Аухфишу.

— Вот тебе — пример: наша Лиза Наседкина. В частной жизни — чудовище лени. Когда свободна, спит часов по десяти в сутки, из капотов не выходит, даже уж и сидеть ей невмоготу, переваливается, знай, с дивана на кушетку, с кушетки на диван, аж пружины промяла, из мебели-то лодки какие-то поделались... А как принялась партию учить — не оторвешь ее от пианино: тоже хоть десять часов просидит, как прикованная, и будет повторять и пробовать на все лады фразу какую-нибудь неудачную, покуда та у нее в перл создания не переродится... Порекомендуешь ей ознакомиться для роли с источником полезным, — она ночь не спит, читает, а поутру скачет в музей либо в публичную библиотеку — роется в старинных гравюрах, картины Ренессанса изучает, — по толкучему рынку бродит, ищет, не попадется ли у старьевщиц барахло какое-нибудь стильное... Удивительные вещи откапывает... Когда она в периоде творчества, она житейски невменяема делается. Вот сейчас она Маргариту Трентскую свалила — авось передохнет несколько. А то ведь, кроме Маргариты, с нею даже говорить ни о чем нельзя: всю ее роль-то заполнила, — как маньячка стала!.. Наслаждение работать с этакою артисткою! истинное наслаждение, братцы!

Аристонов сидел, потупив глаза. Он чувствовал себя очень неловко. Под простодушными похвалами, которыми Берлога осыпал Наседкину, Сергей впервые поймал в себе мысль, похожую на угрызение совести, что вот он — пришедший с целью обличить в Берлоге лицемера и притворщика — сам имеет от него тайну, для него вредную и постыдную, которая опутала великого артиста, как злые тенета, и, если разобличит-

ся, должна уязвить его больно и глубоко. А Берлога говорил:

— Настоящий талант никогда не ленив. Талант — инстинкт своей целесообразности, которая громадно радостна, пред которою проштрафиться громадно совестно, которая обязывает паче всех заповедей, которую валить через пень в колоду — кощунство и самонадругательство. Талант чует меру своей способности и работает аккурат в ее полноту...

Аухфиш. Если бы так было, то не пропадало бы в гениальном лентяйстве столько дилетантских дарований.

Берлога. Не верю я в гениальных дилетантов. Знаем мы этих господ, о которых жалостливая публика вздыхает: ах, если бы этот лентяй работал, то из него вышел бы Рубенс, Глинка, Пушкин! Дудки! В том-то и штука, что если сидит в тебе корень Рубенса, Глинки или Пушкина, то никакие силы житейские в дилетантстве тебя не удержат. Нарочно беру имена бар, которых уж самое право рождения, казалось бы, на дилетантство обрекало. Но талант так вот и выбросил их из барства-то, будто пружиною наподдал, и погнал — каждого по своей дороге — в такие работники, что и нам, плебеям, остается только любоваться да руками разводить. Один написал картин саженных больше, кажется, чем месяцев на свете прожил, все музеи Европы ими увешаны. Другой наверху славы после «Руслана», на шестом десятке лет, поехал в Берлин учиться у Дена тонам церковным. А — рукописи Пушкина ты видал? Узор! Черкнуто, зачеркнуто, перечеркнуто. Каждое слово сто раз взвешено, каждый образ сто раз проверен... Блестящий дилетант — какой-нибудь Алябьев, Лишин, Апухтин, — может невзначай обмолвиться музыкальною фразою, под которою Глинка с радостью подписался бы, либо стихом Пушкина достойным. Но — хоть тысячу «Соловьев» просвищи, а «Руслана» из них не слепишь... Ну а в один соловьиный свист жить человеку, богато одаренному природою, стыдно и обидно. Вот

он и швыряется из стороны в сторону за призванием, валяет дурака в оригинальничаньи всяком, гениально лентяйничает, артистически кутит, художнически развратничает. Лень в своем излюбленном труде — отрицательный инстинкт мелкого, внешнего дарования, которое втайне догадывается, что оно — не талант. Пушкин был картежник, Глинка — пьяница, Рубенс — бабник. Но ведь это второй, даже третий план жизни. Творчества своего они ни карточному столу, ни бутылям с вином, ни одрам сладострастия в жертву не предали. Банчишка — банчишкою, пьяная братия — пьяною братией, баба — бабою, а труд — трудом. А дилетант, будь он хоть семи пядей во лбу, на полпути успехов своих непременно сорвется. Либо какая-либо страстишка его задушит — как Алябьева картеж, Апухтина — обжорство. Либо, наоборот, остепеняется он и, оставив служение музам капризным, поступает просто на службу. При императорских театрах, при академии художеств — вообще при всяком казенном искусстве — пропасть чиновников из таких дилетантов остепенившихся. И препротивный в большинстве народ... Злы, что ли, с собственных неудач-то, — так все норовят нашего брата муштровать. Традиции у них — целый календарь. Академии — каждый — ходячая энциклопедия. Собственной мыслишки ни у одного во лбу даже тени не бывало, но мертвяков всяких знаменитых зазубрили тверже «Отче наш». Каждое свое слово покойницкими именами, будто шестами, подпирают. Дебютировал ведь я у них, знаю... То-то смеха и горя было! Плюнешь направо, — уже летит к тебе идиот испуганный: «Ах что вы! как можно? Иван Александрович здесь налево плевал!..» — «Позвольте, г. Берлога! Почему же вы при этих словах в затылке не чешете? Иван Александрович чесал!..» До того мне этим Иваном Александровичем надоели, что я из-за него даже Хлестакова возненавидел: зачем тезка?.. Сцена сумасшествия у меня была в роли... до сих пор в репертуаре моем — из лучших... Развернул я им на

репетиции замысел свой, — скандал! в ужас пришли! И — давай меня по Ивану Александровичу дергать, как он сумасшедшего представлял. Ну, знаешь — ерунда же романтическая, поза сплошная, условность красивенькая, сантиментальщина... Я обозлился. Говорю им: «Этого быть не может. Или вы на своего Ивана Александровича врете, или ваш Иван Александрович был невежда великий и никогда ни одного сумасшедшего в глаза не видал...» Обожгло... отскочили! Успех на дебюте я имел не то что колоссальный, — сверхъестественный! Но ангажемента — тю-тю!.. не получил! Потому, — видят: грубиян... всю ихнюю обедню испортил. Слава Богу! Кабы запрегся в их хомут, то теперь, пожалуй, и сам был бы каким-нибудь Иваном Александровичем маститым, а не Андреем Берлогою.

Он долго и весело смеялся.

— Учись! Не ленись! — вечно мы, русские артисты, слышим припев этот. Я — Андрей Берлога, за мною двадцать лет успеха и славы, мы с Лелею Савицкою и Морицем Рахе создали театр, который даже враги наши считают поворотною вехою в музыкальной драме, народилась целая школа артистов, которые мне подражают, меня повторяют, по моим тропам плетутся, по пятам следуют. А между тем разве я, Андрей Берлога, не читаю о себе иной раз даже и теперь умных рецензий, что, конечно, мол, хорошо, но — «школы Берлоге недостает, — ах, если бы Берлога учился смолоду!..» И не думай, чтобы враги, нет, бывает, что очень благожелательные ко мне люди пишут. Поучился бы... у кого? чему?.. Да если мне укажут маэстро, способного показать мне в искусстве моем что-нибудь новое, чего я не знаю, не умею, о чем не догадываюсь, — я брошу все и поеду к нему, как послушник, хоть в Патагонию, хоть на Мыс Доброй Надежды. Да вот — нету таких!.. Искал я в свое время, ломал дурака, платил деньги и делал рекламу разным шарлатанам или маньякам своей методы. В Милане, в Париже, в Вене — всю-

ду найдутся господа, хвастающие, будто мне уроки давали и партии со мною проходили... Черт бы их брал... Я не препятствую, пусть их воображают. Мне ничего, а им — удовольствие.

Аухфиш усмехнулся.

— Теперь начнется отрицание школы и погром традиций.

— Ошибаешься. Я и школу признаю, и с традициями готов почтительно раскланяться. Но что такое в искусстве школа? Результат технического опыта, выношенного поколением отцов. Прошлые поколения пришли к убеждению, что вот такие-то и такие-то знания необходимы сыновьям и внукам, сочинили соответственные программы, а сыновья и внуки обязаны ходить по мытарствам программ сих, дондеже не прослезятся. Я не спорю, что сие хождение отчасти помогает, и вовсе без технических азов — нельзя. Но, милый мой, искусство — жизнь, а не программа. Идти в искусство со школою, без своей творческой идеи — это все равно что рассчитывать, будто устроишь и проживешь жизнь по гимназическому аттестату зрелости. Учись! Да я всю жизнь свою только и делаю, что учусь — от каждого человека, в каждую минуту... Ха-ха! я к тому, в ком вижу что-нибудь для искусства своего, — как банный лист, прилипаю, и никакого у меня пред таким человеком самолюбия нет. Меня, други мои, трели кафешантанный куплетист выучил... безголосый, глупый, гнусный, но секрет трели ему дался — что твоя птица соловей! Я с ним в Нижнем две недели путался, покуда не перенял. Зато теперь, пожалуй, один во всей Европе из баритонов-то, могу трелить классическими секундами, у других, кого ни слыхал из знаменитостей, трель облегченная — на терцию тянет. У меня смолоду переходные ноты туго звучали, то есть не было в них общей свободы моей: пение говорить должно каждым звуком, вот так же просто, как мы сейчас разговариваем, — а тут — слыхать усилие, выпеваю, «ноту беру», «пою»... Ни Эверарди, ни Котоньи, ни Ронкони,

покойник, ни Буцци, ни Ламперти, никто не мог мне показать, как это избыть. Даже не понимали, чего я хочу, чем еще недоволен: звук, мол, и без того, ягодка, — самый ядреный. А избавили меня от беды моей люди, которые даже и не узнают никогда, что моими учителями были. Муэдзин в Константинополе — десять дней лишних я там прожил, чтобы слушать его вой с минарета, — да разносчик-ярославец... Мы с Наною тогда в летней оперишке одной служили... Местечко дачное, бойкое... Он — разбойник — бывало утром и вечером заливается по улице: «Малина, клубника садова! Вишня володимирска крупна!» А я за ним! а я за ним!.. Аж соседей всех мы озлобили. К мировому тянули...

Аухфиш засмеялся. Улыбнулся даже и хмурый Аристонов.

— Смейтесь! — вторил им сам Берлога. — А я этой вишне володимирской и клубнике садовой обязан тем, что Мусоргского исполняю, Бородин у меня выходит, Римский-Корсаков... да!.. Ты послушай: наши школьные, дипломированные, в хроматизме западном плавают рыбками в воде, потому что это — школьная дрессировка, триста лет заведенная, а чуть диатоническое письмо, это всем им не по нутру, и голоса у них дурацкие становятся, неуклюжие, точно слепнут. Только я да — представь себе! — этот болван безголосый, Ванька Фернандов, и выручаем. Он — потому, что в консерваторию из дьячков попал, а я — ради этой штуки — весь обиход усерднее всякого семинариста вызубрил. Хоть в попы меня ставь, — лицом в грязь не ударю. В Симоновом монастыре, в новгородской Софии, в лавре Киевской десятки служб выстоял, на клиросах подтягивал, по единоверческим церквам крюковые напевы изучал, с раскольничьими попами водился, стихеры у них перенимал... Римский-Корсаков написал хор целыми тонами на одиннадцать четвертей. Невообразимо. Все чуть языков не сломали, горла не вывихнули. Со злости, на смех ему пели: «Ни-ко-лай Ан-дре-е-вич

с у-ма со-шел. Ни-ко-лай Ан-дре-е-вич с у-ма со-шел!..» А мне это — как стакан вина выпить. Меня, брат, не удивишь. Я в голодный год в Самаре купцам-староверам пел на одиннадцать четвертей-то — по ихнему напеву — «Велия радость в мире показася», — так они мне с утешения духовного двадцать пять тысяч на бесплатную столовую отсыпали!.. Ха-ха-ха!.. Вот что называется для артиста учиться, государи вы мои милостивые! Ты голосом живую правду слови, звук жизни поймай и публике подай. А ездить на «усовершенствование» к Маркези да Ронзи там всяким, Мельхиседекам и Решке, это — не учение, но поиски клейма, — хвоста авторитетного, за который держась, можно выползти в карьеру. Да! В карьеру, а не в искусство!

Кто в состоянии научить тебя понимать музыку, если у тебя в душе — нет ей живого, неотдыхающего эхо? если твое сердце не дрожит и не пылает навстречу музыке естественным отзвуком тех самых вдохновений, из которых она родилась? если нет в тебе способности и потребности мыслить звуком? если мелодия для тебя — лишь механически выстроенный частокол красивых нот, а гармония — удачно разрешенная математическая задача? Ходить по сцене, вырядясь в исторический костюм, и красивые ноты приятно и точно из себя испускать, в определенной тональности, указанной мере и предписанном напряжении звука, — не великая мудрость: недаром же оперные труппы кишат дураками... и есть презнаменитые! Французы вон даже и поговорку выдумали: bête comme un ténor! * А вот убедить каждого человека в зале, в оркестре, на сцене и, наконец, самого себя, что — в таком-то музыкальном сочетании звуков — ты Дольчино, а в таком-то — Борис Годунов, а в этаком-то — Вотан или Альберих, — на подобное внушение — шалишь! — не вышколит тебя никто, если ты сам пламени Фра Дольчино,

* Глуп, как тенор! (*фр.*)

совести Бориса Годунова, провидения Вотанова и злобной горести Альбериха не в состоянии внутренним чутьем своим коснуться, в зеркале сердца своего отразить их, переболеть ими в течение вечера того, покуда будут литься звуки, их выражающие... Сказать ли тебе, как я однажды был счастлив — настоящий, высший суд о себе услыхал? В вагоне с купчиком каким-то проезжим разговорился. В лицо он меня не знает... «У вас, — говорит, — в городе опера очень хороша. Слушал я «Онегина», — превосходно. Особенно сам Онегин хорош...» — «Кто такой?» — спрашиваю. Отвечает: «А, право, не знаю. У меня, — говорит, — правило — в афишу не смотреть, чтобы действующих лиц фамилиями актеров от себя не загораживать. Вижу, что по сцене живой Онегин ходит... ну вот как есть такой, как его Пушкин и Чайковский воображали, — с меня и предовольно...» Да! Вот это лестно, вот это хорошо!.. Онегин, а не Берлога в Онегине!.. Так бы всегда! Это хорошо!

Учись! Да когда же мы не учимся? Я не говорю уже о чисто музыкальной стороне дела. У кого еще учиться может артист, тринадцать лет работавший на первых партиях под руководством Морица Рахе, в общем ансамбле с Еленою Сергеевною, со Светлицкою, с Машею Юлович? Где они, эти профессора-боги, которые на себя смелости возьмут, будто они лучше нас знают, что от артиста надо Бетховену, что Вагнеру, что Глинке и Бородину, что Нордману?.. А от жизни — мы каждую минуту учимся... По крайней мере, смею говорить за себя... за Лелю... за новую гордость нашу — эту Лизу Наседкину... Учимся сознательно, учимся бессознательно. Не беспокойся: все мы — непрерывное наблюдение, неутомимая переимчивость, постоянная проверка вооружения своего — идейного и технического. Ни один штрих, нужный и подходящей мне, не проморгаю: иной раз и сам не замечу, как он в меня влезет и моим станет... Едва мелькнул, — ан, вот он, — уже схвачен, тут уже... Эти вещи, брат, иногда

почти пугают. Привычка наблюдать механически работает даже в такие важные и ответственные моменты жизни личной, что потом — как вспомнишь — чуть не совестно делается, что — никак, мол, я непосредственно-то и шкурно ничего уже воспринять не могу? Никак, у меня всякое впечатление через актерскую призму проходит, — годится ли для театра? Никак, во мне лицедей совсем уже проглотил человека, и жизнь ко мне достигает теперь только сквозь стенку художественной рефлексии? Помнишь у француза какого-то — Гонкура, что ли, — актрису Фостэн? У нее любовник умирает, она от горя сама не своя, а лицом механические гримасы его повторяет, старается запомнить для сцены: мимический материал!.. Сотни раз я себя ловил на подобных штуках... Вон — сейчас — Аристонов, убить меня приходил...

— Что такое?

Аухфиш приподнялся с тахты, на которой лежал, недоумевающий, думая, что ослышался. Сергей только голову поднял и внимательно уставился на Берлогу расширенными глазами, засверкавшими удивлением и любопытством.

— Да, — со спокойным вызовом подтвердил Берлога, — убить или до полусмерти избить... за Надежду Филаретовну. Я видел это очень хорошо. Неправда, скажете?.. Будете отрицать?

Аристонов встал, тряхнул головою, заложил руки за спину.

— Если бы вы себя предо мною не оправдывали, — конечное дело, без смертного боя нам с вами не разойтись бы, — произнес он твердо и раздельно, ясным, звонким голосом.

— Господа... господа... что такое?.. Оставьте шутки... Вот глупости... Кто бы ожидал?... — лепетал Аухфиш, бледно-зеленый, хватая трясущимися руками то Берлогу, то Аристонова, то за пуговицу, то за рукав. А они стояли — один темный, как южная ночь, другой ясный, как русский день, — оба

с вызовом, глаза в глаза, и оба враждебно любуясь друг другом.

— А теперь, стало быть, разойдемся! — первый улыбнулся Берлога.

Сергей чуть склонил голову.

— Извините на сомнении. Вся видимость была против вас. Я человек простой. Наш брат подозрителен, как волк травленый, потому что простого человека всякий хочет на словах обойти — душу купить и обмануть... Обидно и страшно мне показалось.

— Так что теперь — руку мне подать — уже не откажетесь?

— За честь почту. Вы не откажите.

— И о том — о своем деле, на право говорить о котором я должен был сперва экзамен выдержать, вы тоже сообщить удостоите?

Аристонов задумался.

— С совершенною готовностью, — сказал он важно и почти свысока, как человек, владеющий особою, не для всякого смертного посильною тайною. — Только уж это в другой раз. Потому что сейчас к вам должны гости быть, а меня моя пациентка, наверное, проснувшись, с тревогою ожидает... Позвольте только одно слово спросить. Правду это в театре рассказывают, будто господин Нордман в отроческом своем возрасте убежал из родительского дома, чтобы к милостивому разбойнику в шайку поступить и в отместку за бедный народ с властями и богатеями сражаться?

— Совершенная правда. Он был страшно восторженный ребенок.

Лицо Сергея просияло нежностью необыкновенною, радостью улыбающегося умиления, святого и трепетного, точно он ангела пролетевшего увидел.

— Ну вот... — произнес он, даже покраснев и задыхаясь. — Покорно вас благодарю... А я уже боялся было, что изобретено для интереса личности.

— Относительно Надежды Филаретовны, — сказал Берлога, — вы уже потрудитесь, дорогой мой, поберегите ее до завтра. С материальной стороны, — нечего и говорить: будет сделано все, что надо и чего она пожелает, не стесняясь никакими расходами. Ну а затем... Если окажется нужным... Я ничего не имею против того, чтобы увидаться с нею лично, но вряд ли она сама того захочет. По крайней мере, до сих пор она от таких свиданий упорно отказывалась и уклонялась. А Самуил Львович, как наш постоянный посредник, надеюсь, будет настолько добр, что заедет к вам...

А у х ф и ш. Сегодня же, после обеда. Дайте адрес. Часам к девяти... Как вы полагаете, будет она достаточно вменяема, чтобы вести деловой разговор?

С е р г е й. Ручаться не смею. Лучше бы завтра с утра. Сказывают люди, будто утро вечера мудренее.

А у х ф и ш. Хорошо, завтра в десять. Только уж, господин Аристонов, пожалуйста, постарайтесь как-нибудь, чтобы я застал ее трезвою.

Б е р л о г а. Слушайте, Аристонов, — а, может быть, вы тоже остались бы с нами пообедать? а?

Сергей вспыхнул ярким румянцем.

— Очень вам благодарен, Андрей Викторович, но я вашим гостям не компания.

— Ну вот пустяки! Останьтесь. Никаких аристократов у меня не будет. Разве Силу Хлебенного за аристократа почтете. Так тот сам все в Стеньки Разины норовит.

В глазах Сергея пробежал острый огонек странного внимания.

— Это очень любопытно, — произнес он с протяжностью. — Тем не менее, Андрей Викторович, на чести благодарю, увольте. Не умею я конфузы переживать. Уж такая моя натура: в которой компании я нахожусь, должен я в ней первым человеком себя чувствовать, а то — печенка болит... Опять же — время позднее: обязан я, больную прове-

давши, вскоре собираться, чтобы поспешать к месту своего служения, в театр.

Он засмеялся.

— В последний раз... Сегодня заявляю отказ от должности.

— Так скоро? — удивился Берлога. — Зачем? Вы недовольны?

— Отлично доволен, век бы не ушел. Но подступили такие обстоятельства, что предстоит мне в неотложной скорости покинуть сей город.

— Нашли другое занятие?

— Да-с, другое... О нем и собирался с вами посоветоваться...

— Заходите, дружище. Когда хотите, тогда и заходите, для вас я всегда дома.

— Покорнейше благодарю... А относительно вас, — Сергей поклонился Аухфишу, — я, значит, буду в ожидании завтра в десять часов утра...

— Да, в десять.

— Имею честь кланяться. Счастливо оставаться.

Сергей вышел.

Берлога, огромный, радостный, стоял пред Аухфишем, хлопал себя по бедрам, хохотал и кричал:

— Вот молодчинище! Нет, каков молодчина? Ты пойми: ведь он приходил, чтобы — в том случае, если бы я относительно Наны мерзавцем оказался, — запретить мне петь Фра Дольчино! Понимаешь? Искусство и жизнь, слово и действие, артист и личность — для него — одно и то же... Двоить не согласен. Образ — так цельный! Сила — так общая! Направление — так во всем человеке! Ходи в правде наголо, с открытым лицом, а масок и иллюзий — не желаю! Докажи свое право на хорошее слово, что ты в него посвящен и его достоин, а грязным хайлом чистых слов произносить не моги, не смей!.. Ах, русские люди! Какие мы удивительные люди!

Ну где ты — в Германии, Франции, Англии — подобную публику встретишь?

Аухфиш смеялся:

— В южной Италии и в Испании, говорят, актеры боятся изображать злодеев театральных, потому что в них вот такие господа — вроде твоего Аристонова — иногда стреляют из револьверов.

Берлога воскликнул:

— Непременно, обязательно надо его свести с Силою Хлебенным!.. Это — как раз для Силы тип!.. Сила в него вклеплется, — и не расстанется с ним. Ах, русские люди! трогательные! хорошие русские люди!

XXVI

Ванька Фернандов был до некоторой степени прав, когда уверял Машу Юлович, что на первом представлении «Крестьянской войны» Наседкина «забила» Берлогу. Интересное новое выступило рельефом вперед интересного старого, к совершенству которого давно привыкли и от которого меньше, чем оно дало, публика и не ожидала. Этот перевес успеха с почтительным удивлением отметили и рецензии, не исключая статьи Самуила Аухфиша. На втором спектакле Наседкина была, пожалуй, еще ярче, чем в первый раз. Но, начиная с третьего, молодая певица, как будто немножко «сдала», а в четвертом сдала уже сильно. Успех она продолжала иметь огромный, пресловутым «do» на восемь тактов блистала и заливалась со свободою и уверенностью опыта уже удачно прошедшего и счастливо повторенного. Однако не только артисты, хор, музыканты оркестра, но даже те из публики, кто слыхал Наседкину раньше, замечали, что молодая артистка ведет партию вяло, с неохотою, будто через силу, будто ей совсем не до того, что она поет...

— Лиза! Не стойте манекеном! — шепчет ей в паузах раздосадованный, огорченный Берлога.

Она взглянет испуганно, рванется, наддаст, «нажмет педаль» — даст две-три прекрасных фразы, а там, глядь, опять увяла. Вся тяжесть оперы легла на плечи одного Фра Дольчино. Берлога из кожи вон лез, чтобы выручить спектакль и поддержать свою ослабевшую партнершу, — взвинтился страшно, был воистину велик, потрясал...

— Лиза! Что с вами? Вы больны?

Она глядела со страхом и злобою.

— Нисколько... С чего вы взяли? Как всегда...

В антрактах она не допускала теперь в уборную свою никого, кроме портних, парикмахера да полугорничной-полукомпаньонки — пожилой девицы из дальних родственниц, недавно выписанной из Севска либо Брянска за солидность, степенность и молчаливую преданность. Даже ближайшим друзьям — Берлоге, Мешканову — не отворяла. Постучалась Светлицкая.

— Лиза! Вам нехорошо? Вы плачете?

— И не думаю.

— Но я рыдания слышу. У вас истерика?

— Воображение... Горло содою полощу... Анна Трофимовна, откройте Александре Викеньтевне.

Светлицкая вошла — и обмерла, увидав в зеркале страшное, с запавшими глазами лицо ученицы своей, над которым Елизавета Вадимовна уже деятельно работала заячьею лапкою, но еще не успела вполне овладеть им.

— Боже мой! Лиза! На что вы похожи? Вам очень нехорошо? Краше в гроб кладут...

Та угрюмо огрызнулась:

— Ничего особенного. Желудок не в порядке... А пою очень скверно?

— Душечка! Откуда вы взяли? Напротив! Публика в восторге. Превосходно!

— Да! Так и скажете вы правду! Подбодряете. Нельзя ведь обескураживать артистку, покуда поет, а то дальше совсем скверно шлепнется...

— Вот фантазия! Уж и мне не верите? Конечно, вы не в ударе сегодня, но все-таки... публика в энтузиазме!

— Да и очень уж не в ударе! Не утешайте! Слышу я... Анна Трофимовна! Гадко!

Бесфигурная, безличная, безбокая, безгрудая Анна Трофимовна, ростом аршина в два без вершка, схватила из гримировальной шкатулки флакон какой-то, быстро накапала из него чего-то на кусок сахара и подала Наседкиной на чайной ложечке прямо в рот. Та схватила сахар с неестественною, почти звериною жадностью, сосала его, грызла. Зрачки ее расширились, темные пятна вокруг глаз просветлели, она ожила. Светлицкая смотрела на сцену эту с сомнением и недовольством. Быстрая перемена в Наседкиной подозрительно напомнила Светлицкой великую Н – у, гениальную артистку-пьяницу, которая когда-то ее самое, молодую хористку Александру Борх, освящала радостными вдохновениями искусства и развращала грехами пестрых своих пороков.

— Что это вы приняли, Лиза?

Наседкина подмигнула хитро и фамильярно, как — раньше — она, вообще соблюдающая этикет с усердием и пунктуальностью выскочки, никогда не позволила бы себе по адресу своей маститой профессорши.

— Малую толику одеколонцу, мамаша! — сказала она развязно, засмеялась и щелкнула языком.

Светлицкая побурела под белилами: до того не понравились ей слова и тон Наседкиной, прозвучавшие — как будто не ее, как будто непроизвольные.

— Вы пьете одеколон?! — произнесла она, понижая голос в трагический шепот.

Елизавета Вадимовна слегка сконфузилась.

— Нервы подымает... а то я сегодня уж очень кислая, — оправдалась она. — Надо же партию кончить...

Светлицкая пронизывала ее следовательскими глазами.

— Не ожидала... И давно вы нашли такое лекарство? Кто это вас просветил?

— Сама догадалась, — пробормотала примадонна, спешно оправляя на себе ленты какие-то. — Намедни ночью мне дурно стало... желудок... Гофманских капель дома не случилось, — я немножко одеколону пососала... отошло. Немножко — ничего!

— Если немножко, то, конечно, ничего. Но смотрите, Лиза, будьте осторожны! Это — вроде яда. Не наживите привычки.

— Вот еще! Разве вы не знаете, что у меня ко всему спиртному — органическое отвращение?

— В Лондоне я знала двух дам, — трезвенниц, из армии спасения. Их нельзя было заставить выпить рюмку портвейну, но умерли обе от цирроза печени, нажитого чрез хроническое отравление одеколоном. Вы уж лучше, когда вам нехорошо, валерианом подбодряйтесь либо приневольте себя — выпейте хорошего коньяку.

Елизавета Вадимовна отмахнулась с отвращением.

— Не помогает... И противно очень... Тянет на один одеколон.

— Тянет?

Светлицкую очень неприятно покоробило это слово. Но Елизавета Вадимовна под ее испытующими взорами осталась невозмутима... Ее позвали на сцену. Светлицкая шла за нею медленными шагами, полная опасений, сомнений, кошек, скребущих по сердцу, с мыслями и чувствами игрока, который был уверен, что у него на руках козырный туз, — ан, осмотрелся: не тот! — простой масти!..

А в режиссерской переметная сума Захар Кереметев уже ораторствовал:

— Вот они — скороспелые таланты наши!.. да, душа моя! да! я всегда говорил... Сейчас — шик, завтра — пшик... В карь-

еру, друзья мои, входят не нахрапом, но последовательностью и знанием. Так-то, красавцы бесподобные! Без школы, ангелы мои, артист — собака, cane *, а не певец!.. Будь я, звезды мои, подлец, а не честный человек, плюньте мне, сокровища мои, на старую мою лысину, если этой госпожи Пустошкиной хватит больше чем на один сезон!.. Что? Кто возражает? Переутомилась?.. Вы влюбленный осел, господин Мешканов, радость вы моя, позвольте вам доложить! Переутомилась... нелепое слово! Почему же не переутомились Берлога, Фюрст, Тунисов, Самирагов?.. Конечно, переутомишься, когда делаешь то, чего не умеешь. Мы с тобою, золото мое, если нам хорошо заплатят, пожалуй, ухитримся пройти по канату, но сразу же и переутомимся — и затем пас! А настоящий акробат, перл ты мой, пятьдесят концов отмотает взад и вперед — и горя ему мало.

В третьем акте — в гибнущем лагере дольчинистов, осажденных на Монте Рубелло победоносными крестоносцами, в юдоли голодных, больных, полубезумных от бессонницы и лихорадки, — Наседкина сама тряслась непритворною дрожью, как осиновый лист, и касалась Фра Дольчино ледяными руками...

— Ты боишься... зачем? чего ты боишься? — говорил Берлога, изумленный ее смятением, почти готовый заразиться им, когда оба они в ожидании следующего выхода стояли за кулисами.

Она, не отвечая, искала взглядами Анну Трофимовну.

— Скорее!.. гадко!..

Берлога говорил:

— Тебя, может быть, напугали угрозы черносотенцев? Боишься, что вправду разразится обещанный ими скандал? Успокойся. Генерал-губернатор сдержал свое слово, данное Елене Сергеевне: в полицейском покровительстве этим тварям отказано наотрез, а без полиции они — трусы — рта разинуть

---

* Собака (*ит*).

не посмеют. Да, кроме того, Леля сполитиковала: правые получили свой реванш. Сколько лет не шла у нас «Жизнь за царя», а теперь возобновили... Матвеева с Камчадаловым отличаются. Не бойся, Лизонька, все эти запугивания — одно фанфаронство, рабская ерунда!

Она слушала его со злобным, тоскующим лицом.

— Ах, отстаньте пожалуйста!.. Никакого мне дела нет до всех ваших черносотенцев, социалистов, анархистов!.. Очень они мне нужны!.. Аннушка! Да где же вы? Гадко!

И сосала свой отравленный сахар.

— Вы черт знает что делаете! — возмущался Берлога, — вы готовите себе паралич голосовых связок!

Она — уже подбодренная, — свирепо смотрела на него.

— Пожалуйста, молчите! Если вы ничего не знаете, не понимаете, то и молчите!

— Лиза! Что это за язык?

— Да — когда пристаете без всякого смысла... Аннушка!.. Гадко!

— Довольно же! Вы пьяная будете! Нам сейчас дуэт петь.

— Затем и глотаю дрянь эту, чтобы спеть. Если меня мутит? Что же вы — хотите — чтобы меня среди дуэта на сцене вырвало?

Кое-как допели... Елизавета Вадимовна блеснула двумя-тремя великолепными фразами, но цельности не было, финалы были скомканы. Публика, очень расхоложенная, разочарованная в обещанных печатью и слухами наслаждениях, принимала оперу хорошо, но без прежних восторгов. Берлога был в отчаянии. Он даже избегал встречаться с Нордманом, боясь прочесть в глазах его горький упрек. От Елены Сергеевны Берлога прямо-таки прятался. Так-то спеть отнятую от нее партию, конечно, и она могла бы, — да, пожалуй, еще получше.

«Вот оно когда оказалось-то, — горестно думал Берлога, — что я был прав, и успех «Крестьянской войны» строится на Маргарите, а не на Фра Дольчино. Стоило Лизе

ослабеть, — и опера выцвела... Ах ты несчастие! Написал же, черт, этакую махину!»

Возвратясь домой после спектакля, Наседкина, — больная, расстроенная, едва дышащая, — нашла письмо вечерней почты со штемпелем из Казани. Рука была — Сергея. Она изумилась и испугалась. Сергей — после первого представления «Крестьянской войны» — вот уже недели три — не показывал к ней глаз, ее к себе не звал, вообще не давал о себе ни слуха, ни вести. Как-то раз Риммер сообщил ей:

— А ваш протеже нас покинул... Очень жалею: превосходный был парень...

Это ее нисколько не удивило. Она давно знала, что все службы Сергея так кончаются: поработает недели две-три, потом надоест ему, и — исчез... Только с досадою подумала: «Опять придется возиться — устраивать чертушку моего!»

Но Риммер и в том ее успокоил, продолжая:

— Лучше нашего места нашел. При Силе Кузьмиче — что-то по комиссионной части. В разъездах быть.

Несколько удивляло и даже, пожалуй, обижало Елизавету Вадимовну, что, исчезая из города невесть куда с тою же внезапностью, как в город явился, Сережка не нашел нужным проститься с нею. Но в ушах ее памятно звенели значительные, торжественные слова, сказанные Сергеем тогда — на спектакле, — при последней встрече за кулисами. И, когда вспомнила, ей казалось правдою то, во что хотелось верить, чтобы была правда. Мечталось, что Сергей в самом деле отступился от нее... рушились дикие, потерявшие естественность отношения, рабскую — в конце концов — принудительность которых скрашивала только, распаляемая по старой памяти чувственность... последний призрак прошлой грубой сказки растаял... она свободна... И уж теперь-то — шалишь! в другой раз старый дружек ее врасплох не застанет и не подманит. Она сумеет застраховать и обезопасить свою сво-

боду. Если вернется Сергей и слову своему изменит — опять закапризничает и попробует лапу на нее положить, — так она против этой лапы такую другую мужскую лапу подготовит, что — ни обойти ее, ни объехать, будто шлагбаум на большой дороге. Надежда развязаться с грубою тайною давно опостылевшей, выцветшей, насильной, искусственной любви была настолько соблазнительна и радостна, что Елизавета Вадимовна даже мечтать выучилась... Пожалуй, немножко жаль было Сережки как мужчины, с которым по временам приятно было отвести — если не душу, то тело. Добродетельная роль театральной Жанны д'Арк, как прозвал Наседкину восторженный Мешканов, утомляла Елизавету Вадимовну и надоела ей страшно. Невыносимо наполнять лицедейством всю жизнь свою, чуть не двадцать четыре часа в сутки. У Наседкиной совершенно не оставалось времени для отдыха — чувствовать себя собою самою. За кулисами — либо скучная замкнутость неприступной весталки от искусства, либо — с теми, кто «свой», вроде Мешканова, — напускная веселость и ласковость доброго, славного, бесполого товарища. Вокруг восходящего светила, конечно, быстро сложилась партия поклонниц и приверженцев. Назревали уже для нее общие клички. Самой Наседкиной, Мешканову, ее первосвященнику, и Светлицкой, ее великой жрице, очень хотелось, чтобы к группе этой привилось название «молодой». Тем более что она составилась, по преимуществу, из начинающих и вторых артистов, маленьких служащих, неудачников-музыкантов, которые почитали себя в несправедливом загоне у дирекции, а потому имели зуб на «стариков» труппы вообще и на самое Елену Сергеевну Савицкую — в особенности. Но Ванька Фернандов упорно звал партию Наседкиной — даже не по ее имени, — «Санькиной командой», бесцеремонно указывая таким образом, из какого корня сие древо раздора произрастать пошло... Вне театра — либо непрерывная смена любопытной поклоннической толпы из

публики и прессы, на каждого и каждую из которой надо потрафить, показавшись умною, милою, приятною, очаровательною; либо отрекающаяся от личности работа над ролями; либо — искусственно-восторженный, притворно-стыдливый роман с Берлогою: мещанская льстивая комедия сантиментальной одалиски, грустно покорствующей своему обожаемому султану. Елизавета Вадимовна десятки раз упрекала себя, что выбрала для завладения Берлогою именно этот утомительный и приторный тон, но — делать было нечего, менять поздно: рыбу тянут из воды на том крючке, на который она попалась...

— Я была птичка... Теперь — нет... съел птичку... — шептала она, отдавшись Берлоге в первый раз.

— Ну кой черт? Не шестнадцать же вам лет! — грубо прикрикнул он, но был сконфужен.

Из всех грешников всегда наиболее смущенный — тот нечаянный, который сам не понимает и себе отчета дать не может, как его занесло в грехопадение. Втайне — наедине с совестью своею — на дне души — Берлога питал смутное подозрение, что совсем не он съел птичку, а скорее как будто птичка его съела. Но это — трагикомическое положение, которого не выносит мужской ложный стыд. Позиция Иосифа Прекрасного перед женою Пентефрия уже сама по себе достаточно нелепа, но сорокалетний Иосиф Прекрасный, не успевший от жены Пентефрия отбиться, — совсем опереточная фигура. Да и кто же говорит женщине подобные вещи? А Елизавета Вадимовна долбила про свою птичку ежедневно, ежечасно, с упорством и уверенностью дятла, лазящего по сосновому мачтовику, и додолбилась-таки до того, что Берлога наконец в птичку поверил и — опытный-то, старый, избалованный сердцеед! — серьезно вообразил себя, если не погубителем, так обольстителем не весьма молодой и очень мало красивой девицы, которая ему — физически — даже никогда и не нравилась. Наседкина хорошо видела это и понимала и, может быть, обижалась бы, если бы сама была влюблена в Берло-

гу. Но чувства ее к великому артисту втайне напоминали те, что турист на горах испытывает к своему верному альпенштоку. Очень приятно, что есть в руках этакая изящная, крепкая, упругая штука, с помощью которой скачешь через расселины и взбираешься на крутизны, — Боже сохрани, чтобы она потерялась или сломалась! — можно даже привыкнуть к известному альпенштоку, держаться всегда его одного, в руки не брать другого. Но — не влюбляются же в свой альпеншток, не пламенеют же к нему страстью! Это обстоятельство, что — как мужчина — Берлога ей не слишком нравился и самочий интерес к нему ее не одурманивал, очень помогло Елизавете Вадимовне в игре ее. Она вела свою линию тонко — не к тому чтобы влюбить в себя Берлогу, но — чтобы при помощи мифа о съеденной птичке укрепить свою дружбу с ним в отношении обязательного и неразрывного союза. Свидания любовников очень скоро стали престранные. Елизавета Вадимовна сидит за какою-нибудь работою дамскою, а Берлога — огромный и громоздкий в комнате, точно вдвинутый с площади собор, — без умолка разглагольствует, склоняясь в синей тужурке своей, куря и обставляя столы окурками, — обо всем, что только роится в любопытном, цепко хватающем впечатления, как губка, всасывающем образы, мозгу его. Развивается бесконечным кинематографом каким-то пестрое слово «о Байроне и о матерьях важных», споткнется об остроту, свернет в анекдот, перекинется в воспоминания, перебьет тему и перельется в новое русло, анализирует роль, расскажет прочитанную статью, недавний разговор, уличную встречу... Елизавета Вадимовна слушает внимательно, покуда ее интересует, искусно делает вид внимания, когда перестает интересовать, — часто отрывается от работы и провожает шагающего Берлогу серыми расширенными глазами, полными большого, подчеркнутого, требующего быть замеченным восторга. Иногда, в паузе, она громко шепчет:

— Как это хорошо! как верно!

— Вот метко сказано... как сильно!

— Право, никто не умеет определять факты полнее и глубже, чем ты, Андрюша!

— Вот об этом я всю жизнь думала и не могла понять, а теперь — сразу и вполне поняла... Ты, Андрей, удивительный популяризатор!

Берлога, проходя, погладит бедную птичку по светло-русой голове, — «съеденная птичка» поймает его руку и поцелует.

— Лиза! Как можно?

— Это не я у тебя руку целую, но моя любовь — у твоего гения.

Она видела, что чувственностью Берлогу не удержит, и умно терпела — не вешалась ему на шею, как влюбленная молодица, а только сводила дело к тому, чтобы — как могла больше — завладевать его временем, вниманием, компанией. Веселый, живой, остроумный утренник у Светлицкой после скучного ужина, которым чествовал Нордмана Сила Хлебенный, понравился Берлоге, и он стал бывать на интимных журфиксах, которыми обменивались теперь знаменитости — старая учительница и молодая ученица. Собирались, кроме самих хозяек, Берлоги и Мешканова, исключительно те, кого Ванька Фернандов язвительно ругал «Санькиной командой». Капельмейстер Музоль: дирекция не подпускала его ни к Вагнеру, ни к Римскому-Корсакову, но «Фауста» он отмахал уже 157 раз, «Русалку» раз восемьдесят, «Сельскую честь» и «Паяцев» раз пятьдесят. Камчадалов — красивый тридцатилетний парень, образованный и неглупый, обладатель громадного баса, который соблазнил его променять университет на консерваторию и адвокатуру на оперную сцену: думал быть, если не вторым Берлогою, то, по крайней мере, Фюрстом, а засел на вторых партиях — в Вагнерах, Зарецких, Битерольфах. Лишь изредка удавалось ему пореветь Марселем в «Гугенотах» или Сусаниным в «Жизни за царя». Его сожительница и покровительница, примадонна Матвеева — надменное, ядо-

витое, преувеличенною костлявою стройностью на дорожную осу похожее, черноглазое существо, с быстрым, будто стальные стрелы рассыпающим, взглядом, — наполовину натуры своей составленное из закулисного чванства и местничества, а на другую половину — из тихой, змеиной злобы против Елены Сергеевны Савицкой, которую Матвеева много лет дублировала в лирических партиях. Хорошенький, маленький шарик, вечно улыбающаяся и вечно безмолвная, будто немая, mezzo-soprano Субботина, прильнувшая к Елизавете Вадимовне чисто институтским бескорыстным обожанием, достойным ее двадцати двух лет. Художник Дюнуа — всеевропейский талант и всеевропейский же сплетник и клеветник, знаменитый тем, что в жизнь свою не произнес ни одного собственного имени, не снабдив его каким-либо пакостным эпитетом. Интриги и клеветы свои Дюнуа разносил без всякой пользы для себя, иной раз даже во вред себе, — просто по собачьему нраву и мещанскому темпераменту. Всех перемутит, перессорит, перепутает, — здесь хитренькою ложью, там правдою некстати, — а сам отойдет в сторонку и радуется, точно кумушка, расстроившая свадьбу или стравившая молодых супругов в первую ревнивую драку. Перед этим барином сам Захар Венедиктович Кереметев пасовал... а уж, кажется, был тушинец природный!

Берлога Дюнуа терпеть не мог и, конечно, пользовался со стороны художника совершеннейшею взаимностью. Но Дюнуа имел способность внедряться, клещу подобно, даже в те общества и круги, где твердо знали, что он за птица, и заведомо не верили ни единому его слову. Он был забавен, как злой шут, — и Светлицкая даже так и приглашала интимных друзей на чаепития свои:

— Приходите, голубчик, не соскучитесь: будет Дюнуа — он поклевещет, а мы посмеемся.

Сейчас Дюнуа был особенно свиреп. Заведующий монтировочною частью в театре Савицкой, художник Константин

Владимирович Ратомский покидал свою должность, потому что получил профессуру в Петербургской академии художеств. Дюнуа считал себя законным преемником Ратомского. Но Елена Сергеевна — именно боясь его характера невозможного — вместо того чтобы предложить освободившуюся вакансию Дюнуа, списывалась о ней с Репиным, Саввою Мамонтовым,Станиславским, прося их рекомендаций.

— Я знаю, что Дюнуа — талант, — говорила она. — Но от этого таланта у меня — через неделю — сбежит старик Поджио, через десять дней забастует костюмерная, а через месяц разбежится труппа.

Из посторонних театру лиц бывали на журфиксах иные — наиболее излюбленные — из учениц Светлицкой. В том числе обязательная — Мимочка и Мумочка, две сестры, наследницы миллионного состояния, тощие выродженки из коммерческой аристократии, с сумасшедшими глазами, издерганные, изломанные, истерические, в хитонах, причесанные по Боттичелли, с вывихами вместо жестов, с цитатами из Валерия Брюсова, Бальмонта, Блока на устах, ярко и широко накрашенных «под вампира». Они следовали за Александрою Викентьевною, как две неотлучные комнатные собачки, ловили каждое слово ее, каждый жест: были и смешны, и жалки, и противны в своей даже не рабской — обезьяньей какой-то преданности. И, наконец, новый ученик Александры Викентьевны — Саша Печенегов. Полное имя его оказалось Александр Никанорович, но как-то никому не понадобилось: юный красавец так сразу и пошел в Сашах по всему кругу новых артистических знакомств. Бандурист, гитарист, фокусник, анекдотист, плясун — парень на все руки, бой-голова и душа общества — Саша Печенегов быстро сделался в доме Светлицкой своим и первым человеком. Ученицы от него были без ума. Учительница, хотя солидничала и соблюдала ласковую строгость, но уже звала Сашу и «сынком», и «деткою», и «дурачком»... Голос Печенегова Светлицкая скрывала от всех, строго запретила ему петь где-либо

в обществе, занималась с ним отдельно, по вечерам, окончив все уроки, каждый день часа по два и больше. Таинственность эта и пристальное усердие занятий возбуждали любопытство. Даже Берлога шутил:

— Светлячок! да никак вы, интригантка бессовестная, изменили мне? Тихую сапу под меня ведете и готовите мне из-за угла молодого конкурента?

— Где уж! Вы, гений наш, несравненны и незаменимы!.. А следовало бы. Хотя бы уже за то, что вы Лелю Савицкую всегда любили больше, чем меня!

Когда Елизавета Вадимовна впервые встретила Печенегова у Светлицкой, ее даже в сердце толкнуло.

— Вот чудеса... Совсем бы Сережка мой!.. Только что молодой очень... и барин...

И в ней шевельнулось что-то вроде зависти к Светлицкой: старуха, а сумела «приспособить» себе подобного молодца! Что амплуа Печенегова при старой актрисе — не столь ученическое, сколь амурное, Елизавета Вадимовна, зная нравы профессорши своей, нисколько не сомневалась.

На журфиксах пили необыкновенно много чаю с печеньем и вареньем, — вино подавалось только для Берлоги да Мешканова, — говорили о предметах модных и умных, непрерывно сплетничали и очень гордились тем, что эти изящные и чинные собрания, столь полезные для ума и сердца, не похожи на безалаберные «оргии» у Машеньки Юлович, где, хоть до белого света просиди, слова путного не услышишь: не пьют так играют, не играют так дурачатся, точно дикарские дети.

— Юродство какое-то! — хихикал Дюнуа. — Недавно затащил меня туда идиот ваш, армяшка Самирагов... ему, бурдючнику, лестно, что там кахетинское ведрами хлебают... не он ли и поставляет еще? Поди, самому бутылка анилину этого копеек восемь обходится с посудой, а Машка-дура полтинник платит... хи-хи-хи!.. Приходим: зрелище!.. Шулер этот клубный, Ванька Фернандов, посреди гостиной на полу в шубе ле-

жит, будто покойник, а остальная компания — старый мул Ромка Фюрст, Тунисов, подлец безголосый, Бергер, хормейстер наш бездарнейший... н-ну и другие — замялся он, потому что как раз вошел Берлога, — ходят вокруг него гусем, со свечами в руках, и отпевают мертвеца — заунывнейшими голосами орут хорал этакий остроумный:

Жил-был на свете Шуберт,
И шубу он носил:
За то он звался Шуберт,
Что шубу он носил!

Шуман — потому Шуман, что шум производил... Чайковский — потому что чай и кофе пил... Черт знает что! Будто сто валаамовых ослиц сочиняло!.. Нордман, сосулька шведская, как тапер какой-нибудь непристойный на рояле аккомпанирует... Машка-дура с этою своею прихлебательницею Юлькою... ну как ее? сто лет без году Марту поет и в квартете всегда фальшивит?

— Тургенева? — подсказывал басом Камчадалов.

— Именно... Рожа естественнейшая и потаскушка: была в нашего парикмахера влюблена, так он от нее по мужским уборным прятался... Сидят на диване, смотрят, за бока держатся, хохочут...

— Бедный Нордман! — вздыхала Светлицкая. — Он совершенно погибнет в этом безобразном омуте.

Берлога заступался:

— Во-первых, я в этом омуте — тринадцать лет купаюсь и погибели никакой не ощущаю. Во-вторых, Дюнуа, по обыкновению, из мухи слона делает. А в-третьих, Маша — добрейшая душа на свете. К Нордману она привязалась. Любит и бережет, как родного сына. И он к ней тоже лучше родного сына, послушен и нежен. Да и понятно: один никогда не знал материнской ласки, у другой инстинкт материнства остался неудовлетворенным. Два горя поняли друг друга и слились в сочувствии.

Дюнуа подхихикивал:

— Ну-с, насчет материнских чувств Марьи Павловны Юлович к молодым людям вы нам очков не втирайте, в этом отношении мы осведомлены давно и всесторонне-с...

— Какой у вас гнусный язык, Дюнуа!

— Господину же Нордману я удивляюсь: кажется, человек молодой, за что-то там успех имел, есть даже такие, которые его талантом и гением воображают, а ничего лучше не придумал из себя сделать, как примазаться на содержание к бабище старой.

Берлога обозлился и помрачнел.

— Что еще за мерзость? Откуда это?

— Представьте: говорят... Я тоже слышала... — вполголоса и ужасно удивленным, недоверчивым голосом поддакнула потупившаяся Светлицкая. — Конечно, вздор: никогда не поверю... Но — какая Маша, право, безалаберная и странная! Люди так злы... Зачем же — подавать повод?

— Говорят-с в труппе, говорят, — резанул басом Камчадалов.

А осоподобная чопорная супруга его вонзила жало:

— Кто же не знает, что Марья Павловна оттого и без денег вечно сидит, что все свое огромное жалованье тратит на разных господ, которые ее дурачат, будто в нее влюблены?

Дюнуа шипел:

— Господин Нордман в театр чуть не в опорках пришел, а сейчас — посмотрите, какой шик: одет у лучшего портного, часы-хронометр...

— Отчего же ему не одеться прилично и не завести часов? «Крестьянская война» приносит ему хорошие деньги.

— Нет-с, ошибаетесь, ни гроша-с. Знаем мы. Ваш же жулик, Риммер, каторжник этот беглый, говорил, что деньги-то за «Крестьянскую войну» — все до копеечки — мамаша господина Нордмана забирает прямо из кассы... до начала спектакля придет и до еще — тоже — сутенеришку своего приводит для контроля... в брильянтах мерзавец-то!.. Содом и Гоморра!.. Тьфу!

— Ну так позвольте же вам сказать, — оборвал разозленный Берлога, — что это я пополам с Силою Кузьмичом Хлебенным, — мы двое выдали Нордману аванс под «Мальву», которую он теперь пишет... Вот откуда у него деньги. И Маша Юлович тут ровно не при чем! И потрудитесь вы это вперед знать, и укротить воображение, и пришпильте язык ваш!

Дюнуа нисколько не смутился. Он от Берлоги на веку своем и не такое принимал: только бит не бывал, а слова летали всякие.

— Ах, вы с Хлебенным? — протянул он с ударением, — ну это, конечно, дело десятое. У лысого борова денег много, ему кармашки почистить и Бог велел.

Набрал со стола сладких сухариков и невинно ушел со стаканом чаю в скромный уголок, рядом с Печенеговым, — прихлебывать и жамкать с наслаждением ребенка чистого: на душе его было светло и радостно, — успел-таки довести до белого каления ближнего своего!

Елизавета Вадимовна при подобных разговорах безмолвствовала, держала очи потупленными и только горела женственным румянцем стыда и возмущения за человечество да скорбно поглядывала на Берлогу: вот видишь, мол, с какими дрянными людьми ты водишься, в каком недостойном обществе вращаешься! как же мне не беспокоиться о тебе, не страдать за тебя всею гордостью и всею любовью моею?

Печенегов — со своею победительною улыбкою, в веселом сиянии ласкового взгляда и солнечных кудрей — наклонился к Дюнуа с тихим вопросом:

— Отчего Андрей Викторович рассердился на вас? Они родня или в дружбе с господином Нордманом?

Господин Дюнуа посмотрел на него светлыми глазами и — не замедлив — брякнул экспромтом:

— Просто, — оба педерасты!

Сказал — и даже сам своим вдохновением озадачился, кажется. Но господин Печенегов совершенно удовлетворился.

— А-а-а! вот что...

И на дальнейших объяснениях не настаивал.

Берлога никогда не оставался на журфиксах этих долго: он был слишком модный человек в городе, в течение вечера ему необходимо бывало показаться в местах — самое меньшее, двух-трех. Поэтому и характер журфиксов был двойственный. При Берлоге, как заклятом «красном», заведомом социалисте, хозяйки искусственно и льстиво поддерживали тон умеренного покладистого либерализма, который всего чаще встречается в русских артистических кругах, успешно помогая иным счастливым обладателям своим поутру — петь революционные песни, а вечером — пить брудершафтом с полицеймейстером и произносить патриотические монологи в черносотенных пьесах. Но, как скоро Берлога отбывал, — осторожно, понемножку, полегоньку начинались другие речи. Супруги Камчадаловы, оба неглупые поговорить, затягивали, — заученными словами и готовыми фразами, будто воланами, быстро перекидываясь, — тягучую канитель великих истин и общих мест о высшем назначении и божественной свободе искусства. Светлицкая восторгалась гением Берлоги, но сожалела, что он стоит на ложном пути, и негодовала, зачем он ставит искусство в положение служебное, как бы подчиненное идеям социального и политического порядка...

— Гений музыки выше всех условий действительности. Я так много жила за границею, что сама с молодых лет республиканка в душе, но — когда пою Ваню в «Жизни за царя» — то, в сцене у монастыря, плачу искренними слезами.

— Суют политику в музыку, — рубил Камчадалов, — прока никакого, а театр, того гляди, погубят!

— Мне искренно жаль Лелю Савицкую, — вздыхала Александра Викентьевна, — но я боюсь, — что — при возобновлении контракта с городом — она встретит большие затруднения.

Дюнуа, словно сигнал поймав, добывал из кармана ближайший номер «Обуха» и принимался шипеть, вылавливая

оттуда преядовитые цитаты. Больно доставалось всей антрепризе, — Берлоге, Рахе, Нордману, но ехиднее всего — лично Елене Сергеевне Савицкой как укрывательнице и корню всех зол... Дамы ахали, ужасались, возмущались, что грубо и дерзко, но смеялись: противно, мол, а нельзя удержаться, — уж слишком бойко написано...

— И ведь есть-таки частица правды... сознайтесь, что есть... — твердил злопыхающий Дюнуа.

Светлицкая. Ну где же?.. Разве немножко... Бедная Леля! Это удивительно, как на нее злы!

Камчадалов. Нисколько не удивительно. Постановкою «Крестьянской войны» Савицкая, конечно, совершила величайшую бестактность.

Наседкина. Ай, не нападайте на «Крестьянскую войну»! Не отдам, никому не отдам мою милую Маргариту!

Матвеева. Или опера, или политика. А если вы вводите в оперу политику, то — что же удивляться, если потом в театр входят городовые или врывается толпа протестующей партии?

Светлицкая. Ну эта опасность, кажется, слава Богу, миновала.

Дюнуа. Это бабушка еще надвое говорила!..

Наседкина. Ах какой злой! Типун вам на язык!

Мешканов. Хо-хо-хо!.. Прошла, прошла опасность... Уже умилостивительную жертву — хо-хо-хо! — принесли... «Жизнь за царя» возобновили... И нашим, и вашим отслужили... хо-хо-хо!

Камчадалов. Прошла или не прошла — все равно. Елена Сергеевна не имела нравственного права подвергать театр опасности. Она рисковала делом, которое непосредственно кормит, по крайней мере, четыреста человек.

Дюнуа. Мне рецензент «Обуха» прямо сказал: наши отказались от скандала только потому, что в «Крестьянской войне» занята Елизавета Вадимовна Наседкина. Мы желаем ей полного успеха и очень жалеем, что ваши заправилы впутали ее в эту историю.

Наседкина. Я?! При чем здесь я?! Кажется, никому не высказывала своих убеждений... Да у меня их и нет. Мой взгляд: артистка должна помнить только свое искусство. Что мне дали, то и учу. В этом моя жизнь. Мне некогда глядеть по сторонам.

Дюнуа. Вы — ученица Александры Викентьевны. Александру же Викентьевну, хоть она и республиканка в душе, «Обух» и все правые уважают как нашу национальную славу... последнюю настоящую представительницу эпической сцены русской! Она носительница традиций Глинки. Это-с — не баран начихал!

Но, отходя, шипел на ухо Мешканову:

— Просто «Обуху» взятку тысячную заплатила, стерва, чтобы вел против Лельки агитацию поядренее... С подлецом Брыкаевым снюхалась, шепчется, ученичку ему свою какую-то подвела смазливенькую... Вся интрига белыми нитками шита. Если бы не против Лельки-гордячки, я бы ее, Сафу десятипудовую, пошпиговал бы, пошпиговал-с... жареным карасем на сковороде она у меня завертелась бы!

Желто-зеленые Мимочка и Мумочка целовали у Светлицкой руки в ладони, она целовала их в лобики:

— Великая! Прелестная! Божественная!

— Ах, мои милочки!.. ах, мои дурочки!..

Камчадалов дудил голосом, как филин упрямый:

— Если Савицкая сорвет театр, то мы все останемся без куска хлеба... среди сезона! Да! Без куска хлеба... Первачам хорошо, а мы — куда денемся?

— Пожалуйста! — вспыхнула осоподобная Матвеева и выпрямила длинную, узкую талию, словно спираль, готовую раскрутиться и вознести маленькую, черненькую, желтолицую голову свою, до потолка. — Говори за себя! У меня ангажементы всегда готовы.

— Да! У тебя есть имя, а меня семь лет в уксусе мариновали!

— За мною — и ты пройдешь! — милостиво разрешила супруга.

Мешканов твердил, даже без обычного хохота:

— Не в том штука, где кто новое место себе найдет, а в том, чтобы это старое наше место не пропало, чтобы наш театр не погиб. Савицкая может проиграть свою игру, но театр — во что бы то ни стало — должен уцелеть и сохраниться.

Даже всегда молчаливый чаепийца, способный опустошить два самовара, не произнося ни единого слова, — тощий и длинный скелет — чех капельмейстер Музоль — обрел дар слова и возглаголил:

— Если общество потерял доверия на одна дирекция, то должен был быть новая дирекция, на которая общество своя доверия был возвратил.

Эта удивительная фраза немого оракула как бы сломала лед. Заговорили начистоту. Камчадалов вытянулся во весь колоссальный рост свой и ревел, словно Сусанин в лесу, среди поляков:

— Что там вокруг да около... Вали прямиком! Я человек простой, — как чувствую, то и говорю! В таком разе, матушка Александра Викентьевна, истинно только на вас, голубушка, вся наша надежда!

Светлицкая испугалась, аж замахала округло и плавно мясными бревнышками, которые заменяли ей руки.

— Что вы!.. что вы!.. вот сказал!.. я и не воображала никогда... это уметь надо... У Лели гений, практический смысл... А я?.. что вы! Мне страшно и подумать...

— Вы должны спасти театр! — авторитетно произнесла Матвеева, гордо меча вокруг себя стрелоносные взоры. — Кроме вас — некому! Я имею свою амбицию и никому не позволю наступить мне на ногу, но пред вами первая склоняюсь, потому что вы вся — живая заслуга пред русским искусством. У вас традиции Глинки. Вы одна имеете необходимый авторитет.

Мешканов. Да. Уж если выручать дело, то — кроме вас — некому. Потому что и для публики вы — имя, и труппа привыкла видеть в вас... хо-хо-хо! уж извините, если выйдет не комплиментом дамским... хо-хо-хо! как бы старейшину нашего персонала...

— Спасите театр! Обновите театр! — визжали и лепетали, колеблясь, подобно двум иссохшим камышинам, Мимочка и Мумочка.

И даже улыбающаяся, алеющая, но никогда не говорящая куколка Субботина пискнула, густо покраснев, что-то вроде:

— Это ваш долг перед товарищами... У вас традиции Глинки...

— Но, господа, — защищалась Светлицкая, слабая, умиленная, с крохотными слезинками в круглых черных глазах, с улыбкою недоверчивого, грустно-насмешливого счастья на ало крашенных губах своих, — ведь по городскому контракту театр не может быть сдан товариществу, необходима антреприза. Значит, — сохрани нас Бог от подобной возможности! — значит, если бы мне пришлось заменить Лелю во главе дела, то я должна буду взять антрепризу... Но у меня же нет денег для подобной ответственности!.. где же деньги, господа?.. За мною не стоят миллионы Силы Кузьмича Хлебенного... Где же я возьму денег?

Мимочка и Мумочка хитро переглядывались, пересмеивались и целовали у профессорши своей руки, а она их — опять ответно чмокала в лобики. Камчадалов ревел:

— Что деньги? Ваше имя, ваш опыт, ваше руководство, традиции Глинки — вот наши деньги! Пред вами все золотые мешки развяжутся и полуимпериалами рассыпятся!

Светлицкая лепетала:

— Еще — если бы быть уверенною, что войдут в дело Лиза и Андрей Викторович...

Наседкина отвечала немедленно, со спокойным достоинством:

— В моем желании работать под вашим, Александра Викентьевна, руководством, вы, Александра Викентьевна, сомневаться не можете.

— Я не о руководстве говорю. Где уж мне руководить вами, Лиза! Конечно, вы — моя ученица, но далеко опередили свою старую учительницу.

— Александра Викентьевна, вы слишком добры ко мне, слишком, слишком хорошего мнения о моих успехах!

— Нет, нет! Я знаю, что говорю... Если бы я была хоть немного моложе, то с наслаждением поучилась бы у вас многому, чего мне самой недостает... Не о руководстве, Лиза, я говорю, но ищу товарищества вашего... Будьте мне товарищ! Одна Светлицкая ничего на себя не возьмет и не предпримет. Я поняла бы и могла бы взять лишь общее дело, лишь оперу Светлицкой и Наседкиной.

И они — обе прослезясь — обнимались, на глазах умиленного общества. Только Матвеева корчила тонкие губы свои насмешливою гримасою в сторону Дюнуа, а тот шипел змием библейским:

— Поцелуй гадюки с ехидною!

Красавец Печенегов на время серьезных разговоров и специальных артистических споров ученически стихал, почтительно безмолвствовал и внимательнейше слушал. Было не разобрать, умен он или глуп, хитер или наивен. Был любопытен и временами брякал курьезные отсебятины. Однажды, когда Дюнуа, захлебываясь, читал вслух какую-то мерзость из «Обуха», Печенегов вдруг похвалил:

— А у вас хороший слог!

Дюнуа закрутился ужом и даже не сразу нашелся, что ответить. Матвеева коварно усмехнулась. Мешканов грохнул, — а Печенегов наивно оглядывался:

— А что? Не так?.. Виноват, я думал, — это ваше сочинение.

Было в мальчишке этом что-то предупреждающее: пальца в рот не клади! И сквозило оно настолько, что осторожная и умная Светлицкая, приглядевшись к новому ученику своему, теперь совсем не торопилась любовною авантюрою, на которую Пече-

негов сам так откровенно предложился и ради которой она приняла его в школу свою и под крыло свое. Черт его знает, что обещает, когда они наедине, его загадочно-веселый, вечно смеющийся — точно у какого-нибудь греческого бога архаического — взор. То ли убеждает: «Чего ты, милая женщина, ломаешься и время тянешь? Друг друга понимаем, люди без предрассудков... Дерзай! За чем пойдешь, то и найдешь».

То ли стережет: «Ужо, старая, — только проворонь себя, ослабей, сдайся в мои лапы! Узнаешь ты у меня ежовые рукавицы и как пиявки из тела кровь сосут!»

За недоразумение с Дюнуа Печенегову от Светлицкой втихомолку досталось, но он получил неожиданную поддержку со стороны Елизаветы Вадимовны Наседкиной:

— Мне кажется, вы правы, — прошептала она ему украдкою, — наверное, этот антипатичный господин Дюнуа сам все подобные пасквили пишет.

А Мешканов — вместе шептавшийся — одобрительно подтвердил:

— Хо-хо-хо! Кому же еще?.. Хо-хо-хо! Недаром они ему так нравятся... Хо-хо-хо! По-авторски смакует! Известный прохвост!..

Елизавете Вадимовне Печенегов очень нравился. Она сразу почувствовала и угадала в нем «свой тип» — тот самый, который когда-то пленил ее, пятнадцатилетнюю девочку, в молодом лихаче-кудрявиче Сергее Аристонове. Теперь былая любовь стерлась, как старая монета, вышедшая из курса и обреченная на переплавку. Сергей для Елизаветы Вадимовны стал привидением из другого, покинутого мира. Связь с ним превратилась в утомительные, тяжелые кандалы, которые пора и было бы радостно сбросить. Но пристрастие к типу осталось. И теперь — встречая в Печенегове как бы новое издание молодого Сергея, да еще исправленное и облагороженное, от дворянского корня и с дворянским воспитанием, — купеческая дочь Лизавета Наседкина проснулась в прославленной примадонне

и, хотя еще не запылала, но уже затлела сердчишком. Если же не запылала, то — надо Елизавете Вадимовне честь отдать: исключительно из-за Светлицкой. Как ни привлекателен для нее был Печенегов, но, почитая его любовником старой певицы, она, во избежание вящего соблазна, даже и смотреть на него избегала. Ссориться или хоть неприятности иметь с Александрою Викентьевною из-за мальчишки какого-нибудь она совсем не желала. Однако Светлицкая тонким нюхом своим почуяла затаенные дыхания этой влюбленности. Старуха прикинула в уме шансы и козыри, которыми обогатит ее театральную игру новая, неожиданная комбинация, — нашла их выгодными, — и возблагодарила судьбу, что еще не успела произвести господина Печенегова в свои альфонсы. Она рассуждала: «Лизанька в последнее время стала уж слишком самостоятельна и носик подняла кверху. Надо на нее уздечку. Что ей скучно с Берлогою, вполне понимаю: это разговорщик, а не любовник, — маньяк и фанатик не от мира сего. При всей его артистической чувствительности, рыцарского культа к женщине в нем нету ни на грош, в любви он холоден, рассеян и небрежен. Это для него в житейской очереди — второй и даже третий номер. Ужиться восемь лет с такою мещанскою колодою, как Настенька Кругликова, в состоянии только человек, для которого в любовном наслаждении никаких идеализаций уже нет, — одна физиология, да и та ему нужна не очень уж часто и настойчиво. Я уверена, что — если милейшего Андрея Викторовича позовут среди ночи поспорить об искусстве с Морицем Рахе, Лелею Савицкой, Нордманом либо даже со мною, старухою, он способен очень спокойно уйти из алькова не только Лизы Наседкиной, но хоть самой Клеопатры Египетской... Лизе двадцать восемь лет, человек она здоровый... Если Андрей Викторович Берлога украсится рогами, то рога свои он заслужил. Но Берлога Лизе нужен и долго еще будет нужен. Она это понимает и открытым каким-нибудь похождением ни за что не решится его оскорбить. А тайную

интригу будет прятать и дрожать, — не открыл бы. Потому что не так-то уж очень прочны все эти разговорные любви. Нежности словесной много, но — первая ревность с доказательствами, и все летит кувырком! Ну вот, стало быть, любовную тайну-то вашу, Елизавета Вадимовна, вы мне и пожалуйте! Любовника вы получите, но из моих рук. А потом, если вздумаете закидываться и фордыбачить, то я за секрет-то ваш и дерну вас, как куклу за ниточку».

И великодушная профессорша, не задумываясь далее, похерила все свои прежние личные намерения насчет интересной особы господина Печенегова, а роману или, вернее сказать будет, поползновением к роману с ним Наседкиной искусно дала цвести и развиваться.

Господин же Печенегов тем временем переживал несколько смутные дни, потому что не понимал своего положения. Так должен был чувствовать себя гимназист Буланов (из «Леса») в усадьбе помещицы Гурмыжской: зачем приглашен — знает отлично, готовность покорствовать и угодить — полнейшая, а между тем не зовут и не требуют, предложение остается без вопроса. Твердо уверенный, что судьба его и карьера — в Светлицкой, он выдерживал себя в кругу дам и девиц ее общества чрезвычайно строго. Однако между ним и Наседкиной вышел однажды странный разговор. Печенегов показывал карточные фокусы, рассказывал еврейские и армянские анекдоты.

— А что? — предложила вдруг Наседкина, мечтательно глядя с качалки в потолок, — умеете вы молчать?

— Как, Елизавета Вадимовна?

— В состоянии вы промолчать минут пятнадцать... двадцать?

— Конечно. Но зачем, Елизавета Вадимовна?

— Просто, — хочу знать, можете ли вы молчать, если надо?

— Если вы прикажете, Елизавета Вадимовна, я готов перемолчать даже белугу.

— Будто?

— Честное слово. Та, когда ее из воды вынимают, ревет, а я — хоть в огонь, хоть в воду — не пикну.

Она скользнула по лицу его смеющимся серым взглядом, будто чешуею змеи под солнцем поиграла, и сказала:

— Посмотрим... когда-нибудь попробую... интересно испытать...

Как-то раз на уроке, в антракте вокализов, Печенегов подробно рассказывал Светлицкой о смешном и беспутнейшем маскараде в одном из театриков местных. Светлицкая много смеялась... Прошло дней десять. И вдруг Печенегов получает анонимную телеграмму, приглашающую его именно в такой точно беспутный маскарад.

Полетел расфранченный, праздничный, торжествующий. Он не сомневался, что наконец — свершилось! — вызывает его Светлицкая... решилась-таки покончить с условными комедиями и прелюдиями: альфонс так альфонс, разврат так разврат!..

Влетел в назначенную телеграммою ложу. С диванчика поднялась дама в черном домино. Озадачился: нет, не Светлицкая — ростом выше, не та фигура...

— Ну-с, посмотрим, как вы хорошо молчать умеете! — заговорила она ему навстречу.

— Елизавета Вад...

— Т-с-с! Два уговора: маски не снимать, имен не произносить...

XXVII

В письме Сергея Аристонова из Казани Елизавета Вадимовна прочла следующее:

Любезная Лизета!

В последний раз дерзаю называть тебя сим нежным именем, потому что жребий судьбы моей совершился и ты никогда боль-

ше не увидишь меня ни живым, ни мертвым. Жизнь моя доселе была пуста и небрежна, и я мотался в недрах вселенной, подобно горошине в пустом пузыре, куда фатальный случай бросит, и никому не был полезен, а многим вреден, в том числе прочих всего больше себе самому. Так как, воображая гордое величие своей неукротимой натуры, утешался непокорством, что живу, ничего не делая и никому не уважая, но в действительности на место того теперь вижу в себе пример унижения чрез самодурство, что был я просто бездельник и шематон и даже мог очутиться на стезе отчуждения вроде как бы праздного и преступного хулигана. Чрез каприз своей фантазии тебе, Лизета, я много напрасного зла причинил, в чем, прошу тебя, прости мне гордость поведения, которым стеснял твою могущественную породу, предназначенную для очарования умов человечества, чтобы восхищались и делались лучше чрез просвещение, чего в тебе прежде, будучи недостаточен образованием, не понимал. Уважаю твой великий талант, Лизета, и того свинства ты от меня никак не увидишь, чтобы лег камнем на дороге твоей, как скоро усматривается она обществу на пользу и бедным людям в надежду избавления от суровых тягостей несносных судеб. Не товарищ я тебе, Лиза, в торжестве твоего профессионального совершенства, чрез которое ты возносишься к сферам! Андрей Викторович доказал мне чрез талант свой бесплодие моего существования, тогда как человек обязан, подобно Фра Дольчино, жить и работать для свободы подобных ему индивидуев, и который к тому не оказывает поступков, тот есть трутень своего улья и подлежит истреблению. Потому что — кто других не освобождает, тот сам не свободен, и он есть природный раб, так что представляет собою позор для человеческой породы и человеческая порода не должна того позора в себе терпеть. Который природный раб собою много самодоволен, то лучше взять его и повесить за шею или утопить в реке Волге, чтобы не застил света прочим, которые в своем свободном сознании. Понявши всю свою прежнюю напрасность, не хочу я чувствовать себя подверженным подобной недостойной судьбе, и ухожу я в жизнь грозную и на дорогу страшную, а — как и куда, тебе того знать не надо, о том только грудь моя знает да еще один человек, который и груди своей вернее. Знаю, что дорога та для меня безуспешная, и кроме как

сломить на ней свою буйную голову, другого исхода для себя не жду. Но мне то все равно, даже радостно. Потому что так себя понимаю, что — лишь бы людям пример дать. Потому что я, как образования лишен и примерами цивилизации подавлять не в состоянии, то, по крайней мере, должен обнаружить душу большую, которую в себе ощущаю, и дала (зачеркнуто: «ъ») мне ее всемогущая (зачеркнуто: «ий») природа (зачеркнуто: «Бог»), чтобы положить ее за ближних братьев моих. Лиза! прости и прощай! Никогда меня не увидишь! Прости, прости, ежели мало любил! Видно, не для женской любви я на свет родился. И, сколько ни любил, все равно: последняя ты была у меня, больше уже никого любить не стану и не успею! Спасибо тебе, Лизанька, за всю твою девичью ласку, а — коли что услышишь теперь обо мне, то молчи и в знакомстве со мною не признавайся, потому что тебе может быть чрез то вред: иду я на такое дело, в котором чужих голов не щадят и свою оставляют. Последняя моя просьба будет, чтобы ты строго сохранила секрет насчет наших с тобою отношений от Андрея Викторовича. Нехорошо мы поступали, что обманывали такого отличного человека. Вина в том моя, и всю ее без остатка с тебя на свою совесть беру. Крепко я его возлюбил, потому что добродушный он человек и имеет в себе простоту, которая сама своей силы не понимает. Очень это огорчительно и стыдно быть против него коварным лицемером и предательскою свиньей. Я пред Андреем Викторовичем всю свою душу до донышка выложил, каков я был, кто я таков и как дальше быть намерен. Только насчет тебя одной утаил, потому что не смог, совестно. А, главное, поопасался, чтобы ему чрез то душу не поранить и большой боли не причинить. Все равно этого больше уже не будет, так зачем знать, что было? Все прошлое, как мертвое, зарываю в земле! А ты, Лиза, если судьба пошлет тебе счастье и устроит тебя с Андреем Викторовичем в настоящий любовный союз, люби его, береги и жалей. Потому что великая это для тебя честь, что ты нашла близость и благоволение в его душе, широкой и вдохновительной. К ней с одним своим расчетом и голою корыстью подходить — все равно, что святое место ограбить.

Прощай! Адреса не даю и ответа не жду. Считай так, что я умер, и письмо мое есть завещание. Мой паспорт сожжен, и личность

уничтожена. Имя испепелено, и от жизни отказ, а от рода-племени нечего и отрекаться, потому что их у меня не было. Прости — прощай, Лизета!

В закатный час поди к реке смотреть,
Как волны свинцовые катятся, будто змея.
Которая волна будет кровью гореть,
Та самая волна есть моя!

Лихом не поминай, а я тебя буду помнить до гроба с всегдашнею благодарностью!

Искренно тебе дружелюбный и преданный, сегодня еще

Сергей Аристонов,

а завтра уже никому не известный

Нэмо

— Что такое? Пьяный, что ли, писал? На смех? Новое дурачество затеял?

Но, вникая в письмо, Елизавета Вадимовна пришла к убеждению, что в нескладных строках его не слышно того капризно-самодурского тона, к которому она привыкла от Сережки: дышало за ними какое-то новое, серьезное вдохновение...

— Завещание мое — говорит... Куда же это он шею свою ломать отправился?

Строки о Берлоге особенно изумили Елизавету Вадимовну. Она ничего не знала о сближении Сергея с Андреем Викторовичем.

— Скажите пожалуйста! За моею спиною снюхались голубчики — и оба-два хоть бы словечком обмолвились!.. Вот уж именно жизнью-то, как льдом тонким, идешь: здесь не поскользнулся, так там провалишься... В какой опасности была — не подозревала!.. Спасибо, что хоть не проболтался с восторга-то большого, новому другу-то своему! Погубил бы, разбойник!..

И она вновь перечитывала: «Ухожу в жизнь грозную, на дорогу страшную... никогда меня не увидишь... считай, что умер... кровавая волна есть моя...»

— Застрелиться хочет? В революционеры пошел? И кто этот человек, который «своей груди вернее»? Если Андрей Викторович, так это — дудочки: от него-то я выпытаю... весь клубочек по ниточке размотаю!

Наутро она послала свою Анну Трофимовну навести справки в номерах, где проживал Сергей. Из тамошних объяснений прибавилась лишь одна подробность, что перед тем как Сергею уехать, у него в номере прожила несколько дней неизвестная женщина. Как ни рада в общем была Елизавета Вадимовна исчезновению Сергея, эта романическая подробность ее оскорбила. Унижая себя рабскою покорностью Сергею, она надеялась, что, по крайней мере, она у него — одна. Сколько ни тяжелы отношения опостылевшей связи, все же — какая женщина узнает без укола ревности, что вчерашний любовник сегодня уже в объятиях другой? Елизавета Вадимовна очень нахмурилась было и губы закусила.

— Стало быть, просто, бабья история?

Но Анна Трофимовна доложила, что — вряд ли, так как женщина была немолодая, больная, нищая, да к тому же горькая пьяница.

— Вы бы в домовую книгу заглянули, кто такая. Содержатели меблированных комнат обязаны все паспорта прописывать.

— То-то, что Сергей Кузьмич оттягивал с пропискою вида со дня на день. Ну вы знаете, каков его характерец, — когда велел ждать, не очень-то его поторопишь, хоть сам полицеймейстер прикажи. Боялись его в номерах-то. И уважали, потому что солидный был жилец и плательщик хороший. А потом стали к этой женщине приезжать хорошие здешние господа — наш Андрей Викторович, Аухфиш адвокат, Тигульский доктор.

Побывали раза два, привезли ей платье хорошее, и тут она с ними в карете уехала и уже не возвращалась. А Сергей Кузьмич после того прожил пять ден и тоже отбыл... велел отметить себя, будто в город Смоленск.

— А очутился в Казани... Эка вранья-то!

Берлогу Елизавета Вадимовна по содержанию письма допрашивать не могла и потому допытаться от него, что сталось с Сергеем, было ей мудрено. Повторил то же, что Елизавета Вадимовна знала уже от Риммера: я, мол, представил Аристонова Силе Кузьмичу Хлебенному, Аристонов тому понравился, и Сила Кузьмич предложил ему какое-то выгодное место при своих делах — кажется, на Волге, по пароходству. На осторожный же расспрос о таинственной женщине, напротив, отвечал с полною готовностью и подробно рассказал ей встречу Сергея с Надеждою Филаретовною.

— Молодчина твой Сергей! Сначала бить хотел, а потом выручил меня, от больших неприятностей спас. Век не забуду! Душа парень! Хорошее русское сердце!

Елизавета Вадимовна была очень изумлена. Не появлением Надежды Филаретовны: о том, что Берлога женат и женат как-то странно, она давно знала и какого-нибудь неприятного выступления с этой стороны всегда ожидала. Нет, главное поражало и сердило ее все то же: как много важного и опасного прошло в жизни двух, казалось бы, самых близких ей и захваченных ею людей, постоянно ею наблюдаемых, можно сказать, подотчетных, — а между тем она не то что не знала, даже подозрения в мыслях своих о том не имела: словно заговор какой-то разыгрался. Она не утерпела — высказала Берлоге свое неудовольствие. Он возразил:

— В жизни каждого человека есть обстоятельства, к которым не надо приближать по возможности никого, кроме врача и адвоката...

— Где же она теперь — жена твоя?

— У Тигульского в лечебнице. Аухфиш уговорил-таки ее попробовать — хоть передышку сделать. Уж не знаю, что из этого выйдет. Я с себя ответственность снял. Тигульский и Аухфиш клянутся, что ей будет хорошо, она согласилась, — их троих дело. Впрочем, кажется, сейчас она устала очень... Да и ноги у нее страшно болят, ходить не может... водянка, что ли, начинается. Тигульский нашел ее очень больною: совершенно разрушенный организм... только алкоголем и держится.

— Ты видался с нею?

— Нет, два раза ездил — не захотела принять.

— Злобится?

— Нет, стыдится... Слушай, Лиза: покуда обо всем этом знали я, Сергей Аристонов, Аухфиш и Тигульский. Последние два — профессиональные хранители секретов, Сергея нет в городе, а ты, надеюсь, оценишь мое доверие и никому не разболтаешь?

— Конечно, нет! — обиделась Елизавета Вадимовна, — умею молчать не хуже других... И во всем этом твоем приключении с супругою вовсе уж не так много приятного и лестного для меня, чтобы я имела желание о том разговаривать.

В уме же, про себя, подумала: «Теперь, мой миленький, исчезновения Сергеева можешь мне хоть и не объяснять: это ты его Хлебенному в приказчики повернул, чтобы выжить из города свидетеля лишнего... Однако ты не так глуп в делишках своих, как с первого взгляда кажешься!.. Но какие же это, однако, трагедии Сережка в письме разыгрывает? Какому черту он свою душеньку продал?»

Берлога между тем рассматривал ее с участием. Вид у Елизаветы Вадимовны был очень нехороший.

— Как твое здоровье сегодня?

Она отмахнулась с отвращением.

— Ах, не говори!.. Думать о себе противно...

— Ты вчера ужасно меня перепугала. Так нельзя. Мне кажется, ты серьезно заболеваешь. Необходимо посоветоваться со специалистом.

— В жизнь свою не лечилась и впредь не намерена... У меня натура — как у зверя: сама себя лечит. Я только в те средства и верю, которые инстинкт подсказывает.

— Ну, знаешь ли, одеколон твой...

Лицо Елизаветы Вадимовны исказилось почти ужасом.

— Не поминай!.. Я этой мерзости видеть не могу со вчерашнего дня... Запах одеколона слышать мне несносно!

— Очень рад. А то, признаюсь, я вчера струсил за тебя. Когда алкоголь и женщина встречаются... ты видишь, какой опыт на этот счет пережил я на веку своем!

Она нетерпеливо мотала головой и говорила.

— Нет, нет... Это кончено... Навсегда... Больше не будет.

Когда Берлога уехал, Елизавета Вадимовна снова перечитала письмо Сергея.

— Спасибо за твою ласку девичью... Прости, прощай, лихом не поминай... Да! не помянешь тебя лихом!.. Нечего сказать, — за делом приезжал... бес-баламут проклятый! Из ада вынырнул на горе мое, в ад кромешный и провалился!

И — в одиночестве — горькие, злые, себялюбивые слезы капали из глаз ее... Она долго размышляла, что ей делать с письмом — сохранить его, как своего рода освободительный документ, или уничтожить? Надумалась: «Если Сережка говорит правду и совсем откачнулся, то мне письмо это не понадобится. Если врет и вернется, то оно мне против него не поможет».

И бросила бумагу в камин.

* * *

В маленьком приволжском городке в убогом номеришке гостиницы для проезжающих сидели при лампе двое — купеческого звания и облика и в русской одежде. Одному — лет пятьдесят, другой — молодой, синеглазый, в русых кудрях. Пожилой вздыхал, вытирал лысину фуляром и говорил:

— Мне на усилия предприимчивости денег не жаль и предприятие ваше я требуемою вами суммою кредитую с удовольствием-с. Но больше, извините, покуда не дам, потому что всякая трата — до опыта-с. И с откровенностью говорю вам, что риск ваш велик и успех ваш представляется сомнительным-с... Можете погибнуть-с на первых же шагах-с...

Синеглазый молодецки поднимал богатырскую грудь и возражал:

— Это, Сила Кузьмич, ничего... На то иду. Лишь бы почин громкий сделать, а что моя голова на этом деле ляжет, того не извольте класть в расчет: оно — не так много значуще.

— Быть может, — говорил пожилой, — вам было бы лучше-с прямо примкнуть к партии... в боевых людях, как обозначаете свой характер вы-с, там всегда нуждаются... Можете, став в ихнее распоряжение, большую пользу им принести-с.

Синеглазый вздохнул.

— Увольте... Не могу я быть в распоряжении... Что делом добуду, все отдам, куда указ будет, — ну а дело — мое!.. Целиком чтобы мое! Хоть дурна голова, да своя! Я в грехе, — я и в ответе. Указки не приемлю.

— Как вам угодно-с. Я вас не уговариваю, но только делаю свое предположение-с, в вашем интересе-с. А этак — взглянуть со стороны, что у вас получится, — для меня, конечно, даже много любопытнее-с. Без игры ума и полета фантазии и хорошие дела в мертвечину черствеют-с. Новая проба — новая тропинка... Не все по протоптанному ходить, пошагайте, коли смелость есть, по целине-с!

Молодой возразил:

— Смелости у меня — аккурат, сколько мне надо. Но только вы изволите ошибаться. Не на целину я ступаю, моя дорожка давно протоптана... искони по ней русские люди в удалом своем отчаянии хаживали!

— Было, батенька, было-с, да — как тропа Батыева — быльем поросло-с! О тех временах уж и песни не поются...

Молодой сверкнул глазами.

— Зато сказки сказываются... Вниз по Волге бугры именные высятся... урочища чествуются!.. Партии — вы меня извините! — я к ним со всем уважением и преданностью, — но только, с позволения вашего сказать, интеллигентства в них преувеличено... Проще надо... Народ — он простой, простого и ждет. Своего... веками надуманного...

Пожилой барабанил пальцами по столу.

— Просто... Было просто, когда по Волге-матушке расшивы ползали, а ныне бегают трехпалубные пароходы-с. Этакому господину — «сарынь на кичку» не крикнете-с, на косной к нему не подлетите...

— А вот ужо посмотрим. Эх, сударь, у своего гнезда, сказывают, и ворона орла побивает!

— Точно-с. Бывает и подобное приключение-с, хотя и редко-с.

— А разве мы здесь — не в своем гнезде? Наше! Исконное! Если дедов да прадедов памятью прощупать, так — кроме нас, вот таких-то, — здесь, что по Волге, что по Каме, все чужой наплыв: одни мы — свои, вековечные, кондовые!

— Эти ваши слова мне нравятся-с. Точно, что реки — наши-с, русские реки-с. И города-то все новогородскою вольницею рублены-с!

— Были бы люди, верные товарищи, а то — не безнадежное дело: выехал на промысле в косной, вернулся с промысла на пароходе!

— Товарищей, вам нужных, имеете на примете?

— Покуда, двоих лишь.

— Немного-с.

— Затем с ранней зимы и хлопочу о затее своей, чтобы к первой весенней навигации в полной готовности оказать-

ся... Всю Русь пройду!.. тысячи молодцов пересмотрю, из тысячи одного выбирать буду, из выбранных — ста, может быть, а то и больше — одного на пробу звать, из десяти званных — одного в товарищи принимать!

— Опаска — дело не худое-с. Старые люди говорили: опаскою рать крепка. Авось-авось, а óпась лучше!

У молодого глаза горели.

— Люди верные подобраны... Уметы, пристанища уговорены... Дайте весне лед сломать, подхватит нас половодьем-то... поплывет мое суденышко!.. Звени, наша песенка! гуляй, артель!

— Сколько ни плавай, к берегу, чай, надо когда-нибудь привалить? А на берегу-то — два столба с перекладиной!

Молодой тряхнул головою.

— А чем не смерть? Поди, больше получаса на веревке висеть не оставят, потом снимут и в ту же мать-землю зароют!

Пожилой барабанил пальцами и ласково усмехался.

— Словно сказку, вас слушаю-с!

— Эх, Сила Кузьмич! В сказке миг пожить — за две жизни не променяю!

— Да-с... Это — что и говорить-с... Удивительные, однако, люди на Руси родиться стали!

— Должно быть, значит, Сила Кузьмич, пришло время хорошим покойничкам воскресать!

* * *

К пятому представлению «Крестьянской войны» Елизавета Вадимовна Наседкина чувствовала себя настолько худо, что Берлога, заехав к ней с утра, предложил: не рисковать собою и отменить вечерний спектакль. Она ответила с сердитою насмешкою:

— Это — чтобы вместо меня Маргариту ваша возлюбленная Лелечка Савицкая пела? Нет-с, покорно благодарю. Этому сокровищу уступать не намерена. Не беспокойтесь:

я двужильная, вытяну... Сами учили меня: покуда артист на ногах, он обязан быть здоровым.

— Я говорю не о замене тебя, но вовсе спектакль переменим. Елена Сергеевна вряд ли и вообще-то согласится петь вместо тебя партию, из-за которой у нас с нею было столько неприятностей. А чтобы она решилась выйти в Маргарите без репетиции, — напрасная тревога с твоей стороны, она для такого риска слишком осторожна, нечего и ждать.

— Да! Как же! Много ты ее знаешь! Только случая ждет: так и схватится! Еще, если бы я в последние разы в хорошем ударе была, — может быть, побоялась бы. А сейчас ей прямой расчет: самоотверженно вышла без репетиции, рискуя собою, спасла спектакль... великодушная какая!

— Ни я, ни Рахе того не допустим, и Нордман будет протестовать. Лучше снять спектакль. Прокричу «Демона» или «Онегина» с Матвеевою, — вот и вся недолга.

— Чтобы господин Кереметев с компанией и Машки Юлович всякие потом вздыхали и охали по всему городу, как я сорвала с афиши спектакль с полным сбором? Ни за что!..

— Как хочешь, Лиза, — тебе лучше знать себя!

— Я взволнуюсь, нервы подымутся, и все пройдет хорошо... Ведь мне нездоровится только минутами... Послушай: голос звучит прекрасно...

Но вечером, в спектакле, она ослабела совершенно и — после второго акта упала за кулисами в обморок, а затем в уборной у нее открылась неистовая, неукротимая рвота... Нечего и думать было — выпустить ее на сцену: она осипла, как болотная сова, и колена у нее подгибались. Переполох в театре поднялся сумасшедший. Елена Сергеевна заместить Наседкину в остальных двух актах оперы, как и ожидал Берлога, отказалась наотрез. Оставалось либо прекратить спектакль и возвратить публике деньги, либо наскоро перестроить сцену и просить публику вместо третьего и четвертого акта «Крестьянской войны» удовлетвориться «Иолантою» или «Сельской

честью» либо «Паяцами». В кассе мамаша Нордмана чуть не подралась с Риммером, требуя отчета по сбору, который тот задерживал, ожидая, что придется его возвращать. В режиссерской Кереметев, — бешеный, красный, даже без черной шапочки на лысине, с всклокоченною бородою, — забыв все свое политиканство, стучал палкою и орал, что театр довели до позора, которого он переживать, как лицо, ответственное за репертуар, не желает. Суеверные хористки шептались, что Наседкину сглазили. Кто-то брякнул спроста: не отравилась ли? «Санькина команда» подхватила и по углам зашипели опасные слова: опоили, отравили. Дюнуа сделал кроткое предположение, что у Елизаветы Вадимовны — холера. Этого было достаточно, чтобы коридор и уборные, соседние с тою, где Наседкина лежала и билась в истериках, опустели, будто народ метлою вымело. Нордмана, к счастью, не было в театре: он был занят в каком-то концерте, аккомпанируя Маше Юлович морские песни из новой своей, едва начатой «Мальвы». Берлога метался в совершенном отчаянии от Наседкиной к Савицкой, от Рахе к Кереметеву... Ничего не выходило и не улаживалось, а между тем антракт затянулся, и публика в фойе начинала недоумевать и любопытствовать. Брыкаев прислал довольно дерзкое напоминание, что спектакль должен окончиться к двенадцати часам...

— Чтобы черт все побрал! — взревел Берлога среди смятенной сцены, срывая с себя шлем и латы. — Анонсируйте «Паяцев»!.. Пролог Тонио — единственное, что я сейчас в состоянии передать... Хоть им в публику плюнуть — злобу сорвать!..

— Андрей Викторович!

Артист оглянулся.

Его окликнула женщина — уже не весьма молодая и не без рябин на смуглом лице. У нее был хороший, кроткий, немножко звериный взгляд, как у негритянок, и согласные с ним яркие, будто вздутые, губы в темных усиках. Если бы не чрезмерная крупность черт, широкое лицо это было бы красиво, приятным

же и теперь его можно было назвать: в нем светилось много доброты и характера — тихой и серьезной выдержки, обнаруживающей человека, который умеет и любит думать, живет трудовым бытом и строго относится к себе.

— Что вам, Лествицына?.. После... Не до вас... — оборвал Берлога с досадою.

Но она заступила ему путь, дрожа, краснея, волнуясь.

— Андрей Викторович... Я не могу, что вы так расстроены... Андрей Викторович... Если вы позволите... Если вам не противно... Андрей Викторович, я знаю Маргариту Трентскую... Я могу допеть партию за госпожу Наседкину... Андрей Викторович!..

— Вы?!

Предлагала певица на выходах, выслужившаяся до ролей из хористок. Берлога едва знал ее, хотя Лествицына определилась в театре Савицкой чуть ли не с первого же сезона.

Лествицына торопливо заверяла:

— Я знаю, Андрей Викторович, я не собьюсь... Я помню все ваши места... И нюансы Елизаветы Вадимовны... Я ни одной репетиции не пропустила... Пожалуйста, позвольте мне рискнуть!.. Мне так хочется быть вам полезною!

— Послушайте, — возразил озадаченный Берлога, — я действительно очень взволнован сейчас... Сознаюсь, что — извините — совершенно не помню вашего голоса.

По широкому лицу Лествицыной быстро мелькнуло, — как волна прокатилась, — отражение большой внутренней муки.

— Где же вам помнить? — улыбнулась она насильственно, — в последний раз я была занята вместе с вами пять лет тому назад: Ларину в «Онегине» изображала.

— Вот видите: Ларина и Маргарита Трентская!

Лествицына — уже не красная, пунцовая была, и в звериных глазах ее зрели слезы.

— Заменить Елизавету Вадимовну я, конечно, и не помышляю, но оперу до конца доведу, и пройдет прилично... Не бойтесь: я музыкальная и сцену знаю!

— Охотно верю. Но тут музыкальности мало: партия колоссальная, просто — физически-то вытянете ли?

— Да ведь финал второго акта прошел, страшное «do» на восемь тактов держать не надо... Остальное мне по силам!

Задумчивый Берлога рассматривал ее внимательно и бесцеремонно, точно цыган на ярмарке — продажную мужицкую лошадь.

— Виноват: вы какого происхождения? — спросил он.

Лествицына вспыхнула.

— Из духовного звания... Дважды. Потому что — дочь священника и вдова дьякона.

— Ага! да-да-да! вот что!.. Вы, помнится, к нам с курсов медицинских поступили? Променяли Эскулапа на Аполлона?

— Да, — коротко подтвердила Лествицына, опять с мучительным призвуком в голосе.

Берлога размышлял: «Мужиковата, но фигура есть... Явление демократическое... Интеллигентна... Куда кривая не вывезет? Попробуем...»

И крикнул Мешканову.

— Подождите с «Паяцами», Мартын Еремеич!.. Может быть, будем продолжать спектакль.

Захар Кереметев был настолько обозлен, что — когда Берлога передал ему предложение Лествицыной — седобородый маг только рукой махнул.

— Не мое дело, душа моя, не мое дело!.. Мне все равно! я умыл руки!.. Можете ставить в примадонны, кого вам угодно: хористок, статисток, модисток!.. Я старик, мне шестьдесят лет, я сорок лет при театре, меня осрамили, я ни за что не отвечаю... мне все равно!..

И тут же отвернулся к Фюрсту и хормейстеру Бергеру, намеренно громко рассказывая им старые анекдоты о пев-

цах и певицах, которые погибли, потому что брались за партии не по силам: о московском теноре Преображенском, сорвавшем голос на «Зигфриде»; о старом Нурри, который выбросился из окна, потому что надорвался в «Вильгельме Телле», стараясь перепеть начинающего конкурента, блестящего Дюпре; о Кадминой, с которой Тургенев написал «Клару Милич», а Суворин «Татьяну Репину», о маленькой петербургской Б., почти гениально блеснувшей Татьяною в «Онегине», с тем чтобы потом не петь уже никогда и ничего...

Но Лествицыну поддержал Рахе:

— Kein Talent, aber * работает и музыкальна. Скромный и добросовестный. Если она сама ручается, то и я не боялся... О! Она вытягивает! она очень в состоянии вытягнуть!.. Aber прошу не терять из глаз моя палочка, чтобы не опаздывать на вступления...

Публике анонсировали, что по внезапной болезни г-жи Наседкиной роль ее будет доиграна — без репетиции — артисткою г-жою Лествицыною, а недовольные таковою заменою могут получить из кассы деньги свои обратно. Но никто не ушел: у Берлоги еще оставалась впереди сильнейшая половина партии, а никому неведомое имя Лествицыной, дерзающей без репетиции петь Маргариту Трентскую, возбудило любопытство... Елизавета Вадимовна, страдающая в уборной своей, услыхав, что «Крестьянская война» всетаки идет, впала было в новую истерику: она вообразила, будто ее партию допевает Елена Сергеевна. Но, когда ей сообщили о Лествицыной, она сразу успокоилась, и только губы ее повело презрительною гримасою. Пользуясь промежутком, покуда Елизавете Вадимовне было легче, Светлицкая с театральным врачом и Анною Трофимовною увезли ее из театра. Светлицкая осталась в гостинице при больной своей ученице даже и ночь ночевать.

* Никакого таланта, но (*нем.*).

Лествицына, конечно, никаких чудес не обнаружила, но в партии оказалась тверда, интонации давала точные и ясные, с репликами вступала вовремя, в ансамблях мелодию вела уверенно, — словом, как и обещала, дела не испортила. Голос у нее был довольно большой, но не молодой уже и несколько крикливый, немножко гусиного будто тембра. Робела очень, но держала себя в руках крепко, ни разу не сбилась в местах, а в дуэтах скромно тушевалась, будто прячась за вокальный рельеф Берлоги, а себя превращая лишь в живой ему аккомпанемент. Чего ей все это стоило — каких напряжений воли, мысли и сил физических — только Берлога мог оценить, видя в дуэтах почти соприкасающееся с ним лицо с звериными глазами, сердитыми от внимания и страха, с губами, синими сквозь кармин, с крупною росой пота на лбу. В публике сразу решили, что Лествицына — «старая лошадь», и перестали ею интересоваться. Но отрицательного впечатления она не произвела. По окончании третьего акта несколько голосов даже вызывали ее. Берлога слушал и наблюдал Лествицыну с любопытством. Ему казалось, что эта женщина чувствует и понимает то, что поет, в гораздо большей мере, чем умеет выразить, и очень мучится сознанием пробелов и недохваток своей экспрессии. Тысяча первая трагедия интеллекта, превосходящего талант, бесформенного темперамента, которому отказано в способности превращаться в силу стройных образов!

В уборной ему порассказали о Лествицыной. Очень бедна. С родными в ссоре за сцену. Живет одиноко и сурово, не дружа близко ни с кем из подруг по персоналу. Заведомо и наверное не имеет любовника. В труппе ее ни любят, ни не любят, но очень уважают, как в высшей степени приличную и «ученую». Для себя — скупа. Одевается дешево и плохо. Прислуги не держит, сама себе готовит обед на бензинке. Ужасно много читает. Над голосом работает каждый день целыми часами, но ненавидит, чтобы ее слышали... Нынешнею дерзостью этой смиренницы и дикарки вся труппа — старые товарищи по хору и вторым ро-

лям — изумлены настолько, что — едва глазам верят: подменили, что ли, нашу Лествицыну?

В предсмертном дуэте Маргариты и Фра Дольчино — пред костром Лествицына была уже положительно хороша:

Мне жизнь не дорога, —

пела она с силою и страстью:

Что я была?
Лишь бледный отблеск
Святого пламени, которым ты горел...

Фра Дольчино

Угаснет жизнь, но пламя не угаснет:
Оно умы собою напитало,
Оно в моем народе разлито!..
Пусть я умру! Жив Бог, меня пославший!
Свободы Бог, вещавший нам любовь!

Маргарита

Мы исчезнем в любви,
Мы умрем в поцелуе,
Ветры вольные взвеют,
Наш пепел смешают,
В вихрях бури призывной
Над землею помчат!

Оба

Не бойся погибнуть! Смерть — начало жизни!
Огонь освящает! Умрем, чтобы победить!
Из нашего пепла Феникс воскреснет
И к небу пламенным облаком взлетит!

И когда в последнем прощальном поцелуе Маргариты и Фра Дольчино холодные губы Лествицыной слишком надолго слились с губами Берлоги, артист вдруг почувствовал

и подумал с укоряющим испугом: «Не по-театральному... Эта женщина любит меня!»

По окончании спектакля и вызовов Берлога, разгримировавшись, зашел к Лествицыной в уборную и горячо благодарил. Она, возбужденная, растроганная, счастливая, твердила:

— Не вам благодарить меня, а мне вас... Этим спектаклем вы осветили и согрели всю мою жизнь!

— Не могу ли я быть чем-либо полезен вам? Я буду искренно счастлив сделать все, вам приятное.

— Да? Ловлю вас на слове: окажите мне честь — сейчас из театра пожалуйте ко мне чай пить.

— С удовольствием. Я только заеду в гостиницу справиться о здоровье Елизаветы Вадимовны — и сейчас же к вам. Дайте ваш адрес. Но это не труд, а новая ваша любезность ко мне. Вы мне скажите какое-нибудь серьезное ваше желание... Я должен поквитаться с вами... Честное слово Андрея Берлоги!

В кротких звериных глазах Лествицыной мерцали звезды странной, длинной улыбки.

— Прекрасно... благодарю вас... Вот, стало быть, приезжайте чай пить... Я надумаю просьбу и скажу за самоваром, между двумя чашками чаю.

К Елизавете Вадимовне Светлицкая Берлогу не впустила: больная уже спала.

Двухкомнатная квартирка Лествицыной удивила Берлогу монашескою скудостью обстановки. Только пианино было дорогой фабрики, да на стене висел великолепный поясной портрет его — Берлоги — очень дорогой, потому что давний и редкий: фотограф невзначай разбил негатив.

— Buona sera, signore... * не ожидал встретиться! — раскланялся артист с изображением своим.

Лествицына улыбнулась таинственно и самодовольно.

* Добрый вечер, синьор (*ит.*).

— Если вы, Андрей Викторович, — в ожидании, покуда я окончу хозяйственные мои хлопоты, — пройдете вот в эту комнату, то найдете в ней много знакомого.

В комнате, оказавшейся спальнею хозяйки, было уютнее. Стоял книжный шкаф, сверкавший сквозь стекло, с одной полки — золотыми именами поэтов-классиков, с другой — корешками оперных клавираусцугов, с третьей — Боклем, Миллем, Дарвином, Спенсером, Марксом, Михайловским, Ницше, Максом Штирнером... По стенам же, на столе, даже на тумбе у кровати, Берлога опять видел в бесконечных изменения себя — во всевозможных костюмах, в фотографии, гравюре, акварели всяких форматов и размеров.

— Вот галерею устроили! — сказал он, выходя. — Охота же вам!.. Даже сконфузили... смотреть совестно! Право...

Лествицына улыбалась с молчаливым торжеством, точно жрица, показавшая туристу прекрасный храм, которым она, влюбленная фанатичка, гордится.

Сели к самовару.

— Вы не ждете других гостей, кроме меня?.. простите, Лествицына, забыл ваше имя-отчество...

— Не забыли, а никогда не знали. Меня зовут Федосья Терентьевна. Не совсем благозвучно для оперной артистки, но папаша с мамашей не предполагали при моем крещении, что их дочери придется когда-нибудь изображать Маргариту Трентскую... Нет, я никого не жду. Если бы и напросился кто-нибудь, отклонила бы. Потому что я действительно имею к вам важный разговор и серьезную просьбу. Да... серьезную, как жизнь, которая от нее зависит...

Звериные глаза Лествицыной как будто даже глубже стали в искренности сильного, трагического чувства. Смущенный Берлога повторял:

— Все, что могу... все, что могу...

Она согнулась над столом на опертых локтях, вытянула шею, как большая, внимательно слушающая собака и, глядя

через стол в лицо Берлоги глазами, полными отчаянного вдохновения, произнесла губами, почти белыми, в трепете сдержанного удушья:

— Я хочу иметь от вас ребенка.

И — не дав ему, изумленному, слова возразить, — заговорила спешно, твердо, с убеждением.

— Мое объяснение грубо. И нарочно грубо: чтобы вы не приняли слов моих за смешную претензию пленить вас и покорить моей любви. Любить меня вы не можете. Я слишком в том уверена, чтобы унижать себя, гоняясь за призраком. Моя просьба — просто физическая: я хочу иметь от вас ребенка. От вас. Именно от вас, ни от кого другого. Послушайте. Вы видите пред собою одну из величайших неудачниц, каких только земля родит. Неудачница в девушках, неудачница-жена, неудачница-мать. Неудачница в науке, которую я бросила, потому что — когда вы гастролировали в Петербурге, влюбилась в вас и в гений ваш и кинулась в искусство, как в омут днепровский, лишь бы быть в одном деле с вами. Неудачница в искусстве, потому что лишь сегодня оно улыбнулось мне, тридцативосьмилетней женщине, в первый и — я очень хорошо знаю — в последний раз! Неудачница в любви, потому что просуществовала рядом с вами тринадцать лет, не смея даже намекнуть вам, что я люблю вас, избегая даже близко узнать вас, чтобы не мучить себя неосуществимыми соблазнами, оставшись по трусости своей почти незнакомою вам. Я все в жизни пропустила, ко всему опоздала: карьеру, семью, любовь, науку, искусство, общественную деятельность, — всю личность свою! Сегодня я удивила всех, решившись петь Маргариту Трентскую. А сама себя удивила тем, что спела. Видите ли: это — не потому я взялась, чтобы я в себя уж очень верила, как водится с непризнанными гениями без портфелей. Я просто в лотерею выиграла, азартную игру va banque ненароком взяла. В другой раз — не то что не возьму, но и брать-то не

посмею. На прошлой неделе я пришла к убеждению, что неудачному человеку, как я, лучше не жить на свете, и решила умертвить себя, как только кончится сезон этот. Отравиться. Яд у меня есть, могучий, убивающий моментально, безболезненно. Когда Елизавета Вадимовна захворала среди спектакля, и вы метались по сцене, такой несчастный и взволнованный, я вдруг сказала себе: «Зачем откладывать до конца сезона? Предложу Андрею Викторовичу спеть Маргариту. Если провалюсь, тут же и покончу с собою, не выйду живая из театра. Если оправдаю себя хоть каким-нибудь успехом, то, может быть, это переломит мою судьбу...» Уж одно счастье быть вам полезною, сблизиться с вами чрез любимую вашу роль — чего стоит! Что в случае провала я убила бы себя — тому от женщины, которая в художественной опере Савицкой пошла без репетиции исполнять оперу Нордмана, — вы поверите, я думаю, за хвастовство не почтете. Свистки-то и хохот в публике, которыми я рисковала, страшнее яда! Вот он — мой яд. Он мне больше не нужен. Я готова выбросить его в реку. Я обогрелась, пробыв минутку в луче счастья, и мне достанет тепла надолго, — я очень скромная. Артисткою больше мне не быть. Однажды чувствовав себя Маргаритою Трентскою, подругою великого Андрея Берлоги, к Мартам, Лариным, Анитам, Фраскитам с самодовольством возвратиться невозможно. А дальше их я не пойду: не чувствую в себе ни сил, ни права. Примадонна — это Елена Сергеёвна, Елизавета Вадимовна, Светлицкая, Юлович: ими мне никогда, никогда не быть! — поздно, бесполезно и даже нечестно пытаться. Но я довольно хорошо знаю пение — и в одном маленьком городишке малороссийском музыкальное училище давно уже зовет меня в преподавательницы. Туда, в норку, я уйду и унесу свет моего счастья. Какое отношение к этому проекту моему имеет просьба, что я хочу иметь от вас дитя? Видите ли: тяжело двигаться навстречу старости, чувствуя себя живым покойником, одинокою те-

нью отцветшего бытия. Материнство — единственное женское призвание, к которому я не вовсе опоздала, и я хочу, я требую материнства, я предъявляю свое право быть матерью. В юности я пережила ужас неудачного законного брака — и отреклась от этого милого института навсегда. Да и поздно мне замуж! Призвание жены тоже осталось уже позади! Я любила вас почти половину жизни моей, все сознательное в ней связано с вашим именем, с вашим образом, любовь к вам всегда станет между мною и возможностью другого нового чувства. Я испытала это и не раз. Я — как монахиня во имя ваше, и, — кроме вас, отвлеченного, воображаемого, может быть, совсем не такого, как вы на самом деле, — у меня, во вдовстве моем, не было, нет и не будет другого жениха. Не может такая любовь пропасть понапрасну между небом и землею! Любовь должна быть плодотворна! Дайте мне дитя от вас: оно будет прекрасным цветком моего чувства, я выращу его, как лилию счастья, и наполню им жизнь свою — наступающий закат — угрожающую старость! Вы — гений, я — полуталант-полунатура, но у меня есть характер, есть здоровье: оно должно родиться прекрасным, наше дитя, вам не придется за него стыдиться... Каких-нибудь обязательств отцовских я никогда не возложу на вас: мой ребенок — моя забота — никому мое материнство не уступит того счастья!.. Не думайте обо мне дурно! Если вы наведете обо мне подробные справки, вряд ли найдется клеветник, способный сказать, что я навязчивая развратница или какая-нибудь половая психопатка. Я прожила свой вдовий век честно и строго: кроме вас, у меня не было другой любви. И вот — ее именем, ее святым именем, я, находясь в здравом уме и твердой памяти, требую материнства!.. Иллюзий любви мне не надо, — обманывать себя оскорбительно! — но ребенка вашего я хочу... И не настолько же я безобразна, чтобы этого не могло быть, чтобы я внушала вам физическое отвращение?..

* * *

С Елизаветою Вадимовною Берлога свиделся назавтра часов около трех. Она встретила его — красная и опухлая от слез, наплаканное лицо раздалось вширь, и уши по сторонам его торчали из-под волос как-то жалостно и остро...

— Не брани меня, пожалуйста, — заговорила она, молитвенно слагая руки. — Сама все понимаю и — поверь мне — страдаю ужасно. А всего возмутительнее, что сегодня я совершенно здорова и готова спеть хоть три «Крестьянских войны» подряд.

— Это очень хорошо, — обрадовался Берлога. — Потому что, Лиза, было бы глупо скрывать: тебе надо выступить очень блестяще, чтобы поправить впечатление последних спектаклей.

Она мрачно улыбнулась.

— Мне? Нет, Андрюша, миленький, мне теперь долго не выступать!

Берлога насторожился:

— Что такое?

Елизавета Вадимовна указала ему глазами на официанта, хлопотавшего у накрытого стола.

— После...

Берлога взглянул на часы.

— Уже четвертый... Ты завтракаешь так поздно?

— Просто закусываю... Захотелось икорки зернистой, со свежим огурчиком.

Берлога смотрел и только диву давался: Елизавета Вадимовна набросилась на пищу с хищным аппетитом, точно ее дня три не кормили, — глаза ее оживились и заблистали, как намедни после одеколона, губы распустились, щеки разрумянились, в лице появилось даже как бы сладострастие какое-то. Так только голодные волки к падали кидаются и на мясо налегают. Икру она не съела, а сожрала, и сейчас

же позвонила, чтобы ей подали другую порцию. По мере того как насыщалась, она веселела — будто хмелела — делалась сытая, здоровая, самодовольная. Берлоге стало смешно.

— Действительно, ужасно много в тебе зверя, Лиза!..

— В ком его мало?.. А икры я еще хочу...

— Лиза! Это обжорство! Ты уже добрый фунт поглотила.

— А если мне — в гостинице этой мерзкой — кроме икры, никакая другая еда в рот не идет?

— Я всегда говорил, что тебя здесь неважно кормят.

— Нет, кормят недурно, но я то не принимаю. Виновата не кухня, а нутро.

Она вдруг сделалась серьезна, положила голые локти свои на стол, а лицо в ладони, так что пухлые щеки поднялись и сузили глаза, и устремила прямо в лицо Берлоги глубокий, внимательный взгляд.

— Андрей Викторович, — проговорила она медленно и скорбно, — да неужели же тебе все своими словами называть надо? неужели ты до сих пор не догадался, что я беременна?

Берлога поднялся со стула с лицом, в котором сейчас не было решительно ничего ни гениального, ни вдохновенного: так озадаченный баран созерцает новые ворота...

Лиза горько плакала.

Беременность свою она заметила давно, еще на первом месяце. Вспоминая свои прежние беременности, она приходила в ужас: болезненные осложнения, в которых она обыкновенно переживала это положение, сулили ей на долгое время программу, слишком не согласную с ее новою карьерою, с ее планами, замыслами, успехами, победами.

Вчера, после неудачного своего спектакля, и сегодня поутру, до приезда Берлоги, Елизавета Вадимовна долго совещалась с ночевавшею у нее Светлицкою.

— Зарезали вы нас! зарезали, Лиза! — со злобными слезами почти кричала на нее та. — Сезон пропал... Антрепри-

зу Лелькину теперь — чем бы разрушать — нам охранять и поддерживать придется. Не с Матвеевыми же и Субботиными становиться на смену Савицким и Юлович! А вы, главный наш козырь, выбыли из строя — как раз накануне сражения!.. Скажите: долго ли, обыкновенно, продолжаются у вас припадки эти?

Елизавета Вадимовна сделала было возмущенное лицо.

— Александра Викентьевна, вы меня оскорбляете...

Но та замахала на нее руками, точно обозлившаяся наседка захлопала крыльями.

— Ах, что! Вот еще сейчас мы с вами будем лицемерить и комедии разыгрывать!.. Подумаешь: невинность! в первый раз!.. Что я — вашей биографии не знаю, что ли? Не бойтесь: репортерам и Андрею Викторовичу не расскажу, но для собственного обихода памяти еще не потеряла... Так — долго?

Елизавета Вадимовна глухо ответила:

— До конца пятого месяца мученски мучаюсь...

Александра Викентьевна безнадежно отвернулась.

— К тому времени у вас такая фигура обнаружится, что — не только на сцену, в гости пойти непристойно будет... Ах, Лиза! Лиза! Бог вам судья!.. Если бы вы со мною не скрытничали, если бы вы от меня не прятались, то ничего подобного не разыгралось бы. При первых же подозрениях съездили бы мы с вами к одной моей приятельнице, докторессе — и — фить! всему сразу конец за милую душу!.. Даже и в постели пришлось бы пролежать дней десять, не более, а потом — хоть в балете танцуй. Ну чего молчали? зачем?

— Если бы я в то время слегла на десять дней в постель, то Маргариту Трентскую создала бы не я, но Елена Савицкая. Это именно все равно, что генеральное сражение проиграть.

— Да ведь как ни вертите, теперь-то придется же ей петь?..

Глаза Елизаветы Вадимовны засверкали ненавистью.

— Никогда! Скорее я ей театр разломлю!

— Душенька! Это фразы!

— Нашлась ведь вчера заместительница... пусть и вперед Лествицына поет!

— Да! Как бы не так! Следующее представление в пользу студентов. Очень студентам нужна какая-то Лествицына! Натурально, — если вы петь не в состоянии, должны будут Лельку просить...

Елизавета Вадимовна не вытерпела — заревела на голос, как деревенские бабы плачут с обиды и злости.

— Проклятый! Скотина! — причитала она сквозь слезы.

Светлицкая кивала головою, вполне разделяя ее негодование.

— Да уж, — поддакивала она, — это... я даже не понимаю!.. кажется, сам артист!.. должен был иметь соображение! Эта дурында — Настасья его — уж на что здорова, а не рожает же...

Елизавета Вадимовна молчала, утирая слезы. По разным своим соображениям, приметам и срокам она была твердо уверена, что привел ее к злополучию совсем не Берлога, но Сергей. Но ответить ей за ребенка должен был, конечно, Берлога.

Александра Викентьевна соображала.

— Может быть, и сейчас еще... не поздно? — предложила она нерешительным вызовом.

Елизавета Вадимовна встрепенулась, как вспугнутая птица.

— Нет, Александра Викентьевна, боюсь!

— Пустяки! Иные на пятом и на шестом даже месяце рискуют.

— Боюсь. Умирают многие... Уродом остаться возможно... Голос пропадет...

Она назвала добрый десяток артисток, погубивших себя мерами против беременности. Светлицкая сухо возразила:

— Я насчитаю вам еще больше артисток, которые умирали или теряли голос и здоровье в трудных родах.

— Я, знаете, Александра Викентьевна, из купеческого звания, а моя маменька — даже крестьянка была... из деревни в город-то выдана...

— Так — что же?

— В нашем сословии носят тяжело, а рожают легко. Иная не успевает и повитухи дождаться... Родов я не боюсь. Бывалое дело... Но операции эти ужасные... брр! погано! жутко!..

Светлицкая не смела настаивать, но уныло кивала носом и твердила:

— Вот тебе и сезон! Вот тебе и карьера! Вот тебе и новая дирекция! Вот тебе и фирма Светлицкой и Наседкиной!.. Чтобы этому вашему черту Берлоге, самому, ежа против шерсти родить!.. Лиза, душенька! Вы уж хоть здесь-то своей позиции не прозевайте, воспользуйтесь обстоятельствами и упрочьте себя при нем, скотине! Ведь вас вся эта катавасия в ужасное положение ставит. Примадонна-дебютантка, девушка, беременна... если он будет подлец и не захочет факт ваш оформить в приличную обстановку, то он вам карьеру срывает! Эта пошлая огласка надолго побежит за вами!

Елизавета Вадимовна слушала с видом угрюмым и сконфуженным, не без тайных угрызений совести. Ей было не совсем-то ловко, что Светлицкая — не подозревавшая даже и существования Сергея, не то что романа его с «Лизетою», — так уж очень честит ни в чем неповинного Берлогу.

— Все равно, Александра Викентьевна, Андрей Викторович много сделать для меня не в состоянии: он женат.

— Я не о законном браке говорю. Этого я, может быть, вам еще и не посоветовала бы. Когда театральные светила между собою брачатся, ничего путного из их союза не выходит. Всегда ненадолго и не на счастье. Со временем — непременные два медведя в одной берлоге. И радехоньки бы

разойтись, — ан, церковная цепь держит! Примадонне вашего калибра приличнее муж-агент, муж-антрепренер, дирижер, ну режиссер, наконец. Чтобы чином артистическим был на голову, а то и на две, пониже, а влиянием распорядительства театрального — поискуснее да повыше. Какой-нибудь Стракош, Гардини, Коханский. Или вот — как наша Лелька устроилась: Рахе на себе женила. Нет, от Берлоги вы должны не брака требовать, но — чтобы он взял на себя гласную ответственность за вас пред обществом, чтобы открыто союз ваш обнаружил, как брак гражданский. Тогда — ваша взяла. Союз Берлоги и Наседкиной, перешедший из любовных дуэтов на сцене в вечный дуэт брачной жизни, это — изящно, поэтично, трогательно. Это «импонирует». Это понравится. Любовь больших артистов всегда чарует толпу. Я помню Патти и Николини. Я помню Станьо и Беллинчиони. Я помню Мазини и Салла. Вас простят и признают, вами будут восторгаться, вам будут цветы бросать. В театральном мире церковь еще покуда не нужна, чтобы муж и жена — кроме паспортов своих — во всем остальном были полноправными мужем и женою, а товарищество даже и официально с ними считается... Словом, пора Андрюше выпроводить свою прекрасную Настасью ко всем чертям, а вас в дом свой смело и свободно хозяйкой полною ввести...

— Это-то, мне кажется, осуществимо без особого труда. Между ними все догорело без остатка: даже уж и не ругаются никогда.

— Да, если даже не ругаются, — это сильно!

— Сколько я понимаю, Андрей Викторович лишь инициативы не хочет брать на себя...

— А та — я наверное знаю — подготовила себе какое-то торговое дело в Петербурге и при первом же столкновении уступит, даже не барахтаясь... Конечно, с хорошим отступным... Ее при Андрее Викторовиче сейчас только жадность держит — последние тысячи выжимает и подбирает. И —

согласитесь, ma chère, что — даже с практической точки зрения... неужели эти тысячи — чем Настеньке в кубышку попасть — лучше вам не пригодятся?.. Вот теперь приближается бенефис Андрея Викторовича. Вы знаете, какие жатвы на бенефисах этих стригла Настасья? Разве не приличнее было бы, чтобы Андрей Викторович в настоящем сезоне подарил нынешний свой бенефис вашему будущему ребенку?..

XXVIII

Выход Елены Сергеевны в «Крестьянской войне» совершился по случаю студенческого спектакля в обстановке весьма торжественной, в сопровождении бурных оваций, цветочного дождя, подношений, даже речей. Но — в глубине души — ни сама она не осталась довольна собою, ни публика не пережила при звонах кристаллического голоса своей «серебряной феи» тех восторгов, которыми электризовала зал грубая, порывистая, нутряная непосредственность Наседкиной.

Рецензенты острили в буфете:

— Превосходно — только уж очень поучительно. Не столь поет, сколь читает лекцию хорошего художественного тона.

Дюжий Калачов острил:

— Оно, конечно, спектакль студенческий, но ведь лекции-то, поди, им и в университете надоели...

За кулисами было невесело. Берлога ходил мрачный, потому что утром получил аноним, в котором его язвительно упрекали, что вот на словах-то вы чуть не революционер, социалист, гуманист, передовой человек, а на деле — своим бенефисом барышничаете, как самый злостный буржуа-стяжатель. Не может же быть, чтобы вы не знали, что ваша сожительница, госпожа Кругликова, продает у себя на дому рублевые места по пяти и по семи рублей барышникам и подставным лицам,

а те, соблюдая свою выгоду, уж и последнюю шкуру с ваших поклонников сдирают. Впрочем, если это безобразное торжище и в самом деле производится без вашего ведома, то в вашей власти проверить и прекратить злоупотребление именем вашим. Стоит вам завтра или в любой день, когда вы заняты на репетиции, приехать из театра часом раньше, чем вас ждать возможно. Тогда вы непременно застанете у г-жи Кругликовой какого-либо из контрагентов ее.

Берлога, почти не сомневаясь, угадывал в анониме руку Дюнуа, но — почти не сомневался и в том, что на этот раз язвительный Терсит правду пишет. Слухи подобные летали вокруг бенефисов Берлоги и в прежние годы, но к нему доносились смутно, невозмутимая Настасья Николаевна объяснения по ним давала удовлетворительные — открытый извет поступал к нему впервые. Он обратился за советом к Елизавете Вадимовне. Та — тоже очень мрачная в этот день в предчувственной боязни вечернего успеха Савицкой, да, вдобавок, и физически особенно тяжело как-то удрученная, — отказалась даже и говорить с ним по этому поводу, потому что не желает волноваться.

— Что эта госпожа способна на всякую торгашескую мерзость и не пощадит репутации твоей ради лишней сторублевки, — в этом я уверена давно и вполне. А какие именно она операции производит — не все ли равно? Я убеждена, что — если бы это было осуществимо помимо твоей воли и ведома — она готова была бы продавать тебя даже в любовники купчихам богатым...

Берлога угрюмо усмехнулся.

— Да если хочешь, было кое-что и в этом роде, — сказал он. — Года три тому назад... Красавица эта московская — нынешняя поклонница твоя — графиня Оберталь всю зиму у нас в городе жила... ну и, конечно, якшались мы самым разлюбезным манером... катанья, тройки, обеды да ужины... Захар Кереметев дразнит Настеньку: «Вы бы, кума, сожителя своего

приструнили, хоть немного к Лариске приревновали, ведь она его совсем заполонила!..» А кума отвечает: «Мне-то — что? Кабы он из дома тащил, а то — в дом: вона — в бенефис — смотрите, какой сервиз закатила...» Совсем как на товар на меня смотрит, в этом ты права.

Елизавета Вадимовна прошептала:

— Обращать человека в товар гнусно, но позволять торговать собою, как товаром, тоже очень некрасиво, Андрюша!

— Будто я не понимаю? — проворчал Берлога, хмурый-хмурый.

— Недавно — помнишь? — у Светлицкой о Льве Толстом разговор был. Как ты против него кричал, что он позволяет своей жене торговать им, будто пастилою или вяземскими пряниками. И ты был вполне прав. Великий человек — не пряник, не колбаса, не ситец. Если он зачисляется в пряники и ситцы, то прежде всего сам в том — едва ли не больше торговца своего — виноват. Но... «чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя оборотиться?» Ты в нашем специальном оперном уголке мира не меньше значишь, чем Лев Толстой, но твоя Настасья Николаевна распоряжается и торгует тобою гораздо бесцеремоннее, чем Толстым его яснополянцы...

Берлога проворчал извинительно:

— Видишь ли... С своей точки зрения она права... я понимаю, что, отдав мне свою молодость, не уверенная в завтрашнем дне, она старалась обеспечить свое существование...

— Милый Андрюша! О каком же еще обеспечении может мечтать женщина, которая в течение восьми лет впитывала в себя твой колоссальный заработок без остатка, сколько бы ты ни получал? У тебя нет сбережений ни гроша, у нее — ты сам говорил как-то — наверное, лежит в банке тысяч сто, если не двести... И притом...

Она гордо выпрямилась.

— Обеспечение... Полагаю, Андрюша, что — с точки зрения общей, буржуазной морали — я в настоящем моем поло-

жении имела бы гораздо больше права требовать от тебя обеспечения, чем Анастасия Николаевна. Она бездетная, я ношу ребенка, она служит, я должна прервать сезон. Но — разве мыслимы мещанские отношения между двумя людьми, как мы, и в любви, как наша? Какая-то денежная страховка на случай неверности! Право, перестанем говорить об этом: я не могу, противно!.. Что-то теремное или гаремное... Цинизм невольничьего рынка! Биржевая безнравственность...

* * *

Елена Сергеевна была огорчена известием, которое преподнес ей в одном из антрактов полковник Брыкаев. Либеральный генерал-губернатор спешно отбыл сегодня утром в Петербург, вызванный экстренною дворцовою телеграммою, и, как слышно, вряд ли вернется, — его прочат на другой, высший пост. Огорчительно было не столько самое известие, сколько злорадный тон, в который оно было облечено. Дескать — имейте в виду, madame: потатчика вашего не стало, теперь на нашей улице праздник, и держите ухо востро, а не то мы с вами посчитаемся. Исправляющим должность генерал-губернатора остался господин, безличный сам по себе, бюрократ-черносотенец по карьере и, вдобавок, по долгам своим в руках у Брыкаева и богатого его тестя: того самого коммерсанта-миллионера, чьи младшие дочки — Мумочка и Мимочка — учились пению у Александры Викентьевны Светлицкой и влюбленно рабствовали в ее свите. Таким образом, Брыкаев оставался теперь фактическим хозяином города — маленьким самодержцем без ограничений и апелляций. Предсказание для Елены Сергеевны было не из веселых. Она чувствовала, что человек этот, руководимый чьим-то задним расчетом или подстрекательством, с некоторого времени втихомолку систематически работает против нее и намерен сыграть какую-то большую игру на почве обострений и неурядиц в ее театре.

— Что ты решил ставить в бенефис? — спросила Елена Сергеевна Берлогу, когда он зашел к ней в уборную с товарищеским визитом.

— А сам еще не знаю... Конечно, можно махнуть «Крестьянскую войну»...

Елена Сергеевна чуть улыбнулась.

— Но за болезнью настоящей Маргариты Трентской не желаешь портить свой праздник суррогатом?

Берлога сконфузился.

— Нет... не то... какая ты, право, Леля!.. Просто, хотелось бы дать что-либо новое...

— Поздно. Некогда готовить. Теперь у нас на очереди — «Сказание о Китеже»... Это сложно. Оркестр и хор устают. Поджио занят. Новую постановку нам не втиснуть в порядок репетиций.

— Я понимаю. Тогда — что-нибудь репертуарное, но хорошо забытое, давно не шедшее... в чем я редко выступал... В крайнем случае, конечно, придется остановиться на «Крестьянской войне».

— Да... если Брыкаев подпишет афишу. Шесть спектаклей, которые генерал-губернатор лично разрешил мне, сегодня кончились. А теперь с черносотенцами этими я, право, уж и не знаю, как мы устроимся.

— Гм... Придется, значит, шевельнуть Вагнером. Он у нас весь в репертуаре.

— Предупреждаю тебя, Андрей Викторович: от сильных драматических партий я решила отказаться навсегда, — так что и не проси...

— Почему?

— Потому что они — не мои. Теперь в персонале есть специальная примадонна для этих партий. Не желаю конкурировать и напрашиваться на невыгодное сравнение. Ни вторым нумером идти, ни суррогатом быть мне в своем собственном деле неудобно.

— Однако, — неловко бухнул Берлога, — поешь же ты сегодня Маргариту Трентскую?

Елена Сергеевна сказала ему снисходительным взглядом что-то вроде любезного «дурака» и, помолчав, ответила:

— Исключительно затем, чтобы изгладить бестактность, с какою эта партия была у меня отнята, — показать театру, тебе и себе самой, что я могу ее исполнять и имела на нее право, когда настаивала петь ее. Хочешь ты доставить мне большое удовольствие, друг Андрей?

— Это будет для меня счастьем, Елена.

— Возьми в свой бенефис оперу из старого, первого, репертуара молодых наших лет, когда мы с тобою начинали карьеру.

Берлога скорчил горестную гримасу.

— Леля, милая, да ведь этак придется свою присягу сломить и посрамить себя на старости лет мейерберовщиною или даже вердятиною?

— Зачем же вердятиною? Есть Моцарт... Россини... Глинка... французы... Чайковский... Да и Верди? Мне было бы приятно вспомнить время, когда я трепетною девушкою поднималась по лестнице замка, со свечою в руках, как робкая Джильда, а ты...

— «Под жалкой маскою шута!» — запел Берлога из «Риголетто». — Вот фантазия! Зачем тебе это, Леля?

Она отвечала серьезно:

— Затем, что круг наш свершился, и мне хотелось бы проститься с тобою — сводя начало с концом — у той самой двери, через которую мы вместе, рука об руку, вошли в искусство.

— Проститься?

— Да, Андрей. Я думаю, что этот сезон — последний, который мы сделаем вместе. Я уверена: театра на новый срок мне не отдадут.

— Однако черносотенный протест в Думе не имел никакого успеха.

— Потому что знали, что протестом этим недоволен генерал-губернатор, обидевшийся, что обуховцы суются к нему с указкою и учат его управлять краем. Потому что Хлебенный кое на кого давнул, кое-кого, вероятно, купил. Да и в таких-то благоприятных условиях большинство наше вышло маленькое, каким-нибудь десятком голосов. Это не победа, а предостережение: жди разгрома! Если бы генерал-губернатор высказался против нас, то — можешь быть уверен: мой контракт был бы уже нарушен... Не удалось, но черная сотня чувствует свою силу, не простила и ждет. Театр у меня отнимут. Ты увидишь, ты увидишь! Эта пресловутая театральная комиссия — лабазник, банщик, два адвоката и какой-то писец или делопроизводитель из управы — тринадцать лет признака жизни не обнаруживала... только, бывало, за контрамарками для родных в кассу лазят. А теперь разгуливают по сцене, пытаются командовать за кулисами, суют нос в контору, в уборные, кладовые... что-то контролируют... являют власть... Вчера Поджио просто-напросто выгнал их из мастерской.

— И отлично сделал. В другой раз не сунутся.

— Нет, сунутся. Дай только осмелеть. И так сунутся, что уже не Поджио их выгонит, но они Поджио... Дело трещит по швам. Я вижу это очень хорошо, мой милый Андрюша!.. Ну а остаться здесь, на развалинах моего дела, примадонною в чужой опере, в новой, пришлой дирекции, под командою каких-то там банщиков и писцов, — не могу! это свыше сил моих!.. Я жить хочу, Андрей, а подобное зрелище, как ни сильна я, как ни умею владеть собою, в один сезон состарит меня и сведет в могилу.

Берлога. Если ты покинешь театр свой, конечно, дело рассыплется в ту же минуту. Я тоже не останусь в нем.

Елена Сергеевна. Нет, Андрей. Ты останешься.

Берлога. Позволь мне отвечать за себя!

Елена Сергеевна. Останешься. Я знаю, кто будет моею преемницею.

Берлога. Ты думаешь о Светлицкой?

Елена Сергеевна. Несомненно. Она приятельница всех этих господ. Она — единственный авторитет во враждебной мне артистической группе. Единственная из них, о которой в случае передачи нельзя будет сказать, что театр отдали Бог знает кому. Дело Светлицкой построено будет на репертуаре Наседкиной, а ты и Наседкина связаны слишком тесно: ты останешься с ними. Да и надо тебе с ними остаться. Здесь, в России — твой репертуар, твоя сила, твои пристрастия. В Европе, в Америке ты сейчас в состоянии лишь делать деньги. Работать на искусство и — искусством — на общество, как ты понимаешь и хочешь, можно только в России... Ты большой русский человек. Твое место и назначение — в русском искусстве. Ты должен и обязан в нем кончить век свой...

Берлога. Ты, следовательно, за границу думаешь переселиться, Леля?

Елена Сергеевна. Мы с Морицем Раймондовичем имеем давние предложения в Америку — в Нью-Йорк, Буэнос-Айрес... потом турне по всем большим центрам материка. Сроком — года на два... Довольно!

Берлога. Вернешься миллионершей.

Елена Сергеевна. И старухой... Душа умрет.

Берлога. Вот еще!

Елена Сергеевна. Уже умирает... Этот сезон доконал меня. Оттого-то и хочу проститься с тобою в хорошем, молодом воспоминании: ты с моею молодостью слит... Споем же в последний раз по-молодому! В сумерки наши — вспомним рассвет!

Берлога. А это не мнительность твоя, что театр достанется Светлицкой?

Елена Сергеевна. Убеждена, что втихомолку она уже и заявление подала.

Б е р л о г а. Но, Леля, даже и в таком случае, зачем тебе уходить? Ведь Светлицкая в состоянии дать лишь номинальную фирму. В деле она — я знаю взгляды ее — не произведет никакой ломки и пойдет твоею протоптанною тропою. На новшества она способна гораздо менее, чем ты, до попятных шагов, можешь быть уверена, не допустит ее моя рука. В конце концов она, хоть и враг твой, но в театральном деле все-таки твоя ученица, как и все мы. Вместо того чтобы губить театр распадом, не лучше ли вам прекратить вражду вашу и соединиться? И тогда вместо напрасных ранних сумерков мы создадим цельность ясного и светлого дня, который долго-долго не узнает заката!

Е л е н а С е р г е е в н а. Перестань, Андрей! Ты не знаешь, о чем говоришь. Я и Светлицкая в одном деле! Я — в труппе Саньки Светлицкой!

Б е р л о г а. Служила же она у тебя, в твоем театре... тринадцать лет!

Е л е н а С е р г е е в н а. Если у нее достало на то низости, — тем хуже для нее, но я ей в этом милом качестве не соперница.

Б е р л о г а. Низости, Леля?

Е л е н а С е р г е е в н а. Разве ты не находишь низостью служить у человека, которого ты ненавидишь, а он тебя презирает? Между мною и Светлицкою — непримиримое, Андрей!

Б е р л о г а. Да, я знаю. Эта вражда ваша тайная — первое несчастие нашего театра, первый зачаток его разложения. Но — из-за чего она пошла у вас, чего вы не поделили, я никогда не мог узнать, ни догадаться... А ведь я хорошо помню, как на первых порах вы были нежнейшими приятельницами. Ты еще, по обыкновению, немножко ледком дышала и крахмалилась, но она в тебе души не чаяла... И вдруг — лопнуло: сразу, чуть ли не в один день...

Елена Сергеевна. Я не имею права посвятить тебя в этот секрет. Я дала слово молчать.

Берлога. Кому?

Елена Сергеевна. Ей. Она это молчание когда-то у меня, ползая на коленях, выпросила, Она — змея, но надо держать слово, данное даже змее. Итак, Андрюша, что же? «Риголетто»? «Дон Жуан»? «Свадьба Фигаро» ? « Вильгельм Телль»? «Джиоконда»?

Берлога. Уж катнем, что ли, «Джиоконду». Где наше не пропадало? Все-таки роль. Лет десять не пел... Опять же там для mezzo-soprano есть хорошая партия... А то без Маши Юлович мне бенефис не в бенефис!

* * *

В «Обухе» появились две заметки, в высшей степени оскорбительные для Берлоги. В одной — фельетонной, короткострочной подробно и прозрачно излагалось то же самое обвинение в бенефисном барышничестве, что брошено было в полученном Берлогою анонимном письме. Статейка называлась:

Господин Логовище

Позвольте рекомендовать:
— Господин Логовище.
Впрочем, зачем же рекомендовать?
Кто не знает господина Логовища?
«Товарища» Логовища?
«Их» Логовища?
Великого из великих?
Прославленного из прославленных?
Артист, социалист и... аферист.
Пролетарий с пятьюдесятью тысячами годового дохода.
Революционер во всех тонах и полутонах гаммы.
Мажорных и минорных.

Поклонник стачек, забастовок, митингов, манифестаций с красными флагами.

Вооруженных восстаний.

Бомб.

Из всех революционных выступлений ненавидит лишь одно:

— Экспроприацию.

Особенно в банковых кассах.

Потому что нет в России мало-мальски надежного банка, в котором пролетарий Логовище не имел бы солидного вклада.

На текущем счету.

Замечено, что пролетарий Логовище значительно пополняет вклады после своих бенефисов.

Знаете ли вы, что такое бенефис товарища Логовища?

Нет, вы не знаете его бенефисов.

Зачем французить?

Есть хорошее русское слово: «грабиловка».

Недурна и «живодерня».

Мы предлагаем товарищу Логовищу печатать любое из них в афишах вместо иностранного «бенефис».

Или оба вместе.

Так:

— «Пролетарская грабиловка и живодерня товарища Логовища...»

Сказывалось перо злобное и осведомленное, с подтасованным запасом фактических намеков, из которых слагаются призрачные правды убийственных клевет. Роль Анастасии Николаевны — «русокудрой подруги пролетария Логовища» — была освещена с большим знанием обстоятельств и отношений.

Мы назвали бы ее прелестнейшею из ростовщиц, если бы она не была только ширмою для прелестнейшего из ростовщиков.

Она несет на себе денежные грехи пролетария Логовища.

Подобно тому, как козел отпущения уносил в пустыню грехи жидов, с которыми товарищ Логовище состоит в несомненном родстве.

Если был козел отпущения, почему не быть такой же козе?

Русокудрая ростовщица — коза отпущения ростовщика Логовища.

Другая заметка в хронике была еще свирепее. Над Россией шумел скандал громкого процесса по поставкам на санитарное ведомство в минувшую проигранную войну. Процесс этот был так безнадежно гнусен, что даже «Всероссийские Обухи» не решились защищать героев его и не только «беспристрастно» бросили их на растерзание левой, но даже и сами время от времени подвывали, с крокодиловыми слезами оплакивая падение нравов «октябристской» бюрократии... Заметка гласила:

В числе лиц, привлеченных к свидетельству по известному санитарному делу, выделяется имя артистки А.Н. Кругликовой, украшающей собою, как известно, подмостки нашего оперного вертепа. Госпожа Кругликова оперировала в нескольких поставках чрез подставных лиц и нажила тем очень кругленькие суммы. Следствие не нашло возможным привлечь г-жу Кругликову к суду в качестве обвиняемой: не пойман — не вор! — но, говорят, свидетельство ее будет драгоценно для освещения многих темных уголков процесса... да и позорной оперной клоаки нашей тоже! — прибавим мы от себя.

— Бить?.. Новый скандал! Новая мельница на воду «Обуха»!

— Начать дело о клевете? Ну а если Настасья...

Берлога послал за верным своим Аухфишем. Долго беседовали они, запершись... А затем — Андрей Викторович появился в номере Елизаветы Вадимовны Наседкиной в совершенно неурочное время.

— Поздравь меня своим соседом! — сказал он, криво усмехаясь совершенно искаженным лицом, похудевший и пожелтевший в несколько часов, точно чахоточный, — я тут рядом с тобою — стена в стену — отделение занял...

И — на немой взгляд изумленной Наседкиной — продолжал:

— Не могу же я оставаться с нею под одною крышею!..

— Но... твоя квартира?

— Аухфиш запер и запечатал мой кабинет. Остальное — черт с нею! — пусть берет себе и увозит.

— Андрей Викторович, твоя воля, не мне спорить с тобою, но ведь у тебя там вещей тысяч на двадцать на пять!

— Пусть все берет! пусть все тащит! Мне противно прикасаться к вещам этим. От них грабежом пахнет... Я никогда не знал денег, заработанных иначе, как художественным трудом моим, да и на те не смотрел, как на свою собственность... Старался идти навстречу каждой нужде, помогал всякому, кто спросит, давал на каждое дело, которое казалось мне полезным и хорошим... Зарабатывал — не считал, тратил — тоже не считал... И вот — оказался товарищем барышников и маклаков!.. Работал на субсидии казнокрадам каким-то! взяточным фондом служил, чтобы мерзавцы разные раненых морили!..

Елизавета Вадимовна была искренно возмущена. Ловкая во всяком лицедействе житейском, охочая и умелая вести — житейскую ли, артистическую ли — интригу, честолюбивая и властная на дне души своей, хотя никогда еще не знала власти, — она не была жадна на деньги, и коммерческая подлость была ей чужда и непонятна. Сведения о бенефисном барышничестве прекрасной Анастасии не были для нее новостью. За кулисами они давно уже были притчею во языцех, — Светлицкая же и сообщила подробности всякие Дюнуа, который был, если не автором, то вдохновителем фельетона. Но прикосновенность Настеньки к санитарному процессу поразила Елизавету Вадимовну, как совершенная неожиданность: Светлицкая этот свой козырь даже от нее скрыла — приберегла эффект до последнего конца. Алчности, способной затянуть вполне обеспеченную, может

быть, даже богатую, женщину в подобную грязь, Елизавета Вадимовна не могла ни охватить умом своим, ни вместить в воображение. И людям, и себе она имела право с чистым сердцем сказать чистую правду, что уж она-то поступить с Берлогою, как Настенька, никогда не была бы в состоянии. Авантюристка до мозга костей, с сердцем, иссохшим в незадачливой молодости, Наседкина нисколько не стыдилась править Берлогою, как упряжным мулом, обязанным взвести ее на вершину житейской горы, превращать его в бессознательное орудие интриг своих, разбивать его привязанности, могущие ослабить ее влияние, сходиться в дружбы с его врагами, уединять его среди жизни в личное свое распоряжение, — словом, забирать под свой башмак. Эгоистка с требовательною чувственностью, но холодною головою, она не считала грехом обманывать Берлогу с каким-нибудь Сергеем Аристоновым или Сашею Печенеговым, — и с совершенно спокойною совестью водила его за нос, навязывая ему теперь ответственность за чужого ребенка, которого носила под сердцем своим. Но задатков ростовщицы, вора, скареды — в ней не было.

— Негодяйка! — воскликнула она. — Ты, конечно, прав, что не хочешь скандала, но — с каким удовольствием я увидела бы ее на скамье подсудимых и в тюрьму посадила бы!

Но Берлога отвечал уныло:

— На скамью подсудимых-то следовало бы прежде всех меня посадить... Я больше виноват!

— Ну уж, Андрей Викторович, я к тебе с безалаберностью твоею, — ты знаешь — не слишком снисходительна, — сам ты меня своею совестью зовешь, — но на этот раз позволь заступиться: пустяки говоришь! Ты здесь — жертва!

— Нет, Лиза, не пустяки. Польстился, взял красивого зверенка, — значит, и ответственность за него на мне. Прожили мы с Настею восемь лет... Как она жила, — живой человек рядом со мною, — разве я интересовался? Воспитывал я ее?

Развивал? Учил? Следил я за ее нравственным уровнем? Только спали вместе, да — хозяйствуй, как знаешь, и бери денег сколько осилишь! Кто вводит дикарку в условия цивилизованной среды, тот обязан ее до условий этих поднять... Прозевал, не успел, не сумел, поленился, сам и виноват, сам и кайся!.. Но, черт возьми, когда же мне было заниматься этим? Как в котле киплю!.. Когда?.. Ах, милая, столько времени уходит у нашего брата, художника, на выдуманных людей, которых мы создаем, что настоящих, которые рядом с нами копошатся, пакостят, страдают, грешат, и почувствовать некогда... Нехорошо это! А — что поделаешь? Такое наше бесовское ремесло!

— Как же теперь быть с бенефисом?

— Черт с ним! Откажусь.

— Это неудобно. Во-первых, она, вероятно, все уже запродала...

— А! Сами виноваты! Не покупай заведомо краденного!

— Да, но поднимется шум. Эту историю сейчас гасить надо, а не новыми скандалами обставлять... Во-вторых, нельзя же показать «Обуху», что ты принимаешь его пасквили так близко к сердцу.

— Да... вот разве это!

— Бенефис должен состояться. Если бы я была здорова, то с удовольствием предложила бы тебе принять его организацию на себя и полагаю, что устроила бы твои дела не глупее Настеньки и уж, конечно, честнее. Но я больна. Поручи Светлицкой?

— Чтобы Елена Сергеевна отказалась у меня петь? Ты не знаешь, какой у меня с нею разговор был о будущем сезоне.

Он передал. Елизавета Вадимовна выслушала с любопытством и задумчиво произнесла:

— Так это правда выходит...

— Что?

— В уборных сплетничают, будто она ее когда-то хлыстом по лицу избила.

— Кто? Кого?

— Понятное дело, не Светлицкая Елену Сергеевну, но Елена Сергеевна Светлицкую.

— Елена?.. Светлицкую?.. За что?

Елизавета Вадимовна улыбнулась язвительно и загадочно.

— Откуда же мне знать? О таких историях друзей не расспрашивают. Их стараются позабыть...

— Елена — била женщину — подругу — хлыстом по лицу?!

Наседкина пожала плечами.

— Женщину... А мужчину можно?

— Бывают случаи, когда иного нахала и должно.

— Ну а если женщина — подобный же нахал? Мужское поведение — мужская и расплата. Ты же знаешь нравы любезной нашей Александры Викентьевны...

— Да, но надо совершенно не знать Елены, чтобы воображать...

— О твоей Елене никто ничего и не воображает. Я терпеть ее не могу, но не переношу клевет. Это — бесполый идол, бесстрастная чистюлька и ледышка. Просто моя любезная профессорша сунулась в воду, не спросясь броду... бывает это с нею... ну и попала под хлыст!.. А Савицкая права: это — непримиримое! Можно забывать, но не забыть...

По долгом совещании решено было представить организацию бенефиса Риммеру как человеку нейтральному между обеими партиями расколовшейся труппы и через кассу непосредственно близкому к публике. Всякую внекассовую продажу билетов прекратить и объявить недействительною. Цены увеличить не более, как в полтора раза.

Неделю спустя Анастасия Николаевна Кругликова покинула город, увозя с собою в Петербург — отступным за бесче-

стье — векселей Берлоги на двадцать пять тысяч рублей к уплате в разные сроки. Сделку эту Берлога тщательно скрыл от Елизаветы Вадимовны, потому что та настаивала, чтобы Настенька была отпущена Берлогою без копейки: нелепо же давать деньги или обязываться новыми долгами женщине, которая на тебе же нажилась настолько, что теперь вдесятеро богаче тебя самого! Но Анастасия Николаевна убедительнейше доказывала Ухфишу, который вел разлучные переговоры, что, лишаясь бенефиса, она терпит совершенно неправильный убыток и должна быть за него вознаграждена.

— Если бы Андрею Викторовичу эта блажь, чтобы нам расставаться, после бенефиса пришла, — журчала русокудрая красавица, — то я бы никаких к нему претензий уже не имела, потому что бенефис у меня был рассчитан на сорок тысяч. Но как его угораздило взбеситься пред самым бенефисом — то, сами посудите, Самуил Львович: я ли в том виновата? Жить со мною, разойтись ли — его воля, но за что же я должна быть лишена своего профита? Небось, это — в последний раз!.. Как вам угодно, Самуил Львович, хоть он и друг вам, а вы научите Андрея Викторовича, что он этак поступает против меня бесчестно, и это его прямая обязанность — отдать мне нонешний бенефис. А ежели ему уж так неприятно, чтобы я распоряжалась, — пусть вознаградит векселями... Что такое? Я своего терять не могу!..

Аухфиш передал Берлоге эти удивительные доводы только шутки ради. Но тот расхохотался:

— Узнаю Настасью!.. Вся тут!.. Черт с нею, с дурою!.. скажи, что выдам векселя... лишь бы убиралась скорее!

Квартирную обстановку Настенька наспех ликвидировать не решилась, боясь продешевить, но свезла в склад с такою совершенною чистотою, что — когда Аухфиш по отъезде ее взошел в покинутые апартаменты, то даже ахнул: глазам его предстали буквально голые стены да затоптанный мусором

пол. Даже газетной бумаги, даже битого стекла или рваной калоши нигде не осталось: продала старьевщику на целых одиннадцать рублей тридцать четыре копейки! Так как Настенька упорно не отказывалась от контракта с театром, желая выиграть неустойку, то инициативу разрыва пришлось Савицкой взять на себя, и неустойка красавице была выплачена, то есть, конечно, опять-таки Берлога принял ее на себя. Перед отъездом Анастасия Николаевна побывала с прощальными визитами у всех театральных и у Маши Юлович сидела очень долго. Плакала не весьма и от сокрушения сердечного была далека, но никак не могла взять в толк: за что обиделся и разгневался на нее Андрей Викторович? почему заторопился разорвать с нею так резко и спешно?

— Великого поста подождал бы, — я бы и сама от него ушла... тихо, мило, благородно! Потому что в рассуждении капитала весь мой расчет округления, Маша, милая, на весну сводился. А теперь Андрей Викторович нанес мне неисчислимые убытки — и могу ли я то ему извинить?

— Да ведь он же векселя тебе выдал!

— Векселя, Машенька, особая статья. Но здесь, при нем, я до весны даром всласть просуществовала бы, а в Петербурге, поди, паршивого номеришка дешевле, чем за двадцать пять в месяц не нанять. Чем я ему тут мешала? Жили бы рядком за милую душу, он сам по себе, я сама по себе... А что собаки лают, так это ветер носит. Но — который мужчина сумасшедший, так он сумасшедший и есть!

XXIX

Почти перед самыми Святками Берлога и Наседкина весьма великолепно отпраздновали совместное новоселье на ремонтированной и заново обставленной квартире. Тор-

жество это Дюнуа не преминул обозвать «собачьей свадьбой», тем не менее в городе оно наделало немало шума. У «молодых» перебывал в течение дня весь цвет местной интеллигенции не семейной и даже — совсем уже событие! — удостоили целомудренно распуститься под преступною кровлею гражданского брака некоторые семейные цветки. Во избежание смешения общества и рискованных встреч, — не посадить же Аухфиша vis-á-vis* Ермилки из «Обуха» или кого-либо из косоворотных приятелей Берлоги рядом с полицеймейстером Брыкаевым! — Елизавета Вадимовна решила весьма остроумно, что званый обед будет строго товарищеский, только для труппы — и на половине Берлоги. А вечером она устроит чай на своей половине, без официальных приглашений, — кто вспомнит и пожелает почтить посещением. К компромиссу этому пришли после того, как Берлога наотрез отказался сидеть за одним столом с кем-либо из обуховцев и принять у себя Брыкаева.

— Довольно с меня уж и той низости, что, в клубах встречаясь, я должен здороваться с этим животным. Ты, Лиза, свободна в своих знакомствах. Конечно, мне визиты к тебе господ подобных нравиться не могут, но я понимаю, что тебе на первых шагах карьеры ссориться, хотя бы с тем же Брыкаевым или Ермилкою, не совсем удобно. Но меня от их вторжений прошу избавить и предупреждаю тебя, что Ермилке я руки не подам.

Елизавета Вадимовна в военном совете со Светлицкою и это затруднение разрешила с простотою в своем роде гениальною. Было рассчитано, что немедленно после обеда, назначенного рано, в пять часов, чтобы в нем могли принять участие товарищи, занятые в спектакле того дня, Мориц Раймондович Рахе, Захар Кереметев, Поджио и Ромуальд Фюрст сядут за обычный свой винт. Столик им приготовить

* Напротив (*фр.*).

в кабинете Берлоги и его самого туда же увлечь: просить Аухфиша, Нордмана и даже — нечего делать приходится поклониться! — Машу Юлович, чтобы затянули Андрея Викторовича в разглагольствие подлиннее. Тем временем остальное общество переводится на половину Елизаветы Вадимовны, и главное сообщение между половинами замыкается, а прислуга, Елизавета Вадимовна и свои люди, посвященные в тайну, как Светлицкая или Мешканов, будут проникать в этот своеобразный форт Шаброль через интимное святилище спальни.

— Если Аухфиш и Нордман заспорят с Андрюшею о Вагнере либо Римском-Корсакове, — размышляли хитроумные дамы, — то переливать из пустого в порожнее ему часа на два хватит. Жаль, нет в городе Силы Кузьмича Хлебенного. У того — особенный талант заводить его, тем временем мы разные эти его демократические элементы сплавим. Они у него застенчивые и совестливые: долго в большом обществе не сидят. Помолчит элемент минут десяток, да уж и за шапку берется: жутко ему среди буржуа! А затем часам к девяти Риммер или Мешканов вызовут Андрея Викторовича по телефону в театр... Тут мы свою «черную сотню» и пропустим великолепнейше!

«Черной же сотне», приглашая, давали тонким подчеркиванием понять, что, если они пожалуют аккуратно к десяти часам вечера, то не рискуют встретить никого, им неприятного, и проведут время в радости среди публики рассортированной и отборной.

С другой стороны — из старых друзей Берлоги — многие тоже приняли меры, чтобы безобидно увильнуть от праздника, в котором они справедливо усматривали политическое торжество ненавистной им Светлицкой. Елена Сергеевна прислала Елизавете Вадимовне огромный букет в серебряном порт-букете, а Берлоге великолепный торт с золотою солонкою, но быть не могла, так как из-за болезни Ваньки Фернандова произошла

перетасовка в репертуаре. Елене Сергеевне в тот самый вечер неожиданно пришлось — чем бы пировать на новоселье — изображать «Миньону». А уж когда Елена Сергеевна занята в спектакле, — это всем известно: она до театра не выходит из дома и ни с кем не разговаривает. Обидеться Елизавете Вадимовне, таким образом, было не на что. Находили только, что предлог сломать репертуар — из-за болезни Ваньки Фернандова — был выбран с несколько небрежною откровенностью. Этот почти пятидесятилетний уже, крепкий кубарь, старый Мальчик-с-Пальчик в жизнь свою не чихнул простудно — и болел на афишах только, когда угодно было дирекции по ее репертуарным расчетам. Но и тут Елена Сергеевна имела в запасе оправдание, что Ваньке велено болеть — ради Матвеевой. Последняя, если бы не шла «Миньона», должна была петь пятый раз на неделе, а осоподобная примадонна и без того уже переутомилась, так как теперь ей приходилось дублировать не одну Савицкую, но и болеющую Наседкину.

Благодаря тайному взаимодействию враждебных лагерей программа политикующих дам осуществилась блистательно. Как обед, так и вечер скатились по рельсам вооруженного мира глаже, чем по маслу.

Аухфиш приехал, напуганный и расстроенный.

— Знаешь, в городе неспокойно, — сказал он Берлоге, едва успел поздороваться. — Нашего репортера Зальца избили на Коромысловке... чудом спасся... как только ноги унес!..

— Коромысловка — известная хулиганская палестина.

— Да, но на этот раз хулиганы не причем... Его бабы избили... Проповедник этот полоумный опять в городе... Вот, помнишь, который нашего генерал-губернатора бывшего анафеме предал, а тот его выслал... Целые бабьи митинги вокруг него там на Коромысловке собираются. Зальц потому и попал в эту трущобу... Предобросовестный он у нас, всюду должен

собственным носом понюхать, чем пахнет... Нехорошо! Ароматы погрома! Крестовый поход проповедует...

— Против евреев?

— Разумеется, не против полицеймейстера Брыкаева!.. Против евреев, против интеллигенции... Анафемами сыплет... Кадетов проклял... Толстого проклял... На конституционалистов — к ножам зовет...

— Баб-то?

— С них начинается... Застрельщицы!.. Зальцу очень больно досталось: одно ухо почти оторвано... Если бы какой-то босяк не отнял его у мегер этих, глаза выдрали бы!

— Сказал он, что ли, им неприятное что-нибудь?

— Ничего подобного. Просто еврея признали... Визжат: «Жид! жид! Христа распял! Царю изменник! У него бомба в кармане! Он нашего батюшку убить пришел!..» А батюшка на бочке красуется в подряснике своем да на все четыре стороны благословляет: бейте!.. Зальц зайцем кричал караул, — околоточный подле, в двух шагах стоит и хоть бы шевельнулся... Знаешь, я за редакцию опасаюсь... Этот Саванарола наизнанку прямо пальцем указывает: «Вот где, — говорит, — крамольное гнездо! Все зло в городе вашем идет от жидовского «Почтальона»!..»

— А театру не грозят? — встревожился артист.

— Нет, о театре Зальц покуда ничего не рассказывал...

О новости этой говорили весь вечер. Когда приехал бравый Брыкаев, дамы осадили его вопросами. Он презрительно улыбался.

— Пустое, mesdames, решительно ничего из ряда вон выходящего... То же самое, что всегда бывает, когда говорит отец Экзакустодиан. Изумительный проповедник! Воистину, — столп!.. Действительно, какого-то жидишку там, кажется, давнули... И поделом... Не суйся, куда тебя не спрашивают! Отец Экзакустодиан проповедует не для жидов, а для православных и верноподданных.

— Но откуда же он взялся, ваш Экзакустодиан? Ведь генерал-губернатор выслал его как нарушителя общественного спокойствия?

— Да. Но, знаете, общественное спокойствие — понятие условное и относительное. Один генерал-губернатор понимает его так, другой этак. Сегодня хорошо оное, а завтра сие. Кто выслан, может быть возвращен. А кто возвращен, может быть выслан. И кто этого правила не памятует и не зарубил себе на носу, тот, значит... просто — тот, значит, не понимает нашей истинно русской внутренней политики!

Он оглядывался, притворно разыскивая глазами Берлогу, хотя отлично знал, что его здесь уже нет и — по безмолвно договоренной конституции вечера — даже и быть не может.

— Я что-то не вижу уважаемого нашего Андрея Викторовича?

— Представьте, — извинялась Наседкина, тоже по конституции, — всего пять минут назад вызвали его по телефону в театр... Елена Сергеевна просила. Что-то очень важное... Вы его увидите, он скоро вернется.

— Ах, напротив! Сколько я ни люблю Андрея Викторовича, но сегодня искренно счастлив, что не встретил его, и непременно постараюсь уехать прежде его возвращения. Потому что имею для него сообщение, которое передавать весьма неприятно... особенно, в такой дружеский праздник. Пусть узнает от кого-нибудь другого!

И, слегка наклонясь к Елизавете Вадимовне, произнес беззвучным полицейским говором, который слышен только тому, к кому обращен.

— Приятель его закадычный, Сила Кузьмич Хлебенный, с ума сошел.

Наседкину даже качнуло.

— Да что вы? Как? Сила Кузьмич? Быть не может! Откуда известно? Когда?

— Из Москвы доктор Тигульский приехал. Был экстренно вызван на совещание психиатров, которые Силу Кузьмича свидетельствовали и пользуют. Власти принуждены были вмешаться и поместить под медицинский надзор... Страшную расточительность вдруг обнаружил. Чуть было состояния не лишился и семью не разорил. Жена ходатайствует о наложении опеки...

Наседкина безмолвствовала, соображая про себя: «Ну и везет же нашей свет-Александре Викентьевне! Теперь ее делу — лафа, а Лелькину — ау! Грош Лельке цена, когда от нее отвалятся кредиты Хлебенного и его в Думе поддержка!»

Брыкаев же нагнулся еще ниже и уже зашептал:

— Ходят, кроме того, слухи, будто на Волге он в руки господ революционеров попал и огромные суммы им отсыпал... о! несомненно, уже будучи не в своем уме!.. В политической благонадежности Силы Кузьмича кто же смеет сомневаться?.. Свихнулся! Что поделаешь? Могучий был ум, а свихнулся!

— Как-то уж очень внезапно! Даже верить не хочется.

— А, нет... Он давно стал заговариваться... да!.. Родные замечали... Только фирмы не хотели конфузить, а то давно пора бы... Прогрессивный паралич... хе-хе-хе! Расплачивается наш Сила Кузьмич за грешки молодости! Мания величия и колоссальных затрат! И бред-то у него этакой — самый странный: флоты воображаемые сооружает, о Стеньке Разине что-то, с воздухоплавательными изобретателями связался... С американцем каким-то сумасшедшим, который ищет средство молнией овладеть и к разрушительным целям ее приспособить, переписку целую нашли у него при обыске.

— А обыск-то с какой же стати? Разве его подозревали в политике?

— Помилуйте! Отнюдь! Но когда такая могущественная особа изволит сходить с ума, как же — без обыска? С миллионами Силы Кузьмича тысячи лиц интересами связаны... даже,

может быть, иные титулованные особы. Миллионер — всегда фигура государственная, а уж наш Сила Кузьмич был — на всю Россию!.. Недаром он себя теперь чем-то вроде президента российской республики воображает... хе-хе-хе!.. Нет, какая политика!.. Если бы он в политике оказался виноват, то его отправили бы в тюрьму, а не в сумасшедший дом... Теперь же он будет только устранен от своих капиталов. Супруга-то с прошением прямо в самые верхние сферы пошла. Таким путем весьма возможно опеку в два дня обвертеть...

* * *

Часу в четвертом декабрьской темной ночи Мавра Судакова, съемщица одной из бесчисленных на Коромысловке ночлежных квартир, была разбужена неурочным стуком в оконце своей хозяйской каморки.

— Кого черт несет?

Женский голос, не то смеющийся, не то плачущий, глухо отозвался сквозь двойные рамы:

— Отворяй, Мавра Кондратьевна! Своя!

Старуха выставила лицо в форточку.

— Кой бес? Нанашка! Никак ты?

— Я. Здравствуй, Мавруша! Отворяй скорее! Застыла!

— Где же тебя дьяволы трепали экое время? Я чаяла, ты уже в проруби давно мокнешь, за помин души думала подавать.

При лампочке старуха разглядела на вошедшей черную шелковую кофточку, хорошую суконную юбку, золотые часы с цепью... Но вместо верхнего платья Нанашка куталась в большой ковровый платок, и на голове, причесанной скромно, не по-уличному, а по-господски, у нее ничего не было.

— Ой, девонька, подмерзла же ты! — с участием завздыхала старуха, глядя на ее синее лицо и красные руки. Та

возразила голосом, сиплым и дрожащим с большого перезябу, но весело и бойко:

— Ничего, Мавруша, — винца поставишь, так отогреемся!.. не чихнем!.. Деньги есть... неси поскорее!

— Где была-побывала? — спрашивала старуха, от шкапчика гремя посудою.

— А где была, там меня нету... Господи, благослови! С наступающим праздником!.. Уф! Побежал огонек по жилкам, пошла душа в рай!..

— Али давно не пробовала? — ухмылялась съемщица: уж слишком жадным наслаждением осветились черты женщины, оттаявшей и побелевшей в густом тепле, испускаемом в каморку старинною изразцовою лежанкою, на которой Мавра Кондратьевна обычно парила старые кости свои.

— Больше месяца в рот не брала, — сквозь зубы бросила та, опоражнивая второй стаканчик.

— О-о? С чего ж это тебя так перепостило?

Женщина сухо объяснила:

— В больнице находилась... Лечили от этого самого... Лекари, шерсть им в горло!

Она позвенела стаканчиком о бутылку и захохотала.

— Ишь? — удивилась старуха, — а я, глядя на тебя, полагала было, что ты на хорошем фарту жила... Непохожа ты на больничные-то оглодки... Нарядная вернулась... Всегда возможно за барыню принять.

— Родственников встретила, в родственную опеку попала... Гнить бы им всем на кладбище!.. А теперь, Мавруша, буду тебе в ножки кланяться: выручай... скрой!

— Стырила? — быстро и зорко насторожилась съемщица.

Женщина возразила равнодушно и не обижаясь:

— Нет, я этим не занимаюсь... А убежала я из больницы-то... в окно ушла, искать будут...

— А-а-а! — успокоилась старуха, — это ничего, это я тебя всегда укрою... Эки дьяволы! придумали, — как есть здоро-

вого человека в больнице морить... Били, поди, тебя, что сбежала-то?

— Нет. Только скучно у них там... Ужас, как скучно!.. Перемени посудинку, Мавруша.

— В загул, стало быть, наше дело пойдет?

Женщина рассуждала, не отвечая:

— Я им вторую неделю говорю: «Отпустите меня, душа не терпит...» — «Ах, помилуйте, Надежда Филаретовна! да — когда угодно! Разве мы смеем задержать вас? Вот только печень вашу позвольте нам немножко успокоить, а то слишком раздражена, от нее вам может очень нехорошо быть...» Сегодня — печень, завтра — почки, там — селезенка... черт бы их драл! Вижу: виляют... оттягивают... А тут еще сиделок подслушала: старшая приказывает, чтобы следили за мною, что я задумываться стала, скучаю по вину, так — не ушла бы. А те дуры, спорят: «Где ей! у нее ноги опухли в ревматизмах, еле двигается!..» — «Ах вы! — думаю, — так-то? Я же вам, сударкам, покажу, какова я безногая!..» С вечера бумаги припасла, мякиша хлебного нажевала, а ночью стекла в оконнице наклейкою выдавила, — не скрипнули! — да в сад по водосточной трубе спустилась... ха-ха-ха!.. Не высоко: второй этаж! Кабы нашуметь не боялась, то спрыгнуть не страшно: сугробов нанесло под окнами-то... мягко!..

— Дивись, как ты платье не ободрала! — соболезновала старуха.

— Платье у меня в узле за плечами привязано было... Как можно — в платье? Чай, потом, хоть и ночью, надо по городу идти! В одном бельишке вылезла и сад перебежала... Уже внизу, под забором, на снегу оделась, платчишко — на голову, да — через забор, да — к тебе!..

— Милости просим! Хорошим гостям всегда рады.

— Версты три пешедралом гнала... Небось: не безногая!.. Я, Мавруша, того мнения, что все эти печени, да почки, да селезенки — нападают на здорового человека

от неволи и скуки... На свободе и с посудинкою вот этакою никогда я никаких ревматизмов и катаров не ощущаю... Пьем, Мавруха!

Старуха ощупывала юбку ее.

— Хорошая материя... аглицкая... Поди, переменку тебе приготовить надоть будет?.. Приметна больно эта одежинка твоя... Продай! По знакомству дам золотушку...

— Дешево покупаешь — домой не носишь!.. Переменку возьму, а платья продавать покуда не намерена: деньги есть. Выпьем, Мавруха!..

— Онамнясь, черти твои заходили, — говорила съемщица, трудно жуя беззубым ртом баранку с солью. — Очень горевали, что тебя не обрели... Подхватили Марью Косую да Феклушку Тарань... трое суток карамболили... И в Бобковом, и по всей Коромысловке, и по слободам... Золотые вернулись девки те: в новых шляпах!..

— Это — которые же? — равнодушно спросила женщина, облизывая обожженные спиртом губы. — Туляк с компанией или Неболиголовка?

— Туляк твой в тюрьму сел, а Неболиголовке на нашу улицу давно хода нет, потому что посадские на него за бабочку тут одну злобятся, так ребра свои оберегает. Ветлуга с Марсиком да Никита Иваныч...

— Это бочкастый такой, рожа светится, как самовар медный?

— И вовсе нет. Что-й-то ты, девонька? Словно бы и впрямь не помнишь!.. — даже как бы обиделась старуха.

— Мало ли их, чертей!.. Впрочем, вспомнила, знаю: длинный, рыжий, на веху похож?.. По покойникам читает и под судом был, что с генеральского гроба кисти отрезал и пропил?

— Он самый и есть.

— С чего же бы это они кантуют? Казалось бы, у подобного ракла и денег таких не должно быть в заводе, чтобы девок по трое суток хороводить?

— Они теперь, при батюшке состоя, все денежны стали... Батюшка у нас на Коромысловке объявился, отец Экзакустодиан... бродячего поведения, потому что гоним от господ за правду. Ходит в народ и обличает, стало быть, врагов, которые суть сицилисты и анархисты... японцу на войну супротив православия сто миллионов надавали!.. А Никита Иваныч компанию таких же дюжих набрал — отца Экзакустодиана оберегают, чтобы какой-нибудь леворюцинер бомбы не бросил или невежества не сказал... Намедни — тут у самих моих окон — жиденка одного смертным боем били. Я, грешница, тоже поревновала было, с чапельником выбежала... так нет, выхватили антихриста доброхоты евоные! жив ушел! увезли!.. Ну и денежные сборы значительные производятся, с тарелкою, с мешком публику обходят... Телохранители-то, значит, в этом разе чрезвычайно как хорошо питаются... После того кому же как не им, жеребцам, хороводиться? Кто мало на тарелку положит, — даже бьют!

* * *

Убегая из лечебницы, Надежда Филаретовна оставила в комнате своей записку, в которой трогательно извинялась, просила не искать ее, а паспорт выслать в соседний, верст за шестьдесят, город на имя какой-то вдовы. Доктор Тигульский прискакал к Берлоге за инструкциями. Тот обратился к совершенно смущенному Аухфишу:

— Я говорил... ты видишь!..

Накануне своего бенефиса Берлога получил по почте смертный приговор — безграмотный и ругательный, как все подобные документы, которыми сыпать не скупится черная сотня по адресам, приказанным вожаками. Для Берлоги это было не в первинку.

— Руки коротки! Если бы все подобные приговоры приводились в исполнение, то мне бы уже раз пять умереть надо было!

Лествицына, — он заезжал к ней теперь довольно часто, — тоже предупреждала его:

— Дорогой Андрей Викторович, мои квартирные хозяева — фанатические поклонники этого Экзакустодиана, о котором теперь так много говорят в городе. Но они и меня очень любят... ведь я у них уже седьмой год безвыездно квартирую, даже детей крестила. Так вот — они рассказывают, что Экзакустодиан ихний в последних речах своих ужасно как на театр наш обрушивается... Вертеп, жидовское гнездо, бесовское действо, скоморошья крамола, — каждый день он нас подобными милыми словечками обливает, как помоями из ведра... Поклонникам своим наотрез воспретил посещать театр, а — кто не послушает, да будет анафема!.. Особенно злобится, что у нас бывают спектакли по субботам... Мне кажется, Андрей Викторович, на агитацию эту следовало бы обратить внимание: толпа раздражена, — не вышло бы чего худого?

Берлога горько усмехнулся.

— А что мы можем сделать? Полиция открыто поддерживает Экзакустодиана... Еще, вероятно, жалеет, что он один, побольше бы ей таких-то. Если бы он публично ругал меня, Елену Сергеевну, лица определенные, то я и сам его к суду потянул бы, и другим советовал бы. Но ведь он орет без указания. А бороться с театром вообще — это его профессиональная привилегия... Еще Тертуллиан, Августин, Иоанн Златоустый наше дело громили... Семнадцать веков в том упражняются!

— Да помилуйте, он, говорят, даже и не монах вовсе! Служка какой-то полоумный... за скандалы из разных монастырей выгнан... самовольно благословляет и рясу носит!

— Это — архиереям и благочинным разбирать, а не нам с вами.

Лествицына замялась, волнуясь.

— Еще, Андрей Викторович, говорят... право, уж и не знаю, как вам сказать... это уже в самом театре между хористами легенда ходит... Говорят, будто агитация против нашей оперы из-за наших же кулис питается и направляется... Про

Светлицкую очень двусмысленно говорят! — наконец напрямик указала она имя.

— Про нее, кажется, никогда не говорят односмысленно. Козел отпущений по всем театральным неурядицам! Чепуха какая-нибудь!..

— Будто бы так, что Экзакустодиану проповедывать против театра приказывает Брыкаев,а Брыкаева натравляет Светлицкая, чтобы лишить Елену Сергеевну театра и самой им завладеть.

— Гм...

Берлога глубоко задумался.

— Видите ли, Федосья Терентьевна, здесь, пожалуй, могла бы быть доля правды, если бы Елизавета Вадимовна была здорова... Но, покуда она больна, Светлицкой нет никакого расчета ломать сезон: у нее не будет примадонны, а следовательно, и репертуара. Она слишком умна, чтобы на первых же шагах антрепризы посадить себя в лужу.

Лествицына молчала, соображая.

— А если она итальянцев выпишет? — предложила она.

— Гастрольная система?! Смешение языков?! Да я в ту же минуту из театра уйду!

— Я думаю другое, — продолжал он, поразмыслив, — я думаю, было так: милейший, но ехиднейший и продувнейший наш Светлячок действительно интриговал с Брыкаевым и обуховцами и готовил Елене Сергеевне сюрприз в виде разрыва контракта со стороны города по force majeure... * Теперь эта интрига стала для Светлицкой не ко времени, не нужна, опасна. Но известно, что вызвать черта на послугу гораздо легче, чем отослать его обратно. Так и у Светлицкой... Она дала толчок камню, камень покатился под гору, — да не в ту сторону. Спохватилась, рада бы остановить, да уж поздно — не удержишь!

---

* Форс-мажор (*фр.*); из-за непреодолимого препятствия.

* * *

День угасал.

У часовни Спаса на Коромысловке улица была широко залита народом. Экзакустодиан говорил со ступеней часовни, возвышаясь над толпою по пояс, худой, длинный, в муругом своем подряснике: смешной и страшный, жалкий и грозный — тощею фигурою, похожею на надломленную жердь или очеп над деревенским колодцем, — прямыми жестами костлявых рук, потрясающих то скелетным кулаком, то скелетною пятернею, — дикими сверканиями взглядов, улыбок и гримас на странном лице, в котором византийские черты иконописного пророка противоестественно сочетались с буйными чертами кентавра. Сверху светились таинственным ужасом огромные глаза духовидца, привычного ангелов и дьяволов зреть, внизу двигались, будто овес жевали, лошадиные челюсти; волосы надо лбом дыбились и вились вокруг головы, как сияние темного золота, а борода моталась и веяла, точно хвост чалого жеребца. Падающие сумерки понемногу съедали цвета и очертания его фигуры, и наконец — в светлом круге сияющей из часовни неугасимой лампады — осталось только рыжее пятно лица с белыми зайчиками глаз. Теперь казалось, будто у часовни мечется в пленном безумии какой-то полузримый дух: жаждет материализоваться в силу живой плоти, и в неудачных попытках ревет, стонет, визжит, хохочет впотьмах, — злобный и слезливый, наполовину ребенок, наполовину убийца, а в целом — сумасшедший. Он сыпал словами, как просом из решета, без остановок, — от священного текста к пословице, от молитвы к грубому анекдоту, от акафиста к ругательству, — сейчас орал, как бык, через секунду визжал, как поросенок: непроизвольно летели выражения, непроизвольно рождались интонации, — в каждом звуке кричала к народу заразительная, кликушеская истерия юродивого эпилептика... Все в этом человеке было как будто

не свое, все — от одержимости и наваждения. В заколдованном круге навязчивых идей ненависти и разрушения он бежал, точно лошадь на корде, — все возвращаясь на первое, повторяясь, гвоздя по одной и той же кривой, и нисколько тем не смущаясь, что он — собственно говоря — лишь кругообразно топчется, а не движется вперед.

Толпа слушала Экзакустодиана с благоговением. В нем чувствовалась власть, и это-то он сознавал, что он — власть. Каждое слово свое Экзакустодиан произносил с сознанием права, которое уверено в себе и ничего не боится. Между ним и толпою струились тысячи флюидов, тянулись и вились незримые нити демократического сродства, покорявшего, заставлявшего верить и следовать. Он плакал, и улица оглашалась всхлипыванием и воем истеричных баб. Он ругался, проклинал, и мужчины галдели, сжимая кулаки, грозя палками и зонтами, а женщины визжали, как кошки, метались, как фурии, свирепо выглядывая, нет ли кого чужого и недовольного, чтобы исцарапать ему лицо, выдрать глаза. Экзакустодиан пускал соленую остроту либо просто бесцеремонно-похабное словцо, и улица грохотала могучим хохотом, а женщины, которые всякого другого ругательски изругали бы, окричали бы, исплевали бы за подобную гнусность, на Экзакустодиана лишь стыдливо улыбались, потупляли очи да приговаривали, крутя головами:

— Ну и батюшка!.. Ах, батюшка! Уж батюшка скажет — как гвоздем пригвоздит!

Экзакустодиан говорил:

....

....

....

....

....

Он заклинал царем и Богом, мощами и легендами, иконами и видениями, грозил невнемлющим, анафемствовал непокорных и ленивых.

— Смирите капище Ваала! согните выю Молоху!.. Растопчите нечестивую барскую забаву, которую крамольники придумали от богатств своих, чтобы коварным сладкозвучием заглушать в себе вопли преступной совести и совращать вашу молодежь в злохитрые тенета своих обольщений! Во флейты дудят, в скрипицы пилят; гологрудые бабицы на скаредных подмостках сладкогласием блуд являют и ко блуду влекут!.. О непотребства! о злохудожества! Слышу плескания торжествующие, что отечество в унижении! слышу вопли, приветствующие нечестивую брань на исконный строй — устав святой земли русской! слышу голоса, тонкими лестьями в сердца проникающие! вижу ухищрения иноземцев, врагов России, социалистов, японцев и прочих жидов к позору православныя веры, не имущия отпора...

И вдруг вырвал дубинку из рук у кого-то стоявшего рядом и, махая над головою, завизжал раздирательным и страшным криком, инда в толпе — передние — шарахнулись от него, и по народу широко качнулась попятная волна испуга.

— Сим победиши! — кричал Экзакустодиан, задыхающийся в приступах бешеных рыданий, в перехватах горла железным кольцом судороги. — Сим победиши!.. Бейте их, православные! Благословляю! Бейте!.. Сей род ничем же не изымается, токмо дубиною и битьем! Бейте, яко Никола Чудотворец Ария нечестивого, яко Ослябя и Пересвет татаровой на Куликовом поле!.. Кто не слушает — анафема! Кто не будет бить — анафема!.. Всякий, кто с ними, анафема! В себе, в детях, во внуках, правнуках, на семь колен нисходящих, да будет от меня анафемою проклят!.. Бейте с...ных сынов с блудницами их и отродием их! Анафема! тьфу! беси! ареды! мурины! тьфу! анафема!.. ... .! бейте!.. бейте!.. Грехи ваши беру на себя! сим победиши!.. бейте!.. анафема!

Экзакустодиана — изнеможенного, падающего — подхватили на руки телохранители его. Он забился... ему накинули на лицо черный плат и понесли его в часовню...

Толпа гудела и колыхалась. Многие падали на колени. Росла гроза — смутная и страстная. Массу потрясли, взволновали, взбушевали, напитали электричеством, но еще не направили, куда ей бросить свои молнии.

На тех же ступенях вырос человек — круглый, гладкий, солидный в свете уличных фонарей и часовенной лампады. На нем было хорошее пальто и меховой картуз. Он плавно водил пред собою рукою и говорил вкусно, сочно, внушительно, предлагая ближайшим слушателям каждое слово, точно ложку варенья прямо в рот клал.

— Вы же слышали, что приказывает нам достоуважаемый батюшка. Он же приказывает уничтожить разврат, приютившийся в городском же театре, и разогнать же негодяев, которые ж тем развратом промышляют. То ж дело доброе, что батюшка вам говорит. Но я же вам того, все же, Боже сохрани, на сию же минуту ж не посоветую ж. Потому что городские ж здания суть достояния казны ж, и государство же их охраняет, потому что иначе ж будет казне убыток. И вы ж можете столкнуться с полицией, а полицию ж мы должны почитать, потому что ж они суть верные слуги государства и охраняют же порядок. Но как сегодня ж есть день табельный, то повсеместно ж должен быть удовлетворен наш русский же патриотизм. Особенно же в зданиях казенных... А потому же, предлагаю же вам, братья ж и сочлены, — пойдем же в тот самый поганый театр, о котором говорил же нам достоуважаемый батюшка, и допросим: почему же в театре том в настоящий же табельный день не удовлетворен есть русский патриотизм? И коль скоро ж патриотизма нашего удовлетворить не пожелают, то мы же заставим, чтоб наш патриотизм был удовлетворен!

....

....

....

....

Толпа двигалась, как темный сон. Несли портреты, икону, русское знамя. Пели криком. Сбивали извозчиков с улиц в переулки. Встречных пешеходов захватывали волною и оборачивали идти с собою. Гомон, гоготанье, свист и вой заплели паутиною церковную мелодию, чуть прорывавшуюся в глубине толпы. Религиозное воодушевление давно схлынуло и стаяло. Теперь было просто весело идти массою, чувствовать себя хозяевами улицы и никого не бояться. Полиция — на пути процессии — как сквозь землю провалилась. Шли медленно. От черной народной тучи отрывались клочья: отдельные фигуры и группы людей забегали в попутные трактиры и портерные. Иные потом спешно догоняли уползшего вперед змея — толпу, но большинство застревало в тепле и свете злачных обителей и с довольным видом и чувством граждан, в совершенстве исполнивших свой долг, усаживались за водку либо пиво. В толпе пили на ходу, меняясь двадцатками и «мерзавчиками». Опустошенную посуду швыряли в фонари либо в первое приглянувшееся обывательское окно. С тротуаров визжали, аплодировали, радостно хохотали вечерние проститутки, только что выползшие из логовищ своих на добычу. Их хватали, обнимали, вовлекали в толпу, процессия превращалась в вакханалию, будто обрастала лишаями пьянства и разврата...

На углу Тотлебенской и Пушкинской двое мужчин — один длинный, похожий на веху, другой приземистый и толстый, похожий на бочонок, — обнимали под уличным фонарем пьяную, ослабевшую женщину и уговаривали идти с ними. Она бормотала:

— Ежели ноги не несут?.. К Бобкову согласна... А по улицам гулять — ежели ноги не несут?..

* * *

— Верим мы подчас примете,
В нашем деле то не грех!

Эй, рыбак! Закинь-ка сети:
Есть надежда на успех!..
Все осмотри ты разом
Зорким глазом:
Жертва для смерти не одна готова.
Нам этот остров, пустынный и дикий
Будет надеждой удачи великой...

Свободно и красиво взвивалась к плафону театра широкая Marinaresca * Барнабы — Берлоги... Кажется, никогда еще не видал Андрей Викторович пред собою более блестящего бенефисного зала, никогда не встречали его более бешеными и долгими овациями, никогда влюбленная толпа не венчала его в боги свои с более дружным восторгом, с более единодушным преклонением!.. В костюме венецианского рыбака, Берлога пел свою маринареску, бросал красный колпак высоко в воздух над головою, ловил его на лету, хохотал, дурачился, заполнял сцену зловещею радостью «всемогущего демона совета десяти» — как задумал его Виктор Гюго, но едва отразил в музыкальном тусклом зеркале своем малосильный Понкиэлли... Сияла и звучала только сцена: Лидо в вечернем золотом зареве неба и моря, в вечерней песне мощного голоса и стройного радостного оркестра. Зал был темен и безмолвен: без единого кашля, без шорохов, — тысяча затаенных дыханий, две тысячи отверстых ушей...

Играя, подсматривай
И пой, на-а-аблюдая!..

Лопнула струна, зашумела, распахнувшись, дверь...

Marinaresca оборвалась, а в зале вспыхнуло неожиданное, неурочное электричество. Берлога со сцены

* Здесь в знач.: песня моряка (*ит.*).

видел, как по проходу партера помчался к оркестру, будто конь степной, наклонив белобрысую голову свою, испуганный, пестролицый, страшный Риммер во фраке с орденками, с широкою белою грудью... На ходу он что-то говорил публике направо и налево, быстро, гневно, успокоительно. Публика поднималась с мест, растерянная, сконфуженная... кто улыбался, кто злобно хмурился. Все зашепталось, загудело, затопталось на местах, — забушевало слитое море человеческого звука, над которым, точно отдельные пенистые волны, всплескивали выкрики:

— А? Что такое?

— Вот так ловко!

— Успокойтесь, не пожар!

— Да не ходите же по ногам!

— Куда вы? Никакой опасности!

— Покорно вас благодарю! Чтобы ни за что ни про что в морду дали!

— Потрудитесь продолжать спектакль!

— Берлога! пойте!

— Музыка, играй!

— Берлога! Браво, Берлога!

— Безобразие!

— Товарищи, не робей!

— Деньги назад!

— Невежа!

— Вы на моем платье стоите!

— Нельзя же шагать через голову!

— Распорядитель! Господин распорядитель!

— Господа! К шубам: все растащат!

— Только без давки! Некуда спешить! Без давки!

И в ту же секунду Берлога услыхал из оркестра сухой, резкий, бешеный удар дирижерского жезла по пюпитру и затем твердый, — возбужденный,— странно, неслыхан-

но могучий, будто медный и все-таки спокойный, — голос Морица Рахе:

— Андрюша, очисти сцена... Наша опера кончался!

Берлога взглянул и увидел внизу стадо испуганных музыкантов, которые, суетясь у пюпитров, убирали в футляры драгоценные инструменты свои... Рахе швырнул на пол осколки переломленного ударом жезла своего и вышел из оркестра. А в зал по проходам партера струились шумные, гулкие волны каких-то новых, ворвавшихся с улицы людей. Несли портрет... полосатое знамя... пели... Берлога вдруг понял, весь внутри себя залился горячею волною крови, рванулся вперед, что-то сказал, что-то крикнул... Хористы сзади схватили его за локти и силою потащили за кулисы.

— Вы с ума сошли!.. вы с ума сошли! — шептали ему, — вас убьют!.. вы погубите всех нас! разве так можно?!

В зале ревели, топали, кому-то угрожали, чего-то требовали.

За кулисами Елена Сергеевна с белым лицом мраморной статуи в черном трауре Джиоконды слушала красного, волнующегося, машущего руками, кричащего Брыкаева и говорила голосом чуждым, холодным, веским:

— Я обязана дать публике, пришедшей на спектакль именно тот спектакль, на который она пришла. До толпы, врывающейся в мой театр, мне нет никакого дела. Унимать толпу и охранять театр от ее безобразий — обязанность не театральной директрисы, но администрации и полиции.

Другой полицейский чиновник горячо доказывал что-то бледно-зеленому в рыжей седине своей Рахе. Тот слушал и холодно повторял:

— Nein... Nein... Nein... *

— Вы обязаны, господин Рахе! Публика возбуждена! Театр требует, мы требуем!..

* Нет... Нет... Нет... (*нем.*)

— Nein. Мне нельзя приказывать. Я свободный художник. Я не обязан.

— Сегодня табельный день!

— О, я играл, сколько обязан, для табельный день! Вы не можете заставлять меня больше... Nein!..

— Но если общее желание публики...

— Я служу с моя контракт на моя жена. Моя контракт велит мне дирижировать тот опера, который стоит на афиша. Другой опера я дирижировать не обязан... nein!..

— Но, Мориц Раймондович, войдите же в наши обстоятельства!..

Мориц Раймондович налился вдруг кровью, сделался блестящим в каждой рыжинке, будто пламя всепожирающего Локки, и рявкнул басом, который опять-таки дико и неслыханно, по-медному, прозвучал из его маленькой фигурки:

— Zum Teufel mit * ваша политика! Я — музицист, мои товарищи музицист, все мы здесь музицист!.. Я желаю делать музыку, die Art **, не политика! И — кто приходит мешать и разрушать die Art, для своя политика, тот есть мой враг!.. да! мой злобнокровный неприятель!.. Zum Teufel! Ich sage: nein! nein! nein! ***

Берлога освободился из рук хористов и рванулся назад на сцену. Елена Сергеевна поймала его движение и, оставляя Брыкаева без всякого внимания, быстро загородила дорогу.

— Андрюша, оставь! Не надо быть смешным!

— Пусти меня, Леля! Я им скажу! я им покажу!..

— Не доставляй тем, кто нас погубил, удовольствия видеть нас разбитыми и бессильными!..

---

* К черту (*нем.*).

** Искусство (*нем.*).

*** К черту! Я говорю: нет! нет! нет! (*нем.*)

— Ничего, Елена Сергеевна! — подскочил Мешканов, которого трудно было узнать: до того сплыли краски с его лица, точно перегримированного в мертвецкие тона убийственного, серого испуга, — уже ничего!.. ей-Богу, ничего!.. на сцене безопасно... опустили железный занавес... это — как крепость!.. ничего!.. Господи! Твоя воля! Господи! Твоя воля!

Брыкаев тормошился:

— Елена Сергеевна, потрудитесь сделать соответственные распоряжения!.. Я бессилен сдерживать негодование публики!

— Я вам ответила. Я держала театр, а не зал для митингов. Я служила искусству, а не политической демагогии. Мориц, дай мне руку. Я здесь больше не хозяйка. Оставьте меня в покое. У меня отняли мой дом, мой храм. На здоровье. Я ухожу. Что вам еще угодно? Теперь хозяин — вы. Вам и распоряжаться... теми, кто захочет вам повиноваться! Мориц, идем! Андрей, если ты хочешь сохранить свое достоинство артиста, ты не скажешь более ни слова — ты уйдешь с нами!

К ней подскочил один из адвокатов театральной комиссии.

— Сударыня, слагать с себя ответственность в такую минуту значит нарушать контракт с городом по всей его силе! Мы будем искать с вас убытки, вы рискуете громадными потерями...

Елена Сергеевна на него даже не взглянула...

Брыкаев, беспомощный в заколдованном царстве кулис, искал Кереметева. Но седобородый маг улизнул из театра при первом же раскате грозы...

А по ту сторону железного занавеса бушевала буря. Публика бенефисного спектакля давно уже бежала в ужасе, в давке... Риммер метался от выхода к выходу, прыгая по партеру из рядов в ряды через стулья, и орал в раздевальные:

— Капельдинеры! будьте при шубах! Шубы берегите! Убью, кто отойдет от шуб!

С какого-то барина сорвали бобровую шапку. У двух дам выхватили серьги из ушей... Они рыдали, барин ругался и требовал полицию. Проходящий хулиган без церемоний шлепнул его ладонью по губам.

Дикая, пьяная Коромысловка наплывала в театр волнами уличной грязи. Жулье, хулиганы, сутенеры разваливались в креслах и клали ноги на барьер оркестра. В ложах уличные девки кривлялись, изображая светских дам. В верхних ярусах завелись драки за места с прежнею бенефисною публикою — студентами, гимназистами. Какую-то курсистку силою тащили вон из ложи. Она уцепилась за барьер и кричала резким, павлиньим криком:

— Режут! Режут! Режут!

Ради озорства били лампочки, рвали обивки кресел и драпировки лож, ломали канделябры, плевали на рисунки и портреты в фойе, отбивали руки и носы статуям. Тысяча ног стучала, тысяча рук хлопала, сотни голосов рычали и визжали:

— Занавес!

— Начинай представление! Подавай спектакль!

— Музыка, жарь!

— Актеры, пойте!

— Театр разнесем!..

— Бей!

Сыпалась трехэтажная ругань...

Кучка безобразников проникла в оркестр и подсаживала к рампе растерзанную пьяную женщину. Она махала толпе руками, шаталась и визжала, сверкая с красного лица огромными голубыми глазами:

— Я могу петь... Слушайте!.. Я сама была артистка... Я могу... Ваню... это я всегда в состоянии!

Как ма-ать убили
У ма-а-ла-а-аго птенца...

Компания в оркестре валялась от смеха по стульям, по полу, опрокидывала пюпитры и ревела:

— Брава-а-а! Знай наших! Дуй! Нанашка, брава-а!

Оста-ался птенчик
Сир и гладен в гне-езде... —

вопила женщина во все свое сиплое горло, широко размахивая руками, точно веслами гребла в лодке невидимой. Хулиган, похожий на веху, схватил забытый в бегстве музыкантов контрабас и водил по нем осколком сломанной палочки Рахе, извлекая из огромного инструмента ревущие, звериные звуки. Зал грохотал от восторженного смеха.

— Ай да мы! Театральных не надо! Жарь!

Соловушка узнал...

Женщина сделала жест — и вдруг голубые глаза ее потухли с страшною быстротою, точно свеча, ветром задутая...

Она ступила вперед, как слепое животное, колеблющимися шагами, шатающимся телом, с руками, протянутыми вперед... и, точно с горы в пропасть, рухнула от рампы вниз в темную глубину оркестра. Зал потрясся новым взрывом смеха. Бесчувственную женщину подхватили и понесли с хвалебными ругательствами. Контрабас ревел.

Не шутя струсивший Брыкаев тем временем творил воистину полицейские чудеса. В оркестровом фойе собралось уже десятка два музыкантов — с белыми, меловыми лицами, ни живы ни мертвы, Лазари, восставшие из гробов. Кого из них привели околоточные уже из квартир — только что не за шиворот, кого успел захватить и задержать еще в театре сам Брыкаев. Стеклоподобный Музоль, добытый из-за карточного стола в немецком клубе, уже снимал с себя шубу и требовал от библиотекаря новую партитуру и партии. Мешканов впопыхах бы-

стро перестраивал сцену. В уборных спешно одевались и красили лица Матвеева, Светлицкая, Самирагов, Камчадалов...

Железный занавес уполз кверху. Из-за антрактового выступил к рампе тот самый адвокат, что потерпел афронт от Елены Сергеевны, — гладко причесанный, точно его теленок по голове лизал, и с фиксатуарно выправленными усами, — расшаркался у суфлерской будки, приложил руку к сердцу и рекомендовался «почтеннейшей публике» председателем театральной комиссии.

— Театральная комиссия имеет честь довести до сведения почтеннейшей публики, что театр наш горд и счастлив присоединиться к ее законному и патриотическому желанию, которое будет удовлетворено нами немедленно. Желаемый публикою спектакль начнется — как только переставят декорации — самое большее, через пять минут...

Радостный рев грянул ответом со всех ярусов театра. Еще великолепнее расселись в креслах хулиганы, еще бесстыднее закривлялись в ложах проститутки...

Женщина, только что ломавшаяся у рампы и свалившаяся в оркестр, тем временем лежала в актерском фойе на диване и тихо вздрагивала... Из носа тонкою непрерывною струйкою бежала алая жидкая кровь... Какой-то пропойца, выдававший себя за фельдшера, мочил ей виски водкою... Кругом стояли, смотрели. Полицейский чиновник проталкивался и говорил:

— Именем закона, господа... я требую спокойствия и тишины... именем закона...

Женщина вскинулась, всхлипнула и легла пластом, большая, длинная...

Фельдшер взглянул ей в лицо и... спокойно перелил остальную водку из посудины своей в горло свое.

— Допилась, чертиха!.. Не очуняет!

А в зале уже давно был поднят занавес... На сцене пестрела резьбою нарядная крестьянская изба. Среди избы стояла —

в красной рубахе, синих шароварах, в лаптях, толстая, будто из бомб склеенная, Александра Викентьевна Светлицкая с круглыми слезками умиления в круглых черных глазах. Обращаясь к исполинскому Камчадалову, в зипуне поверх посконной рубахи, — она экстатически умоляла его в патриотическом порыве, глубоким и бархатным своим контральто:

Ах, потешь меня конем,
Медной шапкой и мечом!..
За святую нашу Русь
Добрым молодцем сражусь!
Никогда не отступлю!
Стену вражию сломлю!

Театр заревел и загремел рукоплесканиями.

Усерднее всех аплодировал в первом ряду — уже веселый и сияющий самодовольствием победы — полицеймейстер Брыкаев.

Рим, зимою 1904 — 1905 гг.
Cavi di Lavagna. 1908. IX. 29

ПРИМЕЧАНИЯ

СУМЕРКИ БОЖКОВ

Впервые — Пг.: Просвещение, 1908. Печ. по 2-му изд. с исправлениями и дополнениями (Пг., 1909). Роман написан в годы первой эмиграции Амфитеатрова: начат в 1904–1905 гг. в Риме и закончен в 1908 г. в Кави ди Лаванья. Современники Амфитеатрова считали, что документальной основой книги в немалой степени послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В частности, в персонажах узнавали Ф.И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С.И. Морозова (Сила Кузьмич Хлебенный) и др. Одна из сюжетных линий романа была принята за эпизод интимной жизни великого певца: историю любви Шаляпина к красавице-хористке Марии Шульц, с годами превратившейся в горькую пьяницу и уличную женщину. Горький, однако, в истории падения и гибели героини романа, оперной певицы Надежды Филаретовны, увидел трагическую судьбу жены известного писателя и публициста Власа Михайловича Дорошевича (1865–1922). В письме к Амфитеатрову с Капри от 8 (или 9) декабря 1908 г. он пишет: «“Сумерки” — второй том — читал: разволновался, слушая «Крестьянскую войну», до того, что взревел — хорошо! Для моей души — превосходно! Потом — мысленно — лаял вас и проклинал газеты, сожравшие большущий кусок вашей здоровенной души. Эх, вы, бронтозавр московский, — на кой черт понадобилась вам история этой окаянной алкоголички, Дорошевичевой жены? Такая досада была читать о ней, и так неуместна она в книге, которая даже в анахронизмах своих — приятна» (Литературное наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. М.: Наука, 1988. С. 130).

Роман посвящен Марии Мечиславовне *Лубковской*, оперной певице, пайщице Оперного товарищества Ипполита Петровича Прянишникова (1847–1921), оперного певца (баритон), режиссера, педагога. С 1871 г. Прянишников — солист Мариинского театра в Петербурге, в 1886–1889 гг. — в Тбилисской опере. Затем он стал (вероятно, вместе с Лубковской) организатором и антрепренером первых в России оперных театров в Киеве (1889–1892) и Москве (1892–1893).

От автора

С. 7. *Пояс Афродиты* — демонический фетиш, в котором заключены любовь, желание, слова обольщения, «в нем заключено все» (Гомер. «Одиссея»). Афродита вручила свой пояс верховной олимпийской богине Гере, чтобы та соблазнила Зевса.

...как Гермес уронил свой кадуцей, а Гименей — факел... — В греческой мифологии вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших Гермес вручил Аполлону свою свирель, а получил в ответ золотой жезл (кадуцей), обладающий магической силой. Греческое божество брака Гименей внезапно скончался на свадьбе Диониса. На римских фресках он изображается нагим юношей с факелом в одной руке и венком в другой.

Орел Зевса — в греческой мифологии это палач Прометея, ежедневно прилетавший клевать печень у прикованного к скале титана, которого Зевс наказал за то, что тот похитил у богов Олимпа огонь и передал его людям. Орла убил и освободил Прометея Геракл.

Амброзия — в греческой мифологии пища и благовонное умащение олимпийских богов, поддерживающие их бессмертие и вечную юность.

Часть первая. **Серебряная фея**

С. **12**. *Редингот* — покрой одежды, напоминающий длинный сюртук для верховой езды.

...великолепный рубинштейновский лоб... — Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894) — пианист, композитор, дирижер; инициатор создания Певческой академии (1858), Русского музыкального общества (1859), первой в России Петербургской консерватории (1862), в которой был профессором и директором.

Автор опер «Демон» (1871), «Нерон» (1876) и др., фортепианных произведений.

С. 13. *Капельдинер* — служащий театра, который проверяет билеты и следит за порядком.

...Орфеем среди укрощенных музыкою зверей... — Орфей в греческой мифологии — певец и музыкант, завораживавший своим искусством не только людей, но и богов, и всю природу. Орфей стал героем опер Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787), итальянского композитора Клаудио Монтеверди (1567–1643) и др.

Сосьетеры (социетарии; фр. societaire) — члены ассоциации, участники товарищества (по примеру societaire de la Comedie-Francaise — сосьетеров театра «Комеди Франсез»), владеющие его паем, получающие доход от сбора, имеющие голос при обсуждении репертуара и т.п.

Ундина (лат. unda — волна) — по средневековым поверьям, дух воды в образе женщины; русалка, наяда.

Сильфиды, сильфы — дети воздуха в кельтской и германской мифологии, а также в средневековом фольклоре многих европейских народов.

С. 14. *Soprano.* — Сопрано (*ит.*) — самый высокий певческий голос (женский или детский).

Ларош Герман Августович (1845–1904) — музыкальный критик и композитор; печатался в московских и петербургских журналах «Современная летопись», «Русский вестник», «Московские ведомости», «Музыкальный сезон» и др. Автор работ о М.И. Глинке и П.И. Чайковском (с ним дружил). Ларош отрицательно отнесся к новаторской музыке Р. Вагнера и композиторов «Могучей кучки» («Пятерки»), в которую входили М.А. Балакирев (руководитель), Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков.

Капельмейстер — руководитель оркестра, дирижер.

Ангажемент — приглашение актеров для участия в спектаклях на определенный срок

С. 15. *...вроде рыла знаменитой свиньи в ермолке.* — Выражение «совершеннейшая свинья в ермолке» — из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (действ. 5, явл. 8). Ермолка (тюрк.) — маленькая круглая шапочка без околыша.

С. 16. *Архангел Михаил* — один из семи вождей небесного воинства в его борьбе с темными силами ада.

С. 16. *Антреприза* — частное зрелищное предприятие (театр, цирк и т.п.).

С. 17. *Оперы-Сандрильоны* — т.е. оперы-Золушки (Сандрильона — Золушка из французских сказок); в знач.: обделенные вниманием, забытые.

Афронт (фр. affront) — публичный позор (неудача, поражение).

С. 19. *...красавица-комprимария труппы...* — Компримарио (ит.) — оперный артист, исполняющий второстепенные партии.

С. 20. *Контральто* — низкий женский голос (например, партия Ольги в «Евгении Онегине» П.И. Чайковского).

...как у пресловутых папских певцов Сикстинской капеллы. — Сикстинская капелла в Ватикане построена в 1473–1481 гг.; названа в честь папы Сикста IV (1414–1484), привлекшего к возведению этого памятника Возрождения Боттичелли, Пинтуриккьо, Микеланджело (здесь его знаменитый «Страшный суд») и др.

Патти — очевидно, имеется в виду самая знаменитая из семьи итальянских оперных певцов Патти — Аделина (1843–1919), виртуозная вокалистка, гастролировавшая с триумфальным успехом в России в 1869–1877, 1899–1914 гг.

Зембрих Марчелла (наст. имя и фам. Марцелина Коханьская; 1858–1935) — польская певица (колоратурное сопрано), неоднократно гастролировавшая в России.

Ван-Зандт — Мария ван Зандт (1861–1919), американская певица (лирико-колоратурное сопрано); с 1885 г. неоднократно гастролировала в России.

Арнольдсон Сигрид (1861–1943) — шведская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано); с 1886 г. гастролировала в Москве и Петербурге.

С. 21. *Да! Как они, она прекрасна, // Но и бесстрастна, как они...* — Из оперы Рубинштейна «Демон», созданной по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова.

С. 22. *...Лафатер... угадал бы в нем обжору...* — Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) — швейцарский религиозный поэт, проповедник и мыслитель; известность приобрел как отличный физиономист, совершивший триумфальное путешествие по Европе с лекциями и опытами (неожиданную и интересную встречу с ним описал Н.М. Карамзин в своих «Письмах русского путешественника»). Ав-

тор труда «Физиогномика», переведенного на многие языки, в том числе на русский.

С. 22. *Галль* Франц Иосиф (1758–1828) — австрийский врач, создатель френологии, учения о связи между формой черепа и умственными способностями человека.

С. 23. *...без «еров» и «ятей» пишет собака!* — «Ер» — старое название буквы «ъ» (твердый знак). «Ять» — название упраздненной в русском языке буквы, совпадающей по звучанию с буквой «е» и ею замененной в написании.

С. 24. *На другой день Миколы...* — Речь идет о дне Николы зимнего, отмечаемого 6 (19) декабря.

С. 26. *...прочитал один роман... «Борьба за правду»... Эмиля Францоза...* — Карл Эмиль Францоз (1848–1904) — немецкий прозаик и драматург; роман «Борьба за правду» (1882) на русский язык был переведен в 1883 г.

С. 27. *Жилейка* (желейка) — дудка (В.И. Даль).

Шинкарь — торговец в винном кабаке.

С. 29. *Кнейп* (нем. Kneip) — кабачок, трактир, пивная.

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-пессимист; автор книги «Мир как воля и представление» (1818), в которой сущность мира представлена как неразумная воля, слепое влечение к жизни.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910).

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ; автор трудов, написанных в жанре философско-поэтической эссеистики: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1883–1884) и др.

Каутский Карл (1854–1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии (центрист).

...как «Юдифь» возобновляли... такого Лэйарда и Бругша заставили развести... — «Юдифь» (1862) — опера композитора Александра Николаевича Серова (1820–1871) на библейский сюжет. Остен Генри Лайярд (Лэйард; 1817–1894) — английский археолог, дипломат и политический деятель; в 1845 г. вел раскопки Ниневии и Вавилона. Генрих Карл Бругш (1828–1894) — египтолог, консул и дипломат в Каире и Персии, путешественник по Востоку и Египту.

С. 29. *«Нерон»* — опера А.Г. Рубинштейна.

«Лакме» — лирико-драматическая опера, написанная в 1883 г. французским композитором Лео Делибом (1836–1891) для Марии ван Зандт (см. примеч. к с. 20), ставшей первой исполнительницей заглавной партии. Под руководством Зандт партию Лакме подготовила также крупнейшая певица XX в. Антонина Васильевна Нежданова (1873–1950).

А нет ли у вас увертюры «О богатстве народов» по Адаму Смиту? — Иронический вопрос. «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) — главный труд шотландского экономиста и философа Адама Смита (1723–1790).

...положить на музыку примечания Чернышевского к Джону Стюарту Миллю... — Джон Стюарт Милль (1806–1873) — английский философ, экономист и общественный деятель; идеолог либерализма. Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) издал книгу «Очерки политической экономии (по Миллю)».

С. 30. *...сюжет — о Маргарите Трентской и Фра Дольчино...* — Против вождя «апостольских братьев» Дольчино Торниели, призывавшего церковь возвратиться к обычаям первых христиан, папа римский Климент V в 1305 г. предпринял крестовый поход. Дольчино с несколькими тысячами своих сторонников укрепился на горе Дзебелло и не сдавался два года. Однако снежные заносы и голод сломили его сопротивление. Дольчино со своей подругой Маргаритой из Трента, а также многие его последователи, не отрекшиеся от своих убеждений, были заживо сожжены в марте 1307 г. Об этом трагическом эпизоде повествуется в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 28-я).

Прерафаэлизм (лат. prae — перед и Рафаэль) — движение общественной мысли в Англии второй половины XIX в., объединившее группу художников и писателей, которые своим идеалом избрали «наивную религиозность» искусства Раннего Ренессанса. «Братство прерафаэлитов» было основано в 1848 г. поэтом и живописцем Россетти (собств. Габриел Чарлз Данте; 1828–1882), живописцами Дж.Э. Миллесом и Х. Хантом. Идеи прерафаэлитов оказали существенное влияние на развитие символизма в литературе (У. Патер, О. Уайльд).

С. 34. *«Вильгельм Телль»* (1829) — героико-романтическая опера итальянского композитора Джоаккино Россини (1792–1868).

С. **34**. *«Гугеноты»* (1836; в России также под названием «Гвельфы и гибеллины») — опера французского композитора Джакомо Мейербера (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791–1864) на сюжет романа Проспера Мериме (1803–1870) «Хроника царствования Карла IX» (1829).

Климент V (?–1314) — римский папа с 1305 г., положивший начало Авиньонскому пленению пап (по принуждению французского короля Филиппа IV перенес свою резиденцию в Авиньон).

...ужасы беспощадной осады, о которой великий Данте... упоминает в своей «Божественной комедии»... — См. примеч. к с. 30.

С. **36**. *Григорий XI* — римский папа с 1371 по 1378 гг., последний авиньонский затворник: в 1377 г. вернул папскую резиденцию в Рим.

С. **37**. *...лицо было экстатическое...* — т.е. выражающее экстаз.

С. **43**. *«Фауст»* (1859) — опера французского композитора Шарля Гуно (1818–1893) на сюжет одноименной трагедии И.В. Гёте.

С. **46**. *Лупётка* — «круглая, плотная рожица» (В.И. Даль).

С. **48**. *«Борис Годунов»* (1869) — вершинное произведение композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881), созданное на сюжет одноименной трагедии (1825) А.С. Пушкина.

«Вражья сила» (1871) — незавершенная опера А.Н. Серова по пьесе А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». Опера была дописана вдовой композитора В.С. Серовой и Н.Ф. Соловьевым. Поставлена посмертно в 1871 г.

Ты этого хотел, Жорж Данден! — Восклицание героя комедии «Жорж Данден» (1668) Мольера (наст. имя Жан Батист Поклен; 1622–1673).

С. **50**. *Баллон-каптив* (фр. ballon-captif) — воздушный шар, аэростат.

С. **51**. *«Роберт-Дьявол»* (1830) — опера Мейербера.

Суккуб, инкуб. — Инкубы — в средневековой европейской мифологии падшие ангелы, мужские демоны, домогающиеся женской любви (в противоположность суккубам, женским демонам, соблазняющим мужчин).

Ламия — в греческих сказаниях — привидение, которым пугали детей; нарицательное от Ламии — царицы Ливии, которую любил Зевс. За это верховная олимпийская богиня и жена Зевса Гера лишила ее детей. Ламия в отместку стала отнимать детей у других матерей.

С. 53. *«Страделла»* (1844) — опера немецкого композитора Фридриха фон Флотова (1812–1883), посвященная итальянскому певцу, скрипачу и композитору Александро Страделле (1644–1682), автору опер «Сила отцовской любви» (1678) и «Глупый опекун Тресполо» (1676).

...шедевр нашего старца Поджио? — Г.И. Поджио на афише в романе Амфитеатрова «Сумерки божков» — театральный декоратор.

С. 55. *Колосники* — верхняя часть сцены, использующаяся для установки сценических механизмов и подвески декораций.

С. 56. *Моцарт* Вольфганг Амадей (1756–1791) — австрийский композитор, клавессинист-виртуоз, скрипач, органист, дирижер. Автор опер «Похищение из сераля» (1782), «Свадьба Фигаро» (1786), «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791) и др.

Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, дирижер, драматург, музыковед; автор опер: «Тангейзер» (1845), «Лоэнгрин» (1848), «Тристан и Изольда» (1859), тетралогии «Кольцо Нибелунга» — «Золото Рейна» (1854), «Валькирия» (1856), «Зигфрид» (1871), «Гибель богов» (1871). Тетралогия полностью была впервые поставлена 13–17 августа 1876 г. в специально построенном в Байрейте (Бавария) театре, что стало крупнейшим событием в мировой музыкальной культуре.

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — композитор, дирижер, педагог; автор опер «Евгений Онегин» (1878), «Орлеанская дева» (1878 — 1879), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891), балетов, симфонических произведений.

...тебя толкнул в оперу «Слепой музыкант». — «Слепой музыкант» — повесть Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921), впервые опубликованная в газете «Русские ведомости» 2 февраля — 13 апреля 1886 г., после чего многократно переиздавалась и была переведена на многие языки.

С. 60. *Мефистофель* — главный герой одноименной оперы (1868) итальянского композитора и поэта Арриго Бойто (1842–1918), а также персонаж оперы Шарля Гуно «Фауст» (1859) по одноименной трагедии Гёте. Эту роль в обеих операх исполнял Ф.И. Шаляпин. В опере Бойто он с небывалым успехом дебютировал на гастролях в миланском театре «Ла Скала» 3 марта 1901 г. (на итальянском языке), затем

пел эту партию в Большом театре 3 декабря 1902 г., а 18 декабря — в петербургском Мариинском театре.

С. **60**. *Вильгельм Телль* — герой швейцарской легенды, отразившей борьбу против Габсбургов в 14 в., меткий стрелок из лука. Ему было приказано сбить яблоко с головы сына. Выполнив это, он убил наместника кайзера Геслера, что послужило сигналом к восстанию.

Геслер — наместник кайзера в Швейцарии, персонаж оперы «Вильгельм Телль» Россини.

С. **62**. *Венера Медицейская* — скульптурное изображение обнаженной римской богини любви, намеревающейся войти в купальню и стыдящейся своей наготы; из собрания семейства Медичи (ныне в музее Уффици во Флоренции).

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) — композитор, автор опер «Эсмеральда» (1841, по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»), «Русалка» (1855), «Каменный гость» (1866, на неизмененный текст «маленькой трагедии» Пушкина; опера не была завершена. Ее дописал Ц.А. Кюи).

С. **63**. *Донна Анна* — персонаж оперы Даргомыжского «Каменный гость».

Людмила — героиня оперы «Руслан и Людмила» (1842) Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), создавшего также национальную героическую оперу «Иван Сусанин» (1836).

Норма — персонаж одноименной оперы (1831) итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).

Алиса — крестьянка, персонаж оперы Мейербера «Роберт-Дьявол».

Тамбурини Антонио (1800–1876) — итальянский певец (баритон); гастролировал в Петербурге (1843–1852) и в Москве (1849–1852).

«Трубадур» (1853) — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1813–1901), создавшего также оперы «Макбет» (1847), «Риголетто» (1851), «Травиата» (1853), «Бал-маскарад» (1859), «Дон Карлос» (1867), «Аида» (1870), «Отелло» (1886), «Фальстаф» (1892) и др.

С. **66**. *Mezzo-soprano.* — Меццо-сопрано (*ит.*) — женский голос, средний между самым высоким (сопрано) и низким (контральто).

С. **70**. *«Кармен»* (1875) — опера французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875), написанная на сюжет одноименной новеллы П. Мериме.

С. **72**. *В Скале ди Милано пела!* — «Ла Скала» — оперный театр в Милане, основанный в 1778 г. С XIX в. — один из центров мировой оперной культуры. С выступлений в «Ла Скала» начиналась всемирная известность многих певцов и дирижеров Европы, в том числе русских. С этим театром также связана деятельность выдающихся композиторов Россини, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини.

С. **74**. *Маргарита Готье* — героиня романа Александра Дюма-сына (1824–1895) «Дама с камелиями» (1848), переработанного автором в 1852 г. в пьесу. Верди на сюжет драмы написал оперу «Травиата» (1853).

С. **80**. *Глостер* — персонаж из исторических хроник Шекспира «Король Генрих IV» (ч. 2) и «Король Генрих V».

Фендрик — российский военный чин XIV класса по Табели о рангах в пехоте или артиллерии и XII в гвардии. В 1730 г. заменен на чин прапорщика.

С. **83**. *«Жидовка»* («Еврейка»; 1835) — опера французского композитора, педагога, писателя Фромантеля Галеви (наст. имя и фам. ЭлиасЛеви; 1799–1862).

С. **85**. *Изабелла* — персонаж из оперы «Роберт-Дьявол» Мейербера.

С. **87**. *...«Я тот, кого никто не любит»...* — Из оперы Рубинштейна «Демон».

С. **88**. *«Мюр и Мерилиз»* — английский торговый дом, которому принадлежал в Москве универмаг на Петровке (нынешний ЦУМ).

С. **90**. *«Сказки Гофмана»* (1880) — опера композитора, дирижера, виолончелиста, основоположника классической оперетты Жака Оффенбаха (наст. имя и фам. Якоб Эбершт; 1819–1880). В основе этой оперы — новеллы Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822).

С. **99**. *Кутафья ты перемышльская...* — Кутафья — «неуклюже, безобразно одетая женщина» (В.И. Даль). Перемышль — древний город на Оке в нынешней Калужской области, прежде считавшийся глухой провинцией.

С. **101**. *Аред* (искаж. ирод) — дряхлый старик, скряга.

Театральные фиверки — гуляки, кутилы (фр. viveur).

С. **102**. *...хабар хоть куда — жоховый!* — Хабар (тат.) — барыш, нажива. Жох — ловкач, пройдоха.

С. **108**. *«Тангейзер»* — романтическая опера Р.Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845) по сюжетам средневековых легенд XIII в.

Венера, Вольфрам фон Эшенбах — персонажи оперы Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге».

С. **109**. *«Ковент-Гарден»* — Королевский оперный театр в Лондоне, основанный в 1732 г. актером Дж. Ричем как драматический. С 1847 г. — оперный театр, один из центров мировой музыкальной культуры.

Grand Opera («Гранд-Опера») — Парижская опера; официальные названия — Национальная академия музыки и танца и Национальный оперный театр, основанные в 1671 г. под названием «Королевская академия музыки»; один из центров мировой музыкально-театральной культуры.

С. **112**. *...петь «Руслана» и Иуду в «Маккавеях»...* — Руслан — герой оперы Глинки «Руслан и Людмила». Иуда Маккавей — главный персонаж оперы А.Г. Рубинштейна «Маккавеи» (1874), поставленной в петербургском Мариинском театре в 1877 г. (как часть проекта создания «театра духовной музыки»). Опера успеха не имела.

Ратмир — персонаж оперы Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

Спиридоновна в «Вражьей силе» — хозяйка постоялого двора из оперы Серова.

Солоха в «Черевичках» — мать кузнеца Вакулы из оперы Чайковского «Черевички» (1885) на сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Свояченица в «Майской ночи» — свояченица Головы — персонаж из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь» (1880) на сюжет одноименной повести Гоголя.

«Пророк» (1849) — опера Мейербера; в России шла также под названиями «Осада Гента» и «Иоанн Лейденский».

...во всей Европе нет такой Фидесы... — Фидес — героиня оперы «Пророк».

С. **113**. *«Парсифаль»* (1882) — последняя опера-мистерия Вагнера.

С. **114**. *...отстраняя ее от Зибелей, Андреино, Урбано и Лелей...* — Зибель — персонаж оперы Гуно «Фауст». Урбан — паж

королевы Маргариты в опере «Гугеноты» Мейербера. Пастух Лель — персонаж оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова.

С. **114**. *Урбан, Рауль, Маргарита, Невер* — персонажи оперы «Гугеноты» Мейербера.

С. **116**. *Снегурочка* — героиня одноименной оперы (1880—1881) Римского-Корсакова на сюжет пьесы А.Н. Островского.

С. **117**. *...Церетели в Харьков зовет, Лубковская в Одессу...* — Церетели, Лубковская Мария Мечиславовна (оперная певица, которой посвящен роман) — антрепренеры.

С. **119**. *«Русалка»* (1843—1855) — опера Даргомыжского на сюжет поэмы Пушкина.

Княгиня — персонаж оперы «Русалка» Даргомыжского.

С. **120**. *Ниссен-Саломан* Генриетта (1819–1879) — оперная певица (сопрано), педагог. По национальности шведка. С 1860 г. жила в России, профессор Петербургской консерватории. Автор книги «Школа пения» (СПб., 1881).

Лавровская Елизавета Андреевна (1845–1919) — оперная певица (контральто), ученица Г. Ниссен-Саломан. В 1868–1872 и 1879–1880 гг. солистка Мариинского театра, в сезон 1890/91 г. пела в Большом театре. Профессор Московской консерватории. Подсказала Чайковскому идею, увлекшую композитора, — написать оперу «Евгений Онегин». Чайковский посвятил певице шесть романсов и вокальный квартет «Ночь». Ей посвящены также романсы С.В. Рахманинова «Она, как полдень, хороша...» и «В моей душе».

С. **125**. *Улисс* — латинская форма имени Одиссей; в греческой мифологии царь острова Итака, герой эпических поэм Гомера и оперы Клаудио Монтеверди (1567–1643) «Возвращение Улисса на родину» (1641).

С. **127**. *«Демон»... «Онегин»... «Юдифь»... «Князь Игорь»... «Маккавеи»...* — Названы оперы: Рубинштейна («Демон» и «Маккавеи»), Чайковского («Евгений Онегин»), Серова («Юдифь»), Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887; «Князь Игорь»).

С. **128**. *Пошехонка* — т.е. одна из героинь сатирической книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» (1887–1889).

...древний грек сказал бы, что она... из города Абдер!.. — Жителей древнефракийского города Абдера, абдеритов, греки считали наивными простаками и глупцами, несмотря на то, что в Абдере

родились философы Демокрит и Протагор. См. о них сатирический роман «История абдеритов» классика немецкой литературы Кристофа Мартина Виланда (1733–1813).

С. **130**. *...вместо «до-диеза» попала в «ща-бемоль»...* — Диез — повышение звука на полтона; бемоль — такое же его понижение.

С. **131**. *...ее в тук гонит.* — Тук — тучность.

Все знаменитые Валентины... — Исполнительницы партии Валентины де Сен-Бри из оперы «Гугеноты» Мейербера.

Раёк — галерка, верхние (под потолком) места в театре.

Амнерис — дочь царя Египта, персонаж оперы Верди «Аида» (1871).

С. **132**. *...ваши бурбонские вкусы...* — Бурбон (разг. устар.) — невежда, грубиян (первоначально об офицере, выслужившемся из солдат при Бурбонах, королевской династии во Франции).

Офелию, Миньону, Лауру у клавесина... — Офелия — героиня оперы «Гамлет» (1868) французского композитора Амбруаза Тома (1811–1896) по трагедии Шекспира. Миньон — героиня одноименной оперы (1866) А. Тома по роману Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Лаура — героиня оперы Даргомыжского «Каменный гость» (1866) по тексту «маленькой трагедии» Пушкина.

С. **135**. *...Тамару в ближайший мой «Демон»...* — Имеется в виду роль героини оперы Рубинштейна «Демон».

С. **137**. *Изабелла* — персонаж оперы «Роберт-Дьявол» Мейербера.

С. **143**. *Клаки* — люди, нанятые для срыва спектакля, выступления (криками, свистом) или для обеспечения успеха (шумными аплодисментами, овациями).

Моветон — дурной тон, невоспитанность.

С. **145**. *...ездила в Сиракузы, чтобы поцеловать ногу у безголовой Венеры археологического музея...* — Имеется в виду статуя Венеры Анадиомены («из моря выходящей»), римская копия древнегреческого оригинала II в. до н.э., найденная в окрестностях Сиракуз при возделывании земли. П.П. Муратов в книге «Образы Италии» (1911) пишет: «Это статуя Венеры, которую Мопассан избрал своей богиней. Нет ничего божественного в этой эллинистической богине — очаровательно стройной женщине...»

С. **145**. *...пред знаменитым Ariete...* — Ariete — Овен, скульпторное изображение первого из двенадцати знаков зодиака.

С. **147**. *Экзерсисы* — упражнения в музыке или танце.

Альты — певцы с низкими детскими или женскими голосами.

«Не скажу никому...» — романс Даргомыжского на слова «Русской песни» (1840) А.В. Кольцова.

С. **153**. *Першерон* — порода крупных лошадей-тяжеловозов, созданная в Перше (Франция).

С. **157**. *Царевококшайский акцент.* — Царевококшайск — название г. Йошкар-Ола до 1919 г.

С. 158. *Анемия и хлороз* (бледная немочь) — формы заболевания малокровием.

С. **161**. *«Чародейка»* (1887) — опера Чайковского.

...матримониальное настроение ума! — Т.е. брачное, относящееся к браку.

С. **162**. *...в Пимены-летописцы определился...* — Летописец-отшельник Пимен — персонаж музыкальной драмы Мусоргского «Борис Годунов» (1869, 2-я ред. 1872) по одноименной трагедии Пушкина (1824–1825).

Септаккорд (муз.) — четырехзвучный аккорд, повторяющийся через септиму (семь звуков).

Демон, Тамара — герои оперы «Демон» Рубинштейна.

...для Марты Шверлейн... — Марта Швердтлейн — героиня оперы Гуно и трагедии Гёте «Фауст».

Для Татьяны? — Татьяна Ларина, героиня оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Мове (фр. mauvais) *жанр* — дурной, плохой жанр.

С. **163**. *...розан... центифольный...* — Роза махровая (лат. centifolia — столепестная).

...Ворсма эта русопетская... — Ворсма — пристань на Оке и село (ныне город) в Нижегородской губернии (обл.). Русапёт (русак) — «вообще русский человек... кто особенно русит, хочет быть русаком» (В.И. Даль).

Жиздра — приток Оки и старинный город в Калужской губернии (обл.).

Мездра — слой шкуры (подкожная клетчатка).

С. **165**. *Брунгильда* — героиня тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга».

С. **166**. *Бобелина, героиня героическая!..* — Прав.: Боболина — героиня войны за независимость Греции 1821–1829 гг.; в одном из сражений приняла командование кораблем. В 1825 г. стала жертвой убийцы. В лубочных картинках изображалась рослой богатыршей.

С. **170**. *...оскорбленная королева Либуше на троне или Рогнеда...* — «Либуше» (1872, 1881) — опера Б. Сметаны, «Рогнеда» (1863—1865)— опера А.Н. Серова

С. **171**. *Желтый дом* — так называли психиатрические больницы.

С. **172**. *...«в волненье привели давно умолнувшие чувства!»* — Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4. XI).

С. **174**. *Венера Милосская* — статуя (без рук) римской богини любви, хранящаяся в парижском Лувре.

Прекрасная Елена — в греческих сказаниях прекраснейшая из женщин, дочь бога Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая, из-за которой разразилась Троянская война; героиня поэмы Гомера «Одиссея», опер Глюка («Парис и Елена») и Оффенбаха («Прекрасная Елена»).

С. **175**. *Кафры* (араб. кафир — неверный) — так буры (потомки колонистов) называли южноафриканский народ банту, с которым в XVIII–XIX вв. вели колонизаторские войны.

Готтентоты — коренное население Южной Африки (в основном в Намибии).

С. **176**. *Веристы* — приверженцы веризма, близкого к натурализму течения в литературе, изобразительном искусстве и музыке.

«Вот загадка тебе, мудрый Эдип, разреши!» — У ворот Фив Эдип разгадал загадку обосновавшегося у городских стен чудовищного сфинкса и тем спас город. Фивяне в благодарность избрали своего спасителя царем. Эдипу посвящены многие драматические и музыкальные произведения, в том числе опера Леонкавалло.

С. **177**. *Бордо* — известные французские белые и красные вина.

Фермата — знак в нотном письме, увеличивающий на неопределенное время длительность ноты или паузы.

С. **179**. *Платонова была безголосая, но создала же Даргомыжского!* — Юлия Федоровна Платонова (наст. фам. Гардер;

1841–1892) — русская певица. В 1863–1875 гг. выступала на сцене Мариинского театра в Петербурге. Первая исполнительница оперных партий Донны Анны («Каменный гость» Даргомыжского), Ольги («Псковитянка» Римского-Корсакова), Даши («Вражья сила» Серова), Елизаветы («Тангейзер» Вагнера) и др.

С. **180**. *Лаблаш... поднял своим «Вильгельмом Теллем» венцев...* — Луиджи Лаблаш (1794–1858) — итальянский оперный певец, исполнитель басовой партии Вильгельма Телля в одноименной опере Россини; пел также в операх Беллини и Доницетти. Успешно гастролировал во многих театрах Европы, в том числе в Вене и в Итальянской опере в Петербурге.

...Марио — маркиз ди Кандиа... был легитимист... — Джованни Марио (наст. имя и фам. Джованни Маттео Де Кандиа; 1810–1883) — итальянский оперный певец (тенор); гастролировал в 1849–1853 и 1870 гг. в петербургской Итальянской опере. Легитимисты — приверженцы королевской династии Бурбонов во Франции после Июльской революции 1830 г.

«Фаворитка» (1840) — опера Г.Доницетти.

Рауль де Нанжи — персонаж оперы «Гугеноты» Мейербера.

...Рикардо в «Бале-маскараде»... — Граф Ричард из оперы Верди «Бал-маскарад» (1859).

С. **181**. *... музейный мрамор... оживший, вроде Галатеи.* — В греческой мифологии Галатея — статуя, которую сделал царь Кипра Пигмалион. Влюбившись в нее, он обратился с мольбой к Афродите вдохнуть в статую жизнь. Статуя, превратившаяся в прекрасную женщину стала женой Пигмалиона.

...о Ниобее в театрах фарс представляют. — Ниобея (Ниоба) — в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, мать семерых дочерей и семерых сыновей, чем похвалялась перед Лето, имевшей только двух детей: Аполлона и Артемиду. Разгневанные боги убили стрелами из луков всех детей Ниобы, и она окаменела от горя, а Амфион покончил с собой.

...вроде гомеровых богинь, которые отдавались пастухам и рожали от них Энеев... — В античной мифологии Эней — сын богини Афродиты и пастуха Анхиса (этой версии придерживался и Гомер в своей «Илиаде»).

С. **182**. *Сераль* — султанский дворец и его покои и гарем.

С. **182**. *...будто Владимира на шею вешает...* — Имеется в виду российский орден святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный 22 сентября 1782 г.; имел четыре степени и давал право на потомственное дворянство.

...Доре изобразил в иллюстрациях к сказке... — Гюстав Доре (1832–1883) — французский график; прославился гротескно-выразительными иллюстрациями к сказкам, к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Озорным рассказам» Бальзака, а также рисунками к «Божественной комедии» Данте и «Дон Кихоту» Сервантеса.

...нимфы, живущие с Паном... — Пан — в греческой мифологии волосатое и бородатое божество стад, лесов и полей; отличался страстной влюбчивостью.

С. **183**. *Робинзон, Пятница* — герои романа «Робинзон Крузо» (1719) английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731).

Салтык — «лад, склад или образец» (В.И. Даль).

С. **184**. *Генри Джордж* (1839–1897) — американский экономист и политический деятель, доказывавший, что все экономические бедствия происходят от частной собственности на землю.

«Воскресение» (1889—1899) — роман Л.Н. Толстого.

С. **185**. *Пою «Клятву»...* — Имеется в виду клятва Демона перед любовным дуэтом из оперы «Демон» Рубинштейна: «Клянусь я первым днем творенья...»

С. **186**. *Вильгельмина* (1880–1962) — королева Нидерландов с 1890 по 1948 г.

Аттенция (attention — фр.) — внимание, забота, предупредительность.

Жанна д' Арк (ок. 1412–1558) — Орлеанская дева, народная героиня Франции, совершившая подвиг в войне с английскими захватчиками. Обвиненная в ереси, была сожжена на костре. Канонизирована в святые в 1920 г.

...Орлеанская дева... Ежели по Шиллеру, то хорошо, а ежели по Вольтеру... — В пародийной поэме «Орлеанская девственница» Вольтер подверг осмеянию католический культ «святой спасительницы» Франции, чем вызвал справедливый протест многих современников. В 1757 г. римский папа внес поэму в индекс запрещенных книг. Вскоре Вольтер публично от нее отрекся. Немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер (1759–1805) в 1801 г. создал романтическую траге-

дию — «Орлеанская дева», в которой идеализировал образ французской народной героини. На сюжет драмы Шиллера Чайковский в 1879 г. написал оперу.

С. **188**. *Инес* — персонаж оперы Верди «Трубадур».

Марты — персонажи из опер «Фауст» Гуно и «Иоланта» Чайковского.

...пробираться в Валентины и Виолетты... — Валентина — действующее лицо оперы Мейербера «Гугеноты». Виолетта Валери — героиня оперы Верди «Травиата».

С. **193**. *Баттистини* Маттиа (1859–1928) — итальянский оперный певец (баритон); с 1893 г. был неоднократно на гастролях в России.

Титто Руфо — Титта Руффо (наст. имя и фам. Руффо Кафьеро Титта; 1877–1953) — итальянский оперный певец (баритон); в 1900-х гг. неоднократно гастролировал в России.

С. **194**. *Я опущусь на дно морское, // Я поднимусь на облака...* — Неточная цитата из «Демона». У Лермонтова: «Я полечу за облака...»

С. **197**. *...в «Тангейзере»? Венеру? Елизавету?* — Имеются в виду партии сопрано в опере Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге».

А на «Роберта»... — «Роберт-Дьявол» Мейербера.

С. **200**. *«Валькирия»* — вторая опера Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга».

С. **206**. *...снимая... грим Вотана...* — Вотан — персонаж из оперной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга», верховный вождь Валгаллы, небесного чертога павших воинов.

С. **210**. *Павловская, Рааб, Верни...* — Эмилия Карловна Павловская (урожд. Берман; 1853–1935) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано). Вильгельмина Ивановна Рааб (урожд. Билик; 1848–1917) — оперная певица (сопрано); в 1871–1885 гг. солистка Мариинского театра. Партию Тамары из «Демона» с нею разучивал автор А.Г. Рубинштейн. Чайковский посвятил певице романс «Канарейка». Верни — оперная певица, одна из лучших исполнительниц партии Тамары в опере «Демон» Рубинштейна, поставленной в Большом театре в Москве 23 октября 1879 г.

...«дела давно минувших лет, преданья старины глубокой»! — Неточная цитата из поэмы «Руслан и Людмила» (1820) Пушкина (Песнь первая). У Пушкина: «Дела давно минувших дней....»

С. **213**. *...реет... буревестник, черной молнии подобный.* — М. Горький «Песня о Буревестнике» (1901).

...как Зигмунд... поднявший меч на Валгаллу... — Эпизод из оперы Вагнера «Валькирия»: Зигмунд погибает, подняв меч на верховного бога Вотана. Доблесть героя, сраженного в неравном бою, возродится в его сыне Зигфриде (о нем повествуют другие оперы из тетралогии «Кольцо Нибелунга»).

...читали «Сатану» Кардуччи? — Джозуэ Кардуччи (1835–1907) — итальянский поэт, историк литературы; автор поэмы «К сатане» (1863). Лауреат Нобелевской премии (1906).

Этна и Везувий — действующие вулканы в Италии (на о. Сицилия и близ Неаполя).

...коршун клюет печень Прометея. — См. примеч. к с. 7.

С. **215**. *Сен-Санс* Камиль (1835–1921) — французский композитор, пианист, органист, дирижер, музыкальный критик, педагог. Был на гастролях в России в 1875 и 1887 гг.

Массне Жюль (1847–1912) — французский композитор, автор опер «Манон» (1884), «Вертер» (1886), «героическая комедия» «Дон Кихот» (1910; заглавную партию исполнял Ф.И. Шаляпин и др.).

Брюно Альфред (1857–1934) — французский композитор, музыкальный критик.

Шарпантье Гюстав (1860–1956) — французский композитор.

Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик. Выступал в России в 1881, 1882 и 1913 гг.

...Рихард Штраус явился: Фридриха Ницше в оркестр проводит! — Немецкий композитор и дирижер Рихард Штраус (1864–1949) — автор симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» (1896), написанной по мотивам одноименной книги философской эссеистики Ф.Ницше.

С. **216**. *Лассаль* Фердинанд (1825–1864) — немецкий социалист, родоначальник одной из разновидностей оппортунизма (лассальянства).

Маркс Карл (1818–1883) — философ, социолог, экономист, революционер, теоретик социализма и коммунизма (марксизма).

Бебель Август (1840–1913) — один из основателей (1869) и руководитель германской социал-демократической партии.

Вы читали Вагнера? — Имеются в виду трактаты композитора Р. Вагнера по эстетике и музыковедению: «Художественное произ-

ведение будущего», «Опера и драма», «Обращение к моим друзьям» и др.

С. 217. *Карильон* (карийон) — набор колоколов различной величины, приводимый в движение при помощи клавиатуры для исполнения какой-либо мелодии или музыкальная пьеса, имитирующая колокольный перезвон.

...перепел... всяких там Фигаро, Ренато, Риголетто... — Фигаро — герой оперы Россини «Севильский цирюльник» (1816). Ренато — персонаж оперы Верди «Бал-маскарад» (1859). Риголетто — придворный шут, герой одноименной оперы Верди (1832).

С. 218. *Помните «Миньону»? Помните Лотарио?* — Лотарио — персонаж оперы «Миньон» А. Тома.

С. 220. *...дворцовый художник Зичи Тамару написал...* — Михаил (Михай) Александрович Зичи (1827–1906) — русско-венгерский художник, работавший с 1847 г. в России. Автор иллюстраций к поэме Лермонтова «Демон» и акварелей «Тамара и Ангел-хранитель» (1866), «Танцующая Тамара» (1880), «Тамара в гробу» (1879) и др.

Пшавы, хевсуры — горские народы в Грузии.

...лермонтовскую Тамару и Бэлу. — Тамара — персонаж поэмы «Демон», Бэла — персонаж романа «Герой нашего времени».

«Мальва» — рассказ М. Горького (1897).

С. 221. *«Гимн Сатане»* — см. примеч. к с. 213.

С. 233. *Меломаны* — страстные любители музыки и пения.

С. 242. *Чурила Пленкович* (Щакленкович) — фольклорный богатырь-красавец, неженка и франт, женский угодник, живший в окрестностях Киева.

С. 245. *Проприетер* (пропретор) — высшее должностное лицо; так называемые наместники провинций в античном Риме, главная функция которых — военное обеспечение порядков в Претории.

С. 253. *Прелиминарные* — предварительные переговоры, временные решения.

Часть вторая. **Крестьянская война**

С. 261. *Крез* (595–547 до н.э.) — последний царь Лидии, славившийся богатством и щедростью пожертвований.

С. **262**. *Держиморда* — полицейский из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», его имя стало нарицательным как олицетворение грубости и невежества.

С. **264**. *Стипендиатов имеют и Морозовы, Овчинниковы, Трапезниковы*. — Названы промышленники, занимавшиеся благотворительностью; Морозовы — владельцы хлопчатобумажных предприятий; Овчинниковы — владельцы золотых и серебряных вещей и церковной утвари; Трапезниковы — чайные магнаты.

С. **265**. *...прочитала «Бездну» Андреева...* — «Бездна» (1902) — рассказ Л.Н. Андреева, вызвавший полемику. «Читают взасос, — писал Андреев М. Горькому 19 января 1902 г., вскоре после публикации «Бездны» в газете «Курьер», — номер из рук в руки передают, но ругают!! Ах, как ругают» (Литературное наследство. Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М.: Наука, 1965. С. 134).

...телеграмму графине Толстой: она тоже Андреева ненавидит. — С.А. Толстая 7 февраля 1903 г. в газете «Новое время» опубликовала «Письмо в редакцию», перепечатанное в десятках газет России и открывшее бурную полемику вокруг рассказа Андреева «В тумане». Жена Л.Н. Толстого присоединилась к тем, кто назвал «В тумане» порнографическим произведением, с чем был не согласен ее великий муж.

С. **268**. *Ситный* — зд.: как из решета.

С. **270**. *Кираса* — металлические латы, защищающие спину и грудь от ударов холодного оружия.

С. **274**. *Вместе переходили Балканы и брали Геок-Тепе*. — Имеются в виду переход русских войск через Балканский хребет в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и штурм крепости Геок-Тепе 12 января 1879 г. во время среднеазиатского похода генерала М.Д. Скобелева (1843–1882).

Синклит — в Древней Греции — собрание высших чиновников; ирон.: собрание каких-либо лиц.

С. **275**. *«Союз русского народа»* (1905) — монархическая и шовинистическая организация, запрещенная после Февральской революции 1917 г.

С. **284**. *...раз груди его коснулся Белый Орел...* — Древнейший польский орден Белого Орла в 1831 г. был причислен к высшим российским императорским наградам (в иерархии пятый, после

орденов Андрея Первозванного, Георгия 1-й степени, Владимира 1-й степени и Александра Невского).

С. **284**. *...движется... к андреевской ленте...* — Первый в России орден святого апостола Андрея Первозванного (с девизом «За веру и верность»), учрежденный Петром I в 1698 г., приравнивал кавалеров ордена к третьему классу петровской «Табели о рангах всех чинов» — к генерал-лейтенантам.

С. **285**. *Ахиллес...* — Воспетый Гомером один из героев Троянской войны — «быстроногий» Ахиллес долгие годы укрывался своей матерью Фетидой от участия в походах и сражениях, поскольку ему было предсказано погибнуть под Троей. Однако сам он предпочел геройскую смерть на поле боя бесславно прожитой долгой жизни.

Прати — «напирать, переть на рожон, на рогатину, копье (идти против теченья, добиваться невозможного» (В.И. Даль).

Festinat lente — *Торопись медленно* (лат.); излюбленное выражение Юлия Цезаря. Это изречение избрал своим девизом правитель Флоренции Козимо Медичи (1389–1464), изобразив его на эмблеме своего знаменитого рода: черепаха, на спине которой — паруса, наполненные ветром.

С. **286**. *...существа, имеющие вместо души пар...* — См. сказку Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист»: «У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает».

С. **289**. *Александр II* (1818–1881) — российский император с 1855 г. Убит террористами «Народной воли».

...поет Алису гораздо лучше Штольц... — Партия Алисы из оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» входила в репертуар Терезы Штольц (наст. имя и фам. Терезина Штольцова; 1834–1902), чешской оперной певицы (драматическое сопрано), солистки театра «Ла Скала» в 1865–1879 гг.

С. **290**. *... Маскоттою для кассы.* — «Маскотта» (1880; в России также под названием «Красное солнышко») — оперетта французского композитора Эдмона Одрана (1840–1901).

С. **302**. *Мефистофельская эспаньолка* — короткая остроконечная бородка, принадлежность облика героя оперы и трагедии «Фауст» (в частности, таким его представлял на сцене Ф.И. Шаляпин).

С. 304. *...нас посадили под куст, как щедринский волк — виноватых зайцев...* — См. сказку Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц»: волк сажает зайца под куст ждать, когда он проголодается и съест его.

Погибни, душа моя, с филистимлянами! — Филистимляне — в библейских книгах завоеватели иудейской Палестины.

С. 305. *«Севильский цирюльник»* — комическая опера Джоаккино Россини (1792—1868) на сюжет комедии Пьера Бомарше (1732–1799). Во избежание параллелизма с оперой Дж. Паизиелло на тот же сюжет опера шла под названием: «Альмавива, или Тщетная предосторожность». Впервые поставленная 20 февраля 1816 г., опера-буффа прославила имя композитора; она до сих пор в репертуаре многих театров мира.

С. 306. *Дон Базилио* — учитель музыки из оперы Россини «Севильский цирюльник».

«Паяцы» (1892) — опера итальянского композитора Руджеро Леонкавалло (1857–1919).

...зарезал на сцене свою неверную жену. — Эпизод из «Паяцев»: хозяин труппы странствующих комедиантов Канио (в разыгрываемой на сцене комедии он Паяц), обезумев от ревности, ударом ножа убивает свою жену Недду (в комедии она Коломбина).

С. 307. *Кукушка* — скрытое от посторонних артистическое помещение.

С. 310. *...родились от помеси Мецената с Мессалиною...* — Меценат (ум. в 8 до н.э.) — богатый римский всадник, приближенный императора Августа, оказывавший покровительство молодым поэтам Вергилию, Горацию и Проперцию. Имя Мецената стало нарицательным, обозначающим покровителя наук и искусств. Мессалина (ок. 25–48 н.э.) — третья жена императора Клавдия, прославившаяся распутством и коварством. В отсутствие Клавдия вышла замуж за Силия, чтобы его провозгласить императором. Заговорщица Мессалина была казнена.

С. 312. *Флейта piccolo* — малая флейта.

Кирие, элейсон! — Господи, помилуй! (греч.) — начальные слова первой части католической мессы.

С. 313. *Тартар* — в греческой мифологии бездна, в которую низвергнуты титаны, побежденные Зевсом; самое отдаленное место царства мертвых, где несут наказание святотатцы.

С. 313. *Te, Deum, laudatus!* (Тебя, Боже, хвалим! — лат.) — начальные слова католического благодарственного гимна.

С. 314. *Мальчики-аколиты* — церковные прислужники.

Бегинки — представительницы полумирских-полумонашеских обществ, существовавших в Европе в XII–XVIII вв.

...под истуканом гордого Маркова льва... — Марк — один из четырех евангелистов; автор Евангелия от Марка, предназначавшегося в первую очередь для римских христиан и потому особо почитавшегося в Риме.

С. 315. *...гримировался шлиссельбуржцем...* — Шлиссельбуржцы — политические заключенные, узники тюрьмы (каторжного централа) в Шлиссельбургской крепости (у истоков Невы).

С. 316. *Ноны и децимы* — девятые и десятые ступени (интервалы) в музыкальной гамме.

С. 323. *...похожий на бога Гамбринуса...* — Гамбринус — сказочный король Фламандии, изобретатель пива. Назван по имени герцога Брабантского Яна Гримуса I (1551–1594), который был почетным председателем гильдии брюссельских пивоваров.

С. 324. *Выборгский манифест* — воззвание 167 депутатов Первой Государственной думы к гражданам России, призвавших 10 июля 1906 г. отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста против роспуска думы. Подписавшие были посажены на три месяца в тюрьму и лишены избирательных прав.

Эрфуртская программа — марксистская программа социал-демократической партии Германии, принятая в Эрфурте в 1891 г.

Лейтмотив — музыкальное построение, неоднократно повторяющееся в произведении; особенно часто применяется в симфониях и операх.

Доминанта — главенствующая в гармонии функция музыкального аккорда.

С. 325. *Квинта* (муз.) — интервал в пять ступеней звукоряда.

Гайдн Йозеф (1732–1809) — австрийский композитор; представитель венской классической школы.

С. 328. *Мари Дюран* — итальянская оперная певица, успешно выступавшая с Ф.И. Шаляпиным в спектаклях Московской частной оперы С.И. Мамонтова.

С. 331. *Ванька Каин* (Иван Осипович; 1718 — после 1755) — знаменитый грабитель; став в 1741 г. сыщиком в Москве, укрывал преступников, организовывал грабежи. В 1755 г. его злодеяния были раскрыты и он был отправлен на пожизненную каторгу. Похождениям Ваньки Каина посвящены романы, песни, исследования историков.

Васька Красный — герой одноименного рассказа (1899) М. Горького.

С. 346. *Шарлотта Корде* (1768–1793) — убила Жана Поля Марата, одного из вождей якобинцев во время Великой французской революции 1789–1794 гг.

Геродиан — греческий историк III в., автор «Истории от царствования Марка», излагающей события от смерти Марка Аврелия (121–180) до Гордиана III (180–238).

Коммод (161 -192) — последний из династии Антонидов, римский император, сын Марка Аврелия. Был убит заговорщиками.

С. 349. *Адонис* — финикийско-сирийское божество плодородия и растительности.

С. 350. *Феникс* — в греческой мифологии волшебная птица, сжигающая себя в предчувствии гибели, но возрождающаяся вновь из пепла.

С. 353. *Биргалка* — пивная (нем. Bier — пиво).

С. 364. *Аника-воин* — герой народных сказаний, сражающийся со смертью.

С. 365. *Иерофант* — верховный жрец.

Мистагог — у древних греков жрец, посвящавший в таинства во время религиозных обрядов (в мистериях).

С. 366. *Я — консерваторию кончил. При Рубинштейне. У Эверарди!* — А.Г. Рубинштейн — см. о нем примеч. к с. 12. Камилло Франсуа Эврар Эверарди (1825–1899) — итальянский оперный певец (баритон). В 1857–1874 гг. — солист Итальянской оперы в Петербурге, в 1870–1888 гг. — профессор Петербургской консерватории, с 1898 г. — Московской.

С. 368. *Коломенская верста* — поговорка, рожденная во времена царя Алексея Михайловича, приказавшего расставить по дороге к своему дворцу в селе Коломенском чересчур высокие верстовые столбы. В переносном значении — о людях высокого роста, верзилах.

С. **375**. ...*Арманов и Альфредов ждать?* — Арман Дюваль — герой романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями», а в опере «Травиата» — Альфред Жермон (см. примеч. к с. 74).

С. **376**. *Ординэр* (фр. ordinaire — обычный) — ординарное, повседневного спроса вино.

С. **378**. ...*шамбертэны и мутон-ротшильды!* — Названия сортовых марочных вин.

С. **381**. *Понтэ-канэ* — сорт вина.

С. **383**. ...*купцом Калашниковым зваться!* — см. примеч. ниже.

Фуляр — носовой платок из мягкой шелковой ткани.

...*больше на йоркшира откормленного смахиваешь...* — Йоркшир — порода крупных, быстро растущих свиней (по названию графства в Англии).

Не шутку шутить, не людей смешить... — Из поэмы Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837), на сюжет которой А.Г. Рубинштейн написал оперу «Купец Калашников» (1879).

С. **384**. *Алексей Михайлович* (1629–1676) — русский царь с 1645 г., в правление которого вспыхнула крестьянская война 1670–1671 гг. под предводительством Степана Тимофеевича Разина (ок. 1630–1671).

С. **386**. *Журфикс* — прием гостей в определенный день недели.

С. **391**. *Помпадур* — нарицательное от имени маркизы де Помпадур (Жанны Антуанетты де Пуассон; 1721—1764), фаворитки французского короля Людовика XV, оказывавшей влияние на государственные дела и являвшейся законодательницей мод (ее именем стали называться прически с убранными наверх волосами, платья с фижмами, пальто из легких узорчатых тканей и др.)

С. **394**. ...*стихи... графа Алексея Толстого...* — Речь, видимо, идет о поэте, писателе, драматурге, прозаике графе Алексее Константиновиче Толстом (1817—1875).

С. **396**. *«...ты бы Маркса поштудировал...» — «Это... который «Ниву» издавал?..»* — С преднамеренной иронией говорится о двух Марксах: об идеологе коммунизма Карле Марксе и книгоиздателе Адольфе Федоровиче Марксе (1838–1904), выпускавшем с 1870 г. самый популярный в России журнал «Нива».

С. **401**. *Сократ* (470–399) — греческий философ, учение которого изложено в диалогах Платона и Ксенофонта.

С. **408**. *...похожею... на Мальву...* — Мальва — героиня одноименного рассказа Горького.

С. **409**. *Кочубей* Василий Леонтьевич (1640–1708) — генеральный писарь, генеральный судья Левобережной Украины, сообщивший Петру I об измене гетмана Украины Мазепы (1687–1709), за что был им казнен.

Плюшкин — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души».

С. **410**. *Плахта* — национальная украинская женская тканая одежда из шерсти, украшенная орнаментом, — род запашной юбки, с поясом. Выполнялась из двух кусков, с разрезом спереди, прикрытым запаской. *Запаска* — кусок шерстяной ткани, спереди перегнутый через пояс и прикрывающий рубашку. *Черевички* — праздничная женская обувь из хорошей кожи, на каблуках, остроносая.

С. **411**. *Неугомонная кровь Гонты и Железняка...* — Иван Гонта (?–1768) — герой гайдамацкого восстания 1768 г., замученный польской шляхтой. Максим Железняк — запорожский казак, один из руководителей восстания 1768 г.

Чермное море — Красное (в Индийском океане, между Африкой и Аравийским полуостровом).

С. **416**. *Штундисты* (нем. Stunde — час, время религиозного чтения у немцев) — приверженцы сектанского течения среди русских и украинских крестьян, возникшего во второй половине XIX в.; позднее слилось с баптизмом.

Русланисты — последователи М.И. Глинки, автора оперы «Руслан и Людмила» (1842), положившей начало русской эпической опере.

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик; представитель романтизма.

С. **425**. *...нероны с Сиводраловки и мессалины с Живодерки...* — Нерон (37–68) — римский император, прослывший жестокосердым тираном, проявлял большую склонность к искусству: занимался рисованием, чеканкой по металлу и сочинением стихов, увлекался пением (хотя голос у него был слабый и сиплый) и игрой на кифаре. По сведениям древних историков, выступал с пением перед публикой в Неаполе и, несмотря на начавшееся землетрясение, допел

свою арию до конца. Учредил в Риме певческие игры (один раз в пять лет), в которых участвовал наравне с другими актерами. Амфитеатров написал о Нероне четырехтомное беллетризованное исследование «Зверь из бездны». Мессалины — здесь в знач.: распутницы (по имени развратной жены римского императора Клавдия).

С. **426.** *Дионисовы празднества* — городские и сельские торжества в честь бога плодоносящих сил земли, виноградарства и виноделия Диониса, устраивавшиеся в Древней Греции (на Парнасе, в Афинах, Аттике).

С. **429.** *...речь праведника на площадях Содома и Гоморры-с.* — Имеется в виду праведник Лот, единственный, кто был спасен со своей семьей из жителей городов Содом и Гоморра, уничтоженных огнем небесным за разврат и безверие.

...аллегорический зверь-с, будто из Апокалипсиса... — Имеется в виду зверь (дракон, дьявол) из Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова; гл. 13), хулящий Бога и искушающий людей; аллегория язычников-безбожников.

С. **431** *...сказку о том, как ...меринос увидел увидал во сне вольного барана...* — из сказки Салтыкова-Щедрина «Баран-непомнящий».

С. **433.** *Эсдек* — социал-демократ.

Эсер — социалист-революционер.

С. **434.** *Жюль Верн* (1828–1905) — французский писатель, классик жанра научной фантастики.

Карузо Энрико (1873–1921) — итальянский оперный певец (тенор), солист театра «Метрополитен-опера» (1903–1920). Триумфально выступил на гастролях в России в 1898 и 1900 гг. В 1901 г. в Милане пел партию Фауста с Шаляпиным — Мефистофилем в спектакле «Мефистофель» Бойто.

С. **435.** *...«Безумство храбрых есть мудрость жизни...»* — Из «Песни о Буревестнике» М. Горького.

Почитайте книгу Брэма. — Имеется в виду шеститомник «Жизнь животных» (1863–1869) немецкого зоолога и путешественника Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884). На русском языке издавался в двух переводах — в 1911–1915 и 1937–1948 гг.

С. **439.** *...виновникам адского комплота...* — Комплот — заговор (фр.).

...запел из «Игоря»... — «Князь Игорь» (по «Слову о полку Игореве») — незавершенная опера А.П. Бородина (ее дописали и дооркестровали Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов в 1890 г.)

С. **440**. *Эмс* — минеральная вода с германского курорта Эмс в Висбадене.

С. **447**. *«Избави нас от лукавого».* — Из молитвы «Отче наш...».

С. **454**. *«Камаринская»* — песня М.И. Глинки, входившая в репертуар Ф.И. Шаляпина.

Прюнелевые ботинки — Прюнель — плотная, тонкая шерстяная ткань, прессованная и предварительно проклеенная, использовалась главным образом для пошива женской обуви (в основном для тех, кто ездил в экипажах).

С. **457**. *Подайте Цукки за ейные штуки!* — Вирджиния Цукки (1847–1930) — знаменитая итальянская балерина, выступавшая в 1885–1892 гг. в антрепризе Лентовского, в Мариинском и других театрах. Затем создала свою труппу, с которой гастролировала по России.

С. **458**. *...марьяжила... понтов...* — Марьяжить — «залучать поклонника, привязывать к себе обожателя» (В.И. Даль). Понт (фр. pointe — острие, кончик, гвоздь) — вульг. о мужчине-ловеласе.

С. **460**. *Нaнá* — героиня одноименного романа Эмиля Золя.

Я тебе из «Трубадура»... из «Пророка»... — Оперы Верди («Трубадур») и Мейербера («Пророк»).

С. **463**. *Лакуса*, лакуза (фр. laquais) — лакей, прислужник.

Обе — альты. — Альт — низкий женский певческий голос.

...на Красную Горку замуж... — Красная Горка — древний славянский праздник весны; отмечается в первое после Пасхи воскресенье. К этому дню приурочивались свадьбы.

С. **469**. *Дамоклов меч* — ежеминутно угрожающая опасность. Сиракузский тиран Дионисий (ок. 430–367 до н.э.) однажды на пиршестве уступил любимцу, но завистнику Дамоклу свое место правителя, однако при этом повесил над его головой на конском волоске острый меч, чтобы тот на себе испробовал непрочность земного благополучия.

С. **470**. *Ниагара* — водопад на границе США и Канады.

С. **470**. *...сорвешься, как строитель Сольнес...* — Эпизод из драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес», главный герой которой строил

башню. Пьеса была поставлена в 1905 г. в Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской, где актриса сыграла главную роль фрекен Гильды.

С. **472.** *«Будильник»* (СПб., 1865–1871; М., 1873–1917) — сатирический журнал, в котором дебютировал А.П. Чехов (Антоша Чехонте).

«Развлечение» (М., 1859–1918) — литературный и юмористический еженедельник; в 1906–1915 гг. — прибавление к газете «Московский листок».

С. **474.** *Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861) — критик, публицист.

С. **475.** *...у знаменитого Гальвани...* — Джакомо Гальвани (1825–1889) — итальянский оперный певец (тенор). По приглашению Н.Г. Рубинштейна приехал в Москву профессором в консерваторию (с 1869 по 1887 г.).

С. **478.** *...буду этуалью в кафешантане.* — Этуаль — модная артистка легкого, развлекательного жанра. Кафешантан (фр. букв.: кафе с пением) — ресторан или кафе с оркестром и солистами.

С. **484.** *...не выдержав ферматы...* — Фермата — в музыкальном темпе увеличение длительности одного звука или паузы.

С. **488.** *Капище* — храм язычников; в переносном значении место служения чему-нибудь вообще (в тексте — дьяволу).

С. **489.** *Фоблаз* — герой-соблазнитель из многотомного фривольно-авантюрного романа «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787–1790) французского писателя Жана Батиста Луве де Кувре (1760–1797).

С. **494.** *И в Ване, и в Зибеле.* — Ваня — персонаж оперы Глинки «Иван Сусанин». Зибель — персонаж оперы Гуно «Фауст».

С. **499.** *Епитимия* — церковное наказание верующих за нарушение религиозных канонов, назначаемое духовником-священником в виде продолжительных молитв, усиленных постов, земных поклонов перед иконой и т.д.

С. **500.** *Великий пост* — предшествующий Пасхе; продолжается семь недель.

С. **501.** *Фактор* (лат. делающий, производящий) — здесь: посредник.

С. **504.** *...на Минеральных водах, в глупейшем тирольском костюме...* — Имеется в виду группа бальнеологических курортов на

Кавказских Минеральных водах: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Тирольский костюм — национальная одежда жителей австрийских Альп.

С. **507**. *...с бронзовым «Извозчиком» Трубецкого..* — «Московский извозчик» (1898) — портретный бюст скульптора Павла (Паоло) Петровича Трубецкого (1826–1893), создавшего в бронзе также портрет Л.Н. Толстого и памятник Александру III в Петербурге.

С. **509**. *...имею к тебе — подобно Мармеладову — разговор приватный...* — Речь идет об эпизоде из второй главы первой части романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» — беседе в распивочной между опустившимся чиновником-пьяницей Мармеладовым и Раскольниковым.

С. **511**. *Ломброзо* Чезаре (1835–1909) — итальянский судебный психиатр и криминалист, доказывавший существование типа человека с преступными наклонностями.

С. **515**. *Якобий* Валерий Иванович (1834–1902) — исторический живописец, автор известной картины «Привал арестантов» (1861). Якобий первым из русских художников обратился к теме каторги и ссылки.

С. **520**. *Рубенс* Питер Пауэл (1577–1640) — глава фламандской школы живописи эпохи барокко.

...на шестом десятке лет, поехал в Берлин учиться у Дена... — Автор оперы «Руслан и Людмила» Глинка незадолго до смерти предпринял очередную поездку в Берлин, где и умер 3 февраля 1857 г. Как и братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Глинка брал уроки у Зигфрида Дена (1799–1858), немецкого музыкального теоретика, педагога, издателя.

Блестящий дилетант — какой-нибудь Алябьев, Лишин, Апухтин... — Александр Александрович Алябьев (1787–1851) — композитор; автор романсов: «Соловей» (на слова А.А. Дельвига), «Я вас любил...», «Увы, зачем она блистает...», «Зимняя дорога» (все — на слова Пушкина) и др. Григорий Андреевич Лишин (1854–1888) — композитор, пианист, критик. Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893) — поэт, прозаик, автор известных романсов, положенных на музыку дружившим с ним Чайковским («Ночи безумные, ночи бессонные...», «Пара гнедых», «День ли царит...» и др.). «Я дилетант,

я дилетант», — полемически-вызывающе писал Апухтин о себе в стихотворении «Дилетант», хотя таковым не был.

С. **521**. *...Хлестакова возненавидел: зачем тезка?..* — Иван Александрович Хлестаков — герой комедии Гоголя «Ревизор».

С. **523**. *Эверарди* — см. примеч. к с. 366.

Котоньи Антонио (1831–1918) — итальянский оперный певец (баритон). В 1872–1894 гг. пел в Итальянской опере в Петербурге, в 1894–1898 гг. преподавал в Петербургской консерватории.

Ронкони — семья итальянских певцов; в тексте, очевидно, имеется в виду Феличе (Феликс; 1811–1875), бас-баритон, выступавший в 1852–1857 гг. в Итальянской опере в Петербурге и преподававший здесь в театральном училище.

С. **524**. *Ламперти* Джованни Баттиста (1839–1910) — вокальный педагог, преподававший технику бельканто в Италии, Германии, Франции.

С. **525**. *Маркези* де Кастроне Сальваторе (1822–1908) — итальянский певец, композитор, педагог.

Решке Ян Мечислав (1850–1925) — польский оперный певец (баритон), гастролировавший в Петербурге в 1890–1891 и 1897–1898 гг. вместе с братом Эдвардом (1853–1917).

Вотан, Альберих — верховный бог и карлик-нибелунг, персонажи из оперной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга».

С. **527**. *Помнишь у француза какого-то — Гонкура, что ли, — актрису Фостэн?* — Фостен — персонаж из романа «Актриса Фостен» (1882) французского писателя Эдмона Гонкура (1822–1896).

С. **534**. *Гофманские капли* — лекарственный препарат (успокоительное средство), созданный немецким фармакологом Фридрихом Гофманом (1660–1742).

С. **536**. *«Жизнь за царя»* (1836) — опера Глинки, которая в 1939 г. была возобновлена по либретто поэта С.М. Городецкого, давшего ей название «Иван Сусанин».

С. **539**. *Одалиска* (тур.) — наложница в гареме.

С. **539**. *Позиция Иосифа Прекрасного перед женою Пентефрия...* — Прародитель двух колен Израилевых Иосиф Прекрасный в молодости был продан в рабство к начальнику телохранителей египетского фараона Пентефрия (Потифара). В его доме

он подвергся искушению: жена Потифара, влюбившись в красивого юношу, пыталась его соблазнить, но Иосиф отверг ее притязания. По лживому доносу развратницы он был посажен в темницу.

С. **541**. *«Сельская честь»* — одноактная опера итальянского композитора Пьетро Масканьи (1863–1945).

С. **542**. *...был тушинец природный!* — Тушинцами называли предателей и изменников со времен Лжедмитрия II (?–1610), самозванца, прозванного «Тушинским вором» (он создал в подмосковном Тушине свой лагерь, откуда грозил взять Москву).

С. **543**. *Репин* Илья Ефимович (1844–1930) — живописец.

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) — промышленник, меценат, театральный деятель. Основатель Московской частной русской оперы (1885–1904). Был режиссером ряда спектаклей. Автор либретто опер «В 1812 году» В.С. Калинникова, «Призраки Эллады» В.Д. Поленова и др. Переводчик либретто опер Ж. Массне и Дж. Пуччини. В 1870–1890-х гг. его имение Абрамцево было центром художественной жизни, где работали В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.Д и Е.Д. Поленовы, В.А. Серов, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров.

Станиславский Константин Сергеевич (наст. фам. Алексеев; 1863–1938) — режиссер, актер, педагог, теоретик и реформатор театра. В 1898 г. основал вместе с Вл.И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр (МХТ).

Боттичелли Сандро (1445–1510) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения.

...с цитатами из Валерия Брюсова, Бальмонта, Блока... — Названы поэты-символисты Серебряного века: Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942), Александр Александрович Блок (1880–1921).

С. **545**. *Шуберт* Франц (1797–1828) — австрийский композитор.

Валаамова ослица — в библейском повествовании ослица прорицателя и мага Валаама, которая заговорила человеческим голосом, чтобы предупредить его о воле бога Яхве: не произносить ритуального проклятия против народа Израиля, только что совершившего трудный путь из Египта. Нарицательно: о неожиданно нарушившем молчание.

С. **545.** *...Марту поет и в квартете всегда фальшивит?* — Марта — персонаж оперы Гуно «Фауст». Имеется в виду квартет из третьего акта, в котором комический диалог Мефистофеля и Марты противопоставлен пылким признаниям Фауста и Маргариты.

С. **550.** *Сафо* (Сапфо; 7–6 вв. до н.э.) — древнегреческая поэтесса с о. Лесбос, где возглавляла кружок знатных девушек, обучая их танцам, пению и стихотворчеству.

С. **555.** *Альфонс* — мужчина, находящийся на содержании у любовницы (по имени героя комедии «Мосье Альфонс» А. Дюма-сына).

С. **556.** *...Буланов (из «Леса») в усадьбе помещицы Гурмыжской...* — Персонажи комедии А.Н. Островского «Лес» (1871): недоучившийся гимназист Алексей Буланов, ставший альфонсом богатой вдовы-помещицы Раисы Даниловны Гурмыжской.

С. **560.** *Нэмо* — капитан Немо, герой романов Ж. Верна «Таинственный остров» и «80 тысяч лье под водой».

С. **569.** *Пролог Тонио...* — Из оперы Леонкавалло «Паяцы».

С. **571.** *Променяли Эскулапа на Аполлона?* — Эскулап — в римской мифологии бог врачевания (у греков Асклепий). Аполлон — в греческой мифологии олимпийский бог солнца и мудрости, покровитель искусств, бог-воитель и бог предсказаний.

С. **572.** *...о московском теноре Преображенском, сорвавшем голос на «Зигфриде»...* — Николай Алексеевич Преображенский (1854–1910) — оперный певец (драматический тенор); в 1888–1893 гг. пел в Большом театре.

Нурри Адольф (1802–1839) — французский оперный певец (тенор). В 1821–1837 гг. солист Парижской оперы, первый исполнитель партий Арнольда («Вильгельм Телль» Россини), Роберта-Дьявола и Рауля («Роберт-Дьявол», «Гугеноты» Мейербера).

Дюпре Жильбер Луи (1806–1896) — французский оперный певец (тенор), композитор, педагог. В 1837–1849 гг. выступал в Парижской опере, придя на смену А. Нурри.

...о Кадминой, с которой Тургенев написал «Клару Милич», а Суворин «Татьяну Репину»... — Евлалия Павловна Кадмина (1853–1881) — оперная певица (меццо-сопрано) и драматическая артистка. С 1873 г. — солистка московского Большого театра, с 1875 г. — в Мариинском театре. В 1876–1878 гг. пела в театрах

Италии. Покончила с собой на сцене, приняв яд. Трагическая судьба выдающейся актрисы нашла отражение в повести И.С. Тургенева «Клара Милич» и в пьесе А.С. Суворина «Татьяна Репина». Кадминой посвятил романс «Страшная минута» П.И. Чайковский.

С. **576**. *Клавираусцуг* (нем.) — переложение оперных, камерных, оркестровых и ораториальных произведений для исполнения на фортепьяно или пения с фортепьяно.

Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог; автор труда «История цивилизации в Англии» (рус. пер. 1861).

Милль Джеймс (1773–1836) — английский философ, историк и экономист.

Дарвин Чарлз (1809–1882) — английский естествоиспытатель и путешественник, основоположник учения о происхождении человека от обезьяноподобного предка. Автор трудов «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859), «Происхождение человека и половой отбор» (1871) и др.

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — социолог, критик, публицист.

Штирнер Макс (наст имя и фам. Каспар Шмидт; 1806–1856) — немецкий философ. Автор труда «Единственный и его достояние» (1845).

С. **578**. *Фраскита* — цыганка из оперы «Кармен» Ж. Бизе.

С. **585**. *Николини* Эрнест (?–1898) — итальянский оперный певец (тенор); в 1872–1877 гг. пел в Петербурге вместе с женой Аделиной Патти.

Я помню Станьо и Беллинчиони. — Роберто Станьо (наст. имя и фам. Винченцо Андреоли; 1840–1897) — итальянский оперный певец (тенор); пел в России в 1869–1870 гг. Джемма Беллинчони (1864–1950) — итальянская оперная певица (сопрано), гастролировавшая в России.

Мазини Анджело (1844–1926) — итальянский оперный певец (тенор). В 1879–1903 гг. неоднократно выступал в России.

С. **587**. *...язвительный Терсит...* — Терсит (Ферсит) — в греческой мифологии воин, участник Троянской войны. В «Илиаде» Гоме-

ра — хромоногий, безобразный ворчун и насмешник. Был убит Ахиллом за то, что насмехался над его любовью к Пентесилее.

С. **590**. *«Сказание о Китеже»* — опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904).

С. **591**. *Джильда* — персонаж из оперы Верди «Риголетто».

С. **595**. *«Дон Жуан», «Свадьба Фигаро»* — оперы Моцарта.

«Джиоконда» (1876) — опера итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1834–1886).

С. **605**. *Форт Шаброль* — ироническое название дома антисемитской лиги в Париже, где президент этой лиги Жюль Герен укрывался, сопротивляясь аресту, с 12 августа по 20 сентября 1899 г. Обвиненный в государственной измене, он был осужден на 10 лет.

С. **606**. *Палестина* (палестины) — местность, край; далекое, глухое место.

С. **607**. *Савонарола* Джироламо (1452–1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, прославившийся пламенными проповедями и обличением пороков современников и папства, организовывал костры из произведений искусства. Был вселюдно повешен на площади и сожжен.

С. **615**. *Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (160 — после 220) — богослов, писатель, судейский оратор; ревностный защитник христианства. После 200 г. сблизился с сектой, проповедовавшей конец света и аскетизм.

Августин Блаженный Аврелий (354–430) — христианский богослов, родоначальник христианской философии истории. Епископ г. Гиппон в Северной Африке.

Иоанн Златоуст (ок. 344 и 354–407) — церковный деятель Византии, епископ Константинополя, прославившийся красноречием, панегириками, псалмами. В Византии и в древней Руси почитался как идеал проповедничества.

С. **617**. *...очеп над деревенским колодцем...* — Очеп — журавль для подъема ведер с водой из колодца.

Акафист — песнопение в честь Иисуса Христа, Божией Матери и святых.

С. **619**. *Смирите капище Ваала!* — Усмирите идолище (место поклонения) Ваала, языческого божества, служившего синонимом самого низменного идолопоклонства.

С. **619**. *...согните выю Молоху!..* — Согните шею Молоху! Молох — божество, в жертву которому приносились люди (особенно дети).

Скрипица — скрипка, «малое музыкальное, смычковое орудие, о четырех струнах» (В.И. Даль).

Бейте, яко Никола Чудотворец Ария нечестивого... — Арий (256–336) — пресвитер в Александрии, положивший начало христианской ереси — арианства. Арий был осужден I Вселенским собором в Никее (325) и умер в изгнании. Одним из борцов с арианством был Николай Мирликийский (Чудотворец; 260–343) — епископ города Миры в Ликии.

...Ослябя и Пересвет... на Куликовом поле!.. — Герои Куликовской битвы (1380), монахи Троице-Сергиевской лавры: Роман Ослябя (в иночестве Родион; ум. после 1398) и Александр Пересвет (ум. 1380), смертельный поединок которого с татарским богатырем Темир-мурзой стал началом сражения.

Мурин — «арап, негр, чернокожий» (В.И. Даль).

С. **622**. *...как задумал его Виктор Гюго, но едва отразил... Понкиэлли...* — Амилькаре Понкьелли — автор оперы «Марион Делорм» (1885) по одноименной драме Гюго.

С. **628**. *...Лазари, восставшие из гробов...* — По евангельскому преданию, Лазарь был воскрешен Христом на четвертый день после смерти.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.

А 63 Собрание сочинений· В 10 т Т. 4. Сумерки божков Роман / Сост, примеч ТФ. Прокопова — М НПК «Интелвак», 2002. – 672 с.

ISBN 5-93264-029-4 (т 4)

В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф И Шаляпина и М Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 4
СУМЕРКИ БОЖКОВ

Составление, примечания
Тимофея Федоровича Прокопова

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 05.10.2001.
Формат 84x108/32 Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл -печ. л 35,28 Уч -изд. л 32,5
Тираж 3000 экз Заказ № 4310.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail iv@deltacom ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-029-4